

*С. Макашин*

САЛТЫКОВ-  
ЩЕДРИН

*Макашин*  
САЛТЫКОВ-  
ЩЕДРИН

1



*Михаил Евграфович Салтыков*

Акварельный рисунок работы неизвестного художника  
1850-е гг.

С. МАКАШИН

# САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

*Биография*

1

*Издание второе  
дополненное*

---

1951

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
АКАДЕМИИ НАУК СССР  
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

*Постановлением  
Совета Министров Союза ССР  
от 8 марта 1950 года*

МАКАШИНУ  
СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ

*присуждена  
СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ  
второй степени  
за книгу*

*«Салтыков-Щедрин»*



## ВВЕДЕНИЕ

Творчество Щедрина — крупнейшее явление не только русской, но и мировой сатирической литературы.

Щедринская революционная сатира являлась чрезвычайно действенным идейным оружием в борьбе против буржуазно-помещичьего строя в России. Она содействовала избавлению народа от тех «посрамлений» (по выражению Щедрина), которые «наложили на него века подъяремной неволи».

Имя Щедрина по праву заняло почетное место в ряду великих имен, составляющих гордость русского народа. В конце 50-х годов, еще на заре литературной деятельности Щедрина, Н. Г. Чернышевский писал: «В каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя. Честно имя его между лучшими, полезнейшими и даровитейшими детьми нашей родины». О том же говорил другой великий представитель русской революционной демократии — Н. А. Добролюбов: «В массе... народа имя Щедрина, когда оно делается там известным, будет всегда произноситься с уважением и благодарностью».

Писатель, беспощадно разоблачавший эксплуататорский строй, Щедрин вызывал яростную ненависть у всех «охранительных» сил царизма и реакции не только на протяжении всей своей литературной деятельности, но и после своей смерти. Цензурный аппарат самодержавия всячески препятствовал популяризации творчества писателя. В то же время буржуазно-дворянская и либерально-народническая критика искажала и принижала Щедрина. Поэтому Горький имел полное основание сказать о нем

в 1909 году: «Это огромный писатель, гораздо более поучительный и ценный, чем о нем говорят».

Евраждебная критика, которую имеет в виду Горький, не понимала или осуждала важнейшие художественные завоевания Щедрина. Она изображала его — явно или скрыто — писателем «второго класса», своего рода сатирическим хроникером текущего исторического момента, не способным подняться до вершин подлинно художественного творчества.

Несостоятельность, обнаруженная идеалистической критикой в трактовке Щедрина-художника, сопровождалась грубыми искажениями идейно-политического облика великого сатирика и всего его творчества. Выдающийся деятель русской революционной демократии, Щедрин неизменно изображался то народником, то либералом.

Дореволюционное академическое литературоведение, тесно связанное с официальной идеологией самодержавия, естественно, не занималось изучением сатирика.

Литературное наследие Щедрина вследствие этого дошло до нас в значительно худшем состоянии, чем наследие большинства других русских классиков. Тексты были не собраны и во многом искажены царской цензурой, а их истолкование было фальсифицировано.

Мало что было сделано и для освещения жизни сатирика. Запас собранных и опубликованных до революции биографических материалов о Щедрина чрезвычайно скуден. Биографическая литература о нем состояла из весьма небольшого количества необработанных материалов и кое-каких воспоминаний.

Первоочередная задача советского литературоведения состояла в том, чтобы собрать и восстановить наследие одного из крупнейших и талантливейших писателей русской революционной демократии и самого выдающегося сатирика в мировой литературе XIX века. Наряду с этим предстояло, ввиду господствовавших вокруг Щедрина либерально-народнической путаницы и фальши, осветить с позиций марксистско-ленинского литературоведения общественно-историческое и художественно-эстетическое значение творчества сатирика.

Советское литературоведение выполняло эти первоочередные задачи. Выпущено первое действительно полное собрание сочинений великого сатирика. В многочисленных вступительных статьях к 20 томам этого собрания, как и

в самостоятельно напечатанных книгах и работах советских литературоведов, впервые все основные и главные произведения сатирика были рассмотрены в широких исторических связях с эпохой и ее классовой борьбой. Общим итогом такого изучения явилось то, что Щедрин был осмыслен исторически как идеолог того течения русской общественной мысли, которое В. И. Ленин называл «революционной демократией».

Таким образом была заложена первая основа для научного марксистско-ленинского понимания Щедрина и создана база для дальнейшей и разносторонней исследовательской работы по изучению жизни и творчества сатирика.

Тем самым были созданы общие предпосылки и для начального опыта обобщающего биографического исследования. Предлагаемая вниманию читателя книга является первой частью более обширного труда, посвященного биографии сатирика. Для этого труда, задуманного в плане широкого научно-документального описания жизни Щедрина, автор более десяти лет собирал архивные, библиографические и мемуарные материалы. Опираясь на эти материалы, как на новые, так и ранее известные, но проверенные, там, где это было возможно, по первоисточникам, автор ставил себе задачей достоверно описать жизнь Щедрина — очень трудную, мужественную и внутренне драматичную, а не только историю его произведений и его идейного и литературного развития.

Литературное наследие сатирика, его творческая и общественная биография стоят в центре внимания автора настоящей работы, но он стремится показать их в органической связи с жизнью писателя, с его бытом, ближайшим литературно-идеологическим окружением, со всей его деятельностью и общественно-политической борьбой, на широком историческом фоне эпохи.

Сказанным определяется место настоящей книги в ряду предшествующих биографических работ о Щедрине.

Первым трудом, специально посвященным изучению жизни и деятельности сатирика, явились «Материалы для биографии М. Е. Салтыкова», опубликованные К. К. Арсеньевым в январской и февральской книжках «Вестника Европы» за 1890 год. «Материалы» содержали преимущественно извлечения из некоторых бумаг, найденных в кабинете Салтыкова после его смерти, и относились

главным образом к его служебной деятельности. Более широкие задачи преследовала книга С. Н. Кривенко «М. Е. Салтыков. Его жизнь и литературная деятельность», вышедшая первым изданием в 1891 году (в «павленковской» серии «Жизнь замечательных людей») и затем дважды переизданная в 1896 и 1914 годах. В пределах крайне скудного биографического материала и в меру цензурных условий (автору пришлось, например, обойти молчанием такой важный эпизод, как правительственное задержание в 1884 году «Отечественных записок») С. Н. Кривенко стремился нарисовать широкую и цельную картину жизни сатирика, но, стоя на народнических позициях, правильно осмыслить ее не мог. И если его книга все же сохранила известное значение и по сей день, то преимущественно «мемуарное», поскольку автор, лично знавший писателя, часто опирался в своем изложении на собственные воспоминания и наблюдения.

Современные работы Д. О. Заславского, В. Я. Кирпотина, Н. Л. Мещерякова и Я. Е. Эльсберга представляют собой не биографии, а общие очерки жизни и творчества сатирика. Главное внимание в этих книгах (законно для их типа) уделено характеристике литературной деятельности и мировоззрения писателя. Биографическая проблематика как таковая в них не ставится и не разрабатывается, биографические материалы не обобщаются в надлежащем объеме, за исключением писем. Но и письма Салтыкова — ценнейший источник для биографии сатирика, введенный в науку преимущественно многолетними разысканиями и публикациями Н. В. Яковлева, — использованы в названных трудах слишком недостаточно для освещения жизни писателя.

Автор стремился в своей работе к максимально полному исследовательскому обобщению (но не публикаторскому использованию) всех наличных и доступных ему документально-биографических материалов. Однако «стремление не есть достижение», и автор очень далек от мысли, что ему удалось собрать и изучить всю существующую архивную документацию, относящуюся к предмету его исследования. Это дело будущего, далеко выходящее к тому же за пределы индивидуальных возможностей отдельного автора. Но все же и предлагаемая сейчас биография молодого Салтыкова опирается не только на автобиографические страницы «Пошехонской старины» и дру-

гих произведений, но и на вполне объективный, документальный материал.

Первая глава — «В «пошехонском» гнезде» — построена в значительной мере на материалах семейного архива Салтыковых. В ней впервые даются документально обоснованные характеристики родителей Салтыкова, вносящие, в частности, существенные коррективы в обычные представления об отце писателя, исследуется материальный и социальный фон детских лет жизни Салтыкова, воссоздаются, по документам, факты из первых лет его жизни.

Глава, посвященная годам учения Салтыкова, построена в основном также на новых материалах, извлеченных из архивов Московского дворянского института и Царскосельского (потом Александровского) лицея. Эти материалы дали возможность осветить соответствующие биографические периоды, опираясь на изучение подлинных документов, а не только на автобиографические страницы щедринской сатиры. Достаточно указать здесь, что о пребывании Салтыкова в Московском дворянском институте все предыдущие биографические очерки ограничивались, в лучшем случае, простыми упоминаниями.

Для центральной главы книги, посвященной юношеской биографии сатирика, — для главы о сороковых годах — заново изучены и использованы материалы из архивных фондов Канцелярии военного министерства (о службе и аресте Салтыкова), Аудиториатского департамента того же министерства (следственное и судебное дело петрашевцев), III Отделения (агентурные донесения Липранди и другие документы по делу Буташевича-Петрашевского, материалы так называемого Меншиковского комитета о первых повестях Салтыкова, полицейские справки о нем и дело об отправлении его в Вятку), дневник Н. В. Кукольника, письма В. Р. Зотова, рукописи В. Н. Майкова и др.

Наконец изложение последней главы — «В вятском плену» — опирается на материалы обширнейших архивных дел, относящихся к семилетнему пребыванию сатирика в Вятке, — к его служебной и общественной деятельности там под жандармско-полицейским надзором, к его борьбе за свое освобождение из ссылки и т. д. Наряду с основным фондом так называемых «вятских дел Салтыкова», хранящимся ныне в Институте русской литературы

АН СССР (Пушкинском Доме), в этой главе использованы материалы, извлеченные из ряда других архивных фондов, — Канцелярии военного министерства, Департамента полиции исполнительной министерства внутренних дел, Комиссии по принятию прошений на высочайшее имя, III Отделения, Казанского экономического общества, семейного архива Салтыковых, бумаг В. И. Танеева, С. А. Юрьева и других.

Наряду с архивной документацией во всех разделах книги широко использованы автобиографические материалы, содержащиеся в сочинениях Щедрина. Обращение к этому источнику, сравнительно мало привлекавшемуся до сих пор (за исключением «Пошехонской старины»), позволило дополнить и уточнить ряд моментов в биографии сатирика.

\* \* \*

Щедрин — явление громадного исторического значения. Значение это определяется, разумеется, не только гениальностью дарования писателя, его могучим художественным талантом. Великое неповторимое творчество Щедрина возникло из совокупности всех тех конкретно-исторических условий, в которых жил и создавал свои произведения сатирик.

Щедрин именно потому был великим художником, что писал всегда о самых коренных вопросах социальной жизни. «Значение его сатиры огромно», — утверждал Горький. И пояснял: «Невозможно понять историю России во второй половине XIX века без помощи Щедрина». Основным из всех вопросов окружавшей Щедрина исторической действительности являлся вопрос о подготовке буржуазно-демократической революции в России. Это вместе с тем и основная проблема щедринского творчества, из которой нужно исходить при его характеристике.

«Если перед нами действительно великий художник, — писал Ленин о Толстом, — то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях» («Лев Толстой как зеркало русской революции»). Ленинский критерий приложим и к Щедрину. Великий сатирик, правда, не дожил, подобно Толстому, до времени наступления первой русской революции. Но его литературная деятельность падает на эпоху подготовки этой революции, поскольку по определе-

нию Ленина: «1861 год породил 1905-ый». В своем творчестве Щедрин отразил основные, решающие черты исторического своеобразия периода собирания сил назревавшей «крестьянской буржуазной революции» (Ленин), причем отразил их с позиций наиболее передового направления общественной мысли своего времени — с позиций русской революционной демократии.

Вместе с лучшими людьми эпохи — своими идейными учителями, единомышленниками и соратниками — Белинским, Некрасовым, Добролюбовым и Чернышевским — Щедрин всем своим творчеством пламенно и страстно выражал чувства, говорящие о его близости к родному народу, к его освободительной борьбе. Он хотел, чтобы его творчество служило «кровному человеческому делу» освобождения общества от гнета эксплуататорского строя, и сам относил себя к числу тех «тружеников, которых сердца истекают кровью ради народа».

Испепеляющая гневная ненависть Щедрина к царскому самодержавию и его полицейско-бюрократическому аппарату, к крепостничеству, к дворянину-помещику, к купцу-капиталисту, к либералу, пошедшему на сделку с царизмом, вызывалась именно тем, что сатирик видел в них антинародные силы. Эти силы были повинны в неслыханных страданиях многомиллионных масс русского трудового народа, жившего «под игом безумия» крепостническо-буржуазного общества. Щедринская сатира объективно отразила в себе мощный революционный протест русского крестьянства, отданного после «освобождения» от крепостнического рабства на «поток и разорение» капиталистическим хищникам.

Социалист-утопист и революционный просветитель, Щедрин и с этих идейно-ограниченных позиций домарковского социализма сумел дать исключительно сильную критику частнособственнического мира и показать историческую неизбежность его гибели. Вместе с тем он высоко поднял в своем творчестве знамя любви к родине, наполнив понятие патриотизма демократическим содержанием. Щедрин был подлинно великим патриотом. «Я люблю Россию до боли сердечной, — заявлял он, — и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России». Он верил в революционные возможности родного народа, в его грядущее освобождение от «вековой кабалы», в осуществление тех

революционно-демократических и социалистических идеалов, которыми вдохновлялись его жизнь и творчество.

Чтобы проникнуться такой силой ненависти к врагам народа и такой же силой любви к народу, Щедрина нужно было, говоря его словами, «возвыситься до той сердечной боли, которая заставляет отождествиться с мирской нуждой». Щедрин достиг этого — в плане биографическом — потому, что решительно порвал с помещичье-дворянским классом, к которому принадлежал по рождению, и безоговорочно стал на сторону народа.

Вопрос о том, как, вследствие каких объективных исторических условий, благодаря каким внутренним предпосылкам и извне шедшим воздействиям «пошехонский дворянин» Салтыков превратился в великого революционно-демократического писателя Щедрина, — основной вопрос изучения его жизни. Этот вопрос находится в центре и настоящей работы. В ней исследуется путь первого тридцатилетия жизни Щедрина. На этом пути особое значение имели для него сороковые годы, когда в идейной школе Белинского были заложены основы революционно-демократического мировоззрения сатирика и началась его литературная деятельность, с первых же шагов приведшая его к политическому столкновению с самодержавием, аресту и ссылке.

Таким образом, предлагаемая книга охватывает лишь ранний этап жизни и деятельности Щедрина. Характеристика последующего, основного, периода биографии великого сатирика — периода 60—80-х годов — составит содержание второго и третьего томов настоящего исследования.

---



## В «ПОШЕХОНСКОМ» ГНЕЗДЕ

(1826—1836)

«Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой крепостной кабалы я видел в их наготе».

*Щедрин. «Мелочи жизни»*

Суровый обличитель и беспощадный судья феодально-крепостнического, помещичье-самодержавного строя старой России, Михаил Евграфович Салтыков (псевдоним Н. Щедрин), происходил по отцу из старинного дворянства, которое являлось классовой основой этого векового антинародного режима насилия, гнета и страданий.

Чтобы стать тем, кем он стал, — гениальным сатириком, социалистом и демократом, революционным просветителем, великим критиком не только дворянско-помещичьего и буржуазного строя, но и всего частнособственнического мира, — Щедрин должен был пройти большой и трудный путь идейного развития. На этом пути Щедрина приходилось прежде всего, как говорил Горький, «опустошать душу от личной биографии», то есть от воспоминаний о том прошлом, которое так или иначе соприкасалось с развращающим влиянием крепостнического рабства<sup>1</sup>.

Биографически-конкретная, основанная на подлинных фактах и документах, а не только на художественных обобщениях «Пошехонской старины», характеристика

условий, определивших первые жизненные впечатления и опыт будущего сатирика, отсутствует в его жизнеописаниях. Необходимо воссоздать эти условия, чтобы получить возможность определить отправной пункт последующего движения Салтыкова «из страны отцов» на позиции ее полного, революционного отрицания. В подготовке этого движения, определяющего собой основной смысл и пафос биографии сатирика, важную роль сыграли его детские годы, проведенные в древнем родовом «гнезде».

## ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

В автобиографическом письме 1887 года к С. А. Венгрову Щедрин указал: «Род мой старинный, но историей его я никогда не занимался» (XX, 293) \*.

Не только свободный от какого-либо культа дворянских традиций, но и сатирически-враждебно высмеивавший их, Щедрин все же знал основные факты своего родословия. Как показывают документы, он достаточно точно, хотя и художественно обобщенно, воспроизвел ближайшую историю своего рода в начальных страницах «Пошехонской старины». Источник сведений сатирика восходил, несомненно, к детским впечатлениям, к отцу Евграфу Васильевичу, с увлечением занимавшемуся генеалогическими изысканиями в отношении своего рода. На родине Щедрина, в городе Талдоме, бывшей Тверской губернии, посетителю, зашедшему в местный музей, носящий имя сатирика, показывают генеалогическое древо рода Салтыковых, изготовленное в 1804 году по заказу и под наблюдением отца писателя. Сделанное в виде панно из дорогого дерева с инкрустацией, украшенное пышным гербом, оно помещалось когда-то в самой обширной комнате помещицкого дома Спасской усадьбы — родовой вотчины Салтыковых и места рождения Щедрина — и должно было внушать посетителям уважение к древности и знатности рода ее владельца.

---

\* Цифры в скобках при щедринских цитатах обозначают: римские — том, арабские — страницу двадцатитомного «Полного собрания сочинений» Н. Щедрина (М. Е. Салтыкова), Гослитиздат, М. — Л., 1933—1941.

Генеалогические ветви древа возводят родословную Салтыковых к XIII веку, к потомству новгородца Михайла Прушанича (Прошанича, Прушенина), «мужа храбра и честна», чей сын Терентий прославил себя в Невской битве 1240 года. Далее показана не менее блестящая позднейшая история рода. Прямыми предками сатирика оказываются здесь именитые бояре, воеводы, послы, государственные и военные деятели и в их числе граф Петр Семенович — победитель Фридриха II в Семилетней войне. «Все сие, — говорится в официальном описании происхождения фамилии, — доказывается сверх Российской истории Бархатною книгою, справками архива Вотчинного департамента и родословною Салтыковых».

Действительность, не приукрашенная честолюбием заказчика родословного древа и «генеалогическим туманом» русских дворянских родословий, выглядит значительно скромнее. Подлинные документы, и в первую очередь самые надежные из них — «писцовые книги», разрушают пышную генеалогическую легенду о предках сатирика, как она зафиксирована в спасском родословии, в бумагах семейного архива и во многих печатных изданиях<sup>2</sup>.

Со стороны отца Салтыков принадлежал к старинному, но далеко не знатному и не влиятельному дворянскому роду, известному с шестидесятых годов XVI века.

Дальний предок сатирика — первый, о ком упоминают исторические источники, — Иван Данилов сын, в 1568 (7076) году владел поместьями близ Ярославля. Возникновение салтыковской вотчины в пределах будущей Тверской губернии относится, повидимому, тоже к XVI веку. Но первые, вполне определенные сведения о земельных владениях Салтыковых дают лишь «новые писцовые книги», составление которых началось в двадцатых годах XVII века, после «великого московского разорения», то есть крестьянской войны и польско-литовской интервенции<sup>3</sup>.

Тимофей Иванов сын Салтыков (потом Салтыков), по прозвищу Курган, принимал участие в войне с поляками. В 1630 (7138) году он был записан в число «дворян и детей боярских» и «верстан» поместьем и денежным окладами. По фамильным преданиям, закрепленным в ряде позднейших записей родового архива Салтыковых, именно тогда и попало в их владение село Спасское (названное так по находившейся здесь церкви Преображения

Спасова, постройки XVI века) — место рождения будущего сатирика. Однако первая ввозная грамота на это поместье датирована еще 1617 (7125) годом и дана не Тимофею Кургану, а его сыну Панфилу Тимофееву сыну Салтыкову. А через 10 лет в «писцовых книгах» 1627 (7135) года Спасское показано уже во владении «дмитровца» Тимофея Тимофеева сына Салтыкова (брата упомянутого) как «старое его поместье». Такое указание источника и дает основание утверждать, что время получения Салтыковыми Спасского, то есть земель в пределах будущей Тверской губернии, должно быть отнесено еще к XVI веку. О скромных размерах поместья, принадлежавшего по тогдашнему административному делению к Кузьмодемьянскому стану, можно судить по словам документа: «А в сем селе дворы — помещицъей, прикащицъей и один бобыльскый».

На протяжении всего XVII столетия тверские земли, закрепленные за Салтыковыми, не выходят из их рук. Следующая ввозная грамота на Спасское поместье датирована 13 мая 1653 (7161) годом. Она была дана царем Алексеем Михайловичем детям Тимофея Тимофеева, Степану и Ивану (последний умер в 1669 году в Севске) Тимофеевым «по их челобитию». Размер владения указан здесь в «двести на шестьдесят на четыре чети»\*.

Рост Русского государства в XVII веке, усиление его политической организации способствовали значительному расширению и укреплению служилого дворянского класса. В его руки переходит постепенно руководящая роль в аппарате управления растущей монархии, что последовательно сопровождается дальнейшим развитием дворянского служилого землевладения. Эти исторические условия и определяют судьбу Салтыковых в XVII веке.

Почти все они служат и значительно расширяют границы своих земельных владений, увеличивая при этом свои старые тверские поместья и приобретая новые в будущих Ярославской, Вологодской и Тамбовской губерниях. Но все же представителям этого рода не удается — ни политически, ни экономически — выбиться из рядов мелкопоместного провинциального дворянства. Лишь одному

---

\* Четь — русская земельная мера XVI—XVII вехов. В десятине считалось две чети.

Дмитрию Степановичу (умер в 1713 году) — правнуку Тимофею Кургана — удалось достигнуть высоких ступеней в служилой иерархии Московской Руси: в самом начале царствования Петра I он занимал придворную должность стольника.

Разгром старинных боярско-княжеских фамилий, сначала во время опричины, а затем в период так называемой «смуты», и выход на авансцену исторической жизни нового, служилого разряда феодального класса создали условия для возникновения в XVII веке многих русских дворянских родов. При этом, несмотря на новый принцип выдвижения людей не по «породе», а по способностям, за что настойчиво боролось служилое дворянство, оно, после победы над «боярщиной», очень скоро усвоило ее феодально-местнические традиции. В процессе своего начавшегося сословного обособления дворянство стремилось теперь, как ранее боярство, опереться на древность и знатность рода. Такая тенденция при «молодости» большинства служилых дворянских родов часто приводила к генеалогическим фальсификациям. Историческая литература указывает для XVII века ряд случаев, когда «худородные» дворяне присваивали себе знатные боярские фамилии или «приписывали» представителей этих последних к своему роду.

Так было и с теми Салтыковыми, от которых происходит сатирик. Основатель рода — упомянутый выше «дмитровец» Тимофей Иванов сын С а т ы к о в, по прозвищу К у р г а н, был «худородным». В официальных росписях и документах XVI—XVII веков не удалось обнаружить никаких сведений даже о его ближайших предках. Получив в 1630 году дворянство, став «сыном боярским», Тимофей С а т ы к о в решил приукрасить свое происхождение и начал именовать себя С а л т ы к о в ы м. Представители старинного и знатного боярского рода, носившие эту фамилию (потомки их получили позднее графские и княжеские титулы), оскорбились и били челом царю Михаилу Федоровичу о бесчестии. Жалобу уважили. Тимофею Сатыкову воспретили писаться Салтыковым, и, сверх того, по законам древней Руси, он был в Разряде бит батогами. Однако Сатыков все же продолжал именоваться Салтыковым и передал эту фамилию своему потомству. В XVIII веке приписка к чужому роду получила надлежащее оформление в правительственных и сословно-

дворянских документах и была, таким образом, признана официально.

Уже в начале XIX века, а именно в 1801 году, при составлении Гербовника для дворянских родов, в генеалогическую ветвь рода была вписана Прасковья Федоровна Салтыкова — супруга царя Иоанна Алексеевича (брата Петра I) и мать императрицы Анны Иоанновны. Тем самым было «установлено» родство ветви с царствующей династией Романовых. Сделано это было, насколько можно судить по сохранившимся документам, следующим образом. Среди представителей потомства Тимофея Сатыкова-Кургана, уже давно именовавшихся, как указано, Салтыковыми, нашелся его внук по имени Федор (Тимофей Курган — Симон — Федор). Неизвестно, были ли у него вообще дети, но отчество подходило, и Прасковью Федоровну Салтыкову обозначили в родословии его дочерью. На самом деле ее отец был знатный боярин Федор Петрович из того старинного рода, к которому при царе Михаиле Федоровиче и приписался Тимофей Сатыков-Курган. Как показывает одна из собственноручных пометок Евграфа Васильевича, причастность Прасковьи Федоровны к потомству Тимофея Кургана вызывала сомнения у отца сатирика. Занимаясь генеалогическими разысканиями, он сам заподозрил истину такого утверждения. Тем не менее в официальном описании происхождения своей фамилии, которое Евграф Васильевич получил в 1804 году вместе с гербом и родословием из Герольдии Сената, было сказано: «Рода Салтыковых Прасковья Федоровна Салтыкова была в супружестве за царем Иоанном Алексеевичем». Таким образом, еще одна легенда, точнее — фальсификация, получила официальное утверждение<sup>4</sup>.

Укрепление социально-политической роли служилого дворянства и оттеснение им старого родовитого боярства сопровождалось в XVII веке последовательным торжеством вотчинного землевладения над помещным. В связи с этим историческим процессом поместья Салтыковых стали в первой четверти XVIII века их наследственной собственностью, то есть *вотчиной*. Старый центр ее — село Спасское — на протяжении всего XVIII века находится в руках семьи Салтыковых. В связи с проведением губернской реформы вотчина включается в семидесятых годах в состав сначала Кашинского, а затем Калязинского

уезда Тверской губернии и по своему местонахождению в самом углу — одновременно и уезда и губернии — получает наименование Спасское, что на Углу, а также Спас на Углу и просто Спас-Угол.

В XVIII веке различные слои «служилых людей» Московской Руси оформляются в единое привилегированное сословие — дворянство или (по первоначальному наименованию) шляхетство. Одной из главных сословных привилегий дворян была служба в гвардейских полках.

В них в качестве офицеров мы видим и Салтыковых. Все они служат. Но и новое столетие не меняет положения их рода в целом. Салтыковы попрежнему затеряны в рядах глухого, провинциального, экономически маломощного дворянства. В делах дмитровской воеводской канцелярии, переданных позднее калязинскому земскому суду, сохранились, например, материалы, относящиеся к Богдану Ивановичу Салтыкову, прадеду сатирика. Материалы характеризуют Богдана Салтыкова как захудалого, вконец обедневшего мелкопоместного «шляхтича»: не имея нескольких рублей, чтобы заплатить дворянский сбор, он месяцами скрывался от сборщика и земской полиции. Но вскоре у него умерли, один за другим, два старших брата — Михаил и Яков. Будучи их наследником, Богдан Салтыков стал довольно крупным помещиком Калязинского уезда.

Щедрин знал историю своих ближайших предков и в «Пошехонской старине» использовал некоторые факты этой истории, а также фамильные предания. Как во всех своих произведениях, рисуя и здесь правдивую картину, Щедрин не воспроизвел пышных и воинственно-героических легенд о своем роде, зафиксированных в официальных документах.

Напомним, после всего сказанного о предках сатирика, начальные строки «Пошехонской старины»:

«Я, Никанор Затрапезный, принадлежу к старинному пошехонскому дворянскому роду. Но предки мои были люди смиренные и уклончивые. В пограничных городах и крепостях не сидели, побед и одолений не одерживали, кресты целовали по чистой совести, кому прикажут, беспрекословно. Вообще, не покрыли себя ни славою, ни позором... Это были настоящие поместные дворяне, которые забились в самую глушь Пошехонья, без шума собирали

дани с кабальных людей и скромно плодились. Иногда их распложалось множество, и они становились в ряды захудалых; но, по временам, словно мор настигал Затрапезных, и в руках одной какой-нибудь пощаженной отрасли сосредоточивались имения и маетности остальных. Тогда Затрапезные вновь расцветали и играли в своем месте видную роль.

Дед мой, гвардии сержант... был одним из взысканных фортуною и владел значительными поместьями. Но так как от него родилось много детей — два сына и девять дочерей — то отец мой... за выделом брата и сестер, вновь спустился на степень дворянина средней руки» (XVII, 37).

«Взысканность фортуной» деда сатирика Василия Богдановича (1727—1780), поручика лейб-гвардии Семёновского полка, заключалась в том, что он, приняв участие в известном дворцовом перевороте 1762 года, возведшем на российский престол Екатерину II, был щедро награжден новой императрицей. Получив награды, Василий Богданович в следующем же 1763 году выходит в отставку с чином капитан-поручика, женится на Надежде Ивановне Нечаевой (1742—1813), бабке сатирика, из купеческого рода (отец ее в одном документе назван «фабрикантом»), и навсегда обосновывается в доставшейся ему по наследству части оскудевшей тверской вотчины (вместе с братом Иваном он владел половиной села Спас-Угол). Василий Богданович умер, когда его единственному оставшемуся в живых сыну Евграфу, будущему отцу сатирика, исполнилось четыре года (родился в 1776 году).

## ОТЕЦ

Биографы Щедрина не проявляли до сих пор никакого интереса к человеку, который был отцом великого сатирика. Ничего не зная о Евграфе Васильевиче и даже не пытаясь узнать, они как бы молчаливо признали его существом бесцветным, ничем не примечательным, не сыгравшим в жизни семьи, а значит и в жизни будущего сатирика, никакой роли. Источник такого взгляда нужно видеть в малой разработанности биографии писателя и в слишком прямолинейном автобиографическом истолковании щедринских художественных произведений.



В отличие от образа матери, образ отца как будто бы действительно отразился в творчестве сатирика слабо и бледно. Игнатий Кузьмич Крошин в «Противоречиях», старый Головлев в хронике Головлевского семейства, наконец старик Затрапезный в «Пошехонской старине» — все это беглые, эскизные, при всем их мастерстве, зарисовки, особенно по сравнению с выступающей всюду на первый план сильной, «шекспировской», по оценке Тургенева, фигурой матери. Если судить только по этим образам и видеть в них биографически точные портреты Евграфа Васильевича, то надо будет в самом деле признать, что отец сатирика не только не оставил в его памяти сколько-нибудь яркого и определенного впечатления, но и не мог оставить вследствие полной своей бесцветности и убожества.

Однако прием безоговорочного автобиографического истолкования «Пошехонской старины», методологически вообще порочный, менее всего допустим как раз в отношении образа Василия Порфирыча Затрапезного. В этом «пошехонском дворянине», жалком и ничтожном прижималышке при собственной жене, как бы символизирующем собою меру духовного оскудения и хозяйственного унадка «пошехонской» среды, всю низменность и примитивность ее интересов, довольно трудно видеть достоверный портрет Евграфа Васильевича. В то же время ему, как мы увидим, были присущи в той или иной мере все черты образа Затрапезного.

Роль Евграфа Васильевича в биографии и творчестве Щедрина останется для нас непонятной, пока мы не выясним, что это был за человек и как его оценивал и судил в зрелые годы суровый сатирик.

Евграф Васильевич был единственным оставшимся в живых сыном Василия Богдановича, деда сатирика, умершего в 1780 году. Но семья была большая. У Евграфа Васильевича было шесть сестер — теток Михаила Евграфовича. Из них две, оставшиеся в девицах Мария и Анна, увековечены сатириком в образах «тётенек-сестриц» в «Пошехонской старине» и еще две, замужние Елизавета (за Абрамовым) и Олимпиада (за Воейковым), дали ему материал для образов «тётеньки Анфисы Порфирьевны» и «тётеньки сластены» в том же произведении. Забота о воспитании детей легла целиком на плечи матери — Надежды Ивановны, женщины с энергичным, повидимому, характе-

ром и, как показывают ее сохранившиеся письма, достаточно культурной и образованной. В одном из ее писем к сыну встречается, например, просьба достать для нее в Петербурге и прислать в Спасское известную книгу французского моралиста-просветителя Шарля Дюкло «*Considérations sur les moeurs de ce siècle*».

Хозяйственно-экономическое положение семьи было далеко не блестящим. Оставшаяся после смерти Василия Богдановича родовая вотчина была невелика и в территориальном отношении, и по числу душ («а во всех селениях мужеска полу двести восемьдесят восемь душ»). Это была средняя дворянская вотчина. К тому же она была раздроблена по целым пяти губерниям. Ее села, деревни, а также «полусела» и «полудеревни» находились в Тверской, Тамбовской, Ярославской, Вологодской и Костромской губерниях. Помещичье хозяйство было в этих условиях затруднено и экономически мало доходно. Сетования на нужду, на отсутствие денег проходят через все письма Надежды Ивановны<sup>5</sup>. Тем не менее она сумела обеспечить своему сыну образование, весьма незаурядное для провинциального, незнатного дворянина той поры.

По тогдашнему обычаю, юный Евграф в шестнадцатилетнем возрасте (в 1793 году) «был записан, — как сказано в одном из его автобиографических документов, — лейб-гвардии в Преображенском полку сержантом и продолжал науки на своем коште»<sup>6</sup>. Специальной целью обучения являлась подготовка юноши к карьере дипломата, о чем мечтала его мать<sup>7</sup>.

Учебные занятия проводились самой Надеждой Ивановной (сохранились, например, ее выписки-конспекты из всеобщей истории) и приглашенными учителями — отечественными и иностранными<sup>8</sup>. Помимо общеобразовательных предметов, Евграф Васильевич прошел специальный «курс военных наук» и изучил четыре иностранных языка, в том числе (уже позже, находясь на службе) голландский.

Указом Павла I от 1 января 1797 года Евграф Васильевич был исключен из военной службы, на которой числился, и «с того времени, — по его словам, — сделался чрезвычайно болен».

Потерпев неудачу, «исключенный гвардии сержант Евграф Салтыков» (так подписывался он в эту пору в официальных документах) попытался поправить свои дела при

новом царствовании. Окончив в 1800 году «курс наук», Евграф Васильевич в октябре следующего 1801 года обратился к Александру I с прошением. Заявляя о «предосудительности» для него — представителя древнего рода — «без звания быть в числе одних дворян» проситель ходатайствовал о пожаловании ему офицерского чина<sup>9</sup>.

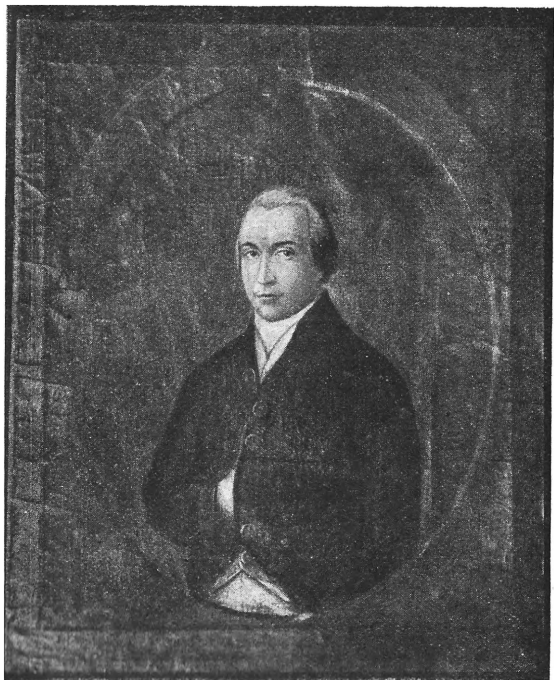
Чтобы содействовать хлопотам по этому прошению (оно осталось безрезультатным), Евграф Васильевич едет в том же 1801 году в Петербург. Он живет здесь у родственника и приятеля своей матери, известного графа Дмитрия Ивановича Хвостова, пресловутого стихотворца-«старовера», произведения и личность которого послужили позже неистощимым источником для шуток и насмешек в пушкинском кругу и были сатирически осмеяны в эпиграммах почти всех поэтов начала XIX века. Жизнь в доме Хвостова могла доставить Евграфу Васильевичу возможность общения со многими выдающимися людьми того времени, но никакими сведениями на этот счет мы не располагаем.

Сохранявшиеся до начала нынешнего века остатки библиотеки Евграфа Васильевича в Спасском и некоторые его бумаги в родовом архиве дают основание предполагать, что в годы своей молодости, проведенной в Петербурге в условиях еще сильных пережитков реакции павловского царствования, отец сатирика отдал дань увлечению масонской религиозностью и немецкими пиэтистами, произведения которых он переводил. Он оказался также причастным к полумасонской деятельности ордена мальтийских рыцарей, переведенного Павлом I в Россию и использованного для борьбы с революционной Францией. В 1802 году определением «священного совета» ордена Евграф Васильевич был «принят в число юстицких кавалеров великого приорства Российского» и ему был вручен «кавалерский крест державного ордена святого Иоанна Иерусалимского»<sup>10</sup>.

Полное (судя по отчаянным письмам Надежды Ивановны к сыну) самоустранение Евграфа Васильевича от всех хозяйственных дел пошатнуло материальное положение семьи настолько, что заставило его, уже в возрасте 28 лет, поступить на действительную службу. По понятиям того времени, когда служить начинали в 16—18 лет, это было слишком поздно и не сулило никакой карьеры. Так оно впоследствии и оказалось.

Службу себе Евграф Васильевич выбрал по склонности, а получил ее благодаря специально предпринятому «искательству». Он составил из различных иностранных источников, перевел на русский язык и издал со своими примечаниями капитальный трехтомный «Курс военной архитектуры» и труд свой «всеподданнейше» посвятил Александру I<sup>11</sup>. Евграф Васильевич рассчитывал извлечь из этого «дерзновения» немалую для себя пользу. Он надеялся «быть определенным в свиту его величества». Как водится, в ход были пушены связи и знакомства. Была сделана, в частности, попытка заручиться содействием Аракчеева, только что начавшего тогда новый (после воцарения Александра I) подъем своей карьеры<sup>12</sup>. Однако честолюбивые надежды Евграфа Васильевича оправдались лишь в малой мере. Вместо царской свиты он был определен в 1804 году «именным высочайшим указом» всего-навсего переводчиком в Петербургскую коллегию иностранных дел («по знанию разных языков и наук»). Начальник личной канцелярии царя граф Христофор Ливен, извещая об этом государственного канцлера (министра иностранных дел) князя Адама Чарторыйского, писал ему: «Его императорское величество, во уважение трудов, употребленных кавалером ордена святого Иоанна Иерусалимского Евграфом Салтыковым на перевод поднесенной его величеству книги под названием «Курс военной архитектуры с собранием чертежей», высочайше повелеть соизволил определить его в Государственную Коллегию иностранных дел с чином переводчика для продолжения службы по желанию его без получения жалования»<sup>13</sup>.

Желания не получать жалования у Евграфа Васильевича как раз не было. Наоборот, ради него-то он и определился на службу. Правда, вскоре Евграф Васильевич стал получать жалование, но оно было ничтожно, а положение чиновника самого привилегированного, аристократического по своему составу министерства империи обязывало к дорогостоящему образу жизни. Евграф Васильевич, стремившийся хоть несколько поправить свои материальные обстоятельства, попал, что называется, из огня да в полымя. Побуждаемый письмами матери, он делает попытку взять в свои руки хозяйство. Летом 1805 года он ходатайствует о предоставлении ему 4-месячного отпуска: «Имея необходимую надобность побывать



*Евграф Васильевич Салтыков*  
Портрет маслом работы крепостного художника  
Карла Никифорова, 1797 г.  
*Калининский областной музей*



в деревнях своих... так же и в Москве для распоряжения домашних дел моих...» — мотивирует он свою просьбу<sup>14</sup>. Однако из хозяйственных проектов непрактичного Евграфа Васильевича ничего не вышло. Не решаясь бросить службу, он в том же 1805 году переезжает в более дешевую для жизни Москву, в связи с чем переводится в Московский архив той же Коллегии иностранных дел.

Евграф Васильевич служит в Москве, изредка наезжая в свои подмосковные, целых одиннадцать лет. Но мы почти ничего не знаем и об этом периоде его жизни.

Известно лишь, что и в эти годы, как и раньше во время жизни в Петербурге, он посвящает свои досуги теоретическим занятиям механикой и астрономией, а также литературному труду. Он компилирует, конспектирует иностранные источники, переводит их, наконец пишет сам: сочиняет стихи. В разрозненных остатках личного архива Евграфа Васильевича сохранились, большей частью в отрывках, рукописи ряда его литературных работ. Среди них — перевод известной французской биографической повести XVIII века «*La vie du capitaine Cossard*» («Жизнь славнейшего моряка капитана Коссарда»), начало перевода знаменитых «Похождений Телемака» Фенелона, подробный конспект из немецкого пособия «*Aufgaben von der Artillerien*», ряд статей об астрономических приборах и «математических и физических забавах» из знаменитой Энциклопедии Дидро и Даламбера, а также из «Универсального лексикона» Цедлера и многое другое<sup>15</sup>.

Стихотворные произведения Евграфа Васильевича находятся за пределами художественно-эстетических суждений. Однако они интересны своей резко выраженной обличительно-сатирической окраской. Приведем два образца.

Вот пример в эпиграмматическом роде:

Где злое царствует — там что закон поможет!  
Там бедность продана и правды быть не может.

А вот интересный образец более развернутой стихотворной сатиры, связанной с отражением в российском быту наполеоновской континентальной блокады Англии. Стихотворение датировано 1807 годом, то есть годом, когда Россия присоединилась к блокаде, что вызвало резкое раздражение у русских помещиков, усмотревших в этом решении Александра I свое разорение.

## ПЛАЧ ЗДЕШНИХ ЖИТЕЛЕЙ

Как с Англией разрыв в коммерции открылся,  
То внутренний наш враг на прибыли пустился.  
Враги же в свете есть бесстыдные плутцы,  
Грабители людей, бесчестные купцы.  
На сахар цену вновь тотчас и наложили,  
Полтину стоит фунт, — рублем уж обложили!  
Не иностранный здесь, но внутренний грабеж.  
Потребно сим плутам назначить тот рубеж,  
Чтоб сахар прежнею ценою продавали  
И против совести двойной цены не брали.  
Сей мерзкий род не чтит ни веры, ни креста,  
Где есть барыш — продаст и самого Христа.  
Священные отцы! вы милость нам явите  
И лихоимцев всех в соборе прокляните.

С.П.Б.

*Ноябрь 11 день 1807 г.*<sup>16</sup>

При ознакомлении с рукописями Евграфа Васильевича трудно отделаться от впечатления, что на всех его литературно-научных занятиях и начинаниях лежит печать не только дилетантизма, но и неумения разумно организовать свой труд и обеспечить его целеустремленное приложение.

Служба не могла устранить все более нависавшей над Евграфом Васильевичем угрозы помещичьего оскудения и, по настоянию родственников, положение решено было поправить выгодным браком. Далеко не последнюю роль играли при этом и дворянские «сословно-династические» соображения о продолжении рода, прекращавшегося на Евграфе Васильевиче в случае его безбрачия и бездетности.

В Москве была найдена невеста — пятнадцатилетняя Ольга Забелина (Евграфу Васильевичу было в это время 40 лет). Она была дочерью богатого московского купца Михаила Петровича Забелина, сделавшего в 1812 году значительное пожертвование на армию и получившего за это чин коллежского асессора и потомственное дворянство<sup>17</sup>.

Подав в 1815 году в отставку и вскоре получив ее с наградным чином коллежского советника<sup>18</sup>, Евграф Васильевич женится (23 сентября 1816 года) и уезжает с молодой женой в свою родовую, почти уже разоренную вотчину поправлять дела на полученное приданое, которое,



однако, оказалось совсем не столь значительным, как он рассчитывал<sup>19</sup>.

В начале двадцатых годов Евграф Васильевич принимает решение вернуться на государственную службу. Он обращается к министру иностранных дел графу К. В. Нессельроде с просьбой о предоставлении должности в том же Московском архиве Коллегии иностранных дел. Одновременно Евграф Васильевич просит об исходатайствовании ему придворного звания камергера<sup>20</sup>. Но и эти последние попытки поправить неудачи служебной карьеры остаются безрезультатными.

Брак Евграфа Васильевича, с лихвой оправдав, как мы увидим, самые оптимистические ожидания материально-хозяйственного порядка, не принес ему личного счастья. С середины тридцатых годов отношения между родителями сатирика в силу всех резких различий — в возрасте, характере, социальном происхождении, воспитании, образовании и привычках, делавших этих людей по существу столь чуждыми друг другу, — часто переходили в состояние открытой и грубой вражды. Одной из причин ее были, как это явствует из семейной переписки Евграфа Васильевича, подозрения в супружеских изменах Ольги Михайловны, что не осталось тайной и для самих детей<sup>21</sup>.

Семейный конфликт скоро завершился полным подчинением слабовольного и уже стареющего Евграфа Васильевича своей властной молодой супруге. Следствием этого явилось еще большее, чем раньше, самоустранение его от участия в хозяйственных делах семьи и от управления ею. Церковь, богослужения да заботы о воспитании сыновей — вот все, что оставил в своем ведении Евграф Васильевич, вернее, что позволила ему оставить за собой его супруга. Массонско-мистические увлечения его петербургской молодости закономерно превратились в патриархально-помещичью церковность, приобретшую с годами черты показной набожности и ханжества.

«Управляя» богослужениями и заканчивая постройку каменного храма в Спасском, Евграф Васильевич вносил в свои отношения с церковнослужителями по существу вполне крепостническую практику. Но в то же время он любил разыгрывать роль христианской «овцы» перед своими «духовными пастырями».

«Церковь, как и все остальное, была крепостная, — писал Щедрин, — и поп при ней — крепостной» (XVII, 65).

Священника вотчинной церкви Салтыковых, полуграмотного, выслужившегося из дьячков, но, по отзыву сатирика, «домовитого и честного старика» Ивана Яковлевича Новоселова, даже в глаза называли «Ванькой». Как и крепостные крестьяне, сельский «батюшка» дни и ночи должен был обрабатывать свой ничтожный кусок земли, чтобы свести концы с концами. При этом Евграф Васильевич, любивший частые и долгие церковные службы, «по уставу», постоянно отрывал священника от хозяйственных работ, платил же за требы скупое. Считая себя авторитетом в вопросах богослужения, Евграф Васильевич не стеснялся вслух поправлять «пастыря» в церкви и вступал с ним в громогласные пререкания, переходившие иногда даже в поучения действиями. Доведенный до нищеты и отчаяния, Новоселов несколько раз пробовал жаловаться духовному начальству, как о том свидетельствуют документы Тверской консистории<sup>22</sup>. Но жалобы неизменно заканчивались торжеством помещика и униженными мольбами пострадавшего о прощении.

Черты ханжества в характере Евграфа Васильевича рельефно вырисовываются из следующего свидетельства священника села Спасского К. Гиляровского: «До церковнослужителей Евграф Васильевич был самый гостеприимный человек, тот чай для него был самым вкусным, когда оный пил в присутствии священника. Когда идешь из его дома, то он взором своим всегда был спутником до тех пор, пока не скроешься из вида. Примолвит своему человеку: «Он ушел, бог ему спутник», — и осенит вслед крестным знамением»<sup>23</sup>. Эти строки вполне могли бы относиться и к Иудушке Головлеву, в образе которого отразились кое-какие черты Евграфа Васильевича, хотя и взятые непосредственно от его старшего сына Дмитрия, унаследовавшего и приумножившего отцовскую набожность и ханжество.

Уединившись в тиши своего кабинета от хозяйственной сутолоки управления вотчиной, Евграф Васильевич, повидимому, до конца дней своих сохранял интерес и привычки к некоторым формам и видам умственного и литературного труда, в том числе к чтению новых журналов, которые он выписывал для своей библиотеки. Об этом свидетельствует отзыв представителя церковной обличительной литературы И. Беллюстина, дважды посетившего Евграфа Васильевича в конце сороковых годов.

«Получив прекрасное образование, — пишет Беллюстин в своей «Записной книжке пешехода», — он весьма счастливо начал свою службу в С.-Петербурге. В немного лет службы, неутомимо деятельной, он уже имел чин коллежского советника и орден. Будущее его было завидно, но кого не обманывало обольстительное будущее? И для Салтыкова не суждено было сбыться ничему, на что он по всем вероятностям мог рассчитывать после такого прекрасного начала. Встретились неприятности по службе, и он должен был оставить ее». Дальше Беллюстин описывает отца сатирика в период, когда лично узнал его. По словам автора дневника, Евграф Васильевич время «от утренней молитвы до обеда» проводил за чтением книг из своей библиотеки, состоявшей преимущественно из иностранных авторов. «Еще во время службы, — продолжает Беллюстин, — он успел приобрести все, что только ученые Франции и Германии произвели лучшего; и с ними-то беседовал теперь он, осудивший себя на самое глубокое уединение. По временам занимался он механикой, которую особенно любил в дни своей молодости. После обеда, если только можно назвать обедом то, что ел он (весьма часто кусок хлеба с водой), он спешил к своим друзьям больным, к своим и чужим крестьянам»<sup>24</sup>.

Однако под личиною набожности, «человеколюбия» и внешней образованности скрывался обычный помещик-крепостник, пожалуй даже более жестокий и бездушный и во всяком случае более лицемерный, чем сама властная хозяйка салтыковской вотчины. Характерно, что в своих письмах к жене Евграф Васильевич не раз укорял ее в излишней «жалости» к крестьянам. Конечно, у Ольги Михайловны это объяснялось отнюдь не жалостью к крепостным, а той помещицьею расчетливостью, о которой Щедрин писал в «Полесье»: «Изнурять эту рабочую силу не представлялось расчета, потому что подобный образ действия сократил бы барщину и внес бы неустройство в хозяйственные распоряжения. Поэтому главный секрет... помещичьего управления заключался в том, чтобы не изнурять мужика, но в то же время и не давать ему «гулять» (XVII, 273). Не способный к практической деятельности, Евграф Васильевич, как показывают хозяйственные распоряжения его, сохранившиеся в семейном архиве, пытался компенсировать собственную неумелость как раз путем «изнурения мужика».

## МАТЬ

Ольга Михайловна Салтыкова, рожденная Забелина (1801—1874), мать сатирика, была человеком совсем иной, прямо противоположной психологической складки, чем ее муж.

«Отец, — говорил Щедрин, — вовсе не имел практического смысла и любил разводить на бобах, мать, напротив того, необыкновенно цепко хваталась за деловую сторону жизни, никогда вслух не загадывала, а действовала молча и наверняка».

Все отзывы современников единодушно рисуют ее женщиной с сильным, почти деспотическим характером, по своему очень одаренной, обладавшей незаурядным практическим умом, деловой сметкой и неистощимой энергией.

«Властная женщина была бабушка моя Ольга Михайловна, — сообщает в своих еще неизданных воспоминаниях племянница сатирика О. И. Зубова, — властная и подчас казавшаяся даже грозной. Женщина недюжинного ума, «министр в юбке», как отзывались о ней соседи-помещики, она долгие годы держала в повиновении и мужа, и детей, и даже весь наш уезд. К ней прибегали за советом и помощью в делах общественных и семейных, и везде она безапелляционно вершила суд и расправу»<sup>25</sup>.

О «чрезвычайно властном характере» матери сатирика говорит с его слов в своих известных «Воспоминаниях» и близкий друг его доктор Н. А. Белоголовый<sup>26</sup>.

«Боярыней Морозовой» назвал Ольгу Михайловну знавший ее в пятидесятые — шестидесятые годы Е. И. Якушкин — юрист и этнограф, сын декабриста, имел в виду, конечно, опять-таки крутость, непреклонность, властность ее нрава<sup>27</sup>.

А сам Салтыков, несомненно, именно от матери унаследовавший ряд черт: резкую прямогу, не знавшую никаких условных смягчений и потому казавшуюся современникам грубостью, суровую трезвость мышления, энергию деловитости, наконец отличавшее его всегда чувство самостоятельности и независимости, — охарактеризовал однажды Ольгу Михайловну по-щедрински выразительным, но и по-щедрински же мало почтительным словом «кулак-баба».

Впечатление от сильной и яркой фигуры матери, как и от всей ее деятельности, оставило глубокий след в твор-

честве Щедрина. Образ матери, с большим или меньшим художественным видоизменением прототипа, наличествует во многих произведениях сатирика — от первого до последнего. Не касаясь второстепенного, перечислим здесь основное.

Марья Ивановна Крошина из «Противоречий» (1847) — первое самое раннее претворение типа властной помещицы-стяжательницы. Госпожа Падейкова (1859) — уже более развернутая социальная и психологическая характеристика. Марья Петровна Воловитинова из «Семейного счастья» (1863) — целостный художественный портрет, являющийся, однако, лишь небольшим этюдом к щедринскому шедевру, — Арине Петровне Головлевой из «Господ Головлевых» (1875—1880). Наконец Анна Павловна Затрапезная из «Пошехонской старины» (1886—1889) — последний и столь же сильный и совершенный, как и Арина Петровна Головлева, художественный образ, живой моделью которому послужила все та же Ольга Михайловна Салтыкова. Последняя умерла в 1874 году, и, вероятно, не случайно сразу же после ее смерти Щедрин стал писать хронику «Господ Головлевых» — этот подлинный «памятник позора» — всему исторически умиравшему и вырождавшемуся российскому дворянско-помещичьему роду и — шире — всему миру сословного своекорыстия и частнособственнической морали, гениально переплавив в образы огромного художественного и историко-философского обобщения факты и эпизоды из жизни родной ему по крови семьи «господ Салтыковых». Трагедия старухи Головлевой, положившей всю свою жизнь на алтарь служения семье и оказавшейся в конце пути перед неотвратимой и страшной «пустотой умертвий» головлевского гнезда, с его жутким владельцем Иудушкой, — это объективно, как будет показано, также и трагедия Ольги Михайловны и ее «семьестроительства».

Реально-портретную основу в образе Арины Петровны угадал уже один из первых читателей «Господ Головлевых» — И. С. Тургенев. В 1875 году он писал сатирику из Буживаля: «Я вчера получил октябрьский номер <«Отечественных записок»> — и, разумеется, тотчас прочел «Семейный суд», которым остался чрезвычайно доволен. Фигуры все нарисованы сильно и верно: я уже не говорю о фигуре матери, которая типична — и не в первый раз появляется у Вас — она, очевидно, взята

живьем — из действительности»<sup>28</sup>. Недаром появление в печати «Господ Головлевых» вызвало взрыв негодования против автора со стороны его близких и порвало последние нити его родственного общения с ними.

Властность в отношении своих детей Ольга Михайловна сумела сохранить до конца. Почти до самой смерти матери Салтыков находился под ее деспотической опекой в материально-имущественных делах. Так, уже в 1865 году, будучи в Пензе «вторым лицом после губернатора», он, например, писал П. В. Анненкову: «Милая моя родительница засекуэстровала все доходы с моего имения и я решительно оставлен теперь на произвол судеб и министерства финансов»<sup>29</sup>.

И уже в семидесятых годах суровый сатирик, встречи с которым побаивались многие, даже именитые, литераторы, сам недавний грозный начальник (штатский генерал) на крупных бюрократических постах, он писал своей матери письма с такими же формулами беспрекословной сыновней почтительности, как и в детские годы. «Любезная маменька, извините, что отвечал Вам не сейчас, как Вы этого требовали...»; «Прощайте, милая маменька, целую Ваши ручки и, желая Вам всего лучшего, остаюсь преданный сын Ваш» (XVIII, 274) — таковы обычные «начала и концы» этой поздней переписки сатирика с матерью, с которой его уже давно ничто не связывало, кроме навязанных ему тяжелых имущественных дел по разделу наследства.

По купеческому обыкновению, образования Ольге Михайловне не дали никакого; ее не выучили даже как следует грамоте, и она до конца дней своих писала по-русски без всякой орфографии. Но сохранившиеся письма ее показывают вместе с тем, что у нее были прирожденные чутье и вкус к выразительному, богатому и энергичному языку московского «простонародья». У нее была и ярко выраженная сатирическая темпераментность в пользовании словом, подчас весьма грубоватого свойства. Те же хлесткие словечки, те же ни с чем несравнимые, своеобразные меткие выражения, в двух словах определяющие положение так, как другой не скажет и в целой речи, характеризовали, по свидетельству О. И. Зубовой, живую речь не только сатирика, но и его матери. Уже став помещицей, она при помощи мужа, с грехом пополам, выучи-



*Ольга Михайловна Салтыкова*  
(рожд. Забелина)  
Фотография 1860-х гг.





лась французскому языку. Этим ее воспитание и завершилось.

«Хотя матушке было только пятнадцать лет, когда она вышла замуж, — читаем в «Пошехонской старине», — но молодость как-то необыкновенно скоро соскочила с нее. Ходило в семье предание, что по началу она была веселая и разбитная молодка, называла горничных подружками, любила играть с ними песни, побегать в горелки и ходить веселой гурьбой в лес по ягоды. Часто ездила в гости и к себе зазывала гостей, и вообще не отказывала себе в удовольствиях. Очень возможно, что она и навсегда удержалась бы на этой стезе, если б не золовки < «тётеньки-сестрицы» — Марья и Анна Васильевны Салтыковы >. Они с самого начала вознамерились сделать из нее нечто вроде семейной потехи и всячески язвили ее колкостями, в особенности допекая по поводу недоданного приданого. Однакоже отец, как человек слабохарактерный, не поддерживал их. На первых порах он даже держал сторону молодой жены и защищал ее от золовок, и как ни коротко было время их супружеского согласия, но это было достаточно, чтоб матушка решилась дать золовкам серьезный отпор. Года через четыре после свадьбы, в ее жизни совершился крутой переворот. Из молодухи она как-то внезапно сделалась «барыней», перестала звать сенных девушек подруженьками, и слово «девка» впервые слетело с ее языка, слетело самоуверенно, грозно и бесповоротно... Этим сразу старинные порядки были покончены... Все дворяне почувствовали, что над ними тяготеет не прежняя суетлока, а настоящая хозяйская рука, покамест молодая и несомытная, но обещающая в будущем распорядок и властность» (XVII, 115—116).

Семейная переписка, сохранившаяся в родовом архиве, подтверждает биографическую точность щедринского художественного рассказа.

В первые годы замужества положение Ольги Михайловны было действительно до крайности беспомощным и приниженным. С особенной враждебностью отнеслись к ней, «купчихе», золовки, сестры Евграфа Васильевича, еще в большей мере, чем он сам, зараженные дворянской спесью и кичливостью. Они доставили много горя своей молодой невестке, почти девочке по годам, а она возненавидела их и прониклась презрением к бесхарактерности мужа, не сумевшего защитить ее. Пережитые обиды и

оскорбления не были забыты и часто служили впоследствии источником для раздраженных упреков и горьких напоминаний. «Не от людей и родных, а от тебя и твоих сестер, старых дев, слышу и жалована я пороками... — писала, например, Ольга Михайловна мужу в письме от 18 апреля 1834 года. — Будете судимы за мою невинность. Ребенка взяли и весь мой нрав перекривляли. За неволью с вами станешь грызться, ибо вы, как змеи, жало в сердце человеческое запускаете. Все твои такие сестры... А ты, батюшка, готов помочь ругать свою жену... Суди и взыщи за невинного ребенка, взятого сиротою 15 лет тобой, господь бог...»

Однако приниженное положение Ольги Михайловны в семье мужа продолжалось недолго. Вскоре она сумела не только защитить себя, но и подчинить своей деспотической воле всех домочадцев. Впоследствии она с большой жестокостью доказала мужу и золовкам — «тётенькам-сестрицам», — что память у нее относительно обид не короткая.

С начала двадцатых годов девятнадцатилетняя Ольга Михайловна постепенно забирает в свои руки дела по хозяйству и впоследствии ведет их с бесконтрольной единоличной властью.

«Я не привыкла бариться», — заявляет Ольга Михайловна мужу, в одном из писем, в ответ на его недовольство слишком, по его мнению, непосредственным, личным участием жены в прозе хозяйственной деятельности, что истолковывается Евграфом Васильевичем как поведение, «неприличное дворянскому званию». И действительно, в захирелое дворянское гнездо она вносит совсем не дворянскую деловитость, расчетливость, купеческую сноровку, а более всего буржуазную страсть к приобретательству и буржуазную же добродетель бережливого накопления. Во все отрасли хозяйства она вводит меру, вес и счет. Приостановив в какие-нибудь два-три года дальнейшее оскудение салтыковской вотчины, Ольга Михайловна весьма энергично приступает к ее расширению и хозяйственно-экономическому переустройству, к «сколачиванию капитала для детей», как она любила говорить.

Пути к увеличению доходности вотчины лежали как в области роста земельных приобретений, так и в сфере различных форм и методов усиления эксплуатации крепостного крестьянского труда. О содержании и масштабах

деловой активности Ольги Михайловны на путях приобретательства дают представление ее многочисленные письма, сохранившиеся в семейном архиве. Это подлинная летопись хозяйственно-экономической истории салтыковской семьи и их вотчины. Основным, часто исключительным, содержанием обширных писем Ольги Михайловны (к мужу, детям, родственникам, деловым контрагентам) являются подробные описания ее приобретательских походов — «подкарауливания» и выгодной скупки земель, — информации о бесконечных и непрерывных «тяжебных делах», просьбы и поручения, связанные с последними, разнообразнейшие распоряжения по хозяйству и относительно крепостных крестьян.

Определенную психологическую окраску всей этой деловой корреспонденции придают два мотива, выразительно проходящие через все письма Ольги Михайловны: удовлетворение и гордость своими достижениями на поприще приобретательства и одновременно жалобы на свое «несчастное положение» бескорыстной труженицы, «добытчицы» для всей семьи, не видящей со стороны последней ни благодарности, ни простого признания своих заслуг. «Живу совершенно для семейства, для всех вас, домашних, обо всех хлопочу, а мне же спасибо нет», «Напрасно вы об моей жизни заботитесь, оная без награды от семейства для меня не нужна», «Семейство— вот вся моя жизнь», «Семейству служу» — такие заявления и сентенции, часто повторяемые в письмах Ольги Михайловны, должны быть специально отмечены в связи с тем, что было сказано выше о реально-генетическом родстве матери сатирика с образами Арины Петровны Головлевой и Анны Петровны Затрапезной. У последних, как и у первой, «слово семья не сходило с языка». И у них, как у Ольги Михайловны, «служение семье», а по существу частнособственническому фетишу семьи, играло в сознании психологическую роль *primo motore* — первого двигателя — всей их деловой активности, и оно же предопределило и для обеих героинь Щедрина и, объективно, для его матери глубокий трагизм их конечных жизненных итогов.

Но эти итоги были еще далеко впереди. А пока Ольга Михайловна имела основание быть удовлетворенной своими достижениями. Выгодно ликвидируя раздробленные, мелкие, убыточные поместья старой салтыковской вотчины (в дальних губерниях), значительно усиливая эксплуата-

цию крепостного труда, прибегая к опытам промышленного предпринимательства, не брезгуя ростовщическим методом извлечения доходов<sup>30</sup>, соблюдая во всем экономии и скапливая этими и другими способами в своих руках необходимые средства, «сколачивая рубли по копейкам», по собственному выражению, Ольга Михайловна за первые тридцать лет своего хозяйствования увеличила владения семьи в 9—10 раз. К основному ядру салтыковской вотчины, с селом Спас-Угол в центре, в промежутке времени между 1816—1849 годами она присоединила много новых земель, скупленных у соседей<sup>31</sup>. Покупались Ольгой Михайловной и отдельные небольшие селения в сто — двести десятин земли с десятками душ крестьян, приобретались и сотни душ крепостных с тысячами десятин земли. Из всех этих приобретений самым крупным была покупка богатого села Заозерья с 21 деревней в Угличском уезде.

Общие итоги хозяйственной деятельности Ольги Михайловны выразительно определяются следующей справкой. Когда она брала в свои руки хозяйство, у Евграфа Васильевича было всего 275 душ крепостных (из них в Спасском 171), и все его поместья, вместе взятые, давали около 2000 рублей годового дохода. Перед реформой (данные 1855 года) за Евграфом Васильевичем числилось в Тверской и Ярославской губерниях 350 душ, а за Ольгой Михайловной в тех же губерниях — 2527 душ. Всего, таким образом, семья владела почти 3000 душ крепостных и 17618 десятинами земли. Только одни денежные поступления с поместий Спасского и Ермолина превысили в 1852 году 25 000 рублей<sup>32</sup>. Из средних и даже захудалых помещиков Салтыковы в течение 30 с небольшим лет стали крупнейшими землевладельцами. Этот результат был достигнут деятельностью Ольги Михайловны, сыгравшей в тридцатых — сороковых годах подлинную роль Ивана Калиты для захудалой и раздробленной салтыковской вотчины, чем и определяется исключительность занятого ею положения в семье. В «Пошехонской старине» Щедрин, видимо, очень точно передает отношение членов семьи Салтыковых к «приобретательским подвигам» Ольги Михайловны в разговоре детей Анны Павловны Затрапезной:

«Они называют ее «молодцом», говорят, что у ней «губа не дура» и что, если бы не она, сидели бы они

теперь при отцовских трехстах шестидесяти душах. Даже голос постылого «балбеса» сливается в общем хвалебном хоре — до такой степени все поражены цифрой в три тысячи душ, которыми теперь владеют Затрапезные.

— Этакую махинуцу соорудила! — восторженно восклицает Степан.

— И мы должны вечно ее за это благодарить! — отзывается Гриша» (XVII, 84).

Детские, а отчасти и юношеские годы сатирика прошли в условиях наибольшего подъема и успехов «сооружения махинуцы», состояния помещиков Салтыковых. Возникшие на этой почве психология стяжательства, культ наживы, своекорыстные и прочие низменные страсти не могли не затронуть всех членов обширной семьи и не привести ее через мрачные, «головлевские», прелиминарии тяжелых имущественных ссор и розней к полному распаду. Как будет показано дальше, будущий сатирик, великий обличитель и судья «головлевского мира», признавал, что он сам был затронут в детстве развращающими воздействиями семейной среды. Но еще в ранней юности он сумел встать на путь решительного преодоления этих и других элементов «пошехонского» наследия, что образует одну из своеобразных особенностей биографии писателя.

### САЛТЫКОВСКАЯ ВОТЧИНА

Реформированная Ольгой Михайловной к тридцатым годам семейная вотчина Салтыковых состояла из трех главных частей: 1) тверского старого ядра с селом С п а с У г о л и деревнями в Калязинском уезде; 2) новых владений в том же Калязинском уезде, с селом Е р м о л и н ы м в центре, и 3) ярославской части вотчины, с селом З а о з е р ь е Угличского уезда в центре. В «Пошехонской старине» указанные три центра салтыковской вотчины соответственно изображены под названиями «М а л и н о в ц а», «Б у б н о в а» и «З а б о л о т ь я».

Поместья Салтыковых находились в тех районах, где проникновение капиталистических отношений в помещичье хозяйство чувствовалось в двадцатых — тридцатых годах уже очень сильно.

Обилие ярмарок и торговых сёл, близость богатых волжских пристаней и таких центров торговли, как Мо-

сква, Тверь, Дмитров, Углич, Рыбинск, Ярославль, широкое развитие кустарных промыслов и мануфактур — все эти факторы расшатывали крепостное хозяйство, подчиняли его экономике товарно-денежных отношений. Сбыт на рынки сельскохозяйственных продуктов и изделий имел значительное распространение. Развитие торгового оборота повышало роль денег в помещичьем хозяйстве. Стремясь к увеличению доходности своих имений, помещики изыскивали все новые способы повышения производительности крестьянского труда, что приводило к дополнительному усилению крепостнического гнета.

«Крепостное хозяйство в Калязинском уезде, — пишет исследователь экономики салтыковской вотчины А. Н. Вершинский, — отличалось <в 20—40-х гг.> интенсивными формами эксплуатации крестьянского труда». Недаром современники рисуют помещичью среду этого уезда как «отвратительную, скаредную и озлобленную». Именно здесь помещики «старались сколотить капиталец», ограничивая себя в мелочах, жестоко расправляясь с крестьянами и дворовыми<sup>33</sup>. Родной уезд Салтыков называл «угрюмым». «Этот уголок губернии, — вспоминал о родине Салтыкова его земляк и близкий друг А. М. Унковский, — был самым несчастным; крепостное право доходило в нем до ужаса... помещики даже морили себя голодом из экономии»<sup>34</sup>.

Все эти характеристики полностью приложимы к салтыковскому поместью и его владельцам. Всем существом своей купеческой натуры Ольга Михайловна «льнула к капиталу» и приобретательству. В основе ее экономической практики лежало не столько уже занятие традиционно-патриархальным «помещичьим делом» — крепостным сельским хозяйством — с запашками, сборами урожаев и т. п., сколько погоня за выгодными приобретениями земель и крепостных крестьян и усиленная эксплуатация последних путем чрезвычайно широкого применения оброчной и преимущественно денежной системы. А. Н. Вершинский сообщает по этому поводу: «Сравнивая данные о крепостном хозяйстве калязинской части салтыковской вотчины с общеуездными, видим, что... по высоте денежного оброка с тягла салтыковские селения занимали одно из первых мест»<sup>35</sup>.

В некоторых частях салтыковской вотчины, в частности в ярославских деревнях, сельскохозяйственная эксплуата-

ция земли самими помещиками к тридцатым годам почти полностью отсутствовала. В «Пошехонской старине» читаем по этому поводу: «...у отца, кроме рассеянных в дальних губерниях мелких клочков, душ по двадцати, считалось в Малиновце триста душ крестьян, которые и отбывали господскую барщину. Матушкино имение (благоприобретенное) было гораздо значительнее и заключало в себе около трех тысяч душ, которые все без исключения ходили по оброку. Матушка охотнее покупала оброчные имения, потому что они стоили дешевле и требовали меньше хлопот, а норма оброка между тем никаким регламентам не подвергалась, и, стало быть, ее можно было при случае и увеличить» (XVII, 272). Погоня за накоплением денежных средств, необходимых для покупок земельных владений и крепостных душ, толкала Ольгу Михайловну даже к опытам промышленного предпринимательства (постройка двух стекольных заводов) и к энергичному поощрению развития кустарных промыслов среди оброчных крестьян. Сохранившиеся в семейном архиве денежно-хозяйственные документы и переписка Ольги Михайловны показывают, что в тридцатые — пятидесятые годы известную роль в процессе накопления капиталов играло также ростовщическое использование денег, то есть кредитование за высокие проценты богатеев из числа оброчных крепостных. А таких было немало в салтыковской вотчине, особенно в ярославской ее части — в богатом торговом селе Заозерье, подлинном рассаднике в тридцатые — шестидесятые годы будущих героев щедринской сатиры — деревенских «столпов» и «мироедов», Колупаевых и Разуваевых.

Обстоятельства приобретения Ольгой Михайловной в 1829 году (но ввод во владение в 1832 году) Заозерья отражены в «Господах Головлевых», в рассказе Арины Петровны своим детям о ее первой покупке, открывшей ряд дальнейших земельных приобретений:

«И денег-то у меня в первый раз всего тридцать тысяч па ассигнации было, — повествует Арина Петровна, — папенькины кусочки дальние, душ со сто, продала, — да с этою-то суммой и пустилась я, шутка сказать, тысячу душ покупать! Отслужила у Иверской молебен, да и пошла на Солянку счастья попытать. И что ж ведь! Словно видела заступница мои слезы горькие — оставила-таки имение за мной! И чудо какое: как я тридцать тысяч, окроме казен-

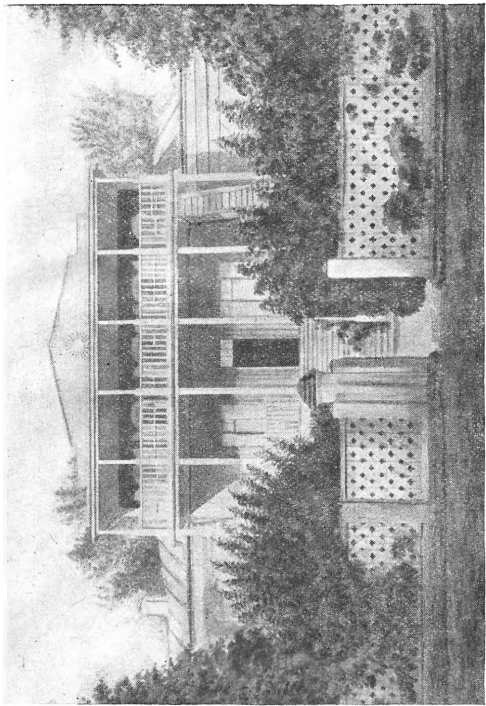
ного долга, надавала, так словно вот весь аукцион перерезала!» (XII, 67).

Щедрин весьма точно передает запавший ему с детства неоднократно слышанный рассказ Ольги Михайловны об истории покупки Заозерья (ср. в «Господах Головлевых»: «Арина Петровна много раз уже рассказывала детям эпопею своих первых шагов на арене благоприобретения...»).

Действительно, часть села Заозерья, с относящимися к ней 18 деревнями и 1002 душами, принадлежавшего трем владельцам (ранее это была единая вотчина князей Одоевских), была куплена О. М. Салтыковой у надворной советницы Рославлевой именно за ту сумму, которую называет Щедрин, — за тридцать тысяч, кроме государственного долга, и именно с аукционного торга в Московском опекуновском совете, помещавшемся на Солянке. Покупке, опять-таки в точном соответствии с рассказом в «Господах Головлевых», предшествовала продажа дальних вотчин Е. В. Салтыкова в Тамбовской и Костромской губерниях. Позже (в 1852 г.) Ольга Михайловна приобрела и остальные части заозерского имения, принадлежавшие князьям Волконским и Репниным<sup>36</sup>.

Заозерье подробно описано Щедриным в главе «Заболотье» из «Пошехонской старины» (ср. также «Заовражье» в «Губернских очерках»). В этой главе, автобиографичность которой устанавливается рядом весьма точных соответствий щедринского текста с документально-архивными и краеведческими материалами, а также с местной топонимикой<sup>37</sup>, Салтыков так вспоминает свои детские впечатления от ярославского поместья матери: «...В селе считалось достаточное количество богатеев — они-то и сообщали селу характер зажиточности и даже щегольства. Некоторые из них делали обороты на десятки тысяч, а иные имели лавки в Москве». В числе крепостных крестьян заболотской вотчины был даже один, по фамилии Бодрцов, которого называли «барином». Действительно, у него было собственных пятьдесят душ крестьян, купленных на имя прежнего владельца. Впрочем, как свидетельствует Салтыков, «когда имение было куплено матушкой, она с крестьянами Бодрцова поступила на законном основании, то есть осуществила свое помещичье право на них *de facto*» (XVII, 163). «Но большинство крестьян, — продолжает свои воспоминания Салтыков, — было бедное, существовало впроголодь, ютилось в ветхих,





*Дом (ныне не существующий) в селе Спас-Угол, в котором  
родился и провел свои детские годы М. Е. Салтыков*

*Картина художника Б. В. Грозевского по фотографии 1870-х гг.  
Государственный Литературный музей, Москва.*



сле живых клетушках и всецело находилось под пятой у богачеев... Довольно часто по вечерам матушку приглашали богатые крестьяне чайку испить, заедочков покушать. В этих случаях я был ее неизменным спутником. Матушка, так сказать, по природе льнула к капиталу и потому была очень ласкова с заболотскими богачееми. Некоторым она даже давала деньги для оборотов, конечно, за высокие проценты. С течением времени, когда она окончательно оперилась, это составило тоже значительную статью дохода» (XVII, 151, 162).

Пройдут годы, и на дрожжах экономического развития, неумолимо и стремительно вовлекавшего страну в орбиту капиталистического уклада, заозерские богачее-крепостные превратятся в купцов и предпринимателей, в «рыцарей» стяжательства, гремящих своими капиталами и хищническими махинациями по всей округе. Такое превращение в «столпы» совершат, например, крепостные крестьяне Салтыковых: Ермолаевы, Чекуновы, Ореховы, Большакины, Серебряковы. Еще в сороковые — пятидесятые годы хозяйственные документы семейного архива Салтыковых числят этих крепостных крестьян состоящими на оброке содержателями постоянных дворов, трактиров, чайных или же «маяками» (ярославское слово, обозначающее скупщиков холста, ниток и других льняных изделий)<sup>38</sup>. А уже в семидесятые годы те же Ермолаев, Орехов и Серебряков фигурируют в письмах Салтыкова как покупатели доставленной сатирку по семейному разделу (в общем владении с братом Сергеем) заозерской усадьбы. «Капитального экономического мужика», богачее и обиралу Федула Ермолаева бывшего трактирщика — Щедрин неоднократно упоминает потом в «Пошехонской старине», а другого заозерского богачее-воротилу Чекунова назовет в «Благонамеренных речах» («Не Чекуновские ли приказчики понаехали?» спрашивает сына Дерунов).

Пройдет еще несколько лет, и В. И. Ленин отметит себе для памяти фамилии тех же Ореховых и Большакиных, бывших заозерских крепостных Салтыковых, в качестве одной из многочисленных иллюстраций к своему исследованию «тайны рождения» отечественной буржуазии. Он сделает это в подготовительных работах к своей знаменитой книге «Развитие капитализма в России». Анализируя материалы указателя П. Орлова «Фабрики и заводы Европейской России» (СПб. 1881 г.), В. И. Ленин

скобой отмечает следующее место книги в разделе «Полотняное производство»: «Орехов и Большакин, торг. дом Углицкого уезда, с. Заозерье. Выдел. 2.300 куск. пестряди и равендука. Производство в рублях — 12.100 руб.»<sup>39</sup>.

Экскурс в экономическую историю салтыковской вотчины, особенно ярославской ее части — Заозерья, которое Щедрин близко знал и в годы детства, и в юности, и в зрелые годы, важен в двух отношениях. Он устанавливает на нескольких примерах весьма точную автобиографичность многих страниц знаменитых семейных хроник Щедрина: «Господ Головлевых» и «Пошехонской старины». А главное, он уясняет источник раннего накопления у сатирика тех наблюдений над русской социально-экономической действительностью, которые позволили ему одному из первых в нашей художественной литературе отобразить разложение крепостничества и рождение в его недрах капитализма.

Создавая в семидесятые годы свою знаменитую галерею деятелей капиталистического накопления — «чума-зых», изображая новые виды и формы закабаления народных масс, сопровождавшие процесс установления буржуазных порядков в стране, Щедрин опирался на типологический материал, хорошо знакомый ему с детства. И если, как заметил К. Арсеньев, говоря об образе Дерунова, «Салтыкову удалось заглянуть в процесс образования типа», фиксировать его черты в самый момент их зарождения, что, кстати сказать, Достоевский считал под силу «только гениальному писателю»<sup>40</sup>, то всем этим сатирик в биографическом плане обязан и тому, что процесс возникновения и развития «столпов» и «миро-едов» совершался на его глазах, будучи непосредственно связанным с хозяйственно-экономическим бытом семейного гнезда. Реальным прототипом для знаменитого образа Осипа Дерунова (из «Благонамеренных речей») явился хорошо известный Щедрину с детства крестьянский богатей, крепостной староста новинского имения, принадлежавшего «тётенькам-сестрицам», — Софрон Осипов. После реформы Осипов становится первым в уезде скупщиком дворянских земель. Он оказался главным покупателем земель и у самого сатирика, когда последний ликвидировал в семидесятых годах доставшееся ему помещичье наследство.

## РОЖДЕНИЕ САЛТЫКОВА И РАННЕЕ ДЕТСТВО

Рождение Салтыкова — в родовом поместье отца, в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии — было удостоверено следующей записью в метрической книге вотчинной церкви:

«За 1826 год под № 2, села Спасского, у г. Коллежского советника и кавалера Евграфа Васильева Салтыкова жена Ольга Михайлова родила сына Михаила января 15, которого молился и крестил того же месяца 17 числа священник Иван Яковлев со причетники; восприемником ему был московский мещанин Дмитрий Михайлов»<sup>41</sup>.

Через шестьдесят один год эти сведения метрической записи были воспроизведены и дополнены в своеобразном приглашении на свой день рождения, посланном Щедриным 14 января 1887 года, вероятно, А. М. Унковскому:

«15 января 1826 года, у Коллежского советника Евграфа Васильевича и жены его Ольги Михайловны Салтыковых родился сын Михаил. Принимала бабка-повитушка Ульяна Ивановна, Калязинская мещанка. Крестил священник села Спас-Угол Иван Яковлев Новоселов; восприемниками были: Углический мещанин Дмитрий Михайлов Курбатов и девица Марья Васильевна Салтыкова. При крещении Курбатов пророчествовал: «Сей младенец будет разгонщик женский». По этому случаю приглашается Вы с фамилией завтра...» и т. д. (XX, 275).

Все эти сведения, с частичными изменениями имен, включены и в «Пошехонскую старину», в рассказ об обстоятельствах появления на свет Никанора Затрапезного. Дмитрий Михайлович Курбатов, которого набожный Евграф Васильевич считал за «божьего человека», обладающего даром «прорицания», давний его знакомый, собеседник и корреспондент на духовные темы, выведен здесь под именем Дмитрия Никоныча Бархатова. Вспоминать позднее о его «пророчестве» по адресу будущего сатирика, Ольга Михайловна писала сыну Дмитрию Евграфовичу 3 сентября 1855 года: «По совершении крещения <Курбатов> сказал, что он <Салтыков> будет воин». Бабка-повитуха Ульяна Ивановна, обслуживавшая своей специальностью все помещичьи семьи Калязинского уезда и пользовавшаяся среди них большой популярностью, выведена в щедринской хронике под своим собственным именем»<sup>42</sup>.

По обычаю дворянских семей, новорожденный был тотчас же отдан на попечение кормилицы, крепостной кре-

стьянки Домны. Она же явилась и первой «воспитательницей» Салтыкова. К ней он впоследствии «любил бегать украдкой в деревню» и с благодарной памятью назвал ее имя в предсмертной хронике — «Пошехонской старине». Здесь же он вспомнил и о своем первом учителе — крепостном живописце Павле Дмитриеве Соколове, обучившем его грамоте.

Наиболее ранние сведения о детстве Салтыкова, содержащиеся в записях Евграфа Васильевича на «адрес-календарях» и в его переписке с Ольгой Михайловной за 1826—1829 годы, документально подтверждают не только упомянутые места из «Пошехонской старины», но также известные слова сатирика в «Мелочах жизни»: «Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой крепостной кабалы я видел в их наготе» (XVI, 435).

Ко времени рождения будущего сатирика семья Салтыковых была уже большая и состояла из семи человек: отца, матери, двух братьев и трех сестер. Позднее, в 1829 и 1834 годах, у Ольги Михайловны родилось еще два сына, и семья увеличилась, таким образом, до девяти человек.

О первых годах жизни Салтыкова существует ничтожное количество документальных данных. Это — несколько упоминаний его имени в переписке родителей и в названных выше записях Евграфа Васильевича в «адрес-календарях».

Приведем два наиболее ранних упоминания о сыне в письмах Ольги Михайловны к мужу из Спасского. Первое — в письме от 2—3 сентября 1827 года: «Любезный друг души моей, милый Евграф Васильевич!.. Миша так мил, что чудо. Все говорит и хорошо. Беспременно со мной бывает и не отходит, все утешает меня в разлуке с тобой.. Признаюсь, мой друг, я при нем покойнее и все его целую». Второе упоминание — через несколько дней — в письме от 8 сентября 1827 года: «...дети все милы, а Миша столь мил, что не могу описать. Вообрази, все говорит, беспременно у меня, и по утру, как проснется, то в столовую идет меня искать, спрашивает: «где маменька, чаю хочу» — и идет в твой кабинет (мы там пьем чай), потом возвращается в мою спальню, где все радости свидания и поцелуи... столько меня он утешает, что при

нем немного забываю нашу разлуку». Слова «все говорит и хорошо» в применении к полуторагодовалому ребенку интересны как свидетельство о его раннем развитии»<sup>43</sup>.

Записи Евграфа Васильевича в «адрес-календарях» более сухи и, так сказать, хроникальны. Вот, для примера, одна из таких записей, документирующая первую поездку Салтыкова в Москву (ему было тогда пять с половиной лет): «<1831 г.> Август 21. По утру, в восьмом часу, Ольга Михайловна с детьми своими Дмитрием и Михайлом Салтыковыми выехали из села Спасского, а приехали в Москву в дом батюшки ее Михаила Петровича Забелина августа 23 дня в девять часов утра, а возвратились в село Спасское октября 3 дня по-полудни в десять часов».

Казалось бы, что скудость и сухая фактичность документальных сведений, которыми располагает биограф детских и юношеских лет Салтыкова, в большой мере восполняются теми страницами «Пошехонской старины», в которых сатирик с такой художественной силой и так беспощадно правдиво к себе и своим родным рассказал о своем детстве, семье и обо всей окружавшей его обстановке.

Действительно, все писавшие о детских годах сатирика, включая современников, лично знавших его: Пыпина, Михайловского, Скабичевского, Арсеньева, Кривенко и позднейших исследователей его жизни и творчества — вплоть до советских литературоведов, — строили начальный этап биографии Салтыкова исключительно на материале «Пошехонской старины». В результате были созданы и прочно вошли в литературный обиход известные картины «домашнего ада» детских лет сатирика и полные мрака фигуры его родителей: жестокой матери-самодурки, сутяги и скондомки, морившей голодом собственных детей, и духовно убогого, ничтожного, почти слабоумного отца.

Между тем о недопустимости прямого автобиографического истолкования «Пошехонской старины» предупреждал сам Щедрин. В специальном примечании «от автора» к своей «хронике» он писал: «Прошу читателя... не смешивать мою личность с личностью Затрапезного, от имени которого ведется рассказ. Автобиографического элемента в моем настоящем труде очень мало; он представляет собой, просто-напросто, свод жизненных наблюдений, где

чужое перемешано с своим, а в то же время дано место и вымыслу» (XVII, 37).

А в первоначальной редакции «Пошехонской старины» Щедрин заявлял: «Писать так называемую автобиографию я счел неудобным, во-первых, потому, что автобиографические подробности слишком часто не имеют общего интереса, а во-вторых, потому, что к некоторым из них прикасаться с полной откровенностью не всегда удобно. Поэтому я поместил здесь все, что смог наблюдать: свое и чужое, и то, что пережил, и то, что видел и слышал у других. Повторяю: это не автобиография, а свод жизненных наблюдений, в котором немалое место занимает и вымысел, согласованный с описываемым порядком вещей. Сам Никанор Затрапезный, от имени которого ведется рассказ, есть лицо вымышленное»<sup>44</sup>.

Документы семейного архива Салтыковых, черновая рукопись «Пошехонской старины» и другие материалы, ранее не доступные биографам сатирика, позволяют теперь довольно точно отделить «чужое» от «своего» в щедринской «хронике» и тем самым определить методы и границы возможного использования этого произведения в биографических целях. Но это тема специального исследования. Укажем здесь только самое основное — и то в порядке тезисов.

Биографический комментарий к «Пошехонской старине» (точнее, к тем ее страницам, в которых говорится о «житии» Никанора Затрапезного), осуществленный при помощи сравнительного изучения материалов семейного архива Салтыковых и упомянутой первоначальной редакции произведения, обнаруживает прежде всего полную обоснованность цитированного примечания Щедрина к своей хронике. Но такое исследование одновременно и дополняет авторское указание, существенно конкретизируя содержание тех элементов произведения, которые автор обозначил словами: «свое», «чужое» и «вымысел».

Выше мы имели уже случай привести ряд примеров тому (они встретятся и в дальнейшем изложении), с какой поразительной точностью, порою цитатно, в отношении соответственных сохранившихся документов использовал Щедрин подлинные биографические факты, эпизоды и ситуации в «Пошехонской старине». И все же даже эти «документированные» страницы щедринской хроники не могут





*М. Е. Салтыков в раннем детстве*

Портрет маслом крепостного художника Льва Григорьева, 1827 г. (?)  
*Институт русской литературы АН СССР, Ленинград*



вать безоговорочно рассматриваемы и используются в качестве биографического источника.

Дело в том, что «Пошехонская старина», как и почти все произведения Щедрина, построена на сложном сочетании очень конкретного, почти документально-протокольного бытового материала (в данном случае автобиографического) с таким идейно-художественным обобщением этого материала, которое выводит его далеко за пределы точных соответствий лежащим в его основе фактам.

При этом особенно важно помнить о всегда — явно или скрыто — наличествующей у Щедрина обличительности его творческих заданий. Спокойная «эпическая» форма «Пошехонской старины» не должна вводить в заблуждение. Здесь, как и всюду, Щедрин выступает прокурором и судьей враждебных ему, отрицаемых им форм и установлений общественной жизни. И как всегда, его сатирическое задание многопланно. «Пошехонская старина» — это не только беспощадное разоблачение крепостничества как исторического зла русской жизни и его пережитков в современной сатирику действительности, как зла и для эпохи восьмидесятых годов, когда задумывалось и создавалось произведение. «Пошехонская старина», как и «Господа Головлевы», — это также суровый художественный суд великого просветителя и моралиста над своей собственной семьей, взятой в качестве одной из типических форм бытового выражения того социально-политического строя, упорным и непримиримым борцом против которого Щедрин был на протяжении всей своей сознательной жизни.

Столь близкий во многих отношениях к Щедрину Некрасов незадолго до смерти продиктовал своей сестре А. А. Буткевич следующие слова: «Я должен, по народному выражению, снять с души моей грех. В произведениях моей ранней молодости встречаются стихи, в которых я желчно и резко отзывался о моем отце. Это было несправедливо, вытекало из юношеского сознания, что отец мой крепостник, а я либеральный поэт. Но кем же другим мог быть мой отец? — я побивал не крепостное право, а его лично, тогда как разница между нами была собственно во времени»<sup>45</sup>.

Некрасов был в данном случае неправ. Он упускал из виду, что обличения им отца-крепостника в стихах, содержащих образы широкого типического значения, «поби-

вали» именно крепостное право. Щедрин не предъявлял себе подобных самоупреков. Он всегда сохранял за собой свободу (Михайловский назвал ее однажды «жестоккой») судить и карать публичным судом своей гневной сатиры в с е, что с его точки зрения подлежало этому суду и этой каре, включая и родную семью. При всем историзме своего мышления Щедрин был далек от ложно понятого объективизма в общественных и моральных оценках прошлого. Он и здесь стоял на позициях революционной «субъективности» своего учителя Белинского. Он судил это прошлое (в том числе и собственную семью) с явной, никогда не скрываемой мыслью о настоящем, судил на основании социальных, моральных и политических норм своего мировоззрения — мировоззрения революционного демократа.

Таким образом, в «Пошехонской старине» как бы содержатся одновременно «и корни и плоды жизни сатирика» — яркость первых впечатлений детства и законченная зрелость последних итогов его идейного пути<sup>46</sup>. С этим и связана особая позиция автора «Пошехонской старины», оценивающего все изображаемое с точки зрения нового общественного идеала, существование которого в описываемой среде, конечно, исключается.

Всем сказанным определяются критерии и границы использования «Пошехонской старины» для целей биографического исследования. Для биографа Щедрина «Пошехонская старина» важна, в первую очередь, не только и не столько как источник для воссоздания конкретной картины детских лет сатирика, но главным образом как документ, с исключительной яркостью и правдивостью зафиксировавший позднейшие восприятия и оценки Щедриным своего прошлого.

\* \* \*

«Салтыков, — по словам близко знавшего сатирика в последние годы его жизни С. Н. Кривенко, — не любил вспоминать свое детство, а когда вспоминал какие-нибудь отдельные черты, то вспоминал всегда с большой горечью». «Бесконечно мрачны были его воспоминания о своем детстве и о семье...» — свидетельствует другой мемуарист. «А знаете, с какого момента началась моя память? — сказал однажды Салтыков своему собеседнику. — Помню, что меня секут... секут как следует, розгою,

а немка, гувернантка старших моих братьев и сестер, заступает за меня, закрывает ладонью от ударов и говорит, что я слишком мал для этого. Было мне тогда, должно быть, года два, не больше...»<sup>47</sup>

Вся обстановка вскормившей его семьи запечатлелась в памяти сатирика как мрачная и жестокая. Салтыков горючил Н. А. Белоголовому о себе, своих братьях и сестрах, что «ни отец, ни мать не занимались ими, что росли они как посторонние и что он, по крайней мере, совсем не знал того, что называется родительскою ласкою»<sup>48</sup>.

В передаче Белоголового есть преувеличение, внушенное, несомненно, словами самого Щедрина. Вообще к автобиографическим рассказам сатирика о своем прошлом, сохранным некоторыми мемуаристами, полностью применимо все то, что было сказано выше о «Пошехонской старине» как о биографическом источнике. В этих рассказах о себе и о своем прошлом Щедрин также всегда оставался сатириком-обличителем, моралистом и в этом смысле художником, органически воспринимавшим все явления в каком-то непрерывном активно-творческом процессе их социального отбора и типизирования. Весьма показательно в этом отношении отмечаемое многими современниками, а нам известное сверх того и по опубликованным письмам Салтыкова, изобилие случаев прямого шереноса устных и эпистолярных высказываний сатирика на страницы его произведений.

Салтыков, по словам товарища его детства С. А. Юрьева, «жестоко осуждал своих родителей и свое детство, которое считал глубоко ненормальным и даже безнравственным»<sup>49</sup>. Развернутый комментарий к этому мемуарному свидетельству, полностью подтверждающему его достоверность, дает сам Салтыков в публицистической главе «Дети» из «Пошехонской старины». В этой главе (первоначально самостоятельный очерк), являющейся одной из наиболее ярких и своеобразнейших социалистических взглядов Салтыкова, он говорит с читателем от своего собственного имени, не прикрываясь маской Николая Затрапезного. Глава начинается фразой: «И вот теперь, когда со всех сторон меня обступило старчество, и вспоминаю свои детские годы, и сердце мое невольно сжимается...» И дальше следует знаменитая щедринская шпектива, разоблачающая великую фальшь семейной, школьной и социальной педагогики там, где существует

«неправильность и шаткость устоев, на которых зиждется общественный строй», то есть, раскрывая эзоповскую формулировку, — в частнособственническом обществе, основанном на угнетении и эксплуатации. По мнению Салтыкова, назначение педагогики — «воспитывать в нарождающихся отпрысках человечества идеалы будущего, а не подчинять их смуте настоящего».

Вот с каких позиций, давно и прочно завоеванных, судил Щедрип, в годы создания «Пошехонской старины», «педагогике» своих родителей и воспитателей, справедливо оценивая ее с высоты своего социалистического идеала как «жестокую», «низменную» и «безнравственную».

### СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Отец сатирика, Евграф Васильевич, не был вовсе безучастен к детям, как можно было бы заключить из вышеприведенных высказываний Щедрина. Он принимал деятельное участие в выработке первоначальных программ домашнего обучения детей и довольно ревностно следил за их дальнейшими школьными успехами «в науках». Вообще можно думать, что если дети Салтыковых получали в семье какие-либо зачатки интеллектуально-образовательного развития, то все это шло от Евграфа Васильевича. Он один в семье был достаточно образован, имел склонность к умственному труду и литературной работе и занимался ею, был обладателем небольшой библиотеки, выписывал журналы.

В специальном «заведывании» Евграфа Васильевича находился контроль над воспитанием и обучением сыновей. «Сыновья-то твоя обязанность, а не моя», — писала ему Ольга Михайловна (11 сентября 1835 года). Евграф Васильевич старался ревностно относиться к этой «обязанности», но вносил в нее, как всегда и всюду, массу «придословия» и «пустяков», что совершенно выводило из себя Ольгу Михайловну. Она не раз раздраженно указывала мужу, что надобно «помнить свою обязанность отца семейства, а не шарлатанить до ста лет все ребячеством» (5 сентября 1831 года). Ее письма к Евграфу Васильевичу полны суровых, гневно-презрительных поучений

по поводу многословия и пустословия его отчетов о домашних, в том числе и воспитательных делах. «Ты все пустое пишешь», — безапелляционно заявляет Ольга Михайловна мужу в одном из писем и предъявляет затем требование, чтобы впредь он специально выделял в своих эпистолярных посланиях «нужные места». Требование выполняется, но неудовлетворительно. «А что ты отмечаешь нужное, то я все вижу ненужное», — с раздражением указывает ему Ольга Михайловна.

Однажды Евграф Васильевич высказал в письме ряд соображений, направленных к отысканию причин педагогических неудач некоего Василия Ивановича только что приглашенного учителем в семью (у него в 1834 году некоторое время вместе с братом Николаем занимался и Салтыков). Одновременно были изложены и запроектированные меры воздействия по отношению к детям и самому педагогу. В ответ на эти предложения Евграф Васильевич получил следующую «резолюцию» Ольги Михайловны, изложенную в присущем ей тоне гневной повелительности и резкости: «Учитель глуп и от глупости не умеет ими (детьми. — С. М.) управлять... Я его просто сгоню... скотину... А ты не философствуй, о чистописании хлопочи и тверди ему о науках — вот главное, а у тебя голова пустяками полна» (18 апреля 1834 года).

По главную свою обязанность Евграф Васильевич видел в «достоинственном воспитании» детей и весьма ревностно пытался осуществлять его. Ольга Михайловна, не терпевшая какого-либо вмешательства, хотя бы и мужа, в дела семьи, не препятствовала, однако, его воспитательной педагогической активности и даже поощряла ее. Но суровая власть Ольги Михайловны и ее положение в семье и главы семьи должно было лишить в сознании Евграфа Васильевича, а также самих детей его «поучения» всякой обязательности. «Поучения» эти, внушавшие заветы патриархально-религиозной мудрости — «чти отца и мать твою», то есть послушания и покорности старшим, — будучи выведены, как и сам их автор, за скобки реального практического руководства воспитанием, оказывались в результате какими-то «пустопорожними ненужностями», как называет Щедрин в «Господах Головлевых» письма Иудушки к сыну.

Проиллюстрируем сказанное примерами из сохранившихся в семейном архиве писем Евграфа Васильевича

к одному из его старших сыновей — талантливому, рано погибшему Николаю Евграфовичу (1821—1856), бывшему тогда студентом Московского университета. Трагическая судьба Николая Евграфовича — этого, по словам Ольги Михайловны, «постылого» неудачника, которого она называла «злодеем», «тираном всего семейства», «мучителем своего сердца», «вредного влияния» которого на Михаила Евграфовича она так боялась, — впоследствии дала Щедрина материал для образа «Степки-балбеса» в «Господах Головлевых» (Степан Головлев) и в «Пошехонской старине» (Степан Затрапезный).

«Неповиновение родителям», «непочтительность» к ним, «дерзости», одним словом «бунт» Николая Евграфовича против «заветов отцов» побудили Евграфа Васильевича приложить особые старания к возвращению сына «на стезю послушания и ее неизбежной награды — благополучности». Его письма к непокорному сыну представляют для нас поэтому особенный интерес. В них представлены все педагогические приемы «поучений» Евграфа Васильевича, которые, разумеется, применялись в той или иной степени и к будущему сатирику.

Приведем в качестве образца одно письмо полностью:

Николай Евграфович!

Отправя к тебе письмо мое прямо в руки твои, полагал я тем возбудить в тебе чувства обязанности твоей к родителям и к твоему собственному благоденствию; но вместо того вдруг слышу о самых жестоких твоих поступках как против бога, так против себя и нас, твоих родителей, как будто бы я тебя поразил громовым ударом угроз и жестокости, коих ни единой черты в моих письмах не было и быть не может, как то и все добрые люди, читавшие их, видели и одобрили мои советы и наставления. Неужели ты столь тупоумен, что не мог этого рассмотреть и, приняв оные с добрым чувствованием, сердечно благодарить меня за мое христианское к тебе внимание и сожаление о гибельном твоём нраве и характере, коих несносность до такой степени простираешь, что и самой родительнице не оказываешь почтения, не кланяешься ей и везде ее поносишь. Видно, мы, родители, за свои гроши и старания об образовании вам купили себе лихо. Неужели тебе не известен закон божий, повелевающий чтить отца и мать да благо ти будет и долголетен будешь на земле, злословя же отца и мать, смертью ты умрешь. Смертию сказано. Но не такой смертью, какая здесь бывает, а смертию смертей, т. е. вечною, пагубною и гневом и жестоким наказанием божьим, о чем также сказано. Страшно есть еже впасти в руке бога живаго, ибо божье наказание жестокостию его вечного правосудия ни с чем на свете не может быть сравнено, ибо его гнева и сами бесы веруют и трепещут. Неужли же



ты имеешь свойство хуже беса, если не внемлешь и ни во что не ставишь слова священные, самим богом изреченные. Опомнись, вразумись и обратись на пути истины. Ты теперь в полном рассудке и можешь, здраво рассуждая, все видеть, ценить и свое поведение образовать, как должно честному и благомыслящему человеку. Последуй моим тебе спасительным советам все сносить с терпением, великодушием и упованием на бога создателя и производителя дивные и благодеянные дела рук своих, и если он и о прочих низших тварях имеет попечение, то колыми о человеке тем паче всего печется и невидимо устраивает ему то благоденствие, какое каждому прилично и свойственно. Сие я испытал на собственном опыте, и теперь сверх этого приказываю тебе паче всего за ним атся науками, а не шалберством\*, которое сгубило твой последний экзамен и целый год уничтожило и нас огорчило. Довольно, кажется, тебе и одного сего урока, который должен памятовать на всю свою жизнь и своим поведением стараться быть достойным и внимания добрых людей и нашего родительского благословения, которое тебе посылает огорченный и огорчаемый отец твой.

*Евграф Салтыков.*

*Сентября 15 дня  
1840 года  
Село Спасское.*

«Чти отца твоего и мать твою» — это лейтмотив, проходящий через все письма Евграфа Васильевича к сыну. При этом предметом его особой заботы является внушение чувства беспрекословной покорности и почтительности к матери, Ольге Михайловне. Так, на жалобы Николая Евграфовича на какую-то имущественную несправедливость матери отец писал ему в письме от 27 октября 1840 года: «Нащет же твоих жалоб о суждениях с твоею матерью и наградах детей ее, ты не имеешь никакого резону ни в какое суждение входить, а должен молчать... и если ты видишь от нее обиды, ненависть и презрение, то и тогда обязан великодушно и безропотно все сносить и скромным молчанием и поведением своим заслуживать ее внимание и любовь». И еще в том же письме: «...приказываю тебе как можно скромнее и тише обращаться с матерью, если что и неприятное увидишь, перенеси и ко всему неприятному от нее будь слеп, глух и нем...»

Часто требования особой почтительности к матери обосновываются ссылками на ее роль «благодетельницы»

---

\* Здесь и в следующих письмах разрядкой набраны слова, выделенные нами. — *С. М.*

для всего семейства. Так, в письме от 21 января 1841 года читаем: «Ольга Михайловна обижается, что ты в письме своем ко мне, которое я посылал к ней, не пишешь почтения к ней и не просишь благословения, о чем я тебя и предостерегаю, чтобы впредь во всяком твоём письме наблюдал оное исправно. Ибо она не только тебе, но и всему семейству редкая мать и благодетельница. Это не на словах, а на опыте видно, сколь велико ее старание к присовокуплению состояния нашего, а потому если и излишнее какое взыскание от нее слышится, то ей простительно».

Еще более откровенно корыстными соображениями внушалась Николаю Евграфовичу и другим детям необходимость «почтительного угождения» и «раболепного служения» их престарелому деду Михаилу Петровичу Забелину, доживавшему свой век в Москве. На капиталы его, по духовному завещанию, очень рассчитывали родители Салтыкова и не стеснялись вовлекать в безнравственную, стяжательную борьбу за «стариково сокровище» своих детей. «Уведомь, каков дедушка, — пишет Евграф Васильевич сыну 11 февраля 1841 года, — и если Настасья <та самая «дедушкина краля — Настасья», которая выведена в «Пошехонской старине»> еще не приехала и ему угодна твоя услуга, то все меры употребляй ему угождать, паче нежели нам». Почти в каждом из своих писем Евграф Васильевич не забывает напомнить: «дедушке всеусердно угождай» (8 марта 1841 года); «уведомь о дедушке: каков он, и старайся всемерно угождать ему... писали ли к нему дети мои из Петербурга поздравительные письма?» (5 апреля 1841 года); «старайся к дедушке быть поласковее» (12 апреля 1842 года).

Такие же наставления в искусстве родственного лицемерия и подобиюстрастия шлет сыновьям Ольга Михайловна, причем ее особенно тревожит поведение Михаила. «Скажи ему, — пишет она 2 июня 1843 года старшему сыну Дмитрию, — что ехать ему прямо в Москву... дедушка осердится, ежели он не заедет, да вели ему держать язык покороче во всем — и скажи ему: меня огорчает, что он много фантазирует с Николаем. Мне очень не нравится, что Михайла, за мою любовь, сильно терзает мое сердце...» И в других письмах к Дмитрию Евграфовичу, того же периода: «...Пожалуйста, ради бога, будь

ласков к бабушке и Михайле тоже вели... и особо приближенной <Настасье> тон приятный изъясните...»; «будь ты и Михайла, во время проезда, с бабушкой как можно ласковее... и Мишу предостереги в обращении с одной особой...»

Наука почитания старших, «преподававшаяся» Евграфом Васильевичем в письмах к сыну-студенту, учила его искусству «угождения» не только перед «благодетельницей» матерью и обладателем богатого наследства — дедом, но и перед профессорами университета (в одном из писем они названы «начальством» сына), у которых слушал лекции Николай Евграфович. Так, в письме от 14 января 1841 года читаем: «уведомь, каково ты начал свои лекции и не враждуют ли на тебя профессора, с коими как можно обходись ласковее, по пословице: ласковый теленок две матки сосет, а грубый ни одной не найдет».

При всем том университетские занятия сына живо интересовали Евграфа Васильевича, а неуспехи искренне огорчали. Эти темы неизменно присутствуют в его письмах. Вот для иллюстрации несколько выдержек: «Ради бога, старайся приготовляться к экзамену, чтобы опять не срезаться по-прошлогоднему и себя и нас не оскорбить» (14 января 1841 года); «от наук не отставай... и всемерно старайся достигнуть кандидатства, к чему, кажется, и собственная твоя амбиция, если только она есть у тебя, должна тебя влечь и побуждать для приобретения себе лучшей участи, а нам утешения» (12 апреля 1842 года); «надеюсь, что ты постарайся Крылова экзамен хорошо приготовить» (5 апреля 1841 года); «паче всего старайся те предметы хорошо приготовить, в коих ты сбился прошлого года и кои предстоят тебе у Баршева по Уголовному праву» (5 мая 1841 года); «прошу тебя как друг и приказываю как отец всемерно заниматься науками своими, чтобы не натиском, а исподволь тебе запастись всеми нужными познаниями для выдержания экзамена с честью и отличием и получить кандидатство, чем и себе счастье и нам утешение доставишь» (12 января 1842 года).

Важным элементом воспитательного кодекса Евграфа Васильевича являлось «обережение» сына от общества «дурных» людей («мерзавцев», на лексиконе писем) и от их «пагубных влияний». Вот несколько относящихся сюда мест: «ради бога, прошу тебя... удаляться от всех злых и

коварных твоих сотоварищей» (14 января 1841 года); «с ерниками и мерзавцами, которые уже достаточно тебя обгадили и помогли тебе срезаться в прошлый экзамен, не имей нималого сношения, а бойся как огня пагубного» (12 апреля 1842 года); «я слышал о тебе достоверные известия, что ты опять выбрал себе мерзавцев приятелей... и с такими-то ты имеешь компанию! не больно ли моему родительскому сердцу видеть все труды и попечения наши о твоей нравственности попорванными и презренными твоим безумием...» (22 марта 1841 года).

«Доброе поведение» сына награждалось Евграфом Васильевичем краткими торжественными посланиями, похожими на «высочайшие рескрипты». Образец находим, например, в письме от 27 октября 1840 года: «Николай Евграфович! За отклонение от себя мысли итти в военную службу и обещание успехами твоими в науках выдержать экзамен и перейти на последний курс и оным заслужить нашу любовь, изъявляю тебе мое удовольствие и, моля бога поспешествовать в сем твоём благом намерении, ожидаю исполнения оного к утешению нашему... Вернейший друг и отец твой Евграф Салтыков».

«Ослушание родительской воли», «непочтительность», «дурное поведение», просто невыполнение в указанный срок какого-либо мелкого «приказания», например, покупки номера журнала «Живописное обозрение», влекли за собой гневные отцовские «анафемы». Их грубый, бранный стиль дает представление о лексическом фоне детских лет сатирика (ср. в «Пошехонской старине»: «...раздавалась брань... слышались неподобные слова... возмутительные выражения»).

По поводу неприсылки в срок исправлений в переводе какого-то английского текста и очередного номера «Живописного обозрения» Евграф Васильевич писал сыну, без затруднений сочетая пасхальное поздравление с бранью: «Воистину Христос воскрес! Николай Евграфович... Ты взял у меня английский перевод и до сих пор не можешь исправить, ну не г... ли ты человек, и к несчастию нашему сын наш, ох! как это прискорбно. А о «Живописном обозрении» не хлопочи, уж я другим доверил его получить, а ты такая дрянь, с коею и дело иметь никому нельзя. Прощай, сын, недостойный нашего благословения и сожаления. Остаюсь огорченный отец твой Евграф Салтыков» (22 марта 1841 года).

Вот выдержки из другого, еще более «красочного» письма, вызванного «неблагодарными поступками» и «рассуждениями» Николая Евграфовича, допущенными им при свидании и беседах с «самой» матерью, навестившей его в Москве:

«А известился я о сем от самой Ольги Михайловны, — писал Евграф Васильевич сыну 5 апреля 1841 года, — которая была свидетельницей твоих деяний и грубых против нее и против меня неблагодарных поступков, за кои ты недостоин даже называть и считать себя нашим сыном, ибо ты нам всегдашнюю и несносную горесть производишь твоими глупыми и безумными поступками неблагодарности и нечувствительности к нашим истинно примерным попечениям о детях своих. Ты претендуешь разве на то, что мы тебе не даем больших денег на мотовство, но это не в правиле честных родителей поощрять детей к оному. А все, что нужно, тебе дается достаточно и ты всегда обязан принести большую благодарность не только за присылку, но и за доброе намерение тебя снабжать нужным одеянием и провизиею. Но ты по глупости или по безмозглому своему понятию одобряешь свои неблагоприятные поступки и говоришь, что это и жалованье суть вещи необходимые и обязанность наша. При всем же том за провизию объявляешь благодарность, чем самым ясно обличая свой мерзкий характер, столь много раздражаешь меня, что я тебя как шельму и мерзавца после таких поступков своих знать и видеть не могу и не хочу и исключая тебя из числа детей моих, ибо мерзавец не может наследовать ни награды, ни благословения родительским. А тебе бы, скоту, чем блевать свои мерзкие правила и глупые чувства свои обнаруживать, только бы и всего что принести извинения и просить прощения в своей ошибке, а ты еще вздумал оправдываться и представлять фальшивые и мерзкие резоны, кои, растерзав мне сердце, навсегда удалили тебя от моего родительского внимания и сожаления. Ты бы посудил, что многие твои товарищи и четверти содержания против тебя от отцов не получают, но ни в чем их не оскорбляют, а дорожат их любовью и благословением, а ты, подобно собаке, родителей ни во что вменяешь и за удовольствие еще поставляешь раздражать их, отчего единая тебе участь в жизни твоей — горести и несчастия, ибо кто лишается родительской любви и благословения, тот человек презираем бывает от всех честных людей и в сообществе мерзавцев прямо идет в пропасть гибели временной и вечной... Можно сказать, что если бы ты был не сын наш, по несчастию нашему, я бы за беду и грех почел и мыслить о тебе и осквернять свое воображение мыслями о твоих гадких чувствах и поступках, о чем говорю, по чувствам христианским и добросовестным. И теперь хотя тебе и готовится платье, новая шинель и сюртук, но истинно ты их не стоишь, приятнее бы мне делать оное для последнего из наших подданных, нежели для тебя, неблагодарного, о чем тебя извещает огорченный жестоко твой отец

*Евграф Салтыков».*

Заключительные формулы писем Евграфа Васильевича и его ссылка на «христианские чувства», которые именно и внушают ему отношение к сыну как к «шельме и мерзавцу», отличаются несомненным сходством с психологическими и лексическими чертами Иудушки Головлева. Это сходство подчеркивается и тем лексиконом «пустопорожних» религиозно-моралистических слов и поучений (вплоть до посылки собственноручно переписанных «очень хороших молитв на разные случаи», при письме от 21 января 1841 года), которыми заполнены все письма Евграфа Васильевича как к сыну Николаю Евграфовичу, так и к его братьям<sup>50</sup>. Так подтверждается наше наблюдение, что в постепенно складывавшемся в творческом сознании Щедрина образе Иудушки известную роль сыграли и впечатления сатирика от своего отца.

Приведенные документы подтверждают и конкретизируют в реально-биографическом плане указания Щедрина в «Пошехонской старине» на то, что «весь тон воспитательной обстановки» в их семье «был необыкновенно суровый и, что всего хуже, в высшей степени низменный» (XVII, 54). В этих словах, как легко убедиться, нет никакого преувеличения. Но эти же, как и многие другие, материалы семейного архива никак не позволяют вместе с тем утверждать, вслед за цитированными выше свидетельствами мемуаристов, что родители Салтыковы были совершенно безучастны к своим детям, не занимались ими, не проявляли внимания к их воспитанию. Как в действительности обстояло здесь дело в отношении Евграфа Васильевича, мы показали.

Что касается матери, Ольги Михайловны, то тем более нельзя сказать, что она не любила своих детей, в первую очередь сыновей, так как к дочерям, за исключением, впрочем, старшей дочери Надежды, своей любимицы, она была более равнодушна.

Вместе с тем именно Ольга Михайловна в первую очередь и вносила в воспитательную обстановку семьи тот «необыкновенно суровый тон», который на всю жизнь запомнился Щедрину. Угрозы, устрашения и наказания являлись основными приемами ее «педагогики». Об этих приемах достаточно яркое представление дает, например, ее письмо 1834 года к детям, в том числе и к Михаилу, которому было тогда восемь лет.

«Послушайте, дурные и непокорные дети, особливо ты, Николай, — писала Ольга Михайловна из Москвы по поводу жалоб Евграфа Васильевича на обычные детские провинности и непослушание. — Вы меня до того раздражили, что я Веру и Любовь отдала на пять лет в институт, а про тебя просила, Николай, государя, как непокорного и огорчившего сына, за дерзости и непослушание наставникам и разные пороки, куда угодно государю удалить на вечное заточение от родительского дому и жду на-днях предписания, чтоб тебя велел представить. Ежели же ты исправишься и я получу от папеньки и твоих наставников хорошие отзывы, то могу тебя опять простить и спасти от вечного заключения, а не то — прощай навсегда. Я жертвую тобой, как недостойным сыном, для спасения, примерным наказанием тебя, меньших, коим Мише и Сергею — приказываю себя вести кротко и послушно, иначе то же и с ними будет»<sup>51</sup>.

Необычайные угрозы «вечным заточением», «родительским проклятием», «лишением наследства», калечившие психику детей, чередовались, в согласии с неуравновешенно-страстной, эмоциональной натурой Ольги Михайловны, с яркими вспышками сентиментально-экзальтированного материнского чувства. Когда, например, Ольга Михайловна получила в 1844 году из Петербурга портрет «милюго Мишухи» (то есть будущего сатирика), она, по словам письма Евграфа Васильевича к сыну Дмитрию, «не расставалась с оным весь день и даже вкушая пищу клала его перед собой». Длительная разлука с детьми или долгое отсутствие писем от них причиняли ей искренние и бурно проявлявшиеся страдания. Об этом свидетельствует, например, ее письмо к сыновьям Дмитрию и Михаилу от 10 декабря 1844 года:

«Я полна грусти, что до сих пор от Вас так давно никакого известия не имею. Ваше молчание терзает меня тем более, что я не знаю, здоровы ли Вы, мои друзья... А ты, Митрий, молчишь и так редко мне пишешь, зная мой несчастный характер — как все это меня тревожит... Сегодня я весь день в горьких слезах провела и до сих пор плачу и буду плакать, пока не получу от Вас известия. Милый Миша, ежели брат и сестрицы нездоровы, неужели ты не нашел ни минуты для беседы со мной, чтобы уведомить и успокоить меня? Разве уж и ты здоров ли? Боже мой, боже мой! как тяжело иметь детей в отдален-

ности от себя! Ради бога пишите, успокойте меня нащет себя...»<sup>52</sup>

Получение писем с приятными семейными известиями вызывало порою столь же бурное проявление радости: «Я Вам не могу передать, — отвечала она сыну Дмитрию и его жене 3 февраля 1846 года, — той радости, которую я ощущала при чтении Вашего письма: и смеялась, и плакала, и благодарила бога — все вместе, как сумасшедшая...»<sup>53</sup>

Материальные формы проявления любви к детям — чему придавала такое значение сама Ольга Михайловна, также подтверждаются всей ее обширной перепиской. Ольга Михайловна с присущей ей аккуратностью не только неукоснительно соблюдала высылки назначенного ею каждому из сыновей «жалования», но никогда не забывала делать им подарки, иногда весьма дорогие, ко дням их рождений и именин, а также посылать по нескольку раз в год в Москву и Петербург «деревенские гостинцы» — подводы с провизией.

Вместе с тем она вкладывала в свои материальные заботы о детях совсем не родительскую, не материнскую прозу сурового делового расчета. Посылая деньги, Ольга Михайловна требовала подробных и обоснованных отчетов и гневно упрекала, а то и карала, за каждый рубль, истраченный, по ее мнению, «на мотовство». Образцом таких отчетов может служить, например, письмо Дмитрия Евграфовича от 24 апреля 1832 года, начинающееся словами: «Посылаю вам, любезные родители, копию с моего расхода для удостоверения вас, что я не мотаю деньги, а употребляю на нужные вещи».

С точки зрения крепостнической морали среды и эпохи, Ольга Михайловна и в своих собственных и в чужих глазах должна была представляться образцом любящей и рачительной к своим детям матери. Да и по натуре, несмотря на свою властность, деспотичность и суровый практицизм, это была женщина скорее добрая и отзывчивая, что видно, например, из ее отношения к своей осиротевшей внучке Е. П. Елифановой (в замужестве Скрипицыной), которой она оказала значительную поддержку.

Образы родителей сатирика, как они запечатлены с его слов, в воспоминаниях мемуаристов и отражены в «Пошехонской старине», «Господах Головлевых» и других



произведениях с автобиографической окраской, почти лишены положительных элементов: образованности отца, заботливости матери о благополучии детей и т. д. Чтобы искренне написать свою память только теми суровыми, разоблачительными воспоминаниями о своей семье, какими написал ее Щедрин, необходима была действительно немалая его «отрешенность от старого мира». Нужно было не только до конца изжить в себе «пошехонского дворянина», помещика, одного из «господ Салтыковых», но и выработать в себе такие взгляды, которые позволили бы выдвинуть на родную семью не глазами ее сына по крови и не со стороны эмпирика-бытописателя или историка-хроникера эпохи, а глазами революционного демократа, социалиста и просветителя. С точки зрения общественных и моральных норм зрелого Щедрина, с точки зрения глубины и органичности его демократизма и искренности его привязанности к крепостничеству, существенными и важными для памяти оказались не отдельные проявления доброты его матери, образованности отца или их внимания и любви к детям. Важна была та, по выражению сатирика, «ужасная подкладка» крепостничества, которая уродовала в людях их хорошие — природные или приобретенные — качества, превращала эти качества в их противоположность и определяла, по словам Салтыкова, «высшую ненормальность» и «безнравственность» всего крепостного быта, начиная от деталей домашнего обихода и кончая трагическими судьбами людей.

Необходимо отметить, что как житейские, так и художественные «воспоминания» Щедрина особенно выделяет, в качестве проявления «высшей ненормальности» в семье, установленную матерью систему разделения детей на «любимчиков» и «постылых». Документы семейного архива полностью подтверждают и это свидетельство сатирика. Действительно, Ольга Михайловна относилась к своим детям далеко не одинаково. А властность и деспотичность ее натуры, в соединении со всем корыстно низменным уровнем стяжательских интересов, которыми жила семья, придавали неравномерности материнского чувства тяжелую форму семейного фаворитизма, развращающе действовавшего на психологию детей и на их отношения друг к другу.

К числу «постылых» принадлежали сыновья Николай и Сергей. Отзывы Ольги Михайловны о первом приводи-

лись. О втором же она часто писала так: «хочу его забыть, как меня оскорбляющего»; «нету и желания думать о нем»; «Сергею прикажи не приезжать, видеть его не хочу! вот как он терзает меня за мои же благодеяния». К числу «любимчиков» относились старший сын Дмитрий и, в особенности, младший Илья. К ним же, отчасти, принадлежал в детстве и будущий сатирик. По словам О. И. Зубовой, «он вначале был любимцем матери», но когда начал заниматься литературной деятельностью, то мать в нем «разочаровалась» и он перешел в категорию наиболее «постылых» ее сыновей, которого она называла в своих письмах «волком, алчущим порвать узы родства». По свидетельству Н. А. Белоголового, Ольга Михайловна «считала Михаила Евграфовича своим любимым сыном «вплоть до его женитьбы»<sup>54</sup>. Однако сам Щедрин, характеризуя в «Пошехонской старине» отношение матери к Никанору Затрапезному, писал: «Что же касается до меня лично, то я, не будучи «постылым», не состоял и в числе любимчиков, а был, как говорится, ни в тех ни в сех» (XVII, 88).

Неравенство отношений к детям, выражавшееся и в неравенстве их материального обеспечения, в «тех безнравственных, — по выражению Щедрина, — подачках, которые кидались любимчикам на зависть постылым», что считалось проявлением родительской «ласки», — это прошло через всю жизнь семьи, через все этапы роста и созревания детей. «...Мне и теперь становится неловко, — писал Щедрин в «Пошехонской старине», — когда я вспоминаю об этих дележах, тем больше, что разделение на любимых и постылых не остановилось на рубеже детства, но прошло, впоследствии, через всю жизнь и отразилось в очень существенных несправедливостях...» (XVII, 53). На этой почве зародились и вызрели те страшные «головлевские» ростки, которые породили в будущем ряд тяжелых семейно-имущественных драм, затронувших и сатирика, и позволили Н. А. Белоголовому сказать с его слов: «Семья была дикая и нравная, — отношения между членами ее отличались какой-то зверской жестокостью, чуждой всяких теплых родственных сторон»<sup>55</sup>. И в годы юности и в зрелые годы Салтыкову пришлось затратить немало сил на внутреннюю борьбу за сохранение себя от разлагающих воздействий родной ему по крови семьи, чтобы в конце концов решительно порвать с нею.

Положение Салтыкова-ребенка в семье, повидимому, мало чем отличалось от положения его братьев и сестер, но все же отличалось. Он выделялся среди них рано выявившейся талантливостью, резкой прямоотой и живостью характера. Вспоминая о детских годах сатирика, Ольга Михайловна писала уже в 1852 году в одном из писем к старшему сыну Дмитрию: «Как, бывало, вспомню покойного Дмитрия Михайловича Курбатова, вашего крестного, покойный папенька ему жаловался на Мишу, что больно резов, вот, говорит, у меня Сережа <брат Салтыкова> — умный, тихий мальчик, кроткий, а этот-то озорной, буйная голова, все шалит, а Курбатов ему в ответ: «смотри, тихонький-то исподтишка, все себе на уме, вспомни меня, а этот прямо, бескрытно резвится», — ведь так и обидеть»<sup>56</sup>.

Ни благодарением, ни скромной почитательностью к родителям и наставникам Салтыков, будучи ребенком, не отличался. И хотя именно покорности в первую очередь требовал от детей патриархальный кодекс воспитания и властный характер матери («мне ли не твердили с детских лет, что покорностью цветут города, благоденствуют селения» и т. д., — иронически вспоминал Щедрин), она, как натура в высшей степени деятельная, умела, повидимому, ценить черты независимости и одаренности, рано проявившиеся у ее сына. По словам О. И. Зубовой, Ольга Михайловна «вначале боготворила Михаила за его ум и способности и гордилась им ужасно».

В «Пошехонской старине» Салтыков вспоминал: «Одиночество и отсутствие надзора предоставляли мне сравнительно большую сумму свободы, нежели старшим детям...» (XVII, 95). «Одиночество» объяснялось тем, что в период домашнего обучения Салтыкова (1834—1836 годы) его старшие братья и сестры — Дмитрий, Николай, Надежда, Вера и Любовь — находились не в Спасском, а в Москве, где воспитывались в казенных учебных заведениях. Дома оставались лишь младшие братья — Сергей и Илья, из которых первый был моложе Михаила почти на пять, а второй — на восемь с лишним лет и находился еще в младенческом возрасте. Волей-неволей Салтыкова пришлось воспитывать особо. Сверстников в семье ему не было. Но так как Ольге Михайловне не хотелось «изъя-

ниться» для него одного на приглашение гувернанток и педагогов (старшие и младшие дети имели их), то в ожидании выхода из Екатерининского института старшей дочери Надежды обучение и воспитание будущего сатирика проводилось «домашними средствами». Следствием этого и явилась та относительная свобода, которой пользовался Салтыков в семье, по сравнению со старшими детьми, и в которой он усматривал впоследствии одно из немногих благоприятных условий своего духовного развития в детстве.

Главное заключалось в том, что «отсутствие надзора» позволяло мальчику Салтыкову ближе, непосредственное соприкасаться с миром крепостной деревни и дворовых слуг — с жизнью порабощенного народа. Об этом свидетельствует позднейшее автобиографическое заявление сатирика: «...не только всякого дворового я знал в лицо, но и всякого мужика. Я любил говорить, расспрашивать. Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сближало меня с подневольною массой» (XVII, 155).

Этому сближению невольно способствовало и то обстоятельство, что Ольга Михайловна, не считая полезным всегда оставлять сына на попечении дворовой прислуги, часто брала его с собою, во время своих каждодневных «хозяйских обходов» усадьбы. Наблюдая распоряжения матери, слушая ее разговоры с крестьянами и дворовыми, Салтыков становился лицом к лицу с помещичье-крепостнической практикой и ее жертвами. Воспоминаниям об этой стороне своего детства сатирик посвятил впоследствии яркую автобиографическую страницу в первой главе «Убежища Монрепо» (XIII, 32—33).

Записи Евграфа Васильевича в «адрес-календаре» показывают, что Ольга Михайловна иногда брала сына даже в свои деловые поездки по многочисленным деревням обширной вотчины, а также в Москву. Но особенно запомнились Салтыкову поездки всей семьей в упомянутое выше богатое оброчное имение Заозерье, Угличского уезда.

Кроме одного или двух кратковременных посещений Заозерья в 1834 году, Салтыков провел здесь с семьей почти всю зиму 1835/1836 года, здесь проходили его занятия по подготовке к поступлению в Московский дворянский институт, и здесь же проводил он часто свои зимние и летние каникулы в годы учения в Москве и Петер-

бурге. Детские впечатления от Заозерья послужили источником для замечательного описания села «Заболотья» и его своеобразного быта в седьмой и девятой главах «Пошехонской старины». Отметим, кстати, что описанный в этих главах «господский дом» — дом Салтыковых на торговой площади в Заозерье — сохранился до наших дней. Это ветхое ныне здание является одним из немногих дошедших до нас материальных памятников, непосредственно связанных с воспроизведенным Щедриным бытом «пошехонской старины» и с биографией самого сатирика.

Заозерье, находившееся всего в сорока верстах от Спасского, являлось в годы детства сатирика главной ареной деятельности Ольги Михайловны и было особенно любимо ею. «Мое милое Заозерье», — называла она его в своих письмах. Салтыков же, наоборот, вспоминал потом, что Заозерье, в отличие от Спасского, производило на него в детстве «неприятное и даже гнетущее впечатление», и добавлял при этом: «даже в зрелых летах, изредка наезжая в Заболотье <Заозерье>, я не мог свыкнуться с его бесхозяйственной жизнью» (XVII, 154—155).

Выше уже упоминалось, что ярославская вотчина дала Салтыкову богатый материал наблюдений над бытом зарождавшихся и вызревавших в недрах крепостнического хозяйства деревенских «столпов» и «мироедов». Но родные места снабдили сатирика и его знаменитым псевдонимом. Ярославский историк-краевед А. В. Прятков установил, что в селе Заозерье исктари жили, да и посейчас еще живут, несколько крестьянских семей по фамилии Щедрины<sup>57</sup>. Нет сомнения, что Салтыков слышал эту фамилию уже в детстве. Поэтому можно предполагать, что именно заозерские крестьяне Щедрины, крепостные люди Салтыковых, сами того не зная, дали будущему сатирику литературное имя, которому суждено было занять столь выдающееся место среди других прославленных имен русской литературы<sup>58</sup>.

Следует упомянуть еще отмеченные документами семейного архива частые поездки семьи Салтыковых в соседнее со Спасским село Воскресенское, в котором находились имения приятельницы Ольги Михайловны — Александры Пановой и помещиков Юрьевых. Здесь завязалась детская дружба Салтыкова с Сергеем Андреевичем Юрьевым, будущим редактором-издателем журналов

«Русская беседа» и «Русская мысль». Эту дружбу, закреплённую потом двумя годами совместного пребывания в Московском дворянском институте, сатирик сохранил на всю жизнь<sup>59</sup>.

## ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПУТИ К ПРОСВЕЩЕНИЮ

Как уже указывалось, родители Салтыкова старались обеспечить своим детям необходимое, по представлениям их времени и среды, образование, рассматривая его, впрочем, главным образом как начальную ступень к удачной служебной карьере в будущем. «Кём им служить, — писала Ольга Михайловна мужу о детях, — тём и готовить себя теперь, чем учиться без-толку»<sup>60</sup>. Забота в этом отношении проявлялась не только причастным к культуре Евграфом Васильевичем, но и вовсе чуждой ей, но честолюбивой Ольгой Михайловной. Но руководить образовательным делом родители не могли. Отец — потому, что был устранен от подлинно деятельного участия в жизни семьи; мать — потому, что всецело была погружена в процесс «благоприобретения», сутолоку хозяйственных дел и судебных тяжб, а также потому, что ее собственный образовательный уровень был слишком низок. В результате всего этого домашнее образование детей Салтыковых носило, по выражению сатирика, «какой-то заводский характер». Оно оказалось целиком предоставленным разного рода учителям «ценою подешевле», начиная от крепостного грамотея-богомаза и сельских священников, педагогический труд которых, естественно, никак или почти никак не оплачивался, до всякого рода сомнительных французских и немецких гувернанток, вербовавшихся на «сходных условиях» в Москве и очень часто сменявшихся деспотической и своенравной помещицей. Домашнее воспитание будущего сатирика оказалось, в силу этого, достаточно безалаберным.

В своей автобиографической записке 1878 года, написанной в третьем лице, сатирик писал:

«Учиться грамоте Салтыков начал семи лет, а именно в день своего рождения — 15 января 1833 года. Первым учителем его был крепостной человек, живописец Павел, который, с «указкой» в руках, заставлял его «твердить» азбуку. Затем, в 1834 году, вышла из Московского Екатерининского Института старшая сестра его На-

дежда Евграфовна, и дальнейшее обучение Салтыкова было вверено ей и ее товарке по Институту Авдотье Петровне Васильевской, поступившей в дом в качестве гувернантки. Кроме того, в образовании Салтыкова принимали участие: священник села Заозерье, Иван Васильевич, который обучал латинскому языку по грамматике Кошанского, и студент Троицкой духовной академии, Матвей Петрович Салмин, который два года сряду приглашался во время летних вакаций» (1, 81).

Сведения эти нуждаются в некоторых поправках и дополнениях.

Начать с того, что обучение Салтыкова фактически началось, видимо, раньше, чем он указывает. Подражая дворянской традиции, родители начали обучение мальчика не с русской, а с французской и затем немецкой «прамоны». Ему не исполнилось полных четырех лет, когда в конце 1829 года он стал «заниматься» французским языком у гувернантки старших детей мадам де Ламбер, той самой «француженки Даламбернии» из «Пошехонской старинны», которая «ничему учить не могла, но пила ерофеич и ездила верхом по-мужски». Получив известие о начале занятий брата, Надежда Евграфовна писала родителям из Москвы 7 ноября 1829 года: «...очень рада, узнав, что Мишенька также послушен и учится азбуке, я думала, что он очень нетерпелив и всегда хочет играть, я потому так думаю, что он при мне был очень резов...»<sup>61</sup>

Прошел Салтыков и через руки других гувернанток (старших детей), упоминаемых в письмах родителей и в записях Евграфа Васильевича в «адрес-календаре»: «мамзель Марии Андреевны Мертенс», «Каролины Карловны» и «Генриетты Карловны»<sup>62</sup>. Все они с этими именами перешли на страницы «Пошехонской старинны», где о них сказано: «Все они бесчеловечно дрались, а Марию Андреевну (дочь московского немца-сапожника) даже строгая наша мать называла фурией, так что во все время ее пребывания уши у детей постоянно были покрыты болячками».

Несмотря на такую «педагогику», Салтыков к шести годам не только научился «болтать» по-немецки и по-французски, но на этом последнем языке умел уже, видимо, немного «писать». Об этом, по крайней мере, свидетельствует найденный в бумагах сатирика после его смерти листок с записью, детским почерком, французского поздравительного стихотворения, преподнесенного

Евграфу Васильевичу в день его рождения 16 октября 1832 года, подписанный так: «Écrit par votre très humble fils Michel Saltykoff. Le 16 Octobre 1832»<sup>63</sup>.

В первоначальной, до сих пор неопубликованной, редакции «Пошехонской старины» (1883 год), отличающейся большей автобиографичностью, по сравнению с позднейшим окончательным текстом первых глав «хроники», Салтыков писал:

«Как и когда я начал учиться иностранным языкам (французскому и немецкому) — решительно не помню, но, вероятно, что пребывание различных Генриет, Каролин, Делаंबरш не осталось же попусту для меня. По крайней мере, роясь несколько лет тому назад в старинном бумажном хламе, перешедшем ко мне от предков, я нашел в них следующее поздравительное осьмистишие, написанное на пожелтевшей, полусгнившей бумаге».

Приведя затем текст стихотворения (заимствованный, несомненно, из какой-то французской хрестоматии), который вошел, но без подписи, в окончательную редакцию «Пошехонской старины» (XVII, 88—89), Салтыков замечает по поводу внешнего вида своей рукописи: «Внизу подписано: Écrit par votre très humble fils Nicodime (по-французски меня переименовали из Никанора в Никодима) Zatrapesny. Le 16 Octobre 1832 (мне еще семи лет не было). Написано старательно, по мелкому, и хотя по линейкам, но довольно твердой рукой. И выбор стихов, право, не дурной: не плоше любого поздравительного стихотворения Аполлона Майкова позднейшей манеры»<sup>64</sup>.

Обучение русской грамоте крепостным живописцем и одновременно садовником Павлом Соколовым, возможно, началось раньше, чем в семь лет. Во всяком случае в более позднем автобиографическом письме Салтыкова к С. А. Венгерову (от 27 апреля 1887 года) содержится иное и совершенно определенное утверждение: «Грамоте меня обучил крепостной человек, когда мне было 6 лет».

Такое же указание находим и в упомянутой выше первоначальной редакции «Пошехонской старины», где имеется следующий, еще не приводившийся в печати, рассказ сатирика о своих «первых шагах на пути к просвещению»:

«Как начали обучение другие братья и сестры, я не помню, — пишет Щедрин, — но сам я был посвящен в рус-



скую грамоту весьма оригинальным способом. Когда мне минуло шесть лет, это было в январе <1832 года>, отслужили молебен и призвали крепостного живописца Павла, которому и приказали обучать меня азбуке, чтению и письму. Помню я и азбуку (с картинками А — Арбуз, Д — Данило и т. д.), и красную указку, и самого Павла, высокого худого старика в зеленовато-желтоватом фризовом сюртуке. Учил он меня по-старинному а з а м и, и выучил на всю жизнь. Так что я и теперь могу проговорить азбуку только по-старинному: аз, буки, веди, а по-новому сбиваюсь... Впрочем, месяца через два, я уже связно читал и даже писал по-линейному...»<sup>65</sup>

Крепостной учитель очень скоро передал своему способному ученику те скудные знания, какими обладал сам, и дело дальнейшего образования перешло, как указывает Салтыков в том же письме 1887 года, к священнику соседнего (чужого) села Зайцева<sup>66</sup>.

С весны 1834 года все руководство обучения взяла в свои руки старшая сестра Салтыкова Надежда Евграфовна, только что окончившая Екатерининский институт в Москве. Она приехала в Спас-Угол вместе со своей институтской подругой Авдотьей Петровной Василевской. Последняя поступила в дом гувернанткой младших детей — Сергея и Ильи, но отчасти принимала участие в занятиях и с Салтыковым, сохранившим о ней добрые воспоминания.

Что касается сестры, то она была, повидимому, под стать тем «фуриям-гувернанткам», о которых речь была выше. Защищая однажды от нападок Евграфа Васильевича репутацию Надежды Евграфовны, Ольга Михайловна сама невольно раскрыла возможности, таившиеся в характере страстно любимой ею старшей дочери, в которой она отказывалась видеть какие-либо недостатки. «Надина прекрасного характера девушка, — писала Ольга Михайловна мужу, — и ты, а не я превращаешь сего ангела кротости в злонаправного зверя, ибо ты невыносим своими надруганиями...» (18 апреля 1834 года). Белоголовый же сообщает со слов сатирика о его старшей сестре: «Она была очень строга и за всякую провинность была братьев линейкою так жестоко, что, вспоминая об этом периоде своего воспитания, Михаил Евграфович говорил с содроганием»<sup>67</sup>.

Несмотря на такую воспитательную обстановку, Сал-

тыков, благодаря рано проснувшемуся в нем тяготению к знаниям, заставившему его, по словам С. А. Юрьева, «пристраститься к книге едва обучившись азбуке»<sup>68</sup>, очень быстро усвоил всю преподнесенную ему «школьную премудрость». Он был уже вполне подготовлен к поступлению в один из младших классов Московского дворянского института, куда по заведенному порядку Салтыковы отдавали своих сыновей. Но расчетливая мать, видя одаренность и успехи сына, сообразила, что он легко сможет подготовиться при помощи дешевых домашних учительниц сразу в один из средних классов института. Это избавляло ее от необходимости платить за полный курс обучения и содержания его там, что, кстати сказать, стоило по тому времени довольно дорого — около 5 000 рублей на ассигнации, то есть по 800 рублей в год, не считая денег, требовавшихся на экипировку.

Принятое решение готовить Салтыкова к поступлению прямо в третий класс Дворянского института, соответствующий пятому классу гимназии, потребовало некоторой перестройки «домашней школы». На протяжении 1834—1836 годов в обучении будущего сатирика принимает в разное время участие еще ряд лиц, кроме его сестры и А. П. Василевской.

Летом 1834 года Салтыков некоторое время занимается вместе с братом Николаем и присоединившимся к ним сыном помещицы А. Пановой из Воскресенского, с упомянутым выше учителем по имени Василий Иванович<sup>69</sup>. Зимой 1835/1836 года, проведенной в Заозерье, начинаются занятия по-латыни с местным священником, названным в автобиографическом письме 1887 года Иваном Васильевичем. Сохранившиеся списки причта села Заозерья позволяют установить, что это был священник Иван Васильевич Преображенский. В Заозерье он служил священником более 25 лет и близко знал всю семью Салтыковых<sup>70</sup>. С весны 1836 года в занятиях принимает участие пекий Михайло — студент Троицкой духовной академии. «Сегодняшнее число 20-е апреля (1836 г.) благословила Михайлу начать по-латыни и математике у Михайлы же...» — извещала Ольга Михайловна мужа<sup>71</sup>. Наконец летом того же 1836 года, непосредственно перед экзаменами, с Салтыковым занимался еще упомянутый им в автобиографической записке М. П. Салмин — также сту-

дент Троицкой духовной академии. Он приглашался в качестве репетитора и на летние вакации 1837 года<sup>72</sup>.

Что касается содержания занятий, то оно всецело определялось программой предстоящих Салтыкову вступительных экзаменов. Для поступления в третий класс Московского дворянского института программа требовала следующих знаний: русской грамматики и синтаксиса по учебнику Кошанского, русской и всемирной истории по учебнику Кайданова, географии по учебнику Ивановского, математики и языков французского, немецкого и латыни. По всем этим предметам и шли занятия. Кроме того, занимались рисованием и музыкой (обязательных два часа в день игры на фортепиано)<sup>73</sup>.

«Нельзя сказать, чтобы воспитание было блестящее», — писал впоследствии Салтыков, подводя в своей памяти итоги домашнего обучения. В другом месте он оценивает его как «безалаберное», имея, вероятно, в виду тот факт, что в течение двух с половиной лет пребывания в «домашней школе» ему пришлось перебивать в руках восьми «педагогов». Тем не менее он оказался настолько подготовленным, что в августе 1836 года, когда ему не исполнилось и одиннадцати лет, отлично выдержал серьезные вступительные испытания и был принят в третий класс Московского дворянского института.

Внешняя картина детского воспитания сатирика, восстанавливаемая на основе известных нам документов и свидетельств, не дает еще возможности увидеть и понять основную причину той гнетущей тяжести впечатлений, которую вынес сатирик из своего детства и которая сыграла потом значительную роль в деле формирования его мировоззрения.

Главное заключается в том, что Салтыков очень рано и остро почувствовал, с одной стороны, жестокость окружавшего его крепостнического быта и, с другой стороны, свою собственную незащищенность от его развращающих (по его позднему выражению, «оподляющих душу») воздействий. Относительная свобода, которой Салтыков пользовался в семье, отнюдь не обеспечивала возможности занять самостоятельную позицию по отношению к окружающему быту. «По наружности, я делал все, что хотел, — вспоминал сатирик словами Никанора Затрапезного, — но в действительности надо мной тяготела та же невидимая сила, которая тяготела над всеми домочадцами

и которой я, в свою очередь, подчинялся безусловно» (XVII, 95).

Не только обличительное задание «Пошехонской старины», но и суровая реальность лежащих в ее основе воспоминаний «ужасов вековой кабалы» крепостничества уясняются из одного признания Щедрина, относящегося к 1871 году: «Мы помним картины из времен крепостного права, написанные à la Dickens! Как там казалось тепло, светло, уютно, гостеприимно и благодушно! а какая на самом деле была у этого благополучия ужасная подкладка!» Правда, и Аксаков, «Семейную хронику» которого Щедрин имеет тут в виду, не остался целиком в рамках дворянско-помещичьей идеализации крепостного строя. Но только Щедрин с позиций революционно-демократической борьбы с крепостничеством смог обнажить его «ужасную подкладку» со всей беспощадностью и полнотою исторической правды, что одно уже составляет его несопимый вклад в русскую литературу.

И вот оказывается, что обнажение этой «ужасной подкладки» было произведено сатириком главным образом на материале его личных, непосредственных впечатлений, восходящих к годам детства. Обращение к архивным документам тридцатых — сороковых годов, относящимся к помещичье-крепостному быту семьи родителей Салтыковых, их родственников и ближайших соседей, позволяет весьма точно установить подлинные факты и эпизоды мрачной крепостной практики, которые знал, видел и на всю жизнь сохранил в своей памяти Щедрин.

Портрет «помещицы-фурии», жестокой истязательницы крепостных людей — «тетеньки Анфисы Порфирьевны» Щедрин писал с оригинала — со своей родной тетки, младшей замужней сестры отца, Елизаветы Васильевны Абрамовой, отличавшейся, по судебным показаниям замученных ею дворовых, «зломстительным характером».

В эпизоде превращения мужа «тетеньки Анфисы Порфирьевны» в крепостного человека использован нашумевший в тридцатых годах по всей Тверской губернии факт исчезновения калязинского помещика Милюкова, осужденного даже «правосудием» Николая I в ссылку за жестокое обращение с крестьянами; родственники объявили Милюкова умершим, а позднее оказалось, что, укрываясь от наказания, он жил у них под видом их дворового крепостного человека.

Суровая расправа над «тетенькой Анфисой Порфирьевной» доведенных ею до отчаяния крепостных девушек — это точно переданная судьба, постигшая дальнюю родственницу Салтыковых, помещицу Бурнашеву. Ее ключница впустила к ней в спальню сенных девушек, и они подушками задушили свою барыню-истязательницу.

Повествование о «проказнике» Урванцеве, назвавшем обоих своих сыновей-близнецов Захарами и разделившем между ними имение так, что раздел этот превратил братьев в двух смертельных врагов, а их поместья в подлинный застенки для крепостных людей, — это подлинная история семьи ближайшего соседа Салтыковых, майора Василия Яковлевича Баранова. Его сыновья-близнецы оба назывались Яковами, и оба были помещиками-извергами. Об одном из них — Якове Баранове 2-м — упомянутый выше священник-публицист И. Беллюстин писал: «Он был весел и доволен, когда слышал стоны истязаемых им, самое высокое наслаждение его было — вымучивать и долго и томительно жизнь крестьян своих. Распутство его не знало ни меры, ни пределов». В 1846 году Баранов был убит в конюшне поваром и конюхами. Об этом акте народной мести Евграф Васильевич информировал своих сыновей Дмитрия и Михаила. Он писал им 9 декабря 1846 года: «У нас в соседстве совершились неприятности. Баранова меньшого брата убили свои люди, и еще Ламакину невестку <родственницу Салтыковых> хотели отравить ядом, в пирог положенным, о чем теперь и следствие продолжается»<sup>74</sup>.

Трагедия Мавруши-Новоторки, вольной девушки, закреповившейся из любви к своему мужу — крепостному человеку, подобна трагедии жены первого учителя Салтыкова — крепостного живописца Павла Соколова. Еще в 1814 году он женился на «вольной» — калязинской мещанке Анне Ивановой. После смерти мужа, в 1834 году, имея на руках двоих детей — крепостных уже по закону, — она из любви к ним отказалась сама вновь получить свободу и стала дворовой женщиной Ольги Михайловны.

Рассказ о несчастной Матренке находит себе не одно, а ряд соответствий в записях метрической книги села Спас-Угол, регистрирующих браки «провинившихся» дворовых девушек, которые по приказу Ольги Михайловны отдавались замуж за бедняков-крепостных в отдаленные поместья вотчины.

Эти немногие примеры, заимствованные из разысканий Н. Журавлева в тверских архивных материалах<sup>75</sup>, устанавливают круг реальных, жизненных впечатлений Салтыкова от «ужасной подкладки» крепостнического быта, окружавшего его детство. Щедрин действительно имел основание сказать о себе впоследствии: «Я слишком близко видел крепостное право, чтобы иметь возможность забыть его. Картины того времени до того присущи моему воображению, что я не могу скрыться от них никуда... в этом царстве испуга, физического страдания... нет ни одной подробности, которая бы минула меня, которая в свое время не причинила бы мне боли» (VII, 147).

Затравленная и покончившая с собой «бессчастливая Матренка», засеченная насмерть Улита, повесившаяся в отчаянии от сознания своего рабства Мавруша-Новоторка, истязуемая Анфисой Порфирьевной дворовая девочка остались в памяти Щедрина не единичными примерами какого-то исключительного помещичьего изуверства, а закономерными в своей жестокости проявлениями виденного им «повседневного ужаса» крепостного права. И если в поместье родителей Салтыковых, как свидетельствуют документы, до прямых истязаний, до кровавых, уголовных эксцессов дело не доходило и сама Ольга Михайловна считала себя даже «благодетельницею» своих крепостных, то «повседневного ужаса» грубого помещичьего произвола «в форме сквернословия, пощечин, зуботычин и т. д.», как вспоминал Щедрин, было сколько угодно. Об этом красноречиво свидетельствуют собственные заявления Ольги Михайловны в ее письмах: «Марье-вдове накажи, чтобы она со всем усердием служила, а не то я ее несчастную сделаю» (Евгр. Вас. — 14 июля 1832 г.); «Ивку я жестоко наказала» (ему же — 31 сент. 1839 г.); «Левка живет в Пойме... я послала за ним, но он, плут, не пошел и скрылся, а я было хотела ему кожу с головы до ног спустить, и Андриан все было приготовил <для порки>, да не удалось» (ему же — без даты) и т. д. И если Ольга Михайловна относительно редко применяла телесные наказания у себя в имении, щадя, возможно, детей, то, разумеется, и не отказывалась от этой своей помещичьей прерогативы. Она лишь находила для ее осуществления другую форму. Об этом говорят, например, ее письма к калезинскому исправнику Ф. П. Померанцеву. Приведем для иллюстрации одно из них:

«Милостивый государь Федор Павлович! Долго ожидая исправления сельца Мышкина дворовой вдовы Арины... в оказываемых ею поступках неповиновения к ее начальству и грубостей, не решаюсь вас беспокоить... Но, наконец, уже не видя решительно ее раскаяния и повиновения... я нахожусь в необходимости отправить одну со старостой к Вам с покорнейшей просьбою за ее неповиновение и дерзкие своевольные поступки наказать и привлечь к должному повиновению, чем Вы истинно меня обяжете... Как Вам известно, что я без особой причины столько терпелива, никогда не решаюсь подвергать наказанию, но это обстоятельство так уважительно, что необходимо ее образумить, дабы она своим поведением не портила нравственности и других, о чем староста может лично Вам довести... Имею честь быть Вам покорнейшая слуга *Ольга Салтыкова*»<sup>76</sup>.

Архивные документы свидетельствуют также, что, кроме зуботычин, порки и пощечин, в семье помещиков Салтыковых применялись и более жестокие формы мрачного крепостнического «правосудия» для «провинившихся» крепостных рабов: насильственные браки, внеочередная отдача в рекруты, ссылка в смирительные дома и даже на поселение в Сибирь.

Таковы были суровые впечатления сатирика от крепостного быта, вынесенные из годов детства, с изумительной силой гнева и яркостью сохраненные в его памяти и гениально воплощенные в художественных образах его предсмертной «Пошехонской старины».

Щедрин, не боявшийся никакой правды, как бы жестока она ни была, не стеснялся вносить в автобиографические страницы своих произведений самые беспощадные признания о своей семье. В «Пошехонской старине» он с суровой прямою свидетельствует о «развращающем» воздействии тлетворной морали крепостнического мира на всех людей, окружавших его детство. «Все было проклято в этой среде, — писал Щедрин, — все ходило ошупью, во мраке безнадежности и отчаяния, который окутывал ее. Одни были развращены до мозга костей, другие придавлены до потери человеческого образа».

Такая среда должна была растить и растила рабов и будущих страшных щедринских героев — «Иудушек» и «Ильичей Хмыловых». Но для самого Салтыкова эта среда оказалась в конечном счете той враждебной силой, в борьбе с которой он вырос и созрел как личность и как художник. «Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сближало меня с подневольною массой, — утверждал уже на склоне своих дней Щедрин. — Это может по-

казаться странным, но я и теперь еще сознаю, что крепостное право играло громадную роль в моей жизни, и что, только пережив все его фазисы, я мог притти к полному, сознательному и страстному отрицанию его» (XVII, 155).

Повседневню наблюдавшиеся Салтыковым жестокость и несправедливость крепостного быта очень рано вызвали в нервном и впечатлительном ребенке чувство еще не осознанного, но активного протеста против отдельных, особенно поражающих его случаев насилия и оскорбления. В этом отношении показательна, несомненно, автобиографическая сцена защиты мальчиком Затрапезным крепостной девочки, истязавшейся «тетенькой» Анфисой Порфирьевной. Устами своего героя Щедрин говорит о своих переживаниях: «Я не помню, чтобы со мной случался когда-либо такой припадок гнева и чтобы он выражался в таких формах». Эмоции протеста и «гнева», в свою очередь, очень рано пробудили в Салтыкове ту работу мысли, которая направила его сначала на поиски личного выхода за пределы уже тревожившего в моральном аспекте быта, а затем, позже, и на его разрушение. Но нужно было обладать могучей силой простой здоровой человечности и рано проснувшегося морального самосознания, чтобы вызвать и накопить в себе всю ту сумму противоборствующих «пошехонскому» миру влияний, которые полностью оторвали бы Салтыкова от вскормившей его среды и позволили ему впоследствии примкнуть к самому передовому идеологическому отряду борцов с крепостническим миром и всеми его пережитками.

Освобождение от «проклятого наследия отцов», от страстно ненавидимого «пошехонья», конечно, пришло не сразу. Подобно Чехову, Щедрин медленно, путем упорной внутренней работы, «по капле выдавливал из себя раба», избавляясь от родимых пятен вскормившей его «головлевской» среды. Начало этого благородного и мужественного, освобождающего и победоносного процесса — важнейшего в жизни великого сатирика — относится еще к детским годам его, представляющим поэтому значительный интерес для биографа.

Разумеется, невозможно с точностью установить, когда именно в сознании Салтыкова-мальчика зародился первый протест против окружавшего его крепостнического быта. Сам он считал впоследствии таким моментом те весенние дни 1834 года, — ему шел тогда девятый год, — когда,



роясь в учебниках, он случайно отыскал «Чтение из четырех евангелистов» и самостоятельно прочел эту книгу (XVII, 96).

«Для меня эти дни принесли полный жизненный поворот, — свидетельствовал он впоследствии от имени Никанора Затрапезного. — Главное, что я почерпнул из чтения евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко поработал меня... Я не хочу сказать этим, что сердце мое сделалось очагом любви к человечеству, но несомненно, что с этих пор обращение мое с домашней прислугой глубоко изменилось и что подлая крепостная номенклатура, которая дотоле оскверняла мой язык, исчезла навсегда. Я даже могу с уверенностью утверждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего мирозерцания» (XVII, 97—98).

В своих воспоминаниях известный радикальный публицист Г. З. Елисеев, близко стоявший к Щедрину в шестидесятых — восьмидесятых годах, рассказывает, что, прочтя в «Вестнике Европы», где печаталась «Пошехонская старина», только что цитированное признание, он заинтересовался, «насколько это сообщенное Салтыковым сведение о таком раннем возникновении в нем самосознания может считаться несомненно подлинным материалом для его биографии». «Мне никогда не случалось видеть людей, — поясняет Елисеев, — или даже слышать о таких людях, в которых бы в таком раннем возрасте являлось такое определенное сознание самого себя и всего окружающего...»

При первом же посещении Салтыкова Елисеев высказал ему свои сомнения по этому поводу: «Но, — пишет он, — Салтыков отвечал мне, что все было именно так, как он описал в своей статье». Через известный промежуток времени, по другому поводу, Салтыков опять повторил Елисееву, что «то, что он написал о своем раннем развитии в детских годах... действительно было именно так, как он написал. Другой современник, также давно и хорошо знающий Салтыкова и много писавший о нем, — А. Н. Пыпин, в свою очередь также замечает по поводу цитированного признания: «Едва ли сомнительно, что он рассказывает личный опыт»<sup>77</sup>.

Можно, таким образом, не сомневаться в субъективно-автобиографической искренности признания Салтыкова. Но формулированное спустя полвека и к тому же в художественном произведении — это признание не может, конечно, обладать и не обладает значением и ценностью подлинного автобиографического документа. Наоборот, оно не столько отражает, сколько искажает объективную биографическую правду. В этом признании слишком очевиден отпечаток мышления позднего Щедрина, с его страстной просветительской верой в могучую, преобразующую силу слова, убеждения, морального потрясения. Возникновение чувства социального протеста Щедрин изобразил здесь как результат «внезапного появления сильного и горячего луча», «извне пришедшего и глубоко потрясшего его детский, но уже привычный взгляд на окружающий мир», разбудившего в нем «человеческую совесть». Однако дальше Щедрин говорит: «В этом признании человеческого образа там, где, по силе общестановившегося убеждения, существовал только поруганный образ раба, состоял главный и существенный результат, вынесенный мной из тех попыток самообучения, которым я предавался в течение года» (XVII, 98).

Мы не располагаем, естественно, никакими объективными данными об этом раннем моменте духовного развития будущего сатирика, навсегда оставившем в его жизненной памяти такой яркий и благодарный след. Можно утверждать, что не последнюю роль сыграли здесь особые обстоятельства первоначального обучения Салтыкова. Он не прошел в свои ранние годы через стройную систему домашнего воспитания, которая осуществлялась в богатых дворянских семьях дипломированными гувернантками и гувернерами и очень рано прививала помещичьим детям чувство социальной-кастовой привилегированности, сознание своего «барства». Некультурная купчиха-мать могла проявить лишь чисто внешнюю заботу о дворянском кодексе воспитания, пригласив упомянутых выше «гувернанток», которые «ничему учить не могли». И, конечно, эти гувернантки и особенно первые воспитатели и учителя Салтыкова — крепостная мамка, крепостной живописец, сельские священники и студенты-семинаристы — менее всего могли воспитать в нем дворянское самосознание. Наоборот, от своих учителей, вышедших из народа, Сал-

тыков должен был слышать слова, которые показывали ему «человека» в «рабе» и тем самым готовили его мысль к признанию несправедливости деления окружающей его социальной среды на мир «слуг» и «господ».

Развитию мысли мальчика Салтыкова в этом направлении содействовали, возможно, те или иные литературные произведения. Из приведенного выше мемуарного свидетельства С. А. Юрьева видно, что в возрасте 7—10 лет Салтыков уже много читал. И несомненно, что именно самостоятельное чтение имеет в виду, в первую очередь, сам Салтыков, говоря о своих «попытках самообучения».

Тогдашний круг его чтения нам неизвестен. Словами Никанора Затрапезного Щедрин заявляет: «Несмотря на обилие книг и тетрадей, которые я перечитал, я не имел ни малейшего понятия о существовании русской литературы. По части русского языка у нас были только учебники, т. е. грамматика, синтаксис и риторика. Ни хрестоматии, ни даже басен Крылова не существовало...» Правда, в семье Салтыковых в 1834—1835 годах получались журналы: «Библиотека для чтения», «Московский наблюдатель» и «Живописное обозрение»<sup>78</sup>, у Евграфа Васильевича была небольшая библиотека иностранных и отчасти русских книг (по воспоминаниям О. И. Зубовой, в библиотеке, сохранявшейся до начала нынешнего столетия, «были всевозможные книги»). Круг чтения Салтыкова мог выходить за пределы учебной литературы, но все же по преимуществу он, видимо, ограничивался ею.

Нет ничего удивительного, что когда в руки Салтыкова попало затерявшееся среди старых учебников, календарей и рыночной макулатуры евангелие, оно было прочтено им с интересом. Нет никаких оснований утверждать, что он испытал при этом какое-то пробуждение религиозного чувства. Будь это так, Щедрин упомянул бы об этом в цитированном признании, которому придавал важное значение. Но он говорит в нем о пробуждении социального сознания, а не религиозного чувства, в плену у которого он не был никогда. Нельзя забывать, что и по отношению к религии Салтыков находился в детские годы не в обстановке патриархально-дворянского быта, а в атмосфере обнаженного хозяйственного практицизма, чуждавшегося всего неясного, религиозно-мечтательного, иррационального. Религиозность в семье, если не говорить об отце, ограничивалась чисто внешней

обрядностью, являвшейся одним из средств воздействия на крепостных рабов. Вообще же отношение родителей Салтыкова к представителям церкви, несмотря на показную набожность, было грубое и презрительное, а в последних мальчик мог видеть лишь невежественных и жалких, забитых людей, целиком зависящих от воли помещика. Самостоятельно прочтенные в евангелии и по-детски непосредственно воспринятые слова о равенстве и братстве людей скорее могли, наоборот, подвести мысль мальчика Салтыкова к пониманию лжи и лицемерия религии. Слишком разителен был контраст между прямым смыслом этих призывов и крепостническим рабством, освящаемым и благословляемым церковью.

Рассказ о чтении евангелия в «Пошехонской старине» неоднократно служил источником для вольной или невольной фальсификации картины идейного развития Салтыкова в либерально-народнической критике прошлого. В наши дни пропагандой и дальнейшей «разработкой» этой давно разоблаченной советским литературоведением фальсификации занялся, вполне уже злонамеренно, американский буржуазный славист N. Strelsky<sup>79</sup>. Он сам отчетливо определяет содержание и характер политического задания, лежащего в основе предпринятых им «усилий». Его, оказывается, тревожит, что в советской стране щедринская сатира «является стрелой, хорошо подходящей к коммунистическому луку». Он считает необходимым «как по отношению к истории, так и по отношению к советским школьникам» устранить эту «несправедливость», то есть всячески ослабить, притупить остроту социальных и политических разоблачений частнособственного мира, содержащихся в щедринской сатире, лишить ее революционного содержания.

Преувеличивать значение книжных источников в формировании сознания Салтыкова-ребенка нет оснований. Зарождением первых ростков чувства социальной справедливости он был обязан, разумеется, не какому-либо книжному источнику, а своему жизненному опыту, той суровой действительности, которая поставила его лицом к лицу с миром народного горя и страданий, с одной стороны, и миром помещичьего хищничества и произвола — с другой.

Недаром в воссозданных Щедриным, по воспоминаниям детства, образах людей из народа — Сатире-скиталь-

це, Мавруше-новоторке и других — чувствуется такая духовная сила простого русского человека, которая указывала на заложенные в них возможности богатого развития. С величайшей болью отмечая в «Пошехонской старине» отдельные проявления пассивности народных масс перед лицом чудовищного гнета крепостничества, Щедрин вместе с тем показал, и тоже на материале впечатлений своего детства, что века крепостной неволи не притупили в русском народе ни чувства собственного достоинства, ни гордого стремления к свободе и глубочайшей веры в свое грядущее освобождение. К лично пережитым впечатлениям детства, к подлинным фактам восходят и все изображенные в «Пошехонской старине» проявления классовой борьбы крепостных крестьян — их организованные расправы над своими угнетателями, помещиками-извергами; гибель истязательницы Анфисы Порфирьевны, «олонкинская катастрофа», повергшая в ужас и оцепенение всех окрестных помещиков, и другие акты народной мести.

Изображение крепостного крестьянства, в первую очередь дворовых, в «Пошехонской старине» свидетельствует, что именно жизнь закрепощенных народных масс, а не какие-либо книжные источники, оказала решающее влияние на пробуждение социального сознания Салтыкова в самом раннем возрасте.

Тем более не книжные источники могли подсказать Салтыкову какие-либо пути преодоления так рано открывшейся его детскому взору пропасти между смутно еще понятным, но остро почувствованным представлением о социальной справедливости и жестокой действительностью. Эти пути Салтыкову в годы его юности и возмужалости пришлось еще долго, настойчиво искать и выработать совместно с лучшей частью русской демократической интеллигенции.

### **ВНЕШНЯЯ ОБСТАНОВКА ДЕТСТВА САЛТЫКОВА. ОТЪЕЗД В МОСКВУ**

В упомянутых выше записях С. А. Юрьева, набросанных в восьмидесятые годы, есть фраза, внесенная, очевидно, после прочтения первых глав «Пошехонской старины»:

«Салтыков безжалостен к своему грустному детству, и это отчасти справедливо: оно рано отравило желчью и ненавистью его духовный организм и навсегда оставило печальную складку в его характере».

Что мрачный быт «Пошехонской старины» и «домашний ад» семейного воспитания образовали в характере сатирика «печальную складку» — это несомненно. Но это лишь одна сторона дела. Другая и важнейшая заключается в том, что суровые условия первых лет жизни Салтыкова, несомненно, способствовали происшедшему впоследствии разрыву его с социальной средой, к которой он принадлежал по рождению и по воспитанию, и переходу на революционно-демократические позиции.

Существенное значение в этом отношении имело еще одно обстоятельство. Окружавшая Салтыкова в его детские годы среда мелкопоместного провинциального дворянства, непосредственно осуществлявшего эксплуатацию крепостных рабов, отмеченного чертами самого грубого житейского практицизма, жадности и самодурства, чуждого каких бы то ни было умственных или общественных интересов, не содержала в себе решительно никаких парадно декорирующих элементов, которые бы прикрывали обнаженность крепостнического хищничества и позволяли бы не замечать его или мириться с ним. Салтыковская вотчина ничем не напоминала опозтизированное Тургеневым «дворянское гнездо», так или иначе причастное к культуре, или чеховский «вишневый сад», пронизанный своеобразной поэзией.

Невесела и даже мрачна была самая местность, окружавшая родовое гнездо Салтыковых. Равнина, покрытая сосновыми и еловыми лесами да бесчисленными болотами, топиями и бочагами, — таков безотрадный пейзаж, характерный для юго-восточного угла бывшей Тверской губернии. «Леса горели, гнили на корню и загромождались валежником и буреломом; болота заражали окрестность миазмами, дороги не просыхали в самые сильные летние жары... по вечерам над болотами поднимался густой туман, который всю окрестность окутывал сизой, клубящеюся пеленой» (XVII, 40—41). Щедрин, всегда связывавший свои пейзажные описания с социальными характеристиками, говорил потом о местности, в которой родился, что «как будто она самой природой предназначена была для мистерий крепостного права» (XVII, 39).

Расположение спасской усадьбы было лишено какой-либо живописности. Помещалась она на юру, при самом въезде в село. Помещичий дом, в котором родился сатирик, судя по сохранившейся фотографии (дом сгорел в 1910 году<sup>80</sup>), не имел архитектурного облика дворянской усадьбы. Это была какая-то большая расплывшаяся постройка в два этажа с мезонином и двумя террасами, воздвигнутая, как иронически говорил Щедрин, по правилам «ярославской архитектуры». Дом был «громадный», но внутренние помещения в нем не отличались ни удобствами, ни изяществом богатых дворянских усадеб. В нем не было ни обширных зал, ни гостиных, ни библиотечных комнат. Помещичья семья и многочисленная комнатная прислуга занимали два верхних деревянных этажа (третьим этажом считался мезонин). В нижнем, каменном, этаже помещалось множество кладовых, мастерских и комнат для дворовых. При доме был сад, кругом обнесенный решеткою. За исключением одной аллеи, сохранившейся и по сей день, он был обсажен не традиционными для дворянских усадеб липами, а тополями и вишневыми деревьями. В нем было мало тени, и часть его весьма прозаически использовалась под огороды. Особняком от усадьбы был разбит большой фруктовый сад «с оранжереями, теплицами и грунтовыми сараями». Но он имел хозяйственно-коммерческое назначение, и детей в него не пускали.

Самовластная хозяйка спасской усадьбы, сохранившая, судя по фотографии шестидесятых годов, и во всем своем внешнем облике характерные купеческие черты, всегда погруженная в хозяйственные заботы, ничем не напоминала тех представителей образованного русского дворянства, из среды которого вышли Пушкин и Лермонтов, Аксаков и Тютчев, Тургенев и Толстой. Быт салтыковского поместья был глубоко прозаичен. Из него изгонялось по возможности все то, что было лишено непосредственного делового значения. «Бытовая сторона жизни, — вспоминал Щедрин, — с ее обрядами, традициями и разлитою во всех ее подробностях поэзией, не только не интересовала, но представлялась низменной, «неблагородною». Старались истреблять признаки этой жизни даже среди крепостной массы, потому что считали их вредными, подрывавшими систему безмолвного по-

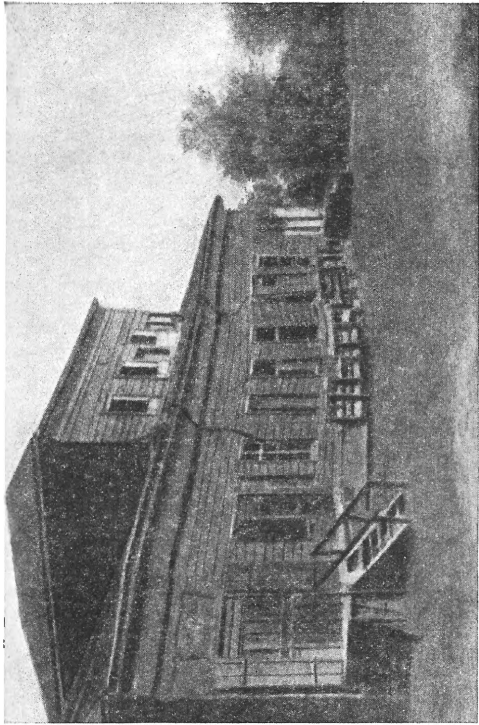
виновения, которая одна признавалась пригодною в интересах помещичьего авторитета» (XVII, 350).

И только дважды в году несколько ослаблялся гнет суровой и серой обыденности. Это было на пасху и в рождество. Уступая обычаю, Ольга Михайловна допускала в эти дни относительную свободу для детей и крепостных. Затевались игры, катания, предпринимались поездки к соседям, принимали гостей у себя. Ощущение непринужденности, веселья и своеобразной бытовой романтики этих праздников сохранилось в памяти Щедрина как нечто единственно светлое и поэтическое в его нерадостном детстве. И именно в силу исключительности этих впечатлений, их резкого контраста с привычной серостью и придавленностью повседневного быта Салтыков впоследствии склонен был иногда придавать им преувеличенное значение. Так, однажды, уже незадолго до смерти, больной и глубоко несчастный в своей семейной жизни сатирик писал Елисееву по поводу пасхальных дней 1885 года, проведенных почти в полном одиночестве: «Праздники я провел хмуро и, право, не веселился. Помнится и мне, что это был веселый праздник, но что-то давно. Всего грустнее то, что и дети мои не имеют об этом празднике того представления, какое с ним связывали мы... Несчастливы будут мои дети; никакой поэзии в сердцах; никаких радужных воспоминаний, никаких сладких слез; ничего, кроме балаганов. Ежели я что-нибудь вынес из жизни, то все-таки оттуда, из десятилетнего деревенского детства» (XX, 158). Но очень скоро, всем материалом своей «Пошехонской старины», Щедрин перечеркнул заключительный, слишком обобщенный вывод из этого признания, и он остался единственным высказыванием такого рода среди множества других, полных горьких сетований на безотрадное начало своего жизненного пути.

С особой грустью Щедрин отмечал, что его детство было почти лишено общения с природой и с миром народной поэзии. «Мы знакомились с природой случайно и урывками, — писал он, — только во время переезда на долгих в Москву или из одного имения в другое. Остальное время все кругом нас было темно и безмолвно».

«Замечательно, — писал Щедрин в другом месте, — что между многочисленными няньками, которые пестовали мое детство, не было ни одной сказочницы. Вообще





*Дом Салтыковых в селе Заозерье бывшей Ярославской губернии  
фотография 1940 года*



весь наш домашний обиход стоял на вполне реальной почве и сказочный элемент отсутствовал в нем».

Отсутствие в детском быту Салтыкова народных сказок и песен сказалось в том, что фольклор Щедрина лучше всего знал в его пословичном фонде. В речевом обиходе матери сатирика и всей окружавшей его детство среды крепостных и дворовых пословица и поговорка играли большую роль. С ранних лет Салтыков должен был, таким образом, усваивать и сатирическую направленность и афористичность мышления, присущие этому виду народного творчества. А эти элементы образовали впоследствии существеннейшие стороны не только живой речи сатирика, но и его художественного стиля.

Прозаический мир хозяйственной крепостнической практики, в который целиком была погружена семья Салтыковых, лишил сатирика счастливого гармонично-исленного детства. Но эти же условия вместе с тем способствовали выработке в нем того необычайно трезвого, реалистического способа восприятия действительности, чуждого каких-либо элементов романтической идеализации ее, который явился характернейшей чертой самого склада или типа мышления сатирика. Отсутствие же в семье, уже достаточно обуржуазившейся (если не говорить об отце), какого-либо культа дворянско-феодалных традиций оставило Салтыкова свободным от глубокого восприятия идеологических элементов дворянского самосознания, столь рано и прочно усваивавшихся молодыми дворянами в родовых вотчинах своих отцов. Неоткуда было проникнуться и принципиальным уважением к представителям верховной власти. В семье родителей не было связей ни с двором или родовой знатью, ни с какими-либо политическими и культурными деятелями дворянства. Политика воспринималась элементарно, в ее бытовом выражении. «Правительство называли «начальством», — вспоминает сатирик, — а представление о внутренней политике исчерпывалось выражениями: «ежовые рукавицы» и «канцелярская тайна» (XVII, 452).

Сумма дворянского наследства, воспринятого «столбовым дворянином» Салтыковым из семейного гнезда, была, в силу всего сказанного, относительно невелика.

Помещичья жизнь с детства открылась ему не с ее показной, пышной стороны, а со стороны ее «ужасной подкладки», хорошо известной крепостным рабам, кровью

и пото́м которых скреплялось дворянское благополучие. Поэтому-то Салтыков и не обманывался никогда культурными фасадами «дворянских гнезд» и «приглаженной» внешностью их обладателей. Он отчетливо представлял, что скрывалось за ними.

«...Некрасов и Салтыков, — писал В. И. Ленин в статье «Памяти графа Гейдена», — учили русское общество различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушные подобных типов...»<sup>81</sup> Первоначальные истоки этого трезвого, глубоко демократического реализма воззрений Салтыкова лежат в плане биографическом, в охарактеризованных нами условиях его детства.

\* \* \*

Когда летом 1836 года десятилетнему Салтыкову пришла пора отправиться в Москву для определения в казенное учебное заведение, он покинул родительский кров и простился со своим детством без сожаления: «Не помню, — писал он впоследствии, — чтобы во мне происходило в то время какое-нибудь душевное движение».

В начинавшееся отрочество, в свои «годы учения» Салтыков вступал, имея в прошлом нечто гораздо более способное воспитать негодующего сатирика, чем то, что представлял собою общий уровень дворянско-помещичьей среды николаевского времени. Суровая действительность крепостного права в темную пору последекабристской реакции даже в такой мягкой натуре, как Тургенев, чье детство было ограждено всей смягчающей обстановкой культурного дворянско-аристократического быта, очень рано пробудила ненависть к рабовладельческому строю. Ничем не прикрытые и не прикрашенные «ужасы этой всковой кабалы» и «домашний ад» семейного гнезда, охватывавшие со всех сторон детскую жизнь Салтыкова, вызвали в сильной и нервно-впечатлительной натуре мальчика такой глубокий протест, который запомнился на всю жизнь, ознаменовал начало критической работы его сознания и многое определил в его дальнейшем пути.

Детство Салтыкова послужило первым толчком к его отчуждению от жизни своего класса, а впоследствии — и к полному разрыву сатирика с его социальной средой.

## ГОДЫ УЧЕНИЯ

«Помню я и школу, но как-то угрюмо и непри-  
ветливо, воскресает она в моем воображении...»

*Щедрин. «Губернские очерки».*

В начале августа 1836 года Салтыков вместе с матерью выехал «на ученье» в Москву.

Путь от Спасского, расстоянием в сто тридцать пять верст, шел через знаменитый Троице-Сергиевский посад и дальше до Москвы — широким и оживленным трактом, обсаженным двумя рядами берез. Эту дорогу, всегда заполненную вереницею пешеходов и разнообразными, на каждом шагу встречающимися экипажами, Салтыков впоследствии, будучи школьником и лицеистом, «изучил почти шаг за шагом» (XVII, 196). Впечатления от нее отразились во многих дорожных пейзажах щедринских произведений: «Губернских очерках», «Благонамеренных речах», «Господах Головлевых», «Пошехонской старине».

В Москве Салтыковы остановились на постоялом дворе у Сухаревой башни. Сразу же был нанесен визит деду М. П. Забелину, жившему в Большом Афанасьевском переулке, близ Арбата, в небольшом деревянном доме, знакомом уже Салтыкову по детским поездкам в «первопрестольную»<sup>1</sup>. Здесь в годы московского ученичества Салтыков проводил свои отпускные дни, пока не приезжала на два-три зимних месяца вся семья, останавливавшаяся в одном из арбатских переулков, обычно в Сивцевом Вражке, в нанимавшемся для этого небольшом дворянском особняке.

«Арбатскую Москву» тридцатых — сороковых годов, Москву поместного неслужащего дворянства средней руки, Щедрин, пользуясь впечатлениями детства, описал

в «Пошехонской старине». «Московские главы» Щедринской хроники по своей художественной яркости и бытовой правдивости могут быть поставлены в ряд с классическими картинами «грибоедовской Москвы» и соответствующими страницами из «Былого и дум» Герцена.

17 августа 1836 года после успешно выдержанного экзамена Салтыков был зачислен «полным пансионером», то есть интерном, в третий класс шестиклассного Московского дворянского института и впервые надел его форму — темнозеленый мундир с золотыми петлицами по красному воротнику и бронзовыми пуговицами с московским гербом. Наблюдать за сыном Ольга Михайловна оставила дядьку — крепостного человека Платона, ставшего отныне верным другом и жизненным спутником Салтыкова на протяжении двух десятков лет.

По уставу Дворянского института, в третий класс могли быть принимаемы дети не моложе 12 и не старше 14 лет (в следующие, высшие классы прием был вообще воспрещен). Салтыкову нехватало полугода до 11. Возникшее препятствие было быстро устранено энергичной Ольгой Михайловной. В своем «объявлении директору» она попросту прибавила сыну полтора года. Обстоятельство это, правда, тут же открылось, но хорошо знакомая с начальством института Ольга Михайловна (там воспитывались два ее старших сына — Дмитрий и Николай) уладила дело. Салтыкова не перевели в младший, второй, класс, а лишь оставили впоследствии, во время переводных экзаменов, «по малолетству» еще на один год в третьем<sup>2</sup>.

## В МОСКОВСКОМ ДВОРЯНСКОМ ИНСТИТУТЕ

(1836—1838)

«Публичное воспитание я начал в Москве, в специально-дворянском заведении, задача которого состояла преимущественно в подготовке «питомцев славы». Заведение, впрочем, имело хорошие традиции и пользовалось отличною репутациею».

*Щедрин. «Недоконченные беседы».*

Дворянский институт, в который поступил Салтыков, принадлежал к числу старейших учебных заведений в России. Это привилегированное учебное заведение было

основано под именем Московского университетского благородного пансиона еще в 1779 году, а фактически существовало при Московском университете с момента учреждения последнего, то есть с 1755 года.

В годы своего процветания, в первое двадцатилетие XIX века, Благородный пансион, наряду с Царскосельским лицеем, был крупнейшим рассадником образованности среди русских дворян. Через пансион прошло не одно поколение выдающихся деятелей русской культуры. В нем учились, в частности, Озеров, И. Пнин, А. Шаховской, Жуковский, Грибоедов, Боратынский, Вяземский, Лермонтов, Вл. Одоевский, будущий декабрист Н. Тургенев и его брат, полуэмигрант А. Тургенев, а из сверстников Салтыкова — поэт Л. Мей и будущий академик-экономист В. Безобразов (после Дворянского института — также лицеисты), братья Д. и Н. Милютины и другие.

В пансионе была крепкая литературная традиция и относительно либеральная атмосфера, привносившаяся сюда профессорами университета, преподававшими в старших классах. В условиях николаевской реакции этого было достаточно, чтобы правительство увидело в пансионе чуть ли не очаг распространения политического «вольнодумства» среди дворянской молодежи. Для пансиона наступила пора крутых преобразований.

Непосредственным толчком для них послужило посещение пансиона Николаем I в марте 1830 года. Он явился туда совсем неожиданно, без сопровождающих, попал в пансионский актовый зал и коридор во время «перемены» и очутился среди бушевавшей толпы учеников, не только не узнавших «августейшего посетителя», но и вообще не обративших на него никакого внимания. «Можно предвидеть себе, — вспоминал пятьдесят лет спустя очевидец этой сцены, тогда воспитанник пансиона, Д. А. Милютин, — какое впечатление произвела эта вольница на самодержца, привыкшего к чинному, натянутому строю петербургских военно-учебных заведений». Собрав перепуганное начальство и воспитанников, Николай I излил свой гнев «с такой грозною энергией, какой нам никогда и не снилось; пригрозив нам, он вышел и уехал»<sup>3</sup>. Обучавшийся одновременно с Д. А. Милютиным брат Салтыкова Дмитрий излагает этот эпизод несколько иначе. По его свидетельству, в передаче О. И. Зубовой, ярость

царя и последующие кары были вызваны другой причиной. В актовом зале на мраморных досках были нанесены имена отлично окончивших пансион воспитанников. В этих списках царь прочел несколько фамилий декабристов, по оплошности оставленных начальством. Это и было сочтено за проявление «крамольного духа»<sup>4</sup>. Однако документальные подтверждения этого мемуарного свидетельства отсутствуют.

Как бы то ни было, но вскоре после «высочайшего» посещения последовали не только смена начальства пансиона, но и его преобразование. Он был отделен от университета, лишен ряда привилегий (в том числе и важнейшей — выпускать воспитанников с классными чинами прямо на государственную службу) и преобразован в закрытую дворянскую гимназию — Первую московскую гимназию, — реформированную, в свою очередь, в 1833 году в Московский дворянский институт. В мае 1836 года, то есть всего лишь за три месяца до поступления туда Салтыкова, вновь назначенный министр народного просвещения С. С. Уваров выработал, а Николай I утвердил новое «положение» для института. Оно узаконивало в нем классическую систему образования, изгоняло из числа его курсов читавшиеся там раньше философию, политическую экономию, «дипломатию и политическую историю», «теорию изящных искусств», естественную историю и ряд других предметов. Новое положение вводило для воспитанников жестокий режим строгой опеки и надзора. Уваровская система «народного просвещения» превращала Дворянский институт с его либеральным прошлым в казенно-унифицированное учебное заведение николаевской России<sup>5</sup>.

Однако старые традиции были еще сильны. Они находили себе защитника в лице директора института С. Я. Унковского и опору в сравнительно независимых и либеральных (в условиях николаевского царствования) позициях попечителя Московского учебного округа графа С. Г. Строганова, которому непосредственно был подчинен институт. Среди учебных администраторов николаевской России Строганов выделялся чертами, которые вызывали к нему сочувственное отношение со стороны передовой московской интеллигенции, в частности Герцена. Строганов заботился об университете, поддерживал в нем молодую группу профессоров — Крюкова, Редкина,



Грановского — и намеревался, в частности, привлечь их к преподавательской деятельности в старших классах Дворянского института. К реакционной системе Уварова он относился отрицательно. Позднее, за отказ опубликовать один из его циркуляров (направленный против славянофилов), он получил от Николая I выговор и вынужден был подать в отставку. Но оказываемое им противодействие уваровской перестройке школы не могло быть ни длительным, ни сколько-нибудь решительным. В марте 1837 года Строганов вынужден был по прямому предписанию Уварова принять отставку Унковского и назначить вместо него на директорский пост более послушного и менее самостоятельного чиновника, при котором практически и осуществилась реформа института. Это как раз совпало с годами пребывания там Салтыкова.

Два года жизни и учения сатирика в Дворянском институте образуют одно из многочисленных «белых пятен» его юношеской биографии. Сведения об этом периоде заимствуют исключительно из художественно-сатирических зарисовок школьного быта, разбросанных в сочинениях Щедрина. Но однажды он рассказал о своем ученье в Москве в простой форме автобиографических воспоминаний.

В главе VIII «Недоконченных бесед» Щедрин писал: «Публичное воспитание я начал в Москве, в специально-дворянском заведении, задача которого состояла преимущественно в подготовке «питомцев славы»<sup>6</sup>. Заведение, впрочем, имело хорошие традиции и пользовалось отличною репутацией. Во главе его почти всегда стояли ежели не отличнейшие педагоги, то люди, обладавшие здравым смыслом и человечностью. В первый год моего пребывания в заведении директором его был старый моряк, С. Я. У<нковский><sup>7</sup>, о котором, я уверен, ни один из бывших воспитанников не вспомнит иначе, как с уважением и любовью. Об сечении у нас не было слышно, хотя оно несомненно практиковалось, как и везде в то время. Но, во-первых, практиковалось только в крайних случаях и, во-вторых, келейно...» (XV, 406).

Однако через год картина изменилась. Старый директор вынужден был удалиться. «На его место был назначен бывший инспектор, добрый человек, но не самостоятельный, а в качестве инспектора явился молодой чело-

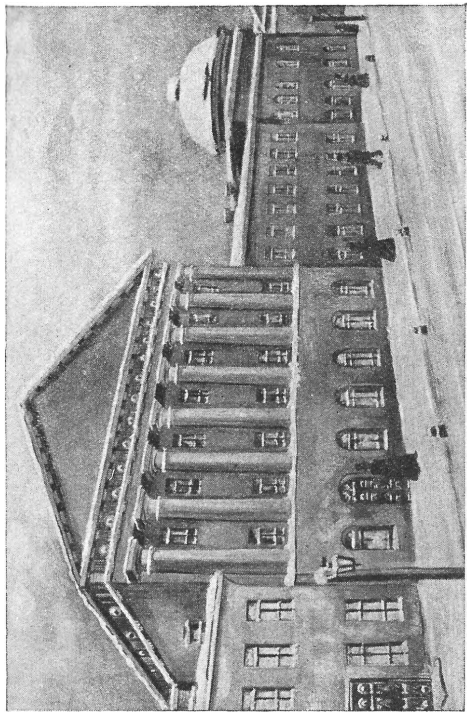
век, до тонкости изучивший вопрос о роли, которую должна играть «средняя часть тела» в деле воспитания юношества».

Далее Щедрин описывает экзекуции, производившиеся каждую субботу «по выходе от всенощной» в рекреационной зале института. Посредине зала ставилась скамейка, около которой ожидали «дежурный секутор и двое дядек, обязанных держать наказываемого за плечи и за ноги». Секли по очереди штатные урядники института — Кочурин и Купцов. «Кочурин был солдат добрый и сек больно, но без вычур; Купцов сек и в то же время как бы мстил секомому». По списку, хранившемуся в секрете до момента начала экзекуции, инспектор «бесстрастным голосом выкрикивал имена жертв, приговаривая: «за леность, за дерзость, за буйство, за воровство». Вызывалось обыкновенно от 8 до 10 человек, но почти каждую субботу слышались одни и те же фамилии, и «посторонних» бывало немного. «Число розог определялось от пяти до шестидесяти (за самые тяжкие вины, вроде искилечения, воровства, повторного пьянства и т. д.)».

«Так длился целый год, — заканчивает Щедрин свой рассказ, — после чего я оставил заведение и сведений о дальнейшей судьбе субботников уже не имею» (XV, 407).

Воспоминания об оскорбительных наказаниях Салтыков сохранил на всю жизнь. Они легли основным грунтом в те беспощадные страницы его сатиры, которые он посвятил «чистокровнейшим» учебным заведениям и их педагогическим системам. Достаточно сопоставить приведенное выше воспоминание с описанием школьного быта во «Второй параллели» из «Ташкентцев приготовительного класса» («Господа ташкентцы», 1871), чтобы убедиться в тождественности ряда жизненных впечатлений, использованных в обоих текстах — мемуарном и художественно-сатирическом<sup>8</sup>. Изображая в «Господах ташкентцах» сцену сечения воспитанника по прозвищу «палач», Щедрин снабжает ее точно такими же подробностями, как и в только что приведенном отрывке из своих воспоминаний.

Любопытна деталь, позволяющая судить о точности памяти сатирика в отношении своих школьных лет. В обоих текстах упоминаются урядники Кочурин и Купцов, производящие экзекуции. В 1836—1838 годах в



*Московский дворянский институт*  
Реконструкция художника Б. С. Земенкова по архитектурному плану 1820-х гг.  
*Государственный литературный музей, Москва*



Горьковском институте должность ночных дядек-надзирателей действительно занимали отставные солдаты Кочурин и Купцов, как об этом свидетельствуют штатные ведомости, сохранившиеся среди архивных дел института<sup>9</sup>.

Те же архивные документы позволяют назвать фамилию «молодого человека», который явился в качестве нового инспектора и ввел в институте «субботники» сечения. Это был В. К. Ржевский (1811—1885), назначенный на пост инспектора в начале 1837/1838 учебного года, в возрасте 26 лет<sup>10</sup>. Это был тот самый Ржевский, орловский помещик и сосед И. С. Тургенева по имению, общавшийся в эти годы с кружком передовой московской молодежи (Белинским, Станкевичем, своим родственником Бакуниным и другими), а впоследствии крупный чиновник министерства внутренних дел и реакционный политический публицист, с которым в шестидесятые годы Щедрина пришлось жестоко полемизировать по крестьянскому вопросу. Сам же Ржевский следующим образом отзывался о своей педагогической деятельности в институте в письме к Белинскому от 22 августа 1840 года: «О себе скажу вам, что я более и более притягиваюсь душою к своему Институту, а как он идет хорошо, то и я доволен и счастлив»<sup>11</sup>.

Первый год пребывания Салтыкова в институте был лишен, как он сам указывает, тяжелых впечатлений и от сцен физических наказаний и вообще от режима чрезмерной опеки, начавшего внедряться лишь после ухода директора Унковского и назначения на его место безвольного и безличного И. Ф. Краузе (умер в 1839 г.), целиком подчинившегося инспектору Ржевскому. Вступив в институт, Салтыков, повидимому, сразу же энергично принялся за учение. Об этом свидетельствует по крайней мере сохранившаяся отметка против его имени в классном журнале за сентябрь 1836 года: «Отличен в успехах и достоин в поведении».

У нас почти нет документальных данных, прямо говорящих о том, как протекали жизнь и учение Салтыкова в институте, но выявленные нами архивные документы и забытые воспоминания романиста Г. П. Данилевского, учившегося в институте тремя годами позже Салтыкова, отчасти восполняют пробел в биографии школьных лет сатирика. Факты, почерпнутые из названных источников,

позволяют впервые воссоздать учебный и воспитательный режим института и его быт не только при помощи ретроспективных художественно-сатирических зарисовок самого Щедрина, но и на основании документально-мемуарных свидетельств.

\* \* \*

В пору, о которой идет речь, институт помещался на Тверской, занимая по фасаду все пространство между Старым и Новым Газетными переулками (место теперешнего Центрального телеграфа). Это было обширное здание, в форме квадрата, с просторным внутренним двором и садом. Оно было сооружено в царствование Екатерины II для фельдмаршала Грубецкого и получило известность в старой Москве, потому что в восьмидесятых годах XVIII века здесь помещалась «типографическая компания» Новикова и печатались его знаменитые издания, а также издавалась университетом газета «Московские ведомости» (отчего и переулки, куда выходила типография, стали именоваться Газетными).

Воспитанники института — в 1837 году их было около 150, а в классе Салтыкова 27 человек — жили в верхнем этаже, где помещались просторные дортуары. Классы, залы для отдыха и столовая были внизу.

День учащихся начинался рано. «Будили нас, — вспоминает Данилевский, — по звонку урядников Кочурин и Медведева в 6 часов утра»<sup>12</sup>. Распорядок дня был строго регламентирован. «К шести с половиной часам, — гласило «Положение», — воспитанники собираются на молитву. Время до 9 часов определяется на завтрак и приготовление к классам. От 9 до 12 — учение в классах. От 12 до 3 — обед, отдых и приготовление к классам. От 3 до 6 — учение в классах. От 6 до 7 — отдых. От 7 до 9 — ужин. В 9 часов — вечерняя молитва, после чего воспитанники идут в спальни»<sup>13</sup>. Таким образом, на классные занятия и на учение уроков отводилось 9—10 часов и 3 часа отдавалось отдыху, который обычно зимой и летом проводился на воздухе, в институтском саду. Весной и осенью в праздничные дни устраивались пешеходные прогулки за город на Воробьевы горы, в Пескучное или Марьину рощу.

Как было уже сказано, реформа Дворянского института в 1836 году формально превращала его в такую же

классическую школу, как и тогдашние уваровские гимназии. Но, как свидетельствует Данилевский, воспитанников «в ущерб изучению русского языка, родной литературы, истории и географии, не забивали сверх меры обязательным изучением обоих древних языков, а требовали изучения одного из них, латинского, предоставляя добровольно учиться или не учиться другому <греческому>». Заметим здесь, кстати, что обилие латинских изречений в щедринской сатире, при полном почти отсутствии греческих, свидетельствует, что Салтыков не воспользовался, повидимому, этой возможностью и не изучал факультативного предмета.

В третьем классе, в котором учился Салтыков и в 1836/1837 и в 1837/1838 учебных годах, проходились следующие предметы, обозначенные в сохранившейся программе:

«Закон божий и священная история (1 час в неделю), Российская словесность (3 часа), Российская история (3 часа), Французский язык (3 часа), География (2 часа), Математика (4 часа), Латинский язык (4 часа), Немецкий язык (3 часа), Черчение и рисование (1 час)»<sup>14</sup>.

Гуманитарно-филологический характер учебной программы, проходившейся Салтыковым, определяется этим перечнем достаточно выразительно. Особое внимание уделялось теоретическому и практическому изучению родного языка. Требования, предъявлявшиеся здесь, были действительно серьезны. Программа по русской словесности, проходившаяся классом Салтыкова в первом семестре 1836/1837 года, записана в учебном плане так:

«Сравнительное повторение грамматики (общая грамматика) и более подробное изучение синтаксиса. Переложения из Крылова, все более и более отдаляющиеся от оригинала; чтение Карамзина с разбором периодов; переводы с иностранных языков, переводы с славянского; переложения из Ломоносова, Кантемира и других старинных писателей; подражания из Карамзина и других новейших писателей. Построение правильных риторических периодов»<sup>15</sup>.

Столь же серьезные требования предъявлялись программами по иностранным языкам и латыни. В третьем классе одиннадцатилетний Салтыков уже читал и переводил Корнелия Непота, Аврелия Виктора и особенно Евтропия, чьи имена, как некий сатирический символ привилегированного классического образования, столь часто упоминал позднее в своих произведениях.

Институт давал воспитанникам хорошее практическое знание родного и иностранных языков, а обилие всякого рода переложений, подражаний и переводов прививало вкус и умение к точной работе над словом и тем самым способствовало выявлению и развитию литературных склонностей. В какой мере правильно, умело и свободно владели русским и иностранными языками 12—14-летние школяры, убеждаешься, знакомясь с их сохранившимися «речами», «рассуждениями» и стихами, произносившимися на торжественных актах института. Эти литературные работы, по большей части на казенно-патриотические темы, дали впоследствии Щедрина благодарный материал для тех пародийно-сатирических образцов школьных сочинений, которые находим в «Господах ташкентцах», «Испорченных детях» и в ряде других произведений. Любопытно, что многие из сочинений воспитанников института имеют своим эпиграфом, а то и заглавием, строчку из вольтеровского «Танкреда»: «*A tous les coeurs bien nés que la patrie est chère*». Щедрин, прочно запомнивший этот стих, превратил его позднее в своего рода формулу сатирического разоблачения казенно-«ташкентского» «патриотизма» всякого рода «государственных младенцев»<sup>16</sup>.

Уровень преподавания в институте был достаточно высок, особенно при Унковском, умевшем привлечь ряд знающих педагогов, окончивших университет и связанных с ним. Будущий долголетний друг сатирика, А. М. Унковский, учившийся в Дворянском институте тремя-четырьмя годами позже Салтыкова, свидетельствует в своих «Воспоминаниях»: «Это ныне не существующее заведение отличалось очень хорошим направлением и имело несколько даровитых педагогов»<sup>17</sup>. Г. П. Данилевский пишет о «превосходном директоре и отличных, стоявших на высоте своего призвания, подобранных им учителях». Сам Салтыков, как мы видели, вспоминал, что во главе института «почти всегда стояли ежели не отличнейшие педагоги, то люди, обладавшие здравым смыслом и человечностью».

Правда, в беседе с Алексеем Веселовским, обратившимся к Салтыкову в феврале 1889 года с просьбой написать для сборника в память умершего С. А. Юрьева воспоминания о совместно проведенных ими школьных годах в Дворянском институте, сатирик внес, существе-



нос, казалось, исправление в это свое показание. От писания воспоминаний он уклонился, говоря: «не могу ничего припомнить связного», но тут же, однако, припомнил ряд курьезных педагогов, «небритых, вечно пьяных, ходивших в фризовых шинелях», и «рассказал в лицах картинку из прежней школы».

«На слушателя, — сообщает Веселовский, — пахло стариной, с допотопными учителями, патриархальными средствами исправления, битьем линейками по рукам, надеванием колпака с огромными ушами. Героем рассказа был учитель русской словесности Суринов<sup>18</sup>, никогда не являвшийся в класс в трезвом состоянии и не замечавший, что во время его урока ученики чуть не на головах ходили. Но вот однажды шум стал до того оглушительным, что он решил положить ему предел. На самой дальней скамейке увидел он Юрьева в рукопашной схватке со своим соседом и, чтобы застать его врасплох, устремился к ним, шагая прямо по классным столам, выволок Юрьева на середину комнаты, поставил на колени и украсил его голову страшным колпаком»<sup>19</sup>.

Как и во всякой школе того времени, в Дворянском институте наряду с серьезными и знающими педагогами были, разумеется (особенно в младших классах), и прототипы будущей щедринской галлерей бездарных, грубых и невежественных педагогов. Сатирическая память Щедрина извлекла из прошлого и воссоздала перед собеседником именно эти элементы бурсы в «чистокровнейшем заведении». Однако не они определяли учебный быт и уровень преподавания в институте. Сохранившиеся документы и свидетельства современников подтверждают щедринскую характеристику института, данную в «Недоконченных беседах».

Преподавателем русской словесности, уроки которого слушал Салтыков, был В. С. Межевич (1814—1849) — в те годы молодой, но уже известный в Москве педагог и одновременно литературный критик и переводчик, сотрудник «Телескопа», «Молвы» и «Московского наблюдателя», человек, близко общавшийся с Белинским и его московскими друзьями, но впоследствии, и очень скоро, перешедший в охранительно-реакционный лагерь. Так, уже в 1840 году Белинский писал о нем Боткину: «...скажи Кетчеру, что способности сего кроткого юноши Межевича > быстро развились: Греч говорит, что

никто так хорошо не понимал его и не действовал в его духе, как Межевич; а Булгарин говорит: не умру, но жив буду в Межевиче» (письмо от 31 октября 1840 года). В 1835 году Межевич выступил на публичном акте института с привлекшей внимание речью «О народности в жизни и в поэзии». Свои задачи педагога и преподавателя русской словесности он определил здесь словами: «На нас лежит священный долг посеять в душах наших питомцев первые семена народности, возжечь первые искры родного духа»<sup>20</sup>. Если судить по этой речи, пропаганда национальной самобытности уже и тогда хорошо уживалась у Межевича с уваровской политикой казенной народности и верноподданническим прославлением самодержавной власти Николая I. Но уроки Межевича имели все же свою положительную сторону. Далеко выходя за рамки официальной учебной программы, они знакомили воспитанников с миром народной поэзии и с творчеством Пушкина, которого Межевич называл «единственным пока подлинно-народным поэтом русским» и горячим пропагандистом которого он выступал в эти годы. Можно думать, что будущее славянофильство ближайших институтских товарищей Салтыкова — Юрьева и Павлова, а также и кратковременный (в конце пятидесятых годов) сочувственный интерес к этому течению его самого были в какой-то мере подготовлены уроками этого «фанатика нашей исторической самобытности», как однажды назвал Межевича этих лет Д. Л. Крюков (в Дворянском институте он читал греческий язык). Свои взгляды на преподавание русской литературы Межевич изложил в специальной статье «Теория и практика словесности», опубликованной в журнале «Телескоп» за 1836 год (XXXII, № 7—8).

Из числа других преподавателей, у которых обучался в Дворянском институте Салтыков, наибольшим научно-педагогическим багажом обладали, судя по их формулам, историк, магистр М. Гастев, математик А. Махтин и географ Г. Иванский — все трое бывшие питомцы Московского университета<sup>21</sup>. Но особой любовью воспитанников пользовался, по свидетельству Юрьева, преподаватель «российской грамматики» магистр Михаил Архидиаконский, хранивший «под бурсацкой личиной свободную, светлую и увлекающуюся личность». Он читал свой предмет «не формализуясь строго программой, — вспо-

минает Юрьев, — и прихочивал нас к родному языку и литературе, увлеченным поклонником которой был сам»<sup>22</sup>. Имя М. Е. Архидиаконского с благодарностью называет и Г. П. Данилевский, вспоминая его в ряду учителей, впервые познакомивших его с русскими писателями. Вероятно, эти педагоги «прихотили» к литературе и Салтыкова, не имевшего, по собственному признанию, «никакого представления» о ней до момента поступления в институт. «Я больше всего русский язык люблю», — эти слова из рассказа Никанора Затрапезного в «Пошехонской старине» (XVII, 173) о первом годе его обучения в Москве, так же как и слова «от автора» в очерке «Виждатель»: «Я с детских лет имею вкус к русской литературе» (IX, 212), — можно счесть автобиографически точными.

«Отличная репутация» института, засвидетельствованная Щедриным, была, таким образом, заслуженной и делала это заведение одним из лучших в николаевской России на рубеже тридцатых и сороковых годов. Вместе с тем серьезность учебного курса и трудности его усвоения быстро отсеивали из среды воспитанников менее одаренных из них. «Нельзя сказать, — свидетельствует Данилевский, — чтобы учение у нас было легкое! Несмотря на всю его осмысленность и отличных преподавателей, из числа учеников, поступивших в институт, кончали курс обыкновенно не более одной трети». Остальные отставали уже с третьего и четвертого класса, переходя в более «легкие» учебные заведения, какими, в частности, считались Царскосельский лицей и Училище правоведения.

Умственному развитию воспитанников и зарождению в них гуманитарных интересов еще в большей мере, чем учебные занятия, содействовал весь неофициальный институтский быт.

Атмосфера идейного брожения, характеризовавшая развитие русской демократической мысли, неудержимо начавшей расти в московских кружках тридцатых годов, проникла и за стены казенного заведения. Она волновала умы юных воспитанников, возбуждала в них интерес к общественной жизни, литературе, искусству.

Этому способствовали и литературные традиции университетского пансиона, поддерживавшиеся не только воспитанниками, но и воспитателями. «Над Дворянским

институтом в Москве, — вспоминал Данилевский, — незримо как бы веяло знамя русской литературы... Вступавшим под кровлю института ученикам товарищи прежде всего указывали на золотую доску в его рекреационном зале, где были написаны имена Жуковского, Грибоедова, кн. Шаховского и других кончивших здесь курс учения... Жуковский, Грибоедов, Лермонтов... каким восторгом билась наша сердца при упоминании только этих трех бывших воспитанников института, в котором хранились и повторялись предания о них!»

«Предания» обязывали. Среди воспитанников не переводились свои «позты», издавались рукописные ученические журналы, господствовали живые литературные интересы. Последние поощрялись и официально. По заведенному порядку в торжественных собраниях института старшие воспитанники читали свои собственные речи и сочинения (преимущественно патриотического содержания), которые затем печатались, а младшие выступали с чтениями стихов — обычно Державина, Дмитриева и Крылова. На одном из институтских актов, состоявшемся 5 июня 1837 года, выступил и Салтыков с чтением «Москвы» Дмитриева.

Большую роль в жизни воспитанников играла книга. «Среди студентов, — вспоминал Юрьев («студентами» назывались пансионеры, заявившие о своем желании поступить в университет), — были юноши развитые, жаждавшие серьезных знаний и умственных интересов, удовлетворения которым мы искали в самостоятельном чтении». Директор Унковский не препятствовал развитию в воспитанниках этого вкуса к самостоятельному чтению и допускал его в рамках, необычных для уваровской школы. В двух библиотеках института имелась не только учебно-педагогическая литература, но и серьезные книги по вопросам философии, политической экономии и естествознания. Из журналов получались: для младших классов — «Живописное обозрение» французского издателя Семэна, фактически редактировавшееся Н. Полевым, и «Картины света» Вельтмана, а для старших — «Московский наблюдатель» Погодина и «Библиотека для чтения» Сенковского. По специальному разрешению воспитанники старших классов могли пользоваться книгами и журналами также из библиотеки Московского университета,

а литературные новинки без труда доставали частным образом<sup>23</sup>.

Яркой стороной школьного быта и праздничного досуга воспитанников являлись посещение ими театра и устройство собственных школьных спектаклей. «В праздники, зимой, — вспоминает Данилевский, — у нас устраивались домашние спектакли; сверх того, нас, на складчину, а иногда и на казенный счет возили в театр смотреть Мочалова, Щепкина и Живокини». На игре этих великих актеров, находившихся в ту пору в зените своей славы, Салтыков воспитал свой театральный вкус, заставивший его позднее, в Париже, столь сурово отзываться о прославленном искусстве французской актерской школы. А значение «протестующего и страстного гуманизма» искусства Мочалова и Щепкина для молодого тогдашнего поколения Щедрина не раз подчеркивал впоследствии в своих характеристиках сороковых годов.

Среди воспитанников института было сильно развито чувство товарищества. Но о дружеских связях Салтыкова как институтской, так и лицейской поры мы знаем мало. Возможно, что еще в институте завязалось его знакомство с В. П. Безобразовым, впоследствии ученым экономистом и публицистом, с которым Салтыков ближе сошелся в лицее, а после возвращения из вятской ссылки и до конца пятидесятых годов поддерживал тесные дружеские отношения. С дальнейшей биографией сатирика связано, но совсем иначе, имя еще одного воспитанника института — Н. А. Ратынского, будущего цензора и члена совета Главного управления по делам печати. От него не раз зависела потом цензурная судьба щедринских произведений. Когда в 1887 году он умер, Щедрин писал Белоголовому: «Покойный был мне товарищем по Московскому Дворянскому институту и в последнее время часто меня навещал. Он крайне был для меня полезен в цензурном отношении, ибо служил в Совете книгопечатания членом» (XX, 327).

Но близкая дружба связывала юного Салтыкова, по видимому, лишь с двумя одноклассниками — Иваном Павловым, впоследствии, в пятидесятые — шестидесятые годы, довольно известным публицистом славянофильской окраски, и товарищем детства — Сергеем Юрьевым. Их жизненные и идейные пути скоро разошлись, но

дружеское личное общение осталось — с первым надолго, со вторым на всю жизнь.

И Юрьев и Павлов — каждый из них был старше Салтыкова на три года — происходили из небогатых, но культурных дворянских семей и получили хорошее домашнее воспитание; оба они рано обнаружили литературные склонности и дарования и, как многие из воспитанников, занимались писанием оригинальных и переводных стихов уже в институте. Из позднейших писем Павлова и воспоминаний Юрьева мы знаем, в частности, об их попытках переводить в институте стихи французских и немецких романтиков, в том числе Виктора Гюго и Генриха Гейне. Эти литературные занятия старших товарищей, вероятно, тогда же познакомили с творчеством названных поэтов и Салтыкова. Через полтора года, находясь в лицее, он уже сам начнет переводить Гюго; что касается Гейне, то произведения этого проникновенного лирика и вместе с тем глубочайшего сатирика произвели на Салтыкова сильное впечатление и не прошли бесследно для его последующего литературного самоопределения. «Для меня это сочувственнейший из всех писателей, — писал сатирик Дружинину уже в конце пятидесятых годов. — Я еще маленький был, как надрывался от злобы и умиления, читая его» (XVIII, 146).

Несомненно, в институте произошло и первое знакомство Салтыкова со стихами Лермонтова, столь сильно определившими характер лицейских поэтических опытов будущего сатирика. Первоначальным толчком, привлечшим внимание к Лермонтову, могло оказаться его знаменитое стихотворение на смерть Пушкина и последовавшая затем ссылка на Кавказ. И это стихотворение, которое произвело везде такое огромное впечатление, и ссылка, вызвавшая столько толков, не могли пройти незамеченными в институте, где всего лишь за шесть-семь лет до того учился Лермонтов (между прочим, в одно время со старшим братом Салтыкова, Дмитрием, от которого сатирик мог впоследствии, уже в Петербурге, узнать ряд подробностей о школьных годах поэта). А насколько велик был среди воспитанников интерес к автору «Смерти поэта», видно из позднейшего свидетельства Данилевского: «Всего почти Лермонтова мы знали наизусть».

Салтыков провел в Дворянском институте всего лишь неполных два года, но итоги этого короткого двухлетия

были весьма значительны. Салтыков не просто усвоил начатки хорошо поставленного гуманитарного образования, но и шагнул далеко вперед в своем умственном развитии. Он горячо и сильно увлекся литературой, раскрывшейся ему не только через учебники или слово педагога, но и через всю атмосферу богатых и живых традиций, связанных с именами Жуковского, Грибоедова, Лермонтова и — еще непосредственнее — через интимную посвященность в творческие опыты старших товарищей. Зарождение интереса к писательству, литературе — таков основной реальный итог московского двухлетия.

Но у Салтыкова остались и иные впечатления от этой школьной поры. Они окрасили его воспоминания о «годах учения» в суровые и мрачные тона. «Помню я и школу, — писал Щедрин в своем лирическом монологе «Скука» из «Губернских очерков», — но как-то угрюмо и неприветливо воскресает она в моем воображении... Там царствовало лишь педантство и принуждение; там не хотели признавать законность детского возраста и подозрительно смотрели на каждое резвое движение сердца, на каждую детскую шалость» (II, 235, 456).

Эти слова, как и другие подобные характеристики, написаны пером не мемуариста-бытописателя, а пером сатирика-просветителя, много размышлявшего о гармоничном воспитании человека и сурово осудившего, в свете своих идеалов, старую школу. С другой стороны, Щедрин считал нужным позднее смягчить суровость приведенного отзыва, опустив в издании «Губернских очерков» 1882 года последнюю часть цитированных строк, вероятно из-за автобиографического характера всего очерка.

Но все же не подлежит сомнению, что юный Салтыков, с его рано проснувшимся чувством самостоятельности и независимости личности, с его острой реакцией на всякого рода внешний и внутренний гнет, нелегко переносил самые условия жизни в интернате с их мелочным регламентированием всех сторон школьного быта и личного поведения воспитанников. Все это, вместе с оскорбительными сценами физических наказаний, хотя и редких в институте, оставило тяжелые воспоминания о школьном режиме. Его нивелирующее и принижающее воздействие должно было вызывать в активной натуре Салтыкова недовольство и желание скорейшего освобождения от каменной опеки. Университет, как естественный этап даль-

нейшего образовательного и жизненного пути (напомним, что Дворянский институт имел прямой задачей готовить своих питомцев к прохождению университетского курса), представлялся желанною целью. «Манящие мечты о служении науке, об Университете, студенчестве» — этими словами Юрьева, сказанными о том времени, можно, вероятно, охарактеризовать и настроения, владевшие в институте юным Салтыковым. «Он очень жалел, что ему не удалось кончить курс в Дворянском институте и поступить в Университет», — свидетельствует Белоголовый.

Лелеянные Салтыковым планы были нарушены внезапно и грубо. Его судьба решилась так, как решались вообще личные судьбы в николаевской субординированной России. Дворянский институт имел привилегию каждые полтора года отбирать из числа лучших своих воспитанников двух кандидатов для помещения их на казенный счет в Царскосельский лицей. 9 февраля 1833 года министр народного просвещения С. С. Уваров отправил попечителю Московского учебного округа графу С. Г. Строганову предписание главного начальника военно-учебных заведений великого князя Михаила Павловича: «По примеру отправленных в Лицей в 1836 году воспитанников, назначить ныне в оный из Московского Дворянского Института двух во всех отношениях совершенно достойных сего отличия воспитанников и приказать доставить их в Лицей к 10 числу мая сего года в сопровождении благонадежного надзирателя, уведомив меня заблаговременно о тех, кои избраны будут».

Выбор кандидатов Строганов поручил исправлявшему в то время должность директора института И. Краузе. Одновременно из лицея были затребованы программы учебных предметов, преподаваемых там. Избранных воспитанников стали усиленно готовить к экзаменам. Личная беседа с ними Строганова завершила проверку, и 31 марта 1838 года в Петербург к министру Уварову было отправлено следующее донесение<sup>24</sup>:

#### Господину Министру народного просвещения

Вследствие отношения Вашего Высокопревосходительства от 9 прошедшего февраля м-ца, честь имею уведомить, что для замещения в императорском Царскосельском Лицее двух вакансий, предоставленных по высочайшему повелению Московскому Дворянскому Институту, избраны из числа воспитанников его отличнейшие



поведению и по успехам в науках пансионеры: Иван Павлов и Михаил Салтыков, находящиеся теперь в 3-м классе Института Первому из них в Апреле м-це этого года исполнится 15, а второму в прошедшем Генваре м-це минуло 12 лет; оба эти пансионеры, по мнению исправляющего должность директора Дворянского Института, могут выдержать испытание в поступлении во 2-ой класс Лицея.

Почетитель Московского Учебного Округа

Граф С. Строганов.

11 марта 1838 г.  
№ 1089

О желаньях мальчика, разумеется, не справлялись, а в согласии родителей не было сомнений. Привилегированнейший лицей был слишком заманчивым средством сделать карьеру, чтобы отец или мать Салтыкова могли почему-либо отклонить «удачу», выпавшую на долю сына. Позднее Щедрин в шутливой форме вспоминал, что его переселение «по воле родителей» в Петербург было предпринято хотя и с «воспитательными целями», но «больше с тайной надеждой на легкое получение чина титулярного советника» (XIII, 353). Для расчетливой же матери не менее существенным являлось и то, что воспитание и обучение одного из детей принималось на казенный счет, что сулило немалую экономию.

Но сам Салтыков протестовал. По словам Юрьева, он принял известие о переводе в лицей «с отчаянием» и «умолял родителей оставить его в Москве». Белоголовый со своей стороны сообщает, что когда «директор предложил 13-тилетнему Салтыкову поступить в Лицей», он «отказался, предпочитая поступить в Московский Университет; тогда дядька <вероятно, упомянутый выше Платон, крепостной человек Салтыковых> уведомил о том родителей, и мать сильно рассердилась на сына за этот отказ и принудила перейти его в Лицей». Вступление в пору отрочества ознаменовалось, таким образом, для Салтыкова первым и серьезным столкновением с матерью.

30 апреля 1838 года в 10 часов утра Салтыков вместе с Павловым были отправлены в Царское Село. Надзор за пансионерами во время пути, представление их директору лицея и руководство подготовкой к экзаменам были поручены старшему надзирателю института французу Сильвестру Жонио. Он вез с собою письмо директора и документы воспитанников.

Текст письма (от 30 апреля 1838 года с пометкой получения «4 Майя») гласил:

Господину Директору императорского Царскосельского Лицея

Имею честь препроводить при сем в императорский Царскосельский Лицей назначенных Начальством Московского Дворянского Института, согласно изъясненного в предписании Господина Министра Народного Просвещения от 9 февраля сего года за № 1529 требования, двух отличнейших по поведению и успехам в науках воспитанников сего Института Ивана Павлова и Михаила Салтыкова, для помещения их в Царско-Сельский Лицей на имеющие открыться две казенно-коштные вакансии,— приложив также при сем и подлинные о них документы, а именно: две копии с отношений Тверской Духовной Консistorии от 26 сентября 1831 года за № 4558 и Московской Духовной Консistorии от 10 июня 1836 года за № 2439, о рождении и крещении их; две копии с протоколов Московского Дворянского Депутатского собрания: от 17 декабря 1831 за № 277 и от 29 Января 1837 года за № 80, о дворянском происхождении и два докторские свидетельства о здоровом состоянии сих пансионеров. При сем имею честь изъяснить Вашему Превосходительству, что надзор за оными воспитанниками во время пути и представления их в Царско-Сельский Лицей поручены Г. Старшему надзирателю, состоящему в 10 классе, Сильвестру Жонию.

Исправляющий должность директора *И. Краузе.*  
Письмоводитель *Сергеев.*

Ехали в дилижансе. В Царское Село прибыли на четвертый день, 3 мая. После состоявшегося на другой день, 4 мая, представления воспитанников директору лицея генералу Ф. Г. Гольтгоеру началась усиленная подготовка к экзаменам. Они происходили с 20 по 27 мая и были успешны для обоих кандидатов.

В «Журнале конференции Лицея» сохранились данные о полученных Салтыковым отметках (по 12-бальной системе). Приводим их в порядке последовательности проводившихся экзаменов:

По закону божьему . . . . .	9
По русскому языку . . . . .	10
По истории . . . . .	8
По немецкому языку . . . . .	8
По латинскому языку . . . . .	11
По математике . . . . .	10
По французскому языку . . . . .	9
По английскому языку . . . . .	не экзаменовался
По географии . . . . .	10

Общая сумма полученных  
баллов . . . . . 75

По общей сумме полученных баллов Салтыков занял в «ведомости об экзаменованных» восьмое место среди 34 кандидатов, допущенных к испытаниям. В письме к родителям он сообщал: «Гольтгоер, директор, сказал Жо-нио, что мы вообще себя очень хорошо вели на экзамене и вообще хвалил нас за ответы» (XVIII, 40).

5 июня Жонио вернулся в Москву. Он донес начальству о выполнении возложенного на него поручения и представил счет путевым издержкам (он равнялся 773 рублям 90 копейкам на ассигнации).

Сразу же после экзаменов Салтыков и Павлов уехали в поместья своих родителей. Оба они еще не были приняты в лицей, а лишь числились «удостоенными Конференцией Императорского Царскосельского Лицея к поступлению в сие заведение на имеющиеся открыться, после выпуска из оного, казенные и своекоштные вакансии». Решение о приеме оформлялось приказом великого князя Михаила Павловича. Приказ был издан только 21 июня, дошел до лицейского начальства 30 июня, и лишь 25 июля Гольтгоер послал в Москву следующее официальное извещение:

#### В Московский Дворянский Институт

Его императорское Высочество, Главный Начальник Пажеского всех Сухопутных Кадетских Корпусов и Дворянского полка, приказом, отданным по Военно-учебным заведениям 21-го числа минувшего Июня месяца за № 209-м, повелеть соизволил: признанных способными для помещения в числе воспитанников императорского Царскосельского Лицея воспитанников оного Института Ивана Павлова и Михаила Салтыкова принять в Лицей.

Вследствие сего я имею честь покорнейше просить Московский Дворянский Институт, дабы благоволил поименованных двух воспитанников доставить в Лицей 1-го числа наступающего Августа месяца.

Генерал-лейтенант *Ф. Гольтгоер*.

Летние месяцы 1838 года Салтыков провел у родителей в Спасском. Когда же к установленному сроку Салтыков был привезен в лицей, то выяснилось, что он не может быть зачислен в тот класс, для которого его готовили.

По существовавшим в лицее правилам, для поступления в первый класс требовалось, чтобы общая сумма баллов, полученных в результате экзаменов, была не менее 64, а во второй класс — не менее 72 (экзамены проводились по одной программе). Салтыков получил, как мы видели, 75 баллов и по своей подготовленности имел пра-

во быть принятым во второй класс. Но ему зато нехватило двух лет до установленного для этого класса возрастного минимума (от 14½ до 16 лет). В результате он был зачислен не во второй, как Павлов, а в первый класс и таким образом оказался воспитанником XIII курса лицея<sup>25</sup>. Это обстоятельство сказалось для него и своими отрицательными и положительными последствиями.

С одной стороны, Салтыкову, при его подготовке и способностях, решительно нечего было делать в первом классе, кроме скучного повторения задов; в результате он, по собственному признанию, «стал понемногу заливаться, а затем и во все пребывание в Лицее учился плоховато». С другой стороны, отсутствие в первый год какого-либо напряжения в учебных занятиях способствовало тому, что Салтыков сразу же получил возможность отдаться литературным увлечениям, пробудившимся в нем в Дворянском институте. Располагая известным досугом, он стал много читать, начал писать стихи и быстро вошел в тот неофициальный круг умственных интересов, которыми жили старшие лицеисты.

## В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ ЛИЦЕЕ

(1838—1844)

... Годы ранней юности, тяжелые годы, проведенные под сению «заведения». То было прекраснейшее, образцовое заведение, в котором почти исключительно воспитывались генеральские, шталмейстерские и егермейстерские дети, вполне сознававшие высокое положение, которое занимают в обществе их отцы.

... Среди этой блестящей плеяды молодых ташкентцев я представлял собой какое-то прискорбное темное пятно...»

*Щедрин. «В больнице для умалишенных».*

«Влияние литературы было в Лицее очень сильно: воспоминание о Пушкине обязывало... Журналы читались с жадностью, но в особенности сильно было влияние «Отечественных» записок, и в них критики Белинского...»

*Щедрин. Автобиографическая записка.*

Привычное представление о Царскосельском лицее неразрывно связано с именем Пушкина. Но двадцатилетие, прошедшее с того момента, когда великий поэт за-

вершил «лицейский период» своей биографии, а Салтыков начинал его, внесло в жизнь этого учебного заведения большие перемены.

Лицей с 1822 года находился в непосредственном ведении высшего военного начальства. Он входил в систему военно-учебных заведений, во главе которых в ту пору стоял любимый брат и друг царя, великий князь Михаил Павлович — один из наиболее законченных представителей николаевской военно-бюрократической системы. Начальником его штаба был полковник Я. И. Ростовцев — не только исполнительный службист и ловкий царедворец, сделавший когда-то донос на декабристов, но и своего рода теоретик морально-политического воспитания духа «верноподданности». Составленное им «Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведений» может быть названо подлинной педагогической и психологической доктриной николаевского самовластия, о которой Грановский говорил, что ей «позавидовали бы и иезуиты». В основе «Наставления» лежала идея о воспитании индивидуального сознания — «частной воли» — в духе ничем не ограничиваемого, автоматического подчинения высшему авторитету самодержавной власти и ее военно-бюрократического аппарата. Понятия государства, отечества, идеи морально-правового сознания и гражданско-юридических норм заменялись в этом педагогическом катехизисе николаевской монархии универсальным представлением о попечительном «начальстве», которому надлежит беспрекословно доверять и повиноваться. «Совесть нужна человеку в частном, домашнем быту, а на службе и в гражданских сношениях ее заменяет высшее начальство» — гласило «Наставление», определявшее нормы поведения воспитанников<sup>26</sup>.

«В Лицее было лучше, — писал Герцен о начале сороковых годов, сравнивая лицей с кадетскими корпусами, — но ненависть Николая в последнее время налегла и на него. Вся система казенного воспитания состояла во внушении религии слепого повиновения, ведущего к власти, как к своей награде»<sup>27</sup>. А сам Салтыков такими словами определял потом смысл авторитарной воспитательной системы, через которую прошел: «К какой исключительной цели было направлено все наше воспитание? Какую задачу предполагал разрешить отец

или педагог при взгляде на сырой материал, называющийся ребенком? — Эта цель, эта задача определялась двумя словами: приготовить чиновника» (VIII, 211).

Точность этого щедринского определения в применении к лицейскому воспитанию документируется, в частности, рядом официальных деклараций, в одной из которых, относящихся к 1844 году, говорилось, например: «Правительство, желая отличить заранее и, так сказать, с первых шагов, на гражданском поприще тех людей, на которых бы оно со временем могло с достоверностью возложить высшие обязанности государственной службы, учредило настоящее высшее учебное заведение, в котором бы несколько избранных молодых людей могли получить самое тщательное образование в умственном и нравственном отношениях... А дабы тем из них, которые с полным успехом окончили курс предположенного образования, облегчить прохождение первых ступеней гражданской службы, установлено награждение их чином 9-класса»<sup>28</sup>.

Процесс подготовки «чиновника», воспитания «бюрократа» происходил на глазах у Салтыкова; он наблюдал его изо дня в день в течение шестилетнего пребывания в «заведении», которое, по его позднему определению, «было с тем и основано, чтобы быть рассадником министров». Сведения о жизни и быте высшей бюрократии, которые позволили потом Щедрина так глубоко и метко разоблачать этот быт в своей сатире, накапливались в будущем создателе галереи «помпадуров» и «ташкентцев» еще со школьной скамьи.

Очутившись в лицее, который помещался в царской резиденции, Салтыков должен был ощутить себя перенесенным совсем в другой мир. Мертвящий дух и стиль николаевского самодержавия в гораздо большей мере давали себя знать в столичном «военизированном» лицее, находившемся на виду у высшего начальства империи, чем в несколько провинциальном Дворянском институте в Москве. Едва успев переступить порог лицея, будущий сатирик смог узнать и почувствовать суровую жесткость приемов, какими добивались от воспитанников послушания начальству.

В мае 1838 года, когда Салтыков держал вступительные экзамены, в лицее разыгралась громкая история. Ли-

цейсты выпускного класса, возмущенные чрезмерно строгим наказанием, постигшим одного из их товарищей за то лишь, что, вопреки правилам, он начал было отращивать себе длинные волосы, устроили «бунт» и самовольно выпустили пострадавшего из карцера. Узнав об этом, великий князь Михаил Павлович распорядился трех воспитанников отдать в солдаты, а всех остальных определить в писцы<sup>29</sup>. Наказание было отменено, на этот раз ограничили «педагогическим» эффектом пережитого молодыми людьми испуга и последовавшего затем «милостивого» прощения. Обуздывать воспитанников угрозой солдатской шапки было для «высочайшего» шефа лицея привычным способом внедрения и сохранения дисциплины.

Лицей тридцатых — сороковых годов уже не знал атмосферы своеобразного семейного уюта, культа товарищества и дружбы, относительно либеральных нравов и воспитания — тех черт, которые отличали его в начальную пору существования. Директор лицея «пушкинского» времени Энгельгардт такими словами характеризовал воспитательный облик «царскосельского заведения» периода пребывания в нем Салтыкова: «Прежнего лицея там и тени нет. Гольтгоер — добрый человек, но о воспитании имеет столько же понятия, как о кавалерийском маневре. Он воспитан во 2-м кадетском корпусе, всю жизнь свою провел там и педагогике научился в Дворянском полку. Вступая в лицей, он объявил воспитанникам: «Думайте что хотите, только будьте исправны перед начальством!!!» Им управляет Оболенский <инспектор>, низкий фарисей, основывающий все воспитание на постыдной форме подслушивания за дверьми, на изловлении и краже записочек по ящикам, и даже доходил до того, что приучивал воспитанников делать тайные доносы на товарищей. Следствием того — что воспитанники ненавидят и презирают начальство. Больно слышать этих бедных молодых людей, когда говорят о начальстве своем и о Лицее — сердца их остыли, они не любят, потому что их не любят, и с нетерпением рассчитывают, сколько дней еще им там оставаться. Это, впрочем, во всех наших заведениях, везде ненависть к заведению и презрение к воспитателям»<sup>30</sup>.

Старый директор, знавший лучшие годы лицея, не преувеличивал. Ничего, кроме презрения, не могли испы-

тывать юноши, видевшие, например, что мера внимания и самый характер отношения к ним их непосредственных воспитателей-гувернеров прямо зависели от тех выгод, которые эти воспитатели надеялись получить от родителей лицестов. В лапы к такому гувернеру-взяточнику сразу же попал и Салтыков. В надзиратели к нему (воспитанникам разрешалось иметь при себе платного гувернера или дядьку из числа лицейского персонала) напросился некий иностранец Бегень, рассчитывавший на солидную «благодарность» состоятельных родителей, но не осведомленный о расчетливости матери. «Как он меня взял, — писал тогда же Салтыков родителям, — то он вообще погнался за ценой, не смотрел за мной». Не получив ожидаемого, Бегень прибег к вымогательству. Он дал директору лицея отрицательный отзыв о своем воспитаннике и добился резкого снижения ему балла по поведению. Примечательно, с какими гневными интонациями, предвещающими будущего Щедрина, тринадцатилетний Салтыков сообщает об этом эпизоде своим родителям: «Теперь я вам скажу, как он <Бегень> подло со мной поступил», этот человек достоин всякого презрения» (XVIII, 39).

Это сообщение сына и беспокойство о его плохих вначале отметках (при 12-бальной системе имел «из учения и поведения по 8-ми в результатах» первого полугодия, что может быть приравнено к тройке с минусом по 5-бальной системе) заставило Ольгу Михайловну приехать в Петербург. Она нашла положение гораздо лучшим, чем ожидала. Действительно, в начале второго полугодия Салтыков резко улучшил свои отметки, заняв шестое место в классе по успеваемости и выдвинулся, таким образом, хотя и не надолго, в ряд первых учеников. Вскоре после приезда в Петербург Ольга Михайловна в следующих словах сообщала мужу свои впечатления от свидания с сыном и посещения лицея: «Миша... здоров, мил и очень вырос, ловок стал, хорошо учится и ведет себя, словом я полюбовалась... Познакомилась с семейством Мишина начальника — генералом <Гольтгойером> ...все меня обласкали. Также познакомилась с инспектором <Оболенским> и его семейством и г-ном Бегенем»<sup>31</sup>. Последний, однако, не произвел хорошего впечатления даже и на Ольгу Михайловну, и она предпочла, через некую баронессу Клейст, хлопоты о раз-



решении поместить к сыну вместо лицейского надзирателя испытанного крепостного дядьку Платона, чего, повидимому, ей и удалось добиться. Извещая об этих хлопотах Евграфа Васильевича, Ольга Михайловна сообщала ему в письме от 6 апреля 1839 года, что «Миша хорошо начал говорить по-французски, по-немецки и немного по-английски»<sup>32</sup>.

Бездушные, казенность, казарменный дух определяли и все внешние стороны быта лицейстов. Своеобразное аристократическое приволье, комфорт и поэзия «пушкинского» лицея сменились серым, нивелированным и достаточно суровым режимом полувоенного интерната. Такой режим должен был, по мнению начальства, содействовать искоренению свободолюбивых традиций, шедших от времен Пушкина и Кюхельбекера. Существовавшие раньше индивидуальные комнаты воспитанников сменились общими дортуарами, прогулки по царскосельским садам и паркам были ограничены небольшим пространством. Эти прогулки проводились по расписанию и под надзором дядек и гувернеров. На питание каждого воспитанника отпускалось всего лишь 32 копейки в день, причем, из этой же суммы довольствовались также дежурные воспитатели, швейцары и находившиеся при воспитанниках дядьки.

«В залах и классах неприятно, голо и даже как будто холодно, — вспоминал Салтыков внешнюю обстановку лицея, — лампы горят, по обыкновению, светло, но кажется, что в этом свете чего-то недостает, что он какой-то казенный; хочется спать, и между тем, рано. Раздается звонок, призывающий к ужину, но воспитанники не глядят ни на крутоны с чечевицей, ни на «суконные» пироги» (X, 136).

Забота о воспитании юношей подменялась казарменной муштрой. Их внешнее поведение и облик стремились довести до подтянутости плац-парадного строя. В одной из своих автобиографических записок Салтыков указывал, что, например, ношение треуголки по форме было превращено в «целую науку», и вспоминал, какие «преследования», отразившиеся на итоговом балле по поведению, терпел он за несоблюдение этой «науки», так же как за «расстегнутые пуговицы в куртке или мундире» (I, 82).

Наказания воспитанников были вообще часты и применялись по самым разнообразным поводам.

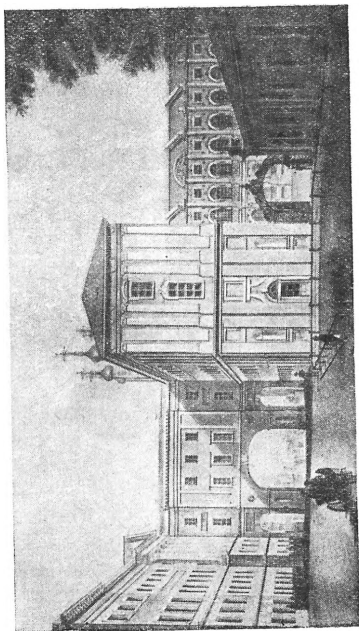
Так, например, из 105 воспитанников лицея в 1842 году подверглись различным наказаниям 57 (из них розгами 2), в 1843 году — 84 (розгами 3) и в 1844 году — 101 (розгами 4).

Сохранившиеся инструкции и отчеты лицейского начальства, в части, касающейся «нравственного воспитания», содержат необычайно детальную классификацию «наказуемых поступков» воспитанников и целый арсенал применявшихся репрессивных мер воздействия. Наказывали «за беспокойное поведение», «за нечувствительность к замечаниям», «за несоблюдение формы в одежде», «за неучтивый ответ», «за упрямство», «за своеволие», «за дерзость», «за чтение недозволенных книг», «за несоответственные литературные упражнения» и даже «за фантазии» и «за нестарание к исправлению своего дурного характера».

Столь же дифференцированы были и виды наказаний: «увещание», «замечание», «выговор наедине и перед товарищами», «стояние у стены или у классной доски», «лишение прогулки», «лишение позволительных удовольствий», «неотпуск со двора в праздничные дни», просто «обед за отдельным столом», «обед за отдельным столом без скатерти», «лишение одного или двух блюд», «замена обеда хлебом и водой», «понижение в баллах за поведение», «арестование в уединенной комнате» (так стыдливо именовался карцер) и так далее, вплоть до появившихся в 1842 году телесных наказаний (двухстепенных — десятью и пятнадцатью ударами розог) и исключения из лицея<sup>33</sup>.

«Благонамеренность» и «нравственность» воспитанников определялись отметками «по поведению». В применении к лицеистам старших («университетских») классов эти отметки рассматривались начальством в качестве своего рода идейно-политических характеристик молодых людей, «предназначенных к важным частям службы государственной». Не столько успехи в науках, сколько итоговый балл «по поведению» определяли и классный чин, с которым выпускался из лицея его питомец, и возможности последнего при выборе места и должности на государственной службе.

В своей автобиографической записке 1878 года Салтыков указывал, что в течение всего времени пребывания в лицее он «едва ли получал <из поведения> отметку



*Царкосельский лицей*  
Литография, 1840-е гг.  
*Институт русской литературы АН СССР, Ленинград*



свыше 9-ти (полный балл был 12), разве только в последние месяцы перед выпуском, когда сплошь всем ставился полный балл, но и тут, вероятно, не долго, потому что в аттестате, выданном Салтыкову, значится: при довольно хорошем поведении, что прямо означает, что сложный балл его в поведении, за последние два года, был ниже 8-ми» (I, 82).

В действительности, как показывают архивные материалы, отметки Салтыкова «по поведению» были даже ниже приведенных им по памяти. Так, например, в месячных ведомостях «по поведению» за 1843 год против имени Салтыкова преобладает отметка в 6 баллов, а в январе — марте даже 5 баллов — самая низкая оценка «по нравственности», полученная в этом году во всем лицее. Средняя же итоговая оценка «поведения» будущего сатирика, за последние два года его пребывания в лицее, была определена цифрою в 7<sup>1/2</sup> баллов, но и эту цифру администрация снизила в аттестате до 7, поставив, таким образом, Салтыкова при выпуске на одно из последних мест по «нравственности»<sup>34</sup>.

«И все это, — вспоминает сатирик в цитированной автобиографической записке, а также в «Письмах к тетеньке», — началось со стихов», а также с чтения книг, к чему впоследствии присоединились «грубости», «отсутствие почтительности» и «строптивость в мыслях». Как видим, в категорию «неблагоденных» Щедрин стал зачисляться начальством еще на школьной скамье.

\* \* \*

Но так же как и в Дворянском институте, в лицее существовал довольно резкий разрыв между воспитательно-бытовым укладом и постановкой собственно образовательного дела, с одной стороны, и умственной жизнью воспитанников, с другой. Наряду с крупными недостатками в лицее были и свои достоинства, делавшие это учебное заведение все же одним из лучших в тогдашней России.

Положительным являлось уже то, что мертвящие принципы уваровского просвещения, разработанные в духе пресловутой формулы «самодержавие, православие, народность», а также насаждавшие схоластический классицизм, даже формально не распространялись на лицей

как на школу, находившуюся вне ведомства министерства народного просвещения.

Что касается военного начальства, то «высочайший» шеф лицея, или, как он официально именовался, «главный начальник пажееского, всех сухопутных кадетских корпусов и дворянского полка», смотрел на подведомственную ему штатскую школу как на совершенно излишний придаток, не предусмотренный даже в его должностном титуле. Михаилу Павловичу в не меньшей мере, чем его «августейшему» брату, было свойственно холодное и, более того, подозрительно-враждебное отношение к науке и ко всему «умственному» («слишком умственно», — написал он на программе представленного ему конспекта вступительной «теоретической» лекции к курсу истории профессора Шульгина). Ведь это в его кабинете книжный шкаф был символически заколочен огромным гвоздем.

Военно-учебное начальство, следуя своему «высочайшему» шефу, смотрело на штатский лицей как на лишнюю обузу, мало интересовалось вопросами учебной программы и ограничивало свое вмешательство требованиями соблюдения внешней дисциплины. Формула «думайте, что хотите, но будьте исправны перед начальством» давала возможность воспитанникам жить своей собственной, достаточно разносторонней и богатой умственной жизнью, а лучшим из педагогов и воспитателей — передавать ученикам сведения и знания, далеко выходящие за рамки «охранительного кодекса школьной мудрости», по позднему выражению Щедрина.

Лицей не знал узко практической специализации. Воспитанникам хотели дать широкое общее гуманитарное образование. В этом смысле по типу преподавания и характеру предметов лицей приближался, в старших классах, к филологическому и юридическому факультетам университета. Но многопредметность, энциклопедичность лицейских учебных программ, одновременное сочетание весьма разнородных дисциплин не могли давать необходимой суммы серьезных знаний. Создавалась лишь видимость широкого образования, считавшегося необходимым для юношей, предназначавшихся, как гласил устав лицея, «для важных частей службы государственной». Слова Пушкина: «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь», — характеризовавшие образовательную

систему, применявшуюся к дворянской молодежи двадцатых годов, в полной мере приложимы и к лицейской педагогике тридцатых — сороковых годов. Недаром Петрашевский, получивший воспитание в том же лицее, любил говорить своим друзьям, что этот стих поэта «еще гремит над нами».

«Нас хотели научить всему, — вспоминал А. Н. Яхонтов, — но так как времени на это было мало, то... приходилось хватать вершки, в ущерб основательности знаний». Салтыков же впоследствии неоднократно говорил о «расслабляющей ванне энциклопедического образования» и определял лицейскую многопредметность как «систему постепенного оглушения» юношества. А младший лицейский товарищ сатирика, А. М. Унковский, вспоминал о лицее: «Энциклопедизм научный, казалось, был тем богом, которому принесли в жертву и сила и время воспитанников... Довольно сказать, что русская история преподавалась в младших классах на английском языке англичанином Брауном; история греческой литературы на французском языке французом Досси; немец Байер читал зоологию на немецком языке»<sup>35</sup>.

Характеризуя в «Письмах к тетеньке» лицейское и вообще дворянское привилегированное обучение, Салтыков писал:

«Для нас занимали целую уйму Вральманов, Цыфиркиных, Кутейкиных (конечно, несколько усовершенствованных), а общее руководство, вместо Еремеевны, возлагали на холопа высшей школы. Вральманы пичкали нас коротенькими знаниями (был один год, например, когда я одновременно обучался одиннадцати «наукам...»), а холоп высшей школы внушал, что цель знания есть исполнение начальственных предначертаний. Сведения доходили до нас коротенькие, бессвязные, почти бессмысленные. Они не ассимилировались, а механически зазубривались... Ни о каком фонде, могущем послужить отправным пунктом для будущего, и речи быть не могло... Это было не знание, а составная часть привилегии, которая проводила в жизни резкую черту; над чертой значились мы с вами, люди досужие, правящие; под чертою стояло одно только слово: мужик. Вот, чтоб не очутиться на одном уровне с мужиком, и нужно было знать, что Париж стоит на реке Сене, и что Калигула однажды вслепел привести в сенат своего коня» (XIV, 514).

Эта характеристика, столь резко обнажающая классовую сущность всей системы привилегированного дворянского образования в старой России, имеет, разумеется, сатирически обобщенный характер и не может быть вполне приложима к лицейскому образованию самого Салтыкова. Взаимно дополняющие друг друга воспоминания лицейстов старшего IX курса — А. Н. Яхонтова и К. С. Веселовского — служат необходимым реально биографическим коррективом к соответствующим страницам щедринской сатиры — в «Письмах к тетеньке», «Господах ташкентцах», «Мелочах жизни» и других, слишком безоговорочно и прямолинейно используемых обычно для характеристики педагогики, через которую прошел Салтыков<sup>36</sup>.

Так же, как и в Московском дворянском институте, учебная программа Царскосельского лицея имела ярко выраженный гуманитарно-филологический характер. Особенное внимание уделялось при этом изучению русского языка и, в первую очередь, практическому овладению умением правильного литературного изложения.

К этой стороне лицейского образования официально предъявлялась высокая требовательность. Издавая в своем приказе 1840 года учебную программу лицея, его шеф и главный начальник в. к. Михаил Павлович писал: «Главнейшая принадлежность всякого благовоспитанного человека владеть отечественным языком. Принадлежность сия делается обязательной в высшем специальном учебном заведении, предназначенном для приготовления людей к гражданской службе. Весь будущий круг действия их заключается в знании дела и в искусстве излагать мысли на бумаге. Посему-то в лицее преподавание русского языка должно составлять полное целое, т. е. обнять постепенно все принадлежащие к тому части, именно грамматику, риторику и пиитику, поясняемую на приличных местах теориею изящного, критический разбор образцовых произведений слова, непрерывное упражнение во всех родах прозаических сочинений, наконец, историю языка и литературы... Не приму никаких уже оправданий и не дозволю себе никакого снисхождения в случае малых успехов воспитанников в знании отечественного языка и в удовлетворительном изложении мыслей на оном...» Далее указывалось, что «первое место



после отечественного языка» должно принадлежать в лице «наукам нравственным, юридическим и истории».

Администрация «первого учебного заведения империи», естественно, стремилась привлечь в лицей лучшие научно-педагогические силы. В нем преподавали многие видные профессора Петербургского университета. Но охранительно-политические требования, особенно строгие в отношении воспитания избранного контингента дворянской молодежи, предназначавшегося к несению высшей службы в административно-политическом аппарате самодержавия, определяли подбор лицейских преподавателей не столько по признаку их педагогической одаренности и научной авторитетности, сколько по их политической «благонадежности». В лицее терпели поэтому таких убогих, вовсе не пригодных к своему делу педагогов, насквозь пронизанных школьно-академической рутинной, каким был, например, профессор русского языка и словесности П. Е. Георгиевский с его поистине безмерным, непроходимым невежеством в отношении всех живых явлений тогдашней литературы. «Классик старых времен, — характеризовал его Яхонтов, — он мог понимать только Ломоносова, Хераскова, Сумарокова, Державина, далее он не шел; Пушкин был в его глазах шалуном-романтиком, о Гоголе он не имел никакого понятия». «Человек удивительно добрый, но в то же время удивительно бездарный», — вспоминал о своем профессоре русской литературы Салтыков. «Схоласт и педант», — отзывался о нем Грот<sup>37</sup>.

Изданные Георгиевским «пространное» и «малое» «Руководство к изучению русской словесности...», по которому из года в год, без малейших изменений, он читал свой курс, служили предметом жестоких издевательств и насмешек со стороны воспитанников, окрестивших «труды» своего профессора своеобразной кличкой «большого и малого Пепина свинства». «Иначе не называли этих учебников даже солиднейшие из воспитанников», — вспоминал Щедрин (XIV, 420)<sup>38</sup>. Отметим кстати, что лицейстам и во всяком случае Салтыкову, внимательно следившему за «Отечественными записками» не могла остаться неизвестной уничтожающая памфлетная рецензия Белинского на «бесподобное» «Руководство» Георгиевского. В своем отзыве, появившемся в девятой книжке «Отечественных Записок» за 1842 год, великий критик

писал: «Это уже даже и не аномалия: это просто чудовище и чудище, в сравнении с которыми всякое безобразие есть красота... По нашему мнению, это даже не то, что называется пустословием — мы не видим тут даже желанья прикрыть фразами отсутствие мысли; это — извините за откровенность — просто сумбур!»<sup>39</sup> Были, вероятно, известны Салтыкову рецензии Белинского и на некоторые другие учебные книги, по которым велось преподавание, в частности, рецензии на книги Греча, Калайдовича, Плаксина и Кайданова. Белинский обличал и высмеивал невежество, пустозвонство, схоластику и рутину этих авторов, а учебные книги их называл «сборниками пошлых и обветшалых правил» или еще сильнее — «теоретическим хламом»<sup>40</sup>. Разумеется, такие отзывы и квалификации великого критика, к мнениям которого чутко прислушивались наиболее развитые юноши-лицейсты, должны были развенчивать в их сознании авторитет официальной школьной науки, должны были содействовать развитию критического к ней отношения.

Но более всего облик лицейских профессоров и педагогов характеризовался их угодливостью перед начальством, чиновничьим отношением к науке и к воспитательным задачам. Реальный материал для создания своих будущих сатирических образов «казенных ученых» — «комментаторов официально признанных формул» — Щедрин во многом почерпнул из опыта своего лицейского обучения.

Особенно остро запомнил сатирик характерную фигуру известного в свое время криминалиста профессора Я. И. Баршева (1807—1892), читавшего в лицее курс уголовного права и судопроизводства.

«Когда я был в школе, — вспоминал Щедрин в очерках «За рубежом», — то в нашем уголовном законодательстве еще весьма часто упоминалось слово «кнут»... Орудие это несомненно существовало и, следовательно, профессор уголовного права должен был так или иначе встретиться с ним на кафедре. И что же! Выискался профессор, который не только не проглотил этого слова, не только не подавился им в виду десятков юношей, внимавших ему, не только не выразился хоть так, что как, дескать, ни печально такое орудие, но при известных формах общежития представляется затруднительным обойти его, а прямо и внятно повествовал, что кнут есть одна из

форм, в которых высшая идея правды и справедливости находит себе наиболее приличное осуществление... Но прошло немного времени, курс уголовного не был еще закончен, как вдруг, перед самыми экзаменами, кнут отрешили и заменили треххвостною плетью с соответствующим углублением с точки зрения ударов. Я помню, что нас, молодых школяров, чрезвычайно интересовало, как-то вывернется старый буквоед из этой неожиданности. Пролет ли он слезу на могиле кнута или надругается над этой могилой и воткнет в нее осиновый кол. Оказалось, что он воткнул осиновый кол. Целую лекцию сквернословил он перед нами, как скорбела высшая идея правды и справедливости, когда она осуществлялась в форме кнута, и как ликует она теперь, когда с соизволения высшего начальства, ей предоставлено осуществляться в форме треххвостной плети... Кто же, однако, бросит в него камень за высказанную им научную сноровитость? Разве от него требовалось, чтобы он стоял на дороге со свечком в руках? Нет, от него требовалось одно: чтобы он подыскал обстановку для истины уже утвержденной и официально признанной таковою, а потом за эту послугу чтобы получал присвоенное по штату содержание» (XIV, 106—107).

Баршев был последователем немецкой, так называемой исторической, школы права, непосредственный ученик ее основателя — профессора Берлинского университета Густава Гуго (в Берлине он прослушал также в течение 6 семестров курсы юридических наук у Савиньи и Эйхгорна и исторических наук у Раумера и Ранке). В «Введении к критике гегелевской философии права» Маркс характеризовал эту реакционную школу как школу, объявляющую «мятежным всякий крик крепостных против кнута, если только этот кнут — старый и прирожденный исторический».

В официальных сферах Баршев считался крупным ученым и педагогом. По его изданному в 1841 году курсу «Основания уголовного судопроизводства в применении к российскому уголовному судопроизводству» в течение многих лет учились студенты русских университетов. Салтыков же видел в своем лицейском профессоре не ученого и не педагога, а «лакея» и «холуя» той «казенной науки», задачей которой являлось узаконивать и укреплять своими формулами существующий политический

строй, «оправдывать подлость сегодняшнего дня подлостью вчерашнего». В Баршеве, угоднически приспособившем свои лекции к «видам начальства» и славословившем «исторический» кнут, Салтыков нашел ту же махровую реакционность, которую Маркс заклеил в «исторической школе права», откуда вышел Баршев, последовательно проводивший идеи этой школы в своих курсах. Напомним, что цитированная характеристика «исторической школы права», принадлежащая Марксу, появилась в 1844 году в первом и единственном выпуске «Deutsche-Französische Jahrbücher» («Немецко-французского Ежегодника»); книга эта стала сразу же известна в России и имела, в частности, в библиотеке Белинского.

Казенно-чиновническое отношение к науке в той или иной мере было присуще всем профессорам и преподавателям «чистокровнейшего заведения». Оно остро ощущалось наиболее развитыми воспитанниками. «Еще будучи в школе, он не питал ни малейшего доверия ни к профессорам, ни к воспитателям и первых называл лакеями от наук, а вторых — лакеями от начальстволюбия» (XV, 307). Эти слова, сказанные о Глумове — мрачном герое сатиры Щедрина семидесятых — восьмидесятых годов, вполне применимы к нему самому.

Но были все же исключения. «Записки» лицейстов Яхонтова, Веселовского и Ламанского единодушно выделяют среди лицейских профессоров конца тридцатых и начала сороковых годов по крайней мере двух: Ивановского и Шульгина. Первый читал в старших классах курсы политической экономии, сравнительной статистики и государственного права Англии, второй — русскую историю и русскую историческую топографию.

И. А. Ивановский, поляк по национальности, молодой профессор Петербургского университета, в начале 1830 года был послан за границу для совершенствования в политико-экономических и юридических науках. В течение трех лет он слушал лекции в Берлинском университете, в частности у Шеллинга и у известного представителя гегельянства в теории права Эд. Ганса — университетского учителя молодого Маркса. Он находился там в атмосфере революционных настроений тридцатых годов, особенно сильных в среде университетской молодежи, где в это время формировалось радикальное мировоззрение

младогегельянцев. Прикосновение к передовой научно-общественной мысли Германии тридцатых годов, придало лекциям вполне, впрочем, благонамеренного Ивановского ту «струю свежей, будящей мысли», которую отметил слушавший его в Петербургском университете В. А. Милютин — талантливый экономист-публицист, лично близкий Салтыкову человек в 1846—1848 годах. Воспоминания лицейстов не расходятся с этим отзывом: «Ивановский влагал в свое преподавание поразительное и заразительное воодушевление, которое сильно электризовало его слушателей; любя свою науку, он находил видимое удовольствие, когда замечал, что успел заинтересовать нас ею, старался облегчать, желавшим из нас, средства для лучшего, более близкого ознакомления с нею указанием на более обширные специальные сочинения...»; «Любимым нашим предметом была политическая экономия, благодаря таланту и увлекательной речи преподававшего ее молодого профессора Игнатия Акинфиевича Ивановского» — таковы единодушные отзывы лицейстов о своем преподавателе<sup>41</sup>.

Лекции Ивановского, несомненно, сыграли роль первоначального толчка в пробуждении пристального интереса Салтыкова к политико-экономическим вопросам, который он сохранил на всю жизнь. Однако в своих воспоминаниях сатирик резко критически отнесся и к этому лицейскому курсу. В «Господах ташкентцах» Щедрин писал: «В заведении, о котором идет речь, преподавалась политическая экономия коротенькая. Законы, управляющие миром промышленности и труда, излагались в виде отдельных разбросанных групп, из которых каждая в свою очередь представлялась уму в форме детской игры, эластичностью своей напоминающей песню: коли любишь — прикажи, а не любишь — откажи. Вот, милостивые государи, «спрос»; вот — «предложение»; вот — «кредит» и т. д. Той подкладки, сквозь которую слышался бы трепет действительной конкретной жизни с ее ликованиями и воплями, с ее сытостью и голодом, с ее излюбленными и обойденными — не было и в помине. Откуда явились в жизни все эти хитросплетения, которым присваивалось название законов? Правильно ли присвоено это название, или неправильно? Насколько они могут удовлетворить требованиям справедливости, присущей

природе человека? — все это оставалось без разъяснения» (X, 276).

Профессор Петербургского университета И. П. Шульгин пользовался, по свидетельству К. К. Арсеньева, «большою и заслуженной известностью» у современников. Его реалистический подход к истолкованию исторических явлений, «веское, дельное изображение событий, умение картинно группировать их» — все это увлекало лицейцев, заставляло их серьезно работать над предметом.

«Он был, — вспоминает со своей стороны К. С. Веселовский, — замечательно умен, талантлив и, любя свой предмет, хорошо владел им, всегда умея оживлять свое изложение не риторическими фразами, а талантливою группировкою фактов»<sup>42</sup>.

Отличное знание Салтыковым русской истории и его постоянный живой интерес к ней в какой-то мере восходят к серьезному историческому образованию, полученному у Шульгина. Этот профессор привлекал к себе воспитанников также и независимостью, с которой он умел держать себя по отношению к начальству. «Он не способен к лести и искательству перед сильными», — характеризовал его А. В. Никитенко<sup>43</sup>. И, быть может, этой чертой своего характера и поведения Шульгин обязан тому, что не попал позднее, подобно большинству своих коллег, в щедринскую сатирическую галерею лицейских педагогов и наставников (в иной связи Щедрин упомянул его в очерке «Тряпичкины-очевидцы» — XII, 480).

Учился Салтыков в лицее, по собственному, позднейшему, признанию, «плоховато» и «особым прилежанием не отличался».

«Я был, так сказать, средний воспитанник: из учения имел баллы не блестящие, из поведения — и того хуже» (XVI, 687). Признания эти подтверждаются сохранившимися в архивном фонде лицея «таблицами баллов» и «ведомостями об успехах и поведении» воспитанников. Из этих материалов видно, что только в первый год своего лицейского обучения — 1838/1839 учебный год — Салтыков шел в числе лучших учеников, занимая во втором полугодии 6-е место среди 24 воспитанников XIII курса. В последующие же годы он занимал 13-е — 18-е места и закончил лицей 17-м по успехам<sup>44</sup>.

Однако, несмотря на все недостатки педагогики «чистокровнейшего заведения» и на небольшое прилежание,

Салтыков все же вынес из лицея не только хорошее знание родного языка, а также иностранных языков, особенно французского (который он с таким мастерством использовал позднее в своей сатире), но и достаточные познания в области ряда гуманитарных дисциплин, в первую очередь политической экономии, русской истории и юридических наук. Лицей дал Салтыкову ту интеллектуальную и методическую тренировку, которая позже помогла ему самостоятельно приобрести глубокое и разностороннее образование.

Но выявление наклонностей, выработка характеров воспитанников, формирование их общественных идеалов и принципов происходили, в силу казенно-чиновничьего духа всей воспитательно-образовательной системы лицея, вне основного русла и воздействия его педагогики.

\* \* \*

Вскоре после перевода лицея в Петербург (к 1 января 1844 года) Герцен писал о петербургской учащейся молодежи: «Направление занимавшихся было совершенно реалистическое, т. е. положительно научное. Замечательно, что таково было направление почти всех царскосельских лицейств. Лицей, выведенный подозрительным и мертвящим самовластием Николая из прекрасных садов своих, оставался еще тем же великим рассадником талантов: завещание Пушкина, благословение поэта пережило удары невежественной власти».

Серьезность умственных интересов, отмеченная Герценом, характеризовала, разумеется, далеко не всех лицейств. В лицее воспитывались по преимуществу сыновья петербургских аристократов, богатых помещиков и высокопоставленных чиновных бюрократов. Среди этих «генеральских, шталмейстерских и егермейстерских детей» (X, 623) немало было тех представителей пустоголовой и фатоватой «золотой молодежи», из которых уже на школьной скамье вырабатывались живые модели для будущих щедринских «государственных младенцев» — непревзойденных сатирических типов ответственных руководителей административно-политического аппарата царизма.

Салтыков остался чужд этой среде и ее влияниям. Сближению с ней препятствовали очень прямой, незави-

симый и не очень-то общительный характер юноши, серьезность его умственных интересов, наконец его страстное увлечение стихотворством. Но была тут и еще одна — внешняя, побочная причина, препятствовавшая сближению Салтыкова с богачами-аристократами из его одноклассников, как, например, с князем А. Б. Лобановым-Ростовским — впоследствии министром иностранных дел, или графом А. П. Бобринским — будущим министром путей сообщения. Этой причиной являлась недостаточность средств, получавшихся из дому, что ставило иногда Салтыкова в унижительное положение бедного «казенно-коштного» воспитанника, лишенного возможности участвовать в дорогих развлечениях лицейского товарищества.

Салтыков вспоминал потом: «Уже в самых стенах интерната образовались два лагеря, из которых один был не чужд зависти, другой пренебрежения» (X, 136). В другом месте он писал: «Пусть припомнит он <читатель>, как горько для молодого самолюбия чувствовать себя всегда последним, как бы обойденным; пусть припомнит он, как тяжело то безмолвное отречение от участия в товарищеских складчинах и пирушках, на которое обречен бедный школьник» (IV, 504).

Еще одно интересное признание этого рода находим в главе второй незаконченного цикла Щедрина 1873 года «В больнице для умалишенных». Автобиографичность признания очевидна, несмотря на его сатирическую оболочку.

Говоря о своем «скромном» положении среди большинства воспитанников «заведения», автор пишет: «У меня не было ни собственного мундира, ни собственной шинели с бобровым воротником. В казенной куртке, в холодной казенной шинельке влачил я жалкое существование, умываясь казенным мылом, причесываясь казенною гребенкою. Вид у меня был унылый, тусклый, не выражавший беспечного доверия к начальству, не обещающий в будущем ничего рыцарского. Я не умел ни шаркнуть ножкой, как юноша, в котором сидит уже в зародыше камер-юнкер, ни перелететь через зал по вызову начальства, в той умственной позе, которая служит первым признаком детской благовоспитанности и готовности. Я не давал дядькам на водку и не накупал пирожков. Я ел казенную говядину под красным соусом



и казенные «суконные» пироги с черникой, от которых товарищи мои брезгливо отворачивались, оставляя их на съедение дядькам и сторожам. Первое время я даже оставался по праздникам в «заведении», тоскливо слоняясь по залам его и предаваясь загадочным думам о товарищах, которые в это время мчались на лихачах по Невскому и приучались в кофейнях пить коньяк. Повторяю, я был пятном на светлом фоне воспитательной картины, и не только я сам, но, повидимому, и начальство «заведения» сознавало это. Меня наказывали охотнее, нежели других; меня оставляли без обеда с полным сознанием достигнуть не мнимого, а действительного лишения. Даже при разборе так называемых «историй», случившихся в «заведении», меня ставили как-то особняком» (X, 624).

Огромное самолюбие, которое отличало юношу Салтыкова, не раз страдало от пренебрежительного отношения к нему со стороны сиятельных и богатых «баловней фортуны». Не так-то легко ему было определить свое поведение по отношению к этой части лицейского товарищества. С беспощадной правдивостью к себе Салтыков признавался потом: «Увы! Как ни храбрился я, как ни хвастался своею изолированностью среди «глупеньких мальчишек», дух корпорации действовал и на меня: незаметно въедался он в мою жизнь и подрывал мой напускной стоицизм» (X, 627). С другой стороны, презрительное равнодушие к нему «аристократов» толкало его к необычным для юноши его лет формам протеста. «Видя это <отношение>, я и сам невольно сторонился, вырабатывая в себе чувство злобы к замкнутому миру, который так бесцеремонно смотрел на меня, как на прокаженного» (X, 625). Но его гордость, ум и столь отличавшая его уже с малых лет сила противодействия окружающей среде помогли ему найти свое собственное, независимое место среди лицейского товарищества, не сделавшись ни озлобленным завистником, ни подлаживающимся приживальщиком. По словам А. М. Унковского, Салтыков сумел завоевать себе среди лицейстов «общее расположение»<sup>45</sup>. Но ощущение кастового неравенства запомнилось Салтыкову и в какой-то мере психологически подготовило его сознание к тому обостренно резкому восприятию общественных контрастов и социальных противоречий действи-

тельности, под знаком которого пошло его дальнейшее идейное и творческое самоопределение.

Впоследствии Салтыков говорил, что, находясь в лицее, он «не мог похвалиться тесными, дружескими связями» (XVI, 687). Так оно и было в действительности. Резкая прямота и самостоятельность характера, при большом самолюбии и грубоватой вспыльчивости, неумение и нежелание сглаживать те или иные шероховатости, нелюбовь ко всякого рода откровенным излияниям интимной дружбы — все эти качества, присущие сатирику и в юные годы, препятствовали ему теперь, как и позже, слишком тесно сходить с людьми.

Строго говоря, из лицейского шестилетия Щедрин вынес и сохранил на всю жизнь дружеские отношения лишь с одним В. П. Гаевским — впоследствии членом-учредителем Литературного фонда, автором ряда известных работ о Пушкине лицейской поры. Их сблизила общая в те годы страсть к стихотворству и даже своеобразное поэтическое соревнование друг с другом: Гаевский на XIV курсе считался таким же кандидатом в «продолжатели Пушкина», каким был Салтыков для XIII курса. Находясь уже в старших классах, Салтыков сблизился с двумя воспитанниками младших курсов — В. П. Безобразовым и А. М. Унковским (оба поступили во второй класс 1 января 1843 года из Московского дворянского института, причем последний — вместе со своим другом Н. С. Кашкиным, будущим руководителем левого крыла петрашевцев). Дружеское общение с В. П. Безобразовым — будущим известным экономистом и публицистом, академиком и сенатором, едва начавшееся в 1847 году и продолженное затем в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов, оказалось сравнительно недолгим и в дальнейшем сменилось совсем иным, враждебным отношением. Безобразов был многократно использован Щедриным в качестве живой природы при создании сатирического типа буржуазного ученого-дельца (образы Велентьева, Полосатова и Грызунова в «Господах ташкентцах», «Недоконченных беседах» и «Письмах к тетеньке»). Напротив, личная близость с А. М. Унковским, впоследствии известным либеральным деятелем, хотя и установившаяся много позже лицейского периода, сохранилась до конца жизни сатирика. В семидесятых — восьмидесятых годах А. М. Унковский был одним из

наиболее близких друзей (но не единомышленников) Салтыкова, который даже назначил его своим душеприказчиком.

В лицее Салтыков приобрел, далее, самое значительное свое знакомство этих лет — со старшим воспитанником Петрашевским (о чем будет сказано ниже) и сохранил старую московскую дружбу с И. В. Павловым, учившимся на старшем, XII курсе (вместе с Дм. Толстым, Юр. Толстым, Н. Данилевским и другими).

И. В. Павлов (1823—1904), ныне совершенно забытый, был очень даровитый юноша, с резким и прямым характером, с острым, но несколько циничным умом. Как и Салтыков, он был связан в лицее с Петрашевским, особенно увлекаясь, повидимому, его атеистической пропагандой. В апреле 1842 года, незадолго до выпуска, он был исключен из лицея за какой-то «дерзкий проступок», после чего уехал в Москву и в августе следующего, 1843, года поступил вольнослушателем на второе (естественно-научное) отделение философского факультета Московского университета, а в ноябре 1845 года вступил в число студентов первого курса Медицинского факультета<sup>46</sup>. В Москве Павлов скоро установил связи с кружком Огарева—Герцена. Последний так отозвался о знакомстве с ним в записи своего дневника от 29 ноября 1844 года: «Встретил... одного замечательно умного молодого человека (И. В. Павлова) и с горестью наглядно измерил, сколько свободного и благородного задавили в нас опыт и гонения. Этот молодой человек открыто, прямо говорит свои убеждения, не кастрируя каждую мысль, не оглядываясь воровски». П. В. Анненкова, встретившего Павлова летом 1845 года в Соколове, на даче у Герцена, приятель Салтыкова поразил «оригинальной грубостью своих приемов, под которыми таилось у него много мысли, наблюдения, юмора»<sup>47</sup>.

Павлов, так же как несколько позднее Д. А. Засядко и П. Бибилов, поступившие после окончания лицея в Московский университет, посещал там лекции Грановского. Их «с упоением» слушал и товарищ Павлова и Салтыкова по Дворянскому институту — Юрьев, по собственному признанию «воспитавший себя на светлом слове Грановского». Нет сомнений, что в не дошедшей до нас переписке друзей в этот период (известно, что она существовала), как и во время их свиданий при проездах

Салтыкова на каникулы через Москву, знаменитые лекции служили предметом оживленного обсуждения. Интерес Салтыкова к Грановскому, нашедший позднее свое отражение не только в многочисленных упоминаниях его имени в известных щедринских характеристиках сороковых годов, но и в специальной статье 1868 года «Один из деятелей русской мысли», питался, таким образом, не только литературными источниками.

Любопытно, что круг наиболее близких Салтыкову лиц включал воспитанников либо младших, либо старших курсов, но не его собственного. Ни с кем из товарищей-одноклассников у Салтыкова не образовалось крепкой дружбы, во всяком случае такой, которая потом перешла бы из школы в жизнь. «Как-то само собой так случалось, — вспоминал он, — что я всегда видел себя вне интересов моих однокашников» (X, 625). За исключением близких Салтыкову в сороковых годах Е. С. Есакова и рано умершего Д. А. Засядко, в списке воспитанников XIII курса нет ни одного имени, которое так или иначе оказалось бы потом связанным с биографией сатирика<sup>48</sup>. Объясняется это, нужно думать, отчасти составом XIII курса, весьма аристократическим, отчасти же той решительностью, с которой Салтыков уже в ближайшие послелицейские годы рвал те из своих товарищеских связей, которые могли тянуть его в сторону от его литературных и идеологических интересов. Салтыков остался чужд и тому шедшему от пушкинской поры культу лицея, который на долгие годы позволял его бывшим воспитанникам не терять в жизни хотя бы внешние связи друг с другом. Для Щедрина лицей был не священной *alma mater*, а «чистокровнейшим заведением», «рассадником министров» и «помпадуров», школьные знакомства с которыми сатирик либо вовсе потом не поддерживал, как, например, с В. С. Перфильевым<sup>49</sup>, будучим московским генерал-губернатором, или с графом Д. А. Толстым<sup>50</sup> — последовательно министром просвещения, внутренних дел и обер-прокурором синода, либо сохранял чисто официально, как, например, в период своей службы в министерстве финансов в 1864—1868 годах с министром М. Х. Рейтерном. Однако, несмотря на эту взаимную отчужденность, традиции лицейской корпоративности кое к чему обязывали обе стороны. Бывшие лицейские питомцы, ставшие крупными фигурами в пра-

нительственном аппарате самодержавия, не раз, подчиняясь неписанному кодексу старого товарищества, смягчали или отклоняли удары, угрожавшие Салтыкову в его служебной и литературной деятельности. С другой стороны, Салтыков, вплоть до конца шестидесятих годов, а возможно и позже, посещал иногда традиционные сходки в день лицейского праздника 19 октября. Впрочем, эти корпоративные фестивали достигших своих жизненных целей «питомцев славы» интересовали Щедрина, во-первых, преимущественно тем, что позволяли ему поддерживать некоторые необходимые ему связи, и, во-вторых, тем, что доставляли ему подновленный материал для сатирической обработки типов петербургского бюрократа, «русского культурного человека», «ташкентца», которых он знал досконально, но изучать не переставал никогда.

Отсутствие у Салтыкова особенно тесных приятельских отношений, некоторая одинокость его в этом смысле не означали, однако, что у него не было своего круга товарищества в лицее. Такой круг был, и вполне определенный, сыгравший немалую роль в его литературно-общественном самоопределении. Но, как и в зрелые годы, отношения эти складывались больше на почве литературных и идейных интересов, а не обычных в закрытом заведении интимной доверительности, общих походов, а в дальнейшем и кутежей, далеко, кстати сказать, не невинного свойства, которые были широко распространены среди старших воспитанников.

Среди лицестов наряду с молодыми людьми, уже зараженными аристократической спесью, развращенными богатством и легкостью ожидавшей их блестящей карьеры, немало было юношей серьезных и развитых, живших, независимо от уродливой воспитательной обстановки и казенно-чиновничьей педагогики, достаточно напряженной умственной жизнью, жадно ловивших все новые веяния, проникавшие в литературу и общественную мысль. В этой группе сразу же по вступлении в лицей оказался и Салтыков.

Последствии он вспоминал: «В то время, и в особенности в нашем «заведении», вкус к мышлению был вещью очень мало поощряемой. Выказывать его можно было только втихомолку и под страхом более или менее чувствительных наказаний. Тем не менее, мы усердно

слеждали за тогдашними русскими журналами, пламенно сочувствовали литературному движению сороковых годов и, в особенности, с горячим увлечением относились к статьям критического и полемического содержания. То было время поклонения Белинскому и ненависти к Булгарину. Мир не видал двух других людей, из которых один был бы столь пламенно чтим, а другой — столь искренно ненавидим» (XI, 415).

А в одной из своих автобиографических записок Салтыков сообщал:

«Начиная с 2-го класса, в Лицее дозволялось воспитанникам выписывать на свой счет журналы. Выписывались: только что возникшие в то время «Отечественные записки», «Библиотека для чтения» (Сенковского), «Сын Отечества» (Полевого), «Маяк» (Бурачка) и «Revue Etrangère». Влияние литературы было в Лицее очень сильно: воспоминание о Пушкине обязывало... Журналы читались с жадностью, но в особенности сильно было влияние «Отечественных записок» и в них критики Белинского и повестей Панаева, Кудрявцова [Герцена] и друг.» (I, 82). Указание на преимущественное влияние знаменитых статей Белинского в «Отечественных записках» подчеркивается и характерным словоупотреблением Салтыкова. В 1839 году «Отечественные записки» не были «только что возникшими»; они существовали уже два десятилетия. Но в названном году в них начал сотрудничать Белинский, превративший этот ранее бесцветный журнал Свиньина, а потом Краевского в трибуну передовой демократической мысли<sup>51</sup>.

О глубине и яркости читательских увлечений лицейцев отечественной литературой свидетельствует и ряд других мемуарных документов. «Мы доставали почти все, что было в то время выдающегося в русской литературе», — вспоминает А. Н. Яхонтов. «Что касается до литературы русской, — вторит ему А. Л. Соколовский, — то ...Пушкина, Лермонтова, Гоголя знали, конечно, почти наизусть»<sup>52</sup>.

В атмосфере этих живых и страстных юношеских увлечений быстро окрепло и развилось тяготение Салтыкова к литературе, зародившееся еще в Москве, в Дворянском институте. И там и в лицее литературная жизнь воспитанников, их умственное брожение в значительной

мере определялись и поддерживались прочными традициями, живым чувством преемственности.

Чтение тайком от начальства книг и журналов, составление рукописных альманахов и сборников («Лицей», «Столиственник», «Вообще»), писание стихов, самодеятельные спектакли — вот те практические формы выражения неофициальных умственных интересов лицеистов, отчасти уже знакомые Салтыкову по Дворянскому институту, в которых сразу же весьма интенсивно начала проявляться его интеллектуально-творческая активность. С особым, увлекавшим всех подъемом отдавались воспитанники подготовке самодеятельных спектаклей, устраивавшихся обычно в день лицейского праздника, 19 октября. В одном из этих спектаклей (в 1843 году) участвовал и Салтыков. Он исполнял главную роль в комедии Н. Полевого «Иван Федорович Недотрога», как о том свидетельствует сохранившаяся афиша спектакля.

Но первое место среди увлечений будущего сатирика сразу же заняли книга, журнал и сочинение стихов. Уже начиная с младшего курса, он жадно пристрастился к чтению. Книги и журналы он доставал через старших товарищей, на первых порах, вероятно, через И. Павлова, так как первоклассникам были запрещены самостоятельная выписка книг и пользование ими из казенной библиотеки. О серьезности литературно-читательских интересов тринадцатилетнего Салтыкова свидетельствует его просьба в одном из первых же лицейских писем к родителям (1839) выписывать журналы «Библиотеку для чтения», «Сын отечества», «Московский наблюдатель» и «Отечественные записки» (XVIII, 40). Тогда же, находясь в первом классе, Салтыков, по собственному признанию, «почувствовал решительное влечение к литературе, что и выразилось усиленною стихотворною деятельностью»<sup>53</sup>.

Так началась творческая биография Салтыкова. Ему шел в то время четырнадцатый год. Но он отдался охватившему его увлечению со всей страстностью и упорством своего рано определившегося характера, со всей серьезностью и, одновременно, самомнением юности.

Имя Пушкина, слава великого поэта были теми источниками, которые возбуждали и питали поэтическую активность юного лицеиста.

Он посвятил Пушкину свое первое выступление в печати — стихотворение «Лира», в котором с неподдельной

искренностью выразил чувство благоговения к тому, кто навсегда остался для него «величайшим русским художником». А позже, много раз, — то серьезно, то иронически-шутливо, но всегда с глубоким уважением к великому поэту, — Салтыков подчеркивал значение его живых традиций для выбора своего жизненного пути.

В автобиографической заметке 1858 года Щедрин писал: «В то время Лицей был еще полон славой знаменитого воспитанника его, Пушкина, и потому в каждом почти курсе находился воспитанник, который мечтал сделаться наследником великого поэта»<sup>54</sup>. Мечтал об этом и Салтыков. «Смерть Пушкина, — писал он в другом месте, — была еще у всех в свежей памяти, и поэты того времени никак не могли поделить между собою наследства его. Во мне родилась самонадеянная мысль, вместе с Тимофеевым и Бернетом, завладеть хоть одним клочком этого наследства».

«Самонадеянной мысли» не суждено было осуществиться. Тимофеев и Бернет (А. К. Жуковский) — второстепенные поэты тех лет, печатавшие свои стихи в той же «Библиотеке для чтения», в которой дебютировал и Салтыков, являлись лишь мелкими эпигонами романтической школы. А самому Салтыкову предстоял совершенно иной творческий путь. Но в то время увлечение стихотворством настолько сильно захватило будущего сурового сатирика, что и сам он, и его товарищи считали его призвание уже вполне определившимся. В каждом курсе лицея предполагался продолжатель Пушкина. Так, для XI курса им был объявлен В. Р. Зотов, для XII — будущий сенатор Н. П. Семенов, для XIII — Салтыков, а для XIV — В. П. Гаевский.

К этим надеждам на появление «продолжателя Пушкина» относились серьезно не только воспитанники. О лицее как «великом рассаднике талантов», выполняющем «завещание Пушкина», писал в начале сороковых годов даже Герцен. А реакционный журналист Бурачок на страницах своего «Маяка» совершенно серьезно объявил В. Р. Зотова «вторым Пушкиным». Другой кандидат в «продолжатели Пушкина», В. П. Гаевский, в шестнадцать лет был приглашен к сотрудничеству в «Библиотеку для чтения». В этом журнале, а также в «Маяке» выступали со своими стихами также лицеисты Л. Мей, Н. Семенов, И. Павлов, А. Жемчужников, М. Лонгинов



и другие. Что же касается Салтыкова, то не кто иной, как ближайший друг Пушкина и редактор-издатель основанного им «Современника», П. А. Плетнев, настолько заинтересовался дошедшими до него слухами о новом лицейском поэте, что в конце 1843 года специально приезжал в Царское Село знакомиться с ним, а после того предоставил ему широкую возможность печататься в своем журнале рядом с В. А. Жуковским и П. А. Вяземским<sup>55</sup>.

По-иному относилось к литературным увлечениям лицейстов их начальство. Сочинение стихов и любовь к поэзии не были предусмотрены уставом «чистокровнейшего заведения». Наоборот, в глазах администрации и воспитателей это были крамольные традиции, напоминавшие о свободолюбивых питомцах лицея — Пушкине и Кюхельбекере.

И действительно, эти традиции были живы и находили себе яркое выражение в литературном творчестве лицейстов. Среди их рукописных произведений, дошедших до нас в ничтожно малом числе, имеется все же ряд образцов острой политической сатиры оппозиционного и антиправительственного содержания. Таковы, например, памфлетное либретто Унковского «Поход в Хиву», в котором издевательски осмеивались «у власти стоявшие лица» или анонимный сатирический очерк под названием «Философский взгляд на людей сзади». Этот очерк из обнаруженного недавно Б. В. Папковским лицейского рукописного журнала «Вообще» (1840 год) отличается особенной остротой и смелостью обличительного замысла. Восходя от конкретного к общему, от лицейского быта к жизни всей страны, анонимный автор изображает две категории людей: «Сгибающих» — лицейское начальство, и «сгибаемых» — воспитанников. Но и «сгибающие» в свою очередь гнутся перед «высшими начальниками», а те перед царем. Последний «сгибается только перед обширностью своих планов, а его державную и всех гнущую спину сгибает в три погибели могила»<sup>56</sup>.

Очевидно, лицейское начальство не могло не преследовать такие произведения и их авторов. Это, разумеется, отлично понимали и сами воспитанники. «Издатели упомянутого выпуска журнала «Вообще», где появилась сатира на «сгибающих» и «сгибаемых», предупреждали своих читателей о необходимости «заниматься чтением

журнала про себя, не собирать слушателей и не передавать книжки в другие руки без ведома издателей». «Известные Вам причины, — добавляла редакция, — требуют сего, особенно для настоящей книжки». Стремясь искоренить эту «опасную» конспирацию и эти «вредные увлечения» и устранить самую возможность их возникновения, лицейское начальство подвергало суровому гонению вообще всякие неофициальные литературные занятия и интересы своих воспитанников.

За стихи и за чтение книг Салтыков, по собственным словам, систематически, на протяжении всего шестилетнего курса, «терпел всевозможные преследования как со стороны гувернеров, так и в особенности со стороны учителя русского языка Гроздова» (Салтыков учился у него в I и II классах, то есть в 1838—1841 годах). Это был законченный представитель казенно-чиновничьей педагогики. «Все сколько-нибудь выходившее за пределы регламента и устава находило в нем самого педантичного, придирчивого и строгого карателя», — характеризовал его И. Павлов; «не только строгий, но и антипатичный преподаватель», — вспоминал о нем А. Яхонтов<sup>57</sup>.

Преследования со стороны начальства дополнялись своеобразным остракизмом со стороны воспитанников — «аристократов» — тех самых «генеральских, шталмейстерских и егермейстерских детей», о которых Щедрин говорил потом, что «для них гораздо интереснее было знать, кто лучше шьет штаны, Маркевич или Брунст (знаменитые в то время военные портные), нежели спорить о том, кто лучше пишет стихи, Подолинский или Бернет» (X, 626).

В этой группе, стремившейся задавать тон в «чистокровнейшем заведении», Салтыкова за его пристрастие к чтению книг и сочинению стихов иронически прозвали «умником». Но, как вспоминал сатирик, «название «умника» далеко не пользовалось почетом в «заведении», отражавшем в себе, «как в малой капле вод», настроение тогдашнего, не любившего умников, общества. Начальство преследовало умников, воспитанники смотрели на них, как на людей, занимавшихся несвойственными дворянскому званию занятиями» (X, 625—626).

Примирительно или безразлично относиться к преследованиям начальства и уколам самолюбия от пренебрежительного тона товарищей Салтыков не мог и не умел.

«Все это бесило меня, — признавался он потом, — и вымывало с моей стороны бессильный протест. Я совершенно серьезно принял кличку «умника» и, полный сознанием своего умственного превосходства, перестал вытверживать заданные уроки, сделался неряшливым, презирал выправку и грубил воспитателям. На холодность товарищей я ответил пренебрежением, которое, однакож, далеко не было так искренне, как я хотел это показать. Чтобы уязвить их, я написал басню под названием: «Философ и стадо ослов», в которой выставил себя в выгодном свете «философа», а товарищам предоставил играть роль «ослов» (X, 626).

Действительно ли была написана такая басня — проверить невозможно, как ни любопытно это признание о первом проявлении сатирического творчества Салтыкова. Но если она, что вполне вероятно, и была написана, не в этой еще области проявлялись тогда его литературные интересы. Будущий суровый сатирик писал стихи, был полон ими и искренне считал себя лириком по призванию.

\* \* \*

Поэтическая деятельность Салтыкова в лицее была интенсивной. Он сам называл ее «усиленную».

Но сейчас мы знаем лишь двадцать одно его стихотворение. Десять самых ранних из них, подписанные псевдонимом «Лира» и датируемые 1838—1840 годами, лишь недавно обнаружены Б. В. Папковским среди бумаг Лицейского музея, хранящихся в Пушкинском Доме Академии Наук СССР, и еще не появлялись в печати (автографы Салтыкова в тетради). Два других стихотворения, относящиеся к 1840 году, сохранившиеся в одном из лицейских рукописных альбомов, где они записаны рядом со стихами лицестов И. Павлова, Л. Мея, В. Зотова, Н. Семенова и др., опубликованы М. М. Калаушиным в 1934 году в томе 13—14 «Литературного наследства». Одно стихотворение — дебютная «Лира», — подписанное буквами «С—в», — появилось в 1841 году в «Библиотеке для чтения», а остальные восемь были напечатаны в плетневском «Современнике» за 1844/1845 год за полной подписью Салтыкова и всюду с обозначением дат, подчеркивавших, что все эти стихи были сочинены еще в лицее.

\* Нет сомнений, что стихотворений Салтыкова было много больше. Он сам вспоминал: «я писал стихи, так сказать, запоем, каждый день задавая себе новую тему, и, во что бы то ни стало, выполняя ее» (X, 625). Возможно, что несколько шире был и объем поэтического сотрудничества в печати, и притом не только в двух названных журналах. Есть глухие указания, что салтыковские переводы из Байрона помещались в выходившем тогда русском издании сочинений английского поэта. Но если и существуют эти напечатанные стихи (сверх указанных), то только под псевдонимом или анонимные. Никаких следов их Салтыков, вскоре сурово осудивший свои поэтические опыты, не сохранил. Не сохранил он и свое самое крупное поэтическое произведение той поры — неоконченную трагедию в стихах «Кориолан» (написана не позже весны 1844 года), о которой, по свидетельству Н. А. Белоголового, вспоминал позднее «с большим сарказмом». Юношеское творчество Салтыкова в силу указанных обстоятельств известно нам лишь в малой части и без каких-либо видимых надежд на полное восстановление<sup>58</sup>.

В своей автобиографии 1878 года Салтыков отметил, что стихи, которые он писал, были «большею частью любовного содержания». Между тем среди напечатанных им восьми стихотворений «любовным содержанием» характеризуется разве лишь одно — «Музыка» (если не считать переведенного из Гейне стихотворения «Рыбачка»). Все остальное — это опыты в области рефлектирующей поэзии мысли и философско-обличительной лирики. Несомненно, что, отбирая стихи для печати в 1844—1845 годах, Салтыков отбросил всю любовную лирику и оставил лишь то, что считал для себя ценным, выражающим его настроения тех лет.

Юношеские стихи Салтыкова поражают своей мрачной окраской. На них лежит печать вовсе не отроческой безрадостности и неудовлетворенности. Разнообразные формы выражения этих настроений следует, конечно, отнести за счет образцов, которым невольно подражал юный лицеист, — отчасти стихов Бенедиктова и Губера, а более всего — лирики Лермонтова. Но само тяготение к этим источникам, питавшим первые литературные опыты Салтыкова, весьма характерно. Вспоминая об этом периоде, он не без иронии писал много лет спустя:

«Я безразлично пародировал и Лермонтова и Бенедиктова; на манер первого — скорбел о будущности, ожидавшей наше «пустое и жалкое поколение»; на манер второго — писал послания «К Даме, Очаровавшей Меня Своими Глазами» (X, 625). Но слова: «безразлично пародировал» как раз не могут быть сочтены автобиографически точными. Они продиктованы позднейшим резко отрицательным отношением сатирика к своему романтически-стихотворному прошлому. В годы же лица он относился к своей поэзии совсем по-иному. При всей своей подражательности стихи Салтыкова искренне отражали его переживания тех лет: острое, но еще плохо осознанное ощущение давящего гнета, ощущение разлада между юношескими идеалами и чиновничьим бездушием, серостью окружавшего быта. Мрачность Салтыкова-лицеиста не была позой ни в поведении, ни в начавшемся творчестве. Всякая поза была для него не только чужда, но и невозможна. Жизнь Салтыкова в лице была в общем нерадостной. «Тяжелыми годами» назвал он впоследствии годы ранней юности, проведенные под сенью «заведения» (X, 623), а в не дошедших до нас лицейских письмах к родным жаловался на «скуку школьничьей жизни»<sup>59</sup>.

Многими русскими людьми, жившими в условиях последекабристской реакции николаевского царствования, владели эти настроения неудовлетворенности, скуки и (по выражению Салтыкова в одном из стихотворений) «печали злой», пристекавшие от жажды общественного дела и сознания его невозможности. Но никто не выразил их сильнее, чем Лермонтов. И в этом — объяснение определяющего влияния лермонтовской поэзии на первые литературные опыты сатирика. Особенно близкими Салтыкову были протестующе-обличительные стихи великого поэта. «Дума» Лермонтова вызывает его на прямую перифразу:

Мы жить спешим. Без цели, без значенья  
 Жизнь тянется, проходит день за днем —  
 Куда, к чему? не знаем мы о том.  
 Вся наша жизнь есть смутный ряд сомненья.  
 Мы в тяжкий сон живьем погружены.  
 Как скучно все: младенческие грезы  
 Какой-то тайной грустию полны,  
 И шутка как-то сказана сквозь слезы!

(«Наш век», 1844 г. февраль)

Прямое использование формул лермонтовской поэзии, ее интонаций, ритмики и словоупотреблений встречается и в ряде других стихотворений Салтыкова, отдельные строки которых звучат почти цитатами:

Час печали, час страданья —  
Для тебя — к блаженству путь.

(«Два ангела», 1849 г.)

Мы жизнь свою влачим в немом самозабвеньи.

(«Из Байрона», 1842 г.)

Моя любовь живет страданьем,  
И страшен ей покой!

(«Музыка», 1842 г.)

Еще по-настоящему не осознанные, но уже глубоко владевшие «мрачным лицеистом» настроения протеста против «скуки жизни», за которой стоял общий гнет, царивший в стране, делали лермонтовскую тему субъективно близкой для будущего сатирика. И когда вскоре, в петербургские годы, Салтыков вступил в собственную полосу «противоречий» и «запутанных дел» и со всей остротой поставил в своей первой повести вопрос о жалком месте среднего человека в обществе «сытых и довольных», то эпиграфом к одной из глав он взял гневно-обличительный стих любимого поэта.

О, как мне хочется смутить веселость их  
И дерзко бросить им в глаза железный стих,  
Облитый горечью и злостью!..

«Горечью и злостью» «облиты» и все позднейшие произведения Салтыкова. Политическая лирика Лермонтова явилась одним из источников, питавших не только поэзию Некрасова, но и обличительное творчество Щедрина.

Лицейские стихи юного Салтыкова, как оригинальные, так и переводные (из Гейне, Гюго и Байрона), в целом противостоят его зрелому творчеству. Лишь ценой натяжек можно устанавливать связь между этой беспомощной романтикой и позднейшей щедринской сатирой. Однако вне этого сопоставления следует признать, что некоторые стихотворения Салтыкова вполне стоят на уровне массовой поэтической продукции тех лет. Недавно достаточно требовательный редактор «Современ-

ника» П. А. Плетнев считал возможным не только печатать Салтыкова рядом с В. А. Жуковским и П. А. Вяземским, но иногда ограничивать его произведениями весь стихотворный материал очередной книжки журнала.

Поэта из Салтыкова не вышло, и, беспощадно суровый к самому себе, он очень не любил, когда впоследствии ему напоминали о стихотворческих увлечениях его юности. Но они имели свое важное последствие. Сотрудничество в журналах повело к знакомству Салтыкова с профессиональными литераторами и способствовало его вхождению в литературные круги Петербурга сороковых годов. Недаром и сам сатирик утверждал впоследствии, хотя и с оговоркой: «Я в литературе состою с 47 года... или даже с 43 года, когда печатались в Плетневском «Современнике» мои стихи» (XIX, 225).

\* \* \*

А. Я. Головачева-Панаева в своих «Воспоминаниях» рассказывает о Салтыкове тех лет: «Я видела его еще в мундире лицеиста в начале сороковых годов в доме М. А. Языкова. Он приходил к нему по утрам по праздникам. Юный Салтыков и тогда не отличался веселым выражением лица. Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал... Он всегда сидел не в той комнате, где сидели все гости, а помещался в другой, против дверей, — и оттуда внимательно слушал разговоры». По словам самого Языкова, Салтыков ходил к нему, «чтобы посмотреть на литераторов». Здесь будущий сатирик имел возможность часто видеть и слышать Белинского, который был в дружеских отношениях с Языковым, и нужно думать, что именно эта возможность заставляла «мрачного лицеиста», пересиливая свою застенчивость, посещать известные в Петербурге той поры языковские литературные сходки, проводя здесь большую часть своих отпускных часов. Панаева как раз и запомнила то посещение Салтыковым дома Языкова, когда там был Белинский.

«Как теперь помню Белинского, — пишет Панаева, — расхаживающего по комнате, заложив, по обыкновению, руки в карманы и распекавшего К<омарова>, известного всему кружку хвастуна. У К<омарова> было плак-

сивое выражение в лице, так что смешно было на него смотреть. Панаев, Языков и еще двое не литераторов, но постоянных членов кружка, слушали его распеkanie. Я сидела против двери и мне было видно лицеиста <т. е. Салтыкова>.

— Господи, зачем я вру! — патетично воскликнул К<омаров>.

— Мамка вас в детстве зашибла! — заметил ему Белинский.

При этих словах на лице у лицеиста изобразилась улыбка.

— Чудеса, сегодня ваш мрачный лицеист улыбнулся, — сказала я Языкову.

— Я знаю, — отвечал Языков, — что он ходит ко мне, чтобы посмотреть на литераторов. Он сам стихи пишет, и их напечатали в «Библиотеке для чтения». Кто знает! Может, и будет со временем известным поэтом»<sup>60</sup>.

Панаева не сообщает прямо о личном знакомстве Салтыкова с Белинским, но вряд ли можно сомневаться в том, что оно состоялось. Хозяин дома, М. А. Языков, не мог не представить Белинскому своего постоянного (если верить Панаевой) гостя, тем более будучи осведомлен о его глубоком увлечении статьями критика.

Значение Белинского в формировании личности и мировоззрения Салтыкова этой поры было определяющим и всесторонним. Дворянский институт и лицей могли дать и дали Салтыкову, при его способностях, известный запас знаний. Но официальная наука и казенная педагогика не могли дать никакого ответа на те запросы страстной и протестующей мысли, которые так рано и с такой силой проснулись в Салтыкове. Отсюда — его беспощадные оценки школьной науки, о которой он писал: «Нам надо было, при самом нашем вступлении в жизнь, выбросить за забор весь этот энциклопедический хлам, которым напичканы наши головы, все эти верхушки и булавочные головки знания, которыми только раздражили нашу нервную систему» (IV, 181—182). Накопленная им умственная и нравственная энергия ждала толчка, чтобы проявить себя и дать направление начинавшейся самостоятельной жизни и деятельности. Таким толчком явилось для Салтыкова, по его собственному признанию, «полное страсти слово Белинского», его проповедь гуманизма, демократизма и







социализма. Позднее Салтыков не раз с благодарной памятью отмечал определяющую роль великого критика для своего идейного развития.

Знаменитые статьи Белинского в «Отечественных записках» 1841—1846 годов, а затем в «Современнике» 1847 года могут быть поэтому с полным основанием названы школой идей, сформировавшей решающие черты идеологического и писательского облика будущего сатирика.

Вспоминая впоследствии об идейной жизни лицейского кружка, к которому он принадлежал, Салтыков писал: «Мы усердно следили за тогдашними русскими журналами, пламенно сочувствовали литературному движению сороковых годов и в особенности с горячим увлечением относились к статьям критического и полемического содержания. То было время поклонения Белинскому и ненависти к Булгарину. Мир не видел двух других людей, из которых один был бы столь пламенно чтим, а другой — столь искренно ненавидим» (XI, 415).

Ненависть к деспотизму и социальной несправедливости (уже не гуманистически абстрактная, а политически осознанная, направленная против их конкретных национально-исторических форм — самодержавия и крепостничества), горячее желание счастья и свободы родному народу, учение об общественном назначении литературы и понимание ее как важнейшего, в условиях политического бесправия общества, орудия освободительной борьбы, признание, в силу этого, «звания литератора» «почетнейшим», взгляд на писателя как на «учителя жизни» и, одновременно, обличителя и судью «ложных и неразумных основ общественности, искажающей человека», признание «подлинным искусством» лишь «искусства действительности», то есть реализма, — все эти и многие другие основы революционно-демократического мировоззрения и литературно-эстетических взглядов Белинского по-юношески страстно усваивались Салтыковым уже в лицейские годы и глубоко и прочно были закреплены в последующие, петербургские.

Белинский своей высокой оценкой «натуральной школы» и Гоголя, которого он называл «одним из великих вождей» России на «пути сознания, развития, прогресса», практически направил творческую мысль Салтыкова на выучку в великую реалистическую школу

создателя «Ревизора» и «Мертвых душ». Глубокая преемственность щедринской сатиры от критического «отрицательного» направления Гоголя — не только одно из проявлений закономерности в развитии русской реалистической литературы прошлого века. Это также результат активного, творческого усвоения Салтыковым писателя, которого так глубоко раскрыл и у которого так настойчиво призывал учиться великий критик <sup>61</sup>.

Белинский же, наконец, всецело охваченный вскоре после своего переезда в Петербург страстным увлечением утопическим социализмом, который он пропагандирует теперь как «идею идей», как «бытие бытия», способствует приобщению Салтыкова и к этому новому идейному источнику, которому суждено было сыграть такую выдающуюся роль в оформлении мировоззрения сатирика.

Существует рассказ, идущий, по словам Л. Ф. Пантелеева, от самого Салтыкова, что начало его знакомства с французскими социалистами-утопистами произошло самостоятельно, благодаря купленной им у букиниста книге Шарля Фурье. Проверить точность указания невозможно, хотя известно, что лицеисты старших курсов действительно имели хорошо налаженную связь с букинистами, специализировавшимися в распространении запрещенной социалистической литературы. По свидетельству А. М. Унковского, относящемуся к 1843—1844 годам, в лицее «не было ни одной запрещенной иностранной книги, которая бы не появилась в его стенах у мальшей 14—16 лет» <sup>62</sup>. Лицест Е. И. Ламанский, так же как и Салтыков, имевший отношение к кружку петрашевцев, сообщает в своих воспоминаниях, относящихся к первой половине 1840 года: «Обыкновенно у каждого из нас <лицеистов> был свой букинист, который отлично знал все запрещенные книги, особенно серьезные, и время от времени наведывался к своим покупателям, снабжая их запрещенною литературою по интересовавшим вопросам» <sup>63</sup>.

Был, вероятно, такой букинист и у Салтыкова. Но покупка сочинения Фурье меньше всего была результатом случая. Указание Пантелеева ни в чем не колеблет правильности утверждения, что именно Белинский с его проповедью «идеи социализма» дал первый толчок, направивший мысль и интерес Салтыкова в этом направле-

нии. Будущий сатирик не был здесь исключением. Вспомним выразительное свидетельство Ап. Майкова о «вдруг налетевшей буре Белинского». Это была очистительная буря. Она сокрушила или по крайней мере поколебала в сознании людей молодого поколения многие фетиши обветшалого частнособственнического мира и вплотную подвела русскую передовую мысль к признанию: «Старый мир с его религией, устройством общества отживает, нужен новый...»<sup>64</sup>

Ко всему сказанному следует добавить, что «полное страсти слово Белинского» Салтыков-лицеист воспринимал, как мы видели, и непосредственно, в устных, а не только печатных выступлениях критика.

Таков был высокий круг умственных интересов и запросов Салтыкова в старших классах лицея. Будущий писатель не занимал, однако, в этом отношении какого-то исключительного, обособленного места среди остальных воспитанников. В воспоминаниях К. К. Арсеньева, учившегося в начале пятидесятых годов в другом привилегированном учебном заведении — в Училище правоведения, — есть интересное свидетельство о характере и направлении умственной жизни лицеистов той поры. «Я хорошо знал многих сверстников своих, учившихся в лицее, — пишет Арсеньев, — и твердо помню, что между ними было гораздо больше интереса к политике, чем между правоведами. Имена Сен-Симона, Фурье мне пришлось, например, услышать в первый раз — в самом начале 1850-х годов — не от товарищей по училищу, а от лицеистов»<sup>65</sup>.

Не случайно, что среди петрашевцев — этих первых деятельных пропагандистов социализма в России — многие, в том числе и сам Петрашевский, получили свое воспитание в лицее. Петрашевский был тремя курсами старше Салтыкова. Он был выпущен в 1840 году (а в 1841 году уже завершил свое образование в Петербургском университете), но и после того не порвал связи с лицеем. Его частые посещения лицея были вызваны при этом отнюдь не sentimentalными побуждениями школьной дружбы и товарищества. Петрашевский обладал замечательными способностями организатора и пропагандиста. Он умел искать, находить и готовить людей, кадры для развертывания того «разумного движения в народе русском», о котором мечтал уже в 1842—1843 годах. Он

хотел организовать и возглавить это движение<sup>66</sup>, направив его на подрыв устоев дворянско-крепостнической монархии и снабдив его лозунгами социализма и республики. Он искал повсюду нужных людей, из которых надеялся выработать своих единомышленников, и с этой именно целью старался укрепить свои связи с лицеистами, внимательно присматриваясь к наиболее серьезным и развитым юношам и ведя среди них свою пропаганду. Летом 1844 года он даже ходатайствовал о принятии его на должность воспитателя лицея и о допущении к преподаванию юридических наук, в чем ему было отказано. Директор лицея генерал-майор Броневский сообщил по этому поводу начальству, что он «входил в ближайшее сношение с г. Петрашевским и не нашел в нем надлежащих свойств к занятию этой должности». Несомненно, этой проектируемой службой Петрашевский преследовал цели, далеко выходявшие за пределы устройства своего материального положения или практического удовлетворения своих интересов к вопросам воспитания.

Постоянные и близкие связи Петрашевского с лицеистами и его «вредное влияние на них скептическим настроением мысли относительно предметов веры и существующего общественного порядка, якобы несовместимого с благоденствием людей», привлекли, наконец, в том же 1844 году специальное внимание начальства лицея, а затем и III Отделения. Результатом этого явилось установление секретного полицейского надзора за Петрашевским, обыск у лицеистов, исключение из лицея А. М. Унковского, как «особенно склонного к подобным увлечениям» «лжемыслием», и наказание розгами другого лицеиста — Вл. Константинова. Произведенное следствие показало, что лицеисты «были вовлечены в это знакомство суелным обаянием новых идей, которыми г. Петрашевский прельстил их умы...» Но следствие было «домашнее» и, видимо, ничего по существу не вскрыло. Во всяком случае сам Унковский в своих воспоминаниях признается, что мера наказания удивила его и товарищей своей... незначительностью: «Нас это поразило. Не исключить только следовало по строгостям тогдашнего времени, а сослать, разжаловать в кантонисты», и замечает дальше: «Уже тогда, то есть в год исключения меня из лицея, следили за Петрашевским и

за посещавшими его лицами... Кто знает, если бы не обыск в лицее в 1844 году, то в 1848 году я угодил бы вместе с Петрашевским в Сибирь, на каторгу»<sup>67</sup>.

После исключения из лицея Унковский приехал в Москву и явился здесь к товарищу и другу Салтыкова— Ивану Васильевичу Павлову. Близко общаясь в лицее с Петрашевским, Унковский, на основании каких-то слов или намеков последнего, пришел к убеждению, что в Москве существует «тайное общество заговорщиков», или «братство», в котором видную роль играет Павлов, и обратился к последнему с просьбой принять его в это «общество». Павлов был немало удивлен и несколько встревожен такой просьбой со стороны человека, которого он видел впервые. Опасаясь стать невольной жертвой неосторожности своего не в меру легкомысленного посетителя, а быть может, допуская вначале даже мысль о возможной полицейской провокации, Павлов постарался, как только мог, охладить революционно-романтический пыл юноши. Он прочел Унковскому целое нравоучение, в котором высмеял его предположения о существовании общества заговорщиков в Москве, заявил о своем несочувствии революционным методам борьбы и опровергнул политически компрометирующие отзывы о себе Петрашевского. Обо всем этом мы узнаем из неизданного письма Павлова к его приятелю А. И. Малышеву (летом 1845 года). Письмо излагает эпизод в драматизированной форме диалога и написано с характерными для Павлова ироническими и сатирическими интонациями. Приведем интересующую нас часть текста письма:

«Я <Павлов> — Но что Вам угодно?

Оно (Унковский — уродливое существо с длинной-предлинной головой, с срезанным лбом. Он был выключен из лицея за разные проделки и сидел в сумасшедшем доме по высочайшему повелению.) — Иван Васильевич! Унковский. (Трагическое молчание.)

Я — Но что Вам угодно?

Оно — Я пришел из любопытства: мне хотелось с вами познакомиться. Я столько о Вас наслышался.

Я — Очень рад. Человек, подай трубку. (Молчание. Длинноголовое существо переминается и что-то хочет сказать). Какая странная погода, то было сиверко, а теперь жарко...

*Оно* (патетическим тоном) — Иван Васильевич!

*Я* — Что?

*Оно* (еще патетичнее) — Примите меня в ваше братство.

*Я* (выпуча глаза) — Какое братство?

*Оно* — Не скрывайте, я все знаю. Ваша деятельность, Ваше влияние, Ваш образ мыслей... Я еще в Петербурге про Вас слышал от Петрашевского...

*Я* (перебивая) — Если Вы о мне судите по словам Петрашевского, то Вы жестоко ошибаетесь. Петрашевский — нелепое существо, которое вечно делает глупости и рано или поздно попадется.

*Оно* (с укоризной) — А он о Вас не то говорит.

*Я* — Что мне за дело до его слов! Я хочу только Вам сказать, что Вы жестоко ошибаетесь. Я ни Верона, ни Фиеско, а просто смиренный студент медицины. Ежели я имею образ мыслей, не совсем согласный с настоящим порядком вещей, то по крайней мере не в моем образе мыслей жестокие меры против чего бы то ни было принятого. И потом, я не стану своих идей и убеждений излагать встречному и поперечному.

В таком тоне я продолжал долго. Я с этим мальчишкой поступил мягко, очень мягко. Его бы можно было разругать и выгнать взашей. Мне это твердят Засядко и Некрасов, которым я рассказал о полученном мною странном визите. Но видишь ли что: во мне пробудилось патриотическое чувство старого лицеиста, мне стало жаль безумного мальчика, на которого я смотрел как на своего меньшого брата... Ежели б я его выгнал, он бы... начал везде рассказывать, что в Москве есть тайное общество заговорщиков»<sup>68</sup>.

«Тайного общества» в Москве в это время не было, а Павлов, несмотря на свой политический радикализм и увлечение утопическим социализмом, был далек от подлинно революционных настроений. Тем не менее возможно, что визит Унковского не был в действительности столь «странным», как это счел нужным изобразить Павлов в письме к Малышеву. Есть основания полагать, что предположения Унковского не являлись совершенно беспочвенными, а имели под собой некоторую основу. Она заключалась, повидимому, в том, что Петрашевский пытался при помощи Павлова создать в Москве нечто в роде филиала своего петербургского кружка. Так или иначе, письмо Павлова представляет для нас интерес



тем, что отражает, хотя и в несколько кривом зеркале, картину политической жизни и оппозиционных настроений в лицейской среде, наиболее близкой Салтыкову.

Обыск в лицее в связи с установлением секретного полицейского надзора за Петрашевским, исключение Унковского, визит его к Павлову и письмо последнего к Малышеву — все эти факты свидетельствуют, что связи Петрашевского с лицеистами имели далеко не невинный в политическом отношении характер. Они являлись одной из форм организаторско-пропагандистской работы Петрашевского по сколачиванию кадров для создававшегося им революционного подполья тех лет.

В ответах следственным властям, отображенных у него в Вятке, Салтыков показал: «Мои отношения к господину Буташевичу-Петрашевскому начались во время пребывания моего в Лицее. Хотя Петрашевский был в старшем курсе, а я в младшем, но так как он был не любим своими товарищами, то большую часть времени проводил в низших классах»<sup>69</sup>. Их сближение началось, вероятно, в форме традиционной в лицее дружбы — опеки старшего воспитанника над младшим. «Отношения между старшим и младшим курсом были установлены искони, на основании преданий, — свидетельствуют «Воспоминания» А. Н. Яхонтова. — Почти каждый из старших имел между младшими своего клиента, которого навещал в свободное время и которому поручал переписывать записки и лекции профессоров и т. д.»<sup>70</sup>.

«Угрюмый, неразговорчивый, сосредоточенный в себе, он почти ни с кем не сближался и внеклассное время проводил не в беседах или играх, а уединялся в рекреационный зал или в сад, с книгой в руках», — таким запомнился Петрашевский-лицеист В. Р. Зотову — его однокурснику<sup>71</sup>. Он выбрал себе «клиента» по склонности и психологической родственности характера. Юный Салтыков — «мрачный лицеист» — тоже отличался некоторой нелюдимостью, замкнутостью, молчаливостью в обществе и также больше всего любил общение с книгой или с тетрадкой для записи сочинявшихся им стихов.

Но традиционная форма лицейской дружбы сразу же стала заполняться более серьезным и многозначительным для обеих юношей содержанием. В тех же показаниях Салтыкова имеется на этот счет весьма интересное признание: «Началом сближения моего с Петрашевским

были литературные занятия». В чем состояли эти занятия для Салтыкова, мы знаем: он с увлечением писал стихи. Но и Петрашевский, оказывается, был занят тем же. Из недавно опубликованных материалов стало известно, что Петрашевский долгие годы, скрывая это, писал стихи и притом той же философской настроенности и мрачного колорита («выражающие чувство за ключенного», — говорил он), которые отличали и поэтические опыты Салтыкова. Взгляды Петрашевского на поэзию («поэзии мысли» он отдавал первое место) и на современную ему литературу, в частности на высоко ценимого им Лермонтова, несомненно должны были оказать воздействие на младшего его товарища и на поэтические опыты последнего<sup>72</sup>.

Дружба с Петрашевским, который по возрасту был старше Салтыкова на четыре года, не осталась без влияния на самый характер поведения последнего в лицее. Петрашевский весьма резко и непочтительно относился к лицейскому начальству и никогда не пропускал случая принять участие в какой-либо школьной демонстрации против него, хотя бы и вспыхнувшей на другом курсе. Часты были столкновения с начальством и у Салтыкова. Эти «грубости», наряду с непоощрявшимся писанием стихов и чтением запрещенных книг, нередко приводившие его в карцер, сказались на ежемесячных отметках «из поведения» и повлияли на аттестат, который он получил при выпуске.

Но за Салтыковым начальство числило и более крупную провинность. Он был участником, хотя и не очень активным, одной из наиболее громких лицейских историй — резкой обструкции, устроенной воспитанниками выпускного класса в апреле 1843 года упомянутому выше профессору русского языка Гроздову, ненавидимому всеми лицеистами и, может быть, всех сильнее Салтыковым. Напуганный Гроздов донес высшему начальству, что против него «открылось возмущение» и что «буйство в лицее дошло донельзя». Ввиду серьезности событий дело было доложено самому главноначальствующему — великому князю Михаилу Павловичу, который потребовал, «чтобы директор водворил, наконец, в лицее должный порядок и положил предел наглости воспитанников», не стесняясь самыми сильными мерами<sup>73</sup>.

Салтыкову, как и другим участникам «истории», угрожали исключением из лицея до окончания курса и

переводом на службу простым канцеляристом. Быть может, действительно опасаясь этой угрозы и стремясь предупредить ее, а скорее всего рассчитывая найти в ней убедительный в глазах родителей предлог для своего освобождения от «скуки школьничьей жизни», Салтыков поднял перед матерью вопрос о разрешении выйти из лицея и поступить в университет, повидимому Московский. В ответ он получил категорическое запрещение и вызвал недовольство матери, писавшей старшему сыну Дмитрию: «Признаюсь, я уже к Михайле не имею того доверия, коим прежде дышала»<sup>74</sup>.

Властность матери, мечтавшей о бюрократической карьере для сына, второй раз стала на пути осуществления его собственных планов.

Петрашевский покинул лицей вместе с X курсом в январе 1840 года. Его совместное с Салтыковым воспитание, а стало быть, и возможность тесного общения продолжались, таким образом, полтора года. В последнее двухлетие они не теряли друг друга из виду. Но вряд ли их встречи были часты. Петрашевский поступил на службу и вместе с тем посещал в качестве вольнослушателя университет. Он отдавал занятиям все свободное время и хотя приезжал в Царское Село, но редко. Салтыков имел возможность посещать своего «друга и учителя» в дни отпусков в Петербург, при поездках к брату Дмитрию Евграфовичу<sup>75</sup>. Сколь часты были эти посещения или другие встречи Салтыкова с Петрашевским, неизвестно. Но в 1843—1844 годах их отношения приобрели новое содержание.

Как раз в это время Петрашевский задумал издание журнала. В записях, озаглавленных «Мои афоризмы» (конец 1842 — начало 1843 года), он так излагает задачу издания: «Наш журнал русский и для русских, а потом для Европы. Показать общие начала всех наук и обратить наибольшее внимание на те науки, которые имеют наибольшее значение в общежитии и влияние на его развитие, как то: история, словесность, политическая экономия и философия и т. п. Главное же возбудить, разбудить, вызвать чувство народности и самобытности во всех отношениях; главной мыслью, главной идеей, главным предметом должна быть Русь, и это начало должно быть развиваемо во всех направлениях»<sup>76</sup>. А в других, несколько более поздних записях (1843 года),

названных им «Запас общепольного», Петрашевский набросал ряд тем будущих статей, впервые обнаружив здесь свой фурьеризм, являвшийся у него, как и у других петрашевцев, идеологическим выражением ненависти к самодержавию и крепостному праву. К участию в этом несостоявшемся издании, которое должно было явиться как бы органом ранних русских социалистов, направленным под прикрытием пропаганды «мирной теории Фурье» на подрыв устоев дворянской монархии и на борьбу с крепостничеством, Петрашевский пригласил ряд лицейстов, в том числе семнадцатилетнего Салтыкова, а также двух его более старших товарищей. Один из них — Владимир Степанов — был вынужден вскоре уйти из лицея — официально «по домашним обстоятельствам», а по существу едва ли не по тем же причинам, что и Унковский. Другой — упомянутый уже Д. А. Засядко, слушавший после окончания лицея лекции в Московском университете, установил там связь через И. В. Павлова с Герценом и Огаревым. Обстоятельства не позволили развиться дружеским отношениям Салтыкова с этими людьми, отмеченными выбором Петрашевского. Владимир Степанов поступил вскоре в Дерптский университет, и его дальнейший след затерялся. Д. А. Засядко, с которым Салтыков в начале своей ссылки обменялся одним или несколькими не дошедшими до нас письмами, вскоре умер.

На жандармском допросе в Вятке Салтыков показывал: «Самая мысль издания журнала поддерживала мое знакомство с Петрашевским; для этой цели Петрашевский предлагал покупать и книги, чтобы составить небольшую энциклопедическую библиотеку», — и добавлял: «Будучи в то время очень молод... я не видел, да и не мог видеть в издании этого журнала иной цели, кроме удовлетворения желанию, весьма простительному в молодости», то есть желанию видеть свои произведения в печати.

Мы еще увидим, что в своих показаниях властям Салтыков не говорил всей правды и, естественно, там, где мог, стремился отрицать или преуменьшать вину свою и товарищей. Скрывает он истину и в приведенной части показания, относящейся к участию его в организации журнала Петрашевского. Заинтересованность Салтыкова в этом издании с антикрепостнической и социалистиче-





ской программой имела, разумеется, причины более глубокие, чем невинное тщеславие начинающего автора. С другой стороны, ему не могла не быть известна подлинная цель создания библиотеки: книги были нужны Петрашевскому для организации в русском обществе пропаганды социалистических воззрений — пропаганды, связанной с развертыванием идеологической борьбы против крепостного права и самодержавия.

\* \* \*

В мае — июне 1844 года Салтыков держал выпускные экзамены; лицей был переведен к тому времени в Петербург и именовался уже не Царскосельским, а Александровским<sup>77</sup>. По заведенному порядку экзамены были открытые и проходили в присутствии многочисленной публики и высокопоставленных гостей. Извещения и отчеты об испытаниях публиковались в официозных изданиях: «Северной пчеле» и «Санктпетербургских российских ведомостях». Торжественный акт выпуска состоялся уже после летних каникул, 17 августа 1844 года. Окончившим лицей были вручены принцем Петром Ольденбургским аттестаты и награды. Аттестат, полученный Салтыковым (он упоминает о нем в своей автобиографии) гласил:

#### «АТТЕСТАТ

Воспитанник Императорского Александровского Лицея Михаил Салтыков во время пребывания своего в сем учебном заведении, при довольно хорошей нравственности, оказал успехи: в Законе божием отличные, в Психологии и Логике хорошие, в Географии весьма хорошие, в Истории очень хорошие, в Статистике отличные, в Политической экономии весьма хорошие, в Энциклопедии права хорошие, в Истории Римского и Русского права весьма хорошие, в Римском гражданском праве хорошие, в Российских Государственных учреждениях весьма хорошие, в Законах о финансах весьма хорошие, в Гражданском праве весьма хорошие, в Уголовном праве весьма хорошие, в Математике хорошие, в Физике и Химии посредственные, в Русской словесности отличные, в Латинской словесности весьма хорошие, в Немецкой словесности хорошие, в Французской словесности весьма хорошие, в Английской словесности хорошие. — Сверх того, обучался рисованию, фехтованию, танцеванию. Ныне, с Высочайшего его Императорского Величества утверждения, выпущен в гражданскую службу, с чином X-го класса, в чем и дан ему, Салтыкову, от Конференции Императорского Лицея сей аттестат, за надлежащим подписанием и с приложением печати Лицея.

Санктпетербург, Августа 17-го дня 1844 года.  
Директор Лицея Генерал-лейтенант *Д. Броневский*»<sup>78</sup>

Таким образом, Салтыков был выпущен, как и Петрашевский, а еще раньше Пушкин и Кюхельбекер, не с чином 9-го, а 10-го класса, то есть не в числе отличных. На первых порах это обрекало его как стипендиата, обязанного отбыть шестилетний срок государственной службы, на участь мелкого чиновника в одной из петербургских канцелярий.

\* \* \*

Шесть лет пребывания Салтыкова в лицее сыграли в истории его умственного развития и литературного самоопределения большую роль. В 1838 году французский гувернер-надзиратель привез в Царское Село дворянского мальчика-подростка, который, несмотря на наличие в его сознании элементов протеста и недовольства, пробужденных тяжелыми впечатлениями детства, находился еще в таком возрасте, когда эта протестующе-критическая сторона его мысли не могла быть ни ясно осознанной, ни сколько-нибудь устойчивой. Зарождавшийся протест легко мог быть обуздан. Элементы начинавшейся социальной критики легко могли быть расплавлены в тигле всей воспитательной системы и официальной науки «чистокровнейшего заведения», имевшего своей специальной задачей готовить будущих идеологов и слуг дворянской монархии.

Этого, однако, не случилось.

В 1844 году из школы в самостоятельную жизнь вышел юноша, в котором ростки детского протеста и заложенных еще в семейном гнезде противоречий не только не заглохли, но вызрели настолько, что привели его сильную, ищущую мысль в прямое соприкосновение с передовой русской и западноевропейской мыслью и скоро поставили его на крайний, левый, фланг тогдашней идеологической борьбы.

И другой, не менее важный, итог лицейской поры: подневольный питомец школы «государственных младенцев» вышел из нее не с «разумными» планами бюрократической карьеры, автоматически открывшейся перед ним, а со страстной и уже претворяемой в жизнь мечтой о писательстве, литературе.



## В ПЕТЕРБУРГЕ СОРОКОВЫХ ГОДОВ

(1844—1848)

«Вот он, этот громадный город...»

*Щедрин. «Невинные рассказы».*

Самостоятельную жизнь в Петербурге Салтыков начал после многих лет, проведенных в условиях изолированного быта — сначала семейного гнезда, а затем двух привилегированных интернатов. Он остро пережил встречу с новой действительностью.

Петербург поразил его резкими контрастами. Город предстал перед ним, как и перед Герценом этих лет, — «полным противоречий и противоположностей, физических и нравственных»<sup>1</sup>. Остроту их молодой Салтыков через три-четыре года с большой силой запечатлеет в своих первых повестях, особенно в «Запутанном деле». Город уже воспринят здесь в свете социалистических идей и нарисован средствами поэтики натуральной школы. В этой подлинно «петербургской новелле» каждая деталь городского пейзажа, каждая бытовая зарисовка пронизаны резкими социальными противоречиями, наполнены ощущением протеста против бездушия и жестокости большого города.

«Он рвался из этого страшного города, который, как вредный и ненасытный паразит, пьет соки целой страны, который, как червь неусыпающий, кипит в котле какой-то нелепой, бессмысленной деятельности, и чувствовал, что он тут прикован, что руки его связаны, что сила, которая ключом кипела и переполняла все его существо, горькую насмешку судьбы, приведена на степень бессилия» (IV, 311).

Так, воссоздавая отчасти собственные переживания, изобразил Салтыков настроения героя своей ранней повести («Тихое пристанище») Веригина, очутившегося после выхода из школы «в одиночестве большого северного города».

Отрицательное отношение Салтыкова к городу как к средоточию враждебной и гнетущей буржуазной цивилизации было, в известной мере, навеяно обличениями социалистов-утопистов. Социальный антиурбанизм был одним из рельефных проявлений социалистической мысли петрашевцев. Яркое представление об этой стороне их взглядов дает, например, речь Д. Д. Ахшарумова, произнесенная на известном обеде петрашевцев в честь Фурье 7 апреля 1849 года.

«Мы живем, — сказал Ахшарумов, — в столице безобразной, громадной, в чудовищном скопище людей, томящихся в однообразных работах, испачканных грязным трудом, пораженных болезнями, развратом...», наполненном «семействами, которые вредят друг другу, теряют время и силу и обедняются в бесполезных трудах»<sup>2</sup>.

Тема города, собственно Петербурга, разработанная как тема социальной несправедливости, общественных контрастов и противоречий, характерна для всех писателей-петрашевцев, а также для писателей «натуральной школы». Вспомним стихи и прозу раннего Некрасова (особенно «Петербургские углы»), два стихотворения Ап. Григорьева: «Город» («Великолепный град, пускай тебя иной приветствует с надеждой и любовью...») и «Прощание с Петербургом» («Прощай, холодный и бесстрастный, великолепный град рабов...»), поэму увлеченного утопическим социализмом В. Печерина «Торжество смерти» («О геенна! Град разврата! сколько крови ты испил»), беллетристику молодого Достоевского, произведения Пальма, Плещеева и других.

Литературные впечатления идеологически и художественно оформлялись у Салтыкова непосредственное восприятие. Образ Петербурга сороковых годов он, несколько романтизированно, воссоздал в «Святочном. рассказе» (из сборника «Невинные рассказы»), написанном вскоре после возвращения из Вятки:

«Вот он, этот громадный город, в котором воздух кажется спертым от множества людских дыханий, вот он, город скорбей и никогда не удовлетворяемых желаний».

ний, город желчных честолюбий и ревнивых, завистливых надежд, город гнусно-искривленных улыбок и заражающих воздух признательностей! Как волшебен он теперь при свете своих миллионов огней, какая страшная струя смерти совершает свой бесконечный, разъедающий оборот среди этого вечного тумана, среди миазмов, беспощадно врывающихся со всех сторон! Сколько мучений, сколько никем не знаемых и никем не разделенных надежд, сколько горьких разочарований, и вновь надежд и вновь разочарований!» (III, 398).

Бытовое и социальное восприятие Петербурга в свете социалистических идей дополнялось впечатлениями от его архитектурного облика. «Строгий, стройный вид» северной столицы не только не привлекал людей молодого поколения сороковых годов, а, наоборот, вызывал в них чувство протеста. Прославленная прямолинейность и законченность архитектурного пейзажа Петербурга воспринимались ими как выражение мертвящего и нивелирующего духа деспотизма. Вместе со своим поколением Салтыков остро ощущал ту зловещую чинность официального, военно-ампирного «николаевского» Петербурга, которую так гениально передал в «Невском проспекте» Гоголь. А вслед за ним молодой Аполлон Григорьев нашел в эпитете «регулярный» определяющую черту для характеристики города и писал как раз в 1844 году: «Взгляните, в какую удивительную линию вытянуты все улицы его! Как геометрически ровны очертания его площадей и плац-парадов!»<sup>3</sup>

## СЛУЖБА И БЫТ

«Помню я мое первое столкновение с жизнью. Как и водится, местом действия было бюрократическое поприще... Мне показалось, что я не для того создан, чтобы всю жизнь переливать из пустого в порожнее и думать только о том, чтобы обставить дело приличными формами, не заботясь о существе его...»

*Щедрин. Два отрывка  
из «Книги об умирающих».*

В конце июня или в начале июля 1844 года, после окончания выпускных лицейских экзаменов, Салтыков уехал к родителям в Спас-Угол. На пути он несколько

задержался в Москве, куда приехал вместе со своими товарищами по лицу Д. Засядко и А. и П. Бибиковыми. Здесь он встретился с И. Павловым и через него познакомился с друзьями Герцена — Кетчером и Бодиской<sup>4</sup>.

В десятых числах августа Салтыков вернулся в Петербург<sup>5</sup>. А уже 23-го того же месяца он вместе с пятью своими лицейскими товарищами-однокурсниками, избравшими по воле родителей местом службы военное министерство, был определен сверх штата на действительную службу в канцелярию этого министерства. Он дал при этом особое «Обязательство», требовавшееся для службы в наиболее ответственных учреждениях империи. Собственноручно написанное, оно гласило:

#### «Обязательство»

Я, нижеподписавшийся, объявляю, что не принадлежу ни к каким тайным обществам, как внутри Российской империи, так и вне оной, и впредь обязуюсь, под какими бы они названиями ни существовали, не принадлежать к оным и никаких сношений с ними не иметь. — Выпущенный из Императорского Александровского Лицея с правом на чин десятого класса Михаил Евграфов сын Салтыков.

*Сентября 9-го дня 1844 года*<sup>6</sup>.

В это время Салтыков проходил «школу идей» Белинского, проникался настроениями политического протеста против самодержавия и крепостничества, читал сочинения французских социалистов, вел дружбу с Петрашевским и через полгода стал посещать его «пятницы».

В Канцелярии военного министерства сосредоточивались и производились («в высшем их отношении») дела всего военного управления империи, как состоящие в непосредственном ведении военного министра, так и зависящие от военного совета. Деятельность Канцелярии была строго засекречена и находилась под личным контролем не только министра, всесильного князя А. И. Чернышева («генерал-майора Отчаянного» — «директора департамента Побед и Одолений» в позднейшей сатире Щедрина), но и самого Николая I. Весь служебный быт чиновников, начиная от присвоенного им мундира военного покроя — темнозеленого с красным воротником, при шпаге, треугольной шляпе и сапогах со шпорами — и кончая педантично

регламентированным «уставным» распорядком занятий, был подчинен духу и форме воинской дисциплины.

Канцелярия помещалась в доме военного министерства, занимавшем обширный треугольник, образуемый Адмиралтейским и Вознесенским проспектами и Исаакиевской площадью. Это было сравнительно новое здание Петербурга, построенное в 1819 году Монферраном. Сюда ежедневно, «не исключая воскресных и праздничных дней», как гласил один из пунктов «предначертания к несению службы», являлись к 9 часам утра младшие чиновники, среди них и Салтыков. Он должен был оставаться в Канцелярии до 3 часов дня и дольше<sup>7</sup>.

Первое время по выходе из лицея (май — декабрь 1844 года) Салтыков жил на Офицерской улице, близ Каменного театра, в доме наследников Герарда, квартире № 3, в семье старшего брата Дмитрия Евграфовича, служившего в лесном департаменте министерства государственных имуществ<sup>8</sup>. С ним, его женой Аделаидой Яковлевной и особенно с ее сестрой Алиной (в замужестве Гринвальд) Салтыков находился в то время в дружеских отношениях, сохранявшихся и в период вятской ссылки. Но с 1845 года Салтыков стал жить отдельно, вместе со своим дядькой Платоном, почти неразлучно находившимся при нем начиная с детских лет<sup>9</sup>. У него было намерение поселиться вместе с товарищем своего детства Сергеем Юрьевым, приехавшим после окончания в 1844 году Московского университета в Петербург. Известно, осуществился ли этот проект, но он возбудил недовольство родителей. Евграф Васильевич писал сыну Дмитрию в ноябре 1845 года: «А Мишеньке скажите, чтобы он ради бога не соглашался жить вместе с Юрьевым, который по ветрености своей еще ему неприятности наделает, подобно как Бобринский на свой счет подарками Мишу утешал, а после за них Миша же должен был платить. Такие друзья подобны тому, как бы голым телом в крапиву... садиться! А жил бы лучше Миша один, так как и я сам в службе ни с кем не жывал, а всегда был один, и от того и душе и телу и карману было много лучше»<sup>10</sup>.

Однако мнение Ольги Михайловны было иное. В ноябре того же 1845 года она писала Салтыкову: «Насчет же желанія твоего жить с товарищами я не препятствую.

Только дай бог тебе оного доброго и кроткого, благонаправного иметь». Но против Юрьева она также возражала.

Некоторое время Салтыков снимал комнату в знаковых ему Волковских номерах, на Большой Конюшенной, где в 1842—1844 годах жил его брат Дмитрий<sup>11</sup> и в которых обычно останавливалась во время своих наездов в Петербург мать, Ольга Михайловна. Затем, переменяв одну или несколько квартир, он поселился в известном в Петербурге сороковых годов «доме Жадимеровского», на углу Мойки и Конюшенного переулка (ныне № 8, почти рядом с домом № 12 — последней квартирой Пушкина). Это был парадный район николаевской столицы, 1-й квартал Адмиралтейской части. Но дом «именитого гражданина» Жадимеровского имел мало общего с этим районом дворцов и посольств. Это был большой «доходный» дом, заселенный преимущественно одиноким чиновничьим и студенческим людом среднего достатка. Салтыков снимал здесь небольшую квартиру. В 1847 году его соседом в том же доме был младший лицейский товарищ В. П. Безобразов<sup>12</sup>.

«Подобно Пушкину, — свидетельствует А. М. Скабичевский, — первые три года по выходе из Лицея Салтыков очень бурно и рассеянно справлял «праздник жизни, молодости годы». Он сам о себе, не щадя себя, рассказывал несколько анекдотов из этого периода». О том же пишет, со слов отца, в своих воспоминаниях С. А. Унковская: «Салтыков очень бурно провел свою раннюю молодость...» К этому времени относится, в частности, кратковременное сближение Салтыкова с кн. А. П. Бобринским — его лицейским однокашником, богачом и аристократом, числившимся на службе в министерстве иностранных дел, а впоследствии, благодаря своим связям, занявшим пост министра путей сообщения. Еще в лицее Бобринский был известен своими кутежами и довольно рискованными похождениями, за что едва и не подвергся исключению до окончания курса. Сближение это, видимо вовлекшее Салтыкова в значительные траты, вызвало недовольство его родителей и едва ли не было прекращено их прямым вмешательством<sup>13</sup>.

В эти первые послелицейские годы Салтыков имел возможность ближе всего наблюдать тот специфический столичный быт входящих в жизнь и делающих карьеру «питомцев славы», который он с таким сатирическим

блеском изобразил позднее в «Господах ташкентцах» и в ряде других произведений. Тогда же он познакомился с полубогемным бытом петербургской интеллигентской молодежи, который отразился в его первых повестях, особенно в «Брусине» (1849).

Но «угар молодости» не заглушил в Салтыкове проснувшегося интереса к литературе, не приостановил его серьезной умственной работы. Да и бытовые условия, в которых находился Салтыков, сильно ограничивали его участие в «празднике жизни», богато и безалаберно справлявшемся большинством однокашников, спешивших, по словам сатирика, «занять соответственные места: кто в цирке Гверры, кто в цирке Лежара... кто в ресторане Сен-Жоржа» (XI, 415).

Быт молодого Салтыкова дисциплинировался и его рано сформировавшимся волевым характером, и режимом обязательной службы, и материальными условиями. А эти последние, несмотря на состоятельность родителей, были не очень привольными. Служба давала первоначально весьма скромные средства. Первые два года Салтыков в качестве сверхштатного чиновника не получал оклада. До открытия «пристойной вакансии» ему выплачивалось лишь небольшое пособие из казначейства — 700 рублей на ассигнации, или 196 рублей на серебро в год<sup>14</sup>. К этому нужно добавить то «положение», которое было определено матерью и равнялось 1000 рублей ассигнациями в год.

Салтыков вспоминал о времени выхода из лицея: «Мои виды на будущее были более чем посредственные; отсутствие всякой протекции и довольно скудное «положение» от родных отдавали меня на жертву служебной случайности и осуждали на скитание по скромным квартирам с «черным ходом» и на продовольствие в кухмистерских. Даже последнее было не всегда доступно, потому что молодость требовала дорогих развлечений, и иногда ради билета в театр, я вынуждался заменять скромный кухмистерский обед десятикопеечной колбасой с булкой. Старый дядька, который жил при мне, и тот имел в мелочной лавке пищу более сытную и здоровую» (XVI, 687).

Сохранившиеся письма матери косвенно подтверждают это позднее воспоминание сатирика. Определяясь на службу, Салтыков, видимо, рассчитывал, что она сразу же даст ему самостоятельный заработок. О постигших

его разочарованиях он писал матери (письмо это неизвестно), на что последняя отвечала ему в конце сентября 1844 года: «Насчет же, друг мой, сокрушения твоего о нескором получении места и малого жалования, я не нахожу <это> основанием, стоящим сей скорби, и очень меня это огорчает, что тебя сие занимает... Кажется, должен вполне быть убежден в родительской любви к тебе, что, ведя жизнь благоразумно, в случае <одно слово нрзб.> недостатков не будешь нами оставлен».

Но именно в родительской-то любви Салтыков и не был «убежден», а материальное обеспечение под условием родительского понимания «благоразумного» в жизни тяготило его.

О стесненности материальных условий Салтыкова говорит и письмо Ольги Михайловны к Дмитрию Евграфовичу от 22 октября 1844 года, в котором она пишет: «Ну, ежели так он находит очень трудно для себя, то в этом случае, как мы увидимся, можно переговорить. Если уж ты в отставку, то ему <Салтыкову> можно и в Москву перейти служить, чтобы быть ближе к нам, ибо мне кажется, что он, по неопытности своей, более сколько нужно представляет себе картину жизни в самом трудном положении и через это дает ход мрачным своим мыслям».

«Мрачные мысли» Салтыкова вызывались, как увидим, не только и не столько неустроенностью его материального быта. Его тяготила бессодержательность и скука чиновничьей службы. Не имея возможности совсем отказаться от нее (он обязан был отслужить свое «казеннокоштное» воспитание в лицее), Салтыков хотел хотя бы переменить ведомство, найти место, в каком-либо отношении более близкое своим интересам. Но эти планы не встречали сочувствия матери. Об этом свидетельствует следующее ее письмо от 15 ноября 1845 года:

«Милый Михайла! Благодарю тебя за писание, радуюсь, что ты здоров. Ты пишешь, что желаешь место переменить. Но слыхала я, что законом сказано: кто два года или три вступя из заведения проведет себя отлично, о тех велено доносить и им за это дается чин. В таком случае я даю тебе совет взять терпенье и пробыть тут этот срок. Надо этим дорожить. Это поведет тебя к лучшей степени. Ты обеспечен достаточно для холостой жизни, следовательно это не может тебя понуждать».



Ответное письмо Салтыкова неизвестно, но, очевидно, он продолжал упорствовать в своем желании уйти из Канцелярии военного министерства, чем навлек на себя гнев матери. В письме к старшему сыну от 18 декабря 1845 года она писала: «...если есть деньги у тебя, дай сто рублей Михайле, а более не могу теперь, он меня весьма оскорбил, мое положение для него чуждо, бог с ним...»<sup>15</sup>

Взгляд Ольги Михайловны на службу своих сыновей отчетливо выражен в ее письме к Дмитрию Евграфовичу от 16 сентября 1846 года по поводу высказанного им желания выйти в отставку: «Ты, друг мой, — писала Ольга Михайловна, — должен службу продолжать для того, чтобы достичь звания, которое бы было почетно для твоих потомков, а не для того служить, чтобы думать о 2900 руб. Это лишнее и несправедливо. Ведь, благодаря бога, ты имеешь чем жить и без них. Состояние же твое ты будешь иметь от родителей своих»<sup>16</sup>.

Приведенные тексты интересны тем, что дают наглядное представление о тех взглядах на жизнь, которые настойчиво внушали помещики Салтыковы своим детям. И возможно, что невольному воздействию этих взглядов, прививавшихся с детства, следует в какой-то мере приписать то, что в биографии сатирика служебно-бюрократическая глава заняла такое большое место, охватив в совокупности целое двадцатилетие его жизни.

Летом 1846 года в Канцелярии военного министерства открылась, наконец, «пристойная вакансия», и 8 августа Салтыков был определен на должность помощника секретаря (столоначальника) 2-го отделения. В нем сосредоточивались дела Военного совета по частям инженерной, провиантской, комиссариатской, военных поселений и пр. Однако фактически Салтыков занимался не только, и даже не столько делами этого хозяйственного отделения. Повидимому, уже с конца 1846 года он был причислен в качестве «чиновника для усиления» к «особому», или «временному», отделению, учрежденному специально для производства дел, возникших по случаю так называемой Краковской революции 1846 года и связанных с этим событием национально-освободительных и антикрепостнических восстаний в Галиции и в русской Польше. При этом Салтыков занимался «по 2-му столу», где проходили дела «по политическим обстоятельствам»,

в отличие от 1-го стола, где сосредоточивалось делопроизводство «по военным мероприятиям». Служба Салтыкова в «особом», или «временном», отделении продолжалась до 31 марта 1848 года. В какой-то, неустановленный, период времени, он, видимо, работал еще и в «отделении свода военных постановлений». Отделение это занималось кодификационной деятельностью<sup>17</sup>.

Материальные условия жизни Салтыкова резко улучшились. Его штатный оклад с августа 1846 года составлял 336 р. 40 к. + 140 р. 10 к. «столовых» = 476 р. 50 к. серебром. В том же 1846 году было увеличено и «положение» от матери. Получение ее сыном первой штатной должности на видной службе, сулившей «хорошую карьеру», оживило ее честолюбивые надежды. И то, что его жизнь входила, как казалось ей, в русло, ею намеченное и подготовленное, наполняло ее чувством удовлетворения и одновременно материнской гордости.

В меру своей далеко не сентиментальной природы и обычной погруженности в хозяйственные дела Ольга Михайловна не скупится в письмах этой поры на выражения любви, нежности и внимания к сыну, как-то ближе почувствованному в эти годы. Ее тревожит долгое молчание «милого Мишеньки» и тяготит разлука с ним. «Что Миша не пишет ко мне давно — мне грустно. Скажи ему, что он не пишет»; «Боже мой, боже мой! Как тяжело иметь детей в отдаленности от себя»; «Милому Мишеньке объяви мое и божье благословение и желание ему благополучия в жизни и в службе, по коей я ожидаю душевного утешения...» — такие фразы часто мелькают в ее письмах к старшему сыну Дмитрию Евграфовичу.

Она даже изменяет своим принципам бережливой расчетливости и не раз шлет сыну деньги сверх «жалования» и дорогие подарки: то шубу, то булавку с бриллиантом, то деньги на часы или на покупку билетов в театр («ну что, доставили ли тебе посланные 700 рублей сколько-нибудь удовольствия, сбежал ли ты хоть раз в театр?») <sup>18</sup>.

Дополнительным и существенным источником материальных средств, начиная с 1847 года, являлся литературный гонорар. По позднему свидетельству Салтыкова, он доходил, по одним лишь рецензиям, до 50 рублей в месяц.

Таков был бюджет Салтыкова. Он мог бы жить не

нуждаясь. Но, по словам А. М. Унковского, «Салтыков был очень нерасчетлив в молодости». Родители в письмах огорчались его «нехозяйством», в частности его беззаботностью в отношении возврата тех небольших денежных сумм, которыми он мог иногда ссужать своих друзей.

Так, по поводу 25 рублей, как-то данных Салтыковым займы Юрьеву, не возвращенных последним в обещанный срок и бесцеремонно взысканных потом энергичной Ольгой Михайловной, Евграф Васильевич писал сыну Дмитрию в ноябре 1845 года:

«Нас крайне огорчает, что Миша по молодости и неопытности своей столь много вдаль себя в обман Юрьеву, а посему и вменяем ему в обязанность неприменную, без совета твоего таковые дела не делать и не отдавать никому в займы денег, кои и для собственного его содержания не слишком излишни. Есть же на сие и пословица: никому не верь, никто тебя и не обманет. Тебя же прошу и предлагаю: не оставлять Мишу твоими советами, участием и надзором в его житье-бытье, чтобы у него и еще растрат напрасных не было. Я не пишу Мише особого письма, но препоручаю тебе, Дмитрий, сказать ему все вышесказанное и объявить ему, что мы крайне огорчаемся его нехозяйством...» О том же писала самому Салтыкову и мать: «Удивляюсь, что ты нуждаешься сам и даешь займы»<sup>19</sup>.

Высказывания эти интересны как образчики той низкой и своекорыстной «пошехонской» морали («никому не верь»), которая внушалась Салтыкову родителями и «бунт» против которой он поднял уже в своих первых повестях.

Но больше всего бюджет Салтыкова опустошался тратами на театр. Вместе со всем молодым поколением сороковых годов будущий сатирик прошел через глубокое увлечение сценическим искусством. В эти годы он был, как это явствует из упоминаний в переписке Ольги Михайловны с старшим сыном, усердным посетителем обоих театров столицы. В Александринском играли русские драматические артисты во главе с знаменитым трагиком В. Каратыгиным и молодыми, но уже известными Самойловым и Жулевой. В Михайловском театре, чередуясь, шли спектакли французской труппы и итальянской оперы. В Петербурге гастролировали тогда такие замечательные артисты, как Рубини, Тамбурины и Полина Виардо.

Помимо эстетических впечатлений от музыки и мастерства исполнителей, к итальянским операм Салтыкова влекло ярко выраженное национально-освободительное содержание некоторых из них, например «Нормы» и «Пуритан» Беллини или «Вильгельма Телля» Россини. По свидетельству современников, представления этих опер пользовались огромным успехом у радикально настроенной молодежи Петербурга и служили для нее, по выражению П. А. Кропоткина, «своего рода форумом для демонстрации». О революционизирующем воздействии «Вильгельма Телля» Салтыков писал в «Запутанном деле» и не раз вспоминал о том же в позднейших произведениях, говоря в них также о «Пуританах»<sup>20</sup>.

Увлечение театром и нерасчетливость в отношении «дорогостоящих развлечений молодости» поглощали большую часть средств Салтыкова. В результате он в эти годы, по свидетельству С. А. Юрьева, «никогда не имел денег и не выходил из долгов»<sup>21</sup>.

В этих условиях сколько-нибудь длительные связи с богатым и светским кругом лицейского товарищества, с молодыми людьми, подобными Бобринскому, были невозможны. Да Салтыков и не искал продолжения этих связей, и они быстро распались.

В этюде «Счастливец» Щедрин вспоминал: «Питомец <лица>, поступивший на службу в департамент полиции исполнительной, живший на каких-нибудь злосчастных тысячу рублей и заказывавший платье у Клеменца, мог иметь очень мало общего с блестящим питомцем, одевавшимся у Сарра, мчавшимся по Невскому на воронном рысаке и имевшим виды быть в непродолжительном времени *attaché* при посольстве в Париже. Первое время по выходе из заведения товарищи еще виделись, но жизнь неумолимо вступала в свои права и еще неумолимее стирала всякие следы пяти-шестилетнего сожителства. Молодые люди, не встречаясь в обществе, легко забывали старое однокашничество, и хотя пожимали друг другу руки в театре, на улице и т. д., но эти пожатия были чисто формальные» (XVI, 687).

Новые знакомства в чиновничьем кругу Канцелярии военного министерства мало интересовали Салтыкова: «с этим кругом мы сходились туго и неохотно», — вспоминал он потом о себе и своих друзьях (XI, 415). Правда, из воспоминаний И. Пузыревского и дневника Н. Ку-

кольника известны имена двух чиновников, проявивших довольно энергично заботу об участии Салтыкова в момент его ареста, но забота эта была внушена скорее боязнью за свою собственную судьбу. Дневник А. В. Дружинина сохранил фамилии пяти сослуживцев Салтыкова, устроивших ему чествование по возвращении в Петербург из Вятки, но встреча эта скорее была вызвана любопытством к знакомому, вернувшемуся из ссылки. Во всяком случае ни тот, ни другой эпизод еще не свидетельствуют о наличии у Салтыкова в сороковые годы особенно близких, приятельских отношений с упоминаемыми в названных документах Д. И. Каменским, А. А. Котоминым, А. Д. Гуциным, Ю. В. Толстым, Е. Н. Коведяевым, Титовым и каким-то чиновником (Михайловым?), фигурирующим под прозвищем Сатира<sup>22</sup>.

Впрочем, два человека из этой группы могут быть выделены как люди, стоявшие ближе других к Салтыкову.

Это, во-первых, Дмитрий Иванович Каменский (1818—1880), секретарь 2-го отделения Канцелярии военного министерства, человек несколько причастный к литературе (переводчик байроновского «Сарданапала» и др.), впоследствии редактор «Северной почты» и член Совета главного управления по делам печати. В семидесятых годах Каменский был цензором сатирика, но в 1856 году Дружинин называет его в своем дневнике «старым товарищем» Салтыкова.

Это, во-вторых, Юрий Васильевич Толстой (1824—1878), лицеист выпуска 1842 года, директор Особой канцелярии министра внутренних дел в 1852—1855 годах, впоследствии товарищ обер-прокурора синода, историк русской церкви и русских международных отношений. О нем сам Салтыков в письме к брату от 8 января 1854 года сказал: «Толстой мой товарищ». С Каменским и Толстым Салтыков вел переписку, находясь в Вятке (она неизвестна). Оба они принимали некоторое участие в хлопотах, связанных с попытками Салтыкова вырваться из Вятки.

Вообще не следует думать, что Салтыков был вовсе одинок в новой среде. Но кто были те люди, которых он; вместе с собой, противопоставлял остальным чиновникам-сослуживцам?

Вряд ли ими были те пять его лицейских товарищей-однокурсников — А. Н. Авенариус, Н. Е. Андреевский,

В. Н. Колтовский, Н. И. Палтов и А. Н. Попов, с которыми он вместе поступил в Канцелярию. О них, за исключением одного Попова, писавшего впоследствии по вопросам русской истории, ничего больше не скажешь, кроме того, что все они усердно служили и закончили впоследствии свою чиновничью карьеру на более или менее видных бюрократических постах<sup>23</sup>. Десятилетнее общение с ними Салтыкова не оставило никаких видимых следов в его жизни.

Ничто, кроме служебно-подчиненных отношений, не могло связывать Салтыкова с его старшими сослуживцами — литератором Н. В. Кукольниковом — казенно-патриотическим драматургом и беллетристом, писателем «ложно-величавой школы», и М. Н. Туруновым — впоследствии (с 1857 года) старшим чиновником III Отделения, а затем крупным цензором (председателем Петербургского цензурного комитета в 1864—1865 гг. и членом Совета Главного управления по делам печати с 1866 г.). Другой старший сослуживец — литератор А. Н. Струговщиков — мог интересовать Салтыкова. Это был присяжный переводчик «Отечественных записок» эпохи Белинского, лично связанный с ним, лучший, по отзыву критика, знаток и интерпретатор Гете. Однако никакими сведениями об их знакомстве мы не располагаем.

Но в Канцелярии военного министерства в одно время с Салтыковым служила целая группа молодых людей, как и он, недавно закончивших свое образование и, подобно ему, живших не чиновничьи, а весьма далекими от них литературными и общественными интересами. Это были известные впоследствии: писатель, журналист и театрал В. Р. Зотов, будущий публицист славянофильского лагеря Н. Я. Данилевский, романист и критик Н. Д. Ахшарумов и его брат В. Д. Ахшарумов (все четверо недавние лицеисты и все четверо связанные, хотя и в разной мере, с петрашевцами), затем литературный критик А. В. Дружинин и литератор-библиограф М. Н. Лонгинов. Эти люди и составляли круг ближайшего личного общения Салтыкова на службе. Общение это, возникшее на почве литературных и идейных интересов, поддерживалось и за стенами Канцелярии. С Данилевским и братьями Ахшарумовыми Салтыков мог встречаться на собраниях у Петрашевского или у кого-

либо из петрашевцев. Старший по возрасту — Зотов, уже имевший обширные связи в литературных кругах и также посещавший Петрашевского, снабжал Салтыкова журналами и французской социалистической литературой<sup>24</sup>. С тем же Зотовым, а также с Лонгиновым — страстными театрами — Салтыкова сближали, вероятно, и его собственные увлечения в этой области.

Почти со всеми названными лицами Салтыков сохранил ту или иную связь и в дальнейшем. После возвращения из Вятки первым, кто приветствовал Салтыкова и принял участие в его писательской судьбе, был А. В. Дружинин («Милейший мой товарищ», — назвал он Салтыкова в своем дневнике), ставший к этому времени видным критиком. Именно он ввел Салтыкова в новые для него литературные круги, познакомив его, в частности, с И. С. Тургеневым, Л. Н. Толстым, П. В. Анненковым и другими писателями. Возобновлено было, по возвращению из Вятки, знакомство с М. Н. Лонгиновым, считавшимся еще тогда либералом, изучавшим Радищева, дружившим с Некрасовым и сотрудничавшим в «Современнике»<sup>25</sup>. А позже, в семидесятых годах, Салтыков, будучи редактором передового журнала, встретил в Лонгинове одного из реакционнейших и фанатически нетерпимых начальников Главного управления по делам печати. С Н. Д. Ахшарумовым сатирик общался в начале семидесятых годов как с сотрудником «Отечественных записок», а с В. Р. Зотовым, имевшим некоторое отношение к революционному движению<sup>26</sup>, сохранил дружеские, хотя и не весьма близкие отношения до конца своей жизни.

Вероятно, через круги военного министерства завязалось и еще одно литературное знакомство Салтыкова — с В. Е. Канкринным, старшим сыном министра финансов. Этот гвардейский офицер, «человек, по отзыву А. И. Дельвига, небольшого ума, но довольно острый и хороший товарищ»<sup>27</sup>, живо интересовался литературой, был знаком с рядом писателей, в частности, возможно с Лермонтовым (по Ставрополю) и находился в дружеских отношениях с редактором-издателем «Современника» И. И. Панаевым. Салтыков сблизился с Канкринным настолько, что читал ему одному из первых рукопись своей повести «Запутанное дело» и именно через него пытался устроить печатание этого произведения в «Современнике».

Все эти знакомства не только не укрепляли интереса к служебной деятельности, но еще больше отвращали от нее. Занятия в Канцелярии раздражали и угнетали Салтыкова, хотя благодаря своим способностям и умению работать он довольно быстро поднимался по ступенькам «формулярного благополучия»<sup>28</sup>. Отражая свои непосредственные впечатления и настроения от службы, Салтыков писал в 1848 году: «Вся жизнь наша направлена необходимостью на такие предметы, к которым мы не чувствуем ни привязанности, ни склонности». Для него — уже «петрашевца» и утопического социалиста, увлеченного высокой идеей Фурье о «*travail attrayant*» («привлекательном труде») в будущем гармоническом обществе, — навязанная ему канцелярщина являлась «тягостью невыносимой, работою египетскою». «Везде долг, везде принуждение, везде скука и ложь...» — характеризовал он тогда же мир практической деятельности, открывшийся ему в чиновничьем Петербурге. А в одном из произведений пятидесятых годов, вспоминая «тяжкое время» «первого столкновения с жизнью» на арене «бюрократического поприща», Салтыков писал: «Мне показалось, что я не для того создан, чтобы всю жизнь переливать из пустого в порожнее, и думать только о том, чтобы обставить дело приличными формами, не заботясь о существовании его...» Служба «представлялась мне системою бесплодных ожиданий, начетистого топтания сапогов, суетливых порываний в царство теней и жалких бурь в стакане воды» (IV, 180).

Отрицательное отношение к чиновничьей службе было характерно для большинства петрашевцев (см., например, заявления А. Баласогло в следственном показании: «Служба меня убивала»; «...все чиновники всех возможных департаментов в России только и делают, что расписывают потолок по трафарету» и т. д.).

Неудовлетворенность своим положением чиновника и перспективой неизбежной, казалось, бюрократической карьеры, сознание все увеличивающегося разрыва между жизненной практикой и миром увлекавших его умственных и литературных интересов, а наряду с этим недостаточность материальных средств и зависимость в этом отношении от семьи, отчего болезненно страдало самолюбие, — все это порождало тяжелое ощущение жизненной неустроенности, а еще более, — говоря словами са-



мого Салтыкова, — «тоску и горечь вынужденного бессилия».

О мрачных настроениях Салтыкова в начальный период его петербургской жизни и службы сохранилось любопытное, хотя и весьма субъективное свидетельство его матери, Ольги Михайловны. В письме к Дмитрию Евграфовичу, датированном 22 октября 1844 года, она писала:

«Что мой добрый Мишка? все брюзжит? Право, он не воображает, до какой крайности меня этим убивает. Что это такое за нетерпение; только и твердит, что он не скоро получит штатное место. Право, если он и штатное будет иметь место, так не больше получит жалованья, как сколько теперь получает. Следовательно, о чем он так много хлопочет? Чины его идут все так же! А мне кажется, его вся хандра происходит от его поэзии, которая никогда мне не нравилась, потому что я много начиталась даже бедственных примеров насчет этих неудачных поэтов в деньгах. Да это и вероятно: я очень чувствую по себе, что если, когда что мне не удастся, то я всегда как растерянная. Я ему никогда не советовала мечтать о своей поэзии на интересных видах. Сперва надобно всегда стараться войти в известность без всяких интересов, а потом уж, разумеется, само собой пойдет. А можно ли ему мечтать, имея службу! Это невозможно! Одним надобно чем-нибудь заниматься»<sup>29</sup>.

«Поэзия на интересных видах» означает здесь, конечно, занятия писательством, литературой как профессией. Об этом действительно мечтал Салтыков, и в этом отношении догадка Ольги Михайловны об одном из подлинных источников его «хандры» и «мрачных мыслей» была правильна. Служба мешала осуществлению его заветнейшего желания — быть писателем.

Мы видели, однако, что был и ряд других, более общих причин, определявших настроения тоски и неудовлетворенности у юного Салтыкова. Он был сыном своего времени, членом того, по характеристике Белинского, «русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию» («Письмо к Гоголю»). Петрашевец Баласогло, общавшийся с Салтыковым в эти годы, запомнил, что «он был всегда задумчив и несообщителен». Скабичевский же в одной из своих статей о сатире сообщает: «Мне говорили его литературные сверстники, помнившие его молодым, тотчас же по выходе его из лицея, что и в то время он проявлял те же признаки человека, не умею-

щего примирительно смотреть на людей, на личную долю и общественную жизнь»<sup>30</sup>.

Не умея и не желая примирительно отнестись к остро тревожившим его «противоречиям» жизни, Салтыков напряженно, хотя скорее еще стихийно, чем сознательно, искал разъяснения причин этих противоречий и одновременно способа их преодоления. Исторические задачи, открывавшиеся перед родной страной, русская передовая мысль в лице Белинского и Петрашевского помогли ему отыскать эти причины и направили его жизнь и деятельность по путям, противоположным тем, на которые его толкали происхождение, семья, школа и первый опыт практической деятельности, — по путям служения интересам народа, а не его угнетателей.

### **«ШКОЛА ИДЕЙ»:**

#### **БЕЛИНСКИЙ И КРУЖОК ПЕТРАШЕВСКОГО**

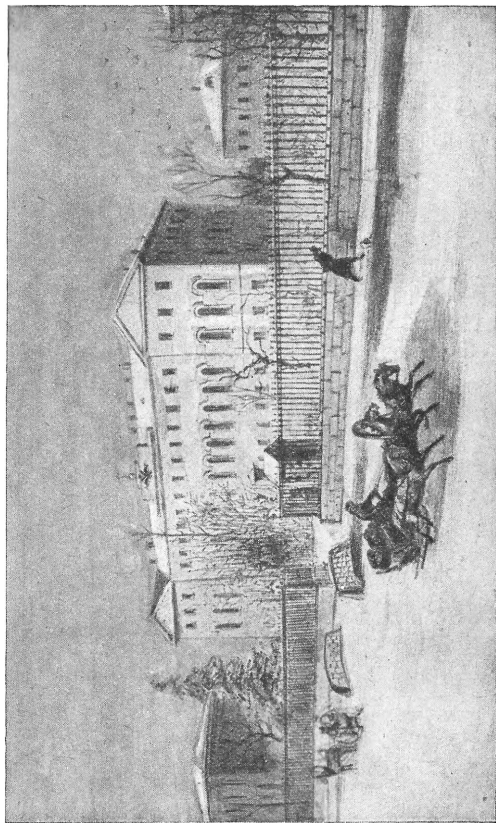
«...С иной, более обширной кафедры ялсь к нам полное страсти слово Белинского, волнуя и утешая нас, и наполняя сердца наши скорбью и негодованием, и вместе с тем указывая цель для наших стремлений».

*Щедрин. «Сатиры в прозе».*

«Помню я и долгие зимние вечера, и наши дружеские скромные беседы, заходившие далеко за полночь. Помню я и тебя, многолюбивый и незабвенный друг и учитель наш! Где ты теперь? Какая железная рука сковала твои уста, из которых лились на нас слова любви и упования?»

*Щедрин. «Губернские очерки».*

Сороковые годы XIX века — знаменательные годы перелома в истории развития русской общественной мысли, годы идейного брожения, охватившего всех мыслящих русских людей, «удивительные — по оценке Герцена — годы внешнего рабства при внутреннем освобождении». Николаевская ночь начинается в это время сереть, и если внешние силы реакции остаются прежними, их внутренний гнет, давящий на сознание, начинает терять свою силу. Обострение кризиса русского феодализма, все углубляющийся ход разложения крепостного хозяйства, усиление помещичьей эксплуатации и резкое уве-



*Александровский лицей в Петербурге*

Акварельный рисунок неизвестного художника, 1840-е гг.  
*Институт русской литературы АН СССР. Ленинград*



личение многообразных форм стихийного народного протеста против нее, превратившие крестьянский вопрос в грозный вопрос, от решения которого зависели судьбы страны, а с другой стороны, победа промышленного капитализма в Западной Европе и нарастание сил, готовящих революционный взрыв 1848 года, — таковы главные экономические и социально-политические факторы эпохи.

Определяя мировую общественно-политическую ситуацию в 1847 году, Ф. Энгельс писал, имея в виду и положение в России: «1847 год не принес никаких окончательных решений, но он повсюду резко и ясно противопоставил друг другу партии; он не разрешил ни одного вопроса в окончательной форме, но все вопросы оказались поставленными так, что разрешение их сделалось неизбежным»<sup>31</sup>.

Эти исторические условия определили стремительный и мощный рост русской демократической мысли в период сороковых годов.

Глухие подземные толчки нарастающей крестьянской революции получают отражение во все большем подъеме оппозиционных настроений среди демократической интеллигенции, находящих свое высшее выражение в письме Белинского к Гоголю 1847 года и в заграничной деятельности Герцена. Ясного сознания своего единства с крестьянской народной революцией у русской демократической интеллигенции в то время еще нет. К этому сознанию она придет лишь на следующем этапе, отмеченном деятельностью Чернышевского, когда в стране сложится революционная ситуация конца пятидесятых — начала шестидесятых годов. Пока же это отсутствие реальной опоры для своего демократизма отчасти заменялось у русских передовых людей сознанием своего единства с нарастающей революционной борьбой во Франции и ее идеологическим выражением в разнообразных системах утопического социализма. По словам Ленина, это была эпоха «когда Франция разливала по всей Европе идеи социализма»<sup>32</sup>.

Об этой социалистической и революционной Франции своей молодости суровый сатирик написал удивительные, незабываемые слова в гениальной IV главе «За рубежом» (XIV, 161):

«С представлением о Франции и Париже для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве,

то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание... Я в то время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, естественно, примкнул к западникам. Но не к большинству западников (единственно авторитетному тогда в литературе), которое занималось популяризацией положений немецкой философии, а к тому безвестному кружку<sup>33</sup>, который инстинктивно прилепился к Франции. Разумеется, не к Франции Луи Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занд. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, желанное и любвеобильное — все шло оттуда».

Такое восприятие передовой Франции было бы невозможно, если бы русская демократическая мысль не достигла к этому времени высокого уровня своего собственного, национального развития. В сороковых годах русский утопический социализм, являвшийся одним из идеологических выражений нараставшего в стране революционного протеста против самодержавия и крепостничества, широко использовал в качестве своего теоретического оружия критику деспотизма и социальной несправедливости, развернутую в сочинениях французских утопических социалистов.

В условиях политического гнета царизма и неразвитости общественной жизни в стране единственными лабораториями, в которых могли формироваться неофициальные идеи и оппозиционные течения, являлись кружки и литература. Это были подлинные «университеты» радикальной молодежи сороковых годов. Для Салтыкова такими «университетами», или, по его позднейшему выражению, «школой идей», явились ближайшим образом литературно-критические статьи Белинского и кружок Петрашевского.

Белинский сыграл определяющую роль в идейном развитии будущего сатирика. Выше, при характеристике лицейского периода биографии Салтыкова, уже отмечалось, что знаменитые статьи Белинского в «Отечествен-

ных записках» 1841—1846 годов и затем в «Современнике» 1847 года могут быть с полным основанием названы той «школой идей», в которой сформировались решающие черты революционно-демократического мировоззрения и литературно-эстетических взглядов сатирика. Значение Белинского в процессе идейного развития Салтыкова невозможно переоценить. Уже в зрелые годы сам сатирик очень точно определил это значение, когда писал в цитированной выше автобиографической странице из «За рубежом», что был воспитан «на статьях Белинского».

В 1859 году Добролюбов указывал, имея в виду и Салтыкова: «До сих пор каждый из лучших наших литературных деятелей сознается, что значительной частью своего развития обязан непосредственно или посредством Белинскому...»<sup>34</sup>

Главное заключалось в том, что могучая проповедь Белинского воспитала в юноше Салтыкове искреннего демократа, заставила его глубоко осознать весь ужас социальной действительности «страны, где люди торгуют людьми», воспитала в нем глубочайшую любовь к русскому народу и пламенную ненависть к рабству и угнетению.

Характеризуя значение статей великого критика для идейного формирования передовой молодежи сороковых годов, Щедрин подчеркивал, что «пламенное слово Белинского» не только наполняло ее «скорбью и негодованием»: это слово — говорит он — указывало «цель для наших стремлений».

Совершенно очевидно, о какой цели говорит здесь Щедрин. Борьбе за достижение этой великой цели — за освобождение родной страны от «подъяремной неволи», от «ига безумия» крепостничества и самодержавия — писатель полностью отдал свой талант и творческий труд всей своей жизни.

Белинскому обязан был Салтыков первоначальной выработкой своих взглядов на литературу как на могучее средство служения народу, а тем самым и своим писательским самоопределением. Он начал свой творческий путь в русле того социально-обличительного направления в «натуральной школе» сороковых годов, которое Белинский считал самой передовой силой тогдашней русской литературы.

Впоследствии Салтыков неоднократно подчеркивал исключительность той роли, которую сыграли в общественно-политическом развитии русского общества и в его собственном идейном развитии произведения ведущих писателей «натуральной школы».

«Мы помним беллетристику сороковых и начала пятидесятих годов, — писал сатирик в статье «Уличная философия» (1869 года), — помним, при каких тяжелых условиях и какие действительно неоценимые услуги оказывала она пробуждению общественной совести. Она была неизменно представительницей и распространительницей гуманных стремлений в русском обществе; она образовала поколение людей, взявших на себя впоследствии почин в одном из величайших дел нашего времени, в деле освобождения крепостных крестьян; имея во главе лучшего своего разъяснителя, Белинского, она косвенно или прямо, но всегда неутомимо, всегда не меньше того, сколько дозволяло механическое давление извне, преследовала ложь и зло во всех проявлениях» (VIII, 119—120).

Критика крепостнической действительности николаевской России, правдивое изображение социального неравенства и защита интересов народа велись во многих произведениях как художественной, так и критико-публицистической литературы сороковых годов с позиций социалистических учений, а сами эти учения довольно широко излагались и популяризировались на страницах обоих ведущих журналов демократического лагеря — «Отечественных записок» и затем «Современника». «Мало-помалу, — писал Герцен, — литературные произведения прониклись социалистическими стремлениями, романы и рассказы... протестовали против существующего строя общества с точки зрения более широкой, чем чисто политической»<sup>35</sup>.

Этим «социалистическим стремлениям» в идейно возглавлявшейся Белинским передовой русской литературе, критике и публицистике сороковых годов обязан был Салтыков первым пробуждением внимания к идеям социализма, результатом чего явилось сближение с Петрашевским и затем вхождение в его кружок.

Участие Салтыкова в кружке Петрашевского освещено недостаточно, а данные, весьма, впрочем, скудные, характеризующие его причастность к милютинско-майковскому кружку, и вовсе не вводились в биографию сатирика<sup>36</sup>.



Обращение к подлинным документам секретной следственной комиссии по делу петрашевцев позволяет достаточно полно установить внешнюю фактическую сторону участия Салтыкова в первом кружке. Характеристика же идейного содержания «петрашевства» будущего сатирика возможна лишь на весьма недостаточном для этих целей материале его творчества тех лет.

Посещение Салтыковым собраний у Петрашевского раскрылось властям лишь в 1849 году, в процессе работы следственной комиссии по «делу петрашевцев». В ее списки Салтыков был внесен на том основании, что упоминался «как знакомый» Петрашевского в донесении агента, но какого именно агента, в каком донесении и когда — этого из документов не видно<sup>37</sup>.

Попав в поток следственного делопроизводства, имя Салтыкова стало переходить из одного «дела» в другое, мелькая то тут, то там в различных списках, «журналах», показаниях и прочих документах. Но по существу с самого начала Салтыков был для следственной комиссии фигурой второстепенной и не привлек к себе сколько-нибудь пристального внимания. Вопросы о посещении Салтыковым крамольных «пятниц» были поставлены всего лишь трем обвиняемым. Из них сам Петрашевский (после первоначального отрицания) и Баласогло дали утвердительные ответы, а Ф. Достоевский отозвался «не помню», что, повидимому, соответствовало действительности: Достоевский попал впервые на «пятницы» весной 1847 года «в посту», то есть тогда, когда Салтыков уже перестал бывать у Петрашевского. Еще три человека — Ханыков, Барановский и Мадерский — сами назвали Салтыкова в числе посетителей «пятниц», а четвертый — Шtrandман — указал на его участие в собрании, посвященном организации библиотеки петрашевцев, происходившем на квартире у него, Шtrandмана. Наконец Есаков, упомянувший Салтыкова в перечне своих ближайших друзей и знакомых, — этого требовал от него вопрос следователя, — тут же поспешил оговориться, что «поименованные лица никогда не принадлежали к кругу Петрашевского или Кашкина и вовсе не были с ними знакомы»<sup>38</sup>.

Все показания названных лиц, сообщивших или подтвердивших следственной комиссии факт посещения Салтыковым вечеров у Петрашевского, о г р а н и ч и л и э т и

посещения лишь ранним этапом существования пятниц: от начала их возникновения, то есть с 1845 года, до весны 1846 или 1847 года (точная дата так и не была установлена следствием; в действительности же она должна быть отнесена к рубежу 1846—1847 года).

Показания самого Салтыкова в основном не разошлись с данными, добытыми комиссией. Допрошенный в Вятке 24 сентября 1849 года, он подтвердил, что «по выходе из лица <в 1844 году>... бывал у Петрашевского нередко по пятницам, когда у него собирались человек до шести, а иногда и семи». В соответствии с этими цифрами Салтыков «вспомнил» и участников «пятниц». Из них двое — Шtrandман и Мадерский — были названы в самом допросе следственной комиссии, одного — Валерьяна Майкова — уже не было к этому времени в живых, а с другим — Е. Есаковым, товарищем по лицу, — Салтыков имел переписку из ссылки (она не сохранилась) и знал, разумеется, что их эпистолярная связь не является секретом для III Отделения. Затем он назвал еще Н. Данилевского и Ал. Григорьева — человека случайного в обществе петрашевцев, но умолчал, воспользовавшись обычной в таких случаях формулой «других не припомню», о более видных участниках ранних «пятниц», как Ханьков, Баласогло, Вл. Милютин, Плещеев, Спешнев, Энгельсон, Барановский и Кайданов. А эти лица вместе с вышеназванными и составляли основное ядро кружка Петрашевского в 1845—1846 годах.

Преуменьшив масштабы «пятниц», Салтыков вместе с тем постарался представить их вовсе лишенными какого-либо политического содержания. По его словам, «цели у этих собраний первоначально не было никакой», а «политические разговоры» если и бывали, то «никогда не имели другого предмета, кроме текущих новостей»; «особенно демагогических идей» никто не высказывал, «исключая разве Петрашевского», но и он, оказывается, «делал это более по удали и молодечеству, нежели по убеждению».

Свое участие на собрании у Шtrandмана по вопросу об организации складчинной библиотеки Салтыков отверг и даже заявил, что «книг из нее почти никогда не брал». Отрицал Салтыков и свою личную близость к Петрашевскому: «С Петрашевским... я никогда дружественных от-

ношений не имел, а с 1846 года был скорее в неприязни с ним, нежели в дружбе»<sup>39</sup>.

Нарисованная Салтыковым картина почти во всех своих частях не совпадала с действительностью. Его ответы следственной комиссии отнюдь не принадлежали к числу тех откровенных показаний, которые столь характерны для дела петрашевцев в целом, как и для большинства участников ранних политических процессов в России. Даже такие люди, как Ахшарумов, Спешнев и сам Петрашевский, давали подробные, откровенные показания, «исповеди», сыгравшие пагубную роль для них самих, для их друзей и самого дела.

Салтыков поступил иначе. В отличие, например, от Ханькова, с жаром изложившего перед жандармами свой фурьеристский символ веры, он встал на путь полного отрицания своей идейной близости с Петрашевским и петрашевцами. Для этого ему пришлось отрицать и личную дружескую связь с этими людьми и внести в их характеристики элемент сухости, и даже неприязненности. Отверг Салтыков и свое участие на совещании у Штрандмана, на котором обсуждался вопрос об организации наиболее крупного практического мероприятия петрашевцев — коллективной библиотеки социалистической литературы.

Но присутствие Салтыкова на этом совещании неопровержимо засвидетельствовано показаниями других его участников. То, что вплоть до начала 1847 года Салтыков пользовался библиотекой петрашевцев — документально подтверждают записи книг, которые он брал из нее<sup>40</sup>. О том, кем в действительности был для него Петрашевский, Салтыков сказал в «Губернских очерках». Петрашевский назван здесь «многочелюбивым и незабвенным другом и учителем».

А о том, чем был и что значил для него кружок петрашевцев, выразительно свидетельствует замечательная характеристика этого кружка в одной из автобиографических страниц незаконченной повести «Тихое пристанище», написанной Салтыковым вскоре после возвращения из Вятки:

«К счастью, кружок, в который он попал, не был причастен тому легкомыслию, которое так нередко безвозвратно губит молодых людей. В нем не чувствовалось наклонности ни к франтовству, ни к кутежам; напротив

того, в вечерних собраниях, которые почти ежедневно назначались то у одного, то у другого из товарищей, было скорее нечто однообразно-строгое, словно монастырское. Каждый вечер лились шумные и живые речи, приправленные скромной чашкой чая; каждый вечер обсуждались самые разнообразные и смелые вопросы политической и нравственной сферы; от этих бесед новая жизнь пронесилась над душой, новые чувства охватывали сердце, новая кровь сладко закипала в жилах...» (IV, 305).

Со всем увлечением юности, со всем упорством своей ищущей мысли отдался Салтыков напряженной умственной жизни кружка. Он целиком окунулся в атмосферу его идейных и социальных исканий, которые помогли ему отчетливее увидеть и понять несправедливость тогдашнего общественного строя и привели его на благородный путь борьбы с ним, под знамена передового движения эпохи.

Жизнь «безвестного кружка» на раннем этапе его существования — том этапе, с которым непосредственно связана биография Салтыкова, — известна нам лишь в самых общих чертах. Документальный материал почти отсутствует.

Собрания кружка происходили на квартире у Петрашевского. Жил он в собственном двухэтажном доме на Покровской площади. Сначала собирались в неопределенные дни, а потом регулярно по пятницам. В другие дни часто сходились и у Вл. Милютина, жившего в доме Фредерикса на углу Владимирского проспекта и Графского переулка, и у Р. Штрандмана в его собственном особнячке на 14-й линии Васильевского острова, реже у Спешнева и Плещеева. «Посетители собирались, — свидетельствует Есаков, — не поздно — около 7 или 8 часов вечера, и я обыкновенно возвращался домой, более или менее со всеми, к полуночи. Ужинов не бывало; подавали иногда фрукты и закуску»<sup>41</sup>. Время проходило в оживленных беседах на разнообразные темы социального, политического и литературного характера. «Иногда, — показывал Барановский, — разбиралось какое-нибудь ученое или литературное произведение... — завязывались споры о предметах, входящих в область политической экономии, и тогда Петрашевский старался всегда выставлять систему Фурье как самую лучшую и удовлетворяющую всем требованиям человеческим. С ним соглашались бывавшие у него

и выставляли совершенства этой системы предпочтительно перед всеми прочими системами политической экономии»<sup>42</sup>.

Сам Салтыков в своих позднейших рассказах доктору Н. А. Белоголовому вспоминал, что в кружке читались для неопитов произведения Фурье, Кабэ и других социалистов-утопистов. Этими занятиями непосредственно руководил сам Петрашевский, называвший себя «одним из старейших пропагаторов социализма среди нашего невежествующего отечества»<sup>43</sup>. Читались и разбирались также книги по вопросам политической экономии и философии. В бумагах Салтыкова сохранились, например, относящиеся к этому времени записи, сделанные его рукой, представляющие нечто вроде конспекта известного сочинения французского материалиста XVIII века Кабаниса «Rapports de la physique et du moral», которое Маркс в «Святом семействе» определил как кульминационное, завершающее произведение механического «картезианского материализма». Это сочинение, развивавшее учение «о влиянии темпераментов на развитие идей», пользовалось большим признанием среди петрашевцев, в частности со стороны Ханыкова, который даже сослался на авторитет Кабаниса, отвечая на вопрос следственной комиссии: «Кто в особенности имел влияние на развитие в вас идей социальных или либеральных?»<sup>44</sup>

Показания всех участников ранних собраний у Петрашевского сходятся в том, что политика еще не играла там ни центральной, ни сколько-нибудь выдающейся роли. На первом месте стояли задачи самообразования. В памяти Ханыкова от этого периода остались «любимые слова» Петрашевского: «Прежде чем действовать — нужно учиться: над нами еще гремит стих Пушкина <«мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь»>». Барановский, позже других вошедший в круг ранних петрашевцев, говорил, что нашел в них людей, «стремившихся к образованию себя и постоянно говоривших, что воспитание их далеко еще не кончено и что нужно его довершить». Сам Салтыков, вспоминая о своем участии в кружке Петрашевского, очень точно определял, что находился в его «приготовительном классе»<sup>45</sup>.

Однако занятия самообразованием, преимущественно путем чтения современных русских журналов и француз-

ской социалистической литературы, менее всего были отвлечены от политики, а, наоборот, весьма активно вовлекали в нее. Об этом свидетельствует, в частности, запись Н. Данилевского, характеризующая как раз ранний период в жизни кружка Петрашевского. «Мне в те дни, — пишет Н. Данилевский, — пришлось часто бывать в кружке. Больше всего говорили о литературе. Многие сами писали. Мы учились, читали французов XVIII века, Фурье, Кабэ, Леру и новые журналы. Петрашевский втянул нас всех в литературу и политику»<sup>46</sup>.

Творческий, полный чувства процесс познания и выработки самостоятельной мысли устранил у Салтыкова тяжелое «ощущение изолированности» первого послепетрашевского года. Он в сильнейшей мере способствовал также дальнейшему отрыву Салтыкова от семьи — от этих «фаталистических связей крови» — и от всего низменного мира «пошехонских» интересов, которыми она жила.

Проблема семьи, точнее, употребляя позднейшее выражение — проблема «отцов и детей», привлекала усиленное внимание петрашевцев. Интерес к ней не был, разумеется, случайным. Проблема эта являлась идеологическим отражением весьма характерных процессов общественной дифференциации эпохи, в первую очередь среди разночинцев, выход которых на арену исторической деятельности знаменовался, в частности, тем, что в их социальном быте судьба «детей» перестала повторять судьбу «отцов».

Петрашевцы, среди которых было немало разночинцев, пристально интересовались проблемой семьи; она часто обсуждалась на их собраниях. Петрашевский говорил о необходимости «исхода из страны отцов», Баласогло «вооружался против семейственности и всех ее условий», Дуров «излагал исторически о союзе родственном и доказывал, что родственные связи опутывают личность человека». Вал. Майков писал об «аномалиях в семейных отношениях»<sup>47</sup>. А о том, как решал свою проблему «отцов и детей» сам Салтыков, дает представление его позднейшее высказывание, непосредственно отнесенное к «жизни в кружке»:

«Он уже не чувствовал себя ни бездомным, ни одиноким; он понял, что бывают на свете связи более живучие, нежели те, на которые рок кладет беспощадное клеймо свое. Прошедшие воспоминания детства и родных мест удалялись все дальше и дальше; как солнце, склоняю-

щееся к западу, они освещали умирающими лучами только один край горизонта, и как оно же готовы были утонуть в тумане. Как ни тяжела бывает такая оторванность от призраков прошлого, как ни протестует порой против нее самое холодное сердце, но однажды признав ее, однажды приняв ее как необходимое условие жизни, человек не только привыкает к ней, но чувствует себя как бы отрезвленным. Обманы жизни утрачивают свою власть...» (IV, 306).

Объективным свидетельством совершившегося идейно-психологического отрыва Салтыкова от родной семьи является его первая повесть — «Противоречия» (1847). В образ Марии Ивановны Крошиной и в изложение истории ее жизненной судьбы Салтыков смело вводит, в художественно-обобщенной форме, осуждающую характеристику реальной Ольги Михайловны Салтыковой, олицетворявшей для сатирика «жизненную философию» всей его семьи. Показательна внутренняя свобода и объективность суждения Салтыкова о своей властной матери, в полной материальной зависимости от которой он тогда находился. «В ней есть, — характеризует он образ Крошиной, — все элементы заботливой матери, хорошей хозяйки, даже доброй жены, но все это покрыто какою-то плесенью, все это так далеко зарыто, что нужно долго всматриваться, чтоб из-за этой грубой женщины увидеть мать, из-за женщины-кулака — бережливую хозяйку». Источник такой «невыгодной метаморфозы», извратившей природно-богатые данные Крошиной, Салтыков находит «в первоначальном воспитании» и в «ненормальности среды», окружавшей ее детство и юность: «В детстве она была бита, теперь желает сама проявиться в личности других; в детстве она была в подчинении и у Ефремки, и у Степки, теперь она барыня и задаст себя знать и Ефремке, и Степке, и чадам их... В детстве она жила среди лишений и, следовательно, имела все время, чтобы поразмыслить, какая сладость заключается в деньгах, что блажен, кто имеет, и презрен, кто не имеет их; поэтому теперь преобладающая в ней страсть — страсть к деньгам... Разумеется, сначала, покуда еще, что называется, молодо-зелено было, она желала денег как средства, но потом мало-помалу до того втянулась в эту бездонную пучину, называемую «благоприобретением», что деньги из средства сделались целью, и целью постоянною, не дающею ей ни днем, ни

ночью покоя...» Описав далее, опять-таки биографически очень точно и конкретно, «подвиги» собственной матери в сфере «благоприобретения», Салтыков заканчивает свою характеристику таким выводом:

«И нет ничего оскорбительнее для живого человека, как видеть всю эту жизнь, вечно устремленную на медные гроши, из которых невероятными усилиями составляются рубли, сотни и так далее. И придут наследники, и будут тоже составлять из копеек рубли, и еще наследники, и все тот же процесс благоприобретения...» (I, 97—99).

Сурово-правдивое, лишенное каких-либо смягчающих иллюзий осознание вскормившей его семьи как «призраков прошлого», как силы, враждебной тому миру общественных идеалов, в который вступил Салтыков, расчищало путь для его мысли, уже направлявшейся, по зову Петрашевского, к «исходу из страны отцов». Вместе с тем это осознание нараставшего разрыва с родной семьей, при сохранявшейся еще долгие годы материальной зависимости от нее и при недостаточной еще выработанности взглядов, вызывало подчас тяжелое чувство одиночества, особенно остро проявившееся в вятской ссылке. Но еще большею трудностью для открытой и прямой натуры Салтыкова являлась необходимость внешнего сохранения родственных связей, все более утрачивавших свой внутренний смысл и естественную теплоту.

Доверие между Салтыковым и его семьей утрачивалось взаимно. Это видно, например, из следующего весьма показательного эпизода. Когда однажды мать Салтыкова вознамерилась осуществить обычное в помещичьей практике наказание своего дворового человека, «забрить ему лоб», она писала сыну Дмитрию Евграфовичу: «А Федьку я думаю отдам в солдаты. Только держи это в секрете... брату не скажывай сего, а то он ему сообщит сюда»<sup>48</sup>.

Полная уверенность в одобрении этого жестокого решения старшим сыном — прототипом будущего Иудушки — сопровождается здесь убеждением в прямо противоположной позиции младшего сына. Ольга Михайловна опасается, что он помешает ей осуществить ее помещичью власть, что он защитит крепостного раба и нанесет ей ущерб, поскольку единственным спасением для «Федьки», если бы он был предупрежден об угрозе «красной шапки», мог быть только побег.



Вхождение в кружок петрашевцев отразилось и в личном быту Салтыкова. Короткий период послелицейского похмелья сменился той сосредоточенной жизнью, посвященной книге, творчеству и интеллектуальному общению с друзьями, о которой он вспоминал, что она «могла бы назваться безрадостною, если бы не оживляли ее те незаметные для большинства радости мысли, которые держат человека в возбужденном состоянии» (IV, 307). А очутившись в Вятке в толчее «крутогорских» гостиных и чиновничьих бостонов, он писал, завидуя своему недавнему прошлому: «Я буду очень счастлив, если смогу возобновить ту уединенную жизнь, которую я вел в Петербурге» (XVIII, 79).

Участие Салтыкова в кружке Петрашевского продолжалось до конца 1846 — начала 1847 года. Дальше происходит разрыв. Салтыков прекращает посещение «пятниц», а также личное общение с Петрашевским. Биографы сатирика, сколь это ни странно, не только не пытались до сих пор выяснить причины этого разрыва, но даже и не отмечали его. Было ли здесь идейное расхождение, или разрыв был вызван внешними обстоятельствами и не означал кризиса по существу? Привлекая внимание к этому вопросу, необходимо, однако, тут же указать и на трудности его изучения. Сколько-нибудь достаточными объективными материалами для такого изучения мы пока не располагаем. Много в этом важном эпизоде юношеской биографии сатирика остается для нас неясным и даже загадочным. В этих условиях приходится быть очень осторожным с выводами и заключениями о причинах, содержании и значении конфликта Салтыкова с Петрашевским и его кружком на рубеже 1846—1847 годов.

Сам Салтыков на допросе в Вятке объяснил фактический разрыв своих личных отношений с Петрашевским («я совершенно прекратил с ним знакомство и разве изредка встречался с ним на улицах») в первую очередь расхождением по вопросу о характере книг, выписываемых для коллективной, «складчинной», библиотеки петрашевцев.

«Петрашевский как распорядитель, — показал Салтыков, — совершенно забрал деньги себе и выписывал, что хотел, а по преимуществу — ничтожные и по существу и по цене своей брошюры». «Ничтожные» брошюры действительно иной раз выписывались Петрашевским. Их можно

насчитать немало в сохранившемся обширном списке приобретенных им книг<sup>49</sup>. Возможно, они призваны были маскировать от непрошеного взора слишком определенный состав библиотеки социалистического кружка. Петрашевский мог не раскрывать своего конспиративного приема участникам складчины. Они могли в этом случае искренно недоумевать и выражать свое недовольство столь «бесполезным», как выразился Салтыков, расходом складчинных денег. Но едва ли не ближе к истине будет другое предположение. Легко поддающийся проверке факт приобретения «ничтожных» книг мог быть попросту использован Салтыковым как убедительное в глазах следственных властей доказательство, с одной стороны, «искренности» его недовольства Петрашевским, а с другой — политической якобы безобидности библиотеки.

Далее Салтыков показал, что вместе с Есаковым, Данилевским и Майковым он настаивал на том, «чтобы библиотека была составлена не из одних книг, касающихся социальных систем, но по преимуществу из сочинений политико-экономистов». А во втором показании добавил: «Имея желание заниматься политической экономией и занимаясь пенитенциарной системой, я просил, чтобы были выписаны некоторые главнейшие экономисты, а также несколько сочинений о тюремной системе».

Против этих требований Петрашевский уже мог иметь некоторые возражения. Книги о пенитенциарном праве слишком очевидно должны были обслуживать индивидуальные интересы Салтыкова, хотя, как мы думаем, пробужденные в нем и поощрявшиеся не кем иным, как самим Петрашевским. Увлечение Салтыкова историей уголовного права и изучением пенитенциарной системы в России, проявившееся еще в лицее, невольно сопоставляется со следующей записью Петрашевского (от 10 декабря 1841 года) в его рукописи «Мои афоризмы»: «Не худо если не мне, то кому-нибудь внушить написать развитие понятий об образе наказаний в России в разные времена или в обширном смысле истории философии уголовного права, с показанием логически причин составления таковых понятий из образа жизни народа, характера его, нравов его и обычаев, из степени просвещения высших его классов и простого образа его религиозных или нравственных верований»<sup>50</sup>. Мы еще увидим, как близко к

этой программе Петрашевского строил Салтыков (уже находясь в Вятке) свои занятия историей и философией уголовного права.

Что касается требования перенести центр тяжести комплектования библиотеки с книг утопистов-социалистов на труды экономистов, — требование, заявленное группой Милютина — Майкова и отражавшее ее преимущественные интересы, то оно нарушало самую идею библиотеки, призванной служить в первую очередь средством для пропаганды социалистических идей в русском обществе. Но Петрашевский не мог протестовать вообще против выписки книг «главнейших экономистов». И мы знаем, что сочинения Ад. Смита, Рикардо и ряда других политико-экономов имелись в библиотеке петрашевцев. Более того, в возникших разногласиях, если они действительно имели место, Петрашевский пошел на уступки. Салтыков сам ведь заявляет, что он вместе с поименованными им лицами «настаивали и настояли» на своих требованиях. Были, оказывается, в конце концов выписаны и лично затребованные им сочинения о пенитенциарной системе. А между тем в полном противоречии с этими фактами, им же самим сообщенными, Салтыков заявляет во втором показании: «Не успев в этом <то есть в выписке заявленных книг>, я мало-помалу удалился от Петрашевского».

В первом показании, отобранном неожиданно, «по внезапном прибытии» жандармских властей и носящем следы некоторой нервозности, Салтыков глухо сослался еще на некоторые обстоятельства, повлекшие его отдаление от Петрашевского.

«...Кроме того, — показал Салтыков, — разные выходы Петрашевского, выходы дикие и неуместные, клонившиеся большею частью к произведению скандала в публичных местах, а также появления в нашем обществе новых лиц, с которыми я не имел никакой охоты сблизиться, как, например, Благовещенского, какого-то господина в синих очках, произвели мало-помалу охлаждение в отношениях моих к Петрашевскому...»

Эти неясные свидетельства оставались до сих пор шифром без ключа. Сам Салтыков нигде не раскрыл их. Наоборот, во втором своем показании, в отличие от первого, более взвешенном и обдуманном, он счел, видимо, приведенные слова неосторожными и вовсе устранил их.

Осторожность, пожалуй, не была излишней. «Выходки» Петрашевского не были выдуманы Салтыковым. Но представленные им в показании как неподобающие для воспитанного человека буйство и озорство, они в действительности означали нечто иное.

Кое-что мы узнаем об этом из агентурных донесений Антонелли. В одном из них он приводит рассказ самого Петрашевского «о разных его выходках против здешней полиции на гуляньях и в публичных местах». Из этого рассказа мы узнаем, в частности, что однажды на Екатерингофском вокзале Петрашевский «с некоторыми из своих приятелей возмутил толпу и довели ее до того, что она даже употребила насилие против полиции». Этот случай Петрашевский, по словам Антонелли, «рассказывал в п р и м е р: как легко человеку... возмутить толпу».

В другой раз Петрашевский заявил Антонелли, что «несколько раз, встречая высочайшую особу, он нарочно не отдавал почтения». Он искал «неприятности», на случай которой «у него уже заранее была приготовлена оговорка, что он очень близорук, и совет, чтобы государь император носил на голове какие-нибудь погремушки, которые издали давали бы о нем знать»<sup>51</sup>.

Петрашевский был человеком страстным, увлекающимся, дерзким и острым. Его «выходки» являлись, по существу, своеобразной «тактикой» политического поведения. Он говорил, что «создал себе за правило, где только возможно, поражать власть». Он учил своих друзей и единомышленников, что «в отношении к правительству должно выказывать как можно более пауперизма и выставлять ему напоказ все его неправильные действия, показывать несообразность его установлений, делая т. о. его смешным в глазах общества». Дискредитация, «уничижение властей административных везде и всегда было поводом к революции», — говорил Петрашевский. И со всей настойчивостью и пылкостью своего характера он стремился добиваться этого «унижения» представителей администрации, используя для того свои частые посещения танцклассов и клубов, зала дворянского собрания и итальянской оперы, кофеен и народных гуляний<sup>52</sup>. А на своих «пятницах» именно Петрашевский ввел в речевой обиход собраний тот издевательский по отношению к власти метафорический «эзопов» язык, в котором

слова «действительный статский советник» употреблялись вместо слова «дурак», а Николай I именовался «богдыханом».

По словам официальной записки о Петрашевском, составленной в 1849 году, незадолго до его ареста, он в университете считался «человеком свободных мнений» относительно религии и правительства. Это обстоятельство, по словам автора записки, «побудило некоторых из его университетских товарищей прекратить с ним сношения, тем более что, по их словам и по отзывам некоторых других лиц, его знавших, он не только в кругу своих знакомых, но даже при встрече в домах и на улице готов был выражать свой образ мыслей».

Присутствовал ли Салтыков при историях, подобных той, которая имела место на Екатерингофском вокзале, мы не знаем. В показаниях он заявил о своем полном несочувствии «выходкам» Петрашевского. Но мы еще увидим, что даже в зрелые годы, находясь на крупных бюрократических постах, сатирик обнаруживал в своем собственном поведении некоторые черты, родственные темпераментному политическому задору молодого Петрашевского, и не упускал случая не только в литературе, но и в жизни, «поражать власть» и ее агентов оружием насмешки и издевательства.

Но что имел в виду Салтыков в той части показаний, в которой он захотел связать свое отдаление от Петрашевского с фактом появления на пятницах «новых лиц», с которыми он «не имел никакой охоты сблизиться»?

Зимой 1846/1847 года на вечерах у Петрашевского действительно появилось много новых людей. «Пятницы» стали утрачивать свой первоначальный характер — дружеских собраний небольшого кружка личных приятелей и коротких знакомых хозяина дома и как раз с этого времени начали постепенно перерастать в нечто подобное политическому клубу или обществу. Это далеко еще не было революционным подпольем. О существовании «пятниц» было широко известно в Петербурге. Доступ на них не был затруднен. Но их содержание и участники уже конспиривались, а собрания начали принимать организованные формы — с предварительной подготовкой, докладами и регламентом. «Только с зимы 1847 года можно сказать определеннее о вечерах Петрашевского», — заявил на следствии Ханыков.

Перестройка «пятниц» проводилась Петрашевским с большой осторожностью. Он опасался, что вместе с новыми лицами в организуемое им общество проникнут люди случайные, а может быть, и прямые соглядатаи из лагеря врага. Ведь с осени 1846 года по Петербургу уже ходили неясные слухи о том, что за «пятницами» ведется агентурное наблюдение III Отделением. И, повидимому, слухи эти имели основание. Как раз к осени или зиме 1846 года относится эпизод, о котором со слов самого Петрашевского, в передаче Антонелли, мы узнаем из донесений Липранди. «Какой-то господин, — читаем мы здесь, — предлагал ему <Петрашевскому> издавать журнал, но, сказав, что журнал есть политический заговор, навел на себя этим подозрение и, делая различные противоречащие предложения ему и В. Майкову... собранием их был уличен и, как оказалось впоследствии, был очень порядочный человек, но был невольным орудием какого-то агента <III Отделения>»<sup>53</sup>.

Этот и ряд других фактов и наблюдений «заставили Петрашевского, по словам Антонелли, быть чрезвычайно осторожным и разузнать о всех лицах, которым правительство поручило наблюдать за подобными ему людьми». Он принял свои меры. Внимательно присматриваясь к новым людям кружка, изучая и проверяя их, Петрашевский в то же время устранил на первых порах ту откровенность, непринужденность и вместе с тем серьезность в обмене мнений, которые характеризовали «пятницы» предыдущего этапа — интимно-дружеского. Об этом можно судить на основании показаний ряда петрашевцев. Так, например, Барановский, давший, пожалуй, наиболее откровенные показания, сообщил следственной комиссии:

«Зимой <1846/1847 год> стали опять собираться у него по пятницам... явились новые лица. Вечера эти, вместо прошлогодних зимних, получили самый разнородный характер. То Баласогло вооружался против семейственности и всех ее условий, то Петрашевский говорил и выставлял преимущества публичного производства суда. Ольдекоп трактовал о магнетизме, защищая против Петрашевского мистицизм. Но все эти разговоры не имели и тени чего-нибудь важного. Большею частью рассказывались анекдоты про профессоров, выставлялось их невежество, в чем <то есть в рассказыва-

нии анекдотов > отличались преимущественно Петрашевский и Плещеев»<sup>54</sup>.

Такого рода перемены могли, конечно, вызвать недовольство «старых» участников кружка, в первую очередь Салтыкова. Но чтобы правильно уяснить себе характер этого недовольства, необходимо указать на одно существенное обстоятельство.

Характеристики «безвестного кружка», как и вообще сороковых годов, дававшиеся Щедриным в его поздние годы, не могут быть правильно поняты без учета их ретроспективности. В условиях общественной и политической реакции восьмидесятых годов, когда провозглашались и пользовались успехом призывы к отказу от наследства сороковых и шестидесятых годов, от традиций Белинского и Чернышевского, эти характеристики дорогого для Щедрина идейного прошлого русской демократии включались в его тему «забытых слов» и, вольно или невольно, идеализировались. Целый ряд высказываний Салтыкова непосредственно тех лет — в повестях «Запутанное дело» и «Брусин» — не оставляет сомнений в том, что его собственное отношение в то время к кружку Петрашевского и другим родственным кружкам было много сложнее, что оно эволюционировало и в конечном счете было противоречивым. Высоко ценя эти лаборатории передовой мысли, сам Салтыков был очень далек от той «анонимной восторженности», которую он так подчеркивал позднее в людях кружка. Очень скоро он ощутил всю узость сферы деятельности, все органические пороки, свойственные этому раннему этапу и этим формам демократического движения в России. Его жадное влечение к практическому общественному делу плохо удовлетворялось кружковыми диспутами и рефератами. «Как бы ни были для нас милы и симпатичны люди кружка, все-таки мы сознаем, что настоящее дело не в кружке, а вне его», — писал он тогда.

А в самих людях кружка его зоркий глаз и природное чутье сатирика видели и таких, которые носили в себе зерна столь враждебного ему романтического идеализма или просто фразерства и либерального краснбайства. Его первые сатирические портреты (в «Запутанном деле») — Вольфганга Беобахтера — человека революционной фразы и Алексиса Звонского — прекраснодушного романтика-мечтателя, одинаково бессильных распутать «запутанное

дело» живой жизни, — были написаны с живых моделей. П. Н. Сакулин высказал в свое время правдоподобную догадку, что за образом Алексиса Звонского стоит А. Н. Плещеев, с его «анонимной восторженностью» и социальной грустью. В. И. Семевский, со своей стороны, пытался найти оригинал и для Вольфганга Беобахтера, утверждая: «Из всех петрашевцев такие крайние мнения, как Беобахтер, скорее всего мог выражать Спешнев...»<sup>55</sup>

Эти расшифровки, разумеется, не более как гипотезы. Бесспорно лишь то, что сатирическая критика Салтыковым политической незрелости русских утопических социалистов, к которым он сам принадлежал, могла основываться только на его наблюдениях участников кружков петрашевцев, через которые прошло немало людей весьма различной идеологической окраски. Ведь кроме четырех десятков арестованных в Петербурге «заговорщиков», следственная комиссия составила алфавитный список 252 человек, фамилии которых упоминались в агентурных донесениях и в показаниях самих обвиняемых во время производства дела. Будущее показало, что для большинства из них социалистические утопии и участие в кружке не стали отправным пунктом в формировании их мировоззрения.

Салтыков видел слабые стороны первых кружков русских социалистов и тогда же критиковал их. Острие его критики было направлено против «разлада с действительностью», который он усматривал у большинства «людей кружка». Он обвинял этих людей в незнании русской жизни и в неспособности преодолеть романтически-идеалистическое отношение к действительности, унаследованное от предшествовавшего дворянского этапа развития общественной мысли («дворянскими мелодиями» называл потом Щедрин «анонимную восторженность» людей сорочковых годов). Отсюда ядовитые насмешки Салтыкова в «Запутанном деле» над крайностями увлечения западноевропейской социалистической литературой, в которой иные из петрашевцев некритически усматривали универсальное руководство к общественно-политическим преобразованиям в собственной стране. Герой салтыковской повести Мичулин обращается к «кандидату философии» Беобахтеру с просьбой помочь ему в разрешении мучающих его вопросов о причинах социальных несправедливостей жизни, указать пути устранения этих несправедли-



востей, столь непосредственно и жестоко угнетающих собственное существование Мичулина. Беобахтер, который, подобно своему товарищу Алексису Звонскому, «в науках, что называется, собаку съел, и читал-таки на своем веку и Бруно Бауэра, и Фейербаха и «французов» обнаруживает, однако, полную беспомощность в отношении этого реального запроса живой жизни. Он вручает Мичулину «крохотную книжонку, из тех, которые в Париже, как грибы в дождливое лето, нарождаются тысячами», и «торжественно» говорит при этом: «Прочтите!.. прочтите и увидите... тут *всё!* понимаете?» (I, 243).

Салтыков высмеивает эту веру в социальное реформаторство по рецептам, заимствованным из книжек иностранных популяризаторов утопического социализма. Он указывает, что та критика, которой подвергалась в кружках петрашевцев русская социально-политическая действительность, была недостаточной, потому в первую очередь, что сама эта действительность часто оказывалась заслоненной наблюдениями, теориями и проектами книжно-иностранного происхождения, чуждыми и далекими реальной русской жизни.

Если мы вспомним, что те же пороки интеллигентских кружков Петербурга и Москвы Герцен в полной мере ощутил, только оказавшись в центре европейских революционных событий 1848 года, то надо отдать должное силе и остроте критического зрения молодого Салтыкова. В этом отношении он ближе всего стоял опять-таки к Белинскому, а также к Некрасову. «Некрасов, — читаем в сделанных С. Н. Кривенко записях бесед с поэтом, — сходиллся со многими либеральными кружками того времени <сороковых годов> — студенческими и литературными — и присутствовал на их собраниях. «Тяжелое, — говорил он, — производили они на меня впечатление, преобладала часто фраза, диалектика, говорились общие места, говорили больше о Западной Европе, видно было незнание русской жизни и русского народа... Я сознавал, что все это было не то, что нам нужно, но в то же время спорить с ними не мог, потому что они знали гораздо больше меня, гораздо больше меня и читали»<sup>56</sup>.

Сознавал все это и Салтыков, и не только сознавал, но и, в отличие от Некрасова, «спорил», подвергал острой критике отмеченные недостатки кружков русских утопических социалистов. В свете этой принципиальной критики

следует воспринимать как сатирические изображения людей кружка в салтыковских повестях тех лет, так и некоторые свидетельства мемуаристов, например А. Н. Пыпина, писавшего: «Салтыков, двадцатидвухлетний юноша, знавший об этих кружках и этих фантазиях накануне «дела» Петрашевского, подшучивал над ними»<sup>57</sup>.

Чувство неудовлетворенности от деятельности кружка испытывал не только Салтыков, но и ряд его участников, в том числе сам Петрашевский, который потому-то и взялся за перестройку «пятниц», намереваясь вывести их за пределы кружковой ограниченности. Но на первых порах это привело, как указывалось, к заметному снижению идейно-политической содержательности собраний. Именно в зиму 1846/1847 года у Петрашевского более всего собиравлось людей разношерстных и любопытствующих. Организационно-политическое укрепление «пятниц» произошло лишь зимой следующего 1847/1848 года.

Кризис, пережитый кружком Петрашевского на раннем этапе его существования, и привел к распаду его первоначального ядра. Барановский так и говорит в своих показаниях: «...к началу 1847 года кружок Петрашевского начал распадаться: не знаю, почему перестали к нему ездить Милютин, Штрандман, Майков, Есаков... Салтыков». А сам Салтыков через год-два писал в своей повести «Брусин»: «...мало-помалу все личности, составлявшие этот кружок (а их было очень немного), сделались известны друг другу с такой изумительной подробностью, что общество наше совершенно упало духом и готово было распасться» (I, 291).

Разногласия с выпиской книг были, таким образом, лишь поводом и толчком, хотя благодаря резкости и вспыльчивости как Петрашевского, так и Салтыкова (в «Противоречиях» он говорит о Нагибине, автобиографические черты которого очевидны: «это была... несколько тяжелая, неуживчивая натура»), их размолвка по этому вопросу носила, видимо, острый характер.

Так или иначе, но с начала 1847 года (а по другим данным, с конца 1846 года) Салтыков на «пятницах» уже не бывал и с Петрашевским лично не общался. Это обстоятельство сильно ограничивает, конечно, обычное представление о «петрашевстве» сатирика. Оно исключает его участие в кружке петрашевцев на том основном его этапе, связанном с европейскими событиями 1848 года, когда

«пятницы» все больше проникались настроениями политического радикализма и когда среди петрашевцев уже возникали мнения о необходимости революционного действия и революционной организации. Несомненно, однако, что Салтыков и в это время не был отделен китайской стеной от общества петрашевцев и, вопреки своим показаниям, по всей вероятности, находился в курсе того, что происходило на их собраниях.

## ВАЛЕРЬЯН МАЙКОВ И ВЛАДИМИР МИЛЮТИН

«В мое время, господа, молодые люди жили в Петербурге как-то особенно странно. То есть, если я говорю вам «молодые люди», то разумею под этим названием только известный кружок таких людей — людей, близких между собою по убеждениям, по взгляду на вещи, по более или менее смелым и не совсем удобоисполнимым теориям, которые они себе составили; одним словом, кружок, к которому принадлежал я сам».

*Щ е д р и н. «Брусин».*

Отколовшаяся от «пятниц» Петрашевского (но не ставшая оттого идейно чуждой им) группа их участников образовала свой небольшой кружок. Об этом сохранилось вполне определенное свидетельство Аполлона Майкова, также привлекавшегося к дознанию по делу петрашевцев. В своем следственном показании он заявил: «Брат мой (Валерьян) часто бывал у Петрашевского, но потом покойный мой брат стал душой другого кружка, который собирался у него, у Милютин и Штрандмана и реже стал бывать у Петрашевского. Кружок покойного брата интересовался литературой, эстетикой, политической экономией. Иногда к ним заходил и я»<sup>58</sup>. А в позднейшем (не оконченном и не отправленном адресату) письме к М. А. Висковатову, вспоминая о событиях в жизни петрашевцев в конце 1847 года, Ап. Майков пишет: «Брат <Валерьян> еще раньше тоже отвлёкся от кружка Петрашевского, приняв критику в «Отеч. Записках», и около него составил его кружок: Владимир Милютин, Стасов, еще человека три-четыре»<sup>59</sup>. Повидимому, именно к этому кружку следует отнести и слова самого Петрашевского, зафиксированные в одном из ранних агентурных до-

несений Антонелли в III Отделение. Вот что сообщал этот агент-провокатор: «После половины марта <1847 г.> распространился слух, что будто бы общество Петрашевского хотят схватить. Петрашевский сказал: Все это пустяки, подобные слухи стараются распусть Майковы и другие, принадлежащие к обществу литераторов, за то, что общество мое <Петрашевского> и гораздо умнее и сильнее и в другом размере действует». Но что и это пустяки, что хотя между обществами и происходят иногда *qui pro quo*, но что все они стремятся к одной цели»<sup>60</sup>.

Есть основания предполагать, что состав нового кружка был несколько шире, чем это указывает Ап. Майков. Для нас здесь важно отметить, что в число не названных им еще «трех-четырех» участников кружка входил Салтыков. Еще одним участником являлся Есаков.

Характеризуя через два года в «Брусине» «кружок... людей близких между собою по убеждениям, по взгляду на вещи», Салтыков рисовал типически обобщенную картину петербургских кружков передовой демократической молодежи сороковых годов, участники которых все, в большей или меньшей степени, были связаны с «пятницами» Петрашевского. Но в этой общей картине есть частности, штрихи, относящиеся непосредственно к двум основным участникам и «организаторам» нового кружка. Повесть не предназначалась тогда для печати, и, быть может, поэтому в ее рукописи остались столь прозрачные обозначения их имен: «М — в» (Майков) и «М — н» (Милютин).

Говоря о том, с какой «изумительной подробностью» становились известны друг другу люди кружка и его деятельность, Салтыков пишет здесь: «Было известно, например, что в такой-то день М — н будет упрекать М — ва за его систематическую, ребяческую непосредственность, за его безрассудное, ни к чему не ведущее и немного скифское удалество... известно было даже и то, что М — в будет возражать на подобные обвинения. Одним словом, мы... наизусть знали друг друга. В понедельник будут говорить о последней книжке любимого журнала; во вторник М — н будет развивать какой-нибудь экономический вопрос; в среду — вопрос психологический; в четверг — что делается за границей и хорошо ли делается — и т. д.». После окончания собрания кружка «очередной» «накреп-

ко наказывал всем, чтобы не забыли, что у него, дескать, будет собрание, а не у С. <Салтыкова?> и не у М.» (I, 291—292).

Конкретные детали данной картины скорее относятся именно к кружку Майкова — Милютина, а не Петрашевского (собрания не по «пятницам», а в произвольно условленные дни). Укажем попутно и лишь в порядке гипотезы (поскольку доказательство ее увело бы нас в сторону от нашей темы), что «безрассудным... и немного скифским удалством» Вал. Майкова Салтыков называет, как мы думаем, его полемические выпады против Белинского во время их известной журнальной дискуссии 1846—1847 годов. Известно, что в этом споре Вал. Майков упрекал своего оппонента в бездоказательности его критики, в неуважении к свободе мнений, в идейном диктаторстве. Все позднейшие замечания и высказывания Салтыкова свидетельствуют, что такого рода обвинения по адресу Белинского не могли пользоваться сочувствием со стороны будущего сатирика.

Сообщенными материалами исчерпываются известные нам сведения о кружке, собиравшемся у Вал. Майкова, Вл. Милютина и Р. Штрэндмана. Очевидно, что этих скудных сведений совершенно недостаточно для того, чтобы, опираясь на них, дать хотя бы самую общую характеристику этому кружку, а также выяснить, насколько близко стоял к нему Салтыков и в чем именно выражалась эта близость<sup>61</sup>. При невыполнимости такой задачи нам не остается ничего другого, как попытаться выяснить идейные позиции не кружка, как такового, а двух его главных участников — Вал. Майкова и Вл. Милютина и определить их взаимоотношения с третьим участником — Салтыковым. Последующая жизненная судьба всех трех сложилась сурово и скоро оборвала их общение друг с другом. Летом 1847 года утонул Вал. Майков, меньше чем через год был отправлен в ссылку Салтыков, а еще семь лет спустя застрелился в Эмсе Вл. Милютин. Но в литературной биографии сатирика его кратковременное пребывание в кружке Вал. Майкова и в особенности завязавшаяся там дружба с Вл. Милютиным не прошли бесследно и должны быть отмечены.

С Валерьяном Николаевичем Майковым (1823 — 1847) — литературным критиком, сотрудником «Отечественных записок» и «Современника» — и с Владимиром

Алексеевичем М и л ю т и н ы м (1826—1855) — талантливым писателем-экономистом и социологом, сотрудником тех же журналов — Салтыков познакомился на собраниях у Петрашевского.

Вал. Майков был главным составителем первого выпуска известного «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка» (2 выпуска 1845—1846 годов, изд. Н. Кириллова). Другим участником был приятель Вал. Майкова, петрашевец Р. Р. Штрандман, с которым Салтыков близко общался в эти годы. Редактором и основным сотрудником в работе над вторым выпуском явился уже Петрашевский, фактически овладевший руководством этого издания. Изъятый из обращения и уничтоженный после выхода в свет второго выпуска, словарь фигурировал в следственном «деле петрашевцев» как книга, исполненная «таких дерзостей, какие едва ли бывали даже в рукописях, пускаемых в общее обращение» (отзыв Липранди<sup>62</sup>).

На почве начатой совместной работы над словарем между Вал. Майковым и Петрашевским произошел конфликт, причины и содержание которого в полной мере остаются до сих пор невыясненными. Их личные отношения, вначале весьма дружеские, испортились. Ф. М. Достоевский, начавший посещать «пятницы» как раз в это время, весной 1847 года, показал на следствии, что только однажды встретил Вал. Майкова у Петрашевского, и добавил, что Вал. Майков «не любил ни Петрашевского, ни его собраний и старался видеться с ним как можно реже». Можно предполагать, что именно позиция Вал. Майкова, с его авторитетом старшего товарища и уже известного литератора, и определила в значительной мере отход Штрандмана, Салтыкова и Вл. Милютина от посещения собраний у Петрашевского. При этом, однако, точно известно, что хотя Вл. Милютин и прекратил, или почти прекратил, посещение «пятниц» с весны 1847 года, но связей своих с Петрашевским и петрашевцами он не прерывал. Это не осталось тайной для агентов III Отделения, следивших за Петрашевским. Когда начались аресты петрашевцев, было дано распоряжение и об аресте Вл. Милютина, но его не оказалось в тот момент в Петербурге. Арест не был произведен и по возвращении Милютина, хотя отмены приказа об аресте мы не нашли в соответствующих делах III Отделения. Вероятно, Милютину уда-

лось избежать ареста лишь благодаря своевременному предупреждению и вмешательству его брата — Н. А. Милютин, уже и тогда человека известного и даже влиятельного в правительственных кругах. Но и агентам III Отделения, и следствию, и, вероятно, Н. А. Милютину осталось неизвестным самое важное о связях Вл. Милютин с петрашевцами.

Ап. Н. Майков в цитированном выше письме своем 1885 года к М. А. Висковатому утверждал как человек прикосновенный к делу Петрашевского: «Главное, что в нем <деле> было серьезного, до <следственной> комиссии и не дошло». В доказательство своего утверждения Ап. Н. Майков рассказал, хотя и глухо, историю возникновения среди петрашевцев в 1848 году тайного революционного общества из семи-восьми человек. Он назвал при этом имена только трех участников общества (Спешнева, П. Филиппова и Достоевского) и умолчал об остальных. Но существует документ, в котором названы все участники общества и раскрыта его цель: «произвести переворот в России». Документ обнаружен В. С. Любимовой-Дороватовской и публикуется ею в «Литературном наследстве». С разрешения автора публикации заимствуем из нее указание на то, что одним из членов этого тайного революционного общества являлся Вл. Милютин. Это ранее неизвестное обстоятельство позволяет утверждать, что события 1848 года существенно радикализировали социально-политические воззрения друга Салтыкова, о которых речь будет ниже — при характеристике его статей 1847 года.

Основой для сближения Вал. Майкова, Вл. Милютин и Салтыкова (а также Р. Штрандмана) в 1847 году послужили не столько общность идейных интересов, сколько их литературная работа. В писательской биографии всех четырех 1847 год занимает особое место. Вал. Майков стал в этом году по приглашению Белинского и Некрасова сотрудником «Современника», не прекращая в то же время работы и в «Отечественных записках», а Вл. Милютин и Салтыков начали тогда свою литературную деятельность, поместив в этих журналах свои первые произведения. В автобиографическом письме 1887 года к С. А. Венгерову Салтыков писал: «Работу эту <писание рецензий> я доставал через Валериана Майкова и Владимира Милютин

в «Отеч. Зап.» Краевского и в «Современнике» Некрасова, с 1847 г.» (I, 85). В том же 1847 году стал печататься (анонимно) в «Отечественных записках» и Р. Штрэндман, хотя его первая большая статья «Внутреннее обозрение» появилась лишь в мартовской книжке журнала за 1848 год.

В 1847 году Вал. Майкову было 23 года, а его младшим друзьям-ровесникам — по 21 году. Их мировоззрение далеко еще не сложилось, социально-политические взгляды находились в процессе становления. Все они переживали период идейных исканий. Индивидуальное своеобразие было присуще и взглядам каждого и форме выражения этих взглядов: литературно-критические и социально-философские высказывания у Вал. Майкова, политико-экономический, научный анализ у Вл. Милютина и художественное творчество у Салтыкова.

Говоря о Вал. Майкове и Вл. Милютине, П. В. Анненков отметил, что «они оба могут считаться последними отпрысками замечательного десятилетия и составляют уже переход к литературному периоду 1850—1860 годов»<sup>63</sup>.

Эта связь была видна не только Анненкову. В шестидесятых годах идейно-политические противники Чернышевского не раз подчеркивали, как это уже отмечено И. Г. Блюминым, преемственность некоторых положений «экономической теории трудящихся» великого революционного демократа от критики буржуазной политической экономии, данной в сороковых годах В. Милютиным. Так, например, полемизируя в 1857 году с Чернышевским, «Экономический указатель» — орган буржуазного либерализма — писал: «Новая школа «Современника»... существует не со вчерашнего дня. Когда в 1847 году появилось сочинение г. Бутовского, новая школа сильно против нее восстала»<sup>64</sup>. Речь тут шла о не забытых и через десятилетие блестящих полемических статьях Вл. Милютина против апологетической в отношении капиталистического строя книги Бутовского «Опыт о народном богатстве...»

А редакция самого «Современника» уже в период работы в ней Чернышевского, отзываясь на смерть Вл. Милютина, заявила в анонимном некрологе: «Русская наука лишилась одной из надежд своих... Мы лишились одного из самых близких к нам людей...»



Мы видели в нем одного из благороднейших представителей молодого поколения»<sup>65</sup>.

Возвращаясь к формуле Анненкова, следует все же заметить, что она не точна. Здесь, как и во многих других случаях, свидетельства Анненкова послужили источником для либеральных искажений нашего идейного прошлого. Рисуя внешнюю картину «шестидесятилетних» интересов Вал. Майкова и Вл. Милютина, анненковская формула не вскрывает их политических и философских тенденций. А эти тенденции расходились с основным направлением передовой общественной мысли, возглавляемым Белинским, склоняясь объективно к буржуазному просветительству. С гораздо большим основанием характеристику Анненкова можно применить к Салтыкову конца сороковых годов. Именно он, в первых произведениях которого уже содержались зерна революционно-демократической идеологии, может быть условно определен как своего рода «шестидесятник до шестидесятих годов». Мы увидим ниже, что именно в таком смысле оценил его «Запутанное дело» в 1861 году Добролюбов.

Каковы же были идейные позиции и социально-политические воззрения друзей Салтыкова? В чем они были близки и в чем чужды и даже враждебны ему?

Либеральная критика — в лице Скабичевского, Арсеньева и других — пыталась когда-то характеризовать Вал. Майкова в качестве мыслителя, опередившего в своем общественном и философском развитии Белинского и занявшего в литературном движении конца сороковых годов ведущее место.

Некоторые из критиков, например Александровский, — пошли еще дальше. В статьях Вал. Майкова («Об отношении производительности к распределению богатств» и других) упомянутый критик усмотрел разработку учения об экономическом материализме, созданного Марксом. Вал. Майков был таким образом объявлен предтечей русских марксистов. Несостоятельность обеих этих апологетических версий была показана еще Плехановым в его известной статье 1911 года «Виссарион Белинский и Валерьян Майков». Общий вывод Плеханова гласил:

«...В. Майков умер, не успев выйти из своего периода философских исканий. Значит, нам только и остается здесь, что определять общее направление, в котором со-

вершались эти искания. Но зато мы можем с полной уверенностью повторить: направление это резко разошлось с тем, по которому шла сначала мысль Белинского, потом Чернышевского и Добролюбова и, наконец, русских марксистов»<sup>66</sup>.

В основе статьи Плеханова и ее заключительного вывода лежало полемическое задание. Ему нужно было разбить либеральных апологетов Вал. Майкова, чтобы вскрыть господствовавшую вокруг Белинского путаницу и фальшь буржуазной критики и выявить подлинное общественно-историческое место и значение великого революционного демократа. Плеханов осуществил свое намерение с присущим ему полемическим блеском. Он разоблачил полную несостоятельность попыток поставить Вал. Майкова «выше» Белинского. Однако методологические пороки Плеханова, эволюционировавшего к этому времени от революционного марксизма к меньшевизму, ограничили в его статье определенность классовой и политической оценки общественной позиции Вал. Майкова. Плеханов указывает, что место Вал. Майкова в идейной жизни и борьбе сороковых годов устанавливается им лишь методом определения «общего направления» развития критики, поскольку он «умер, не успев выйти из своего периода философских исканий», не успев придать своим взглядам полную ясность и определенность.

Плехановская оценка Вал. Майкова нуждается в уточнении. Несколько абстрактно определенная линия общего развития критика должна быть конкретизирована как политическая линия буржуазного просветительства, то есть либерализма. Такое уточнение встречается в ряде новейших работ, в которых упоминается Вал. Майков. Но вместе с тем в этих работах совсем игнорируется замечание Плеханова о незавершенности «философских исканий» молодого критика. «Общее направление» его развития превращается в этих работах из незавершенной, хотя уже во многом определившейся возможности в осуществленный, достигнутый результат определенного развития. Но возможность, тенденция еще не есть действительность. Между тем Вал. Майков стал трактоваться как вполне законченный буржуазный демократ и даже как воинствующий апологет реакционной тактики «примирения классов». При этом особенно стала

подчеркиваться симпатия Вал. Майкова к позитивной философии О. Конта, буржуазной ограниченностью которой якобы проникнуты все взгляды критика.

Однако такая характеристика не может быть признана правильной. Она столь же одностороння и антиисторична, как и противостоящий ей на другом полюсе взгляд на Вал. Майкова как на первого русского марксиста. Она не вытекает из анализа Плеханова, а находится в противоречии с ним. В создаваемом ею портрете достигшего своей зрелости буржуазного филистера и доктринера в науке и оппортуниста в политике трудно узнать не только молодого Вал. Майкова, о котором Достоевский вспоминал, что он «принялся за дело горячо, блистательно, с светлым убеждением, с первым жаром юности», но и вообще русского передового человека сороковых годов. Трудно также понять, почему Петрашевский числил Майкова (до их конфликта) среди наиболее близких себе людей; почему сошелся с ним Салтыков, столь враждебный уже и тогда всякой проповеди примирения социальных противоречий; почему, по утверждению Плеханова, «все те люди сороковых годов, которым случалось говорить о нем <Вал. Майкове> в своих воспоминаниях, почти восторженно отзывались об его статьях в «Отечественных записках»; почему, наконец, высоко ценил своего преемника в критическом отделе этого журнала сам Белинский, хотя и полемизировавший с ним, а десятилетием позже не кто иной, как Чернышевский писал в «Современнике» (1856, кн. 5, стр. 8) по поводу известной статьи Вал. Майкова о Кольцове: «Она направлена, повидимому, против статьи Белинского, но в сущности представляет развитие мыслей, высказанных Белинским, и некоторые места в ней прекрасны».

Очевидно, что и Петрашевский, и Салтыков, и Белинский, и Чернышевский — все они воспринимали Майкова более широко, видели в его взглядах не только то, что действительно глубоко развлекло их с молодым критиком, но и то, что сближало, являлось выражением общих устремлений передовой мысли, еще недостаточно дифференцированных. Тут уместно вспомнить глубокую для своего времени мысль, высказанную в 1847 году Вл. Милутиным, что «деятельность исторических людей надо ценить исторически, т. е. принимая в соображение... требования той эпохи, в которую они жили и действовали»<sup>67</sup>.

Основной тезис всей недолгой литературной деятельности Вал. Майкова, который он проводил во всех своих работах, в том числе самой большой, — оставшейся незавершенной — «Общественные науки в России», — заключался в утверждении, вслед за Белинским, необходимости добиться органической связи теории и практики, науки и жизни, искусства и действительности. Именно на этой почве и произошло его увлечение социологической системой Конта, в которой он некритически усмотрел доказательства и подтверждения справедливости своей любимой мысли об «обращении к действительности». Но эта «действительность» мыслилась Вал. Майковым, в отличие от Белинского, теоретически, в отрыве от общественной практики, от конкретных задач, которые выдвигались перед русской передовой мыслью всем ходом исторического развития в стране. И если в условиях сороковых годов *«все общественные вопросы сводились — по словам Ленина, — к борьбе с крепостным правом»*<sup>68</sup> и, следовательно, с его политической основой — самодержавием, то для Вал. Майкова было характерно то, что он отвлекался от этих насущных вопросов. Это игнорирование политического отношения к действительности приводило к тому, что, защищая объективно-историческую прогрессивность буржуазного развития, Вал. Майков вносил в свои работы и такие доводы в защиту этого развития, которые сглаживали и замалчивали противоречия капитализма и были, по существу, апологетичны по отношению к нему. Кроме того, Вал. Майков отрицал национальное своеобразие будущих исторических судеб народов, что приводило его к механическому перенесению на русскую почву социальных вопросов, стоявших перед Западной Европой. Именно Вал. Майкова имел в виду Белинский, когда, ведя борьбу одновременно против славянофилов и людей, склонных отрицать национальную самобытность русской истории, писал: «Одни бросились в фантастическую народность; другие в фантастический космополитизм»<sup>69</sup>.

Что касается философской стороны взглядов Конта, то Вал. Майков не только не был увлечен ими, но и собирался выступить первым в России публичным критиком их (ср. одновременную суровую оценку контовской «положительной системы» в частном письме Белинского к В. П. Боткину от 17 февраля

1847 года <sup>70</sup>). Ему чужда была «умеренность и аккуратность» контовского позитивизма, его буржуазно-филистерская ограниченность. Эти органические пороки системы он видел отчетливо. В набросках для второй, незавершенной, части своей работы «Общественные науки в России» Вал. Майков писал: «Положительная философия Конта есть не что иное, как трупоразъятие жизни, доступной познанию, бездушное разложение частей без уразумения их взаимных отношений».

В тех же набросках находим такие тезисы, которые собирался развить автор: «Кузен и Конт — представители аналитической односторонности в новейшей философии»; «Конт... Односторонний анализ убил философию как науку, обобщающую другие»; «Конт разочаровывает нас в обаянии синтеза». Плеханов замечает по этому поводу: «...его <Вал. Майкова> «симпатия» к позитивизму была, по меньшей мере, очень ограничена; нельзя исключить и то предположение, что он не больше был позитивистом, чем последователем Маркса» <sup>71</sup>.

Как все передовые люди второго этапа сороковых годов, Вал. Майков интересовался утопическим социализмом, причем уже не столько Фурье и Сен-Симоном, сколько Луи Бланом. Но «человек дела», как характеризовал его в своих воспоминаниях один современник, он решительно отвергал фантастические и мистические элементы системы. В сочинениях современных ему социалистических писателей его привлекали не фаланстеры, в которые он не верил, но «анатомия общественного нестроения».

Критика материальных условий жизни общества, в частности критика несправедливости капиталистического распределения имуществ, привлекала особенно пристальное внимание Вал. Майкова. Именно с этой стороны подходил он, хотя и со скептицизмом, к признанию величия социалистического идеала. В своих следственных показаниях по делу петрашевцев Н. Я. Данилевский (связанный с Салтыковым по лицею и по совместной службе в Канцелярии военного министерства) сообщал: «У Петрашевского познакомился я с Валерианом Майковым, много занимавшимся политической экономией. С ним имел много разговоров и споров об учении Фурье и думал со временем убедить его совершенно в истинности его...» Фурьеристом Вал. Майков не стал, но именно идеи утопического социализма легли в основу его критики частно-

собственнического общества. В неизданной статье 1845—1846 годов, дошедшей до нас в рукописных отрывках и представляющей, возможно, набросок определения понятия «аномалия» для «Словаря иностранных слов» Кириллова, Вал. Майков писал: «...Миллионы людей, задыхаясь и обливаясь потом, устремляют весь запас сил для того, чтобы удовлетворить одной потребности — потребности питания, а то, часто, умирают голодной смертью, и миллионы трупов сваливаются в землю, которая в одно время принимает в себя трупы других людей, умерших от избытка удовлетворения. Все это давно уже обратило на себя внимание людей мыслящих и заставило их смотреть на современное нам общество как на огромную аномалию, подавляющую развитие человека»<sup>72</sup>.

Разоблачительно-критические тенденции (хотя и ослабленные просветительскими надеждами на постепенное затухание классовой борьбы) составляли наиболее сильную сторону во взглядах Вал. Майкова. Несомненно, что именно эта их сторона и привлекала Салтыкова, а не буржуазно-просветительские иллюзии критика, нашедшие свое выражение в майковской социальной теории «дольщины».

Обостренное внимание к социальным противоречиям и проблемам материальной жизни общества, а также потребность в научном и практическом обосновании социалистических утопий с еще большей яркостью проявились у Вл. Милютина. Этот выдающийся русский экономист и социолог был связан с Салтыковым личной дружбой, в отличие от Вал. Майкова, взаимоотношения которого с будущим сатириком были более далекими и официальными. До переезда в Петербург Вл. Милютин жил и воспитывался в Москве. Он близко сошелся здесь со старшими братьями Л. Н. Толстого и с ним самим и однажды — это было в 1838 году — поразил своего младшего товарища, объявив ему «как последнюю новинку», «открытые сделанные в гимназии»: «что бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки»<sup>73</sup>.

В историю русской общественной мысли Вл. Милютин вошел собственно как автор политико-экономических статей, появившихся в «Отечественных записках» и «Современнике» на протяжении лишь одного 1847 года. Цензурно-полицейский террор следующего, 1848, года прекратил едва начавшуюся литературную деятельность

21-летнего учёного и публициста. Наступившая затем глупая ночь реакции начала пятидесятых годов, с одной стороны, замкнула Вл. Милютина в тесных рамках академической деятельности в Петербургском университете, а с другой стороны, бросила его в сферу «сообщества черно-книжия», организованного в пору разложения круга «Современника» А. Дружининым, М. Лонгиновым и Д. Григоровичем. Но этот упадок, подготовивший скорую гибель Вл. Милютина, был уже за пределами его непосредственного общения с Салтыковым, находившимся в ссылке.

Статьи Вл. Милютина в «Отечественных записках» и «Современнике» 1847 года: «Пролетарии и пауперизм в Англии и Франции», «Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии (Сочинение Александра Бутовского. Три части, СПб. 1847)» и «Мальтус и его противники» произвели сильное впечатление в радикально-демократических кругах и явились значительным событием в идейной жизни конца сороковых годов.

Эти статьи с увлечением читались в кружках петрашевцев, как о том свидетельствует А. И. Пальм (Альминский) в своем мемуарном романе «Алексей Слободин». Ими интересовался молодой Чернышевский, их сочувственно встретил Белинский (см. «Взгляд на русскую литературу 1847 года», где они названы среди «главнейших» из «замечательных ученых статей» этого года), так отозвавшийся о Милютине в письме к В. П. Боткину от 4—8 ноября 1847 года: «Он занимается соп атоте\* и специально политической экономией... Его направление дельное и совершенно гуманное, без прекраснодушия». Это «направление» идейно и психологически было близко исканиям Салтыкова. Оно явилось почвой, на которой установилась идейная и лично-дружеская близость между Салтыковым и Вл. Милютиним. Сближение же последнего с редакцией «Современника» непосредственно содействовало и сближению Салтыкова с журналом Белинского и Некрасова, где он начал сотрудничество с октябрьской книжки 1847 года, то есть на два месяца позже Вл. Милютина.

Определяя содержание и значение названных выше статей Вл. Милютина 1847 года, современный исследова-

---

\* С любовью (итал.).

тель русской общественно-экономической мысли XIX века пишет:

«Крупнейшей заслугой Милютин был развернутый анализ причин растущего обнищания и пауперизма на Западе. Этот анализ давал богатый материал для критики капитализма, хотя у самого Милютин не было еще достаточно ясного научного представления о природе капиталистического способа производства. Другой заслугой Милютин является оригинальная критика современной ему вульгарной экономии, опирающаяся на глубокий анализ истории экономических учений. Этим самым он способствовал расчистке почвы для распространения в России социалистических идей. Третьей заслугой нашего автора является оригинальная постановка вопроса об утопическом социализме, в частности выдвижение идеи о том, что утопия должна быть превращена в науку. Если ему не удалось решить этой крупнейшей научной задачи, то сама эта попытка была очень оригинальной и плодотворной. Она позволила ему дать критику некоторых сторон утопического социализма... Критикуя западноевропейских социалистов-утопистов, он стремился преодолеть присущий им идеализм, противопоставляя последнему понимание объективных закономерностей общественной жизни»<sup>74</sup>.

Весь этот комплекс вопросов, занимавших Вл. Милютин и разрабатывавшихся им, входил и в проблематику идейного развития Салтыкова в конце сороковых годов.

Что касается социально-политических взглядов Вл. Милютин, то они, в отличие от его экономических воззрений, не получили сколько-нибудь отчетливого выражения в его статьях. Но отдельные высказывания и замечания в этих последних показывают, что политическое содержание идеологии Милютин не выходило за пределы буржуазного просветительства.

Правда, Милютин не был вовсе чужд теоретических представлений о необходимости коренного переустройства существующих общественных отношений.

«Интересы капиталистов, — заявлял он, — не только не тождественны с интересами работников, но прямо противоположны им» и утверждал: «Недалеко то время, когда, не довольствуясь одними частными мерами, приступят к полному и существенному преобразованию хозяйственных отношений и заменят ныне существующее



неустройство более правильной, твердою и разумною организациею труда». Он критиковал Сисмонди за то, что тот «...вовсе не понимал настоящего смысла современных требований и думал отделаться ничтожными полумерами, когда дело шло о радикальном преобразовании на Западе экономического устройства»<sup>75</sup>. Тем более необходимым должно было представляться Милютину такое «радикальное преобразование» для России, о чем он не мог писать по цензурным условиям. Но, не видя в русских исторических условиях своего времени революционного народа и не веря поэтому в активность народных масс, Милютин в поисках практического способа осуществления своего «радикального преобразования» фатально возвращался к осужденным им утопическим средствам.

Главные надежды Вл. Милютин возлагал на «просвещенное правительство» (понимаемое в качестве некоей надклассовой силы) и на его «образованных деятелей», способных осуществить коренное переустройство общества методом «постепенного усовершенствования». Этот метод он считал естественным и единственно практически осуществимым. «Скачки» в общественном развитии он отрицал. Так, например, критикуя современных ему утопических социалистов, Вл. Милютин писал: «Забывая преимущественно о том, чтоб найти тип самой совершенной, самой разумной организации труда, они недостаточно сознают, что человечество не может делать скачков в своем развитии и не может, следовательно, перейти прямо и без приготовления из нынешнего своего состояния в состояние полного и безусловного совершенства. Если бы новые школы понимали эту истину, они бы обратили свое внимание преимущественно на то, чтоб найти средства для постепенного усовершенствования экономической организации».

Таким образом, Милютин выступал в своих статьях (1847 года) теоретиком мирного, а не революционного способа разрешения общественных противоречий жизни. Однако в своих конкретных характеристиках этих противоречий он с поразительной яркостью вскрывал их глубину и непримиримость, чем не только способствовал разоблачению апологетов буржуазного строя, но и вступал в противоречие с собственными теориями постепенного и мирного устранения бедствий трудящихся при капита-

лизме. «Если мы не будем останавливаться на одной поверхности, — писал Вл. Милютин, — а проникнем в самую глубину современной жизни, то увидим, что под внешним блеском и богатством государств Западной Европы кроется язва нищеты и страданий, язва страшная и глубокая. Мы увидим, что эта нищета и эти страдания постоянно тяготеют над рабочими классами, что никакая предусмотрительность, никакая деятельность, никакие добродетели не могут спасти их от этого рокового и неотвратимого жребия»<sup>76</sup>.

Для просветительских иллюзий Вал. Майкова и Вл. Милютина весьма показателен, в частности, их интерес к известному сочинению французского утопического социалиста Франсуа Видаль «О распределении богатств» («De la répartition des richesses»), появившемуся в 1846 году. С яркостью и рельефностью почти художественного изложения оно вскрывало антагонизм частнособственнического общества, рисовало картины противоречий буржуазно-капиталистического строя, проникнутого «социальной войной», или «войной между трудом и капиталом». Положить предел «аномалии общественного развития», указывал автор, может только система коммунистических ассоциаций, построенных по принципу «от каждого по его способностям, каждому по его потребностям». Но теоретическое якобинство уживалось в Видале с инстинктивным отвращением к борьбе. Его конкретная социально-политическая программа отвергала революционные пути. В полном согласии с сен-симонистами Видаль отводил в своих надеждах на переустройство общества огромную роль аппарату «центральной власти», организованной в форме «демократии», имеющей «просвещенных и преданных идее чиновников-функционеров» и потому «способной осуществлять истинные стремления народа»<sup>77</sup>.

Влияние этой просветительской утопии, ставившей «государство» и его аппарат (понимаемые в качестве неких надклассовых сил) во главе социально-политической борьбы, сильно сказывается местами в рассуждениях как Вал. Майкова, так и Вл. Милютина, особенно в работе последнего «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции» (сочинение Видаль указано в числе источников этой работы самим автором). Знал о проектах Видаль и Салтыков и не только из статей своих друзей, но и непосред-

ственно. Нам известно, что он брал труды Видаля из библиотеки петрашевцев. Очутившись же в ссылке в период пережитого там идейного кризиса, Салтыков сделал попытку своеобразного практического применения этих взглядов на своей «обязательной службе» (см. об этом в следующей главе). Наряду с сен-симонизмом, но ближе, непосредственнее, они должны быть названы в числе прямых источников, теоретически питавших и оформлявших в пятидесятые годы надежды сатирика на «просвещенную бюрократию».

Но главным источником таких иллюзий, разумеется, и здесь являлась исторически обусловленная ограниченность тех политических выводов, к которым приходили наши социалисты и демократы сороковых годов в результате своих непосредственных наблюдений самой русской действительности. Те или иные авторитеты западноевропейского утопического социализма использовались лишь для идеологического обоснования и подкрепления взглядов, возникавших органически, из определенно понятых практических задач, выдвигавшихся ходом исторического развития в России.

В применении к зрелому капиталистическому обществу и в условиях нарастающей борьбы пролетариата «положительная программа» Видаля означала, по сути дела, буржуазный реформизм. В России же тех дней, еще скованной феодальными путами крепостного права и абсолютизма, где не было ни активно действующей буржуазии, ни развитого рабочего движения, ни широкой политической жизни, такого рода идеи претерпевали при их восприятии весьма существенные изменения и играли совсем иную роль. Формула о «центральной власти» — организаторе общественного прогресса, в русских исторических условиях, естественно, раскрывалась как направленная, в первую очередь, против самодержавия, против всей возглавлявшейся им системы полицейско-помещичьего, крепостнического государства.

Теоретически незрелые или ошибочные формулировки не должны затушевывать для нас объективный, конкретно-исторический смысл идеологической борьбы этих людей, так же как цитаты из Прудона или Видаля не должны скрывать национальное содержание и национальный пафос этой борьбы.

Это были настойчивые и страстные поиски путей вы-

хода на арену практической общественной деятельности в стране, где политическая жизнь находилась, по выражению Белинского, «в апатическом полусне», где демократическая интеллигенция была еще очень оторвана от народа («А народ — мы не знали о нем», — вспоминал в «Недавнем времени» о сороковых годах Некрасов), а передовая мысль билась и задыхалась в заколдованном кругу теории, далеко не всегда умея выбраться за его пределы, в гущу действительности.

Чернышевский, говоря о последнем этапе сороковых годов, отмечал «неудовлетворительность литературных вопросов для Белинского». Тургенев, со своей стороны, писал: «Незадолго до смерти Белинский начинал чувствовать, что наступило время сделать новый шаг, выйти из того тесного круга; политико-экономические вопросы должны были сменить вопросы эстетические, литературные; но сам он себя уже устранял и указывал на другое лицо, в котором видел своего преемника, — на В. Н. Майкова»<sup>78</sup>.

Преемником великого критика Вал. Майков не стал, да и не мог им стать, как мы видели. Преждевременная смерть (он погиб в возрасте 24 лет) не дала ему сколько-нибудь полно проявить себя. А в той мере, в какой определилось «общее направление» его идейных исканий, оно, как сказано выше, уклонилось в сторону от направления развития мысли Белинского.

В заключительной части приведенного высказывания Тургенева, как и в цитированных выше словах Анненкова о Вал. Майкове и Вл. Милютине, это существенное обстоятельство осталось нераскрытым. Но Вл. Милютину все же удалось, несмотря на всю кратковременность его деятельности и ошибочность многих взглядов, ярко выразить наметившийся в русской демократической мысли последнего этапа сороковых годов и горячо поощрявшийся Белинским повышенный интерес к вопросам политической экономии и критики капитализма. А этот интерес был объективно связан с актуальнейшим вопросом того времени: о способах предстоящей ликвидации крепостнических отношений в стране и путях дальнейшего развития России.

Наряду с преимущественным интересом к политико-экономическим вопросам Вл. Милютин отразил в своей деятельности и другую характернейшую черту идейных

исканий передовой русской мысли конца сороковых годов — борьбу против абстракций утопического социализма, борьбу за «действительность». «Необходимо, — писал Вл. Милютин, — освободить утопию от ее мистического, мечтательного характера и придать ей характер рациональный и положительный, необходимо, другими словами, изучить и понять действительность, раскрыть ее стремления и силы и сообразно с этим видоизменить самую мечту, сблизив ее с жизнью»<sup>79</sup>.

В повести «Брусин», отражающей итоги идейного развития Салтыкова в сороковые годы, содержится призыв «действовать, как можно больше действовать». Эта страстная потребность практики, дела, на почве которой могли возникать и действительно возникали свои иллюзии, свои утопии просветительского характера, и явилась той основой, на которой произошло сближение Салтыкова с Вл. Милютиным, а также, хотя и в гораздо меньшей степени, с Вал. Майковым. В обстановке этого сближения создавались первые повести сатирика. Они носят на себе явственные следы их идейного общения и споров. Приведем несколько относящихся сюда иллюстраций.

Призывая писателей к выходу за пределы обычных литературных тем, Вал. Майков рекомендовал им «заниматься основательным изучением экономического мира» и смело ставить в беллетристических произведениях «вопрос о бедности и богатстве» (статья о Буткове). Салтыков и поставил этот вопрос как в «Противоречиях», так и особенно в «Запутанном деле». Вал. Майков выступал с защитой «свободы» научного исследования» и с требованием во имя ее разоблачать «призрачные взгляды» — те идеи и факты, которые, будучи приняты «несколько сот лет тому назад за несомненную истину», превратились затем в «безобразные призраки», превращающие науку в «поборницу притеснения» («Об отношении производительности к распределению богатств»). О властной силе «призраков», «призрачных взглядов», давящих на сознание людей и тормозящих их движение к идеалу, говорит Салтыков в своих первых («Глава», «Противоречия») и во многих позднейших произведениях, а в 1864 году он посвятит этой теме специальную статью «Современные призраки».

В щедринской философии истории понятие «призраков» играет большую и крайне интересную роль.

Вл. Милютин в работе «Пролетарии и пауперизм в Англии и Франции» ставил себе задачей ответить на вопрос, почему, «в странах, славящихся своим богатством и благосостоянием, тысячи, миллионы людей рождаются только для того, чтобы претерпевать всевозможные страдания». Герой салтыковского «Запутанного дела» бедняк-труженик Мичулин, чья жизнь — «горестный ряд преследований и лишений», мучается над решением того же вопроса, но уже находит свой ответ на него. «Россия, — говорит он, — государство обширное, обильное и богатое, да человек-то глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве».

Здесь уже содержится зерно будущей главной темы Щедрина — темы обличения народной (крестьянской в первую очередь) непробужденности, темы, занявшей в его творчестве, особенно после краха революционной ситуации конца пятидесятых и начала шестидесятых годов, такое огромное место («История одного города» и др.).

Герой другой ранней повести Салтыкова — Нагибин, развивая мысли о многообразных противоречиях жизни и о необходимости обосновывать «утопии» законами «исторического развития действительности», делает это очень схоже с постановкой тех же проблем в статьях Милютина. Последний также говорил о «всеобъемлющем законе противоречий и аномалий современной жизни», а выбор путей в будущее стремился определить при помощи «философии истории» как «положительной науки» «объясняющей способ перехода идеала в действительность и развитие действительности сообразно с идеалом»<sup>80</sup>. Лишь такая наука, утверждает Милютин, а вместе с ним и герой первой салтыковской повести, основанная на изучении действительности, ее законов и сил, в состоянии придать утопии конкретное содержание и превратить ее из фантастического мечтания в реально достижимую цель.

Обе ранние повести Салтыкова воспринимаются местами как художественные параллели к отдельным публицистическим высказываниям в статьях Вал. Майкова и Вл. Милютина. Недаром он назвал первую повесть

«Противоречиями» — словом, выразившим одно из опорных понятий социолого-экономических взглядов Вл. Милютина, и повесть эту посвятил ему, Вл. Милютину. Это было не только простой данью дружбы, но и обозначением общности идейных интересов, питавших их творческую работу.

Было бы, однако, совершенно неправильно заключить на основании сказанного, что Салтыков следовал в своих идейных исканиях и в своем творчестве за Вал. Майковым и Вл. Милютиным. Его развитие определялось всем ходом передовой русской мысли эпохи и протекало в том основном ее направлении, возглавляемом Белинским, от которого как раз отклонялись Вал. Майков и Вл. Милютин. К тому же и по возрасту и по равному положению начинающих литераторов их взаимоотношения менее всего могли быть взаимоотношениями «ученика» и «учителей». Это были равноправные товарищеские отношения людей, облизившихся на почве совместной литературной работы (в «Отечественных записках» и «Современнике») и некоторых общих, еще недостаточно дифференцированных идейных интересов. Но общность интересов не означала совпадения общественно-политических позиций Салтыкова, Вл. Милютина и Вал. Майкова. Их взгляды по основным общественным и литературным вопросам во многом резко расходились. Расхождение это отражало процесс общего идеологического размежевания в рядах оппозиционно-демократического лагеря. В сложной обстановке конца сороковых годов — периода перехода от первого, дворянского, этапа русского освободительного движения ко второму, разночинскому, все явственнее и резче обозначались две политические линии: революционно-демократическая и либеральная. Путь развития Салтыкова определялся первой линией, путь Вал. Майкова и Вл. Милютина — второй. Присущая будущему сатирику самостоятельность мысли вполне обнаруживалась и на этом раннем этапе становления его идеологии.

Этап этот был отмечен, в первую очередь, критическим восприятием утопического социализма. Салтыков не стал последователем какой-либо определенной социалистической системы того времени. Но общий для всех этих систем социалистический идеал гармоничного, до конца согласованного человеческого общества навсегда остался путеводным маяком для мысли и творчества сати-

рика. Фурье, Сен-Симон и их последователи не знали, где должны пролегать те пути, которые вели к этой отдаленной вершине. Поиски этих путей становятся основной задачей русских социалистов и демократов-просветителей сороковых годов, Петрашевского в частности. Однако у Петрашевского призывы к трезвому изучению действительности своеобразно сочетались с такого рода всплывками политической романтики, как его известный опыт организации социалистического фаланстера в... крепостнической деревне, или его утверждение (в записке, представленной в следственную комиссию), что в 5—6 лет учение Фурье может быть осуществлено. А у Майкова и Милютина стремление пробиться к общественной практике, желание найти пути воздействия на ход исторического процесса приводили к некритическому усвоению и пропаганде реформаторских рецептов буржуазных социалистов Запада.

В основном, решающем, Салтыков остался чужд и той и другой крайности. Он не испытал увлечения ни социалистическим романтизмом Петрашевского, ни фантастическими сторонами учения Фурье или Сен-Симона, но и не стал на путь теорий примирения непримиримого. Личная близость с Вал. Майковым и особенно с Вл. Милютиным как с людьми, специально разрабатывавшими, притом с позиций утопического социализма, актуальные вопросы политической экономии, могла помочь Салтыкову полнее и ярче увидеть материальные условия жизни классового общества, его антагонистическую сущность. А это, в свою очередь, могло способствовать выработке в нем критико-реалистического восприятия социалистического идеала. Конкретных путей к его осуществлению в условиях русской действительности Салтыков еще не видел, о чем и заявил с присущей ему прямотой в своих повестях. Но направление, в котором он искал выхода из «противоречий» и «запутанных дел» общественной жизни, уже определялось. И оно было шире и плодотворнее, чем у Вал. Майкова и Вл. Милютина. Об этом свидетельствует, во-первых, отсутствие в произведениях Салтыкова сороковых годов чего-либо похожего на увлечение либерально-просветительскими утопиями его друзей. Это подтверждают, во-вторых, те образы «жадных волков» — эксплуататоров, которых нужно убить, чтобы освободиться от них, и тот образ революционной толпы, созданные Сал-



тыковым в «Запутанном деле», для которых не находится идейно-политического эквивалента в статьях и высказываниях Вал. Майкова и Вл. Милютинина.

В области собственно литературных взглядов позиции Салтыкова и Вал. Майкова (Вл. Милютин вопросами литературы специально не занимался) также совпадали не полностью. Корень расхождения был тот же, что и в известном споре между Белинским и Вал. Майковым по вопросу о «гоголевском направлении» и «натуральной школе».

Как и Белинский, Вал. Майков выступал сторонником Гоголя и созданного им направления. В статье «Нечто о русской литературе в 1846 году» Вал. Майков писал, что «Гоголь своими произведениями содействовал к совершенной реформе эстетических понятий в публике и в писателях, обратив искусство к художественному воспроизведению действительности. Произвести переворот в этих идеях значило бы поворотить назад»<sup>81</sup>.

Называя Гоголя в другой статье «величайшим поэтом-аналитиком, давшим надолго нашей литературе направление критическое», Вал. Майков в отличие от Белинского считал, однако, такое направление уже недостаточным в новых условиях общественного и литературного развития. Для литературы, укрепившейся на основе гоголевского реализма, пришло время, утверждал он, поставить новые задачи «прямой», то есть положительной, а не только «отрицательной» борьбы за общественный идеал («утопию»). «...Эпоха критики», — писал Вал. Майков, — должна быть в то же время и эпохой утопии (принимая это слово в его первоначальном разумном значении): иначе человечество утратило бы всю энергию живых стремлений и осталось бы без ответа на призывы бытия»<sup>82</sup>.

Майковские призывы к защите «утопий», к пропаганде хотя и отдаленных, но целеустремленно направляющих литературу идеалов будущего не могли сами по себе вызывать возражения у Белинского. Были они близки и молодому Салтыкову. Борьба за «идеал», защита «утопий», вера в «будущее» образуют характернейшую черту всего идейного пути сатирика, от его первых повестей сороковых годов до предсмертного наброска «Забывшие слова». Однако предложения Вал. Майкова к писателям «натуральной школы» заняться поисками воплощения

идеала в конкретные положительные образы остались чужды творчеству молодого Салтыкова. Тема эта остро встала перед ним лишь на следующем этапе его творчества, в шестидесятые годы, когда на исторической арене русской жизни появилось поколение «новых людей» — демократов-разночинцев. «Новая русская литература, — указывал по этому поводу Салтыков в 1868 году, — не может существовать иначе, как под условием уяснения тех положительных типов русского человека, в отыскании которых потерпел такую громкую неудачу Гоголь» (VIII, 58).

В идеологической же ситуации конца сороковых годов первоочередные задачи освободительного движения в стране, в том числе и на литературном участке борьбы, заключались не столько в разработке конкретных положительных идеалов, положительных программ и «положительных типов» (что было обречено на неудачу, так как историческая действительность еще не сформировала в самой жизни искомым носителей идеала), сколько в расшатывании устоев крепостничества и самодержавия, в раскрытии и обличении того отрицательного, что веками вносилось антинародными режимами в русскую историческую жизнь, быт и нравы.

Ленин определял Белинского как предшественника, «еще при крепостном праве», русских революционных просветителей шестидесятых годов. А о последних Ленин писал: «Просветители» вовсе не ставили вопросов о характере пореформенного развития, ограничиваясь исключительно войной против остатков дореформенного строя, ограничиваясь отрицательной задачей расчистки пути для европейского развития России»<sup>83</sup>. В свете ленинской характеристики просветителей в полной мере раскрывается великий исторический смысл борьбы Белинского за «отрицательное направление» в русской литературе, равно как разъясняется справедливость плехановской оценки «общего направления» развития Вал. Майкова как развития, уклонявшегося в сторону от пути Белинского и русской революционной демократии вообще. Предпринятая Вал. Майковым борьба за преодоление «односторонности» «отрицательного направления» путем сочетания его с пропагандой «утопий» была не только несвоевременна, но и вредна, поскольку она

стремилась вывести передовое течение русской литературы из русла «отрицательного направления». На это и указывал Вал. Майкову Белинский, полемизируя с его попытками ограничить и ослабить в «натуральной школе» то, что было в ней ее главной силой, — социальную критику и обличение. Белинский писал по этому поводу: «Но если бы... преобладающее отрицательное направление и было одностороннею крайностью, и в этом есть своя польза, свое добро: привычка верно изображать отрицательные явления жизни, не становя их на ходули, не преувеличивая, словом, не идеализируя их риторически»<sup>84</sup>.

Эти взгляды Белинского оказались одним из важнейших теоретических источников для формирования эстетического кодекса Щедрина. Эстетику «отрицательного», то есть сатирического изображения социальной действительности Щедрин усматривал в подчинении этого изображения интересам служения «идеалу будущего», передовой общественной тенденции, носителем которой должен был являться сам писатель. «Поворот от социальных проблем к психологическим, от изображения общественной среды к изображению самого человека — вот как — по характеристике Н. И. Мордовченко — мыслилась Вал. Майковым перспектива развития натуральной школы... Белинский же стремился укрепить и обосновать общественно-историческое понимание человека: психологические проблемы рассматривались им как производные от социальных и не противопоставлялись друг другу»<sup>85</sup>.

Основываясь на первых беллетристических опытах Салтыкова, можно предполагать, что он не избежал некоторого воздействия литературно-критических взглядов своего старшего товарища в той области, о которой сейчас идет речь. Творческие искания автора «Противоречий» отвечали, при всей незрелости их конкретных художественных результатов, направлению критической мысли Вал. Майкова. Суровый отзыв Белинского об этой первой повести сатирика (см. ниже) был вызван, нужно думать, не только ее художественным несовершенством, но и теми тенденциями психологизма, против которых выступал Белинский и которые теоретически защищались и пропагандировались Вал. Майковым. Однако уже следующей своей повестью — «Запутанное дело» — Салтыков показал, что в споре Белинского с Вал. Майковым об «отрицательном направлении» и «утопиях», о «социаль-

ном» и «психологическом» будущий сатирик встал на позиции первого. Дальнейшее лишь подтвердило прочность и полноту этого самоопределения. Не кому иному, как именно Щедрину, суждено было впоследствии стать величайшим после Гоголя писателем того критического «отрицательного направления», за которое с такой энергией ратовал Белинский. В этом смысле Щедрин как гений социальной критики в русской художественной литературе, как ее крупнейший сатирик был как бы теоретически пред-указан и подготовлен Белинским, был одним из «результатов» его работы, направленной на создание литературы русского критического реализма. Это было видно уже современникам. Это имел в виду И. С. Тургенев, когда писал в 1869 году в своих «Воспоминаниях о Белинском»: «Как бы порадовался он <Белинский> поэтическому таланту Л. Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова»<sup>86</sup>.

### ИТОГИ «ШКОЛЫ ИДЕЙ»

Объяснение действительности «служило мне только как отправной пункт, из которого я пошел далеко вперед, от которого, идя шаг за шагом по горячим следам развития человечества, я пришел к признанию другой действительности, — действительности не только возможной, но непременно имеющей быть».

*Щедрин. «Противоречия».*

«Что передовые русские люди 40-х годов не могли сделаться основателями научного социализма, это в достаточной мере объясняется экономической отсталостью России... Но что эти люди дошли до сознания неудовлетворительности утопического социализма, это свидетельствует об их выдающейся даровитости».

*Плеханов. Соч., XXIII, 408.*

Петербургские годы молодого Салтыкова отмечены не только большим напряжением и размахом его идейных исканий. Это также годы усиленных занятий самообразованием, при помощи которого он стремился восполнить недостатки своего лицейского воспитания. Прямых документально-биографических свидетельств этих занятий сохранилось немного. Но произведения Салтыкова тех лет

(художественные и литературно-критические), позднейшие припоминания и указания в письмах и сочинениях позволяют, например, довольно полно представить себе его «круг чтения» тех лет. И когда устанавливаешь списки книг, прочитанных им за три-четыре года, то поражаешься серьезности и, главное, целеустремленности их выбора.

Не говоря уже о его полной осведомленности в русской критике, беллетристике и публицистике тех лет, он был в курсе главных течений и событий современной ему иностранной литературы, преимущественно французской. Он прочел многое из тогдашней очень обильной социалистической литературы — произведения Сен-Симона, Фурье и Оуэна, а также Консидерана, Прудона, Кабэ, Луи Блана, Видаля, Пьера Леру, изучал классические политико-экономические трактаты Ад. Смита и Рикардо, пристально интересовался современной политико-экономической литературой Запада, штудировал философские работы французских материалистов XVIII века, например Кабаниса и т. д.

Как уже было сказано, Салтыков состоял некоторое время пайщиком в «складчинной библиотеке» петрашевцев, организованной в 1845 году. Кроме того, он мог, несомненно, пользоваться также и книгами из личной библиотеки самого Петрашевского, широко предоставлявшего эту возможность своим друзьям и знакомым.

Материалы следствия по делу петрашевцев документально устанавливают, что в этих библиотеках имелись среди прочих книг не только сочинения социалистов-утопистов, не только труд Л. Фейербаха «О сущности христианства», но и первые труды основоположников научного социализма: «Положение рабочего класса в Англии» Фр. Энгельса (1845) и «Нищета философии» К. Маркса (1847, на французском языке)<sup>87</sup>.

Читал ли и Салтыков эти книги — сведений нет (если не считать упоминания имени Фейербаха в «Запутанном деле»), но его знакомство с ними, хотя бы понаслышке, отнюдь не исключается. На своих собраниях петрашевцы делились друг с другом впечатлениями от прочитанных ими книг. Как в каждом тесном кружке, такой обмен впечатлениями, вызывая интерес к книжной новинке, обычно приводил к тому, что с ней знакомились и все остальные члены кружка.

В сороковые годы Салтыков заложил фундамент своей образованности, которая так выделяла его позже среди многих писателей современников, что, в частности, отмечал Чернышевский. Так, в одной из записей его секретаря К. Федорова говорится: «Главный недостаток русских писателей, вызывавший его <Чернышевского> осуждение, по его мнению, заключается в отсутствии у них образования и в особенности политического. Зато очень ценил Чернышевский Салтыкова-Щедрина, который, по его словам, отличался обширным образованием. «Да, это человек широкого политического развития, не то что другие», — говорил Чернышевский»<sup>88</sup>.

Накопление знаний увлекало Салтыкова не само по себе и не для целей какой-либо научной работы, так как о деятельности ученого он, повидимому, никогда всерьез не мечтал (однако, вспоминая потом послелицейские годы и трудности своего юношеского самоопределения, Щедрин писал: «Боже мой, какое это было тяжкое время! Куда я не бросался? и в сочинительство... и в науку... и в службу...» — IV, 181).

Это были настоячивые поиски теоретического фундамента для той новой демократической и социалистической идеологии, которая вызревала в условиях подъема освободительного движения в конце сороковых годов и к которой Салтыков впервые был подведен Белинским и Петрашевым.

Каковы же были общие итоги «школы идей», пройденной Салтыковым?

Как и у всех петрашевцев, развитие Салтыкова в эти годы совершалось под знаком восприятия и усвоения идей утопического социализма, в первую очередь идей трех его крупнейших представителей, Сен-Симона, Фурье и Оуэна, которых научный коммунизм считает в ряду своих предшественников. «Немецкий теоретический социализм, — писал Энгельс, — никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, Фурье и Оуэна, трех людей, которые при всей фантастичности и всем утопизме своих учений принадлежат к величайшим умам всех времен и которые гениально предвосхитили бесчисленное множество положений, правильность которых мы доказываем теперь научно»<sup>89</sup>.

Но к какому течению и оттенку тогдашней социали-

стической мысли (ибо их было несколько) примыкал Салтыков?

В позднейшем очерке «Имярек», автобиографическая подкладка которого очевидна, сатирик писал: «Глядя на жожаков, он называл себя фурьеристом, но, в сущности, смешивал в одну кучу и сен-симонизм, и икаризм, и фурьеризм и скорее всего примыкал к сен-симонизму. В особенности его пленяла Жорж Занд в своих первых романах. Он зачитывался ими до упоения...» (XVI, 716).

Эту ретроспективную самооценку следует признать в общем правильной. Специальное обследование этого вопроса подтвердило ее<sup>90</sup>.

В отличие от самого Петрашевского и подавляющего большинства петрашевцев Салтыков больше интересовался идеями Сен-Симона, хотя, разумеется, не стал оттого каким-то «русским сен-симонистом». Это зависело, в первую очередь, от того, что к социалистической мысли Салтыков был подведен впервые все же не Петрашевским, а Белинским, получившим ее, в свою очередь, из рук Герцена и его кружка. А в формировании социалистической мысли Герцена первенствующую роль из западноевропейских утопических систем играл, как известно, сен-симонизм, а не фурьеризм.

Так же как у Герцена и особенно Белинского, знакомству Салтыкова с сен-симонизмом способствовало его увлечение Жорж Санд периода ее «первых романов», таких, как «Индиана», «Валентина», «Жак». И действительно, общие социальные идеи Жорж Санд, ее проповедь сочувствия угнетенным и служения человечеству в целом, ее убеждение, что личные страдания и пороки людей являются следствием уродливого общественного строя, столь близко подходили к духу сен-симонизма, что ее социальные романы являлись как бы художественным выражением доктрины великого утописта.

Именно так и воспринимал их Белинский. «Profession de foi сен-симонизма в форме повестей, драм, романов», определял он идеологическое содержание творчества Жорж Санд, а ее самое называл «обвинителем, изобличителем и нравственной карой» буржуазного общества, «гениальной женщиной», «бесспорно первой поэтической славой современного мира» и т. п. Эти суждения и оценки Белинского соответствующим образом определяли идей-

но-политическое и эстетическое восприятие Жорж Санд русскими утопическими социалистами сороковых годов, в том числе Салтыковым и молодым Чернышевским, записавшим в своем дневнике за 1849 год «Поклоняюсь... Жоржу Занду более всего»<sup>91</sup>.

Напомним, что не менее пристальным и сочувственным интересом характеризуется в эти годы отношение к Жорж Санд и со стороны всей социалистической демократии Запада, включая и основоположников научного социализма. «Направление таких беллетристов, как Жорж Санд, является, несомненно, знамением времени», — писал тогда Энгельс. А Маркс именно у Жорж Санд нашел те яркие слова, выражающие его тезис о непримиримости классовых противоречий, которыми цитатно заключил «Нищету философии»: *«Война или смерть; кровавая борьба или уничтожение. Такова неотразимая постановка вопроса»*<sup>92</sup>.

Для молодого Салтыкова сен-симонизм был важен не его утопической стороной, так же как жорж-сандизм не его феминизмом. Он видел в них новые и высшие демократические формы гуманизма. Пафос человеческой мысли, соединенный с широкими историческими обобщениями, освобождение человека от гнета частнособственнической семьи и христианоко-аскетической морали, устранение религии без погружения в бесплодный скепсис, исторический оптимизм и, наконец, страстная проповедь необходимости «немедленного улучшения умственного, морального и физического положения класса самого многочисленного и самого бедного» (в николаевской России эта формула, естественно, переосмыслялась и переадресовывалась крепостному крестьянству) — вот что привлекало Салтыкова в учении Сен-Симона и в романах Жорж Санд. Оба этих имени, а также имя Роберта Оуэна — «великого британца» — упомянуты в первой повести Салтыков «Противоречия», причем Сен-Симон назван «любимейшим писателем» героини повести и приведено его известное изречение: «Золотой век <социализма> — впереди нас» (I, 119, 134 и 169).

Более сложным и критичным было отношение Салтыкова к Фурье. Фантастика, в которую облакались его проекты общественного переустройства, была чужда трезвой, реалистической мысли Салтыкова. Начиная с первых повестей и на протяжении всей своей литератур-



ной деятельности Салтыков неоднократно критиковал «мечтательные» стороны утопического социализма, и знаменательно, что почти всегда эта критика связывалась им с именами Фурье и его последователей, но не с именем Сен-Симона. Так, в статье «Современные призраки» (1863) Салтыков, указывая на «непозволительность» «втискивать человечество в какие-либо новые формы жизни, к которым не привела его сама жизнь», писал: «Поэтому мне кажется, что так называемые утописты (в особенности Фурье и его последователи), доказывавшие необходимость новых общественных оснований, поступали ошибочно, выводя этот вопрос из сферы отвлеченной и регламентируя все подробности его осуществления» (VI, 388). И уже на склоне дней, в 1881 году, Щедрин писал о «практических идеалах»: «Я положительно убежден, что большее или меньшее совершенство этих идеалов зависит от большего или меньшего усвоения человеком тайн природы и происходящего отсюда успеха прикладных наук... Ведь и Фурье был великий мыслитель, а вся прикладная часть его теории оказывается более или менее несостоятельной, и остаются только неумирающие общие положения» (XIX, 185).

Щедринская критика утопического социализма, неизменная в своих основных позициях на протяжении всей его деятельности, в меньшей степени затрагивала Сен-Симона. Последний стремился обосновать свою систему всем предшествующим историческим развитием, хотя и понимаемым чисто идеалистически («наш проект выведен из хода человеческого ума»<sup>93</sup>), и в силу этого не прибегал к «регламентированию подробностей будущего». Историзм же был одной из отличительных черт, присущих мышлению и творчеству Салтыкова на всех этапах его развития. Недаром первое же критическое высказывание сатирика об утопическом социализме было сформулировано им в следующих замечательных словах, вложенных в уста Нагибина — героя его юношеской повести «Противоречия»: «Я не утопист потому, что утопию свою вывожу из исторического развития действительности» (I, 153).

Наиболее развернутую критику утопического социализма Щедрин дал впоследствии во введении к «Мелочам жизни», и опять-таки эту критику он связал, в первую

очередь, с именами Фурье и его последователей. Щедрин писал здесь:

«Ошибка утопистов заключалась в том, что они, так сказать, усчитывали будущее, уснащая его мельчайшими подробностями. Стоя почти исключительно на почве психологической, они думали, что человек сам собой, независимо от внешней природы и ее тайн, при помощи одной доброй воли, может создать свое конечное благополучие. Между тем, человечество искони связано с природой неразрывной связью и, сверх того, обладает прикладной наукой, которая с каждым днем приносит новые открытия. Фурье провидел ненужных анти-львов и анти-акул и не провидел ни железных дорог, ни телеграфа, ни телефона, которые несравненно радикальнее влияют на ход человеческого развития, нежели анти-львы... Он думал, что комбинированная им форма общезжития может существовать во всякой среде, не только не рискуя быть подавленной, но и подготавливая своим примером к восприятию новой жизни самых закоренелых профанов, — и тоже ошибся в расчетах. Затем, большинство его последователей было таково, что придерживалось именно буквы учения и, в особенности, настаивало на его подробностях. В результате оказалось явное противоречие с непрерывно нарастающими жизненными требованиями... Великие основные идеи о привлекательности труда, о гармонии страстей, об общедоступности жизненных благ и проч. были заслонены провидениями, регламентацией...» (XVI, 445—446).

Щедринская критика Фурье не означает, что сатирик не испытал глубокого и плодотворного интереса к мыслителю, которого Маркс и Энгельс считали одним из наиболее выдающихся предшественников научного социализма. В учении Фурье Салтыкова привлекала глубокая, сильная и блестящая критика самых основ классового общества, беспощадность, с какой он умел раскрывать всю «моральную нищету» частнособственнического мира, страстная вера в неизбежность гибели этого мира и в наступление царства разума и социальной справедливости, несущего счастье человечеству<sup>94</sup>.

Энгельс назвал Фурье в «Анти-Дюринге» «не только критиком, но и сатириком и даже одним из величайших сатириков всех времен»<sup>95</sup>. С другой стороны, всякий великий писатель середины XIX века (когда капитализм уже достиг своей зрелости), ставший на позиции к р и т и

к а частнособственнического общества, уже тем самым не мог, в той или иной мере, не быть обличителем этого общества, то есть сатириком.

Так утопический социализм Салтыкова включается в процесс его литературно-художественного самоопределения. Сатириком — и сатириком гениальным — Щедрин стал потому, что достиг идейных вершин, с которых мог сверху вниз смотреть на феодально-буржуазную цивилизацию, разоблачая ее институты («призраки») с такой мощью и глубиной, которые редко встречаются у социальных критиков домарксовской эпохи.

Обстоятельное знакомство с идеями французского утопического социализма, как мы видели, отнюдь не превратило Салтыкова в приверженца системы Фурье, Сен-Симона или других. Все эти системы, каждая по-своему, но в равной мере произвольно, «регламентировали» или «усчитывали» будущее. Для Салтыкова же, на всех этапах его развития, характерно отрицание антиисторических, искусственных конструкций социального строя будущего. Сам он не только не увлекался никогда такими конструкциями, но был настолько нетерпим к ним, что однажды обрушил свой критический сарказм даже на Чернышевского, высмеяв его знаменитую утопию из четвертого «сна» Веры Павловны в романе «Что делать?» (при глубоко-сочувственной оценке общей идеи и литературных достоинств романа).

Утопический социализм Салтыкова — в той мере, в какой он ему был действительно присущ, — это не социализм Фурье или Сен-Симона, а социализм Белинского, Герцена и Петрашевского, то есть русский утопический социализм сороковых годов, с его определяющим признаком — революционным просветительством как идеологией борьбы с крепостным правом и самодержавием.

У классиков утопического социализма Салтыков взял, по собственному определению, их «общие несуммируемые положения», то, что вошло в общее развитие социалистической мысли: их критику частнособственнического общества и тезис о «непременно имеющей быть гармонии» как неизбежном и законном продукте истории. Ссылки на законы истории, особенно подчеркнутые у Сен-Симона (как и у самого Щедрина), конечно, не означали еще приближения к историческому материализму или просто отчетливому пониманию неизбежности гибели буржуаз-

ного общества. Они исходили из просветительства и рационализма. Но непоколебимая, страстная вера в будущее, убежденность в конечном торжестве идеала гармоничного человеческого общества образовали фундамент теоретической мысли сатирика и всего его творчества.

Истоки исторического оптимизма Щедрина, которому он оставался верен на протяжении всего своего пути и который питал пафос его творчества, берут начало в объективных условиях русской действительности и в том сознании неограниченных возможностей ее развития, которое владело нашими передовыми людьми той эпохи.

Социалисты-утописты не могли, как известно, указать никаких реальных путей для достижения своей «непрерывно имеющей быть гармонии». «...Утопический социализм, — писал Ленин, — не мог указать действительного выхода. Он не умел ни разъяснить сущность наемного рабства при капитализме, ни открыть законы его развития, ни найти ту общественную силу, которая способна стать творцом нового общества»<sup>96</sup>. А вопрос о преобразовании действительности, об изменении общественных отношений неизменно возникал у русских утопических социалистов. Для практической же, деловой натуры Салтыкова он был и в субъективно-психологическом плане основным вопросом его идейного самоопределения.

Поиски реальной опоры для борьбы за общественный идеал являются характернейшей и решающей чертой социальных исканий Салтыкова в сороковые, да и в позднейшие годы. Обвиняя социалистов-утопистов Запада в игнорировании действительности, в подмене вопросов сущего вопросами должного и в увлечении «мечтательными фантазиями», Салтыков подходит к идее о необходимости превращения утопии в науку. «Всякая утопия нелепость» в том случае, если не может «предложить ни одного средства, как и м о б р а з о м нужно бы вести человека к этим будущим судьбам», — формулирует он эту замечательную для своего времени мысль в повести 1849 года «Брусин» (I, 294).

В восприятии и разработке проблем социализма Салтыков примыкает к целой фаланге выдающихся русских деятелей сороковых годов, возглавляемой именами Белинского, Герцена и Петрашевского. Достаточно вспомнить, какой резкой критике подвергал Белинский слабые стороны утопического социализма в своих письмах по-

следнего периода. Плеханов писал по этому поводу: «Его <Белинского> раздражение против утопического социализма, стоявшего на почве абстрактного отрицания существующего порядка вещей, выросло тем сильнее, чем болезненнее он сознавал необходимость найти конкретную, действительную почву для своего отрицания действительности»<sup>97</sup>. Сознавал это и Салтыков. Его позиции определялись здесь всем историческим своеобразием этого этапа развития русской передовой мысли.

Общий характер русского утопического социализма глубоко отличен от аналогичных течений в Западной Европе, и в частности во Франции. Это отличие коренится в ином историческом положении по отношению к национальной буржуазно-демократической революции. По определению Ленина, это была та всемирно-историческая эпоха, «когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата *еще не созрела*»<sup>98</sup>.

Для западноевропейских социалистов-утопистов — революция позади. Они имеют дело со сложившимся капиталистическим обществом. Рабочего класса они еще не видят или видят плохо. Они живут в мире, где законы буржуазной борьбы за существование царствуют почти безраздельно. Отсюда — отмеченные Лениным «буржуазные иллюзии» во французском утопическом социализме эпохи 1848 года, о котором он писал: «В сущности, это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание, в которое облекала свою *тогдашнюю* революционность буржуазная демократия, а равно не высвободившийся из-под ее влияния пролетариат»<sup>99</sup>.

Для русских социалистов сороковых годов мир еще не стал до конца буржуазным, тем более в собственной стране. Белинский и Герцен, Петрашевский и петрашевы глубоко проникнуты сознанием еще не совершившегося, но назревшего освобождения страны от пут крепостничества и самодержавного гнета. Дальнейшие пути национального развития еще не были ясны. Отсюда сознание возможности активно воздействовать на историю, направлять ее развитие и, следовательно, сугубо внимательные поиски практических средств для такого воздействия.

В силу всего этого русские утописты-социалисты отличались от современных им буржуазных и мелкобуржуазных социалистов Запада несравненно большим радика-

лизмом политических воззрений и были самостоятельны в своих исканиях. «У себя, в себе, вокруг себя, вот где должны мы искать и вопросов и их решений», — писал Белинский в 1847 году, иронизируя над бесплодностью «механического перенесения великого социального вопроса Европы на русскую почву»<sup>100</sup>. А так как у «себя», то есть в России, на очереди стояло решение великой задачи национального освободительного движения — ликвидация крепостнического строя, то сочетание утопических идей с политической борьбой, социализма с демократизмом и явилось главнейшей особенностью русских социалистов сороковых годов.

Правда, большинству петрашевцев теоретически еще было чуждо понятие революционного пути, хотя некоторые из них и мечтали о революции. Но стержнем их реальной политической программы являлась борьба за ликвидацию крепостного права, за гласный суд, за свободу печати, то есть за демократические преобразования, что и придавало, в условиях николаевской России, их «мирной» идеологической деятельности революционный характер. «Петрашевцы, — писал Герцен — были нашими меньшими братьями, как декабристы — старшими»<sup>101</sup>.

Поэтому, говоря о «петрашевстве» Салтыкова, нельзя сводить его только к усвоению, хотя бы и критическому, общих социальных и философских идей французского утопического социализма. Пафос увлечения этими идеями порождался у петрашевцев непосредственно задачами русского освободительного движения и был глубоко национален. К тому же Салтыков, как мы видели, не так уж тесно был связан с основным, «фурьеристским», ядром петрашевцев и во многом с ними расходился. Но вопрос о роли петрашевцев, их антикрепостнической и антимонархической идеологии в оформлении политического мировоззрения Салтыкова заслуживает специального изучения. Известно, какую поистине огромную роль в творчестве Щедрина сыграла борьба с крепостничеством и всеми его пережитками. Первоначальным же оформлением своей антикрепостнической идеологии Салтыков в значительной мере обязан, помимо Белинского, школе, пройденной им в кружках петрашевцев.

Сочетание социалистических идей с демократизмом (антикрепостнической идеологией), признание несправедливости существующего общественно-политического строя

и, вместе с тем, сознание неудовлетворительности утопического социализма как метода, «не обладающего действием» для борьбы за переустройство действительности, — таковы важнейшие итоги идейного развития Салтыкова в сороковые годы. Эти итоги, достигнутые в «школе идей» Белинского, уже содержали в себе, несмотря на незавершенность мировоззрения Салтыкова, главные предпосылки для его самоопределения в лагере революционной демократии, в лагере непримиримых борцов против самодержавия и крепостного права.

В школе Белинского, Петрашевского и утопического социализма Салтыков почерпнул основы и для своих философских взглядов. Теоретическими источниками для их формирования служили материалистические и атеистические воззрения просветителей XVIII века, Л. Фейербаха и — непосредственное всего — такое замечательное произведение русской философской мысли, как «Письма об изучении природы» Герцена.

Об интересе молодого Салтыкова к вопросам философии свидетельствует его рецензия 1847 года на «Логику» проф. Н. Зубовского (I, 340—342). Салтыков обрушивается здесь на силлогизм формальной логики и доказывает его несостоятельность с позиций материализма, отчетливо противопоставляя последний идеализму. При этом критика силлогизма дается в тесной связи с социально-политической практикой. Острота рецензии направлена против крепостного права и его защитников. Таким образом, уже в этой ранней работе Салтыкова определено общее направление его мировоззрения: материализм и глубоко социологический подход к вопросам философии и теории вообще, стремление рассматривать эти вопросы под углом зрения их значения для общественно-политической практики.

От утопического социализма и, в первую очередь, от сен-симонизма Салтыков, наряду с сильными сторонами системы (критика частнособственнического общества и «неумирающие» общие положения социалистического идеала), усвоил и ряд слабых: просветительско-утопическую переоценку роли сознания, мысли, воспитания, особенно же роли интеллигенции в общественном развитии, и, как следствие этого, идеализм, рационализм и моралистический подход в объяснении исторических явлений. Исторический идеализм отчетливо виден в

таких, например, позднейших высказываниях Шедрина: «...Самая история развития человеческих обществ есть не что иное, как история разложения масс под влиянием сознательной мысли» (VII, 467). Эти элементы мировоззрения сатирика, сами по себе ошибочные, питали, однако, просветительскую и моральную патетику его обличительного творчества.

Среди источников, питавших исторический идеализм сатирика, необходимо упомянуть еще Грановского. Сороковые годы не были монолитными, а выработка целостного мировоззрения не далась Салтыкову легко и сразу. Он сам свидетельствовал впоследствии, что «был горячим и искренним поклонником» не только Белинского, но и Грановского (XVI, 403), хотя, как известно, их мировоззрения резко расходились во многих существеннейших пунктах. В своих позднейших характеристиках идейной жизни и умственной атмосферы сороковых годов Салтыков неоднократно подчеркивал прогрессивное значение деятельности Грановского. В 1870 году он начал печатать в «Отечественных записках» специальную работу на эту тему под названием «Один из деятелей русской мысли», оставшуюся, однако, незаконченной (VIII, 195—218).

Как уже упомянуто выше, одним из проводников влияния идей Грановского на молодого Салтыкова являлся С. А. Юрьев. Характеризуя товарища своего детства и юности в образе Валентина Бурмакина из «Пошехонской старины», сатирик писал: «Бурмакин был ученик Грановского и страстный почитатель Белинского. Не будучи «учеными», в буквальном смысле этого слова, эти люди будили общественное чувство и в высшей мере обладали даром жечь глаголом сердца. А для того времени это было всего нужнее. На призыв их проповеди откликнулась безвестная масса современной молодежи и, в свою очередь, сеяла горячее слово добра, человечности, любви (XVII, 413—414).

Напряженная работа молодого Салтыкова в области своего идейного развития вскоре была оборвана ссылкой, бросившей его в один из отдаленных углов николаевской империи. Тем большего удивления заслуживают результаты, достигнутые будущим сатириком за этот короткий петербургский период его юности.

«В течение около полувека, — писал Ленин, — примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая



мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы»<sup>102</sup>.

Ленин датирует начало периода исканий в России «правильной революционной теории» сороковыми годами прошлого века. Это — как раз то время, когда складывалось мировоззрение и начиналась творческая деятельность Щедрина. В этих общих исканиях имеется и доля личных исканий будущего великого сатирика.

#### **НАЧАЛО ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОВЕСТИ «ПРОТИВОРЕЧИЯ» И «ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО»**

«Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы».

*В. Белинский* в «Взгляд на русскую литературу 1847 года».

«То было направление живое и действительное, направление истинно гуманическое...»

*Н. Добролюбов* о «Запутанном деле»  
*Салтыкова, в статье «Забитые люди».*

Подготовленная лицейскими поэтическими занятиями и усвоенным от Белинского высоким взглядом на профессию писателя, литературная деятельность Салтыкова возникает глубоко органически.

«Я писатель по призванию, — говорил Салтыков М. И. Семевскому, — еще в лицее меня все тянуло к литературному труду; выйдя из лицея, я 20-летним юношей написал повесть, после которой отправился в Вятку; и вообще куда бы и как бы меня ни бросила судьба, я всегда бы сделался писателем, это было положительно мое призвание»<sup>103</sup>. А в автобиографическом очерке 1887 года «Имярек», подводя итоги своего жизненного пути, сатирик пи-

сал (имея в виду себя): «К счастью, Имярек, по самой природе своей, по всему складу своей жизненной деятельности, не мог не остаться верным той музе, которая, однажды озарив его существование, уже не оставляла его» (XVI, 716).

Но рано осознав в себе призвание писателя и проникшись этим сознанием с тою силою убеждения, с какой он умел исповедовать свои идеалы, Салтыков смог отдаться избранному пути со всей исключительностью и полнотою лишь в 1868 году, когда ему было уже за сорок лет.

Жизнь сложилась так, что почти целое двадцатилетие после выхода из лицея он провел на государственной чиновничьей службе в провинции — в «глубине глуповских омутов», в «непроходимости глуповских трущоб».

Тяга к творчеству, проявившаяся у Салтыкова в лицее, еще более усилилась после начала самостоятельной жизни и сближения с литературно-общественными кругами столицы. Но вместе с тем 1844—1846 годы в писательской биографии Салтыкова — пустые годы. Его стихотворения, напечатанные в этот промежуток времени в плетневском «Современнике», все были написаны еще в лицее. Правда, позднее категорическое утверждение сатирика (в его автобиографии) — «После выхода из Лицея стихов больше не писал» — вряд ли соответствует действительности (не говоря о заведомой неточности его в отношении пародийно-сатирических стихов в «Свистке» шестидесятых годов). Во всяком случае А. Я. Панаева, со слов М. А. Языкова, сообщает, что Салтыков «продолжал писать стихи и после окончания лицея»<sup>104</sup>. Об этом знали, или по крайней мере так думали, и его родные. Посылая сыну весной 1845 года именинный подарок, мать Ольга Михайловна вкладывает в него вместе с «портфелем, шитым по твоему вкусу», и «пюпитром для чтения твоих мечтаний» также «альбом для твоей милой поэзии»<sup>105</sup>. Но увлечение поэтическими занятиями после лицея если и было, то продолжалось недолго и вскоре было оставлено навсегда.

Присущая Салтыкову и проявлявшаяся в нем с большой силой возбудимость от социальных по преимуществу явлений действительности должна была оказать и оказала определяющее воздействие на формирование самой основы его художественного творчества. Повышен-

ная реакция на все, что относилось к сфере общественной (а не узко личной, частной) жизни, порождала в его сознании круг тем и вопросов, требовавших отнюдь не лирического только воплощения. Романтическая элегия, «бенедиктовщина», не могла удовлетворить его быстро растущих запросов.

Идейные искания Салтыкова настойчиво требовали себе выражения в произведениях широкого идеологического размаха, в которых, в первую очередь, могли быть поставлены большие проблемы социального порядка. Эта субъективно-психологическая потребность начинающего писателя как нельзя более соответствовала общей тенденции развития русской литературы того времени и определялась ею.

В литературе сороковых годов ведущую роль начинают играть проза и критика. Здесь преимущественно кристаллизуется передовая мысль. В русле гоголевского «отрицательного направления» и «натуральной школы» ведущими жанрами становятся социально-философская повесть и роман, на материале «будничного быта господствующей действительности» (Вал. Майков).

Этот решительный отход от недавнего господства стихотворных жанров горячо поощряется Белинским. «Роман и повесть стали теперь во главе всех других родов поэзии. В них заключилась вся изящная литература, так что всякое другое произведение кажется при них чем-то исключительным и случайным. В картинах поэта должна быть мысль, производимое ими впечатление должно действовать на ум читателя, должно давать то или другое направление его взгляду на известные стороны жизни. Для этого роман или повесть с однородными им произведениями — самый удобный род поэзии. На его долю преимущественно досталось изображение картин общественной, поэтический анализ общественной жизни». А в другой статье Белинский писал: «Что такое искусство нашего времени? — Суждение, анализ общества, следовательно критика»<sup>106</sup>.

«Анализ общественной жизни», «критика общества» со всеми их глубокими вопросами и противоречиями целиком приковывают мысль молодого Салтыкова. Его влечет к себе то «дельное направление литературы», к которому призывает Белинский, высмеивающий в то же время романтические стихи как «грезы празднующейся фан-

тазии», стихи, которые «надоели всем смертельно» и «писать которые, даже порядочные, в наше время ничего не стоит».

Не без прямого воздействия язвительных нападок Белинского на «романтическое стихопарение» Салтыков начинает теперь воспринимать свое лицейское творчество как чистое ученичество, эпигонство, как нечто совсем несерьезное. Он, правда, еще не может удержать себя от соблазна увидеть свои стихи в печати, но уже смотрит на них как на пройденный этап. Недаром, отдавая свою романтическую лирику в «Современник», он старательно проставляет под каждым стихотворением его старую лицейскую дату.

Вероятно, именно кризисом самоопределения следует объяснить двухлетнюю паузу в начавшейся литературной деятельности Салтыкова. Вступив же на новый путь, он уже в первых повестях высмеял свое романтическое прошлое, квалифицировав его как «стихотворный разврат», как «бред полупьяной фантазии». Это была расправа, психологически не менее решительная, чем та, которую в 1840 году учинил Некрасов, уничтоживший, после резкого отзыва Белинского, свою первую книгу стихов — «Мечты и звуки».

Впоследствии Щедрин не на шутку сердился при одном упоминании о своих стихах и однажды, в припадке раздражения, даже назвал всех поэтов «сумасшедшими»: «Помилуйте, — сказал он, — разве это не сумасшествие по целым часам ломать голову, чтобы живую, естественную человеческую речь втискивать, во что бы то ни стало, в размеренные рифмованные строчки! Это все равно, что кто-нибудь вздумал бы вдруг ходить не иначе, как по разостланной веревочке, да непременно еще на каждом шагу приседая»<sup>107</sup>.

Это не означает, конечно, что Щедрин отвергал поэзию или был равнодушен к ней: известно, как любил и высоко ставил он стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Гейне и даже столь идейно враждебного ему Фета. Однако из этого высказывания видно все же, до какой степени сама условность стихотворной речи была чужда его суровому реализму. В этом отношении приведенные слова Щедрина напоминают позднего Толстого, тоже однажды заявившего: «Стихи — это все равно, что стал бы пахать и при этом делал бы танцевальные па»<sup>108</sup>.

Подлинным началом своей писательской биографии сам Салтыков считал момент появления в печати повести «Противоречия» и первых своих рецензий.

Это было в 1847 году — знаменательном в истории русской литературы и русской общественной мысли, когда появились «Антон Горемыка» Григоровича и первые рассказы из «Записок охотника» Тургенева, «Доктор Крупов» Герцена и отдельное издание его романа «Кто виноват?», «Обыкновенная история» Гончарова и «Полинька Сакс» Дружинина; когда молодой Некрасов, уже написавший «В дороге», с небывалой дотоле в русской поэзии силой и резкостью заговорил в таких произведениях, как «Еду ли ночью по улице темной» и «Псовая охота», о крепостническом рабстве и несправедливости родной страны; когда в «Современнике», только что перешедшем в руки Некрасова и Белинского, печатались замечательные статьи Вл. Милютина, беспощадно вскрывавшие разительные контрасты и несправедливости общественного строя, основанного на эксплуатации и насилии; когда влияние Белинского — особенно после «Письма к Гоголю» — достигло своего апогея; когда Петрашевский и группировавшиеся вокруг него люди молодого поколения сороковых годов все больше проникались политическим радикализмом; когда, наконец, Герцен, во-время вырвавшись из тисков жандармского надзора, уехал на чужбину, чтобы высоко поднять там факел русской демократической мысли, и уже слал в Россию свои «Письма из Avenue Marigny».

На этом крутом, но коротком подъеме последнего этапа сороковых годов, за которым последовал срыв в семилетие реакции, Салтыков нашел себя как писатель. Его первые произведения, насквозь пронизанные идейной и общественной взволнованностью тех дней, характеризуют высоту того идейного взлета, который был достигнут в этот момент русской демократической мыслью.

Через кружок Петрашевского, включавший немало писателей, Салтыков уже с 1845 года втягивается в литературную среду. Помимо ранее названных писательских имен, он знакомится с А. Плещеевым, Д. Григоровичем, А. Жемчужниковым, Л. Меем. Он бывает в семье Майковых и здесь, конечно, встречается с их ближайшим дру-

гом и постоянным посетителем И. А. Гончаровым. Он попрежнему посещает М. А. Языкова и здесь, а несколько позже и в редакции «Современника», имеет возможность видеть и слушать Белинского и Некрасова.

Отчасти нуждаясь в дополнительных средствах для жизни, а главное, стремясь войти практически, профессионально в столь привлекавшую его литературно-журнальную работу, Салтыков начинает с 1847 года писать рецензии для «Отечественных записок» и «Современника», только что перешедшего в руки Некрасова и Белинского.

Об этих первых самостоятельных шагах писателя в литературе мы, в сущности, знаем очень мало. Относящиеся сюда документальные сведения скудны и противоречивы.

«Рецензиями я зарабатывал до 50 руб. в месяц, в то время это были деньги», — говорил Салтыков Л. Ф. Пантелееву<sup>109</sup>. Чтобы зарабатывать в конце сороковых годов такой тонорар мелкими библиографическими заметками, их нужно было печатать ежемесячно в количестве не менее одного листа, если цифра в 50 рублей имеет в виду счет на ассигнации, и не менее трех листов, если речь идет о счете на серебро. И в том и другом случае общее количество рецензий, напечатанных Салтыковым в 1847—1848 годах должно было бы исчисляться десятками. Однако в автобиографической записке 1858 года, написанной в третьем лице, содержится другое свидетельство: «...в «Отеч. записках» 1847 и 1848 г... а равно и в «Современнике» было напечатано несколько рецензий Салтыкова» (I, 79. Выделено нами. — С. М.).

После смерти Щедрина в его бумагах были обнаружены черновые автографы всего семи ранних рецензий. Все они названы, а некоторые из них, в небольших отрывках, процитированы Арсеньевым в его «Материалах». Однако первый биограф сатирика проявил беспомощность или нерадение в необходимых библиографических разысканиях. Он отыскал по находившимся в его распоряжении рукописям, вскоре затем утраченным, лишь три салтыковских рецензии в «Отечественных записках» и не нашел ни одной в «Современнике». Остальные четыре рецензии были отысканы позднейшими исследователями на основании тех же сведений, которые сообщил Арсеньев. При этом одна из рецензий оказалась приписанной Салтыкову без достаточных оснований. Речь идет о рецензии на книгу «Альманах для детей. — Архангельск... Зима».

из январской книжки «Отечественных записок» за 1848 год. Рецензия включена в полное собрание сочинений (I, 345—347 и 425) потому, что на принадлежность ее Салтыкову якобы «указывал К. Арсеньев». Однако Арсеньев всего лишь упомянул о существовании рукописи рецензии на книгу под названием «Альманах для детей». Но он не привел ни полного заглавия книги, ни цитат из рецензии, которые позволили бы отыскать ее печатный текст. Между тем в 1846—1848 годах вышло несколько книг, заглавия которых начинались словами «Альманах для детей», и на какую из них была написана Салтыковым рецензия, остается неизвестным. Вряд ли, однако, это был альманах «Архангельск... Зима». Дело в том, что продолжение этого альманаха под названием «Астрахань... Весна» также рецензировалось на страницах «Отечественных записок», в июньской книжке 1848 года. Сравнение двух рецензий не оставляет сомнений, что обе они принадлежат одному автору. Исходя из уверенности, что первая рецензия написана Салтыковым, редакция полного собрания сочинений сатирика приписала ему и вторую заметку. Однако при этом не была учтена дата выхода в свет альманаха «Астрахань... Весна». Книга вышла в мае 1848 года, то есть уже после ареста и ссылки Салтыкова. Очевидно, он не мог быть автором этой рецензии, а значит и тесно связанного с ней отзыва на Альманах «Архангельск... Зима».

Таким образом, в настоящее время авторство Салтыкова достоверно устанавливается всего лишь в отношении девяти библиографических заметок (из одиннадцати вошедших в полное собрание сочинений, из которых семь указаны Арсеньевым и четыре позднейшими исследователями). Не подлежит, однако, сомнению, что Салтыковым напечатано значительно больше рецензий, но определить сейчас весь объем этой анонимной критической работы уже невозможно.

Не зная точного списка рецензий Салтыкова сороковых годов, нельзя выяснить с необходимой полнотой и ряд других существенных вопросов его ранней литературной биографии, в частности вопроса о месте и времени начала его журнального сотрудничества. Из девяти известных нам рецензий Салтыкова три первые появились в октябрьской книжке «Современника» за 1847 год, четвертая — в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за тот же

год и остальные — в первых четырех книжках тех же «Отечественных записок» за 1848 год. Если бы можно было признать список из девяти рецензий за полный, то тогда следовало бы заключить, что Салтыков начал сотрудничество в «Современнике», но почему-то сразу же прекратил свое участие в журнале Некрасова и Белинского и перешел в «Отечественные записки» Краевского. Однако этому предположению противоречит указание Салтыкова в автобиографическом письме к С. А. Венгерову (1887 г.): «По выходе из Лицея, я не написал ни одного стиха и начал заниматься писанием рецензий. Работу эту я доставал через Валерьяна Майкова и Владимира Милютина в «Отечественных записках» Краевского и в «Современнике» (Некрасова с 1847 г.)» (I, 84—85).

Доставать «работу» через Вал. Майкова Салтыков мог только в редакции «Отечественных записок» и только до лета 1847 года, когда Вал. Майков (в руках которого находился отдел критики и библиографии этого журнала после ухода из него в 1846 году Белинского) умер. Между тем мы не знаем ни одной рецензии Салтыкова в «Отечественных записках» за первую половину 1847 года. Первые известные нам рецензии Салтыкова зарегистрированы в октябрьской книжке «Современника» за тот же 1847 год. Таким образом, указание Салтыкова в части, относящейся к Вал. Майкову, остается пока нераскрытым. Но из этого указания явствует, однако, что литературно-критическая работа Салтыкова началась не во второй половине 1847 года, а раньше, и не в «Современнике», а в «Отечественных записках». О более ранней дате начала рецензентской работы свидетельствует и заявление сатирика в письме в редакцию «Русской старины» (от 1 апреля 1887 г.): «...я начал писать гораздо ранее 1847 года; писал стихи и мелкие рецензии, но с какого именно времени — этого я и сам определить не могу, но вероятнее всего около 1841 года» (XX, 286). Последняя, уточняющая дата относится, однако, к стихам, а не к рецензиям.

Появление Салтыкова в «Современнике» осенью 1847 года необходимо поставить непосредственно в связь с переходом в этот журнал его приятеля Вл. Милютина. Сотрудничество последнего в «Современнике» началось также осенью 1847 года и было высоко оценено Некрасовым и Белинским. Последний писал 4—8 ноября 1847 го-



да Боткину о Милютине: «Он начал у Краевского, перешел к нам, и есть надежда, что вовсе от него откажется».

Повидимому, такую же «надежду» Некрасов и Белинский питали и по отношению к Салтыкову. Ведь не случайно редакция «Современника» уже числила его в это время среди своих постоянных сотрудников и в объявлении об издании журнала 1848 года поместила его инициалы среди известных имен «ученых и литераторов, участвовавших трудами своими в журнале за 1847 год»<sup>110</sup>. Это объявление косвенно свидетельствует также и о том, что объем сотрудничества Салтыкова в «Современнике» 1847 года был значительно шире, чем это нам известно сейчас.

Таким образом, путь Салтыкова был не от «Современника» к «Отечественным запискам», а наоборот, от издания Краевского к журналу Некрасова и Белинского. Однако на этом пути Салтыков встретился вскоре с одним препятствием. Речь идет об отклонении редакцией «Современника» в начале 1848 года, из опасений цензурных преследований, салтыковской повести «Запутанное дело», принятой и напечатанной вслед за тем «Отечественными записками». Не подлежит сомнению, что этот конфликт несколько осложнил процесс дальнейшего сближения Салтыкова с «Современником» и вновь вернул его к сотрудничеству в «Отечественных записках».

В итоге всего сказанного следует сделать вывод, что ранние критические опыты Салтыкова известны нам сейчас лишь в некоторой и, вероятно, меньшей своей части<sup>111</sup>. Все же и на основании этой части можно дать общую характеристику целого.

Небольшие по размеру, лишённые какой-либо внешней яркости, неподписанные рецензии Салтыкова терялись для современников в общей массе текущих журнальных отзывов. Но в свете последующего идейного развития и литературной судьбы их автора эти короткие заметки представляют для исследователя жизни и творчества сатирика существенный интерес. В них скрываются корни многих позднейших взглядов Салтыкова. Посвященные, в основном, теме воспитания человека, они свидетельствуют об идейной близости молодого писателя к просветительским традициям русской литературы, начиная от XVIII века — Фонвизина, Радищева, вплоть до петрашевцев и Белинского. Влияние последнего и здесь

было самым прямым и определяющим. Вместе с тем разработка темы воспитания в первых рецензиях Салтыкова обнаруживает свои индивидуальные и весьма любопытные черты.

Острые критики Салтыкова, в его отзывах об учебной и детской литературе, направлено против уродливости тогдашней воспитательно-педагогической системы. Он определяет ее совсем «по-щедрински», как «систему постепенного ошеломления» (I, 338). Семья и школа, утверждает Салтыков, выпускают в жизнь людей, не подготовленных к ее испытаниям, людей с неправильно воспитанными характерами, лишенных запаса нужных знаний и умения практически применять их; семья и школа дают стране «пустых мечтателей», не способных к трезвому пониманию действительности, а главное, к «действию». Начиненные механически усвоенными обрывками разнообразных знаний, расслабленные «ванной энциклопедического образования», не имеющие ни деловых навыков, ни разумно воспитанных практических идеалов, молодые люди оказываются жизненно нестойкими, они быстро губят в себе то ценное, что «дала им природа», и в лучшем случае без пользы и следа проходят свою «дорогу жизни».

Жажда дела, органическое отвращение к жизненной беспомощности, недостатку воли и характера, а также к романтической «мечтательности мысли» слышатся в этих рассуждениях юного Салтыкова. Отсюда, наряду с общим требованием реализма и трезвости в прививаемых детям взглядах на вещи, и такие крайности, как требование устранить из детской литературы все сказочное, чудесное, фантастическое, что, по его мнению, уводит «от практического понимания действительности» и развивает мечтательность.

Указывая в рецензии на книгу К. Ф. Беккера «Рассказы детям из древнего мира» на «бесполезную сторону усилий приноровить Гомера к детским понятиям», Салтыков пишет: «В основе поэм Гомера всегда лежит чудесное; чудесное, поставленное на своем месте, обставленное известными обстоятельствами и понимаемое как выражение духа страны и эпохи, принимает должные размеры и под конец делается весьма и весьма объяснимым. Но не так бывает с детьми. Ум их, по природе склонный к чудесному, на нем одном только и останавливается с охотою,

и все сверхъестественное принимает за наличную монету, так что из всей поэмы Гомера, может быть, оно одно только и привлечет ребенка. Отсюда наклонность к мечтательности, которую надобно бы сдерживать в благоразумных границах, приобретает, напротив того, самые гигантские размеры, и ребенок, сделавшись со временем мужем, является человеком, неспособным заниматься интересами, близкими к действительности, и целый век блуждает мыслью в мечтательных мирах, созданных его большою фантазией» (I, 356).

Острота самой постановки вопроса о «мечтательности» в ранних рецензиях Салтыкова и полемическая страстность тона, с которой трактуется этот вопрос, должны быть поставлены в непосредственную связь с его борьбой против абстракций и мечтательно-фантастических сторон утопического социализма. С этим связано и содержание положительных требований, предъявлявшихся Салтыковым к делу воспитания. Главную задачу он усматривал в необходимости развития у ребенка реалистического отношения к действительности. Он настаивал поэтому, что воспитание следует начинать с конкретного ознакомления ребенка с явлениями окружающего его мира, избегая до поры «всякого спекулятивного элемента», то есть отвлеченных понятий. «Если Вы будете толковать ребенку о свойстве души, — указывал Салтыков, — когда он не знает ни на волос о свойствах предмета более ему близкого — о свойствах его бренного маленького тела, естественно, что философия покажется ему пугалом, на которое он будет смотреть не иначе, как со страхом и отвращением» (I, 343).

Основное правило нормального воспитания Салтыков определяет следующим образом: «По-настоящему следовало бы изучить натуру ребенка, подстеречь его наклонности при самом его рождении, не навязывать ему такой науки, которая или антипатична, или не по летам ему» (I, 338). Такова главная мысль. Она проходит через все рецензии, ее мы находим и в первых беллетристических произведениях. Это не просто отражение «концепции гармонического воспитания» Фурье, которой в это время увлекался Салтыков, изучая ее вместе с другими петрашевцами по третьему тому «*Destinée sociale*» Консидерана («*Théorie de l'éducation naturelle et attrayante*»), и которую он и в шестидесятые годы продолжал считать «пло-

дотворной» (VI, 327). Это также один из итогов его размышлений над той воспитательной системой, через которую прошел он сам.

Вслед за Белинским Салтыков резко восстает против «пошлого морализирования» и «нравственных сентенций» в детской литературе. Они придают ей «конфетно-моральное направление», которое «душит юные поколения», воспитывает в них «сухую, безжизненную мораль» (I, 349—350).

В связи с критикой «вздорных... нравоучительных повестей» для детей Салтыков высказывает ряд замечательных мыслей о художественной литературе вообще. Он, в частности, раскрывает с позиций революционного просветительства содержание общественной «пользы» литературы. «Разве не великая для человека польза в том, — пишет Салтыков, — что художественное произведение приводит его к сознанию собственных его сил, что оно вызывает их, возбуждает к деятельности и открывает ему новый, необъятный мир, который до того времени оставался незатронутым... и ждал только первого толчка, чтоб выйти из косного своего состояния» (I, 353).

Пробуждение в народе и обществе, придавленных самодержавно-крепостническим строем, «сознания собственных сил», что являлось необходимым условием борьбы с этим строем; — главная тема всего творчества Салтыкова. Тема эта — не что иное, как отражение в его литературной деятельности основного исторического содержания эпохи, в которую жил и работал великий сатирик — эпохи созревания и подготовки буржуазно-демократической революции в стране.

В той же рецензии на книгу К. Ф. Беккера «Рассказы детям из древнего мира», откуда взята приведенная цитата, содержится и ряд других высказываний, направленных против крепостного права.

Говоря о древних греках Гомера, но имея в виду угнетенный крепостническим рабством народ своей страны, Салтыков пишет: «Он <народ> сам еще не сознал великой мощи своих сил, и от этого над всею его жизнью тяготеет неотвратимый фатум... Человек как будто стирается и безотчетно жертвует всею своею личностью в пользу другой высшей личности».

Чтобы еще с большей ясностью раскрыть, о ком и о чем идет здесь речь, Салтыков добавляет затем: «Это

явление встречается, впрочем, не у одних греков: оно повторяется и у других младенствующих народов с поразительным сходством. Остатки его можно даже видеть в современных обществах, менее других испытавших на себе благодетельное влияние цивилизации» (I, 354).

Критикуя в другой рецензии силлогизм формальной логики, Салтыков разоблачает его несостоятельность при помощи примера, антикрепостническая направленность которого очевидна: «...Бедные жители Европы, — пишет автор, — строят иногда силлогизмы даже почище бедных жителей Полинезии. Нам случилось однажды слышать, как один господин весьма серьезно уверял другого, весьма почтенной наружности, но помирнее, что тот должен ему повиноваться, делая следующий силлогизм: я человек, ты человек, следовательно, ты раб мой. И смиренный господин поверил (такова ошеломляющая сила силлогизма!) и отдал тому господину все, что у него ни было: и жену, и детей» (I, 341—342).

Ранние рецензии Салтыкова с большой яркостью свидетельствуют об антикрепостнической идеологии их автора. Тем самым они опровергают утверждение некоторых исследователей о том, что в сороковые годы Салтыков еще не задумывался над крепостным правом, поскольку в первых его художественных произведениях эта тема не нашла себе прямого отражения. Действительно, и в «Противоречиях», и в «Запутанном деле», и в «Брусине» предметом непосредственного изображения является мир «бедных людей» города, пауперизованной трудовой интеллигенции, а не крепостная деревня и «мужик». Однако острое обличение в этих произведениях социальных пороков и противоречий городского уклада жизни являлось, в конечном счете, не чем иным, как преломлением в творческой призме Салтыкова стихийно-революционного протеста закрепощенного крестьянства. Вспомним указание Ленина, что в эпоху, «когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками»<sup>112</sup>.

Защищая в семидесятых годах демократическую литературу от упреков в «переполнении мужиком», Салтыков объяснял герою своих очерков «Круглый год» — Феденьке Неугодову: «...присмотревшись к делу пристальнее, приходится согласиться, что иначе оно не может быть. Мужик — герой современности, это верно. И не со вчераш-

него дня так повелось, а давненько таки, с конца сороковых годов. Ты, разумеется, не был очевидцем «начал», но я не только помню, но даже лично присутствовал при них. Я помню «Деревню», помню «Антон Горемыку», помню так живо, как будто все это совершилось вчера. Это был первый благотворный весенний дождь, первые хорошие, человеческие слезы, и с легкой руки Григоровича мысль о том, что существует мужик-человек, прочно залегла и в русской литературе и в русском обществе» (XIII, 229).

Салтыков сильно преувеличивает здесь значение Григоровича. В другом месте сатирик отмечает «елейную ограниченность этого писателя», указывает на «несомненно жорж-зандовское происхождение его повествований», которые называет «идиллически-пейзанским хныканьем» (VIII, 65). Но верно то, что мысль о «мужике-человеке», то есть мысль об исторически predetermined, но все еще не совершившемся освобождении многомиллионных масс крестьянства от крепостнического рабства, прочным фундаментом «залегла» в русской литературе сороковых годов и в деятельности Салтыкова, «очевидца» и участника «начал» — возглавленной Белинским борьбы русских революционных просветителей сороковых годов с крепостным правом.

Позднее, в «Пестрых письмах», Салтыков вспоминал о первых своих шагах в литературе после выхода из лица: «Я тогда уже начал пописывать, впрочем, только мелкие рецензии... То было время самого разгара распри между западниками и славянофилами. Разумеется, мы не были не только первостепенными, но даже третьестепенными деятелями в этом движении, но все-таки следовали за общим литературно-полемическим потоком. Я был горячий и искренний поклонник Белинского и Грановского...» (XVI, 403).

Изучение ранних рецензий Салтыкова полностью подтверждает это автобиографическое признание. Свой литературный путь великий сатирик начал в качестве идейного ученика и последователя Белинского<sup>113</sup>.

От рецензий Салтыков переходит к беллетристике. В ноябрьской книжке «Отечественных записок» за 1847 год он печатает большую повесть «Противоречия». Он подписывает ее вымышленным именем «М. Непанов». Псевдоним понадобился ему для конспирации и

от служебного начальства, и от собственной матери. В повести, подписанной именем сына, она без труда обнаружила бы свой собственный, далеко не лестный портрет. Он дан в образе «женщины-кулака» Марьи Ивановны Крошиной, чья деятельность — «оскорбительная для живого человека» — погружена «в бездонную пучину», называемую «благоприобретением», чья жизнь «вечно устремлена на медные гроши, из которых неимоверными усилиями составляются рубли, сотни и т. д.». За первой повестью скоро следует вторая — «Запутанное дело», — появившаяся в мартовской книжке тех же «Отечественных записок» за 1848 год, на этот раз за подписью криптонимом: «М. С.».

Первые две повести Салтыкова — «Противоречия» и «Запутанное дело» — как бы подводят, в художественной форме, итоги его идейным исканиям и литературным увлечениям послепетлицейского трехлетия.

Обе повести написаны в характерной манере «натуральной школы», стремившейся на основе реализма и демократизма к правдивому изображению жизни современного общества, в первую очередь его социальных низов — «бедных людей». Вступая в круг старших писателей «натуральной школы», Салтыков обнаруживает в первых своих повестях прямую связь с их произведениями. В «Противоречиях» он продолжает темы «Кто виноват?» Герцена и «Бедных людей» Достоевского, в «Запутанном деле» использует сюжетную основу стихотворения Некрасова «Еду ли ночью...».

Салтыков начинает, таким образом, свой литературный путь в русле того «отрицательного направления», которое на основе гоголевского реализма, но уже вполне осознанно и целеустремленно, в отличие от самого Гоголя, ставило своей задачей борьбу с общественным злом и неправдой и которое поэтому по необходимости было связано с обличением и сатирой. Направление это идейно вдохновлялось и теоретически руководилось Белинским и рассматривалось им как самое передовое русло русской литературы и как одна из реальных сил в освободительной борьбе русского народа. Гоголь и «натуральная школа» явились в историко-литературном плане важнейшими факторами самоопределения Салтыкова как писателя-сатирика, писателя — социального критика и обличителя общественных противоречий.

Свое вступление в литературу в качестве соратника и единомышленника писателей «натуральной школы» Салтыков «декларирует» в ряде «программных» заявлений. Он снабжает название своего первого произведения «Противоречия» подчеркнуто характерным для «натуральной школы» подзаголовком «Повесть из повседневной жизни» и затем в «предисловии» переходит к программной мотивировке этого подзаголовка.

Объясняя отсутствие «занимательного сюжетца» в своей «нехитрой повести», Салтыков пишет: «Я сам согласен, что гораздо лучше было бы, если б и за завтраком — шипучего, и за обедом — шипучего, и за ужином — тоже шипучего; но в том-то и сила, что такое радостное положение вещей является только в виде исключения, и то весьма и весьма редкого, а в действительности-то люди большею частью обходятся не только без шипучего, но и без обеда...» Дальше следует атака на противостоящую «натуральной школе» романтическую литературу: «Трескучие эффекты, кажется, начинают надоедать; балаганные дивертисманы с великолепными спектаклями выходят из моды; публика чувствует потребность отдохнуть от этого шума, которым ее столько времени тешили скоморохи всякого рода, опомниться от неистовых воплей и кровавых зрелищ, которые притупили ее слух, испортили зрение...» (I, 89—90). Этой пышной, но беспомощной, оторванной от действительности романтике Салтыков противопоставляет литературу, не боящуюся правды жизни, как бы сурова она ни была, а, наоборот, рассматривающую эту трезвую правду в качестве предмета, единственно достойного изучения и изображения. Обращаясь к читателям своей повести с ее «героями», копошащимися «среди сора и пыли» «заднего двора» жизни, Салтыков пишет, иронически полемизируя с «эстетиками» — противниками «натуральной школы»:

«...Если вы человек с эстетическим чувством, с высшими взглядами на жизнь, если в природе вы хотите изучать только изящную ее сторону — и не подходите близко к этим грязным существам: они слишком оскорбят нежные органы ваши. Если же, напротив, вы хотите знать жизнь во всех ее явлениях, если жизнь, как бы уродливо она ни выразилась, сама по себе есть уже отрада и утешение; если, говорю я, вы сознаете, что солнце, блистающее в высоте, равно озаряет дворцы и помойные ямы, богатство



и нищету, добродетель и порок, — в таком случае вы последуете за мною и с любовью будете изучать мелкую кропотливую жизнь этих... людей, и — кто знает! — может быть, из этого изучения что-нибудь да и выйдет!» (I, 95).

Эти ясные и энергичные формулировки программных требований «натуральной школы» показывают, с каким отчетливым сознанием литературно-идеологических позиций начинал сатирик свой творческий путь.

Впоследствии Салтыков очень неприязненно и даже саркастически относился к своему беллетристическому первенцу — «Противоречиям». Он высмеивал повесть за ее несамостоятельность, незрелость и ссыался при этом, всегда неточно, в вольном изложении, на резко отрицательный отзыв Белинского («бред младенческой души», «бред куриной души», «бред большого ума»). Действительно, Белинский крайне резко отозвался о «Противоречиях» («идиотская глупость»), хотя и не в печати, а в частном письме к В. П. Боткину от 4—8 апреля 1847 года. Как уже было указано выше, причину столь суровой оценки нужно усматривать, вероятно, в психологизме повести. Следует при этом иметь в виду, что повесть Салтыкова не была выделена Белинским. Общую отрицательную оценку критик дал всей беллетристике «Отечественных записок» за 1847 год, особенно же «Хозяйке» Достоевского, в последних произведениях которого Белинский заметил опасные тенденции отхода от социально-опозиционной проблематики к проблематике чисто психологической и даже патологической.

Отзыв Белинского в его подлинном виде мог стать известным Салтыкову не ранее конца шестидесятых годов, когда было опубликовано упомянутое письмо к В. П. Боткину. Но слух об отрицательном отношении критика к «Противоречиям» мог дойти до автора и в 1847—1848 годах. Самолюбие Салтыкова было, несомненно, задето и тем обстоятельством, что беллетристический дебют его вообще не привлек общественного внимания. В печати о «Противоречиях» не появилось ни одного отзыва, если не считать простого упоминания повести в очередном критическом обозрении «Журнала министерства народного просвещения» (1848, кн. 5, стр. 148).

По той или иной причине, но Салтыков, видимо, тогда

же охладел к своему беллетристическому первенцу. Он никогда не перепечатывал «Противоречий» и не включил это произведение в собрание своих сочинений. Что касается второй повести — «Запутанного дела», то она была введена сатириком в 1863 году (с некоторыми изменениями текста) в сборник «Невинных рассказов», а в 1889 году вошла в подготовленный им первый том собрания своих сочинений.

Художественная незрелость и элементы неизбежного ученичества в «Противоречиях» и «Запутанном деле» не лишают, однако, первые произведения Салтыкова ни самостоятельности, ни оригинальности. Обе повести выделяются в общем литературном движении сороковых годов. Они проблемно остры. В них уже отчетливо ощутим процесс становления писателя, делающего своими идеи, послужившие теоретическим источником его развития, превращающего эти идеи в свои и субъективные переживания и художественные образы.

Основной идеей первых повестей Салтыкова является вставшая перед ним во весь свой рост проблема беспощадности, непримиримости противоречий жизни — противоречий между теорией и практикой, разумом и чувством, между идеалом и действительностью, между высоким назначением человека и унижительным и жалким положением, в котором находится подавляющее большинство человеческого общества — «люди труда». При этом все многообразие противоречий, клубок которых разматывают в своих письмах, монологах, мыслях Нагибин и Мичулин — герои повестей, ощущается как социально обусловленное. И этим суровым социальным противоречиям Салтыков смотрит прямо в лицо. Он видит их грозную силу. Отсюда рождается — в «Запутанном деле» — мрачный образ социальной пирамиды, раздавившей своей тяжестью бедняков.

Изображение неравенства социального строения общества в форме пирамиды (основание которой — народные массы, люди труда, средние ярусы — привилегированные классы, и вершина — абсолютистская власть) было распространено в литературе утопического социализма. Оно встречается, в частности, у Сен-Симона (см. «Oeuvres de St.-Simon et d'Enfantin», P. 1875, t. XXXIX, p. 131—132), а у русских авторов у Вл. Милютина в его статье «Пролетарии и пауперизм...» («Современник», 1847, кн. 2,

стр. 136) и в дневнике за 1848 год молодого Чернышевского, о чем будет сказано ниже. Но у всех этих авторов социальная «пирамида», или «конус», — не более как «графическая» схема, при помощи которой иллюстрируются или излагаются мысли об имущественно-правовой и политической иерархии общественных групп и классов. Салтыков же претворил эту схему в сильный художественный образ<sup>114</sup>.

Не пытаясь ни обойти, ни смягчить остроту и непримиримость социальных противоречий, Салтыков предъясняет по поводу их иск самой действительности. Причем, эта последняя понимается не в философско-идеалистическом (фихтеанском или гегельянском), а в социальном смысле, реалистически, понимается так, как понимал ее Белинский последнего периода, писавший В. П. Боткину: «Действительность возникает на почве, а почва всякой действительности — общество».

В этом взгляде на социальную действительность как на основной источник всего общественного «настроения» и противоречий жизни, заключающий в себе одновременно и возможность ее устранения (хотя и не найденную еще), — основной интерес и значение первых произведений сатирика. В них он сразу определяется как оппозиционный писатель-демократ с подчеркнута острой социальной тематикой; в них уже чувствуется будущий Шедрин — гениальный художник-изобразитель общественных противоречий.

В обеих повестях отчетливо виден интерес их автора к идеям утопического социализма. Но Салтыков выступает и здесь не столько как утопический социалист, сколько как реалистический критик утопических методов переустройства действительности, противопоставляющий им необходимость найти в самой этой действительности опору и залог для ее переделки. Отсюда настоячивые призывы Салтыкова в обеих повестях «изучать действительность», учиться у нее, не отрываться от ее нужд и запросов.

«Пора нам стать твердою ногою на землю, а не развращать себя праздными созданиями полупьяной фантазии, — заявляет Салтыков словами героя «Противоречий» Нагибина; — пора объяснить себе эту стоглавую гидру, которая зовется действитель-

ностью, посмотреть, точно ли так гнусна и неумыта она, как описывали нам ее учителя наши, и если это так, то какие причины этой разрозненности частей целого, и нет ли в самой этой борьбе, в самой этой разрывчатости смысла глубокого и зачатка будущего...» (I, 192). Эта критика романтизма и утопизма знаменательно перекликается с тем тостом «з а з н а н и е д е й с т в и т е л ь н о с т и», который был провозглашен Петрашевским на обеде русских социалистов 7 апреля 1849 года в честь Фурье<sup>115</sup>, и, еще непосредственнее, с той борьбой за реалистическое, революционное и диалектическое понимание действительности, которую с такой энергией и силой вел Белинский даже и тогда, когда в поисках этого понимания он отклонялся порою от прямого пути. Из множества высказываний критика по этому поводу приведем два, которые конкретно покажут, что именно Белинского и его поиски определения действительности в первую очередь имел в виду в приведенной цитате Салтыков, ссылаясь на определение действительности «учителями нашими».

«Действительность, — писал Белинский, — есть чудовище, вооруженное железными когтями и огромной пастью с железными челюстями. Рано или поздно, но пожрет оно всякого, кто живет с ней в разладе и идет ей наперекор. Чтобы освободиться от нее и вместо ужасного чудовища увидеть в ней источник блаженств, для этого одно средство — сознать ее...» «Нет, — читаем в другом месте, — пока руки держат перо, пока в душе еще не остыли ни благородное негодование, ни горячая любовь к истине и благу, — не прятаться, а итти навстречу этой г н у с н о й действительности буду я!»<sup>116</sup> С другой стороны, никто чаще Белинского не применял для характеристики реальной исторической действительности николаевского самодержавия энергичных эпитетов «гнусная» и «неумытая», которые мы находим и в приведенной цитате из «Противоречий».

Весь комплекс идейных и социальных проблем, волновавших Салтыкова, еще полнее и ярче отражен в «Запутанном деле» — произведении значительно более зрелом, самостоятельном и индивидуальном, чем первая повесть. Противопоставление изнемогающего от нищеты бедняка, «ступающего по грязи человечества», богатым бездельникам, «людям, едущим в карете», «жадным волкам», завладевшим жизнью, — это еще обычный для утопических

социалистов просветительский взгляд на классовую дифференциацию общества<sup>117</sup>. Но чрезвычайно важной особенностью этой повести являются впервые появляющиеся в ней настроения политического протеста, то есть нечто прямо противоположное политическому индифферентизму утопического социализма. С особой яркостью эти настроения сказались в двух известных сценах, где герой повести мечтает (во сне) о том, что скоро уже не будет «жадных волков», так как их всех «убьют», и в его рассуждениях о восставшей толпе, которую он видит в театре, но которую хотел бы видеть в действительности, чтобы влиться в нее и заодно с ней понюхать «обаятельного дыма» — дыма восстания.

Среди произведений художественной литературы сороковых годов «Запутанное дело» оказалось в числе самых острых — по своей социальной проблематике и политическому радикализму.

Юношеское произведение Салтыкова с большой силой отразило в себе революционные настроения передового отряда русской интеллигенции в конце сороковых годов. А эти настроения, как указывал Ленин по поводу «Письма Белинского к Гоголю», отражали, в свою очередь, настроения крепостных крестьян. Белинский писал в одном из писем начала 1848 года: «Крестьяне сильно возбуждены, спят и видят освобождение»<sup>118</sup>.

Следует указать и другое. Повесть писалась в самом конце 1847 и в первые месяцы 1848 года. Вместе со своими друзьями и единомышленниками Салтыков жил в это время в атмосфере напряженного и сочувственного ожидания сгущавшейся во Франции революционной грозы. Он жадно ловил все ее отзвуки-предвестья, разными путями доходившие до берегов Невы. Здесь ему на помощь приходила и его служба.

Канцелярия военного министерства являлась средоточием всех дел и распоряжений по военному управлению в империи. В эти месяцы Канцелярия жила напряженнейшей жизнью. Николай I и его правительство, находившиеся в состоянии подлинной паники перед зрелищем революционного пожара в Европе, захватившего уже Польшу и угрожавшего перекинуться в Россию, лихорадочно готовились к отражению опасности. Мобилизация армии, проведение внеочередного рекрутского набора, передвижение громадных военных сил — более 400 тысяч чело-

век — к западным границам, ускоренный выпуск офицеров и т. п. и т. д. — все эти мероприятия, имевшие целью «противопоставить надежный оплот пагубному разливу безначалия», осуществлялись непосредственно через Канцелярию военного министерства. Среди ее молодых образованных чиновников (в их числе, как мы знаем, были и петрашевцы) эти мероприятия порождали, конечно, свои политические толки и комментарии. Легко представить себе, сколь активно и с каким волнением впитывал в себя Салтыков всю эту возбуждающую атмосферу, воспринимал весь этот поток острых политических новостей и слухов, которыми снабжала его служба<sup>119</sup>. Политическая острота его мартовской повести 1848 года питалась также и той страстной заинтересованностью, с которой следили передовые круги Петербурга за подготовкой и развертыванием парижских событий, воспринимавшихся с точки зрения их возможного воздействия на русскую политическую жизнь.

Закончив повесть, Салтыков прочел ее В. Е. Канкрину, и тот, будучи «в восторге от нее», взялся за хлопоты о напечатании. Салтыков имел в виду «Современник» Белинского и Некрасова. Канкрин повез рукопись И. И. Панаеву и вел с ним переговоры. Тот повесть прочел, но тут же вернул, сказав при этом Канкрину: «Пусть лучше автор отдаст в другой журнал, там, авось, пропустят, а цензура в «Современнике» такую повесть не только запретит, но еще гвалт поднимет»<sup>120</sup>. Было ли это решение принято Панаевым единолично, или он советовался с фактическими руководителями журнала — Некрасовым и Белинским, — в точности неизвестно. Однако второе предположение более вероятно, так как Панаев не решал вопросов о принятии или отклонении рукописей единолично. «Я знаю, — писал он Н. Х. Кетчеру 7 февраля 1847 года, — что в делах журнальных нельзя полагаться на один собственный ум и вкус. Некрасов понимает это также очень хорошо, и потому мы все делаем с общего согласия, и состав каждой книжки апробируется Белинским...»<sup>121</sup> Возможно, что отказ был связан также с известным нам уже резко отрицательным отзывом Белинского о первой повести начинающего писателя — «Противоречия».

«Гвалт» с весьма суровыми для автора последствиями действительно скоро поднялся, но сбилось и панаевское «авось»: Салтыков не побоялся добиваться обнаружения

ния своего цензурно опасного сочинения; цензоры (Крылов и Мехелин) «не досмотрели», и «Запутанное дело» появилось в мартовской книжке «Отечественных записок», сразу же породив шум и разговор как в передовых, оппозиционных кругах, так и в кругах консервативных, реакционных.

Князь П. А. Вяземский — некогда вольтерьянец и фрондер, друг Пушкина, а в ту пору, о которой идет речь, видный представитель дворянско-крепостнической реакции — специально «интересовался» в это время произведениями писателей «натуральной школы». Не кто иной, как он, в статье «Языков — Гоголь» («СПб. Ведомости», 1847, №№ 90 и 91) постарался раскрыть, со своих охранительных позиций, политический радикализм новой литературной школы, сопоставляя ее при этом с «крамольной литературой» французского общества, которое «потрясено было ужасными переворотами» и «прошло сквозь огонь и кровь» революций. Статью эту Белинский в своем «Письме к Гоголю» назвал «чистым доносом», а ее автора — «князем в аристократии и холопом в литературе». Для «доносительно»-обличительной характеристики политического направления натуральной школы повесть Салтыкова представляла новый и весьма выразительный материал. Вяземский указал на острую новинку своему старому приятелю П. А. Плетневу. Что именно было сказано при этом Вяземским — неизвестно, хотя об этом и легко догадаться. Плетнев, даже не дочитав до конца произведения недавнего сотрудника своего журнала, пришел в ужас: «Не могу надивиться глупости цензоров, пропускающих подобные сочинения... — писал он Я. К. Гроту на другой день после визита Вяземского, — тут ничего больше не доказывается, как необходимость гильотины для всех богатых и знатных»<sup>122</sup>. У страха глаза велики: отзыв Плетнева, датированный 28 марта 1848 года и, вероятно, повторяющий мнение Вяземского, отразил в себе нервность и испуг правящих групп перед грозным, уже общеевропейским в эти дни, разливом революции на Западе и паническую тревогу в ожидании возможного крестьянского восстания в собственной стране.

Не менее остро была принята повесть в противоположном лагере. Радикальная молодежь, на которую европейские события оказали огромное революционно-возбуждающее действие, увидела в «Запутанном деле» прямой

выпад против ненавистного самодержавия. Воспоминания В. В. Берви-Флеровского показывают, например, что политический комментарий революционно настроенного читателя тех дней ставил на вершину изображенной в повести пирамиды социального угнетения фигуру самого «богдыхана» — Николая I, заменяя ею ряд точек, которыми заканчивалась картина пирамиды в печатном тексте<sup>123</sup>. Осенью 1848 года молодой Чернышевский, впервые занося в свой дневник мысли, осуждающие самодержавие, писал, что монархия «только завершение аристократической иерархии», «все равно, что вершина конуса аристократии», «нижние слои изнемогают под высшими, будет ли у конуса верхушка, или нет, только самая верхушка еще порядком давит на них»<sup>124</sup>. Чернышевский мог, разумеется, применить образ «конуса», или «пирамиды», независимо от литературного источника. Но возможно, что он заимствовал этот образ из повести Салтыкова, которую хорошо знал и надолго запомнил. А. Н. Пыпин, входивший вместе с Чернышевским, Благосветловым и рядом других лиц в демократический кружок И. И. Введенского (в Петербурге) начала пятидесятих годов, пишет в своих воспоминаниях, что «здесь <в кружке> очень хорошо знали и близко принимали к сердцу... ссылку Салтыкова»<sup>125</sup>. «Знали», «близко принимали к сердцу», но... молчали, боясь — в эти годы разгула жандармского террора и активнейшей деятельности «черного кабинета» — доверить свои мысли не только печатному слову, но даже дневникам и письмам. А то, что имелось в этих последних, было, вероятно, уничтожено. Мы знаем, что в 1849 году в связи с делом Петрашевского, происходило массовое сожжение бумаг, которые содержали в себе материалы, способные в какой-либо мере скомпрометировать их обладателей в глазах агентов III Отделения. Несомненно, что в силу именно этих причин о повести Салтыкова, «наделавшей тогда, — по словам такого авторитетного свидетеля, как Чернышевский, — большого шума и продолжавшей возбуждать интерес в людях молодого поколения»<sup>126</sup>, не сохранилось никаких отзывов ни в критике, ни в мемуарно-эпистолярных документах, непосредственно относящихся к 1848 году и к ближайшим годам. Не сохранилось, в частности, и отзыва Петрашевского. Лишь в одном из следственных показаний, назвав



имя Салтыкова, он добавил: «Написал повесть «Запутанное дело».

Успех повести у современников, его характер и масштабы скрыты от нас. Чтобы определить их, нужно догадываться и делать выводы из более поздних отзывов и высказываний. Их мало, но зато они исходят от таких людей, как Добролюбов и Чернышевский. Одно из замечаний последнего только что было приведено. Вот другое. Сообщая осенью 1856 года Некрасову в Париж о появлении первых «Губернских очерков» Щедрина — имени нового в литературе, — Чернышевский поясняет в скобках: «Салтыкова — автора «Запутанного дела», уверенный, что его адресату и эта фамилия и это название известны столь же хорошо, как и ему самому»<sup>127</sup>.

Такая же уверенность звучит и в ответе Н. А. Мельгунова на запрос Герцена в конце 1856 года об авторе сразу же привлечших его внимание «Губернских очерков»: «Щедрин — это Салтыков, сосланный еще, кажется, при тебе за повесть в «Отеч. записках»<sup>128</sup>.

Полнее восстанавливается отношение к «Запутанному делу» Добролюбова. О его высокой общественно-политической оценке салтыковской повести свидетельствует уже тот факт, что в середине пятидесятых годов он пытается, хотя и без успеха, в том случае, о котором идет речь, пропагандировать это произведение среди учащейся молодежи. «Принес я им <студентам> «Кто виноват?» <Герцена>, — писал Добролюбов в письме 1856 года, — и вот недели две не могут прочитать его; принес «Запутанное дело» — и они не только не прочли, но еще потеряли его»<sup>129</sup>.

А в 1861 году в своей статье «Забитые люди», оказавшейся предсмертной, великий критик и революционер дает развернутый отзыв о повести Салтыкова. В свете этого замечательного отзыва уясняются причины и значение успеха «Запутанного дела» у демократического читателя эпохи.

Разоблачая в названной статье либерально-оппортунистическую подкладку направления так называемой «обличительной литературы», указывая, что все эти атаки на чиновников-взяточников и воров не только не содействуют устранению подлинных причин обличаемого зла, но и не разъясняют его, Добролюбов пишет: «Никто, кажется, ис-

ключая г. Щедрина, не вздумал заглянуть в душу этих чиновников — злодеев и взяточников — да посмотреть на те отношения, в каких проходят их жизнь». Но и у Щедрина в «Губернских очерках» «обличение» — по мнению критика — «перетягивает». В этой связи Добролюбов вспоминает «Запутанное дело» и пишет дальше:

«Ни в одном из «Губернских очерков» не нашли мы в такой степени живого, до боли сердечной прочувствованного, отношения к бедному человечеству, как в его «Запутанном деле», напечатанном 12 лет тому назад. Видно, что тогда были другие годы, другие силы, другие идеалы. То было направление живое и действительное, направление истинно-гуманитарное, не сбитое и не расслабленное разными юридическими и экономическими сентенциями... и, если бы продолжалось это направление, оно, без сомнения, было бы плодотворнее всех, за ним последовавших. Ныне у нас решения просты: если люди воруют, значит — полиция плохо делает свое дело; если взятки берутся, значит — начальник колпак... А тогда выходило иной раз: ворует человек оттого, что работы не нашел себе и с голоду умирал; взятки берет, — чтоб пятнадцать душ семейства прокормить... Результаты, очень непохожие в нравственном отношении: один будит в вас человеческое чувство и мужественную мысль, другой ведет вас в полицию и заставляет замирать на юридической форме»<sup>130</sup>.

В «Запутанном деле» Салтыков, — утверждал, таким образом, Добролюбов, — не только указывал подлинный источник общественного зла, усматривая его в самодержавно-крепостническом строе, но и пробуждал «мужественную мысль» о необходимости борьбы с этим злом и его первопричиной. Добролюбов не только поставил юношескую повесть Салтыкова выше гремевших тогда «Губернских очерков». Он определил ее принадлежность к тому зарождавшемуся, но заторможенному реакцией направлению русской общественной мысли, которому суждено было мощно окрепнуть лишь в знаменательную пору «шестидесятых годов» — к направлению революционной демократии. Тем самым Добролюбов определил не просто выдающееся, но и качественно новое место этой «натуральной повести» в литературе сороковых годов.

Революционная тенденция «Запутанного дела» не могла остаться незамеченной властями и явилась причиной больших изменений в жизненной судьбе Салтыкова.

## АРЕСТ И ССЫЛКА

...И может быть бы уцелел...  
Но поднялась тогда тревога  
В Париже буйном — и у нас  
По-своему отозвалась...  
Скрутили бедную цензуру —  
Послушав наконец клевет,  
И разбирать литературу  
Созвали целый комитет.

*Н. Некрасов. «В. Г. Белинский».*

В феврале 1848 года во Франции, в Париже, грянула революция. В России она вызвала взрыв восторга и надежд среди демократической интеллигенции, но и немедленно привела к правительственной реакции, еще более свирепой, чем прежде.

И декабрьским террором пахнуло  
На людей, переживших террор, —

вспоминал Некрасов об этой поре.

Салтыков напечатал «Запутанное дело» в марте, а в апреле он уже был арестован и выслан в Вятку. Он был отправлен туда за обнаруженное в его повести «вредное направление и стремление к распространению революционных идей, потрясших уже всю Западную Европу». Это были слова, сказанные о повести Салтыкова самим Николаем I. Интересно, что правительственное сообщение о приговоре петрашевцам, напечатанное 22 декабря 1849 года в «Русском инвалиде» (№ 276), начиналось такими словами, вписанными в декларацию лично царем: «Пагубные учения, породившие смуты и мятежи по всей Западной Европе и угрожающие ниспровержением всякого порядка и благосостояния народов, отозвались, к сожалению, в некоторой степени и в нашем отечестве». В глазах Николая I и его правительства политическое содержание «преступлений» и петрашевцев и Салтыкова было, таким образом, одинаково.

Арест и ссылка Салтыкова не раз освещались в литературе. Однако ни одно из существующих изложений этих событий не свободно либо от грубых искажений истины (А. М. Скабичевский, В. И. Семеvский, В. Я. Кирпотин),

либо от ряда серьезных неточностей (К. С. Веселовский, М. К. Лемке, А. С. Нифонтов)<sup>131</sup>.

Обращение к подлинным документам III Отделения позволяет выяснить фактическую сторону вопроса с достаточной, хотя и не исчерпывающей всех деталей полнотой.

С самого начала 1848 года в III Отделение собственной его императорского величества канцелярии — орган высшей полиции империи и центральное учреждение по политическому розыску — стали поступать все более тревожные сведения о готовящихся во Франции и в Европе революционных событиях. О сгущавшихся тучах усиленно сигнализировали, среди других агентов и секретных сотрудников III Отделения, и его соглядатаи в отечественной литературе — Ф. Булгарин и Б. Федоров. Они посылали начальству донос за доносом на передовую литературу и ее журналы — «Современник» и «Отечественные записки». Особенно резкие политические обвинения предъявлялись последнему изданию: «Отечественные записки», — заявлял в одном из своих доносов Дубельту Булгарин, — превратились в открытую трибуну для пропаганды французского разрушительного влияния, угрожающего алтарям, тронам и общественным установлениям». Руководители III Отделения должны были обратить на эти органы печати особое внимание и принять экстренные меры.

И действительно, 23 февраля, то есть на следующий день после получения в Петербурге первых достоверных известий о начавшихся в Париже событиях, шеф жандармов и начальник III Отделения граф А. Ф. Орлов представил Николаю I всеподданнейший доклад «О журналах «Современник» и «Отечественные записки», в котором предлагал резко усилить цензурно-политический надзор за обоими изданиями. На следующий день царю была представлена (через наследника) записка о печати барона М. А. Корфа, а затем и еще одна записка на ту же тему — графа А. Г. Строганова. Оба они привлекали внимание высшей власти в первую очередь опять-таки к «Современнику» и особенно к «Отечественным запискам» как к «наиболее вредным журналам», проводящим «коммунистические идеи». В обеих записках также шла речь о «бездействии цензуры» и необходимости «обуздания вредного направления» в периодической печати, но прак-

тические предложения были шире, чем в докладе Орлова: они предусматривали необходимость общей политической ревизии существующих журналов и газет, а также всей деятельности органов цензуры. Николай I, обеспокоенный вестями из Франции, получив почти одновременно ряд сигналов о неблагополучии в надзоре над периодической печатью, встревожился и немедленно принял свои меры. Возвращая Орлову 26 февраля его доклад, царь написал на нем: «Необходимо составить особый комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура, и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы. Комитету донести мне с доказательствами, где найдут какие упущения цензуры и ее начальства <то есть министерства народного просвещения> и которые журналы и в чем вышли из своей программы». Далее перечислялся состав комитета: председатель — морской министр кн. А. С. Меншиков, члены — Д. П. Бутурлин, бар. М. А. Корф, гр. А. Г. Строганов, сенатор П. И. Дегай и управляющий III Отделением Л. В. Дубельт. Комитету предписывалось занятия «начать немедленно»<sup>132</sup>.

Так возник негласный «высочайше учрежденный комитет для рассмотрения действий цензуры периодических изданий» — меншиковский комитет, как его обычно называют. Жертвой его кратковременной деятельности стал вскоре Салтыков.

Последнее обстоятельство дало повод некоторым из современников связывать даже самое возникновение меншиковского комитета с появлением в печати «Залутанного дела» Салтыкова, а также антикрепостнической повести Герцена «Сорока-воровка» («Современник», 1848, кн. 2). Об этом свидетельствует по крайней мере следующая запись в «тетради» М. Н. Лонгинова — сослуживца Салтыкова по Канцелярии военного министерства. Сделанная уже в 1858 году — Лонгинов еще «ходил» тогда в либералах — запись гласила:

«Перед самой революцией 1848 года во Франции появились, между прочим, в «Отечественных записках» повесть Мих. Евгр. Салтыкова «Залутанное дело», а в «Современнике» повесть Александра Ив. Герцена «Сорока-воровка». Они, среди всеобщей паники, сделались поводами к уголовной процедуре над литературой, на которую дикари и невежды бросились сейчас. Наряжена <была> в Адмиралтействе Секретная Комиссия, где председате-

лем был князь Ал. Серг. Меншиков, делопроизводителем Александр Александр. Гвоздев, а членами всякая николаевская шушера, судившая и рядившая. В присутствие были призваны редакторы: «Отечественных записок» — Андр. Алекс. Краевский и «Современника» Алекс. Вас. Никитенко (бывший им только по имени) и им объявлено, что будут приняты строгие меры вообще, а при малейшем их поползновении продолжать попрежнему, с ними поступят как с государственными преступниками!! Никитенко оставил места редактора и цензора. Салтыкова сослали в Вятку. Герцен уже был за границей... Начался бессмысленный жестокий отвратительный террор, кончившийся только в вожделенный день 18-го февраля 1855-го года <день смерти Николая I — С. М.>. Салтыков обратился в Щедрина. Человеческое стало торжествовать над животным»<sup>133</sup>.

В делах I секретного архива Департамента полиции сохранился весьма любопытный документ, относящийся уже к 1883 году. Документ не имеет заглавия, но по содержанию должен быть назван «Всепоподданнейшей запиской директора Департамента полиции (им был в это время В. К. Плеве) о направлении периодической прессы в связи с общественным движением в России 1840—1870 годов». Составленная на основании архивных материалов III Отделения, эта обширная «записка» была представлена 24 августа 1883 года царю Александру III (на подлиннике его рукой написано: «Читал»). Один из разделов «записки» назван: «Предвестники нигилизма». Жандармский историограф следующим образом излагает здесь причины и обстоятельства создания меншиковского комитета:

«Первыми пионерами назревавшего в некоторых литературных кружках отрицательного отношения к историческому призванию нашего нынешнего государственного строя и к основам существующего общественного быта, первыми провозвестниками идей, впоследствии получивших наименование нигилистических, были журналы: «Отечественные записки» и «Современник». Оба эти журнала обратили на себя внимание еще в 1848 году статьями нескольких молодых авторов, причислявших себя к так называемой натуральной школе. Новое направление вызвало высочайшее повеление об учреждении Комитета, которому было поручено рассматривать, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы. Государь император Николай Павлович, прочитав выписки из этих журналов, изволил признать, что они допускают в статьях своих мнения в высшей

Экспедиция

№ 169



А Р Х И В Ъ

III ОТДѢЛЕНІЯ

СОБСТВЕННОГО

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

КАНЦЕЛЯРИИ

*Объ аттрависіи Митурян.  
Салтык. Салтыкова на службу  
въ Вятку.*

1848 года.

Обложка дела III Отделения о ссылке  
М. Е. Салтыкова в Вятку

Центральный государственный исторический архив, Москва





степени преступные, могущие поселить в нашем отечестве правила коммунистические, неуважение к вековым и священным учреждениям, к заслугам людей всеми почитаемых, к семейным обязанностям и даже религии, повредить народной нравственности и вообще приготовить у нас те пагубные события, которыми в то время были потрясены западные государства, и повелел объявить за подпиской редакторам этих журналов — Андрею Краевскому и Ивану Панаеву, чтобы они под опасением строгой ответственности не позволяли себе помещать в издаваемых ими журналах статей столь вредного направления»<sup>134</sup>.

«Записка» не называет имен тех «молодых авторов, причислявших себя к так называемой натуральной школе», которые привлекли к себе в 1848 году столь пристальное внимание властей предержавших. Мы знаем теперь, что среди этих авторов и их произведений «записка» имела в виду и Салтыкова с его «Запутанным делом», и даже в первую очередь их.

«Записка» умалчивает о главной репрессии, которой ознаменовалась кратковременная деятельность меншиковского комитета. Обращение к документам III Отделения позволяет устранить и эту недосказанность документа, опять-таки связанную с Салтыковым.

Возникший из «высочайшей резолюции», лишь перед царем ответственный, комитет формально не был связан ни с одним из правительственных учреждений. Он именовался в официальных бумагах «особым» и проводил свои занятия в Адмиралтействе, где его существование было обставлено строжайшей тайной. Но в империи Николая I нити всех политических тайн сходились в III Отделении. Имевшее право вмешиваться во все, оно не только не устранилось от занятий комитета, как это утверждает Михаил Лемке, а за ним и другие исследователи, но фактически через вошедшего в его состав Леонтия Дубельта направляло и корректировало всю его деятельность, осуществляя свою функцию высшего политического надзора. Архивные документы с полной отчетливостью устанавливают эту связь.

К разрешению основной задачи, «высочайше» поставленной перед особым комитетом, — проверке периодической печати, или (по позднему определению Салтыкова) ревизии русской литературы «по случаю Февральской революции» (I, 82), — было приступлено 11 марта. В этот день на специальном заседании комитет распределил между своими членами просмотр отдельных

изданий. «Отечественные записки» достались П. И. Дегаю — ученому юристу, сенатору и статс-секретарю. Кто был дан ему в помощники — из документов не видно, а достоверность списка комитетских чтецов, сообщенных позднее в герценовском «Колоколе» (1860, № 72), не поддается проверке.

Очевидно, уже 19 марта Дегай представил свой отзыв или какую-то часть его. Этой датой помечено письмо правителя дел комитета К. И. Фишера в III Отделение, в котором он просил сообщить имена авторов ряда анонимных статей, напечатанных в «Отечественных записках», а также в «Современнике». «Сведения эти, — писал Фишер, — понадобились для доклада государю императору о результатах занятия комитета». Значит, к 19 марта основная работа была уже закончена и было приступлено к редактированию «всеподданнейшего» доклада <sup>135</sup>.

Требуемые сведения были получены III Отделением в тот же день и рукою Дубельта вписаны на полях письма Фишера. Но среди раскрытых авторов анонимных и псевдонимных статей мы не находим имени Салтыкова: Дегай не запрашивал о повести «Запутанное дело» и об ее авторе. Сохранившийся подлинник его «записки», представленной в комитет, не оставляет на этот счет ни малейших сомнений. Подробно перечисляя цензурные упушения «Отечественных записок», приводя многочисленные указания на «совершенно недопустимые» статьи и заметки, Дегай ни словом не обмолвился о двух наиболее ярких и одиозных в цензурном отношении произведениях последней просмотренной им книжки журнала: «Запутанном деле» Салтыкова и большой работе его друга В. Милютина «Пролетарии и пауперизм в Англии и Франции».

Чем было вызвано столь странное обстоятельство? Предположение, что Дегай, проявивший пристальное внимание даже к мельчайшим библиографическим заметкам, попросту просмотрел эти произведения — невероятно: в книжке журнала они были напечатаны на самом видном месте, привлекли внимание читателей, о них говорили в Петербурге. «Запутанное дело» было указано в качестве главной примечательности новой книжки «Отечественных записок» и в объявлении о выходе ее, появив-

шесмя в тогдашнем «официозе» — «Северной пчеле» (№ 50 от 4 марта 1848 г.).

А. С. Нифонтов, непонятным образом «вписавший» в доклад Дегай отсутствующий там отзыв о салтыковской повести («самым крупным упуцением Дегай счел повесть Салтыкова «Запутанное дело», в которой была усмотрена карикатура на российскую действительность»), высказал в отношении пропуска работы В. Милютина следующее предположение: «Остается допустить немного рискованное объяснение этого факта, но, повидимому, наиболее вероятное, — личное влияние на членов комитета Н. А. Милютина, занимавшего тогда видное положение в министерстве внутренних дел»<sup>136</sup>.

Это объяснение, распространенное и на повесть Салтыкова, кажется наиболее вероятным и нам. При этом ничего рискованного оно в себе не содержит.

Служебное положение Н. А. Милютина в это время, правда, еще не было «видным»: он занимал всего лишь должность начальника отделения в департаменте полиции исполнительной. Но он был любимым племянником влиятельного министра государственных имуществ гр. П. Д. Киселева и другом статс-секретаря А. П. Корнеева, близкого приятеля П. А. Дегай. С другой стороны, Н. А. Милютин живо интересовался литературой и был лично знаком с Белинским, Герценом, Панаевым, Краевским. Он посещал, в частности, организованные этим последним «субботние собрания» литераторов и сочувственно относился к «Отечественным запискам»<sup>137</sup>. Использовать свои связи для предотвращения нависшей над журналом беды Н. А. Милютина могли побудить не только непосредственная опасность, угрожавшая его брату и товарищу последнего, то есть Салтыкову, которого он, конечно, знал, но и просьбы смертельно перепуганного Краевского, близко знакомого с ним. А выручать своих друзей и знакомых из беды или попросту оказывать им те или иные услуги являлось прямо-таки страстью молодого Н. А. Милютина. Это подчеркивают в своих воспоминаниях многие лица, хорошо знавшие его в ту пору. К. С. Веселовский так отзываясь, например, об этой черте характера Н. А. Милютина: «Всякий раз, когда представлялся случай оказать услугу приятелю или поддержать доброе дело, он был неутомим и неистощим в изы-

скании средств к тому. В числе его знакомых не мало было таких, которые были многим ему обязаны»<sup>138</sup>.

Так или иначе, но сгущавшаяся над Салтыковым гроза прошла, казалось, стороной. Комитет уже готовил заключительный доклад царю, а «Запутанное дело» даже не было ни разу названо ни в одном из протоколов и документов. Но вдруг все изменилось, и грянула катастрофа.

29 марта комитет собрался на свое последнее заседание. Председательствовал князь А. С. Меншиков. Предлагая на рассмотрение членов комитета проект заключительного «журнала», который должен был быть представлен царю, Меншиков огласил его текст. Сводка материалов, могущих служить доказательствами «упущений цензуры», — а таких доказательств и требовал Николай I от комитета, — расположенная в протоколе в порядке нарастания одиозной яркости примеров, за вершала сь... «Запутанным делом». Повесть Салтыкова была тем самым признана наиболее «предосудительным» и «резким» из всех рассмотренных комитетом, произведений, оказалась поставленной, в этом отношении, выше статей Белинского, и появление ее в «Отечественных записках» было признано одновременно и самым крупным промахом цензуры и наиболее ярким доказательством «вредного направления» журнала<sup>139</sup>.

Что же произошло? Кто неожиданно привлек к повести Салтыкова внимание комитета?

В мемуарной литературе существует документ, содержащий ответы на эти вопросы, однако ответы эти не вскрывают, как увидим, всей полноты картины. Речь идет о воспоминаниях К. С. Веселовского — лицейского товарища Петрашевского, а в ту пору, о которой идет речь, начальника статистического отделения департамента сельского хозяйства и сотрудника (по экономическим вопросам) «Отечественных записок» и «Современника», человека весьма ценимого Белинским. Воспоминания воспроизводят рассказ некоего А. Д. Крылова — чиновника Адмиралтейства, привлеченного к канцелярским занятиям в меншиковском комитете, — тоже бывшего лицеиста.

«В один день, — рассказывает К. С. Веселовский, — во второй половине марта <1848 г.> Крылов входит ко мне с таинственным и смущенным видом и передает мне под строжайшим секретом, лишь по долгу дружбы, что он

по приказанию князя Меншикова занимается по секретному комитету, назначенному для расследований о вредных направлениях в русской печати, и что в этом комитете заготавливается всеподданнейший доклад, в котором на мою, появившуюся в «Отечественных записках» статью о жилищах рабочего люда в Петербурге указывается, как на вредную для общественной безопасности».

После описания своих тревожных переживаний и предчувствий К. С. Веселовский сообщает далее, что через несколько дней к нему «прибежал» тот же А. Д. Крылов с радостной вестью, что «беду пронесло мимо». «В то время, — продолжает свой рассказ К. С. Веселовский, — как они <члены меншиковского комитета. — С. М.>, за неотысканием чего-нибудь более веского, решили уже *faute de mieux* \* принести в жертву меня и мою бедную статью, в заседание комитета является один из его членов, кажется П. И. Дегай, с радостным эврика! эврика! \*\* и заявляет, что в том же томе «Отечественных записок», в котором напечатана статья Веселовского, он нашел нечто лучшее или худшее — не знаю, как сказать, — а именно повесть под заглавием «Запутанное дело», подписанную буквами М. С., под которыми скрылся автор ее, Михаил Салтыков».

Дальше К. С. Веселовский подробно излагает содержание «сна» героя салтыковской повести Мичулина — пирамиду социального угнетения — и продолжает: «По выслушании этого сообщения члены Комитета нашли, что в этом сне нельзя не видеть дерзкого умысла — изобразить в аллегорической форме Россию <т. е. русское самодержавие. — С. М.> и что о повести Салтыкова должно быть внесено в изготовленный доклад о вредных направлениях журналов. Тогда князь Меншиков, согласившись с этим, заметил, что нельзя обременять внимание государя мелочами, и предложил исключить из приготавлиемого доклада то, что там было сказано о моей статье, а ограничиться в нем одной лишь повестью Салтыкова, как более подходящею к цели доклада, с чем прочие члены Комитета и согласились»<sup>140</sup>.

Рассказ К. С. Веселовского, содержащий ценное свидетельство о том, как был политически расшифрован в

---

\* за неимением лучшего

\*\* я нашел! я нашел!

меншиковском комитете образ «пирамиды» из «Запутанного дела», не вскрывает, однако, главной причины, столь неожиданно направившей всю тяжесть удара комитета по Салтыкову, чья повесть, как мы знаем, даже не была упомянута Дегаем в его докладе об «Отечественных записках».

Лишь теперь, по прошествии ста лет, мы имеем возможность вскрыть эту причину. Она заключалась, как оказывается, в прямом вмешательстве в ход событий III Отделения. Несомненно, что именно это вмешательство заставило Дегаю резко изменить свою первоначальную тактику замалчивания салтыковской повести и сорвало его ход, направленный дружеской рукой Милютина. Доказательством сказанному служит обнаруженная нами в делах III Отделения специальная записка о «Запутанном деле», подписанная неким М. Гедеоным.

Изложив и процитировав со своими замечаниями содержание и наиболее острые места салтыковской повести, в том числе разговор в карете на Невском проспекте и рассказ о «голодных волках», Гедеонов закончил записку таким заключительным выводом:

«Невозможно выписать из повести все предосудительные выдержки, потому что вся повесть написана в самом разрушительном духе.

По моему мнению, общий смысл ее следующий:

Богатство и почести — в руках людей недостойных, которых следует убить всех до одного.

Каким образом уравнивать богатство? Не карательную ли машинной кандидата Беобахтера, то есть гильотиною?

Этот вопрос, которым дышит вся повесть, не разрешен сочинителем, а потому именно объясняется заглавие повести «Запутанное дело»<sup>141</sup>.

Кто такой М. Гедеонов? Это — мелкий рептильный литератор, сотрудник болгаринских изданий и одновременно «старший чиновник» цензурной экспедиции III Отделения, то есть секретный цензор николаевской политической полиции, специально наблюдавший за журналами, в первую очередь, за «Современником» и «Отечественными записками». Ему, в частности, поручалась Дубельтом «проверка» болгаринских доносов на эти издания. Ф. Булгарин в письме к Р. М. Зотову от 29 января 1843 года называет Гедеонова «другом» Дубельта<sup>142</sup>.

Гедеонов и сам, конечно, должен был обратить внимание на «разрушительное» сочинение Салтыкова, получив мартовскую книжку специально доставлявшихся ему в III Отделение «Отечественных записок». Но вовсе не исключена возможность существования одновременного доноса Булгарина. Во всяком случае какое-то отсутствующее в деле письмо его «с приложениями» было возвращено Фишером Дубельту 22 марта. И именно этим днем датированы в описи «дела» две справки о Салтыкове, которые были срочно наведены III Отделением<sup>143</sup>.

Записке Гедеонова был, разумеется, сразу же дан ход. Пересланная в меншиковский комитет, она естественно должна была попасть в руки Дегай, как официального комитетского ревизора «Отечественных записок», и, вероятно, доставила ему не очень приятные переживания. Скрыть записку, направленную в комитет высшим органом политической полиции, Дегай, разумеется не мог, и ему не оставалось ничего другого, как признать своим «эврика» как бы случайность допущенного в его докладе пропуска сочинения, написанного «в самом разрушительном духе». Так или иначе, но для комитета нечего было и желать более выразительного доказательства «упущений цензуры». И записка Гедеонова почти полностью и текстуально перешла в заключительный «журнал» комитета от 29 марта 1848 года, но все же в смягченном виде, без того заключительного вывода, который был приведен выше.

Возможно, что Н. А. Милютину в последний момент все же удалось кое-что сделать для своих «подзащитных»: наряду со смягчением отзыва о повести Салтыкова в «журнал» вовсе не попало упоминание статьи В. Милютинина о книге Бутовского, имевшееся в «замечаниях» Дегай. Но в конечном счете и эта попытка оградить участь Салтыкова, если она имела место, оказалась безрезультатной.

Николай I прочел и утвердил заключительный «журнал» меншиковского комитета 2 апреля. А около 20-го числа того же месяца, при очередном докладе военного министра кн. А. И. Чернышева, царь заметил ему, что у него служит чиновник, напечатавший сочинение, «в котором оказалось вредное направление и стремление к распространению идей, потрясших всю Западную Европу». «Это слова государя князю Чернышеву, который ничего

подобного не подозревал у себя в канцелярии», — записал на другой же день, 21 апреля, в своем дневнике Нестор Кукольник<sup>144</sup>.

Но откуда, однако, Николай I узнал, что автор «Запутанного дела» служил в министерстве Чернышева? В «журнале» об этом не упоминалось, и даже само имя «сочинителя» не было там названо. Эти сведения Николай почерпнул — тут нет сомнений — от шефа жандармов и начальника III Отделения гр. А. Ф. Орлова.

Отметим здесь попутно, что именно история с Салтыковым и его «Запутанным делом» заставила министра народного просвещения Уварова, выполнявшего в данном случае негласное предписание верховного ревизора над печатью кн. Меншикова, предложить 2 апреля 1848 года С.-Петербургскому цензурному комитету срочно затребовать от редакторов всех столичных журналов сведения о сотрудниках их изданий. Списки эти стали вскоре же поступать к министру<sup>145</sup>.

Двумя неделями раньше Уваров, выполняя другое распоряжение меншиковского комитета, запретил редакторам периодических изданий помещать в газетах и журналах какие-либо материалы (кроме объявлений) без обозначения «имени сочинителя». По поводу этого распоряжения, которое власти вынуждены были вскоре отменить, В. Р. Зотов — лицейский товарищ и друг Салтыкова, в это время редактор «Литературной газеты», — писал в Нижний-Новгород М. И. Михайлову — поэту и публицисту, будущему видному участнику революционного движения шестидесятых годов: «Вы спрашиваете о причине подписи имен под статьями? Счастливый вы человек, что не занимаетесь теперь журнальными делами. Беда неминуемая стряслась без Вас над бедной русской литературой: учредили комитет, особый, грозный, безапелляционный, для узнания духа русской литературы вообще и журнальной в особенности; много любопытных постановлений издал этот комитет. Объявление имен принадлежит к этому числу... Вообще в настоящее время положение литературы таково, что хуже его еще не было и вряд ли будет, потому что не может быть. Просто не знаешь, что делать: приходят такие минуты, что готов бросить перо и пойти в чиновники... Теперь, чтобы быть писателем, нужно иметь более чем талант и охоту, надо иметь терпение, мужество



и даже твердость простирающиеся до самоотвержения...»<sup>146</sup>

Таково одно из немногих дошедших до нас свидетельств современников о деятельности секретного меншиковского комитета, жертвой которой стал Салтыков, и о невыносимом положении литературы и литераторов, создавшемся в результате этой деятельности.

Необходимо было подробно остановиться на предистории ссылки Салтыкова, чтобы раз навсегда устранить из биографии сатирика ошибочные версии, связывающие этот эпизод с инициативой то Чернышева, то Кукольника, то Дега и меншиковского комитета, то, наконец, позднейшего бутурлинского комитета. Как видим, роль ргито тоге, первого двигателя, в постигшей Салтыкова катастрофе сыграло все то же всемогущее III Отделение, которое отныне уже не выпускало писателя из-под своего надзора.

О последующих событиях мы узнаем из упомянутого дневника Н. Кукольника.

Получив от царя замечание, Чернышев был взбешен — и собирался «упечь» Салтыкова в солдаты, на Кавказ. Пока же он распорядился арестовать Салтыкова, что и было выполнено в ночь с 21 на 22 апреля. Для разбора его дела он назначил специальную следственную комиссию, в которую вошли, в частности, комендант Петропавловской крепости и будущий председатель следственной комиссии по делу петрашевцев — генерал-адъютант И. А. Набоков, директор Канцелярии военного министерства генерал-адъютант Н. Н. Анненков и назначенный делопроизводителем комиссии Н. Кукольник. Последнему было получено ознакомиться с содержанием уже обеих повестей Салтыкова и доложить о них комиссии. 23 апреля Кукольник записал в дневнике: «Прочел «Запутанное дело», тоже и «Противоречия» просмотрел; в этой ровне ничего нет. А в «Запутанном деле» заметно некоторое увлечение коммунистическими и западными революционными идеями. Но тоже нивесьть как страшно. С летамы взгляд может отрезвиться. Но виден несомненный талант».

Кукольник не только склонялся к снисхождению сам, но и весьма активно старался расположить к этому всех остальных членов следственной комиссии и в первую очередь ее председателя. Об этом свидетельствуют следующие записи в дневнике Кукольника:

«23 апреля. Пятница. ...Дело Салтыкова. Был у Набокова в крепости и у всех членов комиссии следственной, кого насколько можно было старался расположить к снисходительности: неопытность, увлечение молодости. Набоков не прочь. Другие члены смотрят на дело по-военному: «Начальство требует». Тут надо осторожно, не спеша».

«24 апреля. Суббота... «Противоречия» повесть Салтыкова. Содержание доложил комиссии. Из «Запутанного дела» читал выдержки. Склоняются к снисхождению по молодости лет и увлечению по неопытности. Положено: Представить министру об увольнении из канцелярии и об ограничении наказания семидневным арестом на гауптвахте, собственно за напечатание сочинения без ведома начальства в нарушение высочайшего постановления такого-то <1824> года... Завтра доклад министру».

Но у Чернышева — «человека с замурованным сердцем», по выражению Герцена, — эти предложения вызвали новый припадок бешенства. «Князь Чернышев неумолим, — записал Кукольник о реакции министра на доклад Набокова. — Разгневан на следственную комиссию, с заключением ее не согласен; не допускает снисхождения. В солдаты, однако, не разжалует, но доложит сегодня государю об увольнении из Канцелярии и о высылке на службу в Вятку. Мне приказал заготовить в этом смысле бумагу в форме письма шефу жандармов графу Орлову»<sup>147</sup>.

Приведенная запись помечена в дневнике 25 апреля, приходившимся в 1848 году на воскресенье. Но это, вероятно, дата описываемых событий, сама же запись сделана на другой день, то есть в понедельник 26 апреля. В противном случае слова «доложит сегодня государю» означали бы, что «всеподданнейший» доклад Чернышева состоялся в воскресный день, что вряд ли могло иметь место в данном случае. Но еще до представления доклада царю, состоялось ли оно 25, или 26 апреля, Чернышев своей властью утвердил первую часть предложений этого доклада: «За нарушение служебных обязанностей и существующих постановлений уволить от службы в Канцелярии военного министерства, с содержанием впредь до распоряжения под арестом на гауптвахте».

Представленный Николаю I доклад, повидимому, не был утвержден сразу. Царь затребовал справку об отце Салтыкова. Чернышев привез ее 27 апреля<sup>148</sup>. Ознакомившись с нею, Николай решил судьбу Салтыкова, отправив его «на служение в Вятку», то есть в ссылку. Срок ее не был обозначен.

«Всеподданнейший» доклад Чернышева о Салтыкове остается до сих пор неизвестным. Но отсутствие этого документа отчасти заменяют другие архивные материалы.

Вернувшись 27 апреля, после «высочайшей» аудиенции, к себе в министерство, князь Чернышев подписал и распорядился не медля доставить по назначению три аналогичных по содержанию «отношения», адресованных министру внутренних дел Л. А. Перовскому, шефу жандармов графу А. Ф. Орлову и вятскому гражданскому губернатору А. И. Серее. Секретные бумаги эти извещали названных лиц о только что состоявшемся «высочайшем определении» судьбы Салтыкова. Заготовлены они были Кукольниковом, по распоряжению Чернышева, еще накануне, то есть до того, как Николай I вынес свое решение<sup>149</sup>.

Так как документы эти, представляющие существенный биографический интерес, еще не появлялись в печати, приводим здесь полностью текст первого из них.

Князь Чернышев писал Перовскому:

*Секретно*

МИНИСТЕРСТВО  
ВОЕННОЕ

*Канцелярия Министерства*

Отделение I

В С.-Петербурге

27 апреля 1848 г.

№ 1239

Милостивый государь

Лев Алексеевич!

Служащий в Канцелярии Военного Министерства помощником секретаря титулярный советник Салтыков, в противность существующих узаконений, позволил себе помещать в периодических изданиях литературные свои произведения без дозволения и ведома начальства, в том числе и две повести под заглавием «Противоречия» и «Запутанное дело». По рассмотрении оказалось, что как самое содержание, так и все изложение сих повестей обнаруживают вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие.

По всеподданнейшему докладу моему, государь император, снисходя к молодости Салтыкова, высочайше повелеть соизволил уволить его от службы по Канцелярии Военного Министерства и *немедленно* отправить на служение тем же чином в Вятку, передав особому надзору тамошнего начальника губернии, с тем, чтобы губернатор о направлении его образа мыслей и поведении постоянно доносил государю императору.

Сделав распоряжение об увольнении Салтыкова от службы по Канцелярии Военного Министерства, поспеваю довести до сведения вашего высокопревосходительства, что о таковой высочайшей воле с сим вместе я сообщил генерал-адъютанту графу Орлову для зависящего распоряжения к отправлению по назначению титулярного советника Салтыкова, который 26-го сего апреля отослан к С.-Петербургскому коменданту для содержания на гауптвахте, впредь до отправления его из С.-Петербурга.

Примите уверения в совершенном моем почтении и преданности.

Князь А. Чернышев.

Его Высокопревосходительству

Л. А. Перовскому<sup>150</sup>.

Приведенный документ, отчасти заменяющий, как уже было упомянуто, утраченный или остающийся неразысканным «всеподданнейший» доклад Чернышева по делу Салтыкова, позволяет установить в этом деле одно новое обстоятельство.

Формула обвинения Салтыкова, средактированная лично Николаем I («вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу...» и т. д.), относилась не только к «Запутанном деле», как до сих пор считалось, но и к «Противоречиям». Первая повесть Салтыкова была сочтена таким же революционным произведением и таким же политическим деликтом, как и вторая. Наряду с «Запутанным делом» «Противоречия» рассматривались во «всеподданнейшем» докладе Чернышева. Судьбу Салтыкова определили оба его юношеских произведения, а не одно из них.

Салтыков между тем уже с 21 апреля содержался под арестом на Адмиралтейской гауптвахте (расположенной рядом с Канцелярией военного министерства)<sup>151</sup>, а 26-го, как и указывает Чернышев, был препровожден по его распоряжению к петербургскому коменданту и переведен последним на Арсенальную гауптвахту, на Литейном проспекте, — ту самую, где в 1840 году содержался после дуэли с Барантом Лермонтов. В эти трудные дни ему оказала помощь и моральную поддержку Алина Яков-

левна Гринвальд (сестра жены Дмитрия Евграфовича), кстати сказать, единственная известная нам женщина, которой он, повидному, серьезно увлекался в юности<sup>152</sup>.

О «высочайшем повелении» Салтыков был извещен немедленно в тот же день -- 27 апреля. Он тут же обратился к своему начальству по канцелярии, генерал-адъютанту Н. П. Анненкову, с просьбой разрешить ему за сутки до отправления отлучиться с гауптвахты «на честное слово» для свидания с родными и для сборов в далекий путь. Он хотел также получить советы пользовавшего его врача, так как был болен и проходил курс лечения<sup>153</sup>.

Но судьбой Салтыкова всецело распоряжалось уже III Отделение. С выполнением «высочайших повелений» оно не задерживалось. И когда просьба арестованного дошла до кабинета шефа жандармов, Салтыков находился уже на пути в Вятку. Он выехал туда, вместе со своим «дядькой» Платоном, 28 апреля, в 9 часов вечера, прямо из помещения гауптвахты. Сопровождал его жандармский штабс-капитан Рашкевич. Он вез врученные ему в III Отделении два пакета с секретными бумагами. В одной из них Орлов поручал ссыльного «особому надзору» вятского гражданского губернатора А. И. Середы, с тем, чтобы последний «о направлении образа мыслей Салтыкова и поведении его постоянно доносил его величеству». Другая бумага была адресована в Казань, начальнику 7-го округа корпуса жандармов (в этот округ входила Вятка) подполковнику П. Ф. Львову (брату композитора — автора царского гимна). Шеф жандармов предлагал ему «немедля сделать распоряжение, дабы за упомянутым чиновником <Салтыковым> имелось секретное наблюдение и со стороны местного штаб-офицера корпуса жандармов»<sup>154</sup>.

Через несколько дней после отправления Салтыкова в Вятку В. Р. Зотов следующими словами заканчивал свое письмо в Нижний-Новгород к М. И. Михайлову:

«Наконец, последняя очень неутешительная новость: Салтыкова, моего приятеля и лицейского товарища, автора повести Запутанное Дело (Отечеств. записки), отправили с жандармом в Вятку на постоянное место жительства, за сочинение и напечатание означенной повести. Что еще сказать Вам? Последняя новость п о р а з и л а д а ж е к о в с е м у р а в н о д у ш н ы й П е т е р б у р г . Ч е г о е щ е ж д а т ь ? »<sup>155</sup>

Эти строки — до сих пор неизвестные — являются единственным пока и потому тем более ценным свидетельством осведомленного современника в том, что арест и ссылка Салтыкова не прошли незамеченными в широких литературно-общественных кругах столицы, но взволновали эти круги, породили в них свои толки и комментарии. События личной жизни молодого писателя стали фактами его начавшейся политической биографии<sup>156</sup>.

\* \* \*

Жандармская тройка мчала Салтыкова в далекую Вятку через Шлюссельбург, Вологду, Кострому, Макарьев-на-Унже, по бесконечному лесному тракту северных губерний.

«Я помню, — писал впоследствии Щедрин, — как мы приехали в Шлюссельбург, или, по местному названию, Шлюшин, и как расходившееся Ладожское озеро заглушало не только говор, но даже крик наш. Я помню, как около «Сясских Рядков» сломалась подушка у нашего тарантаса, и мы вынуждены были остановиться часа на два, чтоб сделать новую; как станционный писарь смотрел на меня, покуда мы пили чай, и наконец сказал:

— Да, нынче «несчастных» довольно провозят!

Я помню, как мы приехали в недавно выгоревшую тогда Кострому; с каким остоленением рассказывали нам о бывшем там пожаре; я помню, как мы перевалились, наконец, за Макарьев (на Унже), как пошли там какие-то дикие люди, которые на вопрос: нет ли что поесть? ответили: сами один раз в неделю печку топим! Помню леса, леса, леса...

Помню, что когда мы въехали в эту непросветную лесную полосу, я как будто от сна очнулся, и в голове моей ясно мелькнула мысль: да! это так!.. Я понял, что все это не сон. Что я сижу в тарантасе, что передо мной дорога, по которой куда-то меня везут, что под дугой заливается колокольчик, что правая пристяжная скачет и вскидывает комьями грязи... Не таинственным миром чудес глянули на меня леса макарьевские и ветлужские, а какою-то неприветливою пошло-отрезвляющею правдою будничной жизни... Мне казалось, что здесь, на этом рубеже, я навсегда покинул здание мысли, любви и счастья, к которым так безрасчетливо привязалось мое молодое воображение...» (VII, 347—348).

В пути были восемь дней, и 7 мая достигли цели путешествия. Этой датой помечено получение в Вятке отношения III Отделения о ссылке Салтыкова, доставленное его конвоиром-жандармом Рашкевичем. Прямо с дороги Салтыков был отвезен в дом губернатора А. И. Середы.

Начальник губернии даже не вышел к Салтыкову (как сообщает, со слов сатирика, Белоголовый в своих воспоминаниях), а распорядился тотчас же отправить его к полицмейстеру, что и было выполнено. Полицмейстер принял ссылочного под расписку. Губернатор же, вскрыв доставленный ему Рашкевичем пакет III Отделения, на полях предписания Орлова тут же наложил резолюцию, в которой предлагал Губернскому правлению «сделать надлежащее распоряжение... об определении чиновника Салтыкова на службу», а своей канцелярии предписал заготовить два донесения о благополучном доставлении ссылочного: одно — шефу жандармов «через г. Рашкевича, отправляющегося завтра» (8 мая), другое — министру внутренних дел «с первою же почтою».

Первая отходящая почта приходилась, как видно из даты донесения Середы, на 11 мая. Подписывая в этот день свое донесение министру, губернатор вспомнил, что за присланным нужно также учредить полицейский надзор. На полях представленного ему проекта донесения он написал: «Следует относительно надзора дать предписание полицмейстеру». Предписание было тут же изготовлено, но чиновник, писавший бумагу, не разобрался в обстоятельствах дела. Он закончил предписание полицмейстеру словами: «...приняв титулярного советника Салтыкова в с в о е в е д е н и е, учредить над ним полицейский надзор и доставлять мне ежемесячные сведения об образе жизни и поведении его, Салтыкова, по установленному порядку». «Куда в свое ведение? — сердито написал Середя на полях бумаги, перечеркивая ее. — Его велено на службу определить, а не на житье он выслан. Писано с бумаги о Шишкине, между тем как условия присылки сюда того и другого весьма различны».

Середя собственноручно внес изменения, и бумага была переписана. Полицмейстеру предписывалось «иметь лично за тит. сов. Салтыковым непосредственный строгий надзор и доставлять... ежемесячные об образе жизни и поведении его подробные и верные сведения»<sup>157</sup>. Губернатор при этом не мог не знать, что, по существующим

установлениям, за сосланным по политическому делу должно было быть учреждено с первого же дня секретное наблюдение и по жандармской линии. Салтыков оказался, таким образом, под двойным и даже тройным надзором — губернатора, полицмейстера и жандармского штаб-офицера. Его дальнейшая судьба предоставлялась естественному ходу вещей.

Пушкин, Лермонтов, Бестужев (Марлинский), Шевченко, Полежаев, Герцен, а позже Достоевский и Плещеев — к этой фаланге русских писателей, на которых обрушилась жестокой тяжестью почти маниакальная подозрительность Николая I ко всему, что напоминало протест или революцию, прибавилось еще одно имя.



## В «ВЯТСКОМ ПЛЕНУ»

(1848—1855)

«Да, провинциальная жизнь великая школа, но школа очень грязная, и я отдал бы половину всей моей остальной жизни, чтобы хоть этою ценою откупиться от этой школы, полной клеветы и оскорблений».

*Из письма М. Е. Салтыкова к брату  
Д. Е. Салтыкову, Вятка, 22 декабря 1852 г.*

Привезенный жандармом в Вятку, Салтыков провел здесь все семилетие реакции (1848—1855), в сравнении с которым даже николаевский режим сороковых годов казался либеральным. Удушливая пустота и немота этой полосы русской жизни, о которой пережившие ее вспоминали с содроганием, с особенной силой чувствовалась в провинциальных углах страны, тем более таких, как северо-восточный, где почти не было дворянства, а значит, и интеллигенции, и где безраздельно царило, по определению Ленина, «всевластное, безответственное, подкупное, дикое, невежественное и тунеядствующее русское чиновничество»<sup>1</sup>.

Николай I преследовал, с присущей ему жестокостью, совершенно определенные цели, бросая молодых образованных людей из сферы напряженной умственной жизни передовых кружков столицы в бескультурные захолустья своей империи. Царь и его жандармы хорошо знали «отрезвляющую» силу глухого провинциального быта. Они рассчитывали на эту силу как на основное средство исправления «заблуждений» юных дворянских протестантов.

И действительно, вятская ссылка оказалась суровым испытанием для дальнейшего общественно-политического развития Салтыкова и серьезно осложнила его последующий путь. До сих пор он знал лишь замкнутый быт семейного гнезда и двух закрытых учебных заведений да мир идейных кружков Петербурга сороковых годов — мир теорий, юношеских социальных мечтаний («сновидений»), где еще не было места для «деловых отношений с действительностью», где еще она была основательно загорожена книгами Фурье и Жорж Санд, Сен-Симона и Консидерана. Подлинная действительность предстала перед ним здесь, в далекой и глухой Вятке.

Через 35 лет Щедрин так вспоминал об этом периоде своей жизни:

«По обстоятельствам, он вынужден был оставить среду, которая воспитала его радужные сновидения, товарищей, которые вместе с ним предавались этим сновидениям, и переселиться в глубь провинции. Там, прежде всего, его встретило совершенное отсутствие сновидений, а затем в его жизнь шумно вторглась целая масса мелочей, с которыми волей-неволей приходилось считаться. Юношеский угар соскользнул быстро. Понятие о зле сузилось до понятия о лихоимстве, понятие о лжи — до понятия о подлоге, понятие о нравственном безобразии — до понятия о беспробудном пьянстве, в котором погрязало местное чиновничество. Вместо служения идеалам добра, истины, любви и проч. предстал идеал служения долгу, букве закона, принятым обязательствам и т. д.» (XVI, 717).

Салтыков, как увидим ниже, не избег «растлевающих», по его собственному определению, воздействий на себя вятской ссылки, этого семилетия, проведенного в изоляции захолустно-провинциальной чиновничьей среды, не затронутой никакими идейными движениями. К этому нужно добавить губительное влияние мертвящей реакции, наступившей после 1848 года. И если в конечном счете Салтыков устоял и сохранил верность освободительным идеалам своей юности, то лишь ценой упорной «борьбы за себя», которую он вел на протяжении всего семилетия ссылки. В конкретных условиях исторического момента, личных биографических обстоятельств и индивидуального характера Салтыкова формы этой борьбы оказались сложны, своеобразны и не всегда бесспорны с точки зрения позднейших оценок самого сатирика. Но в свете всей

истории его идейного развития общий итог «испытания Вяткой» оказался положительным и победоносным. Салтыков не был сломлен реакцией и мещанской действительностью, не отказался от высоких и благородных надежд своей юности ради скучного повседневного прозябания или служебной карьеры. Из ссылки он вернулся в Петербург не «иримиренным петрашевцем», как на это рассчитывали Николай I и его жандармы, а писателем-демократом, отточившим именно там, в подневольной жизни, свои ядовитые стрелы против существовавшего строя и крепостнического общества. Он вывез из ссылки тот запас мыслей, чувств и жизненных наблюдений, который сразу же по возвращении претворил в художественные образы своих знаменитых «Губернских очерков». Об авторе их Чернышевский тогда же писал: «Никто... не карал наших общественных пороков словом более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с большей беспощадностью».

Казалось бы, что уже один этот объективный и непосредственный итог вятского периода требовал от биографов сатирика самого пристального внимания к поискам тех слагаемых в идейном развитии Салтыкова, из которых мог получиться данный итог.

Однако в литературе о Щедрина укрепился и, можно сказать, стал традиционным ложный взгляд на годы вятской ссылки как на время его идейного упадка, морально-политического поражения, отказа от борьбы за общественный идеал.

Наиболее решительная формулировка такого взгляда принадлежит покойному В. В. Гиппиусу. В вятской жизни Салтыкова он видел «полную капитуляцию его, как общественного деятеля, перед официальной государственностью», то есть перед самодержавием<sup>2</sup>. А чтобы как-то объяснить самую возможность и быстроту столь крутого поворота для вчерашнего автора «Занутого дела», единомышленника Белинского и Петрашевского, названный исследователь, вполне логично для своей концепции, был склонен сильно преуменьшить влияние «социального утопизма» и антикрепостнической идеологии петрашевцев на развитие Салтыкова в сороковых годах.

Близкую к В. В. Гиппиусу позицию занимает в дан-

ном вопросе и ряд авторов новейших биографических работ о Щедринае.

Я. Е. Эльсберг в своей биографии сатирика заканчивает изложение главы «Вятка (1848—1855)» следующими словами: «Из двадцатидвухлетнего петербургского служащего-литератора Салтыков становится в Вятке тридцатилетним профессиональным чиновником. Он даже до некоторой степени привыкает к этой своей жизни, обзаводится хозяйством, собирается жениться... Вятская обывательщина засасывает Салтыкова»<sup>3</sup>.

В. Я. Кирпотин, со своей стороны, утверждает, что ссылка не только «приостановила общественно-политическое развитие» писателя, но и «оборвала формиовавшиеся в голове Салтыкова революционные выводы из наблюдений и размышлений над русской действительностью»<sup>4</sup>.

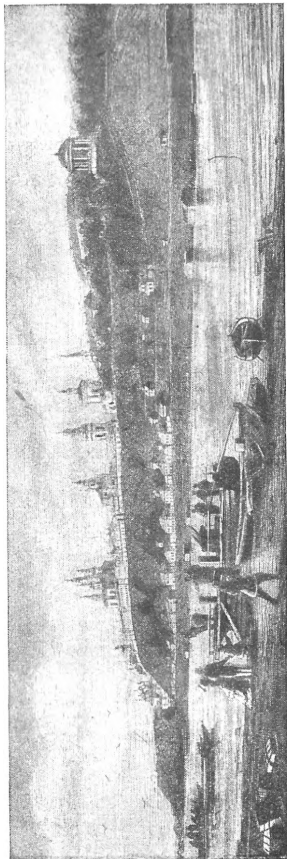
Наконец Н. Л. Мещеряков следующим образом формулирует «пессимистические выводы», к которым будто бы пришел Салтыков в результате своего ареста и ссылки: «полное признание беспочвенности мечтаний сломить «гнусную расейскую действительность», как выражался Белинский; отказ от радикальной борьбы с ней, совет отдавать свои силы только на выполнение мелких дел медленным путем постепенщины...»<sup>5</sup>

Итак — капитуляция перед «гнусной расейской действительностью», еще недавно столь смело атакованной в «Запутанном деле», отказ от борьбы с ней и, как следствие этого, — погружение в «обывательщину», «постепенщину», «пессимизм», наконец самоопределение в «профессионального чиновника» — таковы, по мнению названных авторов, «печальные итоги Вятки».

Они и в самом деле были бы печальны, если бы не являлись в действительности итогами ограниченного и потому ложного понимания идейного кризиса, пережитого писателем в ссылке.

Причины возникновения искажающей биографию сатирика легенды о капитуляции разнообразны, но в нашу задачу не входит их подробный анализ. Важнейшие из них лежат, несомненно, в малой изученности вятского периода Салтыкова и в специфической односторонности относящихся к этому периоду документальных источников.

Не сохранилось почти никаких материалов, свидетельствующих об идейно-творческой и писательской активно-



*Вятка  
Литография 1856 г.  
Русский музей, Ленинград*



сти Салтыкова в Вятке. Количественно ничтожны и малосодержательны мемуарные свидетельства. Плачевна судьба эпистолярного наследства: за исключением писем к родным (о них ниже), до нас не дошло ни одного частного письма Салтыкова из Вятки<sup>6</sup>.

Зато необычайно обильны источники официального и полуофициального порядка. Сюда относятся «дела» III Отделения, канцелярии вятского губернатора и других учреждений о ссылке Салтыкова и установлении над ним полицейского надзора, материалы следственного допроса 1849 года по делу Петрашевского, ходатайства Салтыкова об освобождении из ссылки или облегчении своей участи, ходатайства о том же его родных и начальства, затем разнообразные документы о прохождении службы (формулярные списки, аттестаты, представления к повышениям и наградам, ходатайства об отпусках и т. п.), наконец делопроизводственные бумаги самого Салтыкова, относящиеся к многочисленным служебным поручениям, выполненным им в Вятке за семь с половиной лет, — среди них два годовых отчета о состоянии Вятской губернии, материалы, относящиеся к огромному следственному делу о раскольниках, и т. д. и т. п.

Очевидно, что при всей объективной биографической ценности названных материалов, занимающих в совокупности более 3000 архивных листов, было бы напрасным трудом искать в них каких-либо прямых отражений идейной жизни Салтыкова в Вятке. Более того, взятые изолированно и при не критическом к себе отношении официальные источники и служебные бумаги Салтыкова не столько раскрывают, сколько скрывают его подлинный идейный облик в годы Вятки.

То же следует сказать и о другом основном источнике, на который преимущественно и опираются идейно-психологические характеристики Салтыкова периода Вятки в новейших работах: о его переписке с родными (собственно с братом Дмитрием Евграфовичем). Как правильно заметил уже П. Н. Лепешинский, автор предисловия к первому тому писем Щедрина, эту переписку следует скорее отнести к коллекции имеющихся в эпистолярном наследии сатирика «писем-масок», из-под которых очень трудно разглядеть подлинные черты щедринского лица. И хотя в годы ссылки в силу понятных психологических, да и материальных причин и происходит, быть может, из-

вестное сближение Салтыкова с семьей, эпистолярная связь с ней и в этот период нигде не выходит за пределы родственно-бытовых, денежно-имущественных и служебно-деловых интересов. В предыдущем изложении было показано, что уже к концу сороковых годов вскормившая Салтыкова «пошехонская семья» стала восприниматься им всего лишь как «фаталистическая связь крови» и в то же время как сила, глубоко чуждая и враждебная тому миру идеалов, в который вступила его мысль. Вот почему в письмах к родным (и не только вятского, но и позднейших периодов) Салтыков нигде, ни разу, даже намеком не говорит о своей литературной работе, замыслах, идейных интересах, о своем общественном самосознании, как не упоминает вообще о каких-либо фактах, событиях и сюжетах, не относящихся непосредственно к тому или иному деловому поводу каждого из этих писем. При некритическом подходе вятские письма Салтыкова действительно способны внушить представление о полной якобы погруженности их автора в болото обывательщины, в сферу служебных интересов и житейского прагматизма.

Следует, таким образом, признать, что для объективной характеристики жизни Салтыкова в годы ссылки имеющиеся в распоряжении исследователя документы и первоисточники совершенно недостаточны в силу их односторонности и, так сказать, внешне биографического характера. Но, проведя в вятском изгнании целых семь с половиной лет — свои лучшие жизненные годы, — Салтыков не только служил, ездил в командировки и на ревизии, писал доклады и отношения, вел дознания и следствия, а на досуге посещал губернские гостиные. Под покровом этого внешнего, навязанного ему образа жизни шла постоянная работа его пытливой, ищущей мысли. Именно эта никогда не затухавшая работа, интенсивность его идейного развития и обусловили «перерождение» надворного советника Салтыкова в «надворного советника Щедрина» буквально на другой же день по возвращении из ссылки.

Политическая обстановка последних лет царствования Николая I — период крайнего обострения реакции — несомненно затормозила идейное развитие Салтыкова. Но не забудем ленинского указания на то, что «революционеры далеки от мысли отрицать революционную роль реакционных периодов»<sup>7</sup>. Мы увидим, что в пятидесятые



годы, как и позже, в конце шестидесятых и восьмидесятых годов, общественная и политическая реакция всегда аккумулировала сарказм Щедрина и тем самым увеличивала обличительный пафос его творчества.

Вятский период жизни сатирика представляет для его биографа, в силу всего сказанного, значительный интерес, но и немалые трудности. Ясны общие итоги периода, но не всегда видно, как и откуда они конкретно возникли. Восстановить отсутствующие звенья причин и следствий в полной мере сейчас не удается. Однако кое-что в этом направлении можно сделать и в рамках наличных документальных источников, дополняя их изучением обращением к довольно многочисленным позднейшим высказываниям самого сатирика об этом периоде его жизни.

### НА АРЕНЕ «ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»<sup>8</sup>

«Целых восемь лет я вел скитальческую жизнь в глухом краю. И возлежал на лоне у начальника края, и был отменяем от оного; был и украшением общества, и заразою его; и удачи и невзгоды — все испытал, что можно испытать на страже обязательной службы, среди не особенно брезгливых по служебной части коллег».

*Щедрин. «Счастливец».*

С первых шагов внешняя судьба Салтыкова сложилась так же, как складывались судьбы других ссыльных чиновников времен Николая I, в частности Герцена, покинувшего Вятку за десятилетие до того. За протекшее время здесь мало что изменилось. Известные страницы второй части «Былого и дум», рассказывающие об условиях жизни автора в этом городе, художественно ярко воссоздают внешнюю обстановку подневольного существования в нем не только Герцена, но и Салтыкова. Среда и быт пребывали настолько постоянными в эти, по словам В. С. Печерина, «годы украденного движения» николаевского царствования, что в «Былом и думах» мы находим ряд беглых рассказов и упоминаний буквально о тех же плутнях приказных и тех же чиновничьих типах, которые увековечены на материале вятских впечатлений и в «Губернских очерках» Щедрина (ср., напр., главу XV «Бы-

лого и дум» с «Первым рассказом подьячего» из «Губернских очерков»).

Мало изменился и внешний, архитектурно-бытовой облик города. Расположенный на высоком и крутом берегу реки Вятки («Крутогорск» — назвал его Щедрин), правильно распланированный, заполненный садами город был достаточно благоустроен и не раз служил предметом восхищения со стороны заезжих гостей и местных патриотов.

«Вятка есть один из лучших губернских городов», — сказал посетивший ее в 1824 году Александр I. «Я нашел Италию на севере», — записал в дневнике побывавший здесь в шестидесятых годах гр. Д. А. Толстой, добавив при этом: «Не в Вятку следовало бы сослать преступников, но из Вятки высылать в наказание в другие губернии». А вот как описывал внешний вид города местный литератор Алфеевский летом 1848 года, то есть как раз в момент прибытия в Вятку Салтыкова: «Сверх казенных громадных зданий, могущих с честью стоять в ряду первоклассных столичных улиц, как то: зданий присутственных мест, удельной конторы, гимназии, духовного и канцелярского училища, а также зданий, занимаемых начальником губернии и кафедральным духовенством, не мало есть частных каменных домов, которые украсили бы собою любой губернский город. Эти дома носят на себе отпечаток магнатства; они как бы не хотят, чтобы что-нибудь постороннее к ним прикасалось; они отделяются от своих соседей садами и, находясь внутри города, походят на богатые дачи. Да и вообще можно сказать, что вятчане живут не домами, а дачами. Здесь вовсе нет сжатых, сомкнутых домов. Дом от дома находится на значительном пространстве, занятом или садиком, или палисадником, или же огородной зеленью. Так привольно и просторно житье-бытье в Вятке»<sup>9</sup>.

В годы жизни Салтыкова в Вятке монументальное здание Александрово-Невского собора, воздвигавшееся по проекту опального Витберга, приняло вчерне свои очертания. Уже существовали выполненные по его же проекту ворота и чугунная решетка Александровского сада (любимого места прогулок Салтыкова). Эти постройки, дающие понятие об исключительном масштабе дарования их зодчего, вместе с окружавшими их группами старинных церквей, монументальных зданий и «присутственных

мест», определяли архитектурный облик Вятки пятидесятих годов.

Рисуя во «Введении» к «Губернским очеркам» архитектурный пейзаж Крутогорска, Щедрин ярко воссоздавал навсегда запоминавшийся облик города, с которым так неожиданно и надолго оказалась связанной его жизнь.

«В одном из далеких углов России, — лирически писал Щедрин, — есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу... Крутогорск расположен очень живописно; когда вы подъезжаете к нему летним вечером, со стороны реки, и глазам вашим издалека откроется брошенный на крутом берегу городской сад, присутственные места и эта прекрасная группа церквей, которая господствует над всею окрестностью, — вы не оторвете глаз от этой картины. Темнеет... мрак все более и более завладевает горизонтом; высокие шпили церквей тонут в воздухе и кажутся какими-то фантастическими тенями...» (II, 33).

Жизнь Салтыкова в Вятке началась, как водится, с поисков квартиры. Сменив одну или две, он снял на Вознесенской улице (ныне улица Ленина), в центре города, небольшой одноэтажный деревянный дом у иностранца Раша. В нем Салтыков прожил большую часть своей ссылки. Его комната для занятий выходила двумя окнами в сад. В автобиографическом монологе «Скука» он вспоминал о ней: «Свеча уныло и как-то слепо освещает комнату; обстановка ее бедна и гола: дюжина стульев базарной работы да диван, на котором жутко сидеть — вот и все».

Первое время Салтыков был предоставлен самому себе. Его окружала новая, чужая и чуждая среда, в которой предстояло жить. «Связи с прежней жизнью разом порвались; редко кто обо мне вспомнил, да я и сам не чувствовал потребности возвращаться к прошедшему... Сначала это было похоже на полное одиночество (тоже своего рода существование...», — с горькой иронией вспоминал сатирик о первых днях Вятки (XVI, 695).

Губернатор А. И. Серeda, впоследствии хорошо относившийся к Салтыкову, вначале не проявил к нему никакого интереса. Он ограничился тем, что предложил губернскому правлению определить сосланного чиновника на службу. Это было не более как выполнение «высочайшего повеления». Вице-губернатором, то есть главою губер-

ского правления, был в это время в Вятке некто С. А. Костливец, так же как и Салтыков, лицеист. В его канцелярию и был определен 3 июня 1848 года Салтыков. Он был зачислен младшим чиновником (то есть простым писцом) без жалования. О состоявшемся определении Салтыкову было объявлено полицмейстером, с предложением являться на службу от 9 часов утра до 2 часов дня и от 5 до 8 часов вечера.

Салтыков был поставлен на самую низшую ступень чиновничьей лестницы. Как и Герцен, он был отдан на «барщину переписки бумаг» в безграмотную и пьяную среду канцелярских писцов — этих «чиновников-пескарей», как их называет один из персонажей «Губернских очерков».

«Канцелярия была без всякого сравнения хуже тюрьмы, — вспоминал автор «Былого и дум». — Не материальная работа была велика, а удушающий, как в собачьем гроте, воздух этой затхлой среды и страшная глупая потеря времени, вот что делало канцелярию невыносимой... Просидевши целый день в этой галлерее, я приходил иной раз домой в каком-то отупении всех способностей и бросался на диван, изнуренный, уничтоженный и неспособный ни на какую работу, ни на какое занятие... и когда мне приходило в голову, что после обеда опять следует итти и завтра опять, мною тотчас овладевали бешенство и отчаяние, и я пил вино и водку для утешения».

Такие же настроения тоски, «бешенства и отчаяния» должны были охватывать и Салтыкова, и так же, как Герцен, как многие другие, он искал утешения в вине<sup>10</sup>.

Служебное положение скоро, однако, изменилось. Костливец посоветовал Салтыкову достать какие-либо рекомендации из Петербурга, которые бы обратили на него внимание Середы, а до тех пор разрешил вовсе не ходить в должность. Обращение к петербургским друзьям — В. А. Милютину и Н. В. Ханыкову, братья которых были лицами, хорошо известными в высших бюрократических сферах, дало благоприятные результаты.

Губернатор в скором времени получил из Петербурга два письма: одно от директора хозяйственного департамента министерства внутренних дел Н. А. Милютина, другое — от Я. В. Ханыкова, чиновника особых поручений того же министерства, в которых оба они, высоко оценивая способности Салтыкова, просили обратить внимание

на него и облегчить его участь. Вероятно, в это же время пришло и еще одно письмо аналогичного содержания — от влиятельного сенатора А. Ф. Веймарна. В 1851 году Салтыков сообщал брату: «Сенатор Веймарн протезирует всем вятским единственно потому, что он когда-то служил в Вятке прокурором. Хотя я его и не знаю лично, но, когда я отправлен был в Вятку, он и обо мне писал» (XVIII, 83).

Петербургские письма должны были, разумеется, привлечь внимание Середы к Салтыкову. Их действие не замедлило сказаться на его судьбе. Присмотревшись к сосланному чиновнику, Середа решил приблизить его к себе. Он предложил Салтыкову должность старшего чиновника особых поручений. Министерство 12 ноября 1848 года утвердило представление губернатора.

### **ЧИНОВНИК ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ**

Назначение старшим чиновником особых поручений при начальнике губернии придало служебным занятиям Салтыкова новый характер. Середа определил его на роль своего «следствопроизводителя» и начал поручать ему самые разнообразные дела.

Губернаторский кабинет стал центром, из которого начал очерчиваться для Салтыкова новый и вполне специфический круг его наблюдений над «удушающими мерзостями провинциального быта». Скопища беззаконий николаевских чиновников, клоаки судебных инстанций, взяточничество и казнокрадство приказных, плутни купцов, «звериная жизнь» мещанства — вся крепостническая бытовая личина дореформенной России, все то, что своим «свинным рылом» сводило с ума Гоголя, именно здесь, впервые, реально и вплотную предстало перед будущим создателем «Губернских очерков».

Для того чтобы представить себе силу удара, которую должен был ощутить Салтыков от столкновения мира социалистических теорий-«сновидений» с миром «неумной действительности», в который он сейчас окунулся, достаточно лишь назвать некоторые из «дел», которыми ему пришлось заниматься.

Так, на первых же порах Салтыкову было поручено производство дознаний «о найденном в реке мертвом кре-

стьянине и о вымогательстве, учиненном в связи с сим жителям деревни Кирибеево», «о растрате в палате уголовного суда апелляционных пошлинных денег», «о злоупотреблениях в вятской городской полиции по заготовлению арестантской одежды», «о неприличных поступках губернского канцеляриста», «о взыскании с городского головы взятых им назад тому 5 лет двух рублей серебром», «о злостной утрате в уездном суде дела о раскольничьем браке», «о драке, учиненной на свадьбе»... и т. д. и т. п. Уже самые заголовки этих дел дают представление о том грязном подземелье провинциального чиновничьего быта, куда пришлось опуститься юному социалисту, мечтавшему о «золотом веке» по Сен-Симону и о «привлекательном труде» по Шарлю Фурье.

Но Салтыков принадлежал к числу тех энергичных, активных натур, которые в любое занятие вносят деловую темпераментность, для которых органически чуждо вялое, безразличное отношение к исполняемому делу. Чиновничья деятельность, на которую Салтыков был обречен в качестве «казеннокоштного воспитанника» лица, обязанного пробыть шесть лет на государственной службе, никогда, в том числе в годы ссылки, не являлась жизненной целью Салтыкова. Эта форма деятельности была слишком чужда его интересам и далека от его представлений о гармоническом, свободно избранном и «привлекательном труде», усвоенных им из системы утопического социализма. «Найти такого рода службу, — писал Салтыков через год после прибытия в Вятку, — где был бы на своем месте и труд был бы привлекателен, довольно трудно, если не совершенно невозможно» (XVIII, 46). Но в условиях подневольной жизни в Вятке обязательная служба давала единственную возможность как-то удовлетворять владевшую Салтыковым жажду деятельности. Сверх того, просветительский идеализм Салтыкова и непонимание им в ту пору классовой природы дворянско-помещичьего государства и его бюрократического аппарата позволяли ему рассматривать вопрос об общественной пользе той или иной деятельности человека только в зависимости от субъективных намерений и желаний последнего. «Во всяком роде службы, — писал Салтыков в уже цитированном письме 1849 года, — есть свои хорошие и дурные стороны; но я полагаю, что

езде можно быть полезным, если есть хотение и силы позволяют» (XVIII, 46).

На фоне вятского бескультурья образованному, энергичному, а главное, независимо державшемуся Салтыкову не нужно было прилагать никаких специальных усилий, чтобы быстро выдвинуться и занять видное (если не по должности, то по личному авторитету) положение в губернской администрации. Общий уровень ее был чрезвычайно низок как в деловом, так и морально-бытовом отношении. В своем годовом отчете по управлению губернией за 1847 год СерEDA писал: «В достижении отличной исправности в Вятской губернии представляется, может быть, более, нежели где-либо, затруднений по недостатку способных, благонамеренных и с хорошим поведением чиновников. Внимательное наблюдение, к сожалению, не оставляет сомнения, что многие из служащих в Вятской губернии, не исключая и состоящих в Губернском правлении, могут быть терпимы только по недостатку лучших. Переходящие сюда из других губерний... почти исключительно состоят или из чиновников, вовсе нетерпимых уже на службе в других губерниях, или из канцелярских служителей, молодых людей, не имеющих еще опытности, необходимой для того, чтобы они могли быть употребляемы с пользою для службы»<sup>11</sup>. В этих условиях Салтыков был подлинной находкой для губернских властей. Он сам писал в одном из тогдашних писем к брату, имея в виду себя: «...в провинции дорожат порядочными людьми и сами начальники приближают их к себе» (XVIII, 83). И в другом письме: «Весьма замечательно, что я менее всех нахожусь на службе и более всех понимаю дело, несмотря на то, что у меня есть подчиненные, которые по 15 лет обрабатываются с делами» (XVIII, 77—78).

Будучи свободен от раболепства, робости и страха перед каждым высшим чином, от этих пороков «молчаливства», столь свойственных чиновничье-приказной среде той эпохи, Салтыков держал себя на службе независимо. Он действовал смело и решительно, был настойчив в своих требованиях, невзирая ни на положение, ни на чины тех лиц, с которыми по ходу дела должен был общаться. «Салтыков, — свидетельствует Л. Спасская, — был всегда в разговоре резок, до крайности несдержан; со

всяким начальством, даже своим непосредственным, держался на равной ноге, без малейшего подобострастья».

Такая позиция, кстати сказать, доставившая ему в вятском обществе прозвище «н а ш М и р а б о» (несколькими годами позже, в пору вице-губернаторства в Рязани, местные реакционеры прозвали его «в и ц е-Р о б е с п ь е р о м»), позволяла Салтыкову, при его незаурядной энергии, добиваться кое-каких успехов в борьбе за сформулированный им тогда идеал своего общественного поведения: «быть честным и поступать так, чтобы из этого выходила наибольшая сумма о б щ е г о б л а г а» (XVI, 717).

Он действительно пресек немало чиновничьих плутней, разоблачил и покарал не одного взяточника, вернул общественному владению обречивованных им городов губернии и самой Вятки немало средств и имуществ, присвоенных «отцами города», и т. д. и т. п. О его собственной честности и неподкупности — качествах, редких для нравов эпохи и среды, — создавались рассказы и легенды, еще долго бытовавшие в Вятке и после его отъезда оттуда<sup>12</sup>.

Чиновничий мир губернии побаивался и не любил Салтыкова, справедливо усматривая в нем чужака. Любопытный отклик «общественного мнения» Вятки о будущем сатирике находим в секретном рапорте высокопоставленного петербургского чиновника Волкова, посланного в 1853 году министром внутренних дел Бибиковым специально для расследования «вятских безобразий». Волков сообщал министру:

«Салтыков — весьма способный и образованный, честный и деловой, но, как говорят, с а м о н а д е я н н ы й и с м е л ы й в словах и действиях; характера неприятного. Но этот молодой человек достоин сожаления: почти тотчас после выпуска из лицея, за какое-то литературное произведение он удален на жительство в Вятку. С тех пор понятия и идеи его изменились к лучшему, но нрав, напротив того, несколько ожесточился. К тому же избалован был губернатором Середою»<sup>13</sup>.

Пройдет несколько лет, и никто не будет более язвительно, чем сам Щедрин, издеваться в своих сатирах над «комариной силой» «честного чиновника», над крохоборчеством и безрезультатностью такого метода борьбы с общественным злом. Но это придет тогда, когда годы пре-



бывания в государственном аппарате самодержавия разрушат до конца эту просветительскую веру в возможность служить демократическому идеалу средствами одного доброго желания и честности, хотя бы и в аппарате царской бюрократии. А пока Салтыков стремится отыскать в «обязательной службе» такие стороны, которые были бы общественно полезны в его собственном представлении и позволяли бы ему в какой-то мере согласовать эту деятельность со своими идейными взглядами. Он даже создает для этого своеобразную теорию, о которой речь будет ниже.

«Я службу свою, — пишет он брату, — считаю далеко не бесполезною в той сфере, в которой я действую, хотя уже по одному тому, что служу честно» (XVIII, 73).

Славословия «честной службе» и ее прогрессивным возможностям часто встречаются в вятских письмах Салтыкова. Правда, в письмах этих, адресованных брату Дмитрию Евграфовичу, Салтыков, как уже сказано выше, несомненно скрывает свои подлинные общественно-политические настроения. Брат его был типичный чинуша-бюрократ. Салтыков был вынужден обращаться к его посредничеству в хлопотах о своем освобождении из ссылки.

Не забывая ни на минуту об этом скрытом подтексте вятских писем Салтыкова, следует, однако, указать, что в его славословиях «честной службе» звучали и вполне искренние ноты. Источником их, как сказано, служили просветительские иллюзии и политическая незрелость мировоззрения Салтыкова в эту пору. Но следует указать и на один биографический фактор, способствовавший возникновению того идеализированного образа «честного чиновника», который Салтыков вывез из Вятки. Таким фактором явилось увлечение Салтыкова той теорией и практикой службы, которые он наблюдал в деятельности и в самой личности губернатора, с которым близко сошелся.

Управляющий Вятским краем с 1845 по 1851 год Аким Иванович Середа принадлежал, несомненно, к необычным фигурам николаевской провинциальной администрации. «Он был великий труженик на общее благо, — писал о нем А. Н. Плещеев, знавший Середу через оренбургского генерал-губернатора В. А. Перовского, — службе он отдавал все, включая и семейную жизнь, в которой,

может быть именно поэтому, был несчастлив. Умный и деятельный, обаятельный как личность, он не знал никаких побуждений карьеры и корысти. Он желал работать только для пользы дела. К высокому посту начальника обширнейшего края он был приведен собственными и действительными заслугами. Связей он не имел и не искал их, даже чуждался петербургских сфер».

Отзыв Плещеева подтверждают воспоминания о Серее писателя И. В. Селиванова, так же как и Салтыков, находившегося в вятской ссылке в пятидесятых годах. «Это была такая благородная, такой высокой честности личность, — вспоминал Селиванов (идеализируя, вместе с Плещеевым и Салтыковым, Середу), — какие встречаются не часто... Будучи губернатором в губернии ссыльных, он много мог бы наделать зла ...но он был провидением несчастных, совершенно предоставленных его воле. Он покарал лишь одного из ссыльных и покарал сурово, но то был человек недостойный, он заслужил постигшую его кару»<sup>14</sup>.

Нет сомнения, что Селиванов имеет тут в виду историю с неудачным побегом из Вятки в 1851 году находившегося там в ссылке графа Потоцкого. Он был пойман и заключен затем в Шлиссельбургскую крепость, в значительной мере благодаря энергии, настойчивости, а главное, неподкупности Середы.

История эта, наделавшая в свое время много шума и происходившая на глазах у Салтыкова, подтверждает отзывы Плещеева и Селиванова о Серее как о действительно необычном администраторе в империи Николая I.

Отпрыск одного из самых древних и богатых дворянских родов Польши, граф Потоцкий был непричастен к какой-либо борьбе с царизмом. Владелец десятков тысяч душ крепостных рабов и многомиллионного состояния, Потоцкий, в качестве «богатейшего и знатнейшего помещика, совершенно ни с кем и ни с чем не считался и делал все, что хотел». Бесчисленные беззакония, помещичьи жестокости и подлинно уголовные деяния Потоцкого, долго покрывавшиеся им щедрыми взятками, а также заступничеством (отнюдь не бескорыстным) самого шефа жандармов Бенкендорфа, заставили все же правительство принять меры. Потоцкий был выслан на жительство в Саратов, а затем в Воронеж. В 1850 году, после неудачного побега из Воронежа, Потоцкий был до-

ставлен в Вятку, Здесь он очень скоро подкупил за 5000 рублей полицмейстера и за 3000 рублей одного из его частных приставов и с их помощью бежал. Он был пойман и предстал перед Середой. Он тут же предложил губернатору ни много ни мало как 150 тысяч рублей, и только за то, чтобы тот не возбуждал никакого дела о побеге, а ограничился восстановлением его положения «сосланного на жительство». Середа не только отверг предложенную ему взятку, но, положив немало сил на то, чтобы парализовать действие других многочисленных взяток, розданных Потоцким, добился его заключения в Шлиссельбургскую крепость. Одновременно он предал суду вятского полицмейстера и участкового пристава<sup>15</sup>.

Таково вкратце содержание одного из эпизодов в жизни Потоцкого — этого «конквистадора российской взятки», как назвал его Герцен. Эпизод с неудачной попыткой подкупить Середу был хорошо известен Салтыкову. Он был переводчиком обширного письменного показания Потоцкого, представленного им на французском языке, которым губернатор не владел. Нет сомнения, что честность и принципиальность, проявленные Середой, знавшим о высоких петербургских покровителях Потоцкого и с риском для своего служебного положения добивавшимся и добившимся заключения графа-миллионера в Шлиссельбург, должны были в высокой мере импонировать будущему сатирику — обличителю всероссийского взяточничества.

Узнав о смерти Середы (последовавшей в 1852 году, вскоре после перехода его из Вятки в Оренбург на должность командующего башкиро-мещерякским войском), Салтыков так отозвался о своем бывшем начальнике:

«Мне сердечно жаль Середы, — писал Салтыков брату 25 марта 1852 года, — которому я обязан как настоящим, так и всем моим будущим, если я впоследствии успею как-нибудь выбраться на дорогу. Если бы ты увидел меня теперь, то, конечно, изумился бы моей перемене. Я сделался вполне деловым человеком, и едва ли в целой губернии найдется другой чиновник, которого служебная деятельность была бы для нее полезнее. Это я говорю по совести и без хвастовства, и всем этим я вполне обязан Серее, который поселил во мне ту живую заботливость, то постоянное беспокойство о делах службы, которое ставит их для

меня гораздо выше моих собственных. Середа всегда смотрел на меня с надеждою и участием, и я до конца жизни буду уважать это участие и благоговеть перед памятью этого святого и бескорыстного человека» (XVIII, 96).

Эти строки были продиктованы, разумеется, и чувством простой человеческой благодарности. Салтыков в своем положении ссыльно-поднадзорного не мог не оценить в полной мере тех простых, искренно дружеских, нимало не субординированных отношений, которые установил с ним губернатор, и той неизменной поддержки, которую он ему оказывал в его попытке добиться освобождения. В Серде «я видел,— писал Салтыков,— не только справедливого начальника, но и друга, глядевшего на меня почти как на члена своего семейства» (XVIII, 85). Но все же важнее всего в тогдашнем представлении Салтыкова было то, что Середа воспитал в нем «вполне делового человека».

Как видим, жажда практического дела рождала у передовых людей, в условиях реакции и скованности общественной жизни в стране, свои иллюзии и заблуждения. «Деловой человек» в соединении понятий «честного» и «прогрессивного» чиновника довольно долго еще представлялся Салтыкову не только приемлемой, но и желательной фигурой общественно-полезного деятеля в условиях России того времени.

В самом начале 1849 года Середа, успевший к тому времени оценить способности Салтыкова, а главное, учитывая его литературное дарование, освобождает его от следственной работы и дает ему первое ответственное поручение — составление отчета по губернии за 1848 год. Подготовка отчета за следующий 1849 год (а возможно и за 1850 год) также была осуществлена Салтыковым<sup>16</sup>. Годовая отчетность являлась для начальника губернии и всего его аппарата делом большой важности. Составление отчетов, представлявшихся через министра внутренних дел царю, поручалось обычно наиболее опытным чиновникам, которые и осуществляли эту работу под непосредственным контролем губернатора.

Салтыков, разумеется, не мог выходить за пределы установленной формы отчета. Но и оставаясь в ее границах, он рисовал своим пером совсем не канцелярско-статистические схемы, а правдивые и яркие картины состоя-

ния губернии, не боясь при этом резко оттенять многие недостатки управления.

К нему стекались груды материалов, охватывавших все области административной, экономической и культурной жизни дореформенной русской провинции. С присущей ему деловитостью и настойчивостью Салтыков вникал в мельчайшие детали разнообразных вопросов, прежде чем сделать тот или иной вывод, который затем помещался в отчет. Его подготовительные записки и заметки — о крестьянах и купечестве, раскольниках и старообрядцах, о магистратах и думах, ратушах и ярмарках, школах и тюрьмах, о повинностях и податях, пристанях и ямском деле и т. д. и т. п. — обнаруживают конкретные источники такого превосходного делового знания реальной русской жизни, каким не обладал, быть может, ни один другой писатель в нашей прошлой литературе. Перелистывая бесконечные листы служебных бумаг Салтыкова, всматриваясь в вереницу его пометок, замечаний, вопросов, резолюций — отчетливо видишь, в какую деловую практическую школу попал писатель в самом начале своего литературного пути и как много ценного сумел он позднее извлечь из этой школы для своего творчества.

Деятельность Салтыкова в качестве чиновника особых поручений при губернаторе продолжалась до августа 1850 года. За это время он трижды временно исполнял должность правителя канцелярии губернатора, а в конце 1849 года ему была поручена большая работа: «составление по городам Вятской губернии имущественных инвентарей и статистических описаний и соображений о мерах к лучшему устройству общественных и хозяйственных дел оных».

Это поручение, повлекшее за собою серию поездок Салтыкова по губернии, принесло ему перемену в служебном и материальном положении. Он был определен в должность штатного чиновника особых поручений и стал получать жалование.

### ДОПРОС ПО ДЕЛУ ПЕТРАШЕВСКОГО

Вернемся несколько назад. Через полтора года после ареста и ссылки Салтыкова над ним собралась новая гроза.

Как ни толсты были стены III Отделения и Петропав-

ловской крепости, как ни напугано общество и молчалива печать, — слухи о небывалых еще по своим масштабам арестах, происшедших в Петербурге в ночь с 22 на 23 апреля 1849 года, не могли не достигнуть и далекой Вятки. Не зная, разумеется, ничего определенного, никаких подробностей, Салтыков, надо думать, сразу же понял, что за «крамола» раскрыта властями в столице.

Давно уже осведомленное о характере собраний и речей в кружках «петрашевцев», по регулярным доносам вторгшегося в их доверие провокатора Антонелли, правительство Николая I приступило к ликвидации «общества, направленного к разрушению существующего государственного устройства». Назначенная царем секретная следственная комиссия (ее возглавлял комендант Петропавловской крепости Набоков — тот самый, который в апреле 1848 года входил в назначенную военным министром Чернышевым следственную комиссию по делу Салтыкова) составила алфавитный список 252 «заподозренных» (кроме арестованных), фамилии которых упоминались во время производства дела. В отношении каждого из внесенных в этот список наводились справки, делались заметки. Это все были люди идейного окружения Салтыкова. Его собственное имя также фигурировало в списке. Жандармский размах сыска и следствия, обысков и арестов был слишком широк, чтобы его можно было скрыть. В атмосфере подлинной паники, охватившей в 1849 году общественные круги не только столицы, но и провинции, Салтыков вряд ли чувствовал себя спокойно. Он, вероятно, ждал ареста. Но ничего определенного о его переживаниях этого времени мы не знаем. В его переписке 1849 год образует перерыв. И вряд ли этот перерыв следует отнести только за счет неполноты дошедшего до нас собрания вятских писем. Ведь перерыв падает только на один 1849 год, все остальные семь лет ссылки отражены в письмах.

Тревожные ожидания Салтыкова не были лишены основания, хотя и разрешились благополучно. Правда, следственная комиссия, установив, весьма, впрочем, неполно и противоречиво, «прикосновенность» к делу Петрашевского Салтыкова, отнесла его вместе с тем к так называемому «IV разряду». Обе же категории лиц этого разряда — «умершие и сосланные уже в отдаленные места империи, за политические их преступления» — были при-

знаны комиссией, в заседании от 20 июля, «не существующими» для нее, то есть для следствия. Однако Николай I с таким решением не согласился. «Повеление» царя (от 27 июля), заслушанное комиссией в заседании от 2 августа, гласило: «Из причисленных к IV разряду лиц те, кои уже сосланы в отдаленные губернии за прежние политические преступления, но находятся в живых <Салтыков, Бердяев, Ромашев и Яшвили>, не могут быть считаемы для комиссии не существующими, но, напротив, должно быть раскрыто: какие они имели связи и сношения и каким образом эти сношения могли ими производиться с лицами, в настоящем преступном деле участвовавшими».

Не подчиниться «высочайшему повелению» комиссия не могла. Но, не усматривая попрежнему «особенной важности» в допросе Салтыкова и других поименованных лиц IV разряда, комиссия предложила, в заседании от 5 августа, «не привозить сих лиц в С.-Петербург, а допросить их через секретные вопросные пункты, через начальников губерний и штаб-офицеров корпуса жандармов... а также предложить им опечатать бумаги у допрашиваемых и все это доставить в комиссию». Что такое решение вопроса не отражало мнения самой комиссии, а было принято ею исключительно под нажимом Николая I, видно из следующей оговорки в «журнале» заседания: «...Комиссия излагает таковое свое предположение в том только случае, если бы государю императору благоугодно было признать необходимость таковых допросов; если же его величество, по высшим своим соображениям, соизволит найти более полезным, чтобы подобные вопросы не волновали умов в губернии и не давали повсеместно повода к различным толкам о коммунизме и социализме, учение о коих внутри России, к счастью, еще мало известно, то комиссия по своим соображениям, собственно до дальнейшего следственного дела относящимся, допросы сии отнюдь не считает необходимыми и не ожидает от них пользы».

С заключительным мнением комиссии Николай I не согласился и на этот раз, хотя и разрешил произвести допросы Салтыкова и других лиц, не привозя их для этого в столицу.

Изучение (в части, касающейся Салтыкова) по документам следственной комиссии этого ее «спора» с Нико-

лаем I устанавливает одно примечательное, но несколько загадочное обстоятельство. Представленная комиссии справка о степени причастности Салтыкова к делу Петрашевского не отвечала действительности. Она опиралась только на показания Мадерского, наименее опасные для Салтыкова, и вовсе не обобщала и даже не упоминала показаний самого Петрашевского, а также Баласогло, Ханыкова, Барановского и Штрандмана, указавших на факты регулярного посещения Салтыковым ранних «пятниц» и на его участие в складчинной библиотеке петрашевцев. Вот текст этой справки (ею открывается «Список лицам, прикосновенным, по показаниям обвиняемых, к следственному делу, производимому над злоумышленниками, и находящихся вне С.-Петербурга», приложение к «журналу» № 99 заседания комиссии от 5 августа 1849 г.):

Салтыков, тит. советник. В Вятке. — Один из посетителей <«пятниц»> Мадерский показал, что Салтыков и Милютин бывали у Петрашевского, что Петрашевский однажды приглашал их участвовать в выписке книг, но никто (!) из опрошенных лиц не показал (!), чтобы Салтыков и Милютин на это согласились (!). Личного участия в собраниях Петрашевского они не принимали (!). Кроме того, Салтыков и Милютин весной 1846 г. были у Штрандмана... где говорили об устройстве библиотеки, причем Петрашевский рассказывал заглавие разных книг и взялся их доставить. Салтыков и Милютин от участия в библиотеке отказались (!) и самое предложение об устройстве оной не состоялось (!).

Невольная реабилитация Салтыкова, содержащаяся в этой удивительной «справке», в которой почти все не соответствовало фактам, уже установленным следствием, продолжалось и на следующих этапах его. Заслушав в заседаниях от 16 и 24 августа затребованные из III Отделения сведения о Салтыкове, Ромашеве и Бердяеве (последние два тоже находились в ссылке), комиссия определила: «Всех их к допросу в комиссию не призывать... как внесенных в список комиссии потому только (!), что они упоминались в донесении агента: Салтыков, как знакомый Петрашевского, а Ромашев и Бердяев, как лица, о прежних действиях которых Петрашевский рассказывал агенту, между тем как ни одно из показаний обвиняемых не дает комиссии повода предполагать, чтобы лица сии принимали какое-либо участие в злоумышле-



нии по настоящему делу, тем более, что Салтыкова видели у Петрашевского один только раз (!)...»<sup>17</sup>

В предыдущей главе уже указывалось, что с самого начала работы следственной комиссии Салтыков, в качестве раннего посетителя «пятниц», был для нее фигурой второстепенной. К тому же он уже находился в ссылке. Его «дело» не привлекло к себе сколько-нибудь пристального внимания. Поэтому и несоответствие данных, содержащихся в представленной в комиссию справке материалам следствия, — объяснявшееся, вероятно, простой небрежностью чиновника, составлявшего справку, — оказалось незамеченным. Салтыков не был привлечен к очному допросу в комиссии. Но, исполняя «высочайшее повеление», последняя сформулировала 29 августа «вопросные пункты», а на другой день, 30 августа, жандармский курьер повез в Вятку следующее «весьма секретное» отношение Л. Дубельта:

«По определению высочайше учрежденной в С.-Петербургской крепости секретной следственной комиссии по делу о титулярном советнике Буташевиче-Петрашевском, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство, не изволите ли приказать отобрать от находящихся в Вятке, под надзором полиции, титулярного советника Михаила Салтыкова, не предъявляя ему отношения сего, письменные ответы на следующие вопросы:

Знает ли он титулярного советника Буташевича-Петрашевского, вольнослушателя С.-Петербургского университета Александра Тимофеевича Мадерского и секретаря Вольного экономического общества Романа Романовича Штрандмана; каким образом с ними познакомился; посещал ли их или бывшие у них собрания; в каких сношениях состоял он и помянутые лица к Петрашевскому; не имел ли с ними суждений о предметах политических и в чем оные заключались; не предлагал ли ему Петрашевский участвовать в выписывании книг, касающихся социальных систем; и не припомнит ли он, Салтыков, что весной 1846 г., во время посещения им Штрандмана, был у него разговор об устройстве общей библиотеки, причем Петрашевский рассказывал заглавия книг и взялся их доставить.

Все это Салтыков обязан объяснить с полной откровенностью, обнаружив, если ему известно, всех лиц, принимавших участие в суждениях и действиях Петрашевского, и подтверждая при том каждое указание или какой-либо вывод определенными фактами».

На документе имеется пометка: «Получено в Елабуге 14 сентября 1849 г.». Середя совершал объезд губернии. В Вятку он вернулся лишь 23 сентября и, видимо, прямо с дороги, не медля ни минуты, организовал вы-

полнение предписания III Отделения. Этим днем датированы две собственноручно написанные им «весьма секретные» бумаги. Первая адресовалась чиновнику губернского правления Кабалерову и содержала распоряжение отобрать у Салтыкова письменные ответы на присланные вопросы (они были переписаны губернатором без ссылок на следственную комиссию и III Отделение). Вторая бумага заключала просьбу к жандармскому штаб-офицеру полковнику Андрееву присутствовать при допросе и засвидетельствовать его (Кабалеров был ближайшим сослуживцем Салтыкова, и губернатор, видимо, опасался какого-либо «попустительства»). Была написана и третья бумага, предназначенная для передачи самому Салтыкову: уведомление о предстоящем допросе «для немедленного со стороны Вашей исполнения по сему предмету требования г. асессора Кабалерова».

На другой день, поздно вечером, собственноручное письменное показание Салтыкова было уже у губернатора. В сопроводительном рапорте Кабалеров докладывал: «Объяснение помянутого чиновника отобрано было от него мною с г. полковником Андреевым в 24 число сентября по в н е з а п н о м п р и б ы т и и в е г о , С а л т ы к о в а , к в а р т и р у в 6 ч а с у п о п о л у д н и».

Показания Салтыкова (мы увидим ниже, что их было два) изучены и комментированы нами выше (см. главу «В Петербурге сороковых годов»). Не повторяя здесь анализа этих важных документов по существу, приведем по подлинникам их полный текст, поскольку в предыдущем изложении были использованы лишь немногие цитаты.

На предложенные ему 24 сентября вопросы (см. выше) Салтыков отвечал:

«Из поясненных в вопросных пунктах лиц действительно знал года три или даже четыре тому назад Буташевича-Петрашевского и Штрандмана: с Буташевичем-Петрашевским я познакомился по тому случаю, что он воспитывался в императорском Царскосельском лицее почти в одно время со мною, то есть он был в старшем курсе, тогда как я был в младшем; Штрандмана я узнал, не припомню, у Петрашевского или у покойного Валериана Майкова, но никогда коротко не был с ним знаком, и ни он у меня, ни я у него не были. По выходе из Лицея (в 1844 г.) я бывал у Петрашевского нередко по пятницам, когда у него собиравлись человек до 6-ти, а иногда и семи, из числа бывших лиц помню Валериана Майкова (ныне умершего), Евгения Есакова, Николая Данилевского, Аполлона Гри-

горьева и Шtrandмана. Может быть, были и другие лица, но я в настоящее время, по совести, не припомню. Мадерского я знал только по фамилии, как человека, жившего на хлебах у Петрашевского или что-то вроде.

Цели у этих собраний первоначально не было никакой: впоследствии же времени Петрашевский предложил сделать складку сколько кто может на книжку книг, преимущественно школы Фурье, но из нас некоторые, и в том числе Есаков, Данилевский, Майков, но из нас не все, и в то время на том, чтобы библиотека была составлена не из одних книг, касающихся социальных систем, но по преимуществу из сочинений политико-экономистов. Впрочем, этою библиотечною я вовсе не занимался, и книг из нее почти никогда не брал, за весьма малыми исключениями, и какие именно книги выписывались не знаю, потому что Петрашевский, как распорядитель, совершенно забрал деньги к себе и выписывал, что хотел, а по преимуществу ничтожные и по существу и по цене своей брошюры, вроде: Rotschild roi des juifs и разные другие. Все это вмести взятое и, кроме того, разные выходки Петрашевского, выходки дикие и неуместные, клонившиеся большею частью к произведению скандалов в публичных местах, а также появление в нашем обществе новых лиц, с которыми я не имел никакой охоты сблизиться, так, напр., Благовещенского, какого-то господина в синих очках, произвели мало-помалу охлаждение в отношениях моих к Петрашевскому, так что с начала 1846 года или в конце 1845 года я совершенно прекратил с ним всякое знакомство, и разве изредка встречался с ним на улицах. В одно время со мною перестали ездить к Петрашевскому Есаков и Майков. Что же касается до Данилевского и Григорьева, то первый из них около этого времени выехал из Петербурга и прожил в деревне более года, а второго я так мало знал, что не интересовался знать, что с ним сделалось. В собраниях у Петрашевского бывали иногда и политические разговоры, но они никогда не имели другого предмета, кроме текущих новостей. Особенно демагогических идей, не помню, чтобы кто-нибудь высказывал, исключая разве Петрашевского, который делал это более по удали и молодечеству, нежели по убеждению. Резкость мнений Петрашевского была одною из причин моего отдаления от него вместе с Майковым и Есаковым.

Факта, заключавшегося во 2-м пункте вопросов, не было, да и быть не могло, потому что ни я у Шtrandмана, ни он у меня никогда не бывал, да и знаком я с ним был весьма мало. Притом же, как я выше объяснил, с 1846 года сношения мои с этими господами вовсе прекратились, в этом я имею полное убеждение, или же память слишком изменяет мне. Повторяю: с Петрашевским, Шtrandманом и Мадерским я никогда дружественных отношений не имел, а подерживал с первым знакомство ради книг, которые он взялся выписывать; с 1846 же года, видя несчастный выбор этих книг, я и эти сношения прекратил и был скорее в неприязни с ним, нежели в дружбе.

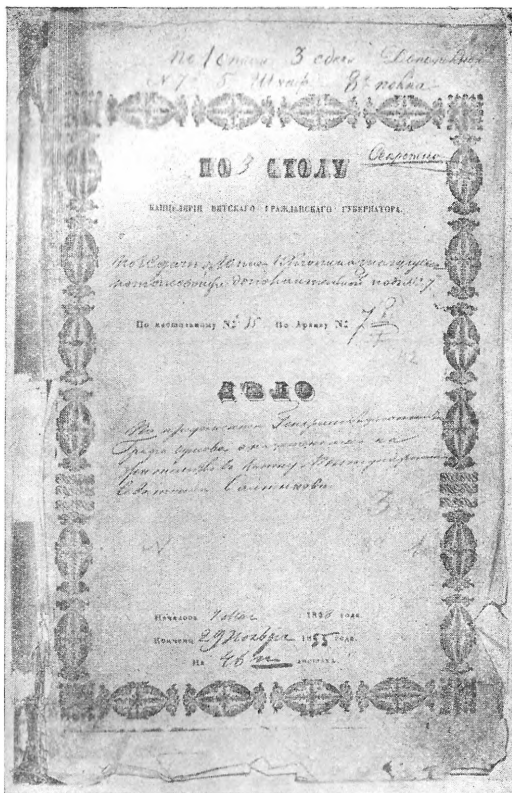
Все это объясняю совершенно справедливо, по долгу присяги, сколько могу себе припомнить и при том вовсе не обдумав заранее своих ответов.

Подписал титулярный советник *Михаил Салтыков*.  
Корпуса жандармов полковник *Андреев*».

На следующий день, 25 сентября, Салтыков, «припомнив еще некоторые обстоятельства, относящиеся до этого дела», препроводил допрашивавшим его чиновнику и жандарму новое, дополнительное показание. Текст его гласил:

«В дополнение к показанию моему, данному 24 сего сентября г. ассессору Вятского губернского правления Кабалерову, в присутствии г. штаб-офицера корпуса жандармов полковника Андреева, принимаю смелость объяснить следующее:

Припоминая обстоятельства моих отношений к г. Буташевичу-Петрашевскому, я должен повторить сказанное уже мною в прежнем показании моем, а именно, что они начались во время пребывания моего в Лицее. Хотя Петрашевский был в старшем курсе, а я в младшем, но так как он был нелюбим своими товарищами, то большую часть времени проводил в низших классах. Началом сближения моего с Петрашевским были литературные занятия, к которым в то время я имел большую склонность. Отношения эти продолжались и по выходе Петрашевского из Лицея, и он неоднократно приезжал в Царское Село, вызываясь издавать журнал и приглашая меня в сотрудники, чему я тогда всей душой, по молодости, верил. Обстоятельство это может подтвердить бывший товарищ мой, служащий ныне в одном из департаментов Правительствующего сената, Дмитрий Александрович Засядко, которому Петрашевский делал подобные же предложения. Приглашение участвовать в предлагаемом журнале делаемо было, сколько могу припомнить, и другому товарищу моему, Владимиру Степанову, впоследствии исключенному из Лицея и определившемуся в Дерптский университет. Но впрочем, утвердительно заверить этого последнего обстоятельства, по давно прошедшему времени, не могу. По выходе моем из Лицея, та же самая мысль издания журнала поддерживала мое знакомство с Петрашевским; для этой цели Петрашевский предложил покупать и книги, чтобы составить небольшую энциклопедическую библиотеку. Само собою разумеется, что будучи в то время весьма молод (я выпущен из Лицея восемнадцати лет), я не видел да и не мог видеть в издании этого журнала иной цели, кроме удовлетворения желанию, весьма простительному в молодости, видеть свое имя в печати. Впоследствии, познакомившись с некоторыми из книг, или точнее брошюр, выписанных Петрашевским, и видя совершенную их бесполезность во всех отношениях, я, с лицами, поименованными в прежнем моем показании, настаивали, чтобы выписываемы были книги более серьезного и разнообразного содержания. Подробно объяснить заглавия этих книг по давности времени не могу, но помню, что, имея желание заниматься политической экономией и занимаясь пенитенциарной системой, я просил, чтобы были выписаны некоторые главнейшие экономисты, а также несколько сочинений о тюремной системе. Не успев в этом, я мало-помалу удалился от Петрашевского, и в начале 1846 года прекратил все близкие сношения с ним. В 1846 году хотя и выписаны были по желанию моему два сочинения, из которых одно: *Théorie de l'emprisonnement en Amérique, par Ch. Lucas*, а другое известное сочинение *Gustave Beaumont, Du système pénitentiaire*, но так как я уже не был в этот год вкладчи-



Дело канцелярии вятского губернатора «О назначении на жительство в Вятку титулярного советника Салтыкова»  
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград



ком, то я не воспользовался ими, а было у меня сочинение Бомона несколько времени, переданное мне бывшим студентом Плещеевым или другим кем не припомню, но так как Петрашевский изъявил претензию, что я, не будучи вкладчиком, пользуюсь книгами из библиотеки, то я и возвратил его тогда же по принадлежности. За сим мне остается дополнить, что с 1846 года я был у Петрашевского не более двух или трех раз, и что происходило у него на собраниях с того времени, как я перестал посещать их, не знаю и не интересовался ими и упоминать.

При сем осмелюсь сказать несколько слов о собственном моем положении. Находясь полтора года в изгнании, удаленный от родных, я как особой милости прошу, в оправдание свое, без предубеждений рассмотреть статью, за которую я наказан. Я вполне убежден, что в ней скорее будет замечено направление, совершенно противное анархическим идеям, нежели старание распространять эти идеи. Постоянный мой скромный образ жизни, постоянное мое усердие по службе, которое как бывшим, так и настоящим моим начальством может быть засвидетельствовано, достаточно опровергают мысль о разрушительных будто бы намерениях моих. Более же всего непричастность моя подобным намерениям доказывается постоянным моим удалением с 1846 года от общества Петрашевского. Конечно, и у меня были заблуждения, но заблуждения эти были скорее результатом юношеского увлечения и неопытности, нежели обдуманном желанием распространять вред, да при том же за них я уже полтора года страдаю в изгнании. Хотя я, по особой милости государя императора, переведен в город Вятку не просто на жительство, а на службу, но я доселе не имею никакого штатного места, да и едва ли могу иметь, потому что характер сосланного по высочайшему повелению будет постоянно преградой к поручению мне какой-либо сколько-нибудь значительной должности. Таким образом служебная карьера, на которую я единственно рассчитывал, навсегда для меня закрыта.

Все эти обстоятельства и наконец искреннее мое раскаяние в совершенном мною проступке осмеливаюсь повергнуть на милостивое усмотрение правительства.

*Вятка, 25 сентября 1849 г.*

К сему дополнительному показанию титулярный советник,  
*Салтыков руку приложил».*

Посылая по собственной инициативе второе показание, Салтыков преследовал две цели:

1) Вводя отсутствовавшие накануне указания на проект издания Петрашевским журнала и на свою заинтересованность в этом деле, Салтыков стремился внушить следствию относительно безобидное и естественное объяснение причин, по которым он поддерживал связь с Петрашевским в лице и после выхода из него. Салтыков рассчитывал тем самым несколько нейтрализовать опасную откровенность своего первого заявления:

«...я бывал у Петрашевского нередко по пятницам, когда у него собиралось человек до шести, а иногда до семи...» Новое показание переносило центр тяжести с крамольных «пятниц» на общность литературных увлечений и издательских планов.

2) Но главное, ради чего было дано дополнительное показание, заключалось в другом. Салтыков закончил его обращением к правительству по собственному делу, за которое был сослан. Расчет был прост. С самого начала пребывания в ссылке Салтыков искал путей непосредственной апелляции к высшим властям и самому царю, чтобы напомнить им о своей судьбе. Сейчас этот случай представился, и Салтыков поспешил им воспользоваться. Он был еще так наивен политически, что верил в «августейшее милосердие». С другой стороны, он настаивал на перекалфикации идейно-политического содержания «Запутанного дела», указывая, что если «рассмотреть» повесть «без предубеждения», в ней якобы «будет замечено направление, совершенно противное анархическим идеям, нежели стремление распространить эти идеи».

Трудно предположить, что Салтыков действительно так думал. Гораздо вероятнее, что он лишь делал вид, будто не понимает политического значения своего «проступка» в глазах властей, то есть прибегал к определенной тактике в борьбе за свое освобождение из ссылки. Не забудем, что и Петрашевский счел нужным «разойтись» с правительством и судом в оценке объективного политического содержания своей деятельности по пропаганде философских систем социального переустройства. В своих показаниях он всячески подчеркивал полную якобы «благонамеренность» увлекавших его теорий. Отвергая квалификацию их как «разрушительных», он заявлял властям: «Отвечая на эту статью обвинения, скажешь: Ну можно ли после этого наукам процветать в России?.. Это обвинение в нашем веке чуднее обвинения в прежние времена всякого занимающегося естественными науками — в чернокнижии, волшебстве»<sup>18</sup>.

Показания Салтыкова почти во всех своих частях не были до конца ни объективно правдивы, ни субъективно искренни. Мы знаем, что иным было его отношение к Петрашевскому — «многолюбивому учителю и другу», что гораздо шире был круг участников «пятниц», которых



лично знал Салтыков (он же назвал лишь пятерых), что политическое содержание этих «пятищ» (даже ранних) далеко не было столь пассивным, как это изображено в показаниях, что не литературное честолюбие юности, а общность идейных исканий и устремлений вызывали и поддерживали связь Салтыкова с Петрашевским, и т. д. и т. п.

Нельзя прямолинейно и антиисторично воспринимать и заключительную часть показания. Не только в Вятке, в своих обращениях к шефу жандармов Орлову или военному министру Чернышеву, то есть к лицам, от которых зависела его судьба, но и гораздо позже (например, в письме 1868 года к министру финансов М. Х. Рейтерну, при окончательной отставке, вызванной прямым вмешательством III Отделения) Салтыков позволял себе формулировки, не соответствующие его действительным убеждениям. Они рассматривались им как практически неизбежные и потому допустимые формы компромисса в условиях легальной жизни и работы демократического деятеля при царизме. Мы знаем, что такой взгляд разделялся многими передовыми людьми того поколения (Некрасов, Елисеев и др.) и в этом смысле отнюдь не являлся какой-то индивидуальной слабостью Салтыкова. Лишь немногие демократы той эпохи, и преимущественно те из них, кто был практически, профессионально связан с революционным движением, отличались до конца принципиальным, целостным, непримиримым поведением в своих вынужденных сношениях с преследовавшими их властями. Формулировки, допускаемые Салтыковым в своих показаниях, отражали политическую незрелость его мировоззрения, оторванность от практики общественно-политической борьбы. Но они, разумеется, ни в какой мере не отражали подлинныя настроения их автора. Мы увидим ниже, что и в безвременье Вятки Салтыков идейно жил другими интересами, накапливая в себе революционный протест против самодержавно-помещичьего строя. Его вятские обращения к «власть имущим» преследовали лишь определенную тактическую цель: добиться освобождения.

Но вернемся к судьбе отобранных у Салтыкова показаний. Полученные губернатором 26 сентября, они в тот же день были отправлены в Петербург, в III Отделение. Между тем Л. Дубельт 30 сентября, то есть когда сек-

ретный пакет из Вятки с показаниями Салтыкова еще находился в пути, послал Середу новое требование. «По встретившейся надобности, — писал Дубельт губернатору, — имею честь покорнейше просить ваше превосходительство отобрать от высланного в 1848 году в Вятку титулярного советника Михаила Салтыкова самые откровенные и подробные показания, в каких отношениях он находился в С.-Петербурге с титулярным советником Михаилом Васильевичем Буташевичем-Петрашевским...»

Было ли это письмо вызвано новыми обстоятельствами и какими именно, или Дубельт просто напоминал о своем первом запросе? Данных для вполне определенного суждения по этому поводу нет.

Видимых последствий для Салтыкова учиненный ему допрос по делу Петрашевского не имел. В том из заключительных докладов следственной комиссии Николаю I, где шла речь о Салтыкове, о нем было сказано (теперь уже вопреки й его собственным показаниям), что на «пятницах» Петрашевского он не был. Что касается военно-судной комиссии, то она ограничилась лишь тем, что заслушала в своем заседании от 21 октября показания Салтыкова и постановила: «Выслушанные бумаги, с приложенными при оных документами, и показания подсудимых приобщить к делу для соображения».

Из дальнейшего следствия и судебного процесса Салтыков был фактически изъят<sup>19</sup>.

### СОВЕТНИК ГУБЕРНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ

Некоторая настороженность Середы по отношению к Салтыкову, вызванная допросом по делу Петрашевского, скоро прошла. Середя, как мы знаем, высоко ценил способности Салтыкова и дружественно относился к нему.

В июне 1850 года открылась вакансия советника в губернском правлении. Салтыков просил у губернатора о представлении его на эту должность. Тот согласился, но это было крупное повышение: неизвестно еще было, как посмотрят в Петербурге на такую «милость» для ссыльного. К тому же были и два других кандидата со

старшинством, обойти которых самому Серее было неудобно. И он дипломатично представил в Петербург всех кандидатов. Однако о Салтыкове была послана аттестация, составленная в наиболее энергичном тоне.

Представление Серее, а также хлопоты самого Салтыкова, писавшего в Петербург Вл. Милютину, брату и ряду других лиц, увенчались успехом. Из трех представленных кандидатов министр Л. А. Перовский выбрал Салтыкова. 5 августа 1850 года он был назначен советником вятского губернского правления, и этот ответственный по тем временам пост занимал до конца своего пребывания в Вятке<sup>20</sup>.

Переданное в его управление второе отделение губернского правления являлось одним из важнейших звеньев в системе провинциальной администрации России пятидесятых годов. Оно контролировало весь хозяйственно-административный аппарат и экономическую жизнь губернии. В нем были сосредоточены дела о городских думах, магистратах, ратушах и подчиненных им учреждениях. Оно наблюдало за общественными выборами, торгами, всевозможными подрядами, в том числе для тюрем и этапов, за раскладкой городских сборов и т. п.; им же регулировалось выполнение крестьянами натуральной дорожной повинности; наконец в ведении второго отделения находились дела о раскольниках, которых было много в Вятской губернии, а также контроль за осуществлением полицейского надзора над лицами, находившимися под таким надзором.

Десятилетием раньше в той же должности советника второго отделения и в том же положении ссыльного и гласно-поднадзорного полиции состоял в Новгороде Л. И. Герцен.

«Я уверен, — писал он в «Былом и думах», — что три четверти людей, которые прочтут это, не поверят, а между тем это сущая правда, что я, как советник губернского правления, управляющий вторым отделением, свидетельствовала каждые три месяца рапорт полицмейстера о самом себе, как о человеке, находившемся под полицейским надзором. Полицейстер из учтивости в графе поведения ничего не писал, а в графе занятий ставил: «занимается государственной службой».

Совершенно в таком же положении был и Салтыков. Он сам должен был контролировать и контролировал

ведомости о поднадзорных, представлявшие два раза в год лично Николаю I. Только графу «о поведении» заполнял не полицмейстер, а сам губернатор.

Так, на самом себе, познавал будущий создатель «Истории одного города» и «Помпадуров» пределы дикой и какой-то шутовской бессмысленности, которые вырабатывала русская дореформенная практика канцелярско-приказных форм управления.

Деятельность Салтыкова в новой должности вначале сосредоточилась преимущественно на разнообразных вопросах экономического управления и регулирования. Хозяйство огромной губернии, одной из обширнейших в империи, было донельзя запущено. Привести его в нормальное состояние было трудно. Всюду царила круговая порука злоупотреблений, подкупа и обмана. К Вятке и Вятской губернии в полной мере были приложимы слова Белинского из его зальцбруннского письма к Гоголю, сказанные о всей империи Николая I: в ней «нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей». Став советником губернского правления, Салтыков со всей энергией стремится использовать полученные им, в связи с новым служебным положением, возможности для борьбы с одним из отвратительных пороков, разъедавших до костей весь административный организм дореформенной России, — с всевластной взяткой. Позже на своем щедринском языке он высмеет это свое единоборство как «утешительно-мечтательную пустопорожность». Но сейчас его активная натура находит какое-то удовлетворение в разоблачении хотя бы отдельных взяточников и порождаемых взяткой злоупотреблений. Его практическая программа — «добиться простой честности и порядка» в море чиновничьего и всякого иного беззакония. С присущей ему энергией и неутомимостью он изучает и ревизует документы отчетности, контролирует исполнение каждого пункта своих инструкций и предписаний, смекает и даже отдает под суд чиновников-воров и взяточников. Из-под его пера выходит бесчисленное количество разнообразных служебных бумаг, составленных с намерением ввести подчиненные ему отрасли управления «в сферу простой законности и порядка».

«Соблюдение городскими обществами всех форм, которые предписаны законом, — пишет он в одной из записок, — служит единственным ручательством к искоренению произвола и злоупотреблений». И он требует точного исполнения от своих подчиненных, так же как и от своего начальства, всех законов и распоряжений. Он проявляет в этом отношении чрезвычайную строгость и педантичность, напоминающие требовательность воинских уставов.

Не видя особых результатов от всех своих усилий, Салтыков меняет методы работы. Начиная со второго года пребывания в должности советника губернского правления, он предпринимает личную ревизию большинства уездно-городских учреждений Вятской губернии. В течение двух лет он почти непрерывно находится в разъездах, лишь на короткое время возвращаясь в Вятку<sup>21</sup>.

Как и всюду, Салтыков смело отходит в своих ревизиях от традиционных шаблонов. Его записки и доклады по ревизиям написаны не условно-витиеватым канцелярски-приказным языком, а простым, ясным и чрезвычайно энергичным слогом деловой прозы. Они представляют существенный интерес не только в качестве источника первоначального материала для многих страниц «Губернских очерков», но и для характеристики развития литературного языка Щедрина. Еще более очевиден их интерес для историка провинциально-административных учреждений старой России. Салтыков не ограничивается в своих отчетах формальной стороной ревизии. Он сосредоточивает свое внимание на общей характеристике всей деятельности ревизуемого учреждения, рассматривая ее с точки зрения интересов общественной пользы: «Нет злоупотреблений, — пишет Салтыков, — но нет и ни малейшей заботливости к сохранению общественных интересов». «Очевидно, что все действия членов думы направлены к тому, чтобы как-нибудь отбыть время службы, не попав под ответственность, а не к тому, чтобы принести пользу». «Что касается «головой» <Орловской городской думы>, то хотя его и не было налицо во время ревизии, но по всем вероятностям и он не большой любитель общественной службы, что усматривается из того, что он постоянно четыре месяца в году находится в отпуску».

Эти цитаты взяты из отчетов Салтыкова по ревизиям общественно-выборных учреждений городов Вятской губернии. Наряду с «язвой» взяточничества, другим важнейшим отрицательным фактором, «безобразившим жизнь губернии», Салтыков считал «младенческое развитие среди низших сословий идеи самоуправления». И с теми же энергией и напором, с какими он боролся со взяткой, Салтыков пытался развивать идею самоуправления, прививать к ней вкус, внедрять ее в «низшее городское сословие», то есть в сословие мещан. В тех же докладных и отчетных записках по ревизиям городов Салтыков мечет громы и молнии на общественный индифферентизм обывателей, разоблачает механику цензовых и сословных фальсификаций при проведении выборов со стороны имущих и добровольно-пассивное подчинение этому обману со стороны непривилегированных групп городского населения. Он входит в оценки личного состава органов городского самоуправления и отмечает, как правило, их непригодность к выполнению общественных обязанностей.

В этих заботах, направленных на развитие общественно-гражданского самосознания мещанско-купеческих «градов и весей» дореформенной России, опять-таки сказываются просветительский идеализм и просветительские иллюзии Салтыкова. При этом они своеобразно сочетаются у него с уже усвоенными навыками административного нажима. Так, отметив при ревизии Слободской городской думы, что мещанство осталось пассивным к выборам и что купцы заняли, благодаря этому, почти все общественные должности, Салтыков не ограничился тем только, что занес это наблюдение в свой доклад как «очевидную ненормальность». Он тут же предложил и практическое мероприятие для ее устранения. «Чтобы достигнуть возможно большей искренности в выборах, — писал Салтыков, — следует принять принудительные меры для привлечения мещан на общественные должности, а не возлагать все на купцов, и без того уже не слишком ревностных к исполнению общественных обязанностей». Однако практического развития этого любопытного плана принудительного приобщения мещанства к общественной деятельности в документе не содержится.

В непосредственном ведении Салтыкова как управляющего вторым отделением находилась, как упомянуто, забота о хозяйственном обеспечении тюрем и этапов губернии. Этому вопросу он уделял особенно много внимания. Как просветитель Салтыков считал противоестественными и вредными существовавшие формы уголовного наказания преступника. Воспроизводя в «Губернских очерках» свои впечатления от посещения вятской городской тюрьмы, чей вид «всегда производил» на него «грустное, почти болезненное впечатление», он писал: «Свобода... лучшее достояние человека, и потому как бы ни было велико преступление, совершенное им, но лишение, которое его сопровождает, так тяжело и противоестественно само по себе, что и самый страшный злодей возбуждает наше сожаление, коль скоро мы видим его в одежде и оковах арестанта» (II. 329).

Как указывалось, еще в бытность в лицее Салтыков заинтересовался уголовным правом и пенитенциарной системой, а в послелицейские годы специально занимался данными вопросами. Интерес к ним был обусловлен рано возникшей потребностью Салтыкова разобратся и уяснить себе природу основных аномалий в общественной и государственной жизни. Занятия эти были продолжены и в Вятке. Поводом к их возобновлению послужило, нужно полагать, непосредственное соприкосновение с конкретными формами политики и практики самодержавия в области уголовного права и наказаний. В каком направлении работала мысль Салтыкова — об этом с достаточной определенностью говорит проявленный им в это время интерес к политическому писателю-рационалисту, просветителю XVIII века, Чезаре Беккариа, знаменитый трактат которого «О преступлениях и наказаниях» он изучал в Вятке.

Наброшенные Салтыковым, в результате этих занятий, заметки «Об идее права» показывают, что, верный своей заправке просветителя, он хотел теоретически осмыслить свои шаги и в этой области своей служебной деятельности (об этом подробнее см. ниже). Но «темный и безотрадный мир» арестантских камер, железных засовов и тюремных стен, освещенный лучами просветительской идеологии, должен был показаться от этого еще темнее и безотраднее, а обязательная сфера служебного соприкосновения с этим миром — еще противоречивее и

труднее. Но практическое соприкосновение с «царством острожного горя» имело своим последствием то, что Салтыков глубже и конкретнее укрепился в том взгляде, который он отчетливо сформулировал в одной из своих деловых записок в Вятке: «Борьбу надлежит вести не столько с преступлением и преступником, сколько с обстоятельствами их вызывающими». Мысль эта оказалась чрезвычайно плодотворной для него как для писателя. Примененная к широкой сфере общественных пороков и преступлений самодержавно-крепостнического строя, она стала основной идеей в «Губернских очерках».

Общение с «царством острожного горя» дало и непосредственный материал для художественной обработки. «Нам слышатся из тюрьмы голоса, полные силы и мощи, перед нами воочию развиваются драмы, одна другой запутаннее, одна другой замысловатее...», — писал Салтыков о своих впечатлениях от встречи и разговоров с заключенными. Эти впечатления дали позднее сюжетный материал для трех его очерков под общим заглавием «В остроге» («Губернские очерки») и для несколько более позднего «Развеселого жития» («Невинные рассказы») — одного из самых ярких антикрепостнических рассказов в русской литературе. Герой его — русский крестьянин, идущий с ножом и кистенем на большую дорогу из сознательного протеста против помещичьей жестокости и угнетения, имел, по свидетельству К. К. Арсеньева, свой реальный прототип среди заключенных нолинской тюрьмы, которую ревизовал Салтыков. Однако в целом рассказ «Развеселое житие» (1859) отражает политический материал русской действительности позднейшего этапа — периода массовых крестьянских волнений и революционной ситуации конца пятидесятых — начала шестидесятых годов.

\* \* \*

Среди многочисленных служебных поручений, которые приходилось выполнять Салтыкову в Вятке, наибольший интерес, с точки зрения его биографии, представляют три: организация двух сельскохозяйственных выставок, разбор дела о так называемой камской оброчной статье и следствие по делу раскольников-старообрядцев.



## ВЯТСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

Как и Герцен в 1837 году, Салтыков оказался на фоне вятского бескультурья едва ли не единственным образованным чиновником, которому можно было доверить сложное дело организации очередных сельскохозяйственных выставок в Вятке в 1850 и 1854 годах<sup>22</sup>.

Губернские «выставки сельских произведений» являлись важным звеном в системе хозяйственных и культурно-политических мероприятий, проводившихся министром государственных имуществ П. Д. Киселевым (1788—1872). Крупнейший деловой сотрудник Николая I, его «начальник штаба по крестьянской части», Киселев исходил в своей политике из вполне феодальной основы. Все его «крестьянские проекты» преследовали, в конечном счете, цели сохранения и укрепления помещичьего хозяйства. Умный и образованный дворянский консерватор, действовавший в эпоху разложения крепостных отношений в России и торжества буржуазных отношений в Западной Европе, хорошо знакомый с обоими процессами, страшившийся революционных переустройств и возлагавший надежды на просвещенный абсолютизм и политику постепенных преобразований сверху, — таков был Киселев, воспринимавшийся многими передовыми современниками, в том числе и Герценом, в качестве борца против крепостного права, провозвестника и подготовителя грядущего освобождения крестьян.

Такому восприятию современников, усвоенному и всей буржуазно-либеральной историографией, в значительной мере способствовало то обстоятельство, что сословно-дворянские взгляды Киселева внешне были окрашены в яркие тона просветительской философии, что он был безусловным противником личного рабства и защищал в проектах предстоящей отмены крепостного права сохранение за крестьянами их наделов («освобождение с землей»)<sup>23</sup>.

В этих условиях не удивительно, что и созданное и руководимое Киселевым министерство государственных имуществ пользовалось среди современников, по свидетельству одного из них, известного профессора Казанского, а потом Московского университетов М. Я. Китта-

ры, репутацией «цитадели либерализма», а многие «распоряжения и предначертания министра воспринимались в обществе как его <либерализма> хартии».

Приведенный отзыв, находящийся в письме М. Я. Киттары к А. Л. Мосолову из Казани от 29 октября 1854 года<sup>24</sup>, представляет для нас и специальный интерес. Быть может, в нем следует видеть непосредственное отражение взглядов не только самого Киттары, но и Салтыкова. Дело в том, что как раз осенью 1854 года произошло их личное знакомство, притом на почве совместной работы по устройству сельскохозяйственных выставок — Салтыковым в Вятке, Киттары в Казани. Знакомство это завершилось избранием Салтыкова (2 октября 1854 года), по предложению Киттары, членом-корреспондентом Казанского экономического общества, о чем речь будет ниже. Их деловое общение — личное или письменное — на почве выполнения «предначертаний» Киселева должно было породить между ними соответствующий обмен мнениями. Допустима поэтому догадка, что, ссылаясь на существующие «в обществе» взгляды на Киселева, его министерство и его «предначертания», Киттары имел в виду и Салтыкова, с которым не мог обо всем этом не говорить и мнения которого высоко ценил. Подобно большинству передовых современников, Салтыков мог сочувственно относиться к направлению и характеру деятельности Киселева, поскольку деятельность эта имела в этот период относительно прогрессивное значение, а самый стиль управления Киселева выгодно отличал его министерство от других ведомств николаевской империи. Не случайно Салтыков стремился туда и писал брату Дмитрию, опять-таки в октябре 1854 года: «...мне хотелось бы перейти в ведомство государственных имуществ» (XVIII, 112).

В 1850 году очередная выставка «сельских произведений» для шести губерний: Вятской, Казанской, Пензенской, Нижегородской, Симбирской и Саратовской, была назначена в Вятке и происходила там с 15 августа по 1 сентября.

Назначенный распорядителем и членом комитета выставки, Салтыков отнесся к этому делу не только с обычной своей энергией, но и с несомненным интересом. Он поставил себе задачей сделать выставку не бутафорско-показным, как это чаще всего случалось, а возможно бо-

лее полным и верным отражением состояния сельского хозяйства и кустарных промыслов губернии. Салтыкова интересовало при этом в первую очередь не помещичье-крепостное земледелие, а преобладавшее в губернии хозяйство государственных или так называемых казенных крестьян. На них и обращено было почти исключительно его внимание. Комитет выставки, а фактически единственно работавший в нем Салтыков, решился даже обойтись в своей деятельности без включения в свой состав обязательных, по утвержденным правилам, двух «комиссаров» от помещиков, хотя приглашения дворянам-землеладельцам выбрать своих представителей и были посланы. Чтобы заинтересовать своих будущих экспонентов-крестьян, Салтыков разослал весьма энергичный циркуляр по волостям, предписывавший сельской администрации всячески «разъяснять» крестьянам смысл и значение выставки. Крестьяне приглашались «ради собственной пользы» к самому широкому участию в ней.

Настойчивое обращение к крестьянам: «Везите на выставку все, что у вас есть, что производите и вырабатываете», понятое слишком буквально, наделало распорядителю немало хлопот. Крестьяне навезли в Вятку, как на ярмарку, сотни пудов продуктов, десятки возов с изделиями кустарного производства. Тем не менее усилиями Салтыкова порядок был наведен, выставка организована и оказалось, по оценке «Журнала министерства государственных имуществ», «одною из наиболее изобильных, благоустроенных и поучительных во всей империи». Интересно отметить, что в премировании экспонентов исключительное первенство осталось за крестьянами. Все медали (1 золотая и 5 серебряных) и подавляющее число денежных премий присуждены были государственным и удельным крестьянам. На долю участвовавших в выставке дворян помещиков, кушцов, мещан и духовенства достались лишь похвальные листы. В таком решении комитета выставки следует, разумеется, видеть в первую очередь результат воздействия на членов комитета Салтыкова, лично представившего к наградам.

Работа над выставкой открыла перед Салтыковым всю меру отсталости и бескультурья крестьянского хозяйства и заставила его глубоко задуматься над этим вопросом. Некоторые из своих размышлений и выводов Салтыков сумел включить в составленное им официаль-

ное описание выставки, напечатанное почти одновременно в Петербурге в «Журнале министерства государственных имуществ» (XXXVIII, ч. 2, стр. 203—238: «Вятская выставка») и в «Вятских губернских ведомостях» (1851, №№ 4—7, отдел второй, часть неофициальная: «Вятская очередная выставка сельских произведений»). В обоих изданиях статья (тексты ее отличаются друг от друга лишь незначительными разночтениями стилистического характера) напечатана анонимно. Однако в конце статьи указано: «...описание выставки было поручено комитетом распорядителю выставки, титулярному советнику Салтыкову». Сверх того, в архиве Салтыкова сохранились черновой автограф статьи со множеством отброшенных вариантов, свидетельствующих о трудностях выработки текста, и беловая писарская рукопись с многочисленными вычеркиваниями, изменениями и пометками губернатора Середы.

Ознакомление с черновым автографом статьи позволяет утверждать, что ее первоначальный текст подвергся значительной переработке. И губернатору, цензуровавшему статью политического ссыльного, да еще для официального столичного издания, и самому Салтыкову приходилось быть осматриваемыми. Однако черновая рукопись статьи по существу еще не изучена, сама статья не вошла в Полное собрание сочинений сатирика и осталась в первичной публикации той эпохи. Текстом этой публикации нам и приходится пока довольствоваться.

Несмотря на свое специальное назначение — быть описанием выставки, статья Салтыкова далеко выходит за ведомственные рамки и представляет собою документ немалого исследовательского интереса.

Тема статьи (если отбросить ее информационно-ведомственную часть) — вопрос о причинах «недостаточно-го состояния сельской промышленности» в Вятском крае. Художественной и публицистической разработке этой темы уже в общероссийском масштабе Щедрин отдал впоследствии много сил и таланта. Анализ статьи показывает, что она содержит, разумеется еще в зачаточном состоянии, ряд мыслей, связывающих ее с очень важным кругом исследовательских вопросов. Комплекс этот кратко может быть назван так: проблема исторических судеб русского крестьянского хозяйства в творчестве Щедрина.

В своей статье Салтыков сосредоточивает внимание на выяснении причин, определяющих низкий уровень сельского хозяйства в Вятском крае. Вот относящаяся сюда центральная часть его рассуждений:

«Отличительная, характеристическая черта Вятской губернии, — пишет Салтыков, — заключается в составе ее народонаселения, которое, как сказано выше, состоит преимущественно из государственных крестьян; этот факт запечатлевает совершенно отличный от других губерний характер не только на все существующие общественные отношения, но и на самую сельскую промышленность. В других губерниях поземельная собственность и все вообще капиталы сосредоточены в немногих руках, тогда как в Вятской губернии владение землей раздроблено на бесчисленное множество участков; очевидно, что человек, обладающий значительной собственностью, может иметь более средств к улучшению ее, нежели другой, который обладает собственностью ограниченной. Во-первых, он, получая постоянно несравненно больший доход, может отделить от него значительную часть для поддержания и необходимых улучшений по имени, тогда как небольшой землевладелец часто бывает в необходимости весь свой доход употребить на содержание себя и своего семейства. Во-вторых, свойство самых улучшений в сфере сельского хозяйства часто таково, что они возможны и приносят действительную пользу только в тех случаях, когда они делаются в больших размерах и на значительных пространствах, не говоря уже о том, что всякая хозяйственная операция, чем она обширнее, тем менее сравнительно требует издержек. В-третьих, избыток материальных средств, сопряженный с большими хозяйствами, позволяет хозяину производить в хозяйстве своим опытом, неудача которых не может принести слишком чувствительный ущерб большому капиталисту, тогда как маленький землевладелец совершенно лишен этого преимущества. Конечно, с другой стороны, раздробленность поземельной собственности соединяет с собой другое неопценное свойство, а именно возможность лучшего ухода за хозяйством, но и это удобство только тогда может иметь действительное осуществление, когда землевладелец имеет к тому средства, которые столько же заключаются в личных трудах и достоинствах хозяина, сколько и в материальных способах, ему предоставляемых. Поэтому весьма не мудро, что в Вятской губернии, где, как сказано выше, поземельное владение раздроблено до чрезвычайности, сельская промышленность находится в более младенческом состоянии, нежели в других губерниях России. Если прибавить к этой причине обстоятельство, что класс крестьян, как менее других образованный, с недоверчивостью смотрит на все нововведения, предпочитая испытанное уже веками и опытом нововведению, может быть полезному, но во всяком случае неверному, то и получится истинная причина недостаточного состояния сельской промышленности в Вятской губернии»<sup>23</sup>.

Итак, там, где «владение землей раздроблено на бесчисленное множество участков», где, употребляя позднейшее щедринское выражение, существует «фатум

крестьянской межи», — нет места для экономического развития и процветания. Мелкое крестьянское хозяйство, раздробленное, рутинно-отсталое — бесперспективно; оно обречено на нищету, бескультурье, экономическое оскудение. Наоборот, крупное хозяйство в деревне, с концентрированным капиталом, обладает всеми преимуществами перед мелким. «Свойство самих улучшений в сфере сельского хозяйства, — утверждает Салтыков, — таково, что они возможны и приносят действительную пользу только в тех случаях, когда они делаются в больших размерах и на значительных пространствах».

В такой трактовке аграрного вопроса угадываются уже зоркость и трезвость в анализе социально-экономических явлений, присущие зрелому Щедрину. Практические знания «мужицкой экономики», полученные в результате служебного опыта, в сочетании с просветительской основой мировоззрения Салтыкова, рано привели его мысли к убеждению, что мелкое раздробленное крестьянское хозяйство исключает возможность экономического прогресса, развития общественно-производительных сил труда, приложения данных науки и т. п., а главное освобождения земледельца, «достолюбезного русского мужика» (IV, 294), от тяготеющей над ним кабалы «проклятого труда», по формуле эксплуататорской морали: «в поте лица зарабатывай хлеб свой» — формуле, столь враждебной социалистическому идеалу сатирика. В этих наблюдениях и в этом направлении мысли — корни тех трезвых взглядов, которые так резко отчуждали позднее Щедрина и от славянофильских и от народнических идеологов мелкобуржуазной крестьянской парцеллы в России.

Необходимо, однако, отметить и другое. В политическом отношении размышления и формулировки Салтыкова грешат еще большей незрелостью, обнаруживая непонимание их автором классово-политической сути помещичьего государства. Защищая преимущества крупного сельского хозяйства вне его связи со всем социально-политическим строем в стране, Салтыков как бы дает повод заподозрить себя в защите крупного помещичьего землевладения, дворянских латифундий. Но, во-первых, нельзя забывать, что мы имеем дело с официально-ведомственным текстом. В этих рамках Салтыков, очевидно, не был свободен ни в своих формулировках, ни в аргументации. Во-вторых, нельзя воспринимать суждение статьи изолиро-

ванно. Не забудем, что в первой же своей повести «Противоречия» Салтыков, устами ее героя Нагибина, заявляет чисто социалистический протест против частной собственности, в том числе и земельной (имея в виду, вероятно, лишь крупную собственность), рассматривая ее как высшее общественное зло и несправедливость<sup>26</sup>. С другой стороны, сопоставление со всеми последующими высказываниями сатирика о крупном и мелком землевладении также не дает оснований заподозрить суждения его вятской статьи в том, что они продиктованы феодално-дворянскими воззрениями и симпатиями автора. Наоборот, такое сопоставление обнаруживает одну по крайней мере, но важнейшую для самого Салтыкова мысль, неизменно присутствующую во всех высказываниях на данную тему: мысль о трагической судьбе «человека, плененного наделом», то есть всего русского трудового многомиллионного крестьянства. При всем сложности развития этой мысли в последующем творчестве Щедрина она определяется как зерно будущих гениальных обобщений, данных сатириком на склоне дней в таких произведениях, как «Хозяйственный мужичок» («Мелочи жизни»), сказка «Коняга» и др. Здесь достаточно привести лишь один пример такого обобщения, тем более показательный, что он содержится в произведении, хронологически ближайшем к приведенным высказываниям и — что особенно важно — задуманном на материале тех же вятских впечатлений. В незаконченной повести «Тихое пристанище» (1864 год, но первая редакция под названием «Мастерица» — 1857 год) Щедрин писал: «...Уживчив и покладист коренной гражданин этой скучной равнины, русский мужик! Как ни бедна дарами, как ни мало гостеприимна кругом его природа, он безрешительно покоряется ей. Трудно идет его работа; горек добытый ею кусок, но слова: «в поте лица снискивай хлеб свой, словя, никогда ему не читанные, ни от кого им не слышанные, но какому-то обидному насильству судьбы так естественно и всецело слились со всем его существом, что стали в нем плотью и кровью, стали исходной точкой, средством и целью всего его существования» (IV, 294).

Статьи Салтыкова «О Вятской выставке» оказались его единственными выступлениями в печати за все семилетие ссылки.

## ДЕЛО О КАМСКОЙ ОБРОЧНОЙ «СТАТЬЕ»

В ноябре 1852 года Салтыков получил от губернатора (им был в это время Н. Н. Семенов, типичный, в отличие от своего предшественника А. И. Середы, представитель николаевской администрации) предписание отправиться в заштатный город Кай для расследования и прекращения возникших там крестьянских «беспорядков».

Поручение губернатора впервые ставило Салтыкова лицом к лицу с крестьянской массой в острый момент ее борьбы за свои интересы, в момент, когда долго тлевшее и разраставшееся движение недовольства вспыхнуло, наконец, прямым неповиновением властям, «бунтом».

Фактическая история выполнения Салтыковым губернаторского предписания, а также история возникновения самих крестьянских волнений изложены (не вполне объективно) в «Материалах» К. Арсеньева и подробно — на основании первоисточников — изучены в статье А. Лясковского «Новое о Салтыкове», напечатанной в 1924 году в журнале «Беседа» (№ 5—6, Берлин). Ограничимся здесь извлечением из названных работ основного фактического материала.

Волнения возникли на почве весьма сложных и запутанных в течение многих лет отношений крестьян с арендатором казенной земли. Крестьяне Слободского уезда Трушниковской волости, располагавшие нищенски-ничтожными наделами земли, издавна расчищали для своего пользования расположенные рядом казенные леса. Эти участки, так называемые починки, они привыкли считать своими и от уплаты аренды (оброка) за них отказывались. Камская оброчная «статья», в которую входили починки, переходила в течение многих лет от одного оброкосодержателя к другому, и острота вопроса об уплате аренды за них то ослаблялась, то усиливалась, в зависимости от характера и аппетита арендатора. Атмосфера достигла высшего напряжения при наиболее прижимистом и настойчивом Иване Гуднине (мещанине из г. Кая), решившем во что бы то ни стало заставить крестьян платить оброк.

Возникновение и развитие конфликта А. Лясковский рисует на основании изученных им первоисточников следующим образом.



Второго октября в волость приехал становой и объявил крестьянам, что скошенная ими трава принадлежит Гуднину, который и должен ею воспользоваться. Наутро прибыл и сам Гуднин с 40 подводами.

«Починки — пишет Лясковский, — были большим местом крестьян, оброкосодержатель — ненавистным притеснителем. Если б не этот злой гений, они владели бы «починками» безоборочно, как владели их отцы и деды, если б не Гуднин, они, может быть, пользовались бы всей камской «статьей». Появился на горизонте деревни этот «злой гений» — горожанин — и причиняет им массу страданий: сначала вырывает камскую «статью», потом отстраняет от пользования пастбищем и, наконец, пытается отнять и «починки». Как на это реагировать? Как защитить облитые потом и кровью отцов и дедов «починки»? За средством далеко ходить не пришлось: взялись за колья и прогнали подводы. Сам Гуднин поспешил под защиту станового, но, видимо, мало в нее верил и спрятался в сарай. Крестьяне приступом взяли сарай, вытащили оттуда оброкосодержателя, избili его и отвели в плен, к себе в деревню. Там от Гуднина потребовали контракт на камскую «статью» и подпись, что он никогда не будет пользоваться не только камской «статьей», но и не будет брать в аренду никаких земельных угодий. Отречение было подписано. Это еще больше воодушевило крестьян и окрылило их надежды. Они не удовлетворялись уже «починками», а считали себя в праве претендовать на всю камскую «статью», предназначавшуюся им в надел. Выехавшему на место отделению земского суда они заявили: «лучше погибнем со своими семействами, чем дадим пользоваться оброчной «статьей» мещанину».

Действия крестьян были сочтены за бунт. Губернское начальство встревожилось. О событиях было сообщено в Петербург, а на место происшествия именно в этот момент и был срочно командирован Салтыков в сопровождении жандармского офицера Дувинга и лесного ревизора Соломко. Причина возникших «беспорядков» была экономическая, связанная с вопросами об аренде и оброках. А эти вопросы, как указывалось, непосредственно входили в служебную компетенцию Салтыкова как управляющего вторым (хозяйственным) отделением губернского правления. Расследование и ликвидация крестьянских волнений, которых так боялось николаевское самодержавие,

считались, естественно, весьма ответственным поручением. Отказаться от него, тем более находясь в положении поднадзорного, Салтыков не мог. Это значило бы не только совершить серьезный проступок, именовавшийся «неповиновением по должности», но и скомпрометировать себя в отношении политической благонадежности. Случись это при Серееде — Салтыков мог бы, используя свои дружеские взаимоотношения с губернатором, откровенно просить освобождения от неприятного поручения. Но отношения с Семеновым в этот начальный период его губернаторства были не только строго официальны, но и скрыто враждебны.

Тем не менее попытка отклонить от себя командировку была предпринята. В качестве предлога было указано нездоровье. Что Салтыков вел на эту тему разговоры, явствует из его неизвестного полностью письма к губернатору, написанного уже с места событий: «Ваше превосходительство сами изволите знать, как тяжело мне было при постоянном моем нездоровье отправляться в г. Кай, где я живу уже вторую неделю в самом мучительном положении»<sup>27</sup>. Но как бы то ни было, Салтыкову пришлось отправиться в «дикий город Кай». Положение его, бывшее без того трудным, стало еще тяжелее после того, как, приехав на место событий, он ознакомился со всеми деталями дела: ему стала очевидна обоснованность всех требований крестьян.

В заключительном рапорте на имя губернатора, посланном уже после ликвидации конфликта (датирован 24 ноября 1852 года), Салтыков нарисовал картину суровой нужды и беспросветности крестьянского быта. Он указал, что именно в бедственном положении крестьян, с одной стороны, и в полном невнимании властей к их кровным нуждам, с другой, и коренятся все причины возникших волнений. Тем самым эти последние признавались как бы закономерными в существовавших условиях. В практических же предложениях своего рапорта Салтыков полностью повторил, от своего имени, требования самих крестьян: наделение их землею и передачу им в собственность всей камской оброчной «статьи».

Вот, с некоторыми сокращениями, заключительная часть донесения Салтыкова:

«Крестьяне <данной местности>, — писал он, — все вообще находятся в самом бедственном положении, и хотя и есть между ними довольно зажиточные, но и они кажутся таковыми только сравнительно с другими, которые не имеют почти никаких средств к существованию. Землею на число душ 8-й ревизии <манифест о ней был опубликован еще в 1833 году. — С. М.> крестьяне до сих пор не наделены, наделенный надел произведен еще по генеральному межеванию проводившемуся с 1765 по 1830 годы. — С. М.> и тогда, конечно, был достаточен, но в настоящее время в некоторых селениях едва-едва приходится на душу до трех десятин удобной земли. Это, вероятно, и понудило крестьян делать в свободных казенных землях расчистки, которые впоследствии были введены в состав камской оброчной статьи.

Земля, находящаяся во владении крестьян, самого посредственного качества, хлеба рожь едва-едва сам-треть, а большую часть сам-друг и сам-друг с половиною.

Сенокосов хороших нет вовсе, ибо все крестьянские сенокосы лежат по болотистым местам, а лучшие луга, понимаемые весенним разливом р. Камы, введены в состав оброчной статьи и из пользования крестьян изъяты.

Само собою разумеется, что при недостатке лугов скотоводство крестьян находится в самом жалком положении, а от этого необходимо страдает и самое хлебопашество.

Промыслы, которыми занимаются крестьяне для заработка денег, потребных на уплату податей, заключаются в выработке и поставке дров для солеваренных заводов Пермской губернии и в занятии бурлачеством по реке Каме. Выгоды, приобретаемые этими промыслами, так незначительны, что вырабатываемых денег едва достаточно на уплату государственных податей за семейства, состоящие нередко из трех и четырех душ при одном работнике...

Соображая все объясненное выше, я, с своей стороны, нахожу, что причины, побудившие крестьян к возмущению, заключаются в следующем: 1) в самом положении крестьян, которое действительно представляется столь бедственным, что с первого взгляда обращает на себя особенное внимание, и 2) в том недоразумении, которое возникло между крестьянами от неограничения и неприведения в известность камской статьи. Крестьяне, видя, что при одном содержателе статьи сей в состав ее входит более, при другом — менее пространства, легко могли заподозрить в этом деле произвол...»

Далее в черновике донесения следовали еще два пункта, впоследствии зачеркнутые. В первом из них — неизвестно, вошел ли этот пункт в окончательный текст, — резко подчеркивалось бездействие властей, а именно палаты государственных имуществ, ограничивавшейся «отписками» и «ни разу не потрудившейся серьезно вникнуть в положение крестьян».

В заключение Салтыков писал:

«Хотя в настоящее время беспорядки прекращены и бунтовщики приведены в надлежащее повиновение, я не могу, однакоже, не сказать, что, по моему мнению, единственный способ водворить

между крестьянами прочный порядок и тишину заключается в скорейшем наделении их землею по числу душ восьмой ревизии, причем, так как почти все свободные казенные земли этого края таковы, что парезка их крестьянам нисколько не послужит к улучшению их быта, а, напротив того, потребует от них же значительного труда и издержек, которые могут вознаградиться разве через весьма долгое время, то я полагал бы в число земель, предполагаемых к наделу крестьянам по восьмой ревизии, включить и камскую статью, в полном ее составе. Тем более, по мнению моему, предположение это заслуживает уважения, что статья сия составила из лесных полей, на расчистку которых этими же крестьянами употреблен не один десяток лет»<sup>28</sup>.

Итак, вся полнота сочувствия Салтыкова была на стороне обездоленных и бедствующих крестьян. Сила и искренность этого сочувствия показывают, какую свободу суждений сохранял Салтыков в оценке социально-политической действительности, находясь на своем административном посту. Они показывают также, как практическое соприкосновение с миром крестьянского горя и нужды конкретизировало, уплотняло и тем самым качественно развивало демократизм Салтыкова, воспринятый первоначально в идейной школе сороковых годов, в его отвлеченно-философском гуманитарном аспекте и лишь позднее превратившийся в «мужицкий демократизм» (Лецини) русского революционного просветительства.

Такова была идеология. Нечто иное видим в практике. В качестве чиновника, специально командированного для ликвидации конфликта, он вынужден был, прибегая к языку официальной терминологии, именовать крестьян «бунтовщиками», защиту ими своих кровных интересов — «беспорядками». А главное, он должен был изыскивать какие-то меры для практического прекращения этих последних.

По прибытии на место происшествия Салтыков собрал «сход» обоих принимавших участие в «беспорядках» сельских обществ: Путейского и Нелысовского, общей численностью свыше 100 человек. Обратившись к собравшимся крестьянам, Салтыков прежде всего заявил им о своей солидарности с выдвинутыми ими требованиями о наделении их землею и передачи им в собственность всей камской оброчной «статьи». Салтыков, далее, обещал свою полную поддержку именно в таком разрешении конфликта и на этом основании ...просил крестьян прекратить «беспорядки». Он был искренен и правдив (сви-

детельством тому служит приведенный выше рапорт губернатору). Он потратил на эти уговоры много времени, сил и нервов, но нужных результатов не добился. Крестьяне не верили обещаниям «начальства» (а кем же другим мог представляться им чиновник из губернии, приехавший «усмирять» их?). Более того, позиция Салтыкова, не скрывавшего от крестьян сочувственного отношения к их требованиям, лишь укрепляла в них решимость сопротивления.

Когда все попытки уговорить крестьян прекратить оказываемое ими сопротивление властям никаких результатов не дали, Салтыков в специальном донесении губернатору просил, «как особой милости», разрешения прекратить свою командировку и вернуться в Вятку. Губернатор, поняв, что Салтыков не выполнил и не выполнит поручения, срочно послал на место событий другого чиновника, управляющего палатой государственных имуществ, В. Е. Круковского, которому и удалось достигнуть компромисса между крестьянами и оброкосодержателем. При этом последний отказался от аренды камской «статьи», и с 1 января 1853 года она действительно перешла в надел крестьянам, как того и добивался Салтыков. Но действиями его губернатор остался недоволен. На полях донесения Круковского, там, где тот стремился выгородить Салтыкова, находившегося с ним в приятельских отношениях, губернатор поставил жирную «N» и написал: «Едва ли! Салтыков ничего не сделал для усмирения крестьян»<sup>29</sup>.

Мы не знаем, как воспринял и оценил Салтыков свой трудный опыт 1852 года (ср., однако, его автобиографическое признание о вятской службе в одном из очерков 1858 г.: служба «ставила меня в прямые отношения к живым силам народа, но я сам чувствовал, как я робел и менялся при первом прикосновении ко мне жизни...» — IV, 181). Но объективно командировка для прекращения крестьянских волнений должна быть признана одним из наиболее суровых и, одновременно, отрезвляющих испытаний всей административной деятельности сатирика. Его концепции «честной и просвещенной службы» именно здесь мог быть нанесен первый серьезный удар. Его мысль получала толчок к признанию той истины, что служба в административном аппарате царизма в любой момент могла поставить его в трудное, особенно для его целост-

ной натуры, положение человека, вынужденного действовать против собственных убеждений.

Критикуя позднее двойственность либералов шестидесятых годов, в прошлом «людей сороковых годов», и усматривая истоки этой двойственности в их социальной биографии, Щедрин писал, отчасти обобщая и свой вятский опыт: «...мир практической деятельности, существования которого мы так долго не подозревали, представила нам провинция, в которую бросил нас естественный ход нашей служебной карьеры... В провинции мы выровнялись и приобрели ту драгоценную деловую складку, которая полагает раздельную черту между делом и убеждениями и позволяет первому идти вполне независимо от последних» (XI, 416).

Постепенное накапливание в служебном опыте Салтыкова ситуаций, принципиально сходных с только что описанной, при которых его официальное положение чиновника неизбежно шло вразрез с его взглядами, привело (наряду с другими факторами) в будущем сатирика не только к суровому принципиальному осуждению «деловой складки» и к оставлению государственной службы, но и к такому полному отвращению и омерзению к «чиновнику-либералу», которые напитали собою немало блестящих страниц его сатиры.

## СЛЕДСТВИЕ О РАСКОЛЬНИКАХ

В конце 1854 года Салтыкову было поручено производство расследования по одному делу раскольников-старообрядцев. Дело разрослось, полностью поглотило последний год вятской службы сатирика и дало ему запас впечатлений, оставивших заметный след в его художественном и публицистическом творчестве ближайших лет<sup>30</sup>.

Вятская губерния, как и все Приуралье, издавна являлась местом средоточия «ревнителей древлеблагочестия». Целыми семействами перекочевывали они сюда, спасаясь от преследований, которым подвергались в центральной России. В густых, тянувшихся вплоть до Ледовитого океана лесах находили надежное убежище монахи и монахини закрывавшихся властями старообрядческих монастырей, раскольничьи «наставники» и «странники».

В первых числах октября 1854 года сарапульский городничий фон Дрейер (сатирический портрет его дан в «Губернских очерках» и фигуре Фейера из «Второго рассказа подъячего») донос губернатору Семёнову об аресте им «бродяги Ситникова», именовавшего себя «страшником Ананшем» и рашикивавшегося, начиная с марта месяца, по предписанию министерства внутренних дел. Он был арестован после визита к местному именитому раскольнику Смагину. Из сокровенных тайников последнего, так же как из коготочки «странника», было извлечено много всевозможных писем и посланий, дававших, как показалось городничему, возможность раскрыть ряд тайн раскольничьего мира. Дело было признано чрезвычайно важным. Выбор для расследования его пал на Салтыкова как на чиновника не только энергичного и настойчивого, но и известного своей безупречной честностью. Последнее обстоятельство было особенно важно в глазах губернатора. Раскольники были народ богатый и легко подкупали следователей.

Приехав в Сарапул, Салтыков убедился, что происшествие было сильно раздуто городничим, а в сущности не представляло собой ничего «чрезвычайного» и не выходило из круга обыкновенных раскольничьих дел, каких было много в те годы. Следовательские функции не улыбались ему, и он, так же как в 1852 году, по поводу дела о крестьянских волнениях, просил губернатора освободить его от поручения.

Присланная из Петербурга со специальным нарочным бумага решила вопрос не в пользу желаний Салтыкова. Новый министр внутренних дел Д. Г. Бибиков — один из свирепейших гонителей раскола в николаевскую эпоху — под впечатлением записки П. И. Мельникова (А. Печерского) о состоянии старообрядчества в Нижегородской губернии распорядился строжайше обследовать развитие раскола повсеместно, а в Вятской и Пермской губерниях особенно. Отвечая на рапорт губернатора о деле Ситникова — Смагина, он предписал попрежнему считать его «содержащим особенную важность». По поводу же действий и соображений Салтыкова, продолжавшего утверждать и доказывать, что делу придается значение, которого оно не может иметь, министр выразил сомнение, но все же разрешил поручить ему «продолжение исследова-

ния», возложив, однако, ответственность за выбор этой кандидатуры на губернатора <sup>31</sup>.

Поручение было утомительное и даже опасное, связанное с бесконечными разъездами по глухим местам и розысками тайных раскольничьих скитов, где скрывалось много уголовно-преступного элемента.

Первая же проверка лесных скитов дала неожиданные результаты. Жизнь в них мало походила на монашески-подвижническую. Под видом иноков и инокинь, послушников и послушниц в скитах скрывалось много беглых уголовных преступников, всякого рода бродяг и святош-проходимцев, людей с темным прошлым; среди «пустынно-жителей» процветали пьянство и разврат.

В одном из своих донесений губернатору Салтыков писал, что укрывательство преступного элемента в тайных скитах «приняло такие обширные размеры, что вся северная часть Чердынского уезда, а также северо-восточная часть Усть-Сысольского в полном смысле кишит беглыми людьми, безнаказанно живущими там под защитой непроходимых лесов и покровительством простодушия и робости лесных жителей — пермяков и зырян. При открытии скитов всегда находят кости и могилы, что свидетельствует о том, что здесь скрываются самые гнусные злодеяния».

«Поручение мое крайне тяжело как потому, что большая часть его делается в деревнях, что совсем не весело, так и потому, что я должен опасаться и за жизнь свою, до того эти раскольники фанатики и изуверы», — писал Салтыков брату в одном из писем (XVIII, 113). «Я должен... шляться по лесам и рискую даже жизнью», — сообщал он в другом письме (XVIII, 112). Он даже просил губернатора прикомандировать ему специального человека для охраны, что и было выполнено.

Проверяя указания Ситникова, раскрывавшего из тюрьмы все новые тайны раскольничьего мира, называвшего все новых и новых лиц и указывавшего места расположения утаенных скитов и келий, Салтыков исколесил в течение ноября 1854 — февраля 1855 года всю Вятскую и Пермскую губернии. Он объездил скиты, раскинутые по лесным рекам Лупье и Леле, побывал, не говоря о более длительном пребывании в Сарапуле и Глазове («Срывный» и «Оков» в его произведениях), в раскольничьих центрах — Чердыне и селе Ильинском на реке Обве,



а также в городах Осе, Пожевске, Оханске, на приуральских заводах Бикбардинском и Камбарском — и во многих других, совсем уже глухих и безыменных углах.

Дело все разрасталось. Его шити, распутиваемые Салтыковым, вынулись уже не только в центральные губернии страны, но и на Украину, в Закавказье и даже за пределы России. Но, помня о поднадзорном положении своего чиновника, министерство в дальние края его не пускало. Ему было предложено ограничить расследование пределами соседних губерний. В марте 1855 года Салтыков перекочевал в Казань. «Из Вятки (420 верст) тащился я шесть дней, писал он об этом путешествии, — и несколько раз рисковал окончательно расстаться с жизнью в какой-нибудь проклятой загоре» (XVIII, 114). В Казани он встретился, по предписанию Бибикова, с известным знатком поволжского раскола и правительственным искоренителем его — Мельниковым (Печерским). Совместно с ним был, между прочим, сделан безрезультатный обыск у раскольника беглопоповского толка Трофима Тихонова Щедрина. Принято считать, что именно встреча с этим 74-летним стариком, очень умно и энергично державшимся на допросе и в затеянном Мельниковым споре о «старой вере», и дала скоро повод Салтыкову заимствовать его фамилию в качестве своего литературного псевдонима. Однако выше (см. стр. 71) был указан другой, с нашей точки зрения более вероятный, источник происхождения псевдонима сатирика.

Из Казани Салтыков отправился в Нижегородскую губернию, где в лесах Поволжья искал кельи монахов и монахинь закрытых правительством иргизских раскольничьих монастырей. Затем он проехал еще во Владимирскую и Ярославскую губернии и окончательно вернулся в Вятку лишь в мае 1855 года. Командировка по раскольничьему следствию отняла у него, таким образом, полгода. Сохранившаяся «подорожная» Салтыкова свидетельствует, что за это время он проехал на лошадях около 7000 верст. Лично для Салтыкова итоги этого самого большого его служебного поручения периода Вятки были и отрицательными и положительными. Выросшее в огромное следственное производство — восемь томов на двух с половиной тысячах листов — «секретное дело о раскольниках Смагине и Ситникове» не дало того эффектного результата, на который рассчитывало начальство. В глазах властей

«дело» оказалось не стоившим той энергии, которая была на него затрачена (как об этом и предупреждал вначале Салтыков). Колоссальный материал, собранный Салтыковым, представлял немалую историко-этнографическую ценность как источник для ознакомления с верованиями и бытом различных сект старообрядчества. Но он почти ничего не давал в отношении судебно-обвинительном даже для николаевской администрации, столь ретивой в преследовании раскольников. Выполнение министерского поручения ничего в судьбе Салтыкова не изменило.

В связи с событиями Крымской войны и внезапной смертью Николая I Бибикову, находившемуся накануне своей отставки, было уже не до раскольничьего розыска. Он даже не отозвался на рапорт губернатора о завершении следствия по делу, столь сильно его первоначально заинтересовавшему. Что касается губернатора, то после двух ранее предпринятых им безрезультатных ходатайств о снятии с Салтыкова надзора (см. об этом ниже) он уже не считал теперь возможным в третий раз возобновлять их. Он знал, что в Петербурге было не до того, да и серьезным поводом для нового ходатайства он не располагал.

Как и в 1852 году, Салтыков должен был теперь вновь пережить трудные минуты сознания двойственности своего положения. Правда, в деле с раскольниками это сознание было, вероятно, значительно менее остро, потому что собственное отношение Салтыкова к расколу в период Вятки было, как показывают многочисленные факты, безусловно отрицательным (см., напр., IV, 522).

В русском расколе Салтыков видел в эту пору лишь варварство и неразумное уклонение от государственности и культуры. Происхождение раскола, в согласии с официальной точкой зрения, он объяснял «опечаткой и невежеством»: «Язвою русского государства были старожеры. Секта эта возникла по случаю исправления церковных книг. Некоторые из исправителей издали имевшиеся у них в руках списки не только без исправлений, но даже с ложными толкованиями». Так объяснял возникновение раскола Салтыков в очерке «Краткая История России», составленном в 1853 году для сестер Болтиных. Личные впечатления от старообрядческой буржуазной среды — купеческой и кулацкой, — с ее культурно-бытовой отсталостью, семейным и религиозным деспотизмом и легко возникающей на этой почве уголовщиной, лишь укрепили Салтыкова в этом

резко отрицательном отношении. Для него, идейного ученика Белинского, просветителя и атеиста-материалиста, старообрядческий быт — это по-прежнему «темное царство», где властвует «вечное зябло», под которым пригибается к земле человек и великая личность, увидает всякий порыв к символу и идеалу; это — «царство теней», где господствует «мертвый формализм, не согретого никакой внутренней силой» — «противуестественная сфера фанатизма и «вотчина», разрушающих человека».

С другой стороны, Салтыков отчетливо видел социальное расхождение в расколе. Столкнувшись с жизнью богатого старообрядческого купечества — с прикамскими и зыбковскими «тысячниками», — он убедился, что «старый обычай» для них — «дело не столько душевное, сколько карманное», что в их руках он служит лишь удобным средством жестокой эксплуатации забитой и темной крестьянской бедноты. Раскол раскрылся перед ним как новый вид «ужасного и дикого барства», как «своего рода замкнутая аристократия, которая гнусно сгибается перед внешнею грубою силою и, в свою очередь, нагло эксплуатирует и заставляет гнуться перед собой толпу слабых и беззащитных».

Свой взгляд на раскол Салтыков отразил в ряде произведений конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, написанных под неостывшим еще впечатлением от личных излюблений над этой средой. Это — рассказы «Старец» и «Матушка Мавра Кузьмовна» в «Губернских очерках», пьеса «Смерть Пазухина» (первоначальное название «Царство смерти»), незаконченная повесть «Тихое пристанище» (первоначальная редакция ее носит название «Мастерица»), наконец большая статья по поводу книги «Сказание о странствии и путешествии... инока Парфения» и рецензия на книгу Г. С. — на «Современные движения в расколе». В ту пору, когда Щедрин писал названные произведения, вопрос о расколе уже привлекал значительное внимание демократических кругов (Герцена, Огарева, Кельсиева, Шапов и др.). В расколе за его формально-обрядовой и религиозно-идеологической оболочкой начинали видеть социально-политическое движение, смыкавшееся в своей оппозиции существующему строю с широким антикрепостническим протестом. Шапов писал о «церковно-гражданском демократизме раскола» и о «народных гражданских бунтах под знаменем раскола».

Не без влияния этих новых характеристик, выявлявших социально-политическую сторону старообрядчества, Салтыков обостряет в названных выше статьях и произведениях внимание к элементам антифеодальной борьбы в расколе, подчеркивая «общественный характер раскольниковьего протеста», направленного против крепостного права, «в осуждении которого согласны были все расколуечения» (V, 348), и уделяет значительное внимание разоблачению административно-полицейского произвола в преследовании раскольников.

Но Салтыков попрежнему остается чужд герцено-кельсиевской идеализации раскола и не соглашается видеть в нем сколько-нибудь серьезную политическую силу.

Сорок лет спустя, в статье «Задачи русских социал-демократов» (1898), Ленин писал: «Что касается до демократических элементов в угнетенных народностях и в преследуемых вероучениях, то всякий знает и видит, что классовые противоречия внутри этих категорий населения гораздо глубже и сильнее, чем солидарность всех классов подобной категории против абсолютизма и за демократические учреждения»<sup>32</sup>.

С какой отчетливостью Салтыков видел классовые противоречия в расколе-старообрядчестве, показывает его изображение трех социальных групп — «разрядов» — раскольников в повести «Мастерица»: богатых купцов-капиталистов, среднезажиточных мещан и купцов и эксплуатируемых двумя первыми группами крестьян-бедняков. Салтыков показывает далее, как это социальное расслоение порождает в старообрядческой среде «постоянный внутренний антагонизм при всей внешней сплоченности», антагонизм тем более «острый», что он «облечен в болезненно-аскетические формы, присущие всякому проявлению общественной жизни у ревнителй старой веры». Именно эти глубокие классовые противоречия и сводили, по мнению Салтыкова, на-нет политическое значение тех элементов антифеодального демократического протеста, которые были присущи русскому расколу, в первую очередь старообрядчеству.

Несмотря на некоторые существенные оговорки и отдельные противоречия в оценках, Салтыков не изменяет в конце пятидесятых годов своего общего резко отрицательного отношения к расколу как к социальному, «гражданскому» явлению.

В первой редакции повести «Мастерица» Щедрин писал: «Для многих обнажение так называемых тайн раскола может показаться неприличным и несвоевременным по многим причинам. На это я отвечаю: для меня важна не религиозная и политическая, но гражданская сторона этого темного вопроса. Религиозная сторона бессмысленна и потому бесполезна — политическая так слаба и так мало способна в себе заложить залог жизненности, что также не может внушать серьезных опасений. Там, где нет единства, где, по самому существу догматов, все так неопределенно, что на каждом шагу разлезается врозь, там, где в одной деревне можно иногда встретить столько толков, сколько существует семейств, и где каждый видит в своем соседе непримиримого злодея, готового во всякую минуту продать его, там, в этом хаосе, в этой неурядице смешно было бы искать даже признаков какого-либо единства действия, без которого никакое политическое движение немыслимо. Совсем другое дело — гражданская сторона вопроса. Здесь встает перед вами гордая, черствая, замкнутая и, следовательно, в своем роде безобразно-аристократическая каста, которая с невозмутимым хладнокровием отлучает от права на жизнь всех своих братьев по крови, почему-либо не желающих подчинять себя самому нелепому из всех деспотизмов — деспотизму опечатки и невежества...» Понятия, «которыми проникнута вся жизнь, весь нравственный и гражданский кодекс этой касты», по мнению Щедрина, «очевидно, заслуживают полнейшего омерзения» (IV, 466—467).

Биографически эта оценка 1857 года, когда писалась «Мастерица», важна в двух отношениях.

Близкая к взглядам Салтыкова на раскол периода Вятки, она разъясняет прежде всего, как в личном плане он рассматривал тогда свою служебную практику, направленную против раскольников. Неприятная своей полицейско-сыскной стороной, она вместе с тем не содержала для него в ту пору каких-либо элементов острого идейного и этического компромисса. Ему было слишком безразлично казенное православие, чтобы он мог рассматривать свою деятельность как защиту официальной религии от ересей лжеучения. Он был слишком чужд взгляду на раскол как на реальную политически-оппозиционную силу, противостоящую самодержавию, чтобы попрекать себя невольным содействием в ее подавлении. К репрессиям официальной

государственности против раскола он относился в ту пору скорее сочувственно, ибо они вели к разрушению тех «дикосообщинческих» форм общегития, которые в свете его просветительских идеалов были лишь «мрачным царством теней» и заслуживали «полнейшего омерзения».

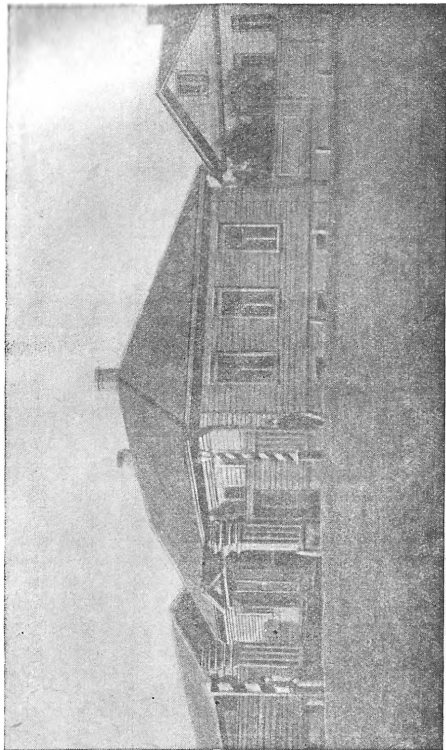
Тут мы опять видим, как на почве просветительского идеализма, неспособного понять классовую природу антинародной государственной машины самодержавия, могли возникать свои опасные иллюзии и заблуждения. Они позволяли принимать, как это и случилось с Салтыковым, даже насильственные методы борьбы с социальными явлениями народной жизни, которые признавались, с просветительской точки зрения, неразумными и вредными для самой народной жизни и для общества в целом.

Приведенный текст показывает далее, что и позднее, в шестидесятых годах, Салтыков, изменив кое в чем свое отношение к расколу (в первую очередь к полицейско-бюрократическим методам искоренения его), остался в основном на тех же резко отрицательных позициях в идейно-политической оценке этого движения в народной жизни.

Щедринское разоблачение раскола в литературе, а еще более его служебная практика по старообрядческому розыску дали повод некоторым из современников, а также позднейшим исследователям к этическому осуждению его позиций и деятельности и к сравнению его роли с ролью известного правительственного гонителя раскола и одновременно его бытописателя Мельникова-Печерского.

Отвечая на один из таких упреков, исходивший от И. С. Тургенева, Салтыков писал, что «он напрасно смешивает меня с Павлом Ивановичем Чичи-Мельниковым», и заявлял: «Обзирая свое прошлое, я, полагаю руку на сердце, говорю, что на моей совести нет ни единой пакости...» (письмо к П. В. Анненкову от 2 января 1859 года).

Субъективная искренность этого заявления до сих пор берется под сомнение некоторыми биографами сатирика. При этом почвой для сомнения является, собственно говоря, лишь констатирование того бесспорного факта, что Салтыков, как и Мельников, в пятидесятых годах выполнял служебное поручение по расколу. Стоит, однако, лишь немного заглянуть в глубь этих «формулярных» данных, чтобы за их внешним сходством обнаружить глубокое внутреннее различие.



*Дом в Вятке, в котором жил Салтыков в годы своей ссылки  
С фотографии 1880-х гг.*





Салтыков провел всего лишь одно порученное ему следственное дело по расколу. За пределы следствия ни его действия, ни полномочия не выходили. Результаты последнего, как говорилось, были таковы, что сами власти не смогли ими воспользоваться для каких-либо репрессивных мероприятий. Фактически полицейских функций Салтыков не выполнял, а они и не поручались ему. Свою отрицательную и историческую позицию к расколу Салтыков сформулировал в основном и тогда, когда правительственная политика в отношении раскольников изменилась в сторону смягчения и когда, с другой стороны, в демократических и революционных кругах появилась идеализация раскола как политической оппозиционной силы. Независимо от этих новых всякий, Салтыков в своих произведениях конца пятидесятых — начала шестидесятых годов изображал раскол с прежних отрицательных позиций, изображал всегда мрачно, как «боллезненное уклонение народной жизни», как подлинно «темное царство». И он продолжал сурово осуждать это «темное царство» как сатирик и просветитель.

Иное мы видим у автора «В лесах» и «На горах». Стоя чиновником особых поручений при нижегородском губернаторе, Мельников в последние годы царствования Николая I зарекомендовал себя не только в качестве одного из наиболее последовательных проводников правительственной политики преследования раскольников, но и в качестве идеолога и организатора этой политики.

Не кто иной, как Мельников, разрабатывал и представлял властям в Петербург такого рода проекты, как, например, предложение налагать рекрутскую повинность в районах совместных поселений православных и раскольников только на последних или отнимать у раскольников детей и отдавать их в кантонисты и др. В своей следственной практике по делам раскола Мельников допускал крайний произвол и жестокость, даже с точки зрения ко всему привыкшей николаевской администрации.

Его «подвиги» на поприще преследования и гонения раскольников, сделавшие карьеру Мельникову, не помешали ему с переменой правительственного курса в начале нового царствования резко изменить позицию. Сначала он высказался в ряде «записок» за политику самой широкой терпимости в отношении раскольников и сектантов, а несколько позднее начал свою работу художника-бытописа-

теля и историка раскольничьей среды, нередко выступая идеализатором и апологетом ее наиболее реакционных устоев. Это обращение от анафемы к аллилуйе, совпавшее с соответствующим поворотом правительственной политики, вызвало нелестные для Мельникова толки, нашедшие, в частности, выражение в зарубежном герценовском «Общем вечере». Рикошетным отражением этих толков и явилось суждение И. С. Тургенева о Салтыкове. Ответ его в свете всего сказанного был субъективно искривлен, хотя есть данные, позволяющие думать, что впоследствии Щедрин занял резко осуждающую позицию по отношению к своей недавней следовательской практике.

Выше был назван целый ряд произведений Щедрина пятидесятых — шестидесятых годов, непосредственно относящихся к материалам и впечатлениям, полученным в результате его следовательской практики по расколу. Но последний дал ему, как писателю, и более широкий круг восприятий.

«Г. Щедрин едва только оставил северный град, Северную Пальмиру, — писал в 1860 году Достоевский, — как тотчас же у него и замелькали под пером «Аринушки», и несчастненькие с их крутогорской кормилицей, и скитник, и матушка Мавра Кузьмовна...» Замелькали «богомольцы, странники и проезжие», а вместе с ними русские леса, дороги и равнины и их «коренной гражданин», «достолюбезный русский мужик, тихо идущий за сохой, изнуренный, но не убитый трудом, утомленный, но все еще бодрый, угнетенный, но все еще надеющийся...» (IV, 294). Широкая «поэма» русской жизни, о которой мечтал Гоголь, создавалась Щедриным в «Губернских очерках» под свежим впечатлением тех семи тысяч верст, которые проехал он по просторам пяти русских губерний непосредственно перед созданием своей знаменитой книги. Он еще глубже узнал в этих поездках губернскую и уездную Русь последней поры гоголевских городничих и держиморд, близко соприкоснулся с народным миром, ночуя в крестьянских избах и станционных домиках, ведя беседы с ямщиками и старостами, бурлаками и даромщиками, с «прохожим и проезжим человеком»; он увидел заводы и «клейменную жизнь» рабочих Приуралья; изучил тяжелый, глухой и властный быт прикамского и приволжского купечества. Он глубоко окунулся в ту стихию живой народной речи, того «достолюбезного народного говора», определивших заме-

чательное языковое богатство «Губернских очерков», по сравнению с которым словарный запас его петербургских повестей кажется таким бедным, а язык их вялым, интеллигентски книжным<sup>31</sup>. Семь тысяч верст, сделанных на лошадях и почтовой телеге или обывательской бричке, пробудили в нем ту изумительную по силе чувства поэзию русской тоски и русской природы, которая заполнила творчество и пейзажные страницы «Губернских очерков» и ряда тематических произведений.

Служебная практика по делам раскола ближайшим образом способствовала, наконец, приобщению щедринского творчества к фольклору. По обязанности следователя Салтыкову часто приходилось знакомиться с находившимися в старообрядческих скитах и пустынях старинными рукописными сборниками, со всякого рода раскольничьими «цветниками» и «трилистниками». Они хранили в себе, наряду с образцами византийско-средневековой литературы — такими, например, как упоминаемые Щедриным сборник «Златой бисер» или повесть-легенда «Чюдо св. Николая о Синогрипи царя», — много произведений устного народного творчества. В большинстве это были произведения религиозно-моралистического характера: духовные стихи, легенды, сказы, путешествия по святым местам и т. п. Этот раскольничий фольклор вызывает пристальное внимание Салтыкова. Он не только уделяет ему значительное внимание в своих служебных рапортах, но и выступает в роли его собирателя, списывая для себя отдельные образцы — вроде «стиха Асафа царевича» или «стиха об антихристе»<sup>34</sup>.

Относясь отрицательно к религиозно-аскетической идеологии бытовавшего в старообрядческой среде фольклора, называя, например, легенды о пришествии антихристовом «безобразными извержениями аскетической фантазии» (V, 52), Салтыков вместе с тем глубоко проникается художественной красотой устного крестьянского творчества. Он настолько, в частности, усваивает высокий стиль народного сказа, что в этой фольклорной форме пишет через полтора-два года свои известные очерки «Пахомовна» и «Аринушка», воплощая в этих фигурах и выражая в этой форме все величие и трагизм векового народного горя<sup>35</sup>.

Следствие по расколу оказалось последним служебным поручением Салтыкова в Вятке. Приближался, еще неве-

домый ему самому, срок освобождения из почти восьми-летнего изгнания — срок, который он так упорно, многократно и безнадежно пытался приблизить сам, начиная с первого же года пребывания в ссылке.

## ИДЕЙНО-БЫТОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ

«Связи с прежней жизнью разом порвались; редко кто обо мне вспоминал, да я и сам не чувствовал потребности возвращаться к прошедшему. Новая жизнь со всех сторон обступила меня; сначала это было похоже на полное одиночество (тоже своего рода существование), но впоследствии и люди нашлись... Ведь везде живут люди, как справедливо гласит пословица».

*Щедрин, «Счастливец»  
(«Мелочи жизни»).*

Характеризуя в «Письмах о провинции» («Письмо двенадцатое») положение «акклиматизируемого», то есть политического ссыльного, водворенного в среду обывателей «одного из опальных захолустьев России», Щедрин писал, вспоминая собственный вятский опыт:

«Я не говорю, что на акклиматизируемого набрасываются звери; я не заставляю его пропадать с голода и холода, или изнывать под игом чересчур ревностного наблюдения. Напротив того, я ставлю его в самое благоприятное положение — в положение человека, к которому устремлены искреннейшие симпатии. Но в а я действительность, с которою сталкивается акклиматизируемый человек, вовсе не зубата, не кипит враждою и злобою — я охотно о том свидетельствую и заявляю. Но в то же время я говорю: есть на свете нечто более злое, нежели самые злые звери, — это ничем невосполненное чувство одиночества, это ничем неутоленная тоска сердца, оторванного от своего прошлого и не нашедшего пищи в настоящем. И нет того доброжелательства, нет тех сочувственных слов, которые могли бы помочь этому высшему горю из всех горестей, когда-либо испытываемых человеком...» (VII, 334—335).

Если говорить о самой Вятке, одной из главнейших причин пережитого здесь Салтыковым чувства интеллектуального одиночества являлся низкий культурный уровень

се общества. В очерке «Тяжелый год» (о Крымской войне 1853—1855 годов), целиком основанном на вятских воспоминаниях, сатирик писал по этому поводу: «За отсутствием дворянства, интеллигенцию у нас представляло чиновничество и весьма немногочисленное купечество. ...К интеллигенции же причисляло себя и довольное количество мелких, большая часть которых принадлежала к категории «политических». Однако и «чиновники, и купцы, и даже ссыльные — все это был люд... занятой и расчетливый», чуждый причастности к умственной жизни (XI, 456).

Конечно, «люди нашлись» и в Вятке, и притом такие, которые приобрели уважение и привязанность Салтыкова. Но не нашлось единомышленников. В этом отношении показательно, что из долгого семилетия своего изгнания Салтыков не вынес ни одной дружеской связи или знакомства, которые бы сохранились и за пределами вятского периода его биографии. Тем не менее вопрос о вятских знакомствах Салтыкова, о его идейно-бытовом окружении в ссылке представляет законный исследовательский интерес и должен быть освещен в биографии сатирика.

Первую, наиболее обширную, но и наименее существенную для нас группу вятских знакомств Салтыкова образуют, естественно, те, которые неизбежно возникли на почве его служебных отношений. Однако перечень и характеристика всех начальников, сослуживцев и подчиненных Салтыкова в Вятке не представляют ни малейшего интереса. Весь этот круг обязательных знакомств должен учитываться при изучении биографии сатирика в целом, как один из источников его превосходных наблюдений над бытом и психологией провинциального дореформенного русского чиновничества — коллективного сатирического «героя» «Губернских очерков». Дифференцирующие, индивидуальные характеристики здесь не нужны, да и в большинстве случаев невозможны вследствие крайней скудости тех материалов, которые сохранились об этих людях<sup>36</sup>.

Из числа собственно служебных знакомств Салтыкова можно назвать лишь несколько, которые выходили из официальных рамок. Сюда относятся прежде всего особые отношения, установившиеся у Салтыкова с губернатором Середой и вице-губернатором Болтиным и их семьями (см. стр. 391). В этом ряду следует упомянуть также казначея губернского правления А. Н. Храбрых и чиновника

губернского правления Н. П. Тучемского. Оба они принадлежали к весьма немногочисленному образованному слою местного чиновничества, чем, вероятно, и объясняется известное сближение с ними Салтыкова; первый окончил Казанский университет, второй был горным инженером. Больше ничего о них неизвестно<sup>37</sup>.

Знакомство с вятским «обществом» началось для Салтыкова в конце 1848 года. Назначенный 12 ноября этого года старшим чиновником особых поручений при губернаторе, Салтыков по принятому этикету нанес визиты всем видным лицам и семействам города, после чего, по позднейшему «щедринскому» определению, «сделался вполне губернской скотиной», то есть был принят местным обществом.

«На новых своих знакомых, — пишет Л. Спасская, — он не произвел, по первому взгляду, приятного впечатления. Наружность его не отличалась привлекательностью. Это был очень молодой человек, темноволосый, довольно высокий, но неуклюжий, с болезненным цветом лица и очень выпуклыми серыми глазами, чрезвычайно близорукими, что еще более усиливало его неловкость. Выражение лица Михаила Евграфовича и настроение его духа постоянно менялись, причем мимолетная веселость сменялась то чрезвычайной угрюмостью, вовсе не свойственной его возрасту, то крайней раздражительностью. Сдержанности, самообладания у него совершенно не было, и всякое противоречие выводило его из себя».

Но, хотя, по словам той же мемуаристки, «многие черты его <Салтыкова> положительно отталкивали от него людей» — людей «крутогорского» общества, имевших, видимо, основание уже тогда почувствовать в новом знакомце будущего язвительного сатирика своих нравов, — двери вятских гостиных оказались широко открытыми перед Салтыковым. Его служебное положение доверенного лица при губернаторе, его лицейское образование, его причастность к писательству и литературным кругам Петербурга, наконец необычайность его судьбы — «сосланного по высочайшему повелению» — все это на первых порах ставило Салтыкова в центр внимания скудного новостями и событиями мирка губернского общества. Не последнюю роль играло при этом еще одно обстоятельство. «В вятском обществе, — сообщает та же Л. Спасская, — он был принят не как опальный, а как человек с хорошими

средствами (родители его имели более 2000 душ), хорошего происхождения и образования, притом как завидный жених для лучших вятских невест»<sup>38</sup>.

Но для самого Салтыкова вятское общество, сплошь состоявшее из чиновничества, лишенное культурной прощлойки — образованного дворянства, не могло представлять другого интереса, кроме чисто отрицательного. Это был мир живых моделей для героев его будущих «Губернских очерков», «мир сплетен и жирных кулебяк», мир всяческого произвола и всяких безобразий местных «чиновничьих бонз».

В неизданном дневнике сослуживца Салтыкова по министерству внутренних дел в 1856—1857 годы, известного в свое время статистика, археолога и историка-краеведа А. И. Артемьева, приводятся слова сатирика о том, что ему «довелось наблюдать в жизни вятских чиновничьих бонз столь удивительные картины, которые прямо просились в Губернские очерки, но не могли в них попасть». Одну из этих «удивительных картин», не попавших в «Губернские очерки» по независящим от автора причинам, мы имеем возможность восстановить. В декабрьской книжке «Русской мысли» за 1904 год редактор журнала В. В. Гольцев опубликовал в своих «Заметках читателя» воспоминания некоего Д. А. Бырдина, рассказывавшего о своей встрече с Салтыковым в Твери в 1861 или 1862 году. Изложив содержание дела, которое привело его к Салтыкову — оно касалось защиты крестьян от произвола помещика — Д. А. Бырдин сообщил далее:

«Я приехал к нему <Салтыкову> на квартиру вечером и передал ему мою просьбу. Михаил Евграфович немедленно сделал распоряжение приостановить переселение вышеуказанных крестьян впредь до расследования, а затем попросил меня на вечерний чай. Мы стали беседовать о его «Губернских очерках». Когда я заметил, что, вероятно, многие из его очерков не были напечатаны по независящим от него обстоятельствам, он подтвердил мое предположение и затем добавил:

— Да вот хотите, я передам вам один эпизод из моих вятских впечатлений, который я даже не думал никогда предавать гласности, зная наверно, что это невозможно. Вероятно, вы знаете, что в 1848 году я проживал не по собственному желанию в г. Вятке. Все местные губернские власти почему-то мною интересовались до такой степени, что постоянно приглашали меня к себе на официальные обеды. В числе других чиновных лиц был я приглашен и на обед председателем палаты гражданского суда, причем удостоили посадить меня рядом с председателем казенной палаты. Я увидел, что за обедом несколько человек лакеев служат во фраках, чему крайне

удивился, так как ни в клубе, ни в частных домах мне не приходилось здесь видеть прислугу во фраках. Я обратился за разъяснением к соседу своему по столу, председателю казенной палаты, спрашивая его, откуда мог получить такую приличную прислугу наш хозяин. В ответ на это мой сосед пригласил меня спросить об этом у самого хозяина дома. Конечно, я тотчас же исполнил совет соседа и получил следующий ответ: «это мои ребята». Оставаясь попрежнему в недоумении, я сказал: «Извините, ваше превосходительство, я не совсем понимаю вас». Я получил снова в ответ: «это мои столоначальники». При моем положении опального человека мне, конечно, неудобно было входить в дальнейшие обсуждения вопроса о лакеях во фраках, но я сильно заподозрил нашего любезного хозяина в желании мистифицировать меня. Как бы то ни было, я отложил разрешение этой загадки до другого дня. На следующий день после памятного мне обеда я отправился в палату гражданского суда и был несказанно удивлен, действительно признав в столоначальниках тех лакеев, которые прислуживали вчера за обедом у председателя. Только на сей раз они были не во фраках, а в виц-мундирах с блестящими форменными пуговицами. Мне представился вопрос: откуда могли взять столоначальники фраки? Сами они не могли их приобрести, потому что получали слишком ничтожное жалованье. Неужели председатель на свой счет изготовил им фраки на случай обеда у него? Предложив двум-трем столоначальникам этот вопрос, я получил от них следующее разъяснение: «Нам не велено пришивать форменные пуговицы к виц-мундирам, а приказано вышивать на подлежащих для пуговиц местах отверстия, в которые и вкладываются пуговицы, прикрепляющиеся с исподней стороны шнурком, который вдеается в их ушки, а на случай обеда велено иметь матерчатые черного цвета пуговицы с такими же ушками. С помощью этих пуговиц виц-мундиры и превращаются во фраки во время службы за обедом у его превосходительства».

То, что я рассказал вам, — заключил Михаил Евграфович, — факт, но мне нечего и думать об его оглашении.

Затем я откланялся, и мне уже никогда не довелось видеть знаменитого нашего сатирика. Считаю долгом добавить, что просьба моя была уважена, и крестьяне получили требуемый им лес на постройку и льготу на уплату оброка в течение трех лет».

О том, какую клоаку чиновничьих склок и дрязг представляли собой так называемые общественные нравы в Вятке пятидесятых годов, говорит тот факт, что они привлекли к себе специальное внимание правительства Николы I, обычно равнодушного к этим вопросам. Обеспокоенный большим количеством анонимных доносов вятских чиновников друг на друга, поступавших в Петербург, министр внутренних дел Бибиков счел необходимым командировать в 1853 году в Вятку своего доверенного чиновника А. Волкова. Ему было предложено «исследовать злоупотребления... а также нравы и установить причины такового развития духа ябедничества».



Результатом этих исследований явился подробный секретный рапорт Волкова Бибикову, представляющий интерес как документальный материал для характеристики сытового окружения Салтыкова.

«Общество в Вятке, — докладывал Волков министру, — весьма малочисленно, но трудно найти где-либо менее между людьми гармонии, как здесь. Большая часть чиновников, составляющих исключительно высший круг его, разделена на партии, и это разделение ощущается как и светских, так и в служебных отношениях. Отдельно взятые, многие из них — люди с достоинством; вместе — действуют во вред самим себе и даже службе, и все держат себя, выходя из границ той рамки, которая назначена каждому должностью. Следствием этого — беспрестанные столкновения, неприятности и пища жалобам и изветам». «Дух ябеды и клеузничества, — заключает Волков, — развит в Вятской губернии вообще сильно; но в самом городе Вятке он превосходит всякую дозволенность»<sup>39</sup>.

Вынужденное общение с этим миром «ябеды и клеузничества», по признанию Салтыкова, «бесило и мучило» его. «Скука одиночества» казалась ему меньшим злом. Неподдерживаемые знакомства быстро распались. «Живу я попрежнему очень-очень скучно, — писал Салтыков брату 28 июля 1852 года, — тем более, что мне общество здешнее до крайности надоело, и я большую половину моего знакомства совершенно оставил. Живут здесь люди одними баснями да сплетнями, от которых порядочному человеку поистине тошно делается» (XVIII, 98). И несколько позже: «Ты не поверишь... какая меня одолевает скука в Вятке. Здесь беспрерывно возникают такие сплетни, такое устроено шпионство и гадости, что подлинно рта нельзя раскрыть, чтобы не рассказали о тебе самые неслезные небыллицы. Хотелось бы хоть куда-нибудь... от этой ненужной Вятки» (XVIII, 100).

Разумеется, такая позиция не могла не повлиять на Салтыкова, совершенно не способного скрывать своих настроений, с большинством вятчан. Это была позиция отрицания «мира вятской пошлости», отрицания, проявившегося пока в лично-бытовом плане, но скоро вынесенного на суд всего русского общества в художественно-политическом документе большой обобщающей силы — в знаменитых «Губернских очерках».

В какой мере галерея художественно-сатирических персонажей этого произведения связана с вятским окружением Щедрина, видно из того, что «появление «Губернских очерков», — по свидетельству Л. Спасской, — сильно взволновало вятчан, узнавших в героях рассказов многие портреты. Так как очерки носили характер сатирический, то в них и попали большею частью не те лица, которые пользовались уважением автора, а совсем противоположные, и, как притом же нарисованы они были в самом непривлекательном виде, то естественно, что оригиналы портретов сильно оскорбились. Тем более, что Салтыков, в сущности, не рисовал верных с подлинниками портретов, а брал какую-нибудь характеристическую черту известного лица, а остальное добавлял воображением. Но по этой-то характеристической черте все и узнавали, о ком идет речь...»<sup>40</sup>

Свидетельство Спасской подтверждается и конкретизируется рядом источников. В их числе имеется один ранее неизвестный документ — портретная расшифровка художественных образов «Губернских очерков», сделанная вятским знакомым и сослуживцем Салтыкова, упомянутым выше горным инженером Тучемским, на полях присланного ему автором экземпляра первого отдельного издания «Очерков» (М. 1857, 2 тома) с вклеенными во 2-й том страницами щедринского рассказа «Приезд ревизора» из декабрьской книжки «Русского вестника» за 1857 год. Маргинальные пометки Тучемского указывают следующие реальные прототипы для героев щедринской «крутогорской» галереи:

«Генерал Голубовицкий» и «князь Чебылкин» — губернатор Н. Н. Семенов; «частный пристав Рогуля» — пристав Рождественский; «семейство Размановских» («Приятное семейство») — семья губернского стряпчего (прокурора) Шилинг; «Порфирий Петрович» — советник питейного отдела Г. И. Макаров; «Линкин» — учитель вятской гимназии Ф. С. Томилов<sup>41</sup>; «Василий Николаевич Проймин» — вятский врач Николай Васильевич Ионин; «Вера Готлибовна», «крутогорская звезда» — его жена Софья Карловна Ионина; «Катерина Дмитриевна» (в очерке «Приятное семейство») — Наталья Николаевна Середа; «поручик Живновский» — исправник Живицкий; «Разбитной» — <фамилия не разобрана>; «Алоизий Целестинovich Загржембович» — старший чиновник особых поруче-

ний при вятском губернаторе Альберт Алойзович Родзевич; наконец «Дернов» — младший чиновник особых поручений Резунов <sup>42</sup>.

Записи Тучемского, перечисляющие лиц собственно «вятского общества», в свою очередь могут быть дополнены рядом других свидетельств, продолжающих галерею прототипов щедринской книги.

А. Ф. Кони в одном из своих мемуарных очерков рассказывает, например, о своей встрече в одном из приволжских городов в 70-е годы с исправником фон Дрейером, бывшим сарапульским городничим, послужившим моделью для «городничего Фейера» в «Губернских очерках». «Уезжая вечером на пароходе, — пишет Кони, — куда он <исправник фон Дрейер> пришел проводить меня, я выразил удовольствие, что познакомился с ним. — «Да Вы уже со мной знакомы, — сказал он, весело улыбаясь. — Вы обо мне, конечно, читали: — у Щедрина, Фейер. Так вот этот Фейер я и есть. Я прежде в Вятской губернии служил, лет двадцать назад» <sup>43</sup>.

В 1883 году, то есть еще при жизни Щедрина, в казанской газете «Волжский вестник» была напечатана заметка «К биографии героев «Губернских очерков» М. Салтыкова», в которой елабужский корреспондент газеты сообщал: «В первых числах июня <1883 года> скончалась в елабужском женском монастыре, Вятской губернии, мамадышская богачка Акулина Петровна Иванова, известная под частным прозвищем «Живоглотихи». Народное прозвище «живоглота» стяжал покойный ее муж Павел Афанасьевич Иванов, бывший мамадышский земский исправник — один из героев в «Губернских очерках» Щедрина; Акулина Петровна все свое имущество, нажитое ее мужем службой в нашем уезде, завещала на помин души елабужскому монастырю. А имущество ее состояло: из 1) 807 десятин самой лучшей пахотной земли... 2) каменного дома с обширной усадьбой среди города Мамадыша, 3) 50 000 р. деньгами, хранившимися в вятском банке, и 4) несколько сундуков с серебряными и золотыми вещами, жемчугом и бриллиантами...» <sup>44</sup> Таковы были материальные итоги «деятельности» реального прототипа «исправника Живоглота» из «Губернских очерков», «всегда готового — по щедринской характеристике — затеять дело да ограбить кого-либо».

В цитированном выше неизданном дневнике сослу-

живца Салтыкова по министерству внутренних дел А. И. Артемьева, связанного по своей краеведческой работе в сороковых годах с Казанской губернией, находим характеристику и самого Иванова-«живоглота», которого автор дневника лично знал. Характеристика эта была занесена в дневник под впечатлениями, полученными А. И. Артемьевым от разговора с Салтыковым, писавшим тогда «Губернские очерки». В записи дневника от 10 октября 1856 года читаем:

«Утром был я в <Статистическом> Комитете и толковал с Салтыковым. Он писал «Губернские очерки». По слогу я не думал этого. — Он порядочно знает и Казанскую губернию и напомнил мне замечательную личность мамадышского исправника Павла Афанасьевича Ива́нова или Ивано́ва, как зовут его в Мамадыше. Известен он также под именем «Миляги» и «Любезняка», потому что он любит этими словами называть всех, с кем желает стать на короткую ногу; звал так и меня. Но за ним же усвоено было и другое прозвище, употреблявшееся впрочем заочно: «Живоглот». Значение этого слова понятно из этимологии и из того, что оно употреблялось заочно... Но происхождение этого прозвища освятили мифическою легендою: якобы Иванов ел живую рыбу... По крайней мере в 1846 году, когда я имел счастье входить с ним в сношения, за ним такой удали не водилось... Правда, в ту пору он еще был только непременною заседателем земского суда... Но он вертел уездом более нежели исправник, <...> хотя чуждался общества, сидел дома и вылетал оттуда как жук на муху... Он родился в Земском суде, начал службу в нем с мальчишки, был рассыльным, повытчиком, секретарем, заседателем и наконец исправником того самого суда, в стенах которого увидал свет божий от родителя-сторожа... Он знал уезд как собственный карман, да и уезд, можно сказать, знал, что значит карман Павла Афанасьевича. Он говорил татарски так, что сами татары, хотя видели его рождение и знали его жизнь, сомневались в русском его происхождении. Один татарин не шутя уверял меня, что Иванов, должно быть, был подменен в детстве татаренком. Вкрадчивый, уклончивый, с превосходным полицейским чутьем, он был отличный сыщик, но воспитанный в правилах известного образа действий, он «разыгрывал следствие по нотам» — по выражению старого подьячего

в «Губернских очерках». Уезд его любил и боялся. Казанские отцы-командиры говорили: «Эдакая продувная бестия этот Павел Афанасьевич, а золотой человек вместе с этим». И надобно сказать, он делал как-то так, что и в Казань почти никогда не ездил. Да! эта личность стоит описания»<sup>45</sup>.

В рассказах купца А. Н. Кузнецова о «чиновничьих плутнях» в его родном городе Орлове, Вятской губернии (Салтыков был там с ревизией в пятидесятых годах), приведен эпизод, весьма близко напоминающий сюжетную основу щедринского «Первого шага». «Кажется несомненным, — замечает по этому поводу автор, — что «Губернские очерки» писаны с натуры»<sup>46</sup>.

Вятский литератор Н. А. Озеров в своем очерке «М. Е. Салтыков в Вятке», написанном в 1903 году, то есть через полвека после пребывания там сатирика, тем не менее констатировал: «До сих пор среди вятчан держится мнение, упрекающее в неблагодарности Михаила Евграфовича, описавшего в «Губернских очерках» и других сатирах лиц, оказавших молодому Салтыкову здесь широкое гостеприимство»<sup>47</sup>.

Конечно, вынужденный к неопределенно длительному пребыванию в этой чуждой, враждебной и постоянно раздражавшей его бытовой среде, Салтыков — «обыватель Вятки», как он с горечью говорил о себе, должен был все же установить какие-то взаимоотношения с окружающими его людьми. Существовал ряд семей, которые он постоянно посещал, с которыми действительно сблизился, хотя ничто не свидетельствует, чтобы сближение это в чем-либо выходило за чисто бытовые рамки: обедов, пикников и т. п., а более всего игры в карты, привычка к которой сохранилась у сатирика на всю жизнь.

В этой группе вятских знакомств Салтыкова следует выделить семьи управляющего палатой государственных имуществ В. Е. Круковского и его пресмника на том же посту К. Л. Пашенко. Первого из них сам Салтыков рекомендовал своему брату так: «Мой добрейший знакомый, Василий Ефимович Круковский, которому я несказанно обязан тем ласковым и радушным приемом, который он и его семейство мне постоянно оказывают» (XVIII, 77). И еще о нем же: «это весьма хороший человек, который принимает во мне участие и у которого я принят как нельзя лучше» (70—71), «это прекраснейший человек» (74)

и т. п. Но мы ничего более не знаем об этом человеке, завоевавшем уважение и привязанность Салтыкова, кроме того, что прежней службой и воспитанием он был связан с Петербургом и принадлежал к образованной верхушке вятского чиновничества.

Что касается К. Л. Пашенко, также петербуржца, служившего в столице чиновником особых поручений при министре государственных имуществ гр. Киселеве, то Салтыков настолько сблизился с ним и его семьей, что даже намеревался в 1854 году перейти к нему на службу и таким образом переменить ведомство (но для этого существовали, как было упомянуто, и более принципиальные основания). «Михаил Евграфович, — овидетельствует Л. Спасская, — постоянно посещал супругов Пашенко, из которых он очень ценил жену, чрезвычайно добрую женщину...» Это указание интересно тем, что жена Пашенко, отчасти способствовавшая, как увидим, освобождению Салтыкова, была старой знакомой Н. Н. Пушкиной и могла служить для Салтыкова источником некоторых сведений о жизни великого поэта.

В семье Пашенко Салтыков познакомился с начальником вятской окружной палаты государственных имуществ К. К. Марниц. «Мой величайший приятель», — отозвался о нем Салтыков в одном из писем к брату (XVIII, 114). Но едва ли этот отзыв, сопровождавший просьбу об устройстве одного дела, важного для Марница, не являлся обычным в таких обстоятельствах рекомендательным преувеличением. Во всяком случае никакими данными, подтверждающими «величайшее приятельство» Салтыкова с этим человеком, мы не располагаем.

В архиве Л. Ф. Пантелеева сохранилось адресованное ему письмо некой Марии Николаевны Молдавской, посланное 19 августа 1888 года из сельца Озеро близ города Яранска Вятской губернии. Письмо проникнуто чувством глубокой любви и уважения к великому сатирику — «блестящему светочу нашей родной литературы». Обращаясь к Л. Ф. Пантелееву, человеку ей лично незнакомому, с просьбой известить ее о состоянии здоровья писателя, о котором «душа болит», М. Н. Молдавская пишет: «Ведь Михаил Евграфович — общее достояние и гордость всех мыслящих людей России, а мы когда-то во время его пребывания в Вятке имели счастье считать его в числе своих

хороших знакомых, — нам, значит, дорог он вдвойне»<sup>48</sup>. Но и об этом знакомстве Салтыкова мы ничего не знаем.

Наиболее длительные, устойчивые и вместе с тем дружеские отношения установились у Салтыкова с семьей местного врача Николая Васильевича Ионина — с ним самим, его женой Софьей Карловной и отцом последней К. К. фон Людевиг. Дочь Ионина, Л. Спасская, сообщает в своих воспоминаниях: в течение всех лет пребывания в Вятке Салтыков «был, можно сказать, ежедневным посетителем дома моих родителей, относился к ним с полным доверием и откровенностью и, возвратившись в С.-Петербург, долго поддерживал переписку с моим отцом». Переписка до нас не дошла (письма Салтыкова сгорели при пожаре в 1895 году), но известно, что прекратилась она только в 1871 году, после выхода в свет «Истории одного города». Вятский приятель Салтыкова взглянул на нее глазами Суворина (имеем в виду его известный отзыв в «Вестнике Европы»). Усмотрев в знаменитой сатире «издевательство» над русской историей, он, по свидетельству Л. Спасской, прекратил свои эпистолярные сношения с Щедриным. Этот эпизод дает представление о том, насколько идейно чужды были друг другу эти люди. Правда, сближение их, возникшее в то время, как Ионин лечил серьезно болевшего в Вятке Салтыкова, окрепло, видимо, на почве некоторых общих духовных интересов, но, как замечает Спасская, в «истинную сердечную дружбу» оно не перешло. С Иониным и Людевигом Салтыков, по словам Спасской, «очень любил побеседовать». К сожалению, мемуаристка особенно скупа именно в этой части своих воспоминаний и, кроме «Записок» Семена Порошина (воспитателя Павла I), не указывает других тем происходивших бесед и споров. Зато она ярко и правдоподобно воссоздает их внешнюю картину, в которой виден будущий Щедрин с его горячей страстностью в спорах, крайней вспыльчивостью и раздражительностью и вместе с тем с искупавшей их быстрой отходчивостью. «Умный, интересный и остроумный собеседник, — пишет Спасская, — Михаил Евграфович не мог выносить противоречий и в споре терял всякое самообладание и выходил из себя. Сейчас же хватался он за шапку и убегал, бормоча про себя: «Ну и чорт с вами! нога моя больше не будет в этом проклятом доме!» и тому подобное. Но не проходит и полчаса, как смущенная физиономия Михаила Евгра-

фовича показывается из-за двери, и он спрашивает с виноватой и робкой улыбкой: «Ну что, вы очень на меня сердитесь? Ну, ради бога, не сердитесь! Простите же меня! Чем я виноват, что у меня такой проклятый характер?»<sup>49</sup>

В доме Иониных Салтыков познакомился с Александром Петровичем Тиховидовым — учителем местной гимназии, единственным, повидимому, человеком, которого можно с некоторым основанием назвать товарищем и другом Салтыкова в Вятке.

Воспитанник филологического факультета Казанского университета (ученик проф. К. К. Фойгта), Тиховидов преподавал в вятской гимназии (1845—1850 гг.) русскую литературу. Его ученик М. М. Синцов пишет о нем: «У А. П. Тиховидова пришлось, к сожалению, учиться весьма недолго, но и в это время он внушил нам любовь к отечественной литературе, нередко читая нам в классе даже поэмы Пушкина и места из Гоголя». В воспоминаниях профессора Казанского университета Я. С. Степанова, также учившегося у Тиховидова, находим и литературный портрет вятского приятеля Салтыкова: «Смуглый, выше среднего роста, с резкими южными чертами и большими черными глазами, остроумный, красноречивый и охотник состричь, на чужой счет (его громкий раскатистый смех часто слышался в перемену из учительской сборной комнаты), несомненно, очень талантливый и очень умный человек, — Тиховидов был, однако, довольно ленивым учителем». Любивший более всего чтение, следивший за петербургскими и московскими журналами, Тиховидов сам был несколько причастен к литературно-научной работе. Он был сотрудником неофициальной части местных «Губернских ведомостей», хотя и не особенно усердным (статьи и заметки по диалектологии и фольклору края). Его «Сборник слов вятского наречия» был напечатан в составе «Областного словаря», изданного Академией наук. Известно, далее, что он долго собирал материалы для работы, посвящей несколько странное заглавие: «Путешествие русской литературы по чужим краям в историческом развитии», — но о содержании и судьбе этого труда мы ничего не знаем<sup>50</sup>.

Педагогика не являлась, очевидно, призванием Тиховидова и тяготила его. После пятилетнего учительства он в 1850 году вышел в «гражданскую» службу (в чем вятчане видели воздействие Салтыкова), заняв должность уезд-



ного судьи в Яранске, в 1858 году состоял советником вятской судебной палаты, потом был управляющим палатой государственных имуществ, наконец, вместе с Салтыковым, а возможно и по его рекомендации, служил в Пензе, где и умер в 1865 году.

Чтобы исчерпать имеющиеся в нашем распоряжении материалы о Салтыкове и Тиховидове, приведем эпизод, рассказанный в воспоминаниях И. Михайлова «Щедрин как чиновник», появившихся в августовских номерах «Казанского биржевого листка» за 1889 год, то есть вскоре после смерти писателя (ср. перепечатку в «Одесском листке», 1889, № 204).

«Назначенный <...> губернатором в Вятку, Муравьев, сын знаменитого Муравьева — виленского генерал-губернатора, — сообщает Михайлов, — прочитав «Очерки» Щедрина, перед отъездом в Вятскую губернию, захотел лично познакомиться с автором и первый сделал ему визит, с намерением разузнать об этом крае. У кого же и было получить самые точные сведения?

— Скажите, пожалуйста, — спросил он Салтыкова. — Вы описали такой край, таких людей, что, отправляясь туда, страшно делается. Да есть ли там хоть один человек, с которым по-человечески можно было бы поговорить?

— Есть и там.

И Салтыков указал на некоторых и, в особенности, на А. П. Тиховидова, воспитанника Казанского университета, бывшего учителя вятской гимназии, где он преподавал две странные науки: риторику и пиитику. Эти две науки, в особенности первая, притупили много дарований, ослабляя мысль и развивая пустое фразерство... Заметив в Тиховидове выдающиеся способности, Салтыков посоветовал ему оставить преподавание искусства, как из песка веревки вить, и поступить в гражданскую службу. Салтыков имел в виду улучшить состав служащих в губернии...»

Трудно сказать, в какой мере достоверно то, что сообщает И. Михайлов. Мы не располагаем никакими биографическими сведениями об этом человеке и не знаем, когда и как он был связан с Салтыковым. Но анализ его мемуарного очерка, в сопоставлении с тем, что было известно о вятском периоде биографии сатирика в 1889 году, с несомненностью устанавливает, что сообщенные Михайловым факты восходят либо к его личным воспоминаниям (вятского сослуживца Салтыкова?), либо к позднейшим рассказам самого Щедрина или близко стоявших к нему людей. И в том и в другом случае это заставляет признать за воспоминаниями Михайлова известную биографическую ценность, несмотря на недостоверность ряда сообщаемых в них фактов.

Как бы то ни было, но имя Тиховидова, несомненно, должно быть выделено среди вятского окружения Салтыкова. Это было одно из немногих его знакомств, в какой-то мере отвечавшее его духовным запросам. Одно из немногих, но все же не единственное.

Говоря, со слов сатирика, о полном почти отсутствии интеллигентных людей в Вятке, Белоголовый делает исключение для «нескольких сосланных поляков, с которыми хотя Салтыков и был знаком, но не коротко». Это указание остается пока не раскрытым и не подтвержденным документально, но правдоподобность его не внушает сомнений. Если не в самой Вятке, то в уездных городах Вятской губернии большинство сосланных в пятидесятые годы было связано ранее с польским национально-освободительным движением. Среди них были и ветераны ссылки, попавшие сюда после разгрома польского восстания 1830—1831 годов. Эти люди, естественно, могли вызывать интерес Салтыкова.

Характеризуя круг знакомств Салтыкова в период ссылки, нельзя ограничиваться лишь одной Вяткой. Во время своих многочисленных разъездов по огромному краю Салтыков и в каком-нибудь «диком городе Кае» мог находить и действительно находил людей, вызывавших у него пристальный интерес, удовлетворявших его потребности в художественно-реалистическом «изъятии интересного из жизни» (Герцен).

Иллюстрировать сказанное можно, например, следующим. В одном письме Салтыкова из Вятки (от 6. X. 1851) упомянуты фамилии двух купцов — Ижболдина из Сарапула и Шишкина из Елабуги. Салтыков в качестве советника губернского правления разбирал одно спорное дело между ними. Дело доходило до сената, и Салтыков ввиду этого запрашивал у брата в Петербурге интересовавшие его сведения. Содержание самого дела не представляет для нас интереса. Но во время его разбирательства Салтыков познакомился с обоими купцами и сумел извлечь из общения с ними нечто интересное для себя. Ижболдин, видимо, послужил сатирику моделью для образа «полорецкого» (сарапульского) купца Ижбурдина в очерке «Что такое коммерция?»

Что касается Шишкина, то этот человек, о котором мы до сих пор ничего не знали, имел все основания заинтересовать Салтыкова. Это был отец известного художника

Н. И. Шишкина, даровитый русский самородок, своего рода елабужский «Кулибин», которого постигла обычная при царизме судьба всех русских талантливых людей из народа. Материалы елабужского архива сохранили некоторые данные о нем, небезытересные, в первую очередь, для биографии его знаменитого сына.

Иван Васильевич Шишкин (1792—1872) родился в семье елабужского купца Шишкина-Серебрякова. Грамоту постиг самоучкой. Самоучкой же изучил начала механики. В 1847 году составил проект устройства водопровода в Казани, но безуспешно добивался практического осуществления своего предложения. Написал и издал «Практическое руководство к построению разных мельниц». Наряду с механикой увлекался историческими разысканиями и археологией; отдал много труда изучению прошлого своего края. Поддерживая постоянную переписку с профессором К. И. Новоструевым, он первый обратил внимание на знаменитый Ананьинский могильник и в 1858 году раскопал его. До этого, в 1855 году, он, по просьбе того же Новоструева, вместе с сыном-художником обследовал известное елабужское Чортово городище с остатками древней болгарской крепости, а затем способствовал сохранению ее башни. В 1871 году он издал в Москве первую «Историю города Елабуги» (частично на материалах, собранных его другом священником-историком П. Н. Кульчинским и унаследованных им после смерти последнего).

Занятия Ив. Вас. Шишкина механикой, историей и археологией не способствовали, видимо, его благосостоянию. Из купцов второй гильдии он сначала перешел в третью, а за год до смерти вынужден был вовсе выйти из купеческого сословия и стал елабужским мещанином<sup>51</sup>.

Знакомство с таким человеком могло, разумеется, представлять интерес для Салтыкова. А то, что это знакомство имело место, видно из письма к отцу Ивана Ивановича Шишкина — в то время воспитанника Академии художеств в Петербурге: «Знакомство Ваше с Салтыковым, — писал будущий художник своему отцу 19 октября 1857 года, — очень приятно и интересно. Желательно бы знать, в какой силе оно было и долго ли, — а Салтыков личность знаменитая, а главное, он сразу стал на ряду первых писателей»<sup>52</sup>.

К сожалению, письмо Шишкина-отца, в котором он сообщал сыну о своих встречах с Салтыковым, разы-

сказать не удалось, и, таким образом, история и характер их знакомства пока не ясны.

Следует указать еще на одно, неизвестное ранее, знакомство Салтыкова периода Вятки — с профессором М. Я. Киттары, к работам которого обращался В. И. Ленин в своем труде «Развитие капитализма в России» (В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. 3, стр. 416, примечание).

Модест Яковлевич Киттары (1825—1880) окончил курс в Казанском университете по факультету естественных наук, но всю последующую жизнь проработал в области технологии, кафедру которой и занимал в том же университете с 1850 года вплоть до своего перехода, в 1857 году, в Московский университет, где он приобрел громкую известность. Киттары являлся ярким представителем и едва ли не пионером новой для России чисто буржуазной интеллигенции, сознательно поставившей себя и свою науку на службу нарождавшейся капиталистической экономике в стране. Подлинный кумир сначала приволжско-камских, а затем московских купцов и фабрикантов (по ходатайству последних Киттары и был переведен в Московский университет, для чего там была специально учреждена кафедра технологии), он неутомимо внедрял в их предприятия науку и технику, организовывал капиталистическое производство не только как ученый технолог, но и как экономист, статистик, наконец публицист. В пору своего знакомства с Салтыковым, возникшего, видимо, на почве обмена опытом по организации губернских сельскохозяйственных выставок 1851 и 1854 годов, Киттары, наряду с профессурой, был занят секретарством в Казанском экономическом обществе, деятельности которого он придал большой размах. К этой деятельности Киттары задумал привлечь и Салтыкова, с которым познакомился во время поездки в Вятку в августе 1854 года.

На заседании общества 2 октября 1854 года, происшедшем под председательством знаменитого математика Лобачевского, Киттары предложил избрать Салтыкова в члены-корреспонденты общества, что и было принято. В соответствующем протоколе об этом говорится:

С л у ш а л и... 12) Доклад секретаря Общества <М. Я. Киттары> «Желание доставить О-ву деятельных и полезных членов побуждает меня просить О-во об избрании г. советника Вятского гу-

вернского правления Михаила Евграфовича Салтыкова <...> в члены-корреспонденты <...>».

П о с т а н о в и л и: «По выслушании сего доклада, гг. М. Е. Салтыков <и др.> избраны единогласно в члены-корреспонденты Общества <...>, на каковые звания и постановлено выдать им дипломы с приложением устава Общества»<sup>53</sup>.

Нет сомнения, что по получении диплома Салтыков должен был благодарить Экономическое общество за избрание. Он мог это сделать в письме на имя или президента Общества, или Киттары как его секретаря, или, наконец, Лобачевского как председателя заседания, на котором состоялось избрание. Но соответствующие документы нам неизвестны. Также неизвестно и то, виделся ли Салтыков во время своего пребывания в Казани в марте 1855 года с Киттары, хотя следует думать, что встреча их после недавнего знакомства в Вятке состоялась. Простая вежливость требовала визита Салтыкова к Киттары и как к человеку, проявившему к нему акт общественного и дружеского внимания, и как к официальному лицу — секретарю Общества, членом которого отныне являлся Салтыков.

Что касается самой деятельности Салтыкова в качестве члена-корреспондента Казанского экономического общества, то она ограничилась двумя или тремя посланными им в 1854—1855 годах сообщениями каких-то данных статистического характера. Документы эти, однако, нам не удалось разыскать.

Чтобы исчерпать круг вятских знакомств сатирика, нужно упомянуть, наконец, еще два имени: писателя И. В. Селиванова, пользовавшегося в конце пятидесятых годов, хотя и неосновательно, репутацией «соперника» Щедрина по обличительной литературе, и украинского поэта А. А. Павроцкого. Оба они находились в одинаковом положении с Салтыковым: были сосланы Николаем I на службу в Вятку «за превратный образ мыслей», выразившийся в их литературных сочинениях и в частной переписке.

Селиванов пострадал, в частности, за письмо, посланное им в 1848 году из-за границы (из Дьеппа) к своему пензенскому приятелю А. А. Тучкову. Письмо попало в руки жандармов в феврале 1850 года при одновременном аресте Тучкова, Огарева и Сатина (арест был отголоском дела петрашевцев)<sup>54</sup>. Человек, побывавший в револю-

ционной Франции 1848 года, не мог не интересоваться Салтыковым. Селиванов пробыл в Вятке десять месяцев, считая с марта 1850 года. Он занимал, как прежде Салтыков, должность старшего чиновника особых поручений при губернаторе. Не познакомиться с ним Салтыков не мог.

Навроцкий, отбывая вятскую ссылку с 1847 по 1858 год, служил земским судьей в Елабуге. И с ним Салтыков, хотя бы по службе своей, не мог не познакомиться, когда посещал этот город. Но никакими документальными свидетельствами общения трех писателей в Вятской ссылке пятидесятих годов мы пока не располагаем.

Таким образом, и в «непотребной» Вятке «нашлись люди», которые приобрели уважение и привязанность Салтыкова или просто заинтересовали его в том или ином отношении. Но подлинной дружбы, опиравшейся не только на бытовые связи, но и на общность идейных запросов и интересов, Салтыков в Вятке не нашел.

## ФАКТЫ ЛИЧНОЙ БИОГРАФИИ

«Жизнь для меня приготовила не много сладкого: лучшие годы проведены в Вятке».

*Из письма Салтыкова к брату  
от 13 октября 1855 года.*

Когда однажды (это было уже в восьмидесятых годах) Л. Ф. Пантелеев обратился к Щедрину с просьбой «сообщить основные биографические факты», относящиеся к пребыванию сатирика в Вятке, тот «сердито» ответил: «Какие же биографические факты могли быть у меня в Вятке? Я там служил, но не писал».

В этом ответе сказался, прежде всего, просветительский идеализм Щедрина. Вознося литературу и писателя так высоко, как он их возносил в семидесятые — восьмидесятые годы, сатирик склонен был вычеркивать из своей жизни, как ее пустоцветы, годы, которые не были всецело отданы служению литературе. Недаром он говорил В. М. Лазаревскому: «Моя биография — это мои произведения».

Но существовало и два других источника для таких оценок. Первый заключался в том, что Салтыков полно-

стью освободился от разделявшей им в молодые годы перы в прогрессивные возможности «честной и просвещенной службы» в аппарате царизма. Теперь этот этап его биографии не то что осуждался, а как бы смешался им с генеральной линией своей жизни: «О времени моей службы я стараюсь забыть, и Вы ничего о ней не печатайте», — говорил Щедрин М. И. Семевскому в 1882 году.

Второй источник восходил к сложившемуся у Салтыкова общему взгляду на так называемую личную биографию. В рецензии 1871 года на известные «Записки Е. А. Хвостовой», содержавшие много фактов и подробностей личной жизни Лермонтова, Щедрин писал: «...материалы эти изображают нам Лермонтова-офицера, члена петербургских, московских и кавказских салонов, до которого никому из читателей, собственно, нет дела, но о том, какой внутренний процесс, при столь обыденной и даже пошловатой обстановке, произвел Лермонтова-художника — материалы даже не упоминают» (VIII, 417).

Право на внимание к интимному, личному заслуживали в глазах Щедрина лишь те элементы этого личного, которые в той или иной форме были сознательно поставлены на службу общему, были связаны с общественной деятельностью человека. Для Щедрина такой деятельностью была литература, просветительски-преувеличенно рассматривавшаяся им как некая высшая форма социальной практики. Он и признавал поэтому право на общественное внимание к себе только как к писателю. Но и это право сатирик жестко ограничивал своей органической неприязнью к возведению писателей-современников на прижизненные пьедесталы славы и похвал.

В 1876 году критик Скабичевский в одной из своих статей назвал Щедрина «одним из народных и вместе с тем общечеловеческих сатириков, вроде Рабле, Мольера, Свифта, Грибоедова и Гоголя», то есть высказал мысль, ныне общепризнанную. Прочтя такую оценку, Салтыков пришел в крайнее раздражение и разразился, по-щедрински, гневной и резкой тирадой по адресу автора. «В одном из полученных сегодня №№ «Биржевых ведомостей», — сердито писал он Некрасову, — я получил удар обухом по голове в виде панегирика Заурядного читателя... <псевдоним Скабичевского>, который сделает меня притчею во языцех. Читая эту бесстыдную глупость,

я очутился в положении той б., которая говорила: хорошо бы пожить, как другие живут» (XVIII, 359).

Хвалить Щедрина было опаснее, чем ругать. На злобу, брань и клевету своих многочисленных врагов он умел отвечать презрением молчания. Но похвалы друзей, казавшиеся ему чрезмерными и нескромными, почти всегда вызывали у него бурное раздражение и недовольство.

Быть может, ни один из великих русских писателей, предшественников и современников Щедрина, не обладал такой полной внутренней свободой от тайных соблазнов «кумирослужения» себе, как он. Тут он был прямым предшественником Чехова и Горького. Недаром и тот и другой, каждый по-своему, столь высоко оценивали не только творчество сатирика, но и созданный им в самой жизни, в своей собственной биографии, новый социально-психологический тип писателя.

Осуществленная Щедриным морально-идеологическая демократизация писательского типа принадлежит к числу замечательных достижений его жизни и деятельности, хотя, однако, счастья полного воплощения созданного им в теории типа «кровного литератора» Щедрин не знал. Демократическое единение «убежденного писателя» с «читателем-другом», к чему, в первую очередь, так стремился сатирик, было неосуществимо в ту эпоху. Не менее драматическим был и прошедший через всю биографию Щедрина разрыв между его идейной жизнью и реальными условиями его личного быта. Щедрин очень остро ощущал этот разрыв, но преодолеть его не мог.

Тем сильнее давала себя знать в поздние годы, в годы подведения жизненных итогов, психологическая потребность «опустошать, — по выражению Горького, — душу от личной биографии». Эта потребность и диктовала сатирику утверждения, вроде приведенного выше, о полном отсутствии «биографических фактов» в его вятской жизни — утверждения, которые отнюдь не следует понимать буквально.

Все сказанное достаточно уясняет ту точку зрения, с которой Салтыков воспринимал и оценивал впоследствии обстоятельства своей личной жизни в Вятке.

В этюде «Счастливец» Щедрин так вспоминал о годах ссылки: «Целых восемь лет я вел скитальческую жизнь



и глухом краю. И возлежал на лоне у начальника края, и был отметаем от оного; был и украшением общества, и заразою его; и удачи, и невзгоды — все испытал, что можно испытать на страже обязательной службы, среди не особенно брезгливых по служебной части коллег. Конца этому положению я не предвидел. Сначала делал некоторые попытки, чтобы высвободиться, но чем дальше шел вглубь, тем более и более обживался. Даже солонину и огурцы солил впрок и вообще зажил своим домом, хотя был совсем одинок. И теперь вспоминаю об этом времени с каким-то сомнением, действительно ли оно было» (XVI, 696).

Обширный фактический комментарий к этой художественно-автобиографической зарисовке дают вятские письма Салтыкова к брату Дмитрию Евграфовичу и многократно цитированный уже мемуарный очерк Л. Спаской из «Памятной книжки Вятской губернии» на 1908 год, составленный отчасти по воспоминаниям ее родителей Иониных, близко знавших писателя в те годы.

Оба источника — эпистолярный и мемуарный, — взаимно корректируя друг друга, воссоздают достаточно полную картину материально-бытовых условий жизни Салтыкова в Вятке. Эти условия вполне соответствовали его социальному положению. Как дворянин, сын богатых помещиков, к тому же с лицейским образованием, и как крупный (для провинции) чиновник — советник губернского правления, Салтыков принадлежал к верхам местного общества.

Его бюджет, складывавшийся из двух равномерных «жалований», получаемых по службе и от матери, равнялся к концу пребывания в Вятке 3000 рублей серебром в год<sup>55</sup>. В Петербурге в 1844—1848 годах он получал раза в два-три меньше. Жизнь же в Вятке по сравнению со столицей была очень дешева.

Поэтому ни о какой действительной материальной нужде Салтыкова в годы ссылки не могло быть и речи даже и в первое время, когда он, не получая казенного жалованья, жил только на средства, присылаемые из дому. И все же в своих письмах из Вятки Салтыков то и дело жалуется: «Несмотря на кажущуюся щедрость маменьки, я весьма часто сижу по целым месяцам без гроша», — пишет он в августе 1850 года; «Я решительно бедствую: с сентября месяца и по сие время маменька

не высылает мне ни копейки, и я влез по уши в долги» (январь 1851 г.); «...как я нуждался в Петербурге, так и здесь нуждаюсь постоянно... шинельки, пальтишки нет — бедность страшная» (февраль 1851 г.) и т. п.

Не следует, конечно, понимать эти заявления буквально. Салтыков действительно по временам остро нуждался в средствах. Но нуждался-то он, во-первых, оставаясь все же в условиях достаточно высокого материального уровня жизни, а во-вторых, в силу ряда приводящих причин, но не бедности как таковой.

О бытовой стороне жизни Салтыкова в Вятке дают представление такие, например, факты. Его квартира (с 1851 года) занимала целый небольшой особнячок. К приехавшему с ним вместе крепостному дядьке Платону, неразлучному опекуну детских и юношеских лет сатирика, скоро прибавился камердинер, тоже крепостной человек, а затем еще вольнонаемные кухарка и кучер, поскольку Салтыков обзавелся экипажем и парой лошадей. Таким образом, в конце своего пребывания в Вятке его «хозяйство» состояло из пяти человек.

«Страстишка пофрантить», в которой сатирик признавался Л. Ф. Пантелееву, заставляла Салтыкова заказывать себе туалеты исключительно в Петербурге, притом у самых дорогих портных и обувщиков. «Я крайне был бы сконфужен, — писал он брату, — ежели бы мне пришлось франтить с помощью вятских портных» (XVIII, 96). Даже недовольство «грозной маменьки» на такое «мотовство» не служило тут препятствием: «Сделай милость, внуши маменьке, — просил Салтыков брата, — что мои издержки на одежду весьма невелики и что в течение почти двух лет, как я здесь, я сделал себе только фрак, вице-мундир, сюртук, три жилета и трое брюк; я думаю, нельзя менее носить платья, если не хочешь ходить, как Адам» (XVIII, 49).

«Гостеприимный и радушный, Салтыков, — по словам Спасской, — любил пригласить к себе приятелей пообедать» и «не жалел средств на хороший стол и, особенно, вина». Обеды эти устраивались регулярно, составляя, вероятно, не малую статью расхода в бюджете Салтыкова.

Ко всему этому нужно добавить хозяйственную неумелость Салтыкова в своем собственном материальном быту, столь огорчавшую его мать, Ольгу Михайловну. Неприязнь к житейской мудрости «мелочей жизни» всегда

была присуща ему. Недаром разоблачение этой «философии» бытового благополучия явилось одной из главных тем всего творчества Щедрина. И вместе с тем собственная непрактичность доставляла всегда искренние огорчения Салтыкову, вызывала чувство досады на себя. Так и теперь, в Вятке, он с сокрушением писал брату: «У меня, видно, таланта нет на это» и, дальше, — полушутя, полусерьезно: «Я признаюсь, не знаю и не понимаю, как другие люди живут, я все рассчитываю, что когда-нибудь получу миллион в наследство от какого-нибудь икса, которому некуда будет девать деньги» (XVIII, 75).

Среди причин, вызывавших порою материальные затруднения Салтыкова в Вятке, имелись еще две, представляющие интерес для характеристики родственных отношений, существовавших в семье сатирика. Одной из этих причин была необходимость выплачивать старые, еще до ссылки сделанные, а также новые долги брату Дмитрию Евграфовичу. Из дошедших до нас писем и документов не видно, чтобы Дмитрий Евграфович — этот прототип будущего Иудушки Головлева — хотя бы раз предложил своему находящемуся в ссылке брату длительную отсрочку или, тем более, прощение долга. Видимо, наоборот, он «по-родственному» настолько допекал Салтыкова своими напоминаниями кредитора, что последнему приходилось обращаться к помощи матери, и та действительно раз или два погашала какие-то части долга.

Вторая причина заключалась в начавшихся с 1851 года длительных задержках в присылке денег из дому. И так как эти задержки начались с момента определения Салтыкова на должность советника губернского правления, то он выдвинул такую гипотезу для объяснения столь внезапно возникшей беззаботности родителей в отношении его материального обеспечения: «Я полагаю, — писал он брату, — что они думают, что я как советник должен иметь посторонние доходы; если это так, то они ошибаются, потому что никогда рука моя не осквернится взыточничеством» (XVIII, 69).

Салтыков вряд ли был далек от истины. Однако удивляться тут нечему, за исключением разве меры непонимания и незнания родителями своего сына. Для них же самих, как и для большинства современников, взятка была не только привычным, но и естественным явлением тогдашнего чиновничьего быта.

Материальная зависимость от родителей, собственно от матери, тяготила Салтыкова. «Даст бог, я и совсем, может быть, освобожусь от их денег», — писал он брату в январе 1851 года. (XVIII, 69). До практических решений дело, однако, сейчас не дошло. Слишком велика была сила привычки к обеспеченному быту, сохранить который одним жалованьем было бы невозможно. Но в отношении неопределенного будущего сделать шаг к такой независимости было легко. И Салтыков сделал этот шаг. В 1852 году, после смерти отца, он по просьбе матери подписал документ, которым отказывался от полагавшейся ему по закону наследной части в родовом отцовском имении в пользу старшего и младших братьев<sup>56</sup>. Правда, мать обязывалась в будущем удовлетворить его из своего состояния. Но обязательство это силы закона не имело. Хорошо зная, что за человек его мать, Салтыков и не питал особых иллюзий в отношении этого «джентльменского соглашения». Ставя свою подпись под отказом от наследства, он тогда же писал брату Дмитрию: «хотя маменька теперь и любит меня, сколько я вижу из обращения ее со мною, но тем не менее на свете многое переменчиво, и бог знает, если любимые не сделаются со временем нелюбимыми и наоборот. Однако ж, так как я молод, то я соглашаюсь без всякой задней мысли» (XVIII, 59).

Для морально слабой натуры такая внеформальная имущественная зависимость была бы еще худшей и внутренне более опасной формой кабалы. Предусмотренное законом «наследование» превращалось в «благоденствие» Ольги Михайловны и тем самым ставилось в зависимость от степени «послушания и почтительности» сыновей, как об этом прямо и говорилось в ее письмах. Но Салтыков настолько идейно вырос и окреп, что для него уже не существовало опасности быть втянутым в соревнование родственного лицемерия и послушания ради получения «маменькиных капиталов». Иллюстрацией тому служит та самостоятельность, которую вскоре же проявил Салтыков в решении вопроса об устройстве своей семейной жизни.

В 1850 году Ольга Михайловна известила сына о «своем желании» видеть его женатым. Вскоре Салтыков узнал и о выбранной для него матерью невесте. Это была дочь богатых тверских помещиков Стромилых, к тому же их единственная наследница. Запроектированный брак

преследовал помещичье-«династические» цели — имущественного округления предназначавшегося для Салтыкова ермолинского имения и получения им крупного денежного приданого.

В лексиконе Ольги Михайловны слово «желаю» значило «п р и к а з ы в а ю»; отклонение желаний детьми было равносильно их «ослушанию» и «непочтительности». Салтыков превосходно знал деспотическую натуру своей «маменьки». Он понимал, что, не покорясь ей в вопросе, который она «так хорошо обдумала и обделала» и которому придавала большое значение в своих деловых планах, он рискует конфликтом с далеко идущими для него последствиями имущественного характера. Но он понимал также, что подчинение желанию матери отбросило бы его обратно в «пошехонский мир», в ту «страну отцов», идейный исход из которой представлялся ему одним из наиболее значительных итогов пройденного жизненного пути.

Салтыков без колебаний и в категорической форме отверг предложение матери. «Я отвечал ей, — известил он брата, — что никогда не думал жениться и что, напротив того, имею твердое намерение остаться холостым» (XVIII, 63). И затем о вторичном предложении: «Я удивляюсь, что за охота и думать об этом, потому что я решительно заранее отказываюсь от всех Стромилловых и компании» (XVIII, 64).

Как и следовало ожидать, такое «ослушание» не прошло Салтыкову даром. Ольга Михайловна выразила свое недовольство тем, что написала сыну в начале 1851 года «грозное письмо», в котором заявляла, что ей «тягостно хлопотать об его освобождении. И она действительно прекратила на время всякие хлопоты (см. об этом ниже).

Конфликт с матерью вскоре расширился и углубился. Причиной этому явилась та самостоятельность, с которой Салтыков, пренебрегая желаниями и расчетами матери, сам решил вопрос об устройстве своей семейной жизни. Осенью 1853 года он просил у вятского вице-губернатора А. П. Болтина руки его дочери Елизаветы, но так как последней едва минуло 15 лет, то получил разрешение возобновить предложение через год. Делая этот шаг, Салтыков, правда, не пренебрег предварительно заручиться «согласием маменьки», о чем дважды упоминает в письме к брату. Но из писем самой Ольги Михайловны видно, что она была решительно против этого брака. Ее

формальное «согласие» оказывалось в этих условиях весьма сродни тому «позволению», которое дал своему оставленному потом без куска хлеба и застрелившемуся сыну Иудушка Головлев: «Хочешь жениться — ну, и Христос с тобой! женись, мой друг, хоть на Лидочке, хоть на разлидочке — я препятствовать не могу... Ну, а насчет последствий — не погневайся!» (XII, 157).

Недовольство матери вызывало, собственно, лишь одно обстоятельство: девушка, которую полюбил ее сын, была бесприданница. «У невесты моей ничего нет, — сообщал Салтыков брату, — но я полагаю, что маменька, по любви ко мне, не будет мне препятствовать, тем более, что я совершенно уверен в своем счастье» (XVIII, 114). Однако надежды эти не оправдались. Целых два года пыталась Ольга Михайловна расстроить предполагавшийся брак. Она не остановилась даже перед попытками поощрять поступление Салтыкова в ополчение, собравшееся для похода под Севастополь, в расчете, что длительная разлука с невестой и новые впечатления сами по себе ликвидируют намечавшийся союз. Возможно даже (в ее письмах есть намеки на то), она пыталась воздействовать в нужном ей направлении и на родителей невесты. Аргументами могли быть указания на материальную необеспеченность Салтыкова и на безнадежность его освобождения из Вятки, откуда сами Болтины в 1853 году переселились во Владимир. Во всяком случае в 1854 году Салтыков по каким-то причинам не получил от родителей невесты обещанного ему год назад согласия на брак, хотя ему и не было отказано. «Дело о моей женитьбе, — писал он с огорчением брату в июле 1854 года, — все в одном и том же положении, т. е. ни взад, ни вперед... Всею причиною мое несчастное положение в Вятке» (XVIII, 111). И только лишь в апреле 1855 года, во время специально предпринятой им поездки во Владимир, Салтыков добился окончательного согласия на свой брак от Болтиных. «Я успел получить согласие девочки, о которой уже два года постоянно мечтаю», — известил он брата 3 мая 1855 года (XVIII, 115).

Но как только упорство и настойчивость Салтыкова восторжествовали, он сразу же почувствовал, что отношение матери к нему резко изменилось. «Она сделалась крайне холодна ко мне, — пишет он брату в октябре 1855 года, — и ты можешь себе представить, что при пред-

стоящей мне семейной жизни обстоятельство это вовсе не ободрительно. Очевидно, что ей не нравится моя женитьба» (XVIII, 120). И еще, в другом письме: «Ее <мать> тяготит моя свадьба тем, что за Лизой ничего нет. Что же мне делать с этим: видно, уже таков мой жребий» (XVIII, 119). И Салтыков, понимая, что конфликт с матерью, у которой слово никогда не расходилось с делом, грозит предоставить его в материальном отношении самому себе, готовится мужественно встретить свое новое положение. «Я должен буду, — пишет он брату в мае 1855 года, — устраивать свое маленькое хозяйство сам... Не знаю, не будет ли мне тяжело жить вдвоем при моих ограниченных средствах; знаю только, что до бесконечности люблю мою маленькую девочку и что буду день и ночь работать, чтобы сделать ее жизнь спокойною» (XVIII, 115).

А когда после свадьбы, состоявшейся уже после освобождения из ссылки (6 июня 1856 года), Салтыков переехал с женой в Петербург, что было встречено родными с откровенным неудовольствием, и принялся служебным и литературным трудом зарабатывать необходимые средства к жизни, мать не могла скрыть своего злорадства по поводу трудного положения сына и злобного раздражения против невестки-бесприданницы: «Вот ворона-то залетела в барские хоромы, — писала она Д. Е. Салтыкову, — ну да, работай, пиши статьи, добывай деньги ради барыни» (XVIII, 21). Так писала о своем сыне — авторе читавшихся тогда всей грамотной Россией «Губернских очерков» — одна из богатейших помещиц в ответ на еще более злорадные сообщения Дмитрия Евграфовича о материальных затруднениях брата.

Такова была к исходу пятидесятых годов эта семья, между членами которой не было уже ничего заслуживающего названия родственного чувства или простой человеческой симпатии и теплоты. Такова была та социальная среда исторически умирившего и разлагавшегося дворянско-крепостнического быта, которую нужно было преодолеть Салтыкову, чтобы подняться на высоты человеческой культуры и своего великого творчества.

Самостоятельность и твердость, проявленные Салтыковым при решении вопроса о своей личной судьбе, означали в плане идейного движения в его биографии значительный шаг вперед. Его женитьба — внешняя биографи-

ческая вежа, по которой определяется момент достижения сатириком своего внутреннего освобождения от всевластной опеки матери и от подчинения своей жизни требованиям семьи. Не следует только забывать, что полнота этого освобождения от «фаталистических связей крови» смогла быть достигнута и прочно закреплена лишь потому, что Салтыков по возвращении из ссылки сразу же приобщился к начинавшемуся в стране мощному демократическому подъему шестидесятых годов.

Семейный конфликт 1853—1856 годов завершился, таким образом, моральной победой Салтыкова. Таково одно биографическое значение этого события в его личной жизни. Необходимо сразу же указать и на другое его значение. Женитьба не дала сатирику личного счастья, во всяком случае длительного. Наоборот, она принесла ему много горечи и страданий. Щедрин пережил тяжелую драму одиночества, «оброшенности» в своей собственной семье — драму, едва не закончившуюся в последние годы его жизни катастрофой.

Все это, однако, было далеко впереди. Связывая свою жизнь с 15—16-летней Лизой Болтиной, Салтыков был, разумеется, уверен в своем будущем счастье. О невесте своей и ее семье он писал брату в 1855 году, когда Болтины, покинув Вятку, уже жили во Владимире: «Я к семейству Лизы привязался, как к родному, еще в Вятке, когда Лиза была не более как маленькая девочка; в нем меня приласкали, как сына; это семейство доброе, хоть и бестолковое, потому что все они как-то не умеют жить и существуют со дня на день; думаю, что я буду счастлив, потому что Лиза добрая и неприхотливая девочка. На днях она прислала мне портрет свой, и я был безмерно счастлив» (XVIII, 119).

В неизданных воспоминаниях владимирского земляка Болтиных, известного впоследствии социолога Владимира Ивановича Танеева, знакомого и корреспондента Карла Маркса и человека, близкого к Щедрину в семидесятые годы, находим следующую характеристику семейства невесты сатирика, относящуюся как раз к периоду его жениховства:

«На место Муравьева был назначен новый вице-губернатор Болтин, немолодой, но веселый, беззаботный, живой, кутила с седыми волосами, выкрашенными в хорошую белокурую краску. Семейство его состояло из жены, прелестной тридцатидвухлетней жен-



щины, которая казалась несравненно моложе своих лет, и двух дочерей-близнецов, пятнадцатилетних девушек, которые носили уже длинные платья и держали себя, как взрослые. Они были необыкновенно изящны. Никогда я не видел двух человеческих существ, более гармонизировавших между собою. Одна была несколько красивее, другая умнее. Старшую — она родилась часом или двумя раньше — звали Лизой, младшую — Анной. Описывая их в одном из своих очерков, даже суровый циник Салтыков возвышается до истинной поэзии»<sup>67</sup>.

Танеев, несомненно, имеет здесь в виду следующие лирические строки из щедринского автобиографического отрывка «Скука» («Губернские очерки»):

«Но отчего же вдруг будто дрогнуло в груди моей сердце, отчего я сам слышу учащенное биение его?

Там, вдали, вижу я, мелькают два серенькие платица.

...Боже! да это они, мои девочки, с их звонким смехом, с их непринужденной веселостью, с их вьющимися черными локонами! Как хороши они, и сколько зажгли сердец, несмотря на свои четырнадцать только лет... Но в особенности вы, моя маленькая, миленькая Бетси, вы, радость и утешение всего живущего, волнуете всю кровь в молодом человеке, изо всех сил устремляющемся к вам... То была первая, свежая любовь моя, то были первые сладкие тревоги моего сердца! Эти глубокие серые глаза, эта кудрявая головка долго смущали мои юношеские сны. Все думалось: «как хорошо бы погладить ее, какое бы счастье прильнуть к этим глазкам, да так и остаться там жить!» (II, 235).

Уверенность Салтыкова в своем будущем счастье проистекала не только из обычных переживаний человека, который полюбил. Он был убежден, что ему удастся построить свой семейный союз на фундаменте более прочном, чем стихийная, слепая страсть.

В сложную область человеческих чувств Салтыков всегда (если начинать с его первых юношеских повестей) стремился вносить верховный контроль разума, идеи. Здесь, как и всюду, он был просветителем. Подчинение стихийному, иррациональному всегда означало для него не только унижение человеческого достоинства, но и опасную для общества социальную аномалию. Недаром высшим мерилom осуждения было у сатирика многозначительное для него слово «бессознательность». Это не означает, конечно, что во всей своей личной жизни писатель ни разу не испытал сильного, непосредствен-

ного чувства любви. Такой вывод, к которому пришел в свое время Кранихфельд, не подтверждается фактами биографии сатирика; он упрощает и обедняет его живой образ в угоду тем, по словам Горького, «уныло постным изображениям», которые так любили «всяческие Скабичевские», то есть буржуазно-либеральная и народническая критика<sup>58</sup>. Салтыков был натурой в высшей степени активной, живой, страстной. Именно страстность, а не рефлексия, была присуща решительно всем его переживаниям, включая, разумеется, и область личного чувства. Мы уже говорили, что Салтыков довольно бурно справлял после выхода из лица свой «праздник жизни, молодости годы». То же следует сказать и о Вятке. Он испытал здесь сильное увлечение Натальей Николаевной Середой, женой губернатора, что не осталось тайной для достаточно широкого круга людей, притом не только в самой Вятке<sup>59</sup>. Было здесь пережито и другое чувство — кратковременное, но сильное — к женщине, чье имя мы не знаем. Об этом романе Салтыкова можно судить по художественно-автобиографическому наброску «...Вчера ночь была такая тихая...», относящемуся к периоду Вятки (I, 400 сл.); набросок не был использован в печати, несомненно, в силу своей откровенной автобиографичности.

Одним словом, никаким принципиальным аскетизмом Салтыков вовсе не отличался. Но ему действительно в высшей степени была присуща потребность управлять своими чувствами, предупреждать их опасную гипертрофию, дисциплинировать их контролем разума, а главное — гармонически сочетать их со всей широкой областью жизненной активности и творчества человека. Последнее особенно важно.

Салтыков не признавал за любовным влечением права на наименование «главной человеческой страсти». Он считал, что такое особое выделение не только лишено разумных оснований, но и социально вредно. Тут сатирик опирался на целую выработанную им систему воззрений, восходящую некоторыми своими звеньями к «теории страстей» и «теории гармонии» Шарля Фурье. Характеризовать эти взгляды, являющиеся одной из показательных социалистических сторон общего мировоззрения Щедрина, уместнее при анализе той замечательной критики буржуазной семьи, которую дал сатирик



*Елизавета Аполлоновна Салтыкова  
(рожд. Болтина)*

*С фотографии 1860-х гг.  
Частное собрание*



и своих произведениях семидесятых — восьмидесятых годов: «Благонамеренных речах», «Господах Головлевых» и «Мелочах жизни». Здесь же, для связи с излагаемыми биографическими фактами, следует подчеркнуть лишь одну мысль сатирика: о том, что разумное разрешение человеком вопросов любви, брака, семьи следует искать не на путях «опасного приоритета любовного чувства», а на основе гармонического сочетания последнего со всей широкой областью интересов («страстей») человека.

Несколько цитат покажут, что, усвоив эту мысль еще в конце сороковых годов, Салтыков остался верен ей до конца жизни.

В рассказе «Глава», принадлежащем к числу самых ранних произведений сатирика (1847), герой рассказа Нажимов мучится над разрешением вопроса: «Имею ли я право любить, не теряя своего собственного человеческого достоинства?» Нажимов задает себе этот вопрос вследствие следующего своего рассуждения: «Если... по какому-либо случаю, вся жизненная деятельность человека поглотится в одной только потребности — этот факт уже достаточен для того, чтобы низвести совершеннейшее из созданий на степень низшего организма». Любовь, которая «непомерным развитием своим» заслоняет собою «все другие отправления нравственного организма человека», несовместима с понятием «высшей натуры» человека (I, 198).

Через двадцать лет в одной из статей 1869 года Щедрин писал о тех «недоразумениях», которыми «в особенности богата... та область общественных отношений, которая определяет взаимное положение мужчины и женщины». И вновь, как в сороковые годы, главную причину этих «недоразумений» он усматривает в том, что благодаря уродливому, одностороннему воспитанию общество не дошло даже до серьезной постановки вопроса «о так называемом гармоническом развитии в с е х сил и способностей человека».

Последствием этого является то, что жизнь человека часто «поглощается одной страстью, и счастье или несчастье его становится в прямую зависимость от более или менее благоприятного питания этой исключительной страсти». «Недаром, — продолжает Щедрин, — взаимное влечение мужчины и женщины и донныне, в глазах обще-

ства, представляет страсть по преимуществу, ...тогда как различные фазисы, в которых может находиться всякая другая страсть, встречаются в обществе если не полное равнодушие, то участие весьма умеренное». И в то время, когда все остальные свойства или страсти человека «гложут в бездействии, не полагая таким образом никакого ограничения господствующей страсти, эта последняя с своей стороны подвергается различным искажениям именно вследствие того, что повсюдная ее разлитость привлекла на себя исключительное внимание общества...» (VIII, 382).

И, наконец, в поздней «сказке-элегии» «Приключение с Крамольниковым» (1887) Щедрин, прибегая к вопрошательной форме, следующим образом отмечает глубокий трагизм одной из «мелочей жизни» в современном ему обществе — трагизм семейного начала, не опирающегося на синтез до конца гармоничных, до конца согласованных «страстей-интересов» человека: «Что такое семья? — спрашивает здесь сатирик, — как устроиться с семейным началом? Как сделать, чтобы оно не было для человека египетской язвой, не тянуло его во все стороны, не мешало быть гражданином?» (XVI, 230).

Таким образом, на протяжении всего творчества Щедрина вопросы любви, брака, семьи неизменно рассматривались им как проблемы социальные. Теоретической почвой, на которой формировались такие взгляды сатирика, была, как мы знаем, идеология русских утопических социалистов и просветителей сороковых годов — петрашевцев. Для них вопросы нового оформления быта и новых начал для созидания семьи ощущались остро и привлекали их пристальное внимание. И когда жизнь практически поставила эти вопросы непосредственно перед Салтыковым, он не мог решать их в отрыве от своего миросозерцания.

По несклонности сатирика ко всякого рода личным излияниям, он не оставил нам почти никаких свидетельств о том, как протекал его роман с той, которая скоро стала его невестой, а затем женой. Но в воспоминаниях В. И. Танеева, владимирского земляка Болтиных, хорошо знавшего всю их семью, в том числе и жену Салтыкова Елизавету Аполлоновну, есть фраза, раскрывающая одну необычную особенность этого романа.

Защищая уже в семидесятые годы интеллектуальную репутацию Елизаветы Аполлоновны от чересчур яростных нападок Салтыкова, В. И. Танеев пишет: «Она была вовсе не глупее других женщин своего круга, которые охотно поддерживали и распространяли ее репутацию глупой женщины, завидуя ее красоте. Но Салтыков никогда не мог простить ей неудачи своих педагогических усилий, на нее направленных, которым он с такими надеждами представлялся в пору жениховства и первых лет брака»<sup>60</sup>.

Конкретную иллюстрацию к словам Танеева мы находим в «Материалах» Арсеньева. В них приведены отрывки из рукописи Салтыкова «Краткая история России». Это сочинение было написано в 1853 году и предназначалось для пополнения знаний сестер Болтиных — невесты, Елизаветы, и Анны. Салтыков занимался с ними также русской словесностью<sup>61</sup>, а возможно, и другими предметами. Но слова Танеева следует, несомненно, понимать шире. Своей «педагогикой» Салтыков стремился не просто повысить образовательный уровень невесты. Он хотел направить в определенное русло все ее духовное развитие. Быть может, Салтыкову и удалось кое-чего достигнуть. Любопытно, что позднее, в период жизни в Пензе, жена сатирика даже попала однажды, вместе с ним, в одно из жандармских донесений «о лицах, обращающих на себя внимание правительства». О ней сообщалось в III Отделение, что она «проповедует в обществе безбожие»<sup>62</sup>. Но речь шла только о насмешках Елизаветы Аполлоновны «над дамами, соблюдающими посты и посещающими церкви», и, разумеется, не это курьезное донесение не в меру благочестивого жандарма позволяет судить об общих итогах «педагогических усилий» Салтыкова. Эти итоги были печальны. Девушка-подросток, почти девочка, когда ее узнал и полюбил Салтыков, «радость и утешение всего живущего», Бетси, в его «Губернских очерках» очень скоро развилась в красивую светскую женщину, весьма ограниченную, с вечной заботой о празднике жизни, даже и отдаленно не причастную к тому кругу литературных и умственных интересов, которыми жил сатирик. Ему удалось оторвать ее лишь от родной семьи, собственно от отца, полусумасшедшего спирита-мистика, ненавидимого Салтыковым, но не от

социальной среды и с детства впитанных сословных предрассудков. Просветительские надежды Салтыкова на возможность «перевоспитания» своей Лизы скоро были оставлены. В конце концов он принял ее такой, какой она была. И это обстоятельство наложило заметный отпечаток на биографию сатирика. Созданный Елизаветой Аполлоновной и поддерживаемый ею бытовой «декорум» семейной жизни мало соответствовал положению Щедрина как крупнейшего в семидесятые-восьмидесятые годы писателя и деятеля демократической литературы. О какой-либо общности идейных интересов не могло быть и речи. В этих условиях Салтыков очень скоро почувствовал свое полное одиночество в собственной семье. Но устранить этот разлад своей жизни сатирику не удалось. Несмотря на все видимые, подчас очень резкие и бурные, проявления ненависти и даже презрения к Елизавете Аполлоновне, Салтыков до конца дней сохранил к ней сложное, глубоко противоречивое и одновременно сильное чувство привязанности. Об этом хорошо знали ближайшие друзья сатирика.

Известный врач-клиницист С. П. Боткин писал в 1887 году Н. А. Белоголовому: «Семейная обстановка Мих. Евгр. попрежнему ужасна, она медленно, но верно убивает его, но убрать от него семью или хотя бы Елиз. Апол. — значит убить его сразу»<sup>63</sup>.

Истоки семейной драмы, пережитой Салтыковым, следует искать в безвременье и безлюдье вятской ссылки. И это главный отрицательный ее итог в личной биографии сатирика.

### **В «ФАЗИСЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ БЛУЖДАНИЙ». ИДЕЙНАЯ ЖИЗНЬ И РАБОТА**

«Отделял ли в то время Имярек государство от общества — он не помнит, но помнит, что подкладка, осевшая в нем вследствие недавних сновидений, не совсем еще была разорвана».

*Щедрик. «Мелочи жизни».*

Как ни трудна, при скудости имеющихся источников, задача проникновения в идейную, умственную жизнь сатирика в Вятке — в его психологию, настроения, творческую работу его мысли, — она должна быть поставлена.



Когда-то Амфитеатров, сравнивая испытания вятской ссылки, выпавшие на долю Герцена и Салтыкова, писал:

«Но какая же разница между этими двумя ссылками! Герцен превратил тоску своего изгнания в увлекательный живой роман, полный красивых личных переживаний и настроений — роман, которому мы обязаны прекрасными главами «Былого и дум»... и даже целым написанным романом «Кто виноват?»... Салтыков отбыл свою ссылку в порядке безусловной заурядности: снял служебную ляжку добросовестным и честным чиновником, хотя поневоле, однако, не токмо за страх, но и за совесть... Герцен в Вятке поэтически и философски вглядывался в самого себя и вывел из ссылки многозначительную позу Бельтова, глубокомысленные зачатки теории доктора Крупова и чисто шиллеровскую мечту об этой своей удивительной, далекой Наташе, которая, вскоре затем, сделалась его женою, — тоже в весьма романтическом порядке, с бегством от своей воспитательницы и тайною свадьбою. Ничего подобного не являет нам ссылка Салтыкова. Он прозаически служил, прозаически получал повышения по службе, командировки, особые поручения, писал доклады, отношения; вел дознания и следствия, отличался во всем этом особою исполнительностью и, для заключения прозы, женился, как обыкновеннейший смертный и спокойнейший обыватель, на дочери вятского вице-губернатора, своего прямого начальника по службе. И в творческой наблюдательности то же: одаренный способностью к ней в еще большей мере, чем Герцен, но отнюдь не философ и не поэт, Салтыков обратил ее не на себя самого, а на окружающий мелкий мирок. И вот — гениальным перерождением в «надворного советника Щедрина», сумев поставить себя на место типичного провинциального бюрократа тогдашней новой формации, — он счастливо вывел из Вятки эту грозную исповедь российской обывательщины — «Губернские очерки»<sup>64</sup>.

Буржуазный фельетонист бульварного типа, Амфитеатров, погнавшись за внешней эффектностью своих параллелей-антитез, дал не только упрощенную, верхоглядную, но и глубоко неверную характеристику Герцена и Салтыкова. Но нарисованный им портрет «типичного провинциального бюрократа» и «спокойнейшего обыва-

теля», который лишь таинственным «гениальным пере-рождением» превращается потом в великого Щедрина, представляет для нас определенный интерес. Здесь наиболее отчетливо сформулирован тот искажающий биографию сатирика взгляд либерально-народнической критики на годы его вятской ссылки, который дает себя знать и в некоторых современных работах.

Изменить такое представление нелегко, хотя оно по существу и не соответствует истине. Нелегко потому, что в невольном искажении этой истины в первую очередь повинен сам Салтыков. Именно он, и никто другой, пустил в ход версию, что «растлевающие» влияния Вятки превратили и его на время в «крутогорского обывателя». В немногих дошедших до нас рассказах сатирика о Вятке он неизменно подчеркивает свою полную якобы капитуляцию перед «неодолимой силой пошлости провинциальной жизни». Эффектной роли бурного протестанта против этой «силы» Салтыков нигде себе не приписывает: ни в письмах из Вятки, ни в позднейших беседах с близкими ему людьми, ни, наконец, в довольно многочисленных художественно-автобиографических воспоминаниях об этой поре своей жизни.

Достаточно привести несколько записей из рассказов Салтыкова о Вятке, сохранившихся в мемуарах близко знавших его современников, чтобы убедиться в справедливости сказанного.

«Жизнь в Вятке тянулась однообразная и бесцветная, интеллигентных людей было мало... жизнь проходила в мало интересной службе и в карточной игре по вечерам; от скуки и следуя общему обыкновению, в это время Салтыков пристрастился было к употреблению водки. Писать он там и не пробовал: «даже подобной мысли в голову не приходило, — говорил он, — до того заедала эта тупая и пошлая среда» (Белоголовый, 232).

«В Вятке, — говорил Михаил Евграфович, — ничего не писал, вел самую пустую жизнь, даже сильно пьянствовал» (Пантелеев, 151).

«Он <Салтыков> говорил, что жизнь его в Вятке была пустой и едва не погубила его» (С. А. Юрьев. Записи отдельных воспоминаний о Салтыкове)<sup>65</sup>.

Таковы эти суровые приговоры самого сатирика над своим вятским семилетием. Нет оснований сомневаться, что мемуаристы — люди, близко общавшиеся с Салтыко-

вым, — что-то исказили в том, что слышали от него, или самовольно сгустили краски. Их показания почти совпадают. И все же свидетельства эти неверны. Они восходят к воспоминаниям, односторонне обобщенным самим Щедриным, во имя всегда владевшей им потребности выделять и обличать «темные пятна жизни» — своей или чужой. В своих воспоминаниях он, как и везде, оставался сатириком-обличителем.

Вятка оказалась серьезным испытанием для духовного развития Салтыкова. Она грозила сокрушить его идейные начинания. В борьбе с ее «растлевающими влияниями», закончившейся в конечном итоге победой Салтыкова, он знал и поражения, которые отчетливо сознавал и которые постоянно тревожили его ум. Вспоминая столь подчеркнута о «пустой», «нелепой», «однообразной» и «бесцветной» жизни в Вятке, сатирик по существу характеризовал не столько свою собственную жизнь, сколько ее объективные условия — «тупую и пошлую среду», перед сплоченной силой которой и он иногда отступал, чего, с присущей ему правдивостью, не мог и не хотел скрыть.

Приведенные выше мемуарные свидетельства (в своей ранее известной части — обычный фундамент для ложного освещения всего вятского периода биографии Щедрина) получают надлежащее освещение лишь в перспективе последующего развития сатирика и при сопоставлении с более широким кругом биографических фактов и документов.

Весьма важное исправление вносят уже письма Салтыкова из Вятки. Вот ряд выдержек, дающих возможность непосредственно ощутить общий тон настроений, владевших Салтыковым в Вятке (цитаты взяты из писем, охватывающих все семилетие ссылки). «Я изнываю и нравственно и физически и не знаю, к чему я буду способен, если это пленение души моей будет продолжительно»; «вся жизнь моя постоянная и нестерпимая мука»; «гибну среди нелепых бумаг губернского правления и подлейшего бостона»; «я так сделался ко всему равнодушен»; «мне так скучно, так грустно, что нет возможности терпеть более, потому что я совершенно один в этом безобразном захолустье», «это настоящая пытка»; «вообще для молодого человека провинциальная жизнь хуже смерти, и не дай бог никому вкусить этого ада»; «я сознаю в себе со-

вершенный упадок душевных сил и ожидаю, что еще немало времени, и я окончательно сделаюсь ни к чему не способным человеком, т. е. ни к какому серьезному ответственному труду»; «я привык смотреть с некоторого времени на все равнодушно»; «жизнь моя попрежнему течет в скуке и унынии, хотя вообще я не могу жаловаться на свою службу»; «надобно знать, что за город Вятка, чтобы понимать всю горечь моего положения»; «думал ли я, ждал ли когда-нибудь, что жизнь моя разрешится таким печальным образом?»; «жизнь моя идет как-то неладно... скука смертельная»; «хил и ленив я стал, и ты едва ли узнаешь меня, когда нам придется свидеться... Вятка сделала на меня самое печальное влияние»; «вообще я страдаю такой несносной тоской, что уже потерял надежду на лучшее будущее; лучше было бы, если бы мне умереть...», и т. д. и т. п. в том же духе, в той же тональности почти в каждом из 80 с лишним сохранившихся писем<sup>66</sup>.

Из глубины этих настроений, столь безраздельно владевших Салтыковым, непосредственно возник его несравненный по силе лирического негодования монолог «Скука» («Губернские очерки»), созданный, как мы покажем ниже, еще в самой Вятке.

Знаменитые инвективы этого монолога против засывающей «тины мелочей», против удушающего «мира зловоний и болотных испарений, мира сплетен и жирных кулебяк» (ср. особенно абзац: «О провинция! ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать!») являются лучшим комментарием к приведенным цитатам и породившим их настроениям.

Совершенно очевидно, что приписать эти настроения человеку, находившемуся якобы в состоянии полной «нравственной пришибленности» и «духовной омертвелости», как это сделано, например, в предисловии к вятским письмам в Полном собрании сочинений Щедрина (XVIII, 17, 19), нет никаких оснований. Наоборот, за этими настроениями, проникнутыми страстным чувством протеста против скуки и убожества подневольной жизни в Вятке, явственно угадывается борьба, которую вел Салтыков за то, чтобы удержаться на своих идейных позициях, не отступить от них. Они свидетельствуют о силе его сопротивления «темному быту», а не о подчинении

ему. В самой страстности тоски, жалоб и обличений вятских писем Салтыкова чувствуется постоянное, скрытое противопоставление благородного мира его «недавних сновидений» бездушию чиновничьей службы и мещанскому житью-бытью, с его «полным отсутствием сновидений». Не пером вятского обывателя, плененного «пустой», «праздной» и т. д. жизнью, писались эти строки, а пером человека, у которого «подкладка, осевшая в нем вследствие недавних сновидений, не совсем еще была разорвана» (XVI, 717).

Поэтому нельзя согласиться с мнением П. Н. Лепешинского, что Щедрин в течение своего вятского безвременья «никак не мог нащупать подлинной причины своей тоски и неудовлетворенности» (XVIII, 17). Конечно, мировоззрение Салтыкова в эту пору еще окончательно не сложилось. Сколько-нибудь отчетливыми представлениями о путях борьбы с общественным злом, столь непосредственно мучившим и его лично, он еще не обладал. Конечно, в его эпистолярных жалобах на неустроенность, тяжесть и скуку своей подневольной жизни мы воспринимаем непосредственно лишь самые чувства тоски и неудовлетворенности и не видим ясного осознания их причин (не забудем, что речь идет только о письмах к брату, человеку идейно чуждому Салтыкову). Но невозможно не видеть, как за этим, по выражению П. Н. Лепешинского, «обывательским хныканьем» против тягостных, будничных условий своего существования вызревал и ширился сознательный политический протест против бессмысленных и пошлых общественных условий, мешавших человеку жить свободно, не дававших ему возможности применить свои творческие силы, одним словом, протест против всей социальной действительности царской России.

Нельзя также согласиться и с другим утверждением (впервые оно было высказано еще В. П. Кранихфельдом) о том, что Салтыков переходит в Вятке на позиции «усвоения психологии разочарованного человека, лишнего человека». Наоборот, для идейного развития Салтыкова весьма показательным как раз то, что «скука» его вятской жизни не таила для него, повидимому, никаких опасностей стать «лишним человеком», хотя многое в его жизненном положении могло, казалось бы, содействовать выработке в нем элементов этого социально-психологического типа русской дворянской жизни той поры. Однако ни Гамле-

том, ни Мефистофелем «вятского уезда» Салтыков не стал. И деловая активность его природы, и обилие служебных занятий, и особая, отнюдь не пассивная роль, которую он, как мы увидим, пытался создать для себя в условиях обязательной службы, и, наконец, жизнь не в дворянской усадьбе, а в чиновничье-купеческом городе, в обстановке бескультурья и «грязной положительности» (употребляя слова Белинского), — все это, как и многое другое, решительно отчуждало будущего сатирика от какой-либо литературной драпировки своей «тоски» и «скуки».

Более того, именно в период Вятки у Салтыкова выработался его первоначальный резко отрицательный взгляд на «разочарованных», взгляд, развернутый в «Губернских очерках» (см. «Талантливые натуры») в замечательную, уже с демократических, антидворянских позиций направленную, критику «лишних людей». Вот что писал по этому поводу Салтыков в своей вятской повести «Брусин»: «Действительно, ничего не может быть презреннее, нелепее «разочарованных». Это, по большей части, школьники, в юных летах вкусившие трубки, вина и женщин и воображающие, что, вне этих трех капитальных фактов жизни человеческой, остальная вселенная есть не что иное, как *tabula rasa*. Люди эти всего более боятся всякого увлечения, называя это детскими игрушками, а сами и не догадываются, что их разочарование есть тоже игрушка (да притом еще и какая детская!) и что их вполне верно можно определить, назвав «очарованными разочарованными» (I, 293) <sup>67</sup>.

Итак, не усвоение психологии «разочарованного человека», не вращение в роль внутренне протестующего, но обреченного на пассивность созерцателя «потока жизненных мерзостей» обуславливали «тоску и скуку» Салтыкова в Вятке. Он сознавал наличие другой, более грозной опасности, подстерегавшей его, — опасности, которая постоянно тревожила его ум и определила весь скрытый драматизм его идейной жизни в изгнании.

Что это была за опасность — видно из ряда позднейших высказываний самого сатирика. Достаточно напомнить лишь некоторые из них. «Когда я ехал в Крутогорск, — писал Щедрин в очерке «Скука» (значение очерка «для характеристики взгляда писателя» указал сам сатирик в своей ранней автобиографической заметке 1858 года, написанной в третьем лице, см. I, 79), — то мне

казалось, что и я должен на деле принести хоть частичку той пользы, которую каждый гражданин обязан положить на алтарь отечества... Юношеские мечты! тщетные мечты! сколько в них, однакож, свежести и чистоты, сколько жажды добра и истины! Что же я сделал, какие подвиги совершил?..» Этот общественный экзамен сильнее всего тревожил Салтыкова, и к нему неотрывно устремлялась его мысль. Много раз и по разным поводам давал потом сатирик ответы на поставленные вопросы и всегда, со свойственными ему мужеством и правдивостью, признавал, что «горький фазис примирения» не миновал и его.

Содержание этого, по собственному определению, «печального момента» своего развития Щедрин с наибольшей полнотой и отчетливостью раскрыл в рассказе «Годовщина», написанном в 1868 году, по случаю исполнившегося двадцатилетия вятской ссылки. «Годовщина» является ключом к уразумению идейного кризиса, пережитого Салтыковым в Вятке. К автобиографическим признаниям этого рассказа должно быть привлечено то внимание, которого они заслуживают.

Говоря о том, что он «давно простил» обиды своего изгнания, надолго исторгнувшего его из «здания мысли, любви и счастья», Щедрин делает, однако, тут же одну важнейшую оговорку. «Но есть обида, — пишет он, — которая и доныне дает мне чувствовать себя. Этой обидой я называю ту сердечную робость, ту потребность примирения, которые, как вор, прокрались в мое существование». И дальше Щедрин раскрывает самую сущность этой «обиды», которую он отказывался простить.

«С той минуты, как я перешел за рубеж, с той минуты, как я в первый раз сказал себе: да! это так! это иначе и не должно быть, — эта мысль, с течением времени, до того укоренилась во мне, что никакая неожиданность уже не кажется мне неожиданностью и слово «сюрприз» потеряло для меня всякое обаяние...»

«Я совсем не хочу сказать этим, что человек имеет право проходить мимо тех или других явлений жизни, не ощутив по поводу их чувства радости или огорчения, чтоб он был прав, ограничиваясь одним объектом их; я говорю одно: бывают такие печальные моменты в истории личного человеческого развития, когда человек доходит до уразумения целого порядка явлений, которым

можно только подчиняться, по поводу которых не остается ничего другого, как только махнуть рукою».

Что «приобретает» человек, встав на позицию созерцательного «объяснения» действительности? — спрашивает далее Щедрин и отвечает: «Мы приобретаем убеждение, что в жизни нет того противоречия, которое не было бы строго согласовано с другими противоречиями, нет той горькой неправды, которая не объяснялась бы неправдою еще горчайшею. Наконец, мы приобретаем способность ничем не возмущаться, ни перед чем не раскрывать удивленных глаз».

«Можно ли, по совести, назвать такие приобретения драгоценными?» — спрашивает далее Щедрин и со всей определенностью отвечает: нет, нельзя.

«В этой нескончаемой сети неправд и противоречий человеческая личность сглаживается и исчезает... Встает целый порядок, целый строй, который захватывает и правых и виноватых, и преследующих и преследуемых, и гонителей и гонимых, и при виде которого не придет даже на мысль протянуть руку помощи тому или другому Петру, тому или другому Ивану, потому что тут нет ни одного Петра, нет ни одного Ивана, который бы не нуждался в помощи».

Я знаю, многие называют подобные моменты человеческого развития моментами примирения, моментами разумного и трезвого созерцания жизни. Я, с своей стороны, нахожу, что их гораздо приличнее назвать моментами полнейшего индифферентизма и сердечной вялости.

Того ли нам нужно? из того ли обязаны мы биться, чтобы, в конце концов, получить печальное право, с полною душевною невозмутимостью, объяснять и оправдывать всякое жизненное противоречие, всякую жизненную неправду?

Нет, говоря по совести, в этом дряблом стремлении к всеоправданию именно и заключается та кровавая обида, которая наносится человеку жизнью и о которой я говорил выше. Жизнь, лишенная энтузиазма, жизнь, не допускающая ни увлечений, ни преувеличений, есть именно та постылая жизнь, которая способна только мерить и сводить итоги прошлого, но совершенно бессильна в смысле творческом.

Нам необходимы подвиги, нам нужен почин. Очень часто мы безрассудствуем, мечемся из одной крайности



в другую, очень часто даже погибает; но во всех этих безрассудствах и колебаниях одно остается не безрассудным и неизменным — это жажда подвига. В этой жажде трепещет живое человеческое сердце, скрывается пылкий и никогда не успокаивающийся разум. Не смирять и охлаждать следует эту благодатную жажду, а развивать и воспитывать» (VII, 348—350).

Нельзя, разумеется, забывать, что эта яркая, убежденная пропаганда революционного подвига, переделывающего мир, и эта суровая критика пассивно-объективистского созерцательного «только объяснения» действительности, ведущего в болотистую трясиину «примирения» и «всеоправдания», принадлежат не Салтыкову пятидесятых, а Щедрину шестидесятых годов. Революционная целеустремленность приведенных высказываний, их пронизательность, достойная предшественника марксизма, смело преодолевающего домарксову созерцательность философии, отражают не только личный опыт общественно-политического самоопределения сатирика, но и политическую зрелость всей русской революционной демократии от Белинского до Чернышевского. И тем не менее очевидно, что основные вопросы, над которыми билась мысль Салтыкова в безвременье ссылки, которые мучили и волновали его тогда, были те же самые, что и в «Годовщине». Это были все те же поиски разрешения противоречия между идеалом и действительностью, которые, определив собой идейную проблематику первых петербургских повестей Салтыкова, остались с тех пор основой философских и общественно-политических исканий сатирика на протяжении всей его жизни и деятельности.

Естественно, в мировоззрении Салтыкова общий вопрос о противоречии идеала и действительности и путях выхода из этого противоречия имел свою эволюцию. На отдельных этапах ее вопрос по-разному раскрывался перед Салтыковым и по-разному решался им. Поэтому, только отпавшая от тех конкретных проблем, которые встали перед сатириком в Вятке, возможно понять ход его тогдашнего развития и, в частности, вскрыть содержание той «кровной обиды», которую нанесла ему здесь жизнь.

Реалистический подход к изучению действительности, стремление охватить и понять ее во всех ее противоречиях, не поступаясь, однако, перед ней своими идеалами, ха-

рактизирует, как было показано, уже первый этап развития Салтыкова — этап сороковых годов, когда закладывался фундамент мировоззрения сатирика.

«Снять» противоречия идеала и действительности Салтыков тогда еще не мог. Но напряженные поиски социальной опоры для борьбы за общественный идеал уже тогда вели мысль писателя в направлении революционно-демократических выводов о необходимости изменения самой действительности. Салтыков был еще далек от ясного теоретического осознания этих выводов. Но что мысль его устремлялась именно по такому пути, свидетельствует объективное содержание художественных образов его первых повестей, вся острота их идейно-политической проблематики (особенно в «Запутанном деле»).

«Грубая», «неумытая», «суровая», «жестокая», но и «желанная» и даже «святая» действительность, которая одновременно столь манила и пугала Салтыкова, по-настоящему настигла его в Вятке. Внезапное и резкое столкновение с ней заставило юного писателя на первых порах несколько попятиться, сделать шаг назад. Он сделал этот шаг уже в повести «Брусин» (1849) — единственном, по крайней мере известном нам, законченном произведении, написанном в Вятке<sup>68</sup>.

Для характеристики идейных позиций Салтыкова рассматриваемого периода это произведение имеет значение важного первоисточника.

Споры, которые ведут герои повести о принципах человеческой деятельности и поведения, об отношении к идеалу, теории, с одной стороны, и к действительности, с другой, завершаются заключительным диалогом-дискуссией. Первый полемист — «рассказчик», он же «молодой человек». Именно он выражает, в первую очередь, взгляды самого Салтыкова. Второй участник спора — «Николай Иванович». Он олицетворяет враждебную Салтыкову теорию утилитарной постепенщины, пользы и «малых дел».

«Молодой человек», то есть Салтыков, решительно не согласен с «нравоучениями», выводимыми «Николаем Ивановичем» из рассказанной им истории о несчастьях Брусина, главнейшее из которых заключается в неспособности Брусина к «положительной деятельности». «...Мы разнимся с вами в главном, — возражает «молодой чело-

иск»: — в воззрении на вещи. Вы всю вину сваливаете на личность человека, а я утверждаю, что человек тут вовсе не виноват, что виноватого тут надобно искать где-нибудь подальше, — где? достоверно сказать вам не могу, но, думаю, в... воздухе» (то есть раскрывая «эзоповскую» метафору — в несовершенстве общественно-политического строя).

Казалось бы, Салтыков ухватил здесь главное звено. Если несчастья человека зависят от общества, то, значит, от общества же зависит и счастье человека: значит, дорогу к этому счастью нужно искать не в индивидуальных усилиях личности к собственному благополучию, не на путях исправления отдельных индивидов, как полагает «Николай Иванович», видящий источник всех бед Брусина в его собственных несовершенствах, а на путях переустройства самого общества. Однако вместо того, чтобы развить и закрепить такие выводы, естественно вытекающие из только что сформулированных посылок, мысль Салтыкова делает неожиданный скачок и резко уклоняется в сторону.

Только что констатировав и объяснив объективную неполноценность жизни Брусина, Салтыков вдруг ставит вопрос о субъективности, относительности самого критерия «человеческого счастья», то есть начинает доказывать нечто совсем противоположное тому, что только что утверждалось им.

«Что же касается до второго пункта вашего нравоучения, — говорит «молодой человек» «Николаю Ивановичу», — то есть, до того, что Брусин сам сознательно устраивал свое несчастье, то и тут вы неправы: Брусин был счастлив, как только мог быть счастливым... Да, его более пленяла его беспокойная, судорожная любовь, нежели скарредное, болотное счастье, составленное по вашему рецепту. Что до того, что он страдал, коли в этом страданье была вся его жизнь?.. Видно, сила не в том, как им образом быть счастливым, а в том, чтоб хоть каким бы ни было образом да быть счастливым».

На реплику Николая Ивановича: «Однакож, вы, пожалуй, скажете мне, что и тот, кто будет сдирать с себя живого кожу, тоже будет счастлив!» — следует убежденный ответ, очень точно, нам думается, передающий мысли Салтыкова в начале его ссылки:

«— Отчего нет? Как вы не хотите понять, что в не-нормальной среде одна неестественность только и может быть названа нормальной? Нет, Николай Иванович, поверьте, укору и нравоучения бесполезны, когда возможности к исправлению не представляется никакой, когда мы все скованы, спутаны обстоятельствами. Закинь вас судьба в какой-нибудь сквернейший уездный городишко — что нужды, что вы будете презирать всех этих глупых, жирных людей, у которых о нравственности и тени понятия нет; вы все-таки принуждены якшаться с ними, потому, что вы — человек...

— Так, по-вашему, — возражает Николай Иванович, — приходится сложить руки и смотреть на все уродства и нелепости?

— О, нет — сохрани боже! — резюмирует свой основной вывод из спора «молодой человек». — Нужно действовать, как можно больше действовать! Но я хочу, чтобы каждому оставили полную свободу жить, как он понимает, а не навязывались с своими теориями, которые только раздражают. Я иду за вами следом в отрицании идолов, но поступаю откровеннее вас, потому что не хочу ровно никакого идола, даже... идола пользы. Я той веры, что самое лучшее в этом случае — поставить себе девизом: *живи, как живется, делай, как можется*» (I, 331—332).

Некоторые биографы сатирика считают, что такой ответ означал «полную сдачу перед действительностью» и погружение в «социальный пессимизм»<sup>69</sup>. Однако согласиться с такими утверждениями нельзя.

Из всего хода приведенных рассуждений, из всего контекста повести видно, что «девиз» Салтыкова возник как страстное полемическое заострение в том споре о «живой» и «мертвой» действительности, который устами своих героев ведет здесь с собою сам автор. Для уяснения этого достаточно показать, в какой идейно-психологический комплекс собирает Салтыков все элементы и настроения овладевшего им сознания переживаемого кризиса, распутья. Он находит их корни в той почве, которая питала духовную жизнь передовых кружков Петербурга сороковых годов. «Зачем мы собирались? — пишет Салтыков. — Чтобы сообщать друг другу свои наблюдения? Да ведь эти наблюдения надо было делать над чем-нибудь живым, действительным, а мы имели

только книги... Читали мы все больше одни и те же книги; образом мысли, характерами так близко подходили друг к другу, что известная мысль производила почти одно и то же впечатление на всех... Кто его знает, мы ли сами насильно оторвались от общества, или общество оторвало нас от себя, только практической деятельности ни у одного из нас не было никакой. Эта-то насильственная скудость живой деятельности и, напротив того, чрезмерное, болезненное обилие деятельности чисто книжной и было тем злом, которое неумоимо грызло цепь, долго всех нас связывавшую. Положим, что некоторые из нас далеко пошли в сфере мысли, — да где же факты для подтверждения смелых теорий, которые каждый из нас более или менее создавал или скорее вычитал себе из книги? где земля, на которую можно смело опереться? Никаких, решительно никаких положительных знаний мы не имели, и потому поневоле должны были пробавляться общими местами и бесплодной силлогистикой. Многие, например, из нас весьма отчетливо могли себе представить будущность человечества, а не видели, что делается у них под руками, не могли бы сказать, как нужно действовать в данную минуту, в данной середине...» (I, 292—293).

Лишь с помощью этих и других сопутствующих рассуждений Салтыкова поняв основное направление его мысли, мы получаем возможность определить конкретное содержание «девиза»: «живи, как живется, делай, как можется». Очевидно, понимать этот «девиз» буквально, то есть как проповедь теоретической беспринципности, как пренебрежение к идейно-политическим и моральным требованиям — в корне неправильно. Такая прямолинейная трактовка заключительных выводов «Брусина», рассматриваемых к тому же изолированно, и приводила исследователей к утверждениям, что вятский период знаменовался для Салтыкова такими «падениями», как «отказ от борьбы за идеал» (В. П. Кранихфельд), «пассивная самоотдача стихийному потоку жизни» (Н. Л. Мещеряков), «погружение в болото обывательщины» (П. Н. Лепешинский), «капитуляция перед официальной государственностью» (В. В. Гиппиус), и к другим подобным характеристикам, грубо искажающим истину.

В действительности дело обстояло иначе и сложнее. Самым важным на данном этапе развития Салтыкова являлось продолжающееся признание «ненормальности» социальных условий русской действительности и его стремление преодолеть разрыв теории и практики, найти если не единство их, то какое-то связующее между ними звено. Теории «сновидений» и «золотого века» социалистического утопизма, уже и в Петербурге тревожившие ум Салтыкова своей страшной оторванностью от конкретной исторической действительности страны, еще погруженной в крепостническое рабство, предстали перед ним в Вятке как совершенно беспредметные. С этими теориями нечего было делать там, где «отсутствовали всякие сновидения». Отсюда эта яростная атака Салтыкова на спекулятивные, оторванные от жизни теории («идолов») — атака, перешедшая по инерции своего движения и полемической страсти дальше нужного рубежа.

Заявляя свое «не хочу ровно никакого идола», то есть никакой теории, Салтыков, разумеется, отклонялся к индивидуалистической, анархической формулировке. Однако это было лишь сильным, естественным движением вспять от пути, признанного ошибочным. Беззаботность насчет теории, стремление отмахнуться от нее, с тем чтобы погрузиться в губительный поток бездумного отношения к жизни, теоретической беспринципности, стихийности, — все это всегда было органически враждебно Салтыкову. Но он полностью разделял мысль Белинского о том, что «важность теоретических вопросов зависит от их отношения к действительности»<sup>70</sup>. Его девиз: «живи, как живется, делай, как можется», означал, таким образом, на деле не отказ от теории вообще, а лишь от той раскритикованной им теории, которая, при всей своей «лучезарности», не давала возможности «действовать, как можно больше действовать». Его девиз означал, что, признав непригодность этой теории «созерцательного негодования», Салтыков призывал каждого, кто не хотел «сложить руки и смотреть на все уродства и нелепости» жизни, взять на себя индивидуальную, ответственность за эту страстно желанную им возможность «действовать, как можно больше действовать».

И Салтыков берет на себя такую ответственность, переходит от теории к практике. Он начинает искать воз-

можностей стать не страдательным, а активным элементом окружающей его действительности, устремленным к преодолению ее отрицательных сторон. Желая быть прежде и больше всего реалистом, практиком, стремясь дело делать, добиваться непосредственных результатов, Салтыков ищет этих путей в действительность в сфере решения вопросов своего практического поведения. А так как объективными условиями его жизни оно связано прежде всего со служебной, чиновничьей деятельностью, то последняя и становится той ареной, на которой Салтыков пытается найти конкретное решение встававшей перед ним задачи.

Принимая за возможное то, что на самом деле было невозможно, Салтыков привлекает себе на помощь одну своеобразную «теорию» практического поведения, призванную в какой-то мере субъективно удовлетворить его общественную совесть.

«Сущность этой теории, — определял он позднее, — заключалась в том, чтобы практиковать либерализм в самом капище антилиберализма \*.

С этой целью предполагалось наметить покладистое влиятельное лицо, прикинуться сочувствующим его предначертаниям и начинаниям, сообщить последним легкий либеральный оттенок, как бы исходящий из недр начальства (всякий мало-мальски учтивый начальник непрочь от либерализма), и затем, взяв облюбованный субъект за нос, водить его за оный. Теория эта, в шутовском русском тоне, так и называлась теорией вождения влиятельного человека за нос, или, учтивее: теорией приведения влиятельного человека на правый путь» (XVI, 717).

Возможность увлечения такой «теорией» у Салтыкова в период Вятки объясняется в первую очередь причинами психологического порядка: необходимостью как-то оправдать в идейном плане свою практику. Вольно или невольно он искал звена, которое дало бы ему психологическую возможность соединить, примирить свои идейные убеждения демократа и социалиста-утописта с работой в чиновничьем аппарате царизма и тем успокоить свою об-

---

\* «Антилиберализм» означает здесь самодержавие, «капище антилиберализма» — его государственный аппарат, а «либерализм» — все противостоящие царизму и реакции освободительно-демократические взгляды (но не политическую идеологию либерализма в современном понимании этого слова). — С. М.

шественную совесть. «Теория» Салтыкова была выражением противоречивости его развития в Вятке, следствием его политической незрелости и теоретической слабости..

Биографические, узко личные причины возникновения таких настроений очевидны. Общественными же условиями, питательной средой для их развития являлась реакция. В истории русского общественного движения, на том его раннем этапе, когда, по ленинскому определению, был так «узок круг» революционеров и так «страшно далеки» они были от народа<sup>71</sup>, можно найти ряд сходных «теорий». Возникновение этих «теорий» всегда датируется периодами обострения реакции.

Известна, например, запись в дневнике Погодина от 23 июля 1826 года, следующим образом передающая настроения Веневитинова после разгрома движения декабристов — движения, еще недавно питавшего революционные (при всем их романтизме и наивности) порывы поэта. «У Веневитинова, — записывает Погодин, — теперь такой план, который у меня был некогда. Служить, выслуживаться, быть загадкой, чтоб, наконец, выслужившись, занять значительное место и иметь большой круг действий. Это план Сикста V»<sup>72</sup>.

Приведем другой пример, относящийся к эпохе реакции второй половины шестидесятых годов. В 1868 году вышел в свет забытый ныне, но в свое время привлечший внимание и читателей и цензуры роман Марко Вовчка (М. А. Маркович) «Живая душа», посвященный Писареву. Это была книга на весьма актуальную для русской революционной демократии тему — о тактике политической борьбы. Прославляя революционный подвиг героя романа, «человека долга» Загайного, гибнущего в борьбе, автор противопоставляет ему «радикала» Квача, призывающего к совсем иным методам действий. Разочарованный бесплодностью прямых атак на «чудище» непоколебленного еще в своей основе «зла» (самодержавия), усматривая в неравной борьбе с этим «чудищем» лишь бесполезное мученичество, Квач выступает с призывом изменить тактику. Он зовет революционеров уйти в своеобразное «подполье»... государственного аппарата царизма, проникнуть в систему его управления, овладеть административной властью, с тем, чтобы, опираясь на нее и используя ее возможности, продолжать «действовать». Вот одна из относящихся сюда тирад Квача, политически заост-



решая против сторонников метода открытой революционной пропаганды и борьбы:

«Не имея в руках административной власти, действовать нельзя. В чем успели вы, со всеми принесенными вами жертвами и положенными трудами? Народ не разбит и не узнаёт дружеского голоса; средний класс слишком испорчен и не хочет его слышать; высший — изнеженный и апатичный, только делает гримасу или улыбается, когда случайно этот голос долетает до него. Время проповедей миновало, наступило время повелений. Россия не хочет по доброй воле питаться здоровую пищу, надо заставить ее силою... Сила и власть единственно надежный путь... Этот новый путь, несмотря на видимый блеск и кажущуюся легкость, будет путем страшных испытаний, но он приведет к желанной цели, и я избираю его... Я согласился принять место... и на этих днях вступаю в должность»<sup>73</sup>.

Автор романа относится отрицательно к позиции Квача. Более того, из отдельных намеков, содержащихся в сильно пострадавшем из-за цензурных условий тексте «Живой души», можно сделать вывод, что Маркович хотела облачить в этом персонаже ренегатствующего экс-радикала, пытающегося левыми фразами попросту прикрыть свой отход от политической борьбы и погружение в спокойное лоно чиновничьей службы. Люди, подобные Квачу, действительно существовали в русской общественной жизни второй половины шестидесятых годов. Это были трудные годы крушения революционной ситуации начала десятилетия, годы «торжества победителей», ознаменовавшиеся в своем эпилоге разгулом послекараказовского «белого террора» 1866—1867 годов. Крайне реакционная атмосфера этих лет явилась питательной средой для появления настроений общественного индифферентизма и пессимизма. Такие настроения толкали иных из деятелей и попутчиков освободительного движения к отказу от прямой борьбы с самодержавием и к поискам «теорий», психологически оправдывающих эту их политическую слабость. Идеи и настроения, подмеченные романисткой в русской действительности конца шестидесятых годов и воплощенные ею в образе Квача, имеют определенное родство и сходство с теми, которые в иных исторических условиях, в годы последекабристской реакции, выразил Веневитинов в своем «плане Сикста V».

Возвращаясь к Салтыкову и его «теории» «практиковать либерализм в самом капище антилиберализма», можно предположить, что его внимание к такому методу действий могло быть непосредственно привлечено некоторыми идеями Петрашевского, хотя у последнего они означали по существу нечто иное.

Руководитель петрашевцев говорил о трех путях революционного действия: «иезуитском», «пропагаторском» (пропагандистском) и «повстанческом». И если в условиях подъема русского освободительного движения конца сороковых годов — в период широкого развития массовых крестьянских волнений, в годы начала деятельности Герцена и Шевченко, общества петрашевцев и Кирилло-Мефодиевского братства на Украине, появления письма Белинского к Гоголю, наконец возбуждающих воздействий европейских революционных событий 1848 года — Петрашевский все больше начинал задумываться над проблемами массовой крестьянской революции, то есть избирал «повстанческий» путь, то в условиях каторги и потом подневольной жизни на поселении в Сибири на первое место выдвинулся «иезуитский» путь как метод определенного целеустремленного воздействия на администрацию. На деле он означал, однако, не какой-то метод революционного действия, а просто индивидуальную тактику поведения революционера, оказавшегося в плену у врага. Такую тактику Петрашевский применял, например, живя в Иркутске, в своих сношениях со знаменитым генерал-губернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым, искусно используя его неограниченную власть царского наместника-сатрапа для защиты интересов сосланных декабристов и петрашевцев. Один из последних, Ф. Н. Львов, писал Д. И. Завалишину: «Мих. Вас. <Петрашевский>... на вопрос мой, что он думает о Муравьеве, ответил фразою из «Игроков» Гоголя: «это штабс-капитан из той же компании», т. е., что он такой же политический шуллер, как и другие. Но по приезде моем в Иркутск я застал обоих товарищей моих — и Спешнева, и Петрашевского — в наилучших отношениях с Муравьевым... Петрашевский сказал мне прямо, что надобно эксплуатировать либерализм Муравьева, которым он желает блеснуть...»<sup>74</sup>

«Эксплуатировать либерализм» царского сатрапа и «практиковать либерализм в самом капище антилибера-

лизма» — как будто одно и то же. Внешнее сходство обеих формул объясняется сходством исторических и личных обстоятельств, в которых приходилось и Салтыкову и Петрашевскому решать вставшие перед ними вопросы о своем практическом поведении в условиях подневольной жизни. Однако при всем своем внешнем сходстве эти формулы имели, как уже замечено, различное содержание и неодинаковое практическое применение. Для Петрашевского это был вынужденный его обстоятельствами способ отношения к властям, то есть к прямому политическому противнику, у которого он, революционер, находился в плену. Для Салтыкова его «теория» являлась своеобразной «надстройкой», призванной идейно и психологически обосновать его утопически-просветительские попытки отыскать в своей «обязательной службе» какие-то пути для продолжения борьбы за демократический общественный идеал.

«Теория» Салтыкова, понимаемая как способ общественной борьбы, не имела, очевидно, ничего общего ни с революционной, ни просто с демократически-оппозиционной политической тактикой. Понимаемая же ограниченно, лишь как метод поведения, эта «теория» была бесплодна, утопична и по существу несогласуема с нормами здоровой общественной морали. Но не виной, а бедой, «кровной обидой» истории является то, что лучшие люди поколения, прошедшего через темную ночь николаевской реакции, пытаясь в ее мраке нащупать правильные пути, иногда оступались, делали ошибки, порою не сознавая этого, порою, как Салтыков, пытаясь найти для себя иллюзорное утешение в афоризме, что «в ненормальной среде одна неестественность только и может быть названа нормальною».

«Теория» Салтыкова, несомненно, кое-что раскрывает в его служебной деятельности и поведении в Вятке. Сближаясь с губернаторами Середой и Семеновым, овладевая полностью их доверием (до личного бесконтрольного управления некоторыми важнейшими делами по губернии включительно), защищая интересы крестьян в деле о камской оброчной «статье» и на сельскохозяйственной выставке, энергично разоблачая, преследуя и пресекая воровство и взяточничество и т. д. и т. п., Салтыков с помощью своей «теории» получал психологическую возможность смотреть на самого себя как на скрытого деятеля «либерализма» «в самом капище антилиберализма». А уж

одно это разоблачает полную несостоятельность распространенной характеристики Салтыкова этой поры как «типичного провинциального бюрократа» и «выслуживающегося чиновника».

Однако Салтыков очень скоро начал понимать, что по существу он стоит не только на бесплодном, но и на опасном пути и что созданная им «теория», успокаивая совесть ложными иллюзиями, объективно ведет к беспочвенному реформизму и в конце концов к фактическому примирению с действительностью, а не к борьбе с ней.

Невозможно, разумеется, проследить и датировать постепенные этапы нарастания критического отношения Салтыкова к его «теории». Но в нашем распоряжении имеется позднейшая щедринская самокритика этой «теории», помогающая уяснить позиции, отправляясь от которых Салтыкову удалось преодолеть этот фазис своих «теоретических блужданий».

Вот эта самокритика.

«В оправдание этой теории, — писал Щедрин в «Имяреке», — приводилось то соображение, что вся история русского прогресса шла именно таким путем. Либерал прикидывался выполняющим предначертания и затем общал этим предначертаниям тот смысл, который признавался наиболее полезным. Не нужно дразнить, напротив, нужно сглаживать. Не нужно выставлять вперед свою инициативу, а, напротив, делать вид, что сам проникаешься начальственной инициативой... Все в этой теории казалось так ясно, удободостижимо и, вместе с тем, так изобильно непосредственными результатами (а их-то прежде всего и добивался Салтыков. — С. М.), что Имярек всецело отдался ей. Провинция опутала его сетями своей практики... Идеал вождения за нос был как раз ей по плечу. Он не требует ни борьбы, ни душевного горения, ни жертв — одной только ловкости.

Имярек ничего этого не замечал. Ему предстояла деятельность, наполненная такими кипучими насущными подробностями, за которыми исчезала всякая руководящая нить. Дело сводилось к личностям; порядок вещей ускользал из вида. Казалось, что преуспевание пойдет шибче и действительнее, ежели станového Зябликова заменит становой Синицын. Синицын

мнее нахален... А ежели Синицын не оправдает доверия, то можно и его сменить...

Переливая таким образом из пустого в порожнее, Имярек совсем забыл о критической оценке новоявленной теории. А между тем это было далеко не лишнее. Независимо от того, что намеченные «носы» не всегда охотно подчинялись операции вождения, необходимо было, однажды вступив на стезю уступок, улаживаний и урезываний, поступаться более цельными убеждениями, изменять им. «Носы» подозрительны и требуют, чтоб вожак отдавался им всецело... Вообще предприятие было скучное, хлопотливое, тяжелое. Приходилось слушать неумные речи, намеки, укоры, приходилось сознавать, что, в сущности, господином положения остается все-таки «нос», а вожак состоит при нем лишь в роли приспешника, чуть не лакея. Но тяжелее всего было бы, что как ни своди дело к личностям, из-за последних все-таки высказывался «порядок вещей», а тут уже прямо выказывалась полная несостоятельность усвоенного идеала» (XVI, 717—718).

Не следует, конечно, думать, что столь отчетливое осознание соглашательского, реформистского нутра «теории», опиравшейся на компромисс и подменявшей борьбу за общественный идеал борьбой за меру уступок со стороны «носов», то есть начальства, было достигнуто Салтыковым уже в Вятке. Просветительские иллюзии, связанные с переоценкой общественно-политической функции честного, просвещенного и передового чиновника в государственном аппарате самодержавия, сохранялись у Салтыкова вплоть до шестидесятых годов, противоречиво сочетаясь с боевым революционно-демократическим содержанием его художественного творчества этих лет.

Одною из многих иллюстраций к тому является, например, такое заявление сатирика, относящееся уже к началу шестидесятых годов (из повести «Тихое пристанище»): «Можно находиться в самом центре известного дела <имеется в виду служба в государственном аппарате царизма. — С. М.> и в то же время не только отрицать, но даже практически подрывать его; в иных случаях это даже самый удобный и успешный образ действия» (IV, 309).

Живучесть таких иллюзий, частным проявлением которых и являлась «теория вождения влиятельного чело-

века за нос», находит себе объяснение в просветительских и утопических элементах общего мировоззрения сатирика. Важнейшими из них в этом отношении были, как уже указывалось выше, во-первых, просветительская переоценка помещицкого государства и его аппарата, царской бюрократии, непонимание их классовой сути, и, во-вторых, усвоенные от Сен-Симона и особенно от Видаля взгляды, согласно которым первенствующая роль в деле общественного переустройства отводилась «аппарату центральной власти» и ее «просвещенным, преданным идее функционерам» (чиновникам), способным «осуществлять истинные интересы народа» (Видадь).

До глубокого и полного политического понимания этих вопросов Салтыков в Вятке не дошел. И все же важнейший положительный итог вятского «фазиса теоретических блужданий» сатирика имеет ярко выраженный политический характер. Этот итог, как явствует из приведенных выше автобиографических признаний, заключался в том, что Салтыков с гораздо большей отчетливостью и конкретностью, чем это было в сороковые годы, увидел за всеми «нелепостями, противоречиями, ранами и скорпионами жизни» существование единого, связующего и определяющего их «п о р я д к а в е щ е й» — крепостнического государства.

Как можно заключить из «Годовщины», именно это обстоятельство и привело Салтыкова на первых порах к высшей точке его идейного кризиса, пережитого в Вятке.

Кажущаяся незыблемость колосса николаевской полицейско-крепостнической государственности вызвала вначале чувство смятения, «сердечную робость», потерю веры в возможность и целесообразность борьбы со столь мощным противником и — как результат — возникновение «потребности примирения». Но Салтыков очень скоро преодолел эти настроения, «как вор прокравшийся» в его существование, и никто потом не критиковал их столь сурово, как он сам. Именно этот «печальный момент» в истории своего развития сатирик и считал той «кровной обидой», которую нанесла ему жизнь, обидой, которую он не соглашался простить и не мог забыть. Это видно не только из цитированных строк «Годовщины» (1869) и почти предсмертного «Имярека» (1887), но также из неосуществленного замысла рассказа о Петрашевском или Чернышевском. Этому типу людей революционной

испримиримости и несгибаемой стойкости убеждений сатирик намеревался противопоставить другой, прямо противоположный тип, воплощенный в образах «примирившихся» петрашевцев или декабристов. К осуществлению этого замысла Щедрин обращался дважды — в 1875 году (рассказ «Паршивый») и в восьмидесятых годах в форме «сказки»<sup>75</sup>. И уже вне прямой связи с биографическим опытом Вятки, а в плане широкой характеристики идейной жизни сороковых и пятидесятих годов Щедрин дал обобщенную критику «философии примирения» в очерке «Валентин Бурмакин» из «Пошехонской старины». Главную причину возникновения такой «философии» и возможности увлечения ею сатирик усматривает здесь в том, что передовая мысль той эпохи в своих поисках общественного идеала была еще очень оторвана от жизни: «у нее не было реальной почвы» (XVII, 414). Именно «отсутствие реальных интересов», то есть правильно найденного и понятого отношения к действительности, к общественной практике, и позволило выработаться «легенде», гласившей, что «существующее уж по тому одному разумно, что оно существует»... «Формула эта, — пишет Щедрин, — свидетельствовала, что самая глубокая восторженность не может настолько удовлетвориться исключительно своим собственным содержанием, чтобы не чувствовать потребности в прикосновении к действительности, и в то же время она служила как бы объяснением, почему люди, внутренне чуждающиеся известного жизненного строя, могут, не протестуя, жить в нем. Разумеется, это было возможно только при целой системе таких оправданий и примирений, откуда было недалеко и до совершенной путаницы понятий. И будущее доказало, что измена очень ловко воспользовалась этими оправданиями» (XVII, 415).

Будущее действительно доказало это на примере последующей судьбы таких «людей сороковых годов», как Достоевский или Катков. Но для Салтыкова открытие «порядка вещей», пройдя через критическую фазу «потребности примирения», явилось диалектическим революционным «скачком» в его дальнейшем идейном развитии. Оно вплотную подвело мысль Салтыкова к тому материалистическому взгляду на социальную действительность как на объективную закономерность, который явился важнейшим теоретическим и политическим плацдар-

мом всего дальнейшего идейного и творческого движения сатирика. Правда, с элементами такого восприятия действительности мы встретились у Салтыкова еще в сороковые годы, в период «Противоречий» и «Запутанного дела». Но широкую, развернутую концепцию (разумеется, художественную, а не теоретическую) социально-политической обусловленности «всего нестроения жизни» мы находим впервые лишь в «Губернских очерках». А это произведение обобщало, естественно, не только эмпирически-бытовой опыт Вятки, но и содержание всего этапа идейного развития, пройденного здесь сатириком.

В каком направлении развивалась дальше мысль Салтыкова, настойчиво и упорно пытавшегося проникнуть в объективные закономерности исторического развития, понятого как «порядок вещей», показывает следующий, весьма примечательный факт.

Находясь в Вятке, Салтыков проявляет интерес к известному политическому писателю-рационалисту XVIII века Чезаре Беккариа. Он пристально изучает его знаменитый трактат «О преступлениях и наказаниях», делает выписки из него и собирает материалы для биографии автора. Одновременно он набрасывает несколько самостоятельных критических и полемических заметок «Об идее права», намереваясь, очевидно, развить их в целое сочинение. К сожалению, эти интереснейшие материалы не дошли до нас в полном виде. Мы знаем их лишь по тем наброскам, которые столь скупно привел К. К. Арсеньев в своих «Материалах»<sup>76</sup>.

Судя по этим отрывкам, Салтыкову был близок протест Беккариа против системы жестоких уголовных репрессий в полицейско-абсолютистском государстве, были близки идеи о том, что главная задача государства должна заключаться не в карах, а в предупреждении появления преступлений при помощи воспитательных мер, широкого распространения образования и уничтожения резкого имущественного неравенства. Но разделяя эти классические идеи буржуазного просветительства XVIII века, Салтыков, что весьма показательно, уже чужд крайнему рационализму, а главное, антиисторизму воззрений итальянского криминалиста, хотя в полемике с ним он и сам находится в плену идеалистических воззрений на



историю, преодолеть которые сатирику не удалось и впоследствии.

Выписывая мысль Беккариа, резюмирующую известную теорию социального договора о происхождении государства: «Люди согласились, молчаливым контрактом, пожертвовать частью своей свободы, чтобы пользоваться остальным спокойно...», Салтыков снабжает цитату своим возражением: «Нельзя себе представить, чтобы человек мог добровольно отказаться от части свободы, да и нет в том никакой необходимости».

Еще выразительнее другое полемическое замечание. Салтыков повторяет мысль Беккариа, что в уголовном кодексе, как и в законодательстве вообще, «отражается, со всеми ее безобразными или симпатическими сторонами, внутренняя и внешняя жизнь народов». По мнению Салтыкова, «редко случается так, что уголовный кодекс является не продуктом народной жизни, а чем-то случайным, внешним, примененным к народу без всякой живой с ним связи» (вряд ли приходится сомневаться, что такой «редкий» случай усматривается здесь именно в уголовно-правовом законодательстве самодержавия). Если же нормы нарушены, если правовые институты не являются «продуктом народной жизни», то, заключает Салтыков свою мысль: «Такие факты никогда не проходят даром; рано или поздно народ разобьет это прокрустово ложе, которое лишь бесполезно мучило его. Как бы ни был младенчески неразвит народ (а где же он развит?), он все-таки никогда не захочет улесться в тесные рамки искусственно задуманной административной формы».

Опыт непрекращавшегося стихийно-революционного натиска русского крестьянства против крепостнической кабалы, опыт восстаний Степана Разина и Пугачева, а также опыт европейских революций чувствуется в этих замечательных суждениях формирующегося революционного демократа, преодолевающего ограниченность западноевропейских утопических социалистов XIX века с их рационалистической концепцией о постепенном, строго логическом и мирном историческом развитии.

Служебный опыт Салтыкова также должен был способствовать, со своей стороны, вызреванию в нем мы-

слей о чуждости и враждебности царско-помещичьей власти массам русского народа. Разумеется, не только размышления об уголовном кодексе, но и наблюдения над практикой других правовых и административных институтов русского самодержавия, практикой, которую сатирик так досконально, изнутри изучил и притом в ее низших звеньях, там, где она непосредственно соприкасалась с «управляемым» народом, позволили Салтыкову впервые увидеть всю меру гнета и насилий полицейско-бюрократического аппарата царизма над массами. Вятская дореформенная служба Салтыкова, несомненно, способствовала в этом смысле приближению сатирика к пониманию антинародной сущности всего полицейского государства Николая I. Недаром, когда по возвращении в Петербург Салтыкову пришлось составлять по поручению министра Ланского записку «Об устройстве градских полиций», он прямо заявил здесь о вредности для народа царской полиции и в доказательство этого смелого утверждения сослался на собственные свои наблюдения. Он писал: «В России благотворное действие полиции незаметно; что касается до ее злоупотреблений и сопряженных с всеобщим ущербом вмешательств в частные интересы, то они не только заметны, но оставляют по себе несомненно весьма вредное впечатление. Всякий, кто не праздно жил в провинции и всматривался в окружающие явления, без труда поймет справедливость этого замечания. В провинции существует не действие, а произвол полицейской власти, совершенно убежденной, что не она существует для народа, а народ для нее»<sup>77</sup>.

Заметки «Об идее права» замечательны тем, что в них впервые, но уже вполне отчетливо проступают две из наиболее сильных сторон будущего зрелого мировоззрения сатирика: понимание народа как субъекта истории, ее движущего фактора, и признание служения интересам народа высшим мерилом всякой частной, общественной и государственной деятельности. Вместе с тем в заметках «Об идее права» сформулирована мысль о возможности и необходимости революционных «скачков» в историческом развитии. Однако до ясного политического осознания Салтыковым всей полноты выводов, вытекающих из этих принципов, было еще далеко.

Так, от признания социальных противоречий жизни через критический фазис «примирения» с действительностью, понятой в качестве нерегулируемого человеком грозного «порядка вещей», Салтыков постепенно подходит к мысли, что «быть человеком действительности», к чему он так стремился, вовсе еще не значит подчиняться ей, а часто значит, наоборот, бороться с этой действительностью. Поиски общественных сил, на которые можно было бы опереться в такой борьбе, приводят Салтыкова к открытию значения активности народных масс как фактора исторического движения. Исторические судьбы все отчетливее предстают перед ним как судьбы народа.

Конечно, эти попытки материалистически осмыслить законы общественной борьбы еще очень несовершенны у Салтыкова пятидесятых годов. Но они свидетельствуют, во всяком случае, о продолжавшемся и в условиях вятского безвременья развитии мысли писателя, а не об ее «идеологическом параличе», хотя бы и временном.

Воссоздать полностью картину идейно-творческой работы сатирика в годы Вятки при скудости дошедших до нас материалов не представляется возможным. Несомненно, однако, что интеллектуальная активность Салтыкова в рассматриваемый период, при всем ограничении ее условиями служебной деятельности и бескультурьем провинции, была гораздо значительнее, чем это обычно изображают. В подтверждение можно сослаться дополнительно к сказанному еще на следующие достаточно показательные факты.

Среди вятских бумаг сатирика, тщательно сохранявшихся им до конца жизни, а позже утраченных наследниками, имелись, по свидетельству К. К. Арсеньева, сверх упомянутых заметок «Об идее права» и начала статьи о Беккариа, еще две группы рукописных материалов.

Первую группу образовали сделанные Салтыковым переводы отрывков из сочинений: «De la démocratie en Amérique» Токвиля, «Etudes administratives» Вивьена и «Histoire de l'administration monarchique en France» Шерюеля. К сожалению, Арсеньев весьма скупо использовал эти выписки в своих «Материалах». Из нескольких страниц он процитировал всего 5—6 строк, даже не упомянув о содержании всех остальных. Но и приведенные им строки глубоко интересны. Вот, например, что выписывает и переводит Салтыков из Токвиля:

«Центральная власть, как бы ни была просвещенна, не может обнять все подробности жизни великого народа; когда она хочет своими средствами управлять многоразличными пружинами народной жизни, она истощается в бесплодных усилиях...» А вот выписка из «Административных этюдов» французского политического деятеля и писателя Вивьена (книга была новинкой — вышла в Париже в 1853 году): «...Предупредительный элемент ослабляет правительство. Оно делается ответственным за все, делается причиною всех зол и порождает к себе ненависть. С другой стороны, граждане теряют всякую самодетельность...»<sup>78</sup>

Существует взгляд, высказанный уже в наши дни (сам Арсеньев ограничился, возможно по цензурным соображениям, молчаливым приведением цитат, без какого-либо комментария), по которому интерес Салтыкова к названным «научным книгам» был вызван тем, что он «подходил к своей служебной работе... научным образом». Сама выписка названных книг (через брата или Вл. Милютина) ставится поэтому в один ряд со встречающейся в письмах Салтыкова просьбой прислать ему Свод законов<sup>79</sup>.

Здесь Салтыков-чиновник вновь заслоняет в глазах исследователя Салтыкова-человека со всей сложностью и богатством его духовной жизни. Интерес сатирика к известной книге Токвиля «Демократия в Америке» был вызван, нужно полагать, другими причинами. Французский историк пытался выяснить в этом труде основы политического строя США, особенности происхождения и развития американской республики. «Научные труды Токвиля, — замечает акад. Е. В. Тарле, — относятся к тому периоду развития капитализма, когда буржуазное общество казалось еще незыблемым. Поэтому Токвиль в известной степени объективен и беспристрастен к широким народным движениям и чужд... фальсификации истории»<sup>80</sup>. Но не только историком, а, в первую очередь, политиком-публицистом и социологом выступал Токвиль в этой книге, написанной еще в 1835 году. Он провозглашал здесь близкий, по его мнению, приход демократии в среду европейских народов и старался заранее учесть выгоды и невыгоды этой «исторически законной и неизбежной фазы». Одновременно он подвергал острой критике антидемократические централизованные

режимы европейских монархий и указывал, что «ничто не спасет их в момент, когда народ проснется». Не случайно книга Токвиля пользовалась большим успехом у петрашевцев и имелась в их библиотеке в нескольких экземплярах.

Сохраненная «Материалами» Арсеньева запись Салтыкова как раз и относится к критико-полемическим рассуждениям книги. Цитата легко применялась к критике бюрократически-полицейской, предельно централизованной государственной машины николаевского самодержавия. Содержание цитаты, говорившее об антинародной сущности всякой автократии, входило в русло будущей основной щедринской темы о «попечительном начальстве» и «бедствующем народе». Именно в этом интерес и значение сделанных Салтыковым в Вятке выписок-переводов из Токвиля и Вивьена. Для «научного» же якобы обоснования чиновничьей службы в николаевской бюрократической системе эти цитаты были явно непригодны.

Что касается выписок из Шерьюеля, то они скорее всего относятся уже к более позднему периоду. Называемый Арсеньевым известный труд этого французского историка: «Histoire de l'administration monarchique en France, depuis l'avenement de Philippe-Auguste jusqu'à la mort de Louis XIV», вышел в Париже в 1855 году и вряд ли мог быть использован Салтыковым в Вятке.

Вторую группу утраченных вятских рукописей сатирика составляли «сорок довольно мелко исписанных листов» его работы под названием «Краткая история России». По словам Арсеньева, а также Кривенко, опиравшихся в данном случае, видимо, на свидетельство вдовы, Салтыкова, Елизаветы Аполлоновны, этот очерк, составленный, как было обозначено в заглавии, по разным источникам и доводивший изложение событий до Петра I, обязан был своим возникновением несколько необычной причине. Согласно этой версии, очерк писался Салтыковым летом 1853 года во время служебного отпуска, проведенного в тверском поместье, то есть в Спасском и Ермолино. Отсюда рукопись пересылалась по частям в Вятку. Она предназначалась для сестер — Елизаветы и Анны Болтиных, из которых первая через три года стала женой писателя. Это обстоятельство внушило предвзятое отношение к содержанию рукописи со стороны исследователей. «Характерного в ней немного, — писал Арсе-

ньев — сходного с будущей «Историей одного города» — ровно ничего <!>. Это объясняется, конечно, самым назначением рукописи — служить как бы учебником для молодых девушек, почти девочек». К столь же странному доводу, опирающемуся по существу на то же ложное понимание щедринского шедевра как карикатурно-сатирической истории России, прибегают уже в наши дни другой автор. «Можно ли сомневаться в том, — восклицает этот автор, — что краткая история России... написана отнюдь не пером великого писателя, автора... «История одного города», а обывательским пером вятского кавалера Михаила Салтыкова...» и т. д.<sup>81</sup>

Сомневаться, оказывается, не только можно, но и должно. Два десятка имеющихся в нашем распоряжении строк, разумеется, слишком недостаточный материал для суждений. Однако в этих строках нет ничего, что свидетельствовало бы об их принадлежности «обывательскому перу вятского кавалера». Наоборот, серьезность содержания и изложения, присущие сохранившимся отрывкам очерка, позволяли бы скорее усомниться в том, что рукопись предназначалась для 13—14-летних девочек, то есть в сущности для детского восприятия, если бы об этом не существовало ряда достаточно авторитетных свидетельств, восходящих к самому сатирику. Указанное несоответствие следует, таким образом, отнести за счет педагогической неопытности Салтыкова.

Во всяком случае, каково бы ни было происхождение и назначение рукописи «Краткой истории России», вряд ли можно сомневаться в том, что и этой работе 27-летнего Салтыкова были присущи, как всему, что выходило из-под его пера — до служебных бумаг включительно, какие-то определенные черты индивидуального своеобразия и характеристики.

Это подтверждается и суждениями о рукописи (к сожалению, беглыми и малоконкретными) еще двух лиц. По словам сына сатирика, К. М. Салтыкова, в ней были высказаны «весьма оригинальные взгляды на исторический ход развития России»<sup>82</sup>. С. Н. Кривенко, со своей стороны, пишет, что хотя «Краткая история России» представляла «простое сжатое изложение событий, но Салтыков стремился не упустить в нем ничего существенного и отметить самый дух событий и значение их для народа»<sup>83</sup>.

Если такое направление было действительно присуще историческому очерку Салтыкова, то это, разумеется, уже не компиляция а скорей «концепция», и притом такая, которую в начале пятидесятых годов в готовом виде автор ниоткуда не мог позаимствовать. Однако скупые цитаты Арсеньева не позволяют сделать определенного вывода на этот счет.

Отметим лишь оценку, которая дается в очерке Ивану Грозному и его реформам. Салтыков говорит о «гении» Грозного. Он ставит ему в величайшую заслугу «понимание государственных интересов» и непреклонную борьбу с децентрализаторскими, антигосударственными и антинародными устремлениями феодального боярства. Особо выделяется значение этой борьбы с реакционным боярством на почве местного управления; сочувственно упоминается об учреждении судебных старост и целовальников, призванных к тому, «чтобы лишать областных правителей возможности грабить народ». Салтыков рассматривает учреждение самой опричины как явление вполне закономерное и целесообразное, так как она «имела целью осуществление давней мысли Иоанна: создать служебное дворянство и заменить им родовое вельможество».

Русскую историю Салтыков изучал по Соловьеву. Воздействие соловьевской концепции ощущается и в приведенной характеристике Грозного. Но это не умаляет интереса сохранившегося фрагмента утраченной исторической работы сатирика. Он следовал в ней, по крайней мере в оценке эпохи Грозного, наиболее передовым историческим взглядом своего времени (в первую очередь Белинского), демонстрируя тем свою свободу от воздействия еще широко распространенной тогда антиисторической трактовки этого вопроса Карамзиным.

В годы вятской ссылки Салтыков не только занимался историческим прошлым России, но и пережил, в качестве современника, драматизм текущих исторических событий — Крымской войны 1853—1855 годов. О том, как отразились эти события в захолустном провинциальном обществе, Салтыков рассказал в очерке 1874 года «Тяжелый год».

«Я жил тогда, — вспоминал сатирик, — в одном из опальных захолустьев России. В Крыму, на Черном море, на берегах Дуная гремела война, но мы так далеко за-

сели, что вести о перипетиях военных действий доходили до нас медленно и смутно. Губерния наша была недворянская, и потому в ней не могли иметь место шумные демонстрации. Не было у нас ни обедов по подписке, ни тостов, ни адресов, ни просьб о разрешении итти на брань с врагом поголовно, с чадами и домочадцами. Мы смиренно радовались успехам родного оружия и смиренно же горевали о неудачах его...

Повторяю: вести с театра войны доходили до нас туго. Не было в то время ни железных дорог, ни телеграфов, а были только махальные. Почта приходила к нам из Петербурга два раза в неделю, да и то в десятый день. Собираясь в почтовые дни в клубе, мы с жадностью прочитывали газеты и передавали друг другу известия, полученные частным путем... В особенности много мutilили нас частные письма, которыми мы, так сказать, комментировали загадочность газетных реляций. То держится Севастополь, то сдан; то сдан и опять взят. По поводу подобных известий сочинялись целые планы кампаний. С картой театра военных действий в руках, стратеги в вицмундирах толковали по целым часам... Таким образом, по части внешних известий все было мрак и сомнение...»

«Был, однакож, признак, — вспоминает дальше Салтыков, — который даже искренно убежденных в непобедимости русского оружия заставлял печально покачивать головами. Этот признак составляли: непрерывные рекрутские наборы, сборы бессрочно-отпускных и т. п. ...Наборы почти не перемежались. Не успеет один отбыть, как уж другой на дворе. На улицах снова плачущие и поющие толпы. Целыми волостями валил народ в город и располагался лагерем на площади перед губернским рекрутским присутствием, в ожидании приемки... В рекрутском присутствии шла деятельность беспримерная. Прием начинали с восьми часов утра, кончали в четыре пополудни, принимая в день от восьмидесяти до ста двадцати человек. Происходила великая драма, местом действия которой было рекрутское присутствие и площадь перед ним, объектом — податное сословие, а действующими лицами — военные и статские распределители набора, совместно с откупщиком и коммерсантами — поставщиками сукна, полушубков, рубашечного холста и проч.»



И дальше Щедрин переходит к полному гневу и сарказму описанию той вакханалии хищничества и казнокрадства, которой имущие группы и чиновничество Вятки ознаменовали свое участие в «великой драме» Крымской войны, лицемерно прикрывая свои корыстные интересы высокими словами «отечество» и «патриотизм».

Вот как описывает сатирик поведение вятского общества во время самого большого рекрутского набора Крымской войны — набора 1854 года.

«И вдруг неслыханнейшая оргия взволновала наш скромный город. Словно молния, блеснула всем в глаза истина: требуется до двадцати тысяч фатников! Сколько тут сукна, холста, кожевенного товара, полушубков, обозных лошадей, провианта, приварочных денег! И сколько потребуется людей, чтобы все это сшить, пригнать в самый короткий срок!

И вот весь мало-мальски смысленный люд заволновался. Всякий спешил как-нибудь поближе приютиться около пирога, чтоб нечто урвать, утаить, ушить, укроить, усчитать и вообще, по силе возможности, накласть в загорбок любезному отечеству. Лица вытянулись, глаза помутились, уста оскалились. С утра до вечера, среди непроходимой осенней грязи, сновали по улицам люди с алчными физиономиями, с цепкими руками, в чайники воспользоваться хоть грошем. Наш тихий, всегда скупой на деньги город вдруг словно ошалел. Деньги полились рекой: базары оживились, торговля закипела, клуб процвел. Вино и колониальные товары целыми транспортами выписывались из Москвы. Обеды, балы следовали друг за другом, с танцами, с патриотическими тостами, с лением модного тогдашнего романса о воеводе Пальмерстоне, который какой-то проезжий итальянец положил, по просьбе полицеймейстера, на музыку и немилосердно коверкал при взрыве общего энтузиазма.

Бессознательно, но, тем не менее, беспощадно, отечество продавалось всюду и за всякую цену. Продавалось и за грош, и за более крупный куш; продавалось и за картонным столом, и за пьяными тостами подписных обедов; продавалось и в домашних кружках, устроенных с целью наилучшей организации ополчения, и при звоне колоколов, при возгласах, призывавших победу и одоление».

Щедринская позднейшая характеристика быта и нравов вятского общества в годы Крымской войны предста-

вляет, очевидно, не только общий, но и специальный интерес как яркая страница из биографии сатирика, им самим написанная. В этом последнем отношении наибольшее значение приобретает следующее признание Салтыкова, которым он предварил свои только что цитированные воспоминания:

«Это была скорбная пора; это была пора, когда моему встревоженному уму впервые предстал вопрос: что же, наконец, такое этот патриотизм, которым всякий так охотно заслоняет себя, который я сам с колыбели считал для себя обязательным и с которым, в столь решительную для отечества минуту, самый последний из прохвостов обращался самым наглым и бесцеремонным образом?» (XI, 456, 459, 470 — 471).

Щедрин был подлинным патриотом своей страны и народа. Тема любви к родине — одна из важнейших в творчестве сатирика. Он рано узнал, сколько лицемерия и лжи вкладывалось правящими классами в это понятие. Он понимал, как прочно умели связать русские помещики и капиталисты идею и пропаганду «патриотизма» с защитой своих классовых интересов. «Отечество — пирог — вот идеал, дальше которого не идут эти незрелые, но нахальные умы», — писал он о «патриотизме» правящих классов. Людям, идущим против интересов своего народа, Щедрин безоговорочно отказывал в праве именоваться патриотами. Он не мыслил патриотизма оторванно от судьбы народа, от борьбы за «счастье народное». Это была та подлинная «тоскующая любовь», о которой впоследствии писал Ленин в статье «О национальной гордости великороссов», напоминая о патриотизме Чернышевского.

В сложном процессе выработки русской революционной демократией своего понимания патриотизма, противопоставленного «патриотизму» правящих классов, в наполнении этого понятия новым, гуманистическим, демократическим и революционно-освободительным содержанием немалая заслуга принадлежит Щедрину. Подробнее об этом следует говорить при характеристике сатирика в шестидесятые — семидесятые годы. Здесь же важно подчеркнуть, что сам Щедрин исходным пунктом для своих напряженных поисков нового и подлинного патриотизма считал «великую ополченскую драму» эпохи Крымской войны, пережитую им в годы Вятки.

Чтобы исчерпать характеристику идейно-творческой жизни Салтыкова в Вятке, нам остается выяснить, как решается вопрос о его писательской работе в эти годы.

Сам Щедрин, как уже упоминалось, заявлял потом, со всей категоричностью, что, находясь в Вятке, он «ничего не писал» и что «даже подобной мысли в голову мне приходило». В своей первой автобиографической записке (1858) он указал: «С 1848 по 1856 — в литературной деятельности перерыв» (I, 79). То же утверждает во всех старых и новых биографических работах о сатирике.

Утверждения эти нуждаются по меньшей мере в существенных оговорках. Возможно даже, они принадлежат всего-навсего к числу автолегенд, вольно или невольно создаваемых писателями о себе и своем творчестве. Однако скудость и неясность документальных материалов, которыми располагает исследователь по этому вопросу, не позволяют ответить на него со всей определенностью.

В 1849—1855 годах Салтыков действительно не выступал в печати (если не считать опубликованной в официально-ведомственных изданиях статьи-отчета о сельскохозяйственной выставке). Живя в Вятке, он, разумеется, не мог печатать ничего, что имело в основе ту же Вятку. Поместить в каком-либо журнале всего один очерк из «крутогорского цикла», хотя бы под самым непроницаемым псевдонимом, значило бы погубить себя навсегда, учитывая обстоятельства, приведшие его в Вятку. В качестве чиновника он, по существовавшим до конца николаевского царствования правилам, не мог печататься без специального на то разрешения, получить которое ему, сосланному именно за помещение в журнале повестей «без дозволения начальства», было невозможно. Писать впрок, для будущего, Салтыков, по самому свойству своего писательского темперамента, не любил. Процесс литературного труда тогда удовлетворял и увлекал его, когда сулил немедленное воплощение в печатном слове.

И все же, вынужденный обстоятельствами к столь длительному перерыву в писательской работе, начатой еще в лицее, Салтыков встает на путь паллиатива. Он пробует писать «для себя», без расчета на печать. Неда-

ром, вспоминая много лет спустя годы своей службы в провинции, сатирик говорил М. И. Семевскому: «Я писатель по призванию... куда бы и как бы меня ни бросила судьба, я всегда бы сделался писателем; это было положительно мое призвание»<sup>84</sup>.

Выше мы говорили о ряде литературных начинаний Салтыкова в Вятке, связанных с изучением русской истории, пенитенциарного права, биографии Беккариа и некоторых французских политических писателей.

Что касается художественного творчества, то тут позднейшее утверждение сатирика — «ничего не писал» — опровергается прежде всего повестью «Брусин». Она датирована в рукописи 1849 годом, то есть вторым годом ссылки. Встречающиеся в литературе указания, что повесть была написана еще в Петербурге, то есть в начале 1848 года, и лишь доработана в Вятке, — неосновательны. Помимо авторской датировки этому противоречит вся идейно-психологическая проблематика произведения. Она непонятна и невозможна в пределах петербургского периода и, наоборот, закономерна для вятского.

С Вяткой, бесспорно, связана еще одна салтыковская рукопись (сохранившаяся в отрывке). Это художественно-автобиографический набросок, начинающийся словами: «Вчера ночь была такая тихая...» (I, 400—405). Существенный интерес рукописи, опубликованной в 1914 году В. Кранихфельдом под произвольным названием «Из дневника М. Е. Салтыкова»<sup>85</sup>, заключается в том, что она содержит в себе (с небольшими вариантами) знаменитую инвективу из лирического монолога «Скука» в «Губернских очерках»: «О, провинция! ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума...» и т. д. Эта последняя часть наброска заканчивается словами, опущенными в окончательной редакции 1856 года: «Нет, скверно жить в провинции!»

Набросок в целом являлся, видимо, частью более обширного литературного замысла. Каковы были объем и конкретное содержание этого замысла, мы не знаем, но его связь с «Губернскими очерками» не подлежит сомнению. Сверх сказанного выше, она подтверждается тем, что в наброске действие происходит в городе с названием «Крутые горы», замененным затем «Крутогорском». А в сатирической топонимике Щедрина это был первый, предшествующий позднейшему «Глупову», образ, применен-

ный для обличения отрицательных сторон социально-политической действительности во всероссийском масштабе. Этот образ дал наименование целому этапу творчества Щедрина и связанному с этим этапом циклу его произведений («крутогорский цикл»).

Не менее показательны и то, что одно из действующих лиц наброска «Вчера ночь была такая тихая...» носит фамилию Дернова — персонажа будущих «Губернских очерков» (см. «Княжна Анна Львовна» и «Выгодная жеманья»).

Л. Спасская пишет в своих воспоминаниях: «Слышала я также догадки, что часть <Губернских> очерков была написана Мих. Евгр. еще в Вятке. Мать моя, которую он <Салтыков> называл <в «Губернских очерках»> Верою Готлибовной Пройминой, говорила мне, что и в Вятке, в разговорах, он иногда называл ее так»<sup>86</sup>.

Свидетельство осторожное и единичное в мемуарной литературе. Но, как видим, оно находит себе подтверждение, хотя и на ограниченном материале изучения одного из немногих дошедших до нас фрагментов из рукописного фонда «Губернских очерков» (подавляющее большинство рукописей этого произведения до сих пор не обнаружено и, видимо, безвозвратно утрачено).

При всей скудости приведенных документальных материалов мы имеем право сделать на основании их вывод: работу над своим первым сатирическим циклом — «Губернскими очерками» — Салтыков начал еще в Вятке. Можно с уверенностью предполагать, что когда Салтыков приехал, во второй половине января 1856 года в Петербург, и, «затворившись» в Волковских номерах на Большой Конюшенной, усердно принялся за писательскую работу, он имел в своем распоряжении не только накопившийся и ждавший своего воплощения богатый запас мыслей и наблюдений, но и заготовленные еще в Вятке рукописи многих очерков. Пусть это были, скорее всего, черновые редакции, предварительные наброски — суть дела не меняется. Только наличием рукописных «заготовок», эскизов, планов можно, думается нам, объяснить ту исключительную быстроту, с которой Салтыков создал сразу же по возвращении из ссылки свое монументальное произведение. Ведь объем только первых двух томов «Губернских очерков», печатавшихся частями в «Русском

вестнике» на протяжении второй половины 1856 года и вышедших отдельным изданием в январе 1857 года, составляет, в известной нам печатной редакции, свыше 20 листов. По свидетельству же самого сатирика, в передаче Л. Ф. Пантелеева, одна треть очерков при печатании была «выкинута» цензурой и, таким образом, первоначальный объем рукописи 1856 года составлял, возможно, более 25 листов. Из сопоставления записей того же Л. Ф. Пантелеева с рядом других мемуарных свидетельств явствует, что уже в апреле—мае 1856 года Салтыков давал читать рукопись «Губернских очерков» Дружинину, Безобразову и Тургеневу, а в мае—июне передал ее для опубликования в «Русский вестник» Каткову. Таким образом, выходит, что объемистая рукопись в 20—25 печатных листов была создана за какие-нибудь три-четыре месяца. А ведь по приезде в Петербург в январе 1856 года Салтыков не только занимался писательским трудом. Начиная с февраля, он уже выполнял ряд ответственных и очень трудоемких поручений по новой своей службе в министерстве внутренних дел. Значительную же часть апреля он провел в отпуске в Москве и Владимире, в хлопотах о предстоящей женитьбе, отнимавших у него много времени и внимания, и в Петербурге. Предположение, что в эти сроки и в этих условиях Салтыков мог без какой-либо подготовительной работы и первоначальных «заготовок» написать до 20—25 листов художественной прозы, не считая при этом нескольких листов всякого рода «служебных записок», кажется невероятным.

Нельзя также пройти мимо того обстоятельства (хотя оно нуждается в специальном изучении), что некоторые черновые рукописи произведений Салтыкова, относящиеся к «крутогорскому циклу», написаны на бланке «советника Вятского губернского правления». Трудно допустить, что Салтыков, уезжая из Вятки, захватил с собой запас служебных бланков.

В итоге всего сказанного нам представляется бесспорным, что некоторая часть очерков была вчерне написана, «заготовлена» Салтыковым еще в Вятке, хотя в нашем распоряжении и не имеется пока материалов, полностью документирующих и уточняющих этот тезис. Таким образом, обычное представление о полном якобы отходе Салтыкова от литературы в годы ссылки не может быть признано соответствующим истине.

## БОРЬБА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

«В Вятке я жил только мыслью, как бы вырваться оттуда, и ничто другое не занимало меня там».

*Из записи разговора с Салтыковым  
в бумагах В. М. Лазаревского.*

Салтыков приехал в ссылку с надеждой на скорое освобождение. Он был еще так политически наивен, что надежда эта едва ли не равнялась в его сознании полной уверенности, что иначе и быть не может.

Ему было всего 22 года. Он был обеспечен, здоров (суставным ревматизмом, от которого Салтыков не смог оправиться всю жизнь, он заболел на исходе жизни в Вятке). Ссылка не сулила ему материальных лишений. Серьезность же всего случившегося еще не осознавалась Салтыковым в полной мере. В своих письмах он постоянно оценивает «Запутанное дело» как «ничтожную повесть», «опрометчивость», как плод «увлечения молодости» и своего «несколько пылкого характера». Разумеется, эти оценки отнюдь не отражали подлинного взгляда Салтыкова на свою повесть. Они внушены соображениями тактического порядка и были нужны для того, чтобы продемонстрировать перед властями и родственниками полноту «осуждения» Салтыковым своего поступка. Но были в них и вполне искренние ноты. Не умея и не желая примирительно отнестись к постигнутому его несчастью и не видя еще, со всей отчетливостью, его подлинного виновника — полицейское государство, Салтыков, с присущей ему раздражительностью, обрушивал свои проклятия на самого себя и свою повесть. «И чорт меня знает, зачем я написал эту чепуху!» — говорил он не раз своим близким друзьям в Вятке — Иониным<sup>87</sup>.

Такого рода самообвинения объяснялись, помимо крайней порывистости характера Салтыкова, также и незавершенностью его мировоззрения в эту пору. Социально-политический радикализм его «Запутанного дела» являлся, как было показано, еще в большей мере отражением реалистического художественного восприятия действительности и результатом действительно «пылкого» увлечения «полным страсти словом Белинского», идеями социализма и европейскими революционными событиями 1848 года, чем итогом самостоятельной и последователь-

ной работы мысли, вполне сложившихся и устоявшихся взглядов. Было бы натяжкой и преувеличением утверждать, что сам Салтыков рассматривал себя в это время в качестве борца-революционера против существующего строя, хотя глубоко прочувствованное («до боли сердечной», по словам Добролюбова о «Запутанном деле») понимание социальной несправедливости этого строя и сила ненависти к нему объективно уже вывели будущего сатирика на путь непримиримой борьбы с самодержавием и крепостничеством. Но если его «друг и учитель» Петрашевский писал в эти годы из Сибири: «Я смотрю на ссылку как на истинное начало моей политической карьеры, как на положение, которое на меня возлагает новые обязанности»<sup>88</sup>, то Салтыков был далек от такой позиции и ничего подобного сказать о себе не мог. Он, повидимому, действительно не усматривал в своей повести серьезного политического преступления и именно поэтому не ждал от случившегося слишком глубоких последствий.

На первых порах это давало точку опоры, уравновешивало тяжесть катастрофы, внушало надежду, что все случившееся промелькнет быстрым и даже небезынтесным для молодости эпизодом. Отсюда — бодрый, даже иронически-шутливый по отношению к своему новому положению тон первых сообщений Салтыкова из Вятки, поскольку, впрочем, об этом можно судить всего по двум дошедшим до нас письмам (к А. Я. Салтыковой и А. Я. Гринвальд), относящимся к маю 1848 года, то есть к первым дням ссылки.

Встреча с Вяткой описывалась здесь в таких, например, выражениях, столь далеких еще от последовавших вскоре настроений тоски и отчаяния: «...je n'ai pas le temps suffisant pour vous dire tout mon regret d'être si loin de vous. Cependant on m'a reçu à Viatka les bras ouverts, et je vous prie de croire que les gens dont je suis entouré ici ne sont pas des ogres», или: «En attendant je suis ici à augmenter les flots de Viatka par les torrents de mes larmes» \* и т. д. (XVIII, 45—46).

---

\* «...у меня нет достаточного времени для того, чтобы выразить Вам все мое сожаление о том, что я так далеко от Вас. Впрочем, меня встретили в Вятке с распростертыми объятиями, и я прошу Вас поверить, что окружающие меня здесь не людоеды», или: «В ожидании <будущего> я обречен увеличивать воды Вятки потоками своих слез».



Однако первоначальный наивно-оптимистический взгляд на свое новое положение очень скоро был утрачен. Это было связано с историей первой неудачи Салтыкова вернуть себе свободу.

Не прошло и месяца со дня ареста Салтыкова и двух недель его пребывания в Вятке, как он шлет домой в Спасское одно за другим два письма (в печати они неизвестны). В них — просьбы к родителям: не медля начать хлопоты — лишнее свидетельство и «необузданного в своей нетерпеливости темперамента» Салтыкова (по выражению В. И. Ганеева) и, одновременно, владевших им тогда иллюзорных надежд на быстрое освобождение.

Сами родители, хотя и удрученные несчастием, обрушившимся на их сына, были смущены такой поспешностью, тем более что они, как выясняется, еще ничего толком не знали о причине и обстоятельствах его ареста и ссылки.

«От Миши, — писала Ольга Михайловна в Петербург старшему сыну 6 июня 1848 года, — мы получили два письма. Он очень грустит и просит, чтобы мы ходатайствовали о нем прощения. Но можно ли по короткости такого времени осмелиться утруждать государя нашими ходатайствами о нем? Положим, что близко сердцу нашему его несчастье... но все же потребно время на его оправдание. И поэтому я прошу тебя, как можно обсоветоваться с людьми опытными, достойными и притом, если можно нам просить, то <сообщить>, что тебе известно или по близости жительства можно узнать, каким образом последовало его перемещение, по какой вине и на сколько. В таком духе и прошу тебя составить нам прошение, ибо мы не знаем ни существа дела, ни вины его, ни определения — ничего. Каким же образом и о чем будем писать? Можно сделать опрометчивую ошибку. Я прошу тебя из сострадания к брату заняться его участью... Это одно тебя вознаградит счастливым быть отцом детей твоих»<sup>89</sup>.

Дмитрий Евграфович просьбу выполнил, хотя и не слишком быстро, вызвав этим гнев и нарекания отца. В начале августа, то есть через два месяца, он прислал в Спасское составленный им проект «всеподданнейшего прошения». Собственноручно и от своего имени переписанное Евграфом Васильевичем, оно было отослано в Петербург 15 августа. Выбор даты не был случаен. Евграф Васильевич писал по этому поводу:

«А как подходит день коронации государевой 22 августа, то и заблагорассудили мы послать просьбу свою 15 августа, дабы она дошла до Петербурга к 22-му числу, в которое получа, царь может быть и вздумает сделать милость некоторым виновным».

Одновременно он писал Дмитрию Евграфовичу:

«По сей же почте, с этим письмом, посылаю к государю переписанное мною прошение, в виде письма на голландской бумаге, так, как тобою оно сочинено, и уведомляя тебя об нем, ради бога, прошу тебя употребить все старание свое, если есть у тебя в Комиссии прошений знакомые тебе или твоим знакомым люди, то чтобы моя просьба не была уничтожена, а доведена до самого царя, ибо мы слышали, что многие просьбы и уничтожаются, когда Комиссия их не одобрит»<sup>90</sup>.

«Просьба» не была, конечно, уничтожена, но и в «собственные руки» царя, как в провинциальной простоте надеялся Евграф Васильевич (очень хотевший, но «не решившийся» вписать эти слова), не попала. Она поступила, как и полагалось, в Комиссию по принятию прошений на высочайшее имя. Исполнявший в это время, вместо князя А. А. Гагарина, обязанности статс-секретаря в Комиссии А. С. Норов переслал ходатайство военному министру князю А. И. Чернышеву, прося его дать заключение: «...заслуживает ли сын просителя, прежнюю службу своею, монаршего снисхождения». «Весьма секретным» отношением от 4 сентября 1848 года Чернышев отвечал Норову:

«Доставленное ко мне... всеподданнейшее прошение отставного коллежского советника Евграфа Салтыкова о возвращении из Вятки на службу в С.-Петербург сына его... Михаила Салтыкова, я *нахожу совершенно преждевременным* по следующим причинам:

1. Литературные произведения молодого Салтыкова, которые были причиною увольнения его из Канцелярии военного министерства, напечатаны им в периодических изданиях, в противность существующих узаконений, без ведома и дозволения своего начальства.

2. Содержание сих произведений обнаруживает не только легкомыслие <на этот «спасительный» довод ссылался Евграф Васильевич. — С. М.>, но и вредный образ мыслей, тем менее простительный для Салтыкова, что, принадлежа к одному из лучших дворянских родов, имея хорошее состояние и будучи обязан воспитанием своим в Лицее благотворению государя императора, он мог и должен был видеть всю нелепость и гибельное направление идей, потрясших Западную Европу, и понимать, сколь много заслуживают порицания и справедливого наказания лица, стремящиеся к распространению своих идей...»<sup>91</sup>

«Первый министр империи» и личный друг царя, Чернышев очень ясно сформулировал классовый «состав преступления» Салтыкова. Юный отпрыск «одного из лучших дворянских родов» России обвинялся в идеологическом и политическом отступничестве от своего класса и его госу-

дарственной власти. Верный проводник политики Николая I, Чернышев знал, что царь, никогда не забывавший о декабристах, был особенно неумолимым к политическим отщепенцам из дворянской среды, изменившим делу своего класса, и не допускал в отношении их никакого снисхождения.

Мучительная борьба, связанная с историей его попыток добыть себе освобождение, начался<sup>92</sup>. Первые неудачи не обескуражили его. Он не хотел сдаваться и боролся целых семь лет. Чем дальше, тем больше овладела им жажда освобождения от «постылой Вятки». И одновременно чем дальше, тем больше раскрывалась перед Салтыковым тщетность всех затрачиваемых усилий, иллюзорность надежд на монаршую милость. Это явилось для него своего рода школой политического воспитания, постепенно исцелившей его от политической наивности первых дней ссылки. Но вместе с тем, и это была оборотная сторона медали, ощущение еще полной (так казалось) непоколебимости николаевской полицейской государственности, о которую разбивались все попытки Салтыкова вернуть себе утраченную свободу, порождало у него порою настроения отчаяния. Мы уже видели, что эти настроения объясняют многое в подневольной жизни и поведении сатирика.

Энергия, затраченная Салтыковым на хлопоты по освобождению, была огромна. Прошения о пересмотре дела подают родители Салтыкова и он сам. За него, по его настояниям, хлопочут его петербургские друзья и знакомые: В. и Н. Милютины, Ю. Толстой, Я. Ханьков, А. Гвоздев и его вятское начальство: губернатор Середя и сменивший его губернатор Семенов. «Прошения на высочайшее имя» подаются официальным путем, через Комиссию по принятию прошений, а также через наследника, будущего императора Александра II. Обращаются к военному министру Чернышеву и его преемнику Долгорукову, к шефу жандармов Орлову и управляющему III Отделением Дубельту, к министру внутренних дел Перовскому, к сменившему его на этом посту Бибикову, к управляющему министерством и будущему министру Ланскому, а также к целому ряду ответственных чиновников этого и других ведомств. Просят о «помиловании» и о простом смягчении участи. Чтобы вырваться из Вятки, Салтыков согласен — и хлопочет об этом — перевестись на службу в Уфу, Орен-

бург и даже в далекий Иркутск. С другой стороны, он согласен выйти в отставку и жить в деревне. Во время Крымской войны у него возникает идея вступить ратником в ополчение и хоть этой ценой вырваться из «вятского плена». Все тщетно. Долгожданную свободу принесли Салтыкову лишь «новые времена», новые исторические условия: крах «николаевщины» и смерть самого Николая I.

За семь лет ссылки Салтыкова было предпринято около двадцати различных попыток (не считая многочисленных проектов и планов, не доведенных до практического осуществления) добиться его освобождения или облегчения его участи. Не имея возможности приводить здесь всю относящуюся сюда обширную архивную документацию, ограничимся краткими сообщениями об основных эпизодах борьбы Салтыкова за свое освобождение.

Второе ходатайство об изменении участи Салтыкова было предпринято всего через полгода после первого, весной 1849 года. На этот раз оно было возбуждено от имени обоих родителей — Е. В. и О. М. Салтыковых. Убедившись из неудачи первой попытки в решающей позиции в этом деле князя Чернышева, они одновременно с подачей прошения на «высочайшее имя» обратились за поддержкой своего ходатайства к военному министру (10 марта 1849 г.).

Как и ожидали Салтыковы, их «всеподданнейшее прошение» было препровождено (23 марта) управляющим Канцелярией прошений статс-секретарем кн. А. Ф. Голицыным «на усмотрение военного министра». Последнему был представлен по этому запросу специальный доклад его канцелярии, в котором содержалось, в частности, следующее изложение ходатайства Салтыковых перед царем (в «деле» его нет):

«В просьбах сих Салтыковы умоляют о прощении и возвращении на службу в С.-Петербургскую губернию под непосредственный их родительский надзор 22-х летнего сына их Михаила, представляя на милостивое уважение, что продолжительное служение его в Вятке, куда большею частью отсылаются люди вредные обществу, по несправимой их нравственности, грозит им опасностью сокрушить в нем чистоту нрава и погубить его навсегда. Нисколько не извиняя настоящего его поступка, но зная правила, кои они поселили в нем с детства, и воспитание, данное ему в императорском лицее, Салтыковы твердо убеждены, что к напечатанию означенных повестей побудился он не дурным образом мыслей, а одним лишь необдуманным желанием выказать свое ребяческое остроумие».

Handwritten manuscript page with dense cursive text, likely a draft of a story. The page is filled with numerous lines of text, some of which are crossed out or heavily corrected. The handwriting is very tight and difficult to read. There are several large, dark ink blotches and corrections throughout the page, particularly in the middle and lower sections. The text appears to be a mix of Russian and possibly some other languages or dialects, given the context of the caption. The overall appearance is that of a working draft or a heavily revised manuscript.

Страница из черного автографа повести «Брусин»,  
написанной Салтыковым в Вятке

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград



28 марта 1849 года прошение Салтыковых было отправлено обратно Голицыну в сопровождении «отношения», в котором Чернышев писал: «Принимая во внимание, что титулярный советник Михаил Салтыков состоит в ведении министерства внутренних дел, и не желая определить его вновь в военное министерство, я считаю себя не вправе представить на всемилостивейшее воззрение просьбы родителей Салтыковых о переводе его на службу в С.-Петербургскую губернию».

Ведомственная отписка Чернышева, нимало не маскировавшая его отрицательного отношения к вопросу о возвращении Салтыкова, оставляла, однако, возможность продолжать хлопоты по линии министерства внутренних дел. Так и было поступлено, как это явствует из письма кн. А. Голицына к министру Перовскому от 12 апреля 1849 года, содержавшего просьбу сообщить сведения о Салтыкове и «присовокупить» его, Перовского, мнение по существу дела. Резолюция министра гласила: «Сообщить сведения, какие у нас имеются о поступках его и о хорошем поведении, и отвечать, что со стороны моей нет препятствий к прощению»<sup>93</sup>. Получив этот ответ, Голицын отправил 30 апреля гр. А. Ф. Орлову письмо. Шеф жандармов ставился в известность о том, что в результате сношений Голицына с министром внутренних дел, а последнего с вятским гражданским губернатором Середой, «граф Перовский полагает, что сей чиновник заслуживает ныне монаршего милосердия». Сообщая об этом, Голицын просил в заключение Орлова «почтить» его уведомлением: не представляется ли с его стороны «препятствий к исходатайствованию испрашиваемой Салтыкову монаршей милости». Прочтя бумагу, Орлов написал на ней: «Препятствий нет, но не излишне было бы предварительно спросить г. военного министра». В соответствии с этой резолюцией и был составлен ответ III Отделения Голицыну (отправлен 1 мая).

Но военный министр, как мы видели, уже запрашивался на первой стадии дела. Голицын, видимо, не счел нужным обращаться к Чернышеву вторично и составил на основании всех поступивших к нему бумаг «всеподданнейший доклад» о Салтыкове, датированный 14 мая 1849 года. Однако доклад был представлен сначала на рассмотрение наследника цесаревича, будущего Александра II. Наследник наложил резолюцию: «Представить на высочайшее

воззрение». Доклад был заново переписан и 26 мая лично представлен Голицыным Николаю I. «Р а н о», — написал на докладе царь<sup>94</sup>.

Одно слово венценосного жандарма сразу уничтожило всю сумму усилий, затраченных на ходатайство. А между тем Салтыков в начале предпринятых хлопот возлагал на них большие надежды. Он даже стремился принять непосредственное участие в «продвижении» в петербургских сферах своего дела. С этой целью, почти одновременно с подачей прошения родителями, он начал хлопотать о разрешении ему поездки в столицу. Он просил об этом губернатора Середу 11 марта 1849 года (XIX, 39), и тот через четыре дня, 15 марта, писал в Петербург министру внутренних дел: «...определенный при мне старшим чиновником особых поручений тит. сов. Салтыков обратился ко мне с просьбой об увольнении его в отпуск на четыре месяца в Тверскую и Ярославскую губернии с тем, чтобы часть этого времени дозволено было ему пров'ести в С.-Петербурге для принятия советов от тамошних врачей касательно болезненного положения его»<sup>95</sup>. Ссылка на «медицину» не помогла. Просьба Салтыкова, как и следовало ожидать, была безоговорочно отклонена властями.

В декабре того же 1849 года тот же губернатор Серeda обратился в министерство внутренних дел с представлением об откомандировании Салтыкова для обозрения городов Вятской губернии и назначения ему жалованья в 500 рублей серебром. В этой связи у Салтыкова рождается новая идея: попытаться превратить командировку в амнистию (по крайней мере юридическую) для себя. Он писал по этому поводу брату Дмитрию (5 ноября 1850 года): «...я просил Вл. Милютина, чтобы он через брата своего похлопотал, чтобы, пользуясь этим представлением губернатора, меня просто причислили к министерству, с тем, чтобы на все время моей опалы считать меня в командировке в Вятской губернии и давать мне здесь или в одной из смежных губерний поручения... Нет нужды объяснять тебе, как для меня важно это дело. С отчислением моим по министерству внутренних дел я, *de facto*, изъемяюсь из моего тяжелого положения...» (XVIII, 47—48).

У нас нет сведений, исполнил ли Вл. Милютин просьбу своего товарища и в какой инстанции Салтыкову было



отказано в ней. Но нужно полагать, что ничего серьезного на этот раз и не было предпринято. Слишком безнадежно было хлопотать об облегчении участи человека лишь через три месяца после того, как он по «высочайшему повелению» привлекался к дознанию по делу о государственном преступлении — по делу петрашевцев, и через полгода после того, как ходатайство о возвращении его из ссылки было отклонено царской резолюцией: «рано». Можно предполагать, что именно эти обстоятельства определили неудачу и другого ходатайства о Салтыкове.

4 марта 1850 года из канцелярии Середы пошло в Петербург представление о награждении Салтыкова очередным чином — коллежского асессора. Так как Салтыков находился в качестве поднадзорного на особом положении, то губернатор не включил его в общий список представляемых чиновников, а вошел с особым представлением о нем одним. В этой связи Салтыков писал брату 6 марта 1850 года: «...прошу тебя, не будет ли возможности возбудить из этого повод для всеподданнейшего доклада обо мне... подобный доклад напомнит государю обо мне...» (XVIII, 50). Салтыков, судя по его письмам, не был осведомлен родными, что не кто иной, как сам царь подтвердил недавно неизменность своего приговора по его делу, которого отнюдь не забыл. Салтыков все еще сохранял свои надежды на «монаршую милость». Однако план его не был поддержан родными и друзьями в Петербурге, а представление губернатора Середы успеха не имело. Полагавшегося ему повышения в чине Салтыков не получил. Для нормального прохождения службы это было бы беспрецедентно. Отказ был вызван политическими причинами.

В самом начале марта того же 1850 года Ольга Михайловна приехала в Петербург, чтобы в третий раз подать «прошение на высочайшее имя». С первых же шагов ее постигла неудача, которая сразу же внушила ей сомнения в успехе всего дела. О случившемся Ольга Михайловна сочла необходимым сообщить Салтыкову, но ей трудно было сделать это самой. По этому поводу она писала сыну Дмитрию 14 марта 1850 года уже из Спасского: «Ах, как меня убило о Мише, что не удалось кн<язю> доложить лично! Так меня это печалит и страшит... Я ему о сем не пишу, а писала, что еще неизвестно, чем кончится. Уж сообщи ему все сам, как знаешь, право, у меня духу не-

достаёт»<sup>96</sup>. Упомянутое письмо Ольги Михайловны в Вятку неизвестно, но о содержании его мы узнаем из следующих строк письма Салтыкова к Дмитрию Евграфовичу от 4 апреля 1850 года: «Маменька пишет, что относительно моей участи ей еще ничего решительно неизвестно и что ты об всем меня уведомишь. Из этого я должен заключить, что маменька предпринимала что-нибудь в мою пользу, но все это так темно и неопределенно, что составляет для меня только предмет страданий и сомнений» (XVIII, 52).

Письмо Д. Е. Салтыкова к Михаилу Евграфовичу не сохранилось, и остается, таким образом, неясным, какая неудача постигла Ольгу Михайловну в ее хлопотах в марте 1850 года в Петербурге и что обозначают ее слова: «не удалось кн<язю> доложить лично». Идет ли тут речь о князе Чернышеве, или князе Голицыне, или еще о каком-либо высокопоставленном лице с княжеским титулом, действия которого искала Ольга Михайловна; говорится ли тут о несостоявшемся, но обещанном докладе одного из этих лиц кому-то и кому именно или о неудаче ее собственного личного обращения к «князю» — все это остается неизвестным.

Не знаем мы и точной даты подачи прошения. Возможно, что оно было подано не в начале марта, как считал Салтыков (XVIII, 54), а несколько позже. Запрос о Салтыкове из Комиссии прошений вятскому губернатору датирован 11 апреля. А ровно через месяц прошение Ольги Михайловны было отвергнуто Николаем I. «Рано», — написал он на «всеподаннейшем докладе» князя Голицына от 11 июня 1850 года, в точности повторив, таким образом, свою резолюцию 1849 года<sup>97</sup>.

Салтыков, с понятным волнением и преувеличенными надеждами ожидавший результатов нового обращения к царю, перенес известие об очередной неудаче тяжело, но мужественно (XVIII, 49, 52, 54, 56). Он не впал в отчаяние и сохранил активность для продолжения борьбы. В письмах к родным он настойчиво рекомендует теперь изменить тактику дальнейших хлопот. Он пишет в Спаское 15 июля 1850 года:

«Из письма Вашего, милая маменька, я вижу, что Вы в сентябре собираетесь в Петербург; если Вы думаете вновь утруждать государя просьбою обо мне, то я полагаю, что это всего удобнее было бы сделать в ноябре

и не через Комиссию прошений, а просто подать записку военному министру или графу Орлову. Если бы Вам угодно было согласиться на мое предложение, то я прислал бы к Вам и проект записки; если бы Вы подали записку военному министру, то я бы вместе с тем написал к некоторым лицам, которые меня знают и могут иметь в этом деле влияние, чтобы они похлопотали; так, например, барону Вревскому, Суковкину, Пейкеру и т. д. Я думаю, что через военного министра действовать лучше, потому что по его докладу я и послан, ...но во всяком случае не через Комиссию прошений, которая не ходатайствует, а просто докладывает о поступающих просьбах» (XVIII, 56—57).

Но после повторного отказа Николая I было очевидно, что никаких шансов на успех новое ходатайство не имело, и Ольга Михайловна медлила с его возобновлением. Не информированный полностью об обстоятельствах дела, не зная, видимо, о главном — двукратном veto самого царя, Салтыков воспринял прекращение дальнейших хлопот как знак того, что даже мать свыклась с его положением и уже не видела в судьбе сына несчастья, из которого нужно было бы как можно скорее вызволить его. Он вынужден напоминать о необходимости этого сам. «Если можно, то уприси маменьку возобновить ходатайство обо мне...» — пишет он 18 ноября 1850 года брату Дмитрию (XVIII, 66). Он намерен вповь «проситься в отпуск и хоть на несколько времени в Петербург», чтобы «возобновить некоторые знакомства и похлопотать лично о своем освобождении» (XVIII, 63). Назначенный распорядителем вятской сельскохозяйственной выставки, он «придумывает» «прехитрую штуку» — просить министра государственных имуществ, влиятельного графа Киселева, обращавшего большое внимание на губернские выставки, о награде, чтобы возбудить «всеподданнейший доклад» о себе, надеясь, что вместо «креста» ему, «может быть», разрешат вернуться в Петербург (XVIII, 60). Но и эти попытки потерпели неудачу. Более того, в ответ на свои просьбы о помощи он получает в начале нового, 1851, года «грозное письмо» от матери с требованием примириться со своей участью.

Как уже указывалось, и это грозное письмо, и временное прекращение хлопот были вызваны не только трудностями последних, но явились, видимо, выражением недовольства матери «ослушанием» сына, только что реши-

тельно отклонившего ее предложение об устройстве выгодного брака с некоей Стромилловой.

Пораженный Салтыков с отчаянием пишет брату: «Рас-толкуй мне, ради бога, что за причина, что маменька написала мне такое грозное письмо, в котором выразила, что ей тягостно хлопотать за меня. Неужели мое дело так безнадежно?» (XVIII, 68). Он почти близок к отчаянию. «Дела мои идут совсем плохо, — пишет он в эти дни. — Бросили меня все, и знакомые и родные... Само собой разумеется, что если никто за меня хлопотать не будет, то я навсегда могу остаться в Вятке» (XVIII, 69).

Салтыков вновь берется за дело сам. Он пробует действовать через губернатора Середу и добивается успеха в начальной стадии. 17 марта 1851 года из канцелярии губернатора пошло в Петербург к высшим властям представление о снятии полицейского надзора с опального и о разрешении ему свободного выезда из Вятки. Салтыков с понятным нетерпением и тревогой ожидал исхода дела. Чтобы не повредить ему, он даже отказался от возможности хлопотать об отпуске — для поездки домой в Спасское к умиравшему отцу (XVIII, 74).

Тщетные надежды. В Петербурге представление Середы, попав в бумажный конвейер департаментских канцелярий министерства внутренних дел, было, по установившемуся уже в «деле Салтыкова» графарету, переслано «на усмотрение г-на военного министра». Чернышев дал свой стереотипный отказ. Очередное ходатайство вновь окончилось неудачей (XVIII, 79, 81).

Независимо от представления Середы, Салтыков с начала 1851 года опять пытается убедить свою мать подать новое «всеподданнейшее прошение». На этот раз его надежды связываются с предстоящим 22 августа празднованием 25-летия коронации Николая I. «Я полагаю, — писал по этому поводу Салтыков брату, — что в день коронации маменька может иметь удобный случай просить обо мне государя» (XVIII, 72). И в другом письме: «Тогда < в августе — сентябре > я, может быть, получу окончательное прошение по случаю празднования 25-летия коронации государя» (XVIII, 75).

Надежда на амнистию по случаю 25-летия царствования Николая I не оправдалась, как и все предыдущие. Сама Ольга Михайловна несколько запоздала с новым ходатайством, но оно было возбуждено в официальном

порядке еще за год до царского юбилея губернатором. В своем донесении Дубельту от 7 августа 1850 года Середа включил Салтыкова в затребованный III Отделением список лиц, находящихся под полицейским надзором в Вятской губернии и подлежащих, по мнению губернатора, амнистии. При рассмотрении списка в III Отделении предложение Середы относительно Салтыкова — «полагал бы возможным ходатайствовать о дозволении ему выезда из Вятки на службу или на жительство, куда пожелает» — было отвергнуто<sup>98</sup>.

Одновременно Салтыков делает попытку перевестись на службу в Оренбург, к вновь назначенному туда генерал-губернатором В. А. Перовскому. С этим планом Салтыков не расстается всю весну и лето 1851 года, предпринимая ряд шагов к его практическому осуществлению. Его желание переехать в Оренбург так сильно, что он соглашается даже служить там без жалованья. Это понимается Ольгой Михайловной как «надежда на мать» и вызывает ее недовольство. Она пишет сыну, что и так посылает ему «больше денег, чем другим», что «братья ропщут» на него, что он, Михаил, «избаловался» и «сам виноват». Она требует от старшего сына Дмитрия, со своей стороны, «повлиять и усовестить нетерпеливого брата» (XVIII, 395) и заставить его отказаться от намерения бросить уже «насиженную» Вятку ради Оренбурга. Она берет под сомнение деловые мотивы этого желания.

В письмах к родным Салтыков всячески убеждал их: перевод в Оренбург «это единственный для меня способ выйти из несносного моего положения» (XVIII, 82), «я могу... больше выиграть там в отношении службы, потому что генерал человек очень хороший и влиятельный» (XVIII, 80), а «рекомендация и ручательство человека, лично известного государю, может и должна иметь успех более верный, нежели рекомендация начальника вовсе неизвестного» (XVIII, 85), и т. д. и т. п.

Генерал В. А. Перовский был действительно человеком влиятельным и лично известным Николаю I. Неудача его скандально закончившегося похода в Среднюю Азию в 1839—1840 годах (Хивинского похода), стоившая ему отставки с поста оренбургского губернатора, была давно прощена. По личному желанию царя, он вновь теперь ехал губернаторствовать в Оренбург, облеченный, как все «восточные сатрапы» в николаевской империи, огромными,

почти неограниченными полномочиями. Он имел к тому же брата министра, высшего начальника Салтыкова. О В. А. Перовском было известно, что он любит покровительствовать молодым образованным чиновникам и быстро продвигать их. Расчеты Салтыкова в его письмах к родным, таким образом, не были лишены оснований.

Но главное, видимо, заключалось в том, что его манила служба при администраторе, поощрявшем литературные занятия своих подчиненных, доказательством чему являлась писательская деятельность В. И. Даля и В. М. Лазаревского, служивших при В. А. Перовском. Вместе с тем существовали побуждения другого рода, настоятельно звавшие Салтыкова именно в Оренбург. Туда переводился из Вятки и был скоро переведен на должность командующего башкиро-мещерякским войском губернатор А. И. Середы. С ним Салтыков был близок и был многим ему обязан: «В прежнем моем начальнике, — писал он брату о Серее, — я видел не только справедливого начальника, но и друга, глядевшего на меня почти как на члена своего семейства» (XVIII, 85). Хорошо зная нравы провинциального чиновничьего общества, Салтыков опасался, что в качестве доверенного лица прежнего губернатора он делается «предметом инсинуаций и вражды» при новом начальнике. Кроме того, оставшись в Вятке, Салтыков должен был расстаться не только с Сереей, но и с его женой, Натальей Николаевной, с которой, как указывалось, был, вероятно, связан чувствами более сильными, чем простое дружеское знакомство. Во всяком случае ее отъезд из Вятки Салтыков перенес трудно. Его письма за летние месяцы 1851 года исполнены тоски и почти отчаяния.

«Я изнываю в полном смысле слова морально и физически», «я сознаю в себе совершенный упадок душевных сил», «состояние мое делается для меня в полном смысле невыносимым» и т. д. и т. п., — пишет он брату, заключая эти жалобы просьбой «не только не препятствовать моему переходу в Оренбург, как очевидно для меня полезному, но и склонить к тому маменьку, которая, как женщина, разумеется, смотрит на это недоверчиво» (XVIII, 85).

Незвизая на протесты матери, Салтыков энергично продолжал свои хлопоты через находившихся тогда в Петербурге А. И. Середу и В. А. Перовского. В результате управляющий министерством внутренних дел (будущий

министр) С. С. Ланской дал согласие довести просьбу Салтыкова до самого Николая I. 3 августа 1851 года Ланской представил царю, через I Отделение с. е. и. в. канцелярии, следующую «всеподданнейшую записку»:

«В апреле месяце 1848 года, по высочайшему повелению вашего императорского величества, выслан на службу в г. Вятку под особый надзор начальника губернии служивший в канцелярии военного министерства титулярный советник Салтыков, за помещение в периодических изданиях, без дозволения и ведома начальства, литературных произведений, признанных впоследствии предосудительными.

По прибытии в Вятку на службу, Салтыков исполнял по поручению начальства разные должности, а с августа 1850 года состоит советником губернского правления и во все время трехлетнего пребывания своего там отличался, как неоднократно свидетельствовал начальник Вятской губернии, особенно усердно и полезно службой, при безукоризненном поведении.

Ныне Оренбургский и Самарский генерал-губернатор генерал-адъютант Перовский, согласно просьбе Салтыкова, относится ко мне об исходатайствовании дозволения на перемещение сего чиновника в распоряжение его, генерал-губернатора, для определения на соответствующую вакансию.

Осмеливаюсь испрашивать соизволения вашего императорского величества на удовлетворение такового ходатайства генерал-адъютанта Перовского» <следует заключительная формула подписи С. С. Ланского>.

Через пять дней, 8 августа, Ланской был официально извещен, что по его докладу «государю императору неблагоугодно было на такое перемещение Салтыкова изъять высочайшее соизволение»<sup>99</sup>.

Это была предпоследняя из известных нам, пятая по счету, резолюция Николая I о Салтыкове. Первой — царь отправил молодого писателя в бессрочную ссылку, второй — привлек его, вопреки намерению следственной комиссии, к допросу по делу Петрашевского, четвертая последующими — с злопамятностью маньяка отказывал своим «рано» в каком-либо облегчении участи ссыльного.

Несмотря на видимую бесперспективность дальнейших хлопот, Ольга Михайловна, только что ставшая вдовой, уступая настояниям сына и его указаниям на благоприятную ситуацию, связанную с предстоящим празднованием 25-летия царствования Николая I, вновь, и в последний раз, предпринимает в августе 1851 года очередное ходатайство на «высочайшее имя». Теперь она ищет путей к царю, как и советовал Салтыков, помимо Комиссии прошений. Вначале она пыталась представить свое прошение через какого-то высокопоставленного «графа», которого

посетила в Москве. Но тот не только не принял просьбы, но, по словам Ольги Михайловны, еще и оскорбил ее, обозвав «лгуньей». Впрочем, при этом, он все же указал ей путь: через графа Орлова — шефа жандармов <sup>100</sup>.

Но приехав в Петербург, она сумела здесь подать свое прошение (оно датировано 21 августа 1851 г.) наследнику. Его поддержка 1849 года не была, разумеется, забыта и внушала надежду на такое же отношение теперь. Салтыкова просила наследника представить свое прошение лично Николаю I <sup>101</sup>, а к самому царю обращалась «с слезной мольбою» о дозволении ее сыну «продолжать служить в столицах, где все его родные находятся» <sup>102</sup>.

«Повелением» наследника прошение Салтыковой было направлено (гофмаршалом Олсуфьевым) не царю, а в III Отделение и отсюда совершило обычный путь — к военному министру, а от него к министру внутренних дел, в канцелярии которого и было вшито в «дело», так и оставшись недоложенным Николаю I.

В октябре — ноябре 1851 года Салтыков, еще ничего не зная о результате очередного ходатайства матери, предпринимает ряд новых шагов и строит новые планы, возобновляя свой проект 1849 года. Он пишет Н. А. Милютину в Петербург, спрашивая его о возможности быть отчисленным к министерству внутренних дел, с откомандированием в Вятскую губернию для описания городов <sup>103</sup>. Он сообщает брату, что был бы «крайне обрадован» переводу «хотя бы в Иркутск». Что касается Оренбурга, то теперь, после смерти А. И. Середы и отъезда оттуда Натальи Николаевны, этот город сразу потерял интерес для Салтыкова, хотя там попрежнему губернаторствовал В. А. Перовский, к которому он якобы так стремился. У Ольги Михайловны возникает мысль, внушенная, видимо, самим Михаилом Евграфовичем — «просить Мишу в отставку на родину, к большой несчастной матери» <sup>104</sup>. Одновременно он обращается к графу Орлову в III Отделение с просьбой об исходатайствовании ему у царя возвращения в Петербург или хотя бы разрешения «служить в губернии, не ограничиваясь одной Вяткой». Письмо Орлову соглашается передать «непосредственно в собственные руки» флигель-адъютант П. А. Воейков, посетивший Вятку по делам очередного набора в армию. В руки адресата оно попадает 13 ноября. Шеф жандармов накладывает резолюцию «Пусть обратится к кн. Чернышеву».



Через три дня, 16 ноября, Дубельт уведомляет Салтыкова по поручению Орлова: «Так как распоряжение об определении вас на службу в г. Вятку последовало по всеподданнейшему докладу г. военного министра, то об исходатайствовании вам всемилостивейшего прощения следует вам обратиться к его светлости князю Александру Ивановичу <Чернышеву>»<sup>105</sup>.

Личное обращение к сославшему его грозному министру представлялось Салтыкову последним козырем в его игре. Сейчас он решается выложить этот козырь на стол.

15 декабря 1851 года он извещает брата: «Я решился на последнюю меру к освобождению своему из Вятки; написал, вместе с сим, письма к князю Чернышеву, барону Вревскому и Пейкеру...<sup>106</sup>, я уверен, что не получу прощения, если об этом будет ходатайствовать всякий другой, кроме князя Чернышева, и я бы просил тебя, при свидании с Александром Александровичем <Пейкером>, сообщить ему эту мысль мою» (XVIII, 90—91).

Письмо Салтыкова к Чернышеву пришло в Петербург, когда министр был за границей, и поступило к заменявшему его на это время кн. В. А. Долгорукову. Тот, не желая брать на себя никакой ответственности, приказал переслать просьбу министру внутренних дел «на его усмотрение». Перовский отказался поддержать ходатайство. 15 января 1852 года он писал губернатору Семенову в Вятку:

«Имея в виду, что в августе прошлого года г. управляющий министерством внутренних дел, вследствие прежнего ходатайства Салтыкова, входил со всеподданнейшим докладом лишь о переводе его на службу в Оренбургскую губернию, но и на это высочайшее соизволение не последовало, я нахожу за сим невозможным утруждать государя императора новым докладом по настоящей просьбе Салтыкова, о чем и прошу ваше превосходительство приказать объявить ему, в ответ на его просьбу»<sup>107</sup>.

Внизу министерской бумаги, пришедшей в Вятку 28 января, имеется собственноручная надпись: «Предписание сие читал, М. Салтыков». Какие переживания скрывались за этой официальной распиской, видно из письма Салтыкова к брату от 25 февраля 1852 года. Уже перенеся первую боль от удара, по прошествии целого месяца, он так извещал о случившемся: «Просьба моя осталась втуне, и надежды на освобождение из Вятки еще более охладились... судя по этому, я даже начинаю верить

в возможность остаться в Вятке на целую жизнь, потому что нет резона к моему освобождению, ежели оно до сих пор признается невозможным. Эта перспектива до того ужасна, что у меня волосы дыбом становятся при одной мысли об ее осуществлении» (XVIII, 93—94).

После всей этой серии неудач, следовавших одна за другой, ни сам Салтыков, ни его родные не предпринимают в течение почти всего 1852 года никаких новых попыток. Лишь в конце года Я. В. Ханыков, оренбургский гражданский губернатор, бывший лицеист и петербургский знакомый Салтыкова, возбудил ходатайство о переводе своего старого товарища к себе на службу в Уфу (там было его местопребывание), но получил отказ (XVIII, 101 и 397).

Такая же участь постигла и другую попытку этого рода.

В марте 1853 года остановился в Вятке, проездом из Иркутска в Петербург, знаменитый генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев (в будущем присоединивший к своей фамилии титул «графа Амурского»). Царский наместник с неограниченной властью, он относился с полным пренебрежением к петербургской бюрократии и не был чужд настроений своеобразной и подчас весьма резкой фронды против царя и его министров, что принималось иными из современников за выражение его протеста против самодержавия и крепостничества. У себя в Сибири он проявлял иногда демонстративно благожелательное отношение к сосланным декабристам, а в 1858 году ходатайствовал перед Александром II о прощении петрашевцев Спешнева, Львова и самого Петрашевского, которому сначала очень покровительствовал, даже сдружился с ним, а затем, главным образом после знаменитой в истории Иркутска дуэли Беклемишева с Нехлюдовым (о ней писал и Герцен), совершенно возненавидел его и начал злобно и жестоко преследовать. Все это кончилось высылкой Петрашевского из культурного центра, каким был Иркутск, в глухую деревню, где он и умер. Герцен характеризовал Муравьева в «Былом и думах» словами: «Демократ и татарин, либерал и деспот». Кропоткин же в своих «Записках революционера» писал о нем: «Он был очень умен, очень деятелен, крайне обаятелен как личность и желал работать на пользу края. Как все люди действия правительственной школы, он в глубине души был деспот,

но придерживался крайних мнений, и демократическая республика не вполне удовлетворяла его...» <?!>

Таков был, по отзывам современников, человек, который, как свидетельствует Н. А. Белоголовый в своих «Воспоминаниях», «познакомившись с Салтыковым, принял в нем участие и просил у государя о назначении его в число состоявших при нем чиновников».

Письмо Салтыкова к брату от 24 марта 1853 года подтверждает и уточняет свидетельство Белоголового. «На днях, — сообщает здесь Салтыков, — проезжал через Вятку... Муравьев; ему рекомендовали меня, и он предложил мне служить у него. Несмотря на то, что Иркутск находится в 6000 верстах от Петербурга, я решился на эту последнюю меру и подал ему записку о переводе меня в те края на службу. В настоящее время Муравьев должен быть в Петербурге, и дело мое уже в ходу».

Следует думать, что и в далекий Иркутск (нужно представить себе, каким глухим местом представлялся он в пятидесятых годах XIX века!), как незадолго до того в Оренбург, Салтыков стремился главным образом потому, что Муравьев, подобно своему оренбургскому коллеге, пользовался репутацией администратора, поощрявшего литературные и образовательные занятия своих подчиненных. Тяга Салтыкова из Вятки, при наличии всех прочих, определяющих ее причин, была тягой в литературу, к возобновлению писательской работы.

Однако и этим надеждам не суждено было сбыться. «Всемогущий» Муравьев не избег общей участи «ходатаев» за Салтыкова. В ответ на свою просьбу он услышал от Николая I все то же слово: «р а н о»<sup>108</sup>.

Но 1853 год принес Салтыкову первую за все пятилетие ссылки удачу. Ему был разрешен 4-месячный отпуск «во внутренние губернии, кроме столичной», Петербургской. «Высочайшее повеление» по этому ходатайству, начавшемуся просьбой Салтыкова к вятскому губернатору еще 20 декабря 1852 года и прошедшему затем через обязательные инстанции III Отделения, военного министерства и министерства внутренних дел, последовало 17 марта 1853 года. В Вятку известие об этом пришло только 16 апреля, а выехал Салтыков в родные места лишь 16 июня<sup>109</sup>. Предваряя его поездку, тем же маршрутом пошли секретные бумаги губернатора и жандармского штаб-офицера. Власти Тверской и Ярославской губерний

уведомлялись «на предмет принятия зависящих мер», что вскоре к ним «прибудет чиновник, находящийся под особым надзором». Свой отпуск Салтыков провел у матери в Спасском и Ермолино. Отсюда он ездил к сестре Л. Е. Зиловой в Старицкий уезд, Тверской губернии, и, повидимому, два раза был в Москве, где виделся с С. А. Юрьевым. В середине октября 1853 года Салтыков вернулся в Вятку<sup>110</sup>.

Четырехмесячный «отпуск» в свободную жизнь, впечатления от поездки, встреч, разговоров еще более обострили по возвращении горечь изгнания и, вместе с тем, дали новый стимул к продолжению борьбы за освобождение из «вятского плена».

В ближайшие два-три месяца Салтыков, уже не считывая больше на мать, вновь предпринимает одну за другой три энергичные попытки добиться изменения своего положения.

12 декабря он пишет письмо князю А. И. Чернышеву, не зная еще, что его заменил на посту военного министра князь В. А. Долгоруков (XVIII, 107—108). Письмо не производит на министра никакого впечатления. Как и Чернышев, Долгоруков знает о неоднократно высказанной воле царя и с ней одной считается. На прошении Салтыкова кладется резолюция: «Приказано приобщить к делу — 24 января 1854 г.».

7 января 1854 года губернатор Семенов направляет в министерство внутренних дел свое представление о разрешении Салтыкову «жить и служить, где он пожелает». Ходатайство составлено весьма энергично, и Салтыков им доволен. «Письмо написано в самом убедительном тоне», — сообщает он брату 8 января. Действительно, губернатор не пожалел красок. Он даже до такой степени перусердствовал, что впал в пророческий тон и позволил себе неосторожность «положительно заверить» начальство, — о чем, быть может, с сокрушением вспоминал потом, — что «если он <Салтыков>, по увлечению молодости, имел несчастье впасть в заблуждение, то в настоящее время, наученный опытом, он никогда не станет ни явно, ни тайно обнаруживать идей, противных видам правительства»<sup>111</sup>.

Бибиков не обращает никакого внимания на эти «гарантии» политической благонадежности Салтыкова. Получив представление Семенова, он даже не снесся по этому поводу, как полагалось, с III Отделением и с кн. Долго-

руковым. Никуда дальше министерской канцелярии губернаторское письмо не пошло.

Почти одновременно с Семеновым за Салтыкова, по его просьбе, ходатайствовал даже сам вятский жандармский штаб-офицер генерал-майор барон К. Е. Тизенгаузен («рапортом» от 15 января 1854 года на имя Дубельта). Однако и его ходатайство не было принято во внимание.

Безрезультатность очередной серии ходатайств порождает в Салтыкове новые и сложные переживания, в которых, по его собственным позднейшим словам, «сквозь горечь отчаяния проступала еще горшая обида». Этой «обидой» сатирик называл «ту сердечную робость, ту потребность примирения», которые, «как вор, прокрались» тогда в его существование. Письма Салтыкова показывают, что кульминация этих настроений (о которых говорилось выше) относится как раз к 1854 — началу 1855 года. И именно в эту пору в поисках выхода Салтыков пробует иногда, в минуты своих трудных раздумий, уверить себя в необходимости примирения с Вяткой. Выражением этих настроений упадка и усталости являются, в частности, усилившиеся заботы Салтыкова о своем материально-хозяйственном быте. Так, например, в письме от 5 апреля 1854 года он пишет брату: «...я, признаюсь тебе, имею очень мало надежды на освобождение из Вятки, так мало, что даже начинаю исподволь обзаводиться домом. На днях я получил от маменьки премиленькую пролетку из Москвы, купил пару лошадей и проч.» (XVIII, 109). «Седьмой год уж я страдаю, — писал он в другом письме, от 11 июля 1854 года, — и как горько для меня это изгнание — один бог знает. В самой Вятке уже все вокруг меня переменилось; один я остаюсь без всякой надежды на перемену моего положения к лучшему... Без ужаса я не могу представить себя в Вятке стариком, и едва ли мое воображение обманывает меня» (XVIII, 111).

Но столь отличавшее Салтыкова с юных лет неумение примирительно относиться к обстоятельствам, требовавшим, казалось бы, подчинения себе, заставляло его все время противоборствовать этим настроениям покорности и примирения. Он вновь и вновь обретал свою «спасительную злобу» — источник его никогда полностью не угасавшей активности в борьбе за освобождение.

И Салтыков вновь, несмотря на все предыдущие неудачи, просит губернатора Семенова о возобновлении хо-

датайства. Тот повторяет его в самом конце 1854 года. Министр Бибииков на этот раз решает дать ход делу и 12 января 1855 года обращается в III Отделение к графу Орлову с обычным запросом. Шеф жандармов отношением от 17 января 1855 года отозвался благоприятно; но, как обычно, посоветовал Бибиикову «по вышеизложенному представлению вятского гражданского губернатора отнести к г. генерал-адъютанту князю Долгорукову». Военный министр, не возражая со своей стороны, отозвался, однако, что решение вопроса «зависит совершенно от усмотрения г. министра внутренних дел». Пройдя благополучно хождение по всем высшим инстанциям, ходатайство о Салтыкове, таким образом, вновь попадает к Бибиикову, который склонен поддержать просьбу перед царем. Но и на этот раз Салтыкову не суждено было достигнуть такой близкой, казалось бы, удачи.

Шла Крымская война, с каждым днем приближавшая исторический час военного поражения николаевского самодержавия со всеми вытекающими отсюда социально-политическими последствиями для страны и режима. Власти в Петербурге нервничали: Бибиикову, уже находившемуся накануне своей отставки, было не до Салтыкова. Его дело не было доложено и осталось в министерской канцелярии под сукном.

18 февраля 1855 года умер Николай I. Известие о смерти царя пришло в Вятку почти одновременно с возвращением в нее Салтыкова из длительной поездки по раскольничьим скитам Приуралья. Оценить сразу значение события было трудно. Откровенно писать о нем в положении поднадзорного, да еще к человеку, искренно оплакивавшему смерть царя, — невозможно. Отклик Салтыкова в письме к брату от 4 марта 1855 года — краток, почти официален, лишен по существу всякой субъективной окраски. «Не имею слов, — сообщал Салтыков, — чтобы выразить тебе то необыкновенное впечатление, которое произвела эта весть, и с какою быстротой разнеслась она по городу» (XVIII, 113). Казалось бы, из всех обитателей Вятки именно Салтыков должен был испытать «необыкновенное впечатление» с наибольшей остротой и с особенным личным интересом к событию. Однако из писем Салтыкова не видно, чтобы это событие вызвало у него на первых порах особый душевный подъем. Удивительного тут, впрочем, ничего не было. Политическое чувство еще

дремало в русском обществе, придавленном семилетием реакции. Тем более это относилось к такому захолустью, как Вятка. Ведь даже об университетской Казани П. Д. Боборыкин — тогда студент — писал: «Смерть Николая никого из нас не огорчила, но и никакого ликования и что-то не припомню. Надежд на новые порядки тоже не являлось»... и еще: «Покидали мы Казань на девятом месяце нового царствования. В порядках еще не чувствовалось тогда перемены. Новых освободительных веяний еще не носилось в воздухе»<sup>112</sup>.

Ближайшие месяцы после смерти Николая I не ознаменовались никаким движением в деле Салтыкова, что усилило его пессимистические настроения. В Петербурге, в министерстве внутренних дел, наступило фактическое междуцарствие: Бибииков долго сдавал свой пост Ланскому. Да и вообще правящим сферам в эти напряженные для режима дни было не до частных судеб и дел. Долгожданная свобода медлила. А она была особенно необходимой именно теперь, после того как Салтыков, побывав в апреле 1855 года во Владимире (в связи со служебной поездкой), получил у Болтиных окончательное согласие на брак с их дочерью Елизаветой. Перспектива устройства семейной жизни в «постылой Вятке» приводила Салтыкова в отчаяние и отравляла ему его счастье. У него возникает план идти в ополчение (по примеру своего брата Николая), чтобы хотя этим путем вернуть себе свободу. Об этом плане, точнее о сожалениях, что он не воспользовался им (идея возникла, видимо, в начале войны), мы узнаем из письма матери, Ольги Михайловны, к Дмитрию Евграфовичу от 3 сентября 1855 года. Письмо написано вскоре после возвращения Салтыкова в Вятку из 28-дневного отпуска, разрешенного ему губернатором и проведенного в Ермолино — у матери и во Владимире — у невесты (на обратном пути Салтыков посетил Нижегородскую ярмарку)<sup>113</sup>.

Вот что сообщала Ольга Михайловна в этом письме, содержащем, хотя и в очень субъективном истолковании, ряд новых данных для изучения вятского периода биографии сатирика:

«...Получила «Инвалид», из него увидела, что <в Вятке> назначено ополчение <наряду> с прочими губерниями. Пришла мне мысль, что Миша о сем мне писал, а потом и при свидании говорил, что жалеет, что не пошел в Ярославское ополчение»<sup>114</sup>.

Теперь я хотя не буду писать ему ничего о сем, но мне думается, что как заметно он сильно упадет духом, то разве одна привязанность к невесте его удержит от сего желанья. Но иногда положение обстоятельство всю привязанность уничтожает, и человек, ища спасения, решается испытать счастья, что, может, успеет заслужить на войне прощенья или уже получить конец своему существованию. Для меня, я непрочь его благословить, если ему дозволят вступить в ополчение, ибо надеюсь, что может господь бог уже <поведет?> его по сему пути спасения. Только опасуюсь за его здоровье, весьма слабое и плохое. Мне часто приходит в голову, что нет ли в нем зародыша чахотки.

Тем более он решится идти на военную службу, когда узнает, как трудно о нем ходатайствовать и что нет средств получить ему высочайшую милость прощенья... Да будет воля божия... когда нет средства о нем ходатайствовать и нам ему доставить счастье. Если он мне напишет, что пойдет в ополчение, и если ему дозволят, в таком случае я не решусь его останавливать: благословлю его. Может быть предречение отца крестного сбудется над ним, который по совершении крещения сказал, что он будет воин. Может быть господь ведет его к сему пути.

Что ты на это мне скажешь? Прошу тебя, как друга, не отказать мне посоветоваться с людьми благонамеренными, кои принимают участие в людях страждущих, и не оставь меня, сколько можно поскорее, уведомить, чтобы я могла ответить ему, в случае если он мне напишет.

Губернатор с ним очень хорош, как он мне сказывал. И из его увольнения <в отпуск> можно сему верить. Так точно, о чем мы слышали, он <Салтыков? губернатор Семенов?> решительно говорит, что ничего от него <Салтыкова> не было, и надеется, если бы следствием совершенно оправдаться, что это несправедливо о нем <Салтыкове> донесено...

Есть ли, по крайней мере, надежда на его перевод, как истинное желание наскольконибудь жить ближе к матери и видиться с родными? И можно ли надеяться, скоро ли сие может совершиться?

...Миша пишет, что его формуляр вытребовали в Петербург, и он надеется, что его переведут. Кто-то ему сказал, что скоро о том будет уведомление»<sup>115</sup>.

Письмо заставляет думать, что Ольга Михайловна, под прикрытием фраз о «путях господних» и «воли божьей», сама стремилась понудить сына пойти в ополчение. Возможно, она рассчитывала таким образом расстроить его свадьбу с бесприданницей Болтиной. Неискренна Ольга Михайловна и в своем желании видеть сына переведенным на службу поближе к себе. Это явствует из одновременного письма Салтыкова к брату от 2 сентября 1855 года, в котором читаем: «Маменька мне сказывала, что она не проявила желанья на перевод мой в Тверь; я же, напротив того, желал бы и туда <наряду с Калугой>, во-первых, потому, что это близко от своих и мне было бы



жить дешевле, во-вторых, потому, что сообщения с Петербургом удобны, и если не я, то будущая жена моя могла бы, хотя изредка, съездить в Петербург... Сверх того, я надеюсь сойтись и с губернатором, который старый лицеист» (XVIII, 116—117; тверским губернатором был в то время А. П. Бакунин, лицейский товарищ Пушкина). Ольга Михайловна не хотела перевода сына в Тверь, опасаясь, как справедливо полагает Н. В. Яковлев, чтобы он не оказался «контролером и, может быть, даже вершителем ее собственных многочисленных дел в этой губернии».

Неясным остается то место в письме Ольги Михайловны, где она передает с чьих-то слов мнение — либо губернатора, разделявшееся Салтыковым, либо самого Салтыкова (фраза грамматически неправильна и потому неясна), — что он был сослан по ложному доносу и что в случае судебно-следственного разбирательства ему было бы нетрудно «совершенно оправдаться». Возможно, речь тут идет об убеждении Салтыкова (ошибочно, как мы видели), что причиной его ареста и ссылки был донос Н. Кукольника. Однако возможно, что здесь содержится указание на тот, остающийся неизвестным нам, «донос агента» III Отделения, на основании которого имя Салтыкова было внесено в списки следственной комиссии по делу Петрашевского. Салтыков понимал, что, несмотря на непривлечение к судебному процессу, он оказался все же скомпрометированным в глазах властей и прежде всего царя самими допросами по этому делу. Он мог подозревать и, как кажется, не без основания, что упорство, с каким отклонялись Николаем I все просьбы об его амнистии, отчасти объяснялось и этим обстоятельством.

Быть может, хотя это не более чем догадка, мысль о желательности следственного разбирательства своего дела могла быть внушена Салтыкову дошедшими до него слухами о подобных планах самого Петрашевского. Известно, что последний, не признавая законным своего осуждения, еще до выхода на поселение, находясь в 1854—1855 годах на Шилкинском заводе Нерчинского округа, подавал многочисленные просьбы в сенат, в министерство внутренних дел и на царское имя с настойчивым требованием «полного и совершенного» пересмотра своего дела и отмены приговора. Известно также, что Петрашев-

ский весьма энергично пытался склонить к подобной же активности и своих товарищей по процессу. А когда не достиг этого, то с гневным презрением писал: «Этот труд <по организации пересмотра дела> на меня одного безраздельно падает, ибо товарищи мои по ссылке, должен с прискорбием сознаться, слишком ничтожны в нравственном отношении, не говорю в умственном или ученом; позднее мое сожаление о том, что я слишком судьбу мою связал с их судьбою, ни к чему не поведет, как и то, что слишком пренебрегал моими личными интересами для них, и что все, так сказать, *les frais de la guerre* \* как в том, так и в сем случае падут на меня, а благополучные результаты и для них сказаться могут»<sup>116</sup>.

Не успел еще Салтыков вернуться в Вятку из отпуска, как Бибилова сменил на посту министра внутренних дел С. С. Ланской. Повидимому, в связи с этой переменой и вызвавшим ее новым курсом правительственной политики в министерстве обратили, наконец, внимание на лежавшее там ходатайство вятского губернатора о Салтыкове. Поэтому-то и был затребован его формуляр (он был отослан из Вятки 1 августа). Салтыков вновь в ожидании и волнении. Он пишет письмо за письмом в Петербург, умоляя своего брата, а также своего товарища по военной канцелярии Юрия Толстого и находящегося в столице Тизенгаузена напомнить, похлопотать о нем. Он, впрочем, не ждет от нерассмотренного еще представления губернатора 1854 года ничего больше, чем перевода в одну из центральных губерний, и потому вновь ищет путей к полному решению своего дела. «Нельзя ли исходатайствовать мне прощение через в. кн. Константина Николаевича или через в. кн. Марию Николаевну? Могу ли я надеяться на будущую коронацию?» — спрашивает он в своих письмах (XVIII, 119).

Но час освобождения был уже близок. В конце сентября 1855 года в Вятку по делам ополчения прибыл генерал-адъютант П. П. Ланской, двоюродный брат нового министра внутренних дел. Вместе с ним приехала его жена — Наталья Николаевна, в первом браке жена Пушкина (рожд. Гончарова). Находясь в Вятке, Ланские близко сошлись с семьей управляющего Палатой государственных имуществ в Вятке К. Л. Пашенко, состоявшего

---

\* Издержки войны.

в это время членом губернского комитета по созыву ополчения. Жена Пашенко была старой знакомой Натальи Николаевны. По свидетельству Л. Спасской, «Салтыков был принят у Пашенко как родной» и часто посещал их дом. Здесь и состоялось его знакомство с Ланскими, которому суждено было стать столь заметной вехой в биографии сатирика. По словам самого Салтыкова, Ланской принял «живейшее участие» в его положении и 13 октября отправил в Петербург официальное представление об его освобождении (XVIII, 120).

«Ланской такого рода представление сделал, что лучше нельзя ожидать», — писал Салтыков брату (XVIII, 123). Не ограничившись официальным документом, Ланской подкрепил свою просьбу частными письмами к брату-министру и Дубельту. Об этом мы узнаем как из письма самого Салтыкова к Дмитрию Евграфовичу от 13 октября 1855 года, так и из дополняющего его письма Ольги Михайловны к тому же адресату от 2 ноября: «Миша мне пишет, — читаем здесь, — что министра Ланского двоюродный брат... принял в нем сильное участие и сейчас же писал о нем к министру и Дубельту, прося их ходатайствовать у государя ему прощения и, в случае если не угодно будет государю дозволить ему в Петербурге служить, то перевести в другую губернию, с зачислением его в министерство чиновником особых поручений. Дай-то бог, кабы сие господь ему послал счастье. Передай знакомому его генералу <Тизенгаузену>, может он похлопочет, как сие теперь пойдет»<sup>117</sup>.

Л. Спасская сообщает, что большую, если не главную роль в этой активности Ланского сыграла Наталья Николаевна, которая упросила мужа помочь Салтыкову и сама писала о нем министру в Петербург. В свою очередь внимание Натальи Николаевны к Салтыкову и его положению было, по свидетельству той же Спасской, привлечено женой Пашенко, как уже упомянуто давней знакомой Пушкиной-Гончаровой и приятельницей Салтыкова, которую он «очень ценил как чрезвычайно добрую женщину»<sup>118</sup>.

Во всех этих хлопотах, просьбах, рекомендациях сам Салтыков играл отнюдь не пассивную, а, наоборот, весьма активную роль. Свидетельство об этом находим в письме Ольги Михайловны к Дмитрию Евграфовичу от 26 октября 1855 года, в котором читаем:

«Миша пишет, что к ним приехал министра Ланского брат для осмотра ополчения, и они все ему представлялись и ему хотелось обратить его внимание в пользу свою. Хорошо бы это, дай бог, но меня тут тревожит, что у меня было дело с женою Ланского по Заозерью, то это меня пугает. Впрочем, дело мое правое. Уверена, что он по правосудию нисколько не претендует на меня, а все как-то меня тревожит в отношении Михайлы. Дай бог, чтобы он не узнал, что я его мать!»<sup>119</sup>

Ольга Михайловна ошибалась. Она судилась в 1852 году не с женой П. П. Ланского, Натальей Николаевной, а с его родственницей Варварой Ивановной Ланской, рожденной княжной Одоевской, которой принадлежала часть заозерской вотчины, и выиграла у нее дело. Но это обстоятельство не оказало ни малейшего влияния на благожелательную активную позицию Ланского и Натальи Николаевны в хлопотах об освобождении Салтыкова.

С. С. Ланской, получив сразу ряд энергичных ходатайств о Салтыкове, подкрепленных еще устной просьбой и рассказом Тизенгаузена (XVIII, 123), и руководствуясь новым курсом правительственной политики, который министр и призван был проводить, дал ход лежавшему без движения с сентября 1855 года представлению губернатора Семенова. 12 ноября состоялся доклад Ланского царю, а на другой день, 13 ноября, министр извещал вятского губернатора о том, что Александр II «высочайше повелеть соизволил: дозволить Салтыкову проживать и служить где пожелает»<sup>120</sup>.

В тот же день Ланской сообщил о «высочайшем повелении» начальнику III Отделения графу Орлову, и тот отправил распоряжение о снятии с Салтыкова полицейского надзора<sup>121</sup>. В Вятке отношении Ланского и предписание Орлова были получены одновременно, 23 ноября. Но Салтыков был в разъезде по губернии. Известие было официально объявлено ему 29 ноября, на другой день по возвращении в Вятку. В тот же день в ведомости «о лицах, состоящих под надзором полиции в Вятской губернии», против имени Салтыкова появилась надпись: «29 ноября 1855 года надзор полицейский снят»<sup>122</sup>.

Салтыков был свободен. Он немедленно, в тот же день, подал прошение об отпуске, быстро, «работая дни и ночи», завершил свои служебные дела, сдав, в частности, в канцелярию губернатора огромное, уже наспех за-

конченное им дело о раскольниках в восьми томах<sup>123</sup>, частью бросил, а частью «за бесценок» распродал свое имущество, вызвав этим негодование матери, и, заручившись от П. П. Ланского рекомендательным письмом в Петербург, к министру, на рассвете 24 декабря 1855 года выехал в далекий путь, навсегда покидая Вятку.

Он ехал сначала в Ермолино, а затем, через Москву, во Владимир, к своей невесте.

Поспешность, с какой Салтыков воспользовался своей свободой, вызвала недовольство... матери. Ее негодование на то, что он самовольно и преждевременно, с ее точки зрения, покинул Вятку, стало особенно бурным после того, как Салтыков окончательно связал свою жизнь с Лизой Болтиной, не сочтя при этом нужным даже поставить перед ее родителями вопроса о каком-либо приданом.

В этой связи Ольга Михайловна писала сыну Дмитрию 10 мая 1856 года:

«По началу я была, как очумленная Михайловой женитьбой <то есть обручением, так как свадьба была через месяц> или расшибленная. Обыкновенно при страданиях человек не может здраво рассуждать, но теперь как стала в себя приходить, то час от часу раны более стали меня язвить и убивают меня на смерть, когда все это соображу, что он, без всякого резону, не сообразясь и не посоветовавшись ни со мною, ни с тобою, предоставил все только одному своему соображению и, получив прощение, взял все за бесценку распродал и уехал из Вятки, как будто на все готовое для него! Сделал столько ошибок неисправимых и тягостных, тогда как ему бы следовало там бы пожить, жениться. Его жена при недостатках не могла бы быть недовольна вятской жизнью тем более, она там жила. Между тем, бывши при месте, получая 1500 р. сер. жалованья и от меня 1500 р. сер., мог бы жить очень хорошо, благородно, даже если бы хоть отец не помогал его жене, а этим временем приехал бы в Петербург искать место, на которое бы его и перевели. Это было бы и легче и полезнее. Теперь же такое он самонадеянностью своей состряпал себе, болтун, что меня поставил в самое критическое положение. Признаюсь, не ожидала я с его стороны такого действия, которое, конечно, поставит меня в его глазах недоброй матерью. Но я в необходимости нахожусь держаться истины. Любо или не любо ему, а я не могу и не хочу молчать, терпеть и нести тяготы. Будет, я уже много перенесла тягости, теперь не разориться же мне в год. Не знаю, что будет, но все меня убивает и, кажется, на смерть. Бог с ним, не того я ждала, и грустно, что так обманывалась моей надеждой в утешении»<sup>124</sup>.

Не того, вероятно, ждал и Салтыков. В одиночестве ссылки у него, естественно, должны были возникнуть иллюзии предстоящего после длительной разлуки сближения с домом, с семьей.

Столкновение с матерью, оказавшейся неспособной даже в момент возвращения сына из длительного изгнания отказаться в отношении к нему от своих «пошехонских» принципов, корысти и расчета, вновь заставили Салтыкова задуматься о родной семье и вскоре признать, что его пути с ней разошлись окончательно.

### ИТОГИ ВЯТКИ

«Да, провинциальная жизнь великая школа, но школа очень грязная... полная клеветы и оскорблений».

*Из письма Салтыкова к брату. 1852 г.*

Семь с половиной лет вятского изгнания не прошли, разумеется, даром для Салтыкова; но больше, конечно, в виде школы жизни, чем в прямом смысле широкого развития, особенно такого, в котором преобладали бы идейные и литературно-художественные интересы.

И все же, несмотря на вынужденный отрыв Салтыкова от литературы и писательства, наиболее важные объективные итоги Вятки оказались в области его творческой работы.

Чтобы создать свое первое обличительное произведение крупного масштаба, насыщенное богатым материалом непосредственных и разносторонних жизненных наблюдений, Салтыкову нужно было, по его собственному выражению, «окунуться в болото» русской дореформенной провинции, пристально всмотреться в ее быт.

«Вятка, — говорил он Л. Ф. Пантелееву, — имела на меня и благотворное влияние: она меня сблизила с действительной жизнью и дала много материалов для «Губернских очерков», а ранее я писал вздор»<sup>125</sup>. И о том же — Н. А. Белоголовому: «Я... видел все безобразия провинциальной жизни, но не вдумывался, а как бы впитывал их телом, и только по возвращении в Петербург, когда я снова очутился в литературном кругу, я решился изобразить пережитое в «Губернских очерках»<sup>126</sup>.

В какой мере это произведение конкретно и непосредственно связано с вятскими наблюдениями сатирика, мы уже показали выше, говоря о прототипах «крутогорской» портретной галереи в «Губернских очерках». Но с Вяткой и Вятской губернией связаны не только «герои», но и вся топография и топонимика «Губернских очерков»; «Крутогорск (первоначально «Свиногорск») — сама Вятка, «Срывный» и «Полорецк» — Сарапул, Оков — Глазов, «Кречетов» — Орлов, «Черноборск» — Слободской, и т. п., а также пейзажные страницы книги: «Введение», «Дорога», «Город» (в «Тихом пристанище») и другие.

Вяткой и Вятским краем внушен и собирательный образ русского народа в первой книге Щедрина (вообще первый в его творчестве). Народ в «Губернских очерках» изображен в аспектах, специфически характерных для северо-восточных губерний: экономически-правовом (не помещичьи, а государственные, или казенные, крестьяне, не знающие ужасов личного рабства), религиозно-бытовом (старообрядчество), этнографическом (например, весьма точное воспроизведение в очерке «Общая картина» традиционного народного праздника «отплытия великорецкой иконы св. Николая»<sup>127</sup>).

Непосредственно из вятских наблюдений заимствовал Щедрин сюжетные основы для большинства своих очерков, особенно «В остроге» («Казусные обстоятельства»), за исключением, впрочем, раздела «Талантливые натуры», вообще мало связанного с вятским материалом.

Вятские воспоминания об эпохе 1853—1855 годов художественно обобщены в позднейшем очерке «Тяжелый год» (из «Благонамеренных речей»), посвященном разработке темы об «истинном патриотизме» и сатирически изображающем «неслыханную оргию» провинциального хищничества в «скорбную пору» Крымской войны.

Наконец весь сложный комплекс переживаний и размышлений Салтыкова в пору «вятского плена», весь идейно-психологический опыт этого семилетия нашли себе яркое выражение в лирических и мемуарно-автобиографических страницах не только «Губернских очерков», но и многих других щедринских произведений, вплоть до самых поздних: «Скука. Мысли вслух» (1856), «Дорога» (1856), «Святочный рассказ» (1857), «Тихое пристанище»

(1864), «Годовщина» (1869), «Добрая душа» (1869), «Письма о провинции. Письмо 12-е» (1870), «Игрушечного дела людишки» (1880), «Имярек» (1887), «Счастливец» (1887) и другие.

Жизнь в Вятке оставила, таким образом, глубокий и плодотворный след в художественном творчестве Щедрина, и это — объективно важнейший итог вятского семилетия.

Указания на связь многих произведений Щедрина с его жизненным опытом, полученным в Вятке, биографически важны и необходимы. Но эти указания не должны приводить к прямолинейной биографической интерпретации соответствующих страниц щедринской сатиры. Это значило бы сужать и обеднять ее художественное значение, обобщающую силу ее образов.

Сам сатирик сразу же после появления в печати своих «Губернских очерков» резко протестовал против такого истолкования их. Сослуживец Салтыкова по министерству внутренних дел, уже упомянутый выше А. И. Артемьев, приводит в своем дневнике, под датой от 12 января 1857 года, запись следующего разговора, происшедшего в этот день между одним из чиновников, неким Фалеевым, и автором «Губернских очерков»: «Фалеев начал расспрашивать Салтыкова: хотел ли он в рассказе «Старец» передать общий всем раскольникам взгляд на положение или это буквально передача речей одного какого-либо раскольника? — Вопрос этот, кажется, не понравился Салтыкову, потому что он очень обидчиво отвечал: «Зачем, господа, вы думаете, что в моих очерках *одни личности?*..» — и наговорил многое на эту тему»<sup>128</sup>.

Правильное понимание «Губернских очерков» впервые высказали в печати Добролюбов и Чернышевский. Общественную ценность «Губернских очерков» они усматривали не в портретности героев Щедрина, а в их типичности, которой и объясняли огромный успех этой разоблачительной книги у современников. «Публика, — писал Добролюбов, — признала действительность фактов, сообщаемых в повестях, и читала их не как вымышленные повести, а как рассказы об истинных происшествиях... У г. Щедрина описан, например, Порфирий Петрович: я знал двоих Порфириев Петровичей, и весь город у нас знал их; есть у него городничий Фейер; и Фейеров



видел я несколько... Разумеется, еще чаще видели мы Чичиковых, Хлестаковых, Сквозников-Дмухановских, Держиморд и пр. Но об этом я уже не говорю. У Гоголя такая уж сила таланта была, что до сих пор, куда ни обернешься, так все и кажется, что перед тобой стоит или Чичиков или Хлестаков, а если ни тот, ни другой, то уж наверное Земляника...»<sup>129</sup>

«Сила таланта», естественно, не проявилась еще в первой книге Щедрина с такой мощью и зрелостью, какие были проявлены им позднее, — в пору создания «Истории одного города», «Господ Головлевых», «Сказок». Но в «Губернских очерках» уже наметилось индивидуальное своеобразие щедринской художественной типизации. Выступая в изображении «тины мелочей, опутавших нашу жизнь», прямым продолжателем Гоголя, Щедрин показал, однако, уже не отвлеченный гоголевский город, куда «собрано в одну кучу все дурное», а совершенно конкретный, реально существовавший и в то же время типически обобщенный «Крутогорск». «Только Щедрин-Салтыков превосходно улавливал политику в быте...» — характеризовал Горький особенность художественной манеры сатирика<sup>130</sup>. И эта особенность проявлялась, в частности, в том, что типизация отнюдь не уничижала у Щедрина величайшую политическую и бытовую конкретность его сатирических образов. Конкретность же в высшей степени содействовала общественной разоблачительной силе этих образов.

Качественно иной, по сравнению с Гоголем, была, с самого начала, и идейно-эмоциональная позиция Щедрина по отношению к объектам своего сатирического обличения. «Гоголь, — писал Герцен, — приподнял одну сторону занавеси и показывал нам русское чиновничество во всем безобразии его; но Гоголь невольно примиряет смехом: его огромный комический талант берет верх над негодованием»<sup>131</sup>.

У Щедрина наоборот: преобладает негодование. «Смех» его — это гневный сарказм и язвительная ирония, это всегда средство нападения, борьбы, дискредитации, но отнюдь не морального примирения с социальным злом и его носителями. «Это не смех Гоголя, — писал по этому поводу Горький, — а нечто гораздо более оглушительное, правдивое, более глубокое и могучее»<sup>132</sup>.

Щедринская линия в «гоголевском направлении», или — шире — в русском критическом реализме, впервые явственно обозначилась именно в «Губернских очерках», несмотря на переходный характер этого произведения.

Изображая всевластие и безответственность армии чиновников, при помощи которой самодержавие распорядилось судьбами русского народа, Щедрин учил ненавидеть этот мир угнетения, хотя и не указывал еще революционно-демократических методов борьбы с ним. Истоки этой неприязни к аппарату самодержавной власти также восходят в какой-то мере к опыту Вятки.

Но в период создания «Губернских очерков» Щедрин далеко еще не владел в полной мере творческим методом. А кругозор его жизненных наблюдений, несмотря на все то, что дали ему годы подневольной чиновничьей службы, был все же ограничен этими рамками. Щедрин сумел превратить свои вятские наблюдения в огромное художественное полотно. «Русская жизнь, — пишет Вас. Гиппиус, — отразилась в «Губернских очерках» с небывалой еще шириной охвата — от губернской гостиной до избы и острога — и отразилась, по позднему выражению автора, «будничными, режущими глаза сторонами»<sup>133</sup>. Это так. Но в этом широком охвате нехватало все же одного, важнейшего, звена: конкретного изображения крепостнического рабства, — факт столь же существенный, сколь и очевидный.

Несомненно, что обличительный пафос и вся общественно-политическая тенденция «Губернских очерков» идут по линии антидворянской, антикрепостнической. Обнажая провинциальную изнанку парадной «империи фасадов» Николая I, рисуя всех этих администраторов-«озорников» и «живоглотов», чиновников-взяточников и казнокрадов, купцов-хищников и грабителей, полуидиотичных князей Чебылкиных и спившихся с кругу или пустившихся в мошенничество «талантливых натур» из дворян-помещиков, Щедрин объективно разоблачал в своей сатире весь самодержавно-крепостнический строй. Но прямой концентрированной атаки на крепостное право как на таковое в «Губернских очерках» еще нет. И нет ее, в значительной мере, потому, что жизнь в недворянской, непомещичьей Вятке не могла снабдить Салтыкова запасом необходимых наблюдений для этого. Но как скоро Щедрин

соприкоснулся с такими наблюдениями, попав в 1858 году в Рязань, — в эту, по его определению, классическую губернию дворянских «кадыков и красных околышей», — обличение крепостного права и крепостничества стало (начиная с «Сатир в прозе») одною из главнейших тем его творчества.

Опыт Вятки, породивший «Губернские очерки», должен быть признан поэтому в его сложно противоречивых итогах и как ограничивающий момент. И здесь — одно из объяснений того факта, что Добролюбов, несмотря на свою высокую оценку «Губернских очерков», поставил их в известном отношении гораздо ниже юношеской повести Салтыкова «Запутанное дело». «Ни в одном из «Губернских очерков» его <Щедрина>, — писал Добролюбов, — не нашли мы в такой степени живого, до боли сердечной прочувствованного отношения к бедному человечеству, как в его «Запутанном деле», напечатанном 12 лет назад»<sup>134</sup>. «Бедным человечеством» для Добролюбова было, в первую очередь, многомиллионное русское крестьянство, изнемогавшее в цепях крепостнического рабства. Прямое изображение поработанного народа и крепостного права еще отсутствовало в первой щедринской книге, несмотря на ее общую антикрепостническую направленность.

Обратимся к идейно-политическим итогам Вятки.

«Очень важная, — по словам Чернышевского, — правда» о русской жизни, содержащаяся в «Губернских очерках», не являлась, разумеется, плодом простого эмпирического накапливания жизненных наблюдений и фактов. Она была и могла быть лишь результатом определенного идейного развития Салтыкова, развития, которое шло в направлении критики и отрицания существовавшего в стране «исторического порядка», а не капитуляции перед ним, как это иногда утверждают.

Исходным пунктом такого развития явился идейный запас, с которым прибыл Салтыков из Петербурга в Вятку. Он приехал сюда со взглядами, сложившимися в условиях демократического подъема русской общественной мысли в конце сороковых годов, — подъема, отражавшего рост настроений стихийно-революционного протеста крестьянства и вызванного к жизни дальнейшим углублением кризиса всей феодально-крепостнической системы. «Полное страсти слово Белинского», увлечение утопиче-

ским социализмом, дружба с Петрашевским и участие в его кружке — все это впервые раскрыло перед Салтыковым суровую правду о стране и народе, погруженном в крепостническое рабство. Он понял глубочайшую несправедливость господствовавшего общественно-политического порядка жизни. А это понимание пробудило в его активной натуре страстное стремление к осознанию причин социального зла и к поискам практических путей, ведущих к его устранению.

Таковы были настроения и взгляды молодого Салтыкова к моменту его ареста и ссылки. Это было находившееся еще в процессе первоначального формирования мировоззрение революционного просветителя с сильной социалистической окраской, с широкими гуманистическими идеалами и с великой потребностью практического действия.

«Отвлеченные интересы человечества, — характеризовал потом сам Щедрин свою «фазу сороковых годов», — служили только покровом, под которым не всегда искусно скрывалась томительная жажда иной, более реальной деятельности» (III, 210). Какие возможности таились в этой «жажде», показала повесть «Запутанное дело» — высшая точка идейно-политического радикализма молодого Салтыкова, ставшая причиной его ареста и ссылки. Преодолевая рационализм просветительства и аполитичность утопического социализма, Салтыков покидает здесь сферу «отвлеченных интересов человечества», чтобы встать на реальную почву общественной борьбы. Но революционно-демократические выводы, к которым вели образы «Запутанного дела», еще не были теоретически осознаны и закреплены молодым Салтыковым. Арест и ссылка — в лично-биографическом плане, реакция пятидесятих годов — в плане обще-исторических условий затормозили и осложнили, но отнюдь не остановили дальнейшее идейное развитие Салтыкова и не заставили его сойти с пути, на который он вступил в сороковые годы.

Тот кризис, который испытали после исхода революции 1848 года передовые русские люди и о чем так взволнованно рассказал Герцен, испытал и Салтыков. Но если Герцен переживал этот кризис в грозе и буре самих революционных событий, в их европейских очагах, то молодому Салтыкову приходилось искать путей преодоления

кризиса в трудных условиях подневольной жизни и чиновничьей службы в провинциальном захолустье, в условиях духовного одиночества и оупляющего быта, имея к тому же позади полосу еще не снятых «противоречий» и не решенных «запутанных дел».

«Начало пятидесятых годов, — вспоминал в своей «Исповеди» известный шестидесятник И. Г. Прыжов, — было самое жестокое для умственного развития, то было время,

Когда свободно рыскал зверь,  
А человек бродил пугливо...

Ни одной книги из-за границы, ни одного живого слова в литературе, ни одного приятеля, чтобы отвести душу, и если мы встречались, так на одних лишь похоронах Грановского, его жены, Кудрявцева, Гоголя и т. д., встречались и дивились, что еще живы»<sup>135</sup>.

Эта сжатая, но многозначительная характеристика конца царствования Николая I, относящаяся к Москве, дает представление о трудности тех условий, в каких оказался Салтыков в глухой отдаленной провинции тех же пятидесятых годов.

Его идейное развитие протекало там без друзей-единомышленников, вне передовых литературных кругов, под гнетом жандармско-полицейского надзора, в обстановке мертвящей реакции. Все это и предопределило во многом ту затрудненность и ту противоречивость последующего идейного пути Салтыкова, о которых он сам сказал впоследствии, характеризуя своего автобиографического «Имярека»: Увы!.. он развивался очень медленно и трудно» (XVI, 716).

Важно, однако, подчеркнуть другое. Хотя социально-политические взгляды Салтыкова периода Вятки и не получили сколько-нибудь отчетливого выражения в дошедших до нас материалах, но отдельные его высказывания дают основание сделать вывод, что ни реакция, ни ссылка, ни «болото провинциальной жизни» не сломили его, не привели к крушению идейных устремлений его юности, а лишь осложнили пути их развития.

Одним из важнейших итогов Вятки явилось укрепление и развитие демократизма Салтыкова — уже не отвлеченно-просветительского только, но конкретно связанного с русским народом, с крестьянством. Служба в Вятке, по-

ставившая Салтыкова лицом к лицу с народной жизнью, дала ему возможность впервые соприкоснуться с подлинной Россией и почувствовать, что

...в ее груди бежит  
Поток живой и чистый  
Еще немых народных сил.

*(Некрасов)*

«Я, — вспоминал Салтыков о периоде Вятки, — несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая без ведома для меня самого приобщает меня к первоначальному и вечно бьющим источникам народной жизни» (VII, 399).

Углубление демократизма Салтыкова в результате приобщения к «источникам народной жизни» с большой силой сказалось в «Губернских очерках» — произведении, как указывалось, непосредственно обобщавшем идейные итоги вятского семилетия. «Сочувствие к неиспорченному, простому классу народа... выражается у г. Щедрина чрезвычайно живо», «он любит этот народ», — писал по поводу «Губернских очерков» Добролюбов.

Заметки «Об идее права» и другие изученные нами наброски периода Вятки показывают, что укрепление веры в русский народ не осталось только в пределах эмоций, но и послужило отправной точкой для важных теоретических выводов. Именно в Вятке впервые формулирует Салтыков свою концепцию, констатирующую тяжкую непробужденность народа («младенчески неразвит»), но и выражающую одновременно глубочайшую веру в народ как в решающую силу исторического процесса и своего грядущего революционного освобождения («рано или поздно народ разобьет это прокрустово ложе, которое лишь бесполезно мучило его»).

«Противоречия», характеризующие предыдущий этап развития Салтыкова, не снимаются и в период Вятки. «Кровная обида» «потребности примирения», настроения усталости, отхода от борьбы с социальным злом были лишь кратковременным проявлением «трудного роста» писателя. Но теперь из множества этих «противоречий» («кругом и во всем противоречия») выделяется одно, основное, над всем главенствующее. Это — сила и бессилие народа: могучая потенциальная сила, но бессилие на данной исторической ступени, когда «непременно должен-

ствующая быть гармония», то есть исторически неизбежное освобождение народа, еще не достижима.

Из этого, по существу глубоко трагического, осознания тяжелой непробужденности народа, когда вместе с тем потребность «действовать, во что бы то ни стало действовать», сохраняла всю свою силу, рождается салтыковское решение о своем общественном поведении. Находясь на обязательной государственной службе, он начинает «практиковать либерализм в самом капище антилиберализма». Теоретической основой такой тактики, сурово раскритикованной позднее самим Щедриным, являлись просветительская переоценка общественно-преобразующих возможностей «честного деятеля» и просветительское же непонимание классовой сути помещичьего государства и его бюрократического аппарата.

В то же время вятский опыт непосредственного столкновения с административно-политической практикой самодержавия содействовал формированию Щедрина как будущего гениального писателя русской революционной демократии. Сатирик в нем по-настоящему родился в Вятке (а не только в результате Вятки). Недаром в цитированном выше секретном рапорте Волкова министру Бибикову о Салтыкове было специально отмечено, что в ссылке его «нрав, напротив того, несколько ожесточился», а П. В. Анненков писал И. С. Тургеневу в 1857 году о том, что «Губернские очерки» порождены «жаром негодования, добытого жизнью в Вятке»<sup>136</sup>. Со своей стороны В. И. Танеев, утверждал в своих воспоминаниях о Салтыкове: «Гений сарказма он вывез из Вятки, вернувшись оттуда со своей особенной точкой зрения на нравственное положение русского общества».

Эта «особенная точка зрения» определила основное направление возобновленного еще в ссылке литературного творчества Салтыкова. В «Губернских очерках» Чернышевский и Добролюбов увидели не обличение «плохих» чиновников («вроде капнистовой «Ябеды» с ее нравоучением: «Законы святы, да исполнители — лихие супостаты...») и не мемуары о губернской жизни, а общественно-политический документ большой разоблачительной силы, осуждавший в первую очередь не отдельные злоупотребления и безобразия царской администрации, а самый источник их — самодержавно-крепостнический строй.

Ведущей силой для идейного развития Салтыкова в годы Вятки являлись его реалистические наблюдения над русской социально-политической действительностью и те эмоции гнева, негодования и презрения, которые вызывались ее уродливыми сторонами. Острый критический ум, зоркость зрения художника-реалиста и усвоенные в сороковых годах социалистические и революционно-просветительские взгляды позволяли Салтыкову и в «безвременьи Вятки» вплотную подходить к обобщениям и выводам, направляющим его на тот же путь, на который еще раньше и в иных условиях вступили Белинский и Герцен. Это был путь признания народа основной силой исторического процесса — путь революционной борьбы, ведущий от Белинского к Чернышевскому.

Теоретические формулировки и политические взгляды Салтыкова тогда еще отставали от этих тенденций. Да и сами эти тенденции получили свою полную определенность позднее, после возвращения к творческой литературной работе, в художественных образах щедринской сатиры. Так, в «Губернских очерках» уже нет речи ни о концепции «идейного чиновника», ни о «теории вождения влиятельного человека за нос». В этом произведении, обобщавшем основной опыт Вятки, Салтыков не только отвергает просветительскую идеализацию государственного аппарата самодержавия и сатирически клеймит его служителей-чиновников, но и противопоставляет дворянскому и чиновничье-казенному пафосу «государственной России» демократическое чувство непосредственной любви к родине и русскому народу.

Таким образом, общественная позиция Салтыкова в годы вятской ссылки была противоречивой. Здесь объяснение всех идейно-политических срывов в биографии сатирика данного периода. Эта позиция создавала переходную ситуацию, при которой недоставало только повода, толчка и надлежащих условий для того, чтобы скрытые до сих пор противоречия обнаружались, привели к взаимному столкновению и к окончательному закреплению на выbranном пути.

Таким толчком послужили для Салтыкова его освобождение из ссылки, приезд в Петербург и возвращение к литературному творчеству.

Такими условиями — и это главное — явились для Салтыкова реальные исторические задачи,



которые открывались перед его родною страной в знаменательные шестидесятые годы — годы мощного демократического подъема и революционной ситуации.

В острейшем столкновении всех классовых сил страны и порожденных этими столкновениями ожесточенных идеологических битвах эпохи вскрылись и обнажились все противоречия, уничтожились (хотя далеко не сразу и не до конца) многие просветительские иллюзии Салтыкова, окончательно определилось его место в лагере революционной демократии и было выковано замечательное сатирическое оружие, отданное раз и навсегда великому делу освобождения родного народа.

Так кончилось первое тридцатилетие жизни Салтыкова и начался новый этап в его биографии — этап Щедрина.

---

## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ\*

### А. Для архивных источников

Г И М — Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Москва.

Г П Б — Рукописное отделение Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград.

И Р Л И — Архив Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинского дома). Ленинград.

И М Э Л — Архив Института Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б). Москва.

Л Б — Рукописное отделение Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Москва.

Л О Г И А — Ленинградский областной государственный исторический архив. Ленинград.

М О Г И А — Московский областной государственный исторический архив. Москва.

К О Г И А (Калинин) — Калининский областной государственный исторический архив. Калинин.

К О Г И А (Киров) — Кировский областной государственный исторический архив. Киров.

Ц Г В И А (Л) — Центральный государственный военно-исторический архив. Ленинград.

Ц Г В И А (М) — Центральный государственный военно-исторический архив. Москва.

---

\* Нумерация примечаний дается отдельно для каждого из четырех разделов книги: I. В «пошехонском» гнезде; II. Годы учения; III. В Петербурге сороковых годов; IV. В «вятском плену».

ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов. Москва.

ЦГИА (Л) — Центральный государственный исторический архив. Ленинград.

ЦГИА (М) — Центральный государственный исторический архив. Москва.

ЦГЛА (М) — Центральный государственный литературный архив. Москва.

Ф. — фонд; оп. — опись; д. — дело; св. — связка; п. — папка; л. — лист; об. — оборот листа; № — номер единицы хранения.

#### Б. Для печатных источников

Арсеньев — *К. Арсеньев*. Материалы для биографии М. Е. Салтыкова. — В изданиях «Полного собрания сочинений М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина)»: 1889—1890 гг. («Издание автора» — 1-е изд.); 1891—1892 гг. («издание наследников автора» — 2-е изд.); 1894—1895 гг. (то же — 3-е изд.); 1900—1901 гг. («издание А. Маркса» — 4-е изд.); 1905—1906 гг. (то же — 5-е изд.); 1905—1906 (то же и приложение к «Ниве» — 6-е изд.) и 1918—1919 гг. («издание Лито Наркомпроса» — 7-е изд.). Страницы указаны по 5-му изд. А. Маркса (т. I).

Белоголовый — *Н. Белоголовый*. Воспоминания и другие статьи. Москва, 1897.

Вершинский — *А. Вершинский*. Салтыковская вотчина в XIX веке. — «Известия Тверского педагогического института», вып. V, Тверь, 1929. Есть отд. оттиск.

Журавлев — *Н. Журавлев*. М. Е. Салтыков (Щедрин) в Тверской губернии. Калининское областное литературное изд-во, Калинин, 1939.

Кривенко — *С. Кривенко*. М. Е. Салтыков. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк. Изд. 3-е с предисловием и примечаниями А. Югорского. П., 1914.

Спасская — *Л. Спасская*. Салтыков. Опыт характеристики по воспоминаниям своих родственников. — «Памятная книжка Вятской губернии на 1908 год». Вятка, 1908.

Щедрин — *Н. Щедрин*. (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений. Под редакцией: В. Я. Кирпотина, П. И. Лебедева-Полянского, П. Н. Лепешинского, Н. Л. Мещерякова и М. М. Эссен. Гос. изд. худож. литературы, тт. I—XX, М., 1937—1941. Письма Салтыкова занимают в этом издании тт. XVIII, XIX и XX (редактор Н. В. Яковлев).

---

## ПРИМЕЧАНИЯ

### В «ПОШЕХОНСКОМ» ГНЕЗДЕ

<sup>1</sup> М. Горький. История русской литературы. М., 1939, стр. 256 (выделено мною. — С. М.).

<sup>2</sup> Род Салтыковых внесен в 6-ю часть родословной книги Московской и Ярославской губерний, в 1-ю часть — Тульской и Московской губерний и в 5-ю часть — Московской губернии. Он входит в Бархатную книгу. Герб рода Салтыковых внесен в «первое отделение» гербовника российских дворянских родов. См.: 1) А. Бобринский. Дворянские роды, внесенные в общий гербовник Всероссийской империи, ч. 1, СПб., 1890, стр. 258—260; 2) М. Чернявский. Приложение к генеалогии господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 годы. Литографированное издание, на правах рукописи. О Салтыковых см. на стр. 191 (текст тот же, что и у Бобринского, но с добавлением в конце: «Михаил Евграфович был тверским вице-губернатором с 25 июня 1860 г.»); 3) Л. Савелов. Библиографический указатель по истории, геральдике и родословиям российского дворянства, изд. 2-е, Острогжск, 1897, стр. 217.

<sup>3</sup> Ц Г А Д А — Ф. 210 (б. Московского архива министерства юстиции). Дела десятен (1577—1682). Писцовые княги поместных и вотчинных земель Дмитровского уезда 7135—7137 гг., № 877, лл. 28—29, и № 883, лл. 15—19.

<sup>4</sup> Наше изложение истории предков Салтыкова и их родовой вотчины опирается на материалы следующих источников (сверх указанных в примечаниях 2 и 3): А. Архивные: 1) Родословная Салтыковых и герб их рода. Официальная копия на пергаменте, выданная в 1804 г. Е. В. Салтыкову, отцу сатирика, из Герольдии

Сената (ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, №№ 1—2). 2) Ввозная грамота от царя Михаила Федоровича Панфилу Тимофееву Салтыкову на имение Спасское (там же, № 4). 3) Ввозная грамота от царя Алексея Михайловича «по челобитью Степана да Ивана Тимофеевых, детей Салтыкова» на поместье отца в Дмитровский уезд, в село Спасское с деревнями и пустошами (там же, оп. 11, № 8). 4) О приписке Тимофея Кургана Салтыкова и его потомства к роду бояр Салтыковых — см. Л. Савелов. Лекции по русской генеалогии, читанные в Московском археологическом институте. Второе полугодие. М., 1909 (на правах рукописи), стр. 48—49; ср. вызванную генеалогическими разысканиями Л. Савелова о роде Салтыкова-Щедрина заметку в № 12040 «Нового времени» от 18 сентября 1909 г.; 5) Пометка Евграфа Васильевича, свидетельствующая о его сомнениях в том, что отцом Прасковьи Федоровны Салтыковой, бывшей в супружестве за царем Иоанном Алексеевичем, являлся Федор Симонов Салтыков, из потомства Тимофея Кургана (ИРЛИ — Ф. 366, оп. 11, № 8, л. 5). Б. Печатные: 1) В. и Г. Холмогоровы. Исторические материалы о церквях и селах XVI—XVII вв. Выпуск 11-й, Верейская, Дмитровская и Троицких вотчин десятины (Московского уезда). 114 — Церковь Преображения Спасова в селе Спасском. М. Синодальная типография, 1913, стр. 114. 2) Ф. Ушаков. Село Спасское, что на Углу, Колязинского уезда, Тверской губернии. Исторический очерк. Предисловие Л. Крылова. Издание Тверской ученой архивной комиссии. Тверь, 1914. 3) А. Вершинский. Салтыковская вотчина в XIX веке (эюд по истории крепостного хозяйства). — «Известия Тверского педагогического института», вып. V, Тверь, 1929, стр. 3—37 (есть отдельный оттиск).

<sup>5</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, № 291: Письма Н. И. Салтыковой к Е. В. Салтыкову. Сведения об имущественном положении семьи после смерти Василия Богдановича взяты из копии прошения Н. И. Салтыковой на имя Павла I от 10 июня 1798 г. ИРЛИ — Ф. 366, оп. 11, №№ 2 и 13.

<sup>6</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 11, № 4: Записка Е. В. Салтыкова «О военной службе». Приведем текст записки полностью: «Предки мои служили государям через два столетия XVII и XVIII, и отец мой Василий Богданов, сын Салтыков, продолжал службу... гвардии в Семеновском полку с 1743 г. и в 1763 г. отставлен капитан-поручиком и в 1780 г. умре... и я остался после его в сиротстве четырех лет и в 1793 г. был записан лейб-гвардии в Преображенском полку сержантом и продолжал науки на своем коште и в 1797 г. по высочайшему повелению в числе малолетних<?>... и с

того времени сделался болен внутреннею неизлечимую болезнью. Сержант Евграф».

<sup>7</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 11, № 58: Черновик письма Е. В. Салтыкова к К. В. Нессельроде. 1820-е гг. Евграф Васильевич писал здесь: «С самых юных лет моих упражняясь в образовании себя приличными званию моему науками и познаниями, приготовляя оными посвятить себя на государственную службу по дипломатической части...»

<sup>8</sup> В архивном фонде Салтыковых, находящемся в ЦГАДА (Ф. 255—А III 4/118), сохранилась копия или черновик аттестата, выданного Н. И. Салтыковой некоему И. И. Литке в удостоверение того, что он успешно обучал ее сына. Приводим текст этого документа:

«А т т е с т а т. Дан сей объявителю сего господину от армии отставному секунд-майору Ивану Иванову сыну Литке в том, что он у меня находился учителем с 1798 года июня 12 числа по 1800 год мая по первое число, и обучил сына моего Евграфа Салтыкова языкам ф<ранцузскому> и н<емецкому> читать, писать и переводить с обоих языков по правилам грамматическим и следующим наукам, а именно: арифметике, геометрии, тригонометрии, артиллерии, фортификации, тактике, географии и истории. Во все же время, когда означенный господин майор у меня находился, вел себя благопристойно, честно [и трезво] и добропорядочно, в рассуждении чего, особливо твердого знания его всех иностранных наук, мы были им совершенно довольны. В уверение чего сие одобрение от меня исходящее за собственноручным нашим подписанием и с приложением герба нашего печати и дано Тверской губернии Кашенского уезда в селе нашем Спасске мая 3 дня 1800».

В семейном архиве имеется другой аналогичный документ — условие, заключенное 10 января 1793 г. «иностранных языков учителем Карлом Паретом с Н. И. Салтыковой об обучении сына ее Евграфа французскому, немецкому и английскому языкам» (ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, № 80). Сохранились также многочисленные учебные тетради Евграфа Васильевича, конспекты и выписки из учебников, переводы с иностранных языков на русский и обратно. См. ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, №№ 143, 144, 156, 160, 162 и др.

<sup>9</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 11, № 13: Черновик прошения Е. В. Салтыкова Александру I, датированный: «Москва, октябрь 1801 года». Подпись под прошением: «Евграф Салтыков из дворян, исключенный гвардии Преображенского полка сержант».

<sup>10</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 11, № 44: «Определение священного совета державного ордена св. Иоанна Иерусалимского», см. также оп. 11, № 10.

<sup>11</sup> Полное заглавие первого тома таково: «Полный курс всей

поенной архитектуры или легчайший способ изучиться инженерному искусству, собранный из лучших иностранных авторов и на российский язык переведенный с прибавлением примечаний кавалером Евграфом Салтыковым. Часть первая. О полевых укреплениях, об атаках и обороне оных». В семейном архиве сохранились многочисленные рукописи Евграфа Васильевича, относящиеся к этому труду, а также черновой проект его «посвящения» Александру I. См. ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, №№ 148—151. Ср. также ЦГАДА — Ф. 255, № 1/128: «Полное основание Воинской архитектуры. Сочинения Карла Августа Штруензе. В III частях, с предисловием и реестром по алфавиту» (рукопись Е. В. Салтыкова на 1371 лл.).

<sup>12</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 11, № 379: Письмо Д. И. Хвостова к генерал-майору И. Ф. Касперскому, от августа 1803 г. В качестве шефа и командира лейб-гвардии артиллерийского батальона адресат письма находился в близких служебных и личных отношениях с Аракчеевым, возвращенным в 1803 г. на пост инспектора артиллерии. Хвостов писал Касперскому: «...Вручитель сего, мой родственник и приятель, господин Салтыков, молодой человек, благородных свойств и воспитания, приемлет дерзновение поднести государю-императору книгу своих трудов, о инженерной науке, с испрошением высочайшего благоволения об определении в свиту его величества. Я покорнейше прошу на случай, ежели оная книга придет в руки его сиятельства графа Алексея Андреевича <Аракчеева>, не оставить господина Салтыкова, как достойного человека, покровительством Вашим...» и т. д. Рекомендация эта написана рукою самого Евграфа Васильевича, Хвостову принадлежит только подпись.

<sup>13</sup> ЦГАДА — Ф. МИД СПб. Гл. арх. VI. 1. 1804, № 54: «О принятии в Коллегию иностранных дел Евграфа Салтыкова переводчиком», т. I—II.

<sup>14</sup> ЦГАДА — Ф. МИД СПб. Гл. арх. IV. 14. 1805, № 27: «Об увольнении в отпуск переводчика Салтыкова», л. 5.

<sup>15</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 11, № 45; оп. 12, №№ 126, 160, 165, 179 и др.

<sup>16</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 11, № 26.

<sup>17</sup> Почти никакими данными о ближайших предках и родственниках сатирика со стороны матери мы не располагаем. Известны лишь даты их жизни. Прадед Салтыкова — Петр Филиппович Забелин, из «торговых крестьян», умер в 1794 г., в возрасте 63 лет, будучи уже «гильдейским купцом». Его сын — дед сатирика — Михаил Петрович, богатый московский купец первой гильдии, получивший, как было сказано, впоследствии дворянство, был женат на купчихе Марфе Ивановне Китаевой, умершей в 1814 г. 44 лет от роду. Сам же Михаил Петрович, увековеченный Щедриным в «Пошехонской ста-

рине» в образе «дедушки Павла Борисовича», умер в 1849 г., дожив до 84 лет. (См. «Московский Некрополь», т. I, СПб., 1907, стр. 454). У него было четверо детей: два сына и две дочери. Из них Салтыков знал лишь дядю Сергея Михайловича — подполковника в отставке, московского домовладельца. Он послужил прототипом для образа «дяди Григория Павловича» в «Пошехонской старине».

Характеризуя в этом произведении родственные отношения в семье «дедушки Павла Борисовича», определявшиеся взаимной борьбой его детей за получение ожидаемого богатого наследства — «миллиона», Щедрин писал: «Всякому хотелось узнать тайну, всякий подозревал друг друга, а главное, всякий желал овладеть кубышкой врасплох, в полную собственность, так чтоб другим ничего не досталось. Снаружи все смотрело дружелюбно и даже слащаво, внутри кипела вражда». Материалы семейного архива позволяют полностью приложить эту характеристику к взаимоотношениям, сложившимся в первую очередь между О. М. Салтыковой и ее братом С. М. Забелиным.

<sup>18</sup> Ц Г А Д А — Ф. МИД СПб. Гл. арх. IV. 13. 1816, № 15: «Об увольнении от службы надворного советника Евграфа Салтыкова с награждением следующим чином», на 12 лл. Ср. И Р Л И — Ф. 366, оп. 11, № 58.

<sup>19</sup> Если судить по «Пошехонской старине», Евграфу Васильевичу было обещано 60 000 руб., а дано 30 000 руб. (Щ е д р и н, XVII, 217). Подтверждения именно этих цифр в бумагах семейного архива мы не обнаружили, но самый эпизод отражен в ряде документов. Наиболее любопытным из них является относящееся к сватовству Евграфа Васильевича письмо к нему его московского знакомого и маклера Т. Д. Матавкина. Охарактеризовав жениху «хорошее поведение» невесты и ее отца, М. П. Забелина, Матавкин, который и со сватал Ольгу Михайловну, сообщал далее: «...Что же принадлежит до приданого, то мать невестина, которая год как умерла, оставила ей в наличности сто тысяч рублей, да отец столько же даст наличными... да еще обещается после себя имение <т. е. капитал. — С. М.>, в миллионе имеющееся, разделить...» (И Р Л И — Ф. 366, оп. 12, № 253: письмо Т. Д. Матавкина к Е. В. Салтыкову от 16 декабря 1815 г.). В действительности сумма полученного приданого оказалась значительно меньше, а обещанного раздела «капитала» М. П. Забелина (хотя и далеко не миллионного) не произошло.

<sup>20</sup> И Р Л И — Ф. 366, оп. 11, № 58: Черновик письма Е. В. Салтыкова к гр. К. В. Нессельроде, б. д.

<sup>21</sup> Л. Н. Спасская сообщает по этому поводу «Отец мой <д-р Ионин — вятский знакомый Салтыкова>, человек чрезвычайно мягкого характера, всегда.. возмущался, когда Михаил Евграфович го-



ворил о своих родителях. Со дня рождения наслушавшийся циничных разговоров о родных, М. Е. был чрезвычайно невосдержан и неразборчив в словах и выражениях: например, на основании того, что брат его Илья <И. Е. Салтыков, 1834—1895>, единственный из семьи, вышел довольно красивым и здоровым, он строит разные предположения о его происхождении на свет». — Спасская, 101. Ср. в «Пошехонской старине» рассказ о «семейных баталиях» между родителями в присутствии детей: «Раздавалась брань, припоминалось прошлое, слышались намеки, неподобные слова... Такие сцены повторялись почти каждый день. Мы ничего не понимали в них, но видели, что сила на стороне матушки, и что в то же время она чем-то кровно обидела отца» (XVIII, 55). Ср. с этим письмо Ольги Мих. к Евгр. Вас. от 18 июня 1839 г., в котором она, защищаясь от обвинений мужа, с глубокой обидой и раздражением писала ему: «Мамзель <гувернантка. — С. М.> только и будет ругательства. Только одно поношение и пятно детям. Я уже о себе не думаю, но ведь жаль детей, за что они за меня страдать и нести пятно будут. Другой подумает, что они незаконнорожденные, а я могу дать присягу в своем поведении» (ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, № 359).

<sup>22</sup> КОГИА (Калинин) — Ф. Тверской духовной консистории по церквам Калязинского уезда, д. № 24, л. 6. Цитирую по Журавлеву, 12.

<sup>23</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 11, № 361: «Жизнеописание покойного коллежского советника и кавалера Евграфа Васильевича Салтыкова», составленное священником села Спасского Николаем Гиляровским. Рукопись.

<sup>24</sup> КОГИА (Калинин) — И. С. Беллюстин. О сельских церквах и еще кое о чем (из записной книжки пешехода, от 10 марта 1853 г.). Рукопись, л. 4. См. Н. Журавлев, 9—10.

<sup>25</sup> ЦГЛА (М) — Ф. Литературного музея: О. И. Зубова (урожд. Салтыкова). Семья М. Е. Салтыкова-Щедрина. Рукопись.

<sup>26</sup> «Отец <сатирика> был человек смиренный и находился под башмаком жены, которая была умнее и отличалась чрезвычайно властным характером». — Белоголовый, 228.

<sup>27</sup> ИМЭЛ — Ф. Е. Якушкина. Письмо Н. П. Скрипицына (мужа Е. П. Епифановой, любимой внучки Ольги Михайловны) к Е. И. Якушкину, б. д. («договориться с Ольгой Михайловной вам все же удастся, я полагаю, хоть вы и называете ее боярыней Морозовой»).

<sup>28</sup> «Первое собрание писем И. С. Тургенева. 1840—1883 гг.».

Издание Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884, стр. 267; Письмо от 28 октября 1875 г.

<sup>29</sup> Щедрин, XVIII, 195: Письмо от 2 марта 1865 г.

<sup>30</sup> Это явствует, в частности, из переписки 1820 г. Ольги Михайловны с той же Ю. П. Яковлевой. О. М. оказывала ей кредит под проценты: ИРЛИ — Ф. оп. 12, №№ 424, 425 и 426.

<sup>31</sup> Было приобретено село Глебово с деревней Юрино, принадлежавшее в XVIII в. генерал-майору Дм. Арсеньеву. У кн. Федосии Волконской были куплены деревни Семеновское, Бибиково и др., у А. Вахрамеева — деревня Артемьево, у И. Талызина — богатое село Ермолино, ставшее любимым поместьем Ольги Михайловны, а впоследствии и ее «резиденцией». В Ермолине, доставшемся после раздела сыновей младшему, любимому, сыну Илье Евграфовичу, Ольга Михайловна жила последние дни своей жизни и там же умерла. — А. Вершинский, 11.

<sup>32</sup> ЦГАДА — Ф. МИД СПб. Гл. арх. IV. 14. 1805 г., № 27: «Об увольнении в отпуск переводчика Салтыкова», лл. 4—5 (Формулярный список о службе Евгр. Вас. за 1815 г.); КОГИА (Киров) — «Формулярный список о службе советника губернского правления надворного советника Мих. Евгр. Салтыкова»; Вершинский, 15, 21—22.

<sup>33</sup> Вершинский, 17.

<sup>34</sup> «Русская мысль», 1906, кн. VI, стр. 187.

<sup>35</sup> Вершинский, 16.

<sup>36</sup> КОГИА (Калинин) — Ф. Тверской гражд. палаты, д. № 1576, л. 11. См. Н. Журавлев, стр. 15.

<sup>37</sup> См. об этом в специальной работе: А. Прялков, М. Е. Салтыков-Щедрин и Ярославский край, Ярославль, 1949. Первоначальная сокращенная редакция этого ценного краеведческого очерка о Щедрине была напечатана под заголовком «Ярославская вотчина Салтыковых» в газете «Северный рабочий» (Ярославль), № 110, от 2 июня, и № 111, от 4 июня 1946 г. Среди других краеведческих материалов автор использует весьма редкое издание (оно отсутствует в крупнейших библиотеках Москвы), вышедшее в 1913 г. в Угличе, в издании типографии И. А. Дикарева: «Летопись села Заозерья, Ярославской губернии, Углического уезда, с его двумя храмами и приходом. Историко-археологический очерк со второй четверти XVIII столетия до 1912 года. Составлен благочинным священником Михаилом Миролюбовым по церковным документам и устным сказаниям». Специальный раздел «Летописи» — «Салтыковы» — посвящен характеристике связей семьи сатирика с Заозерьем. Для целей реально-биографического комментария к соответствующим страницам «Пошехонской старины» специальный интерес представляют ис-

пользованные в названном разделе воспоминания об Ольге Михайловне и Евграфу Васильевиче их крепостных крестьян (стр. 50—53).

Из краеведческих работ, в которых имеются сведения о Салтыкове, укажем еще книгу: С. В. Кисловской, Кашиинский край. В 3 частях. Часть 1-я и 2-я. Калязин, 1926. В разделе, озаглавленном «Исторические личности местного края», автор приводит в словарно-биографической форме краткие справки об уроженцах края, в том числе о Салтыкове, о товарище его детства С. А. Юрьеве, упомянутых выше, И. С. Беллюстине и других.

<sup>38</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 4, №№ 3 и 4. Характерно, что официальный статистический справочник по Ярославской губернии 60-х годов, поясняя приведенное значение местного слова «маяк», добавляет: «Особенно известны маяки заозерские в Угличском уезде». См. «Ярославская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. Издан Центральным статистическим комитетом министерства внутренних дел». СПб., 1865, стр. XVII. Ср. там же на стр. LVII: «Село Заозерье особенно известно по производящемуся на его базарах закупу крестьянских холстов и пряжи».

<sup>39</sup> «Ленинский сборник», вып. XXXIII, стр. 458. Наблюдение сделано А. В. Пряжковым в цитированной выше статье его в «Северном рабочем».

<sup>40</sup> «Только гениальный писатель может заметить рождение типа и показать его своевременно» — слова Ф. М. Достоевского в споре с И. А. Гончаровым о границах типического. — Сб. «Русские писатели о литературе», т. II, стр. 210.

<sup>41</sup> КОГИА (Калинин) — Ф. Тверского депутатского собрания, д. № 4194, л. 4. См. Журавлев, 17.

<sup>42</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, №№ 245 и 246: Письма Д. М. Курбатова к Е. В. Салтыкову; Журавлев, 18; «Литературное наследство», т. 13—14, М., 1934, стр. 448.

<sup>43</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, № 359: Письмо О. М. Салтыковой к Е. В. Салтыкову за 1824—1842 гг.

<sup>44</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 1, № 96: «Пошехонские рассказы. Вечер шестой. Пошехонская старина» (1883 г.), л. 1.

<sup>45</sup> «Автобиографии Некрасова». Публикация В. Евгеньева-Максимова и С. Рейсера. «Литературное наследство», т. 49—50, М., 1946, стр. 143.

<sup>46</sup> Н. К. Михайловский. Сочинения, т. V, СПб., 1897, стр. 235.

<sup>47</sup> Кривенко, 3 и 4; В. Оболенский. М. Е. Салтыков в своей семье. Воспоминания случайного знакомого («Современные записки», Берлин, 1921, кн. 6, стр. 45).

<sup>48</sup> Белоголовый, 5.

<sup>49</sup> ГИМ — Архив С. А. Юрьева: «О Салтыкове». Листок с набросками записей (кроме заглавия, рукою С. А. Юрьева).

<sup>50</sup> Письма Е. В. Салтыкова к Н. Е. Салтыкову и выдержки из них приведены по подлинникам, хранящимся в ИРЛИ — Ф. 366, оп. 11, № 60.

<sup>51</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, № 359: Письмо О. М. Салтыковой к детям, б. д. (1834 г.), л. 39.

<sup>52</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9, № 131: Письмо О. М. Салтыковой к Д. Е. и М. Е. Салтыковым от 10 декабря 1844 г.

<sup>53</sup> Там же, № 132.

<sup>54</sup> Белоголовый, стр. 228.

<sup>55</sup> Там же, стр. 202.

<sup>56</sup> «Литературное наследство», т. 13—14, М., 1934, стр. 449.

<sup>57</sup> А. Прямоков. Ярославская вотчина Салтыковых («Северный рабочий» (Ярославль), № 111 (8004) от 4 июня 1946 г., стр. 4). Автор указывает, в частности, что под уставной грамотой на село Заозерье (Ярославский областной государственный исторический архив, № 5004) имеются подписи двух крестьян Щедриных. Грамоту эту подписал вместе со своим братом Сергеем Евграфовичем М. Е. Салтыков.

<sup>58</sup> Такое предположение содержит, нам кажется, больше убедительности, чем общепринятая сейчас, хотя и ничем не мотивированная версия, согласно которой Салтыков заимствовал себе псевдоним от раскольников лжеиерея беглопоповской секты, казанского купца Трофима Тихоновича Щедрина, с которым столкнулся в процессе своей следственной работы по делам раскольников в Казани в 1855 г. Фамилия лжеиерея, как видим, не являлась новой для Салтыкова. Она была привычна ему с детства. Что касается еще одной версии, идущей от К. М. Салтыкова — сына сатирика, утверждавшего, что псевдоним был рекомендован писателю его женой, Елизаветой Аполлоновной, на том основании, что сатирик в своих сочинениях «был чрезвычайно щедр на всякого рода сарказм», то это свидетельство не заслуживает никакого доверия (см. К. М. Салтыков. Интимный Щедрин, М.—Л., 1923, стр. 63).

<sup>59</sup> «Старым другом и товарищем детства» назвал Салтыков С. А. Юрьева в отклике на смерть последнего в декабре 1888 г. (Щедрин, XX, 388). О детских поездках в Воскресенское сатирик упомянул в авторском примечании к одной из страниц «Современной идиллии»: «Я еще застал веселую помещичью жизнь и помню ее довольно живо... В нашем сравнительно угрюмом Калязинском уезде прорывались веселые центры, например на Хотче и в особенности в селе Воскресенском, где жило до семи помещичьих семей, которые, несмотря на скудные средства, ничем другим не за-

нимались, кроме хлебосољства. Когда-нибудь я надеюсь возобновить в своей памяти подробности этой недавней старины, которая исчезла на наших глазах, не оставив по себе никакого следа» (Щедрин, XV, 244). Это намерение Салтыков осуществил через несколько лет созданием «Пошехонской старины», заключительные главы которой («Предводитель Струнников», «Образцовый хозяин», «Валентин Бурмакин», «Словущенские дамы» и «Заключение») в значительной мере построены на материале воспоминаний, сохранившихся от детских поездок в Воскресенское.

О С. А. Юрьеве, как прототипе «Валентина Бурмакина», существует свидетельство самого сатирика, в передаче Алексея Веселовского: «Несколько раз, мимоходом, М. Е. Салтыков выводил (по его же словам) некоторые черты Юрьева в своих произведениях (например, в «Пестрых письмах» в лице Семена Семеновича) и указал мне на только что явившуюся тогда в «Вестнике Европы» главу из «Пошехонской старины», где всего полнее характеризовал его. «В герое рассказа Валентине Бурмакине, — говорил он, — много юрьевского, хотя обстоятельства его жизни, его женитьбы и т. д. с умыслом изменены и расходятся с действительностью». — Сборник «В память С. А. Юрьева», М., 1891, стр. 284.

<sup>60</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9, № 35: Письмо О. М. Салтыковой к Е. В. Салтыкову, б. д. (конца 30-х гг.).

<sup>61</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 11, № 237: Письмо Н. Е. Салтыковой к Е. В. и О. М. Салтыковым от 7 ноября 1829 г. См. также письмо Е. В. Салтыкова от 3 августа 1829 г. и О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от октября 1852 г.

<sup>62</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9: Письма Е. В. Салтыкова от 3 августа 1829 г., Н. Е. Салтыковой от 7 ноября 1829 г. и О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от октября 1852 г. (о гувернантке де Ламбер); запись Е. В. Салтыкова в «Адрес-календаре» («Генваря 11 дня <1832 г.> пополудни в 1 часу выехала Ольга Михайловна Салтыкова с мамзелью Мертенс из Москвы, а приехала в село Спаское того же генваря 13-го числа в 11-м часу утра»); письмо О. М. Салтыковой к Е. В. Салтыкову от 23 сентября 1831 г. (протест против замены гувернантки Каролины Карловны Гедике ее сестрой — Генриеттой Карловной).

<sup>63</sup> Крильенко, 9—10.

<sup>64</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 1, № 93/94; «Пошехонские рассказы. Вечер шестой. Пошехонская старина».

<sup>65</sup> Там же. — В семейном архиве Салтыковых сохранились письма Павла Дмитриева Соколова (речь в них идет о расчетах по оброку, которым он был обложен и который добывал своей профессией живописца, преимущественно церковного) и ряд упоминаний

о нем в переписке родителей. Из этих упоминаний явствует, что Соколов еще в 1829 г. обучал детей Салтыковых, в том числе и будущего сатирика, также и рисованию. См. письмо О. М. Салтыковой к Е. В. Салтыкову от 14 апреля 1829 г. и ответное письмо последнего от 23 апреля того же года.

<sup>66</sup> А. Прямок пишет в своей работе «М. Е. Салтыков-Щедрин и Ярославский край» (Ярославль, 1949, стр. 18): «Село Зайцево упоминается здесь <в автобиографическом письме Щедрина к Венгерову. — С. М.>, как нам кажется, ошибочно, и в данном случае речь идет о селе Заозерье, но в рукописи это название было, очевидно, прочтено неправильно и в таком искаженном виде помещено в полном собрании сочинений». Однако такое предположение лишено оснований. В автографе письма ясно читается: «...учил меня священник соседнего села Зайцева», а не Заозерья. См. факсимиле письма в издании «Путь-дорога». Научно-литературный сборник в пользу общества для вспомоществования нуждающимся переселенцам. Издание К. М. Сибирякова, СПб., 1893, после стр. 588.

<sup>67</sup> Белоголовый, 229.

<sup>68</sup> ГИМ — Архив С. А. Юрьева: «О Салтыкове». Цит. рук.

<sup>69</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, № 359: Письмо О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от 22 июня 1834 г.

<sup>70</sup> А. Прямок, цит. соч., стр. 18. Ср. «Летопись села Заозерье». Углич, 1913, стр. 30.

<sup>71</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, № 359: Письмо О. М. Салтыковой к Е. В. Салтыкову от 20 апреля 1836 г.

<sup>72</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, № 359: Письмо О. М. Салтыковой к Е. В. Салтыкову от 20 апреля 1836 г. Ср. запись Е. В. Салтыкова от 16 августа 1837 г. в «Адрес-календаре» на 1828 г.

<sup>73</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, № 359. Письма О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от 22 июня и 22 ноября 1834 г. ЦГИАЛ — Ф. 733, оп. 30, № 50226: «Дело Московского дворянского института...», № 286.

<sup>74</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9, № 126: Письмо Е. В. Салтыкова к Д. Е., А. Я. и М. Е. Салтыковым от 9 декабря 1846 г.

<sup>75</sup> Н. Журавлев, цит. соч., главы: «Родственники и соседи Салтыковых» и «Крепостные Салтыковых».

<sup>76</sup> КОГИА (Калинин) — Ф. Калязинского земского суда, д. № 10229. Письмо О. М. Салтыковой исправнику Ф. П. Померанцеву от 12 октября 1853 г. Цитирую по Журавлеву, 31.

<sup>77</sup> «Некрасов и Салтыков». Из посмертных бумаг Г. З. Елисеева («Русское богатство», 1893, кн. 9, стр. 55—56); А. Пыпин, Салтыков Михаил Евграфович («Русский биографический словарь»).

<sup>78</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 11, № 60: Письмо Е. В. Салтыкова к Н. Е. Салтыкову от 7 сентября 1835 г. и письма 40-х годов.

<sup>79</sup> N; Strelsky, Saltykov and the russian squire. Columbia university press. New-York, 1940, стр. 1—176 (монография); Е го же, A new light on Saltykov's philosophy (статья в сборнике: «Slavie studies. Sixteen essays in honor of George Rappal Noyes». Published by Cornell university press. Ithaca — New-York, 1943).

<sup>80</sup> «Литературное наследство», т. 13—14, М., 1934, стр. 446—447.

<sup>81</sup> В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 13, стр. 40.

## ГОДЫ УЧЕНИЯ

<sup>1</sup> По сохранившимся в МОГИА «исповедным книгам», М. П. Забелин с 1833 г. и позже числился домовладельцем «в приходе церкви Афанасия и Кирилла, что на Сивцевом Вражке». В московском «Адрес-календаре» на 1842 г., составленном Нистремом, дом М. П. Забелина указан под № 560, в 5-м квартале Пречистенской части, стоимостью в 3428 сер. рублей. На плане 1849 г. дом обозначен на месте теперешнего № 30 по Б. Афанасьевскому переулку. Дом и строения показаны деревянными и небольшого размера (Плановый архив Моссовета).

<sup>2</sup> Во время экзаменов 1837 г. Ольга Михайловна была в Москве. 18 мая 1837 г. она писала Е. В. Салтыкову: «Видела Мишу... он кончил экзамены». ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, № 359, л. 49.

<sup>3</sup> «Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина». Том I, книги 1, 2, 3. Под редакцией... генерал-лейтенанта Г. Г. Христиани. Издание Военной академии, Томск, 1919, стр. 59—60. Тираж этого издания не был выпущен в свет, но несколько экземпляров книги сохранилось. Они имеются в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина.

<sup>4</sup> О. И. Зубова. Стенографическая запись ее воспоминаний (не издана, находится у автора этой книги).

<sup>5</sup> Ц Г И А Л — Ф. 733, оп. 30, № 50226: «Дело о преобразовании 1-й Московской гимназии в Дворянский институт», 1833 г. Новое «положение о Московском дворянском институте», действовавшее в период обучения в нем Салтыкова, см. в «Журнале Министерства Народного Просвещения», 1836 г., июнь. См. также: С. В. Рождественский. Исторический обзор деятельности министерства народного просвещения. 1802—1902, СПб., 1902, стр. 205.

<sup>6</sup> Это часто используемое в щедринской сатире выражение заимствовано из стихотворения И. И. Дмитриева «Москва»:

...Москва! России дочь любима!  
Где равную тебе сыскать!

. . . . .  
Твои сыны, питомцы славы,  
Прекрасны, горды, величавы,  
А девы — розами цветут...

Стихи запомнились Щедрину со времени его учения в институте. Он читал их на торжественном акте 5 июня 1837 года по случаю окончания институтских годовичных экзаменов. Эти стихи Щедрин взял в качестве эпиграфа к очерку 1877 года «Дети Москвы» («Сборник»), в котором иронически вспоминал: «С наслаждением, полным благоговения, декламировал я стихи Ивана Ивановича Дмитриева» (XIII, 361).

<sup>7</sup> С. Я. Унковский ранее служил во флоте и имел чин капитан-лейтенанта. Директором института он был назначен 21 октября 1834 г., а до этого был директором губернской гимназии в Калуге. Биографические материалы о нем см.: Ц Г И А Л — Ф. 733, оп. 30, № 50451: «Дело по отношению статс-секретаря Танеева» и № 50452: «Дело о посещении Калужской гимназии Николаем I».

<sup>8</sup> На этом основании нельзя, однако, считать, что в «Господах ташкентцах» Щедрин изобразил Дворянский институт. Это обобщенная сатирическая зарисовка «чистокровнейшего» учебного заведения николаевской России вообще, в которой, конечно, отразились и личные впечатления Салтыкова, но не только от института, а и от лица, и от последнего больше, чем от первого. Достаточно указать тут, что колоритнейший сатирический тип «господина Менюета» из «Господ ташкентцев» находит свой прямой реальный прототип в лицейском французском гувернере monsieur Menuet — г. Менюе, — которого лицеисты звали не иначе, как «Менюетом» (см. о нем в «Записках Яхонтова», напечатанных в «Русской старине», 1888, октябрь).

<sup>9</sup> М О Г И А — Ф. Московского учебного округа. — Дело канцелярии попечителя Московского учебного округа: «По Дворянскому институту», 1836—1838 гг., д. № 167. Ц Г И А Л — Ф. 733, оп. 30, № 50226: «Дело о Московском дворянском институте».

<sup>10</sup> Официальное утверждение В. К. Ржевского в должности инспектора последовало 1 марта 1838 года. См. Ц Г И А Л — Ф. 733, оп. 31, № 67041: «Запись о представлении старшего учителя В. К. Ржевского».

<sup>11</sup> «В. Г. Белинский и его корреспонденты». Сборник. Под ред. проф. Н. Л. Бродского. Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина. Отдел рукописей. М., 1948, стр. 261.

<sup>12</sup> Г. П. Данилевский. Московский дворянский институт



(школьные воспоминания). В издании: «Полн. собр. соч. Г. П. Данилевского», изд. Маркса, СПб., 1901, т. 24, стр. 205. В дальнейшем изложении цитируются также стр. 203, 207, 209—213.

<sup>13</sup> «Положение о Московском дворянском институте. Высочайше утвержденное в 6-й день мая 1836 года. Москва. В Университетской типографии. 1837». — Экземпляр этого редкого издания имеется в фундаментальной библиотеке Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

<sup>14</sup> М О Г И А — Ф. Московского учебного округа. — Дело канцелярии попечителя Московского учебного округа: «По Дворянскому институту», 1836—1838 гг., д. № 167. Кроме учебных предметов, воспитанники занимались еще гимнастикой и брали за отдельную плату уроки танцев, фехтования, плавания и верховой езды.

<sup>14</sup> М О Г И А — Ф. Московского учебного округа. — Дело канцелярии попечителя Московского учебного округа: «По Дворянскому институту. О распределении учебных часов в 1837 г.».

<sup>16</sup> Издания речей и литературных работ воспитателей и воспитанников Московского дворянского института, печатавшихся вместе с годовыми отчетами дирекции, представляют библиографическую редкость. Нам удалось обнаружить их лишь в фондах библиотеки Московского университета и только за годы 1827—1835. Приведем для образца содержание одного из сборников: 1) Старший учитель Николай Зернов — Речь, содержащая изложение постепенного хода и настоящего состояния положительных сведений и мнений о явлениях света; 2) Валериян Татарин — Речь о предназначении благовоспитанного юноши к общественной жизни; 3) Николай Милютин — *Du génie et du talent*; 4) Он же — Кремль (стихи); 5) Афанасий Мещерин — *Quelques pensées sur Minin et Pojarsky* (с эпиграфом: «A tous les coeurs bien nés que la patrie est chère»); 6) Антон Семюта — «*Von der Liebe zum Vaterland*»; 7) Отчет института за 1833 г. — «Речи и рассуждения, произнесенные в торжественном собрании Московского дворянского института 1833 года декабря 23 дня. При сем отчет Дворянского института за 1833 год. Москва. В университетской типографии, 1833 г.».

<sup>17</sup> «Записки Алексея Михайловича Унковского» («Русская мысль», 1906, кн. 6, стр. 185).

<sup>18</sup> Двойная ошибка памяти Салтыкова или Веселовского: архивные документы устанавливают, что в институте был в 1836—1838 гг. преподаватель латинского (а не русского) языка кандидат Тимофей Сирин (а не Суринов), который, очевидно, и имеется в виду.

<sup>19</sup> «В память С. А. Юрьева. Сборник, изданный друзьями покойного», М., 1891, стр. 283—284.

<sup>20</sup> Речь Межевича была напечатана отдельной брошюрой, не

имеющей никаких выходных данных. Экземпляр ее хранится в библиотеке Московского университета.

<sup>21</sup> М О Г И А — Ф. 459, оп. 1, № 40, л. 11.

<sup>22</sup> Г И М — Архив С. А. Юрьева: «Что сохранила память» (рукопись на 7 л.).

<sup>23</sup> О заботе, проявлявшейся С. Я. Унковским в отношении развития самостоятельного чтения среди воспитанников, свидетельствует, например, его рапорт попечителю Московского учебного округа от 18 сентября 1836 г. Унковский писал в нем: «Зная по опыту, сколь много чтение книг образцовых писателей способствует к образованию ума молодых людей, я считаю весьма полезным и даже необходимым для воспитанников Московского дворянского института, готовящихся к вступлению в Университет, составить для чтения особое отделение при Фундаментальной библиотеке из имеющихся в оной разных лучших книг, присоединив к ним еще означенные в прилагаемом реестре книги на русском, немецком и французском языках» (реестр в деле отсутствует). М О Г И А — Ф. Московского учебного округа, д. 1836 г.: «По Дворянскому институту. О покупке для воспитанников М. Д. И. книг и учебных пособий».

<sup>24</sup> Здесь и дальше (о переводе Салтыкова из Дворянского института в лицей) использована следующая архивная документация: М О Г И А — Ф. Московского учебного округа, д. № 170—1838 г.: «О помещении на казенный счет в имп. Царскосельский лицей воспитанников Московского дворянского института И. Павлова и М. Салтыкова», лл. 1, 4—6; Л О Г И А — Ф. 11, д. № 816 (св. № 138): «О приеме воспитанников за 1838 г.», лл. 2—об. 2, 4; Л О Г И А — Ф. 11, д. № 259 (св. № 45): «Журналы конференции Лицея за 1838 г.», лл. 36—37, 91—93.

<sup>25</sup> В «ведомости об экзаменованных» фамилия Салтыкова подчеркнута, и против нее стоит знак №. Очевидно, «конференция» затруднялась сразу определить свое решение и были голоса за принятие Салтыкова во II класс (Л О Г И А — Ф. 11: «Ведомость об экзаменованных конференцией И. Ц. Л. кандидатах, предназначенных ко вступлению в число воспитанников лицея в 1838 г., в порядке старшинства полученных сими кандидатами на экзаменах баллов», л. 91). О зачислении Салтыкова см. запись в «журнале конференции» под 24 мая 1838 г. (там же, л. 92). Приказ в. кн. Михаила Павловича, утверждающий принятие Салтыкова, датирован 21 июня 1838 г. (там же, Ф. 11, св. 138, д. № 816, л. 25). В последующих документах время поступления Салтыкова в лицей указывается обычно с августа 1838 г., то есть с момента фактического начала его учебных занятий.

<sup>26</sup> Формально «Наставленис» было введено в действие после окончания Салтыковым лицея. Но духом его определялось все казенное воспитание в России Николая I.

<sup>27</sup> А. И. Герцен. Полное собрание сочинений, под ред. М. К. Лемке, т. XIII, стр. 599—601 («Былое и думы»).

<sup>28</sup> ЛОГИА — Ф. 11 (Царскосельского лицея): № 304, св. 57, л. 26.

<sup>29</sup> А. Н. Яхонтов. Воспоминания царскосельского лицеиста («Русская старина», 1888, кн. 10; ср. Д. Кобеко. Императорский царскосельский лицей, СПб., 1911, стр. 374—378). Яхонтов был воспитанником IX курса лицея (1832—1838). Его воспоминания вместе с записками другого лиценста того же IX курса К. С. Веселовского «Воспоминания о Царскосельском лицее. 1832—1838» («Русская старина», 1900, кн. 10) дают среди печатных источников наибольшее количество сведений о быте, преподавателях и наставниках лицея за период, непосредственно предшествовавший времени пребывания там Салтыкова.

<sup>30</sup> Д. Кобеко. Цит. соч., стр. 349—350.

<sup>31</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, № 359, л. 62: Письмо О. М. Салтыковой к Е. В. Салтыкову от конца марта 1839 г.

<sup>32</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, № 359, л. 67: Письмо О. М. Салтыковой к Е. В. Салтыкову от 6 апреля 1839 г.

<sup>33</sup> ЛОГИА — Ф. 11 (Царскосельского лицея): № 828, св. 140, № 854, св. 142, л. 64 и № 875, св. 145, лл. 30, 31 с об. и 41.

<sup>34</sup> Сведения взяты из «Ведомостей об успехах и поведении», приложенных к «Журналам конференции лицея». — ЛОГИА — Ф. 11 (Царскосельский лицей), № 293, св. 55 и № 303, св. 57.

<sup>35</sup> А. Н. Яхонтов. Воспоминания царскосельского лицеиста («Русская старина», 1888, кн. 10, стр. 113) и «Записки Алексея Михайловича Унковского» («Русская мысль», 1906, кн. 6, стр. 158). О предметах и дисциплинах, проходившихся Салтыковым на XIII курсе, и об учебных пособиях, по которым велось преподавание, см. ЛОГИА — Ф. 11 (Царскосельский лицей), № 303, св. 57, лл. 95—95 об., № 304, св. 57, лл. 45—45 об., № 854, св. 142, л. 25 об. См. также: И Селезнев. Исторический очерк быв. Царскосельского, ныне Александровского лицея за первое 50-летие его существования с 1811 по 1861 г., СПб., 1861, стр. 336—378.

<sup>36</sup> Как указано (см. прим. 29), А. Н. Яхонтов и К. С. Веселовский окончили лицей с IX курсом, в 1838 г., то есть в год, когда воспитанники XIII курса, среди них и Салтыков, начинали свое лицейское воспитание. Но преподавательский персонал, занимавшийся с XIII курсом, в основном оставался тот же. Приведем список должностных лиц и преподавателей лицея в период обучения

в нем Салтыкова (1838—1844) с указанием дат пребывания их в соответствующих должностях.

Главнoначальствующий лицeя: в. кн. Михаил Павлович (1831—1843), после него принц П. Г. Ольденбургский (с ноября 1843 г., см. ниже прим. 77). Директор: генерал-лейтенант Ф. Г. Гольтгоер (1824—1840), после него генерал-лейтенант Д. В. Броневский (1840—1853). Инспектор: А. Ф. Оболенский (1828—1843), после него полковник Миллер (1843—1853). Профессора: всеобщей истории — И. К. Кайданов (1816—1841), немецкого языка и словесности — де Олива (1825—1842), русского языка и словесности — П. Е. Георгиевский (1828—1852), французского языка и словесности — Р. А. Жилле (1830—1841), нравственных, гражданских и государственных наук — А. Ф. Оболенский (1833—1861), физики и математических наук — Н. Т. Щеглов (1836—1853), юридических наук — Я. И. Баршев (1837—1867), политической экономии и статистики — И. А. Ивановский (1837—1880), французской словесности (после Жилле) — И. А. Курнанд (1841—1853), русской истории — И. П. Шульгин (1841—1862), немецкой словесности (после де Олива) — Пецольт (1842—1847). Адъюнкты-профессора: физики и математических наук — Шиглев (1833—1868), русского языка — Ф. В. Гроздов (1833—1844), П. С. Бельзовский (1837—1840), истории и географии — С. Н. Смарагдов (1840—1853), юридических наук — К. И. Кестнер (1842—1851) и английской словесности — Ф. И. Шоу (1842—1862.) — Ср. А. А. Рубен. «Наставникам, хранившим юность нашу», 1811—1911, СПб., 1911.

<sup>37</sup> А. Н. Яхонтов. Цит. соч., стр. 114; Я. К. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2-е, СПб., 1899, стр. 226.

<sup>38</sup> Ср. в воспоминаниях М. А. Корфа: «Георгиевский, которого мы называли «Пепкой»... читал какую-то невозможную чушь по своей книге, называемой нами «Пепкино свинство». — «Из пережитого. Записки М. А. Корфа» («Русская старина», 1884, кн. 12, стр. 378).

<sup>39</sup> Рецензия вошла в «Полное собрание сочинений» Белинского под ред. Венгерова, т. VII, стр. 321—323. Белинский рецензировал второе издание «труда» Георгиевского, по которому и учился Салтыков. Полное заглавие книги («оно столь же бесподобно, как и вся книга», — отмечал Белинский) гласило: «Руководство к изучению русской словесности, содержащее в себе основные начала изящных искусств, теорию красноречия, пиитику и краткую историю литературы, составленное профессором императорского Лицея и императорского Училища правоведения Петром Георгиевским. В четырех частях. Издание второе, исправленное и дополненное. СПб., 1842» (первое издание вышло в 1835 г.).

П. Е. Георгиевский являлся не только преподавателем (профессором) в старших классах лицея (в младших классах русский язык и литературу преподавал Ф. В. Гроздов), но и автором общелицейской учебной программы по грамматике, теории словесности, истории литературы и эстетике. Некоторое представление об этой программе дает следующий раздел из отчета директора лицея за 1838 год «О преподаваемых предметах и руководствах профессоров»:

«В 1-м классе: правила русского словосочетания, правописания, просодий по грамматике Греча, а вспомогательными источниками служат: пространная грамматика того же писателя, пространная грамматика сочинения Востокова, исследование о русском языке Калайдовича и опыт о русском стихосложении Востокова.

Во 2-м классе: общая риторика по изданному в 1835 году преподающим эту часть г. Георгиевским руководству. Вспомогательными источниками собственных соображений преподавателя служат и другие, изданные на русском языке, учебные словесные сочинения.

В 3-м и 4-м классах: теория слога, теория изящных искусств, теория красноречия, пиитика, история литературы из древних, новых и особенно русской по собственному преподающего руководству <Георгиевского>. Вспомогательными же источниками ему служат ученые труды известных иностранцев и отечественных литераторов» (ЛОГИА — Ф. 11, № 2536, св. 44: «Дело о преподаваемых предметах и руководствах профессоров в 1836—1866 гг.», л. 3—3 об.)

<sup>40</sup> Отзывы и упоминания Белинского о «грамматике» и учебниках Греча, Плаксина и Кайданова см. по общему алфавитному указателю к «Полному собранию сочинений» критика (т. XIII, под ред. В. С. Спиридонова).

<sup>41</sup> К. С. Веселовский. Цит. соч., стр. 15—16; А. Н. Яхонтов. Цит. соч., стр. 369—370.

<sup>42</sup> К. С. Веселовский. Цит. соч., стр. 12; К. К. Арсеньев. Воспоминания об Училище правоведения. 1849—1855 («Русская старина», 1886, кн. 4, стр. 209); А. Н. Яхонтов. Цит. соч., стр. 369.

<sup>43</sup> А. В. Никитенко. Записки и дневники, т. I. СПб., 1905, стр. 282 (запись от 2 января 1837 г.).

<sup>44</sup> ЛОГИА — Ф. 11 (Царскосельский лицей), № 285, лл. 123—124, № 293, св. 55 и № 303, св. 57.

<sup>45</sup> А. М. Унковский. М. Е. Салтыков в посмертных воспоминаниях друга («Русские ведомости» от 23 апреля 1894 г., № 115).

<sup>46</sup> В журнале конференции лицея записано, что И. В. Павлов был исключен (приказом от 17 апреля 1842 г.) «по домашним обстоятельствам». Однако из позднейшего документа — рапорта директора лицея о возникших среди воспитанников беспорядках в 1843 г. — выясняется, что подлинной причиной исключения был ка-

кой-то «дерзкий проступок» Павлова, который начальство не забыло и через год после исключения провинившегося. ЛОГИА — Ф. Царскосельского лицея, № 285, «Журналы конференции лицея. 1842 г.», лл. 24 и 26, и № 867 (145): «О дерзких выражениях воспитанников 4-го класса...», лл. 2—4.

Причина исключения И. В. Павлова из лицея не отражена и в архивной документации, связанной с его двукратным поступлением в Московский университет. См. Архив Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова — Ф. 418, оп. 12, № 301, 1843 г.: «Дело Совета ИМУ о принятии в Университет воспитанников Царскосельского лицея Евгения Якушкина, Ивана Павлова и Павла Апухтина», лл. 16—27; Ф. 418, оп. 14, № 191, 1845 г. и «Дело Совета ИМУ о принятии в число студентов Ивана Павлова», лл. 1—2 (сообщено В. П. Гурьяновым).

<sup>47</sup> А. И. Герцен. Полное собрание сочинений, под ред. М. К. Лемке, т. III, стр. 444, и т. XIII, стр. 268. В гостях у Герцена в Соколове Анненков встретил и другого лицейского друга Салтыкова — Д. А. Засядко.

<sup>48</sup> В 1839 г. на XIII курсе было 24 воспитанника (ср. письмо Салтыкова к родителям — Щедрин, XVIII, 39), затем число их увеличилось, дойдя до 28, закончило же лицей всего 22: были исключены — в декабре 1842 г. Петр Урусов и в апреле 1843 г. Александр Эрдели; в мае 1842 г. перевелись в Дерптский университет Вл. и Петр Степановы; ушел в 1842 г. «по домашним обстоятельствам» Александр Нелюбин и «отстал» при переводе из III в IV класс, в декабре 1842 г., Вас. Перфильев.

Впущены были в 1844 г. в XIII курсе: По I степени (успехов), с награждением чином IX класса: П. С. Бибииков, кн. А. Б. Лобанов-Ростовский, Е. С. Есаков, кн. В. П. Ширинский-Шихматов, А. Х. Штевен, Н. Е. Андреевский, И. Н. Величко, Ю. Х. Риземан, И. И. Набоков, А. В. Бибииков, Д. К. Швахгейм и Н. И. Палтов; по II степени, с награждением чином X класса: Д. А. Засядко, В. И. Калашников, В. Н. Колтовский, А. П. Авенариус и М. Е. Салтыков; по III степени, с награждением чином XII класса: В. Д. Ахшарумов, гр. А. П. Бобринский, А. Н. Попов, гр. М. В. Орлов-Денисов; по IV степени, без награждения классным чином: кн. В. Е. Любомирский. ЛОГИА — Ф. 11, № 877 (№ св. 146): «О выпуске воспитанников за 1844 и 1845—1846 гг.», лл. 19—20 (доклад конференции лицея принцу П. Ольденбургскому от 17 июня 1844 г.), и № 285: «Журналы конференции лицея, 1842 г.», лл. 35 и 123. Ср. «Памятная книжка лицейств. 1811—19 октября — 1911», СПб., 1911, стр. 33—35.

<sup>49</sup> О В. С. Перфильеве (лиц. вып. 1845 г.) как о своем «бывшем товарище» Салтыков упоминает в письме к Л. Н. Толстому от 20 декабря 1883 г. — Щедрин, XIX, 377.

<sup>50</sup> О гр. Д. А. Толстом (лиц. вып. 1842 г.) Салтыков писал в конце 60-х годов своему брату: «С этим я давно уже не знаком и вряд ли могу возобновить знакомство» (Щедрин, XVIII, 221). С. Н. Кривенко сообщает в своей биографии Салтыкова, что «с графом Д. А. Толстым судьба свела его потом, по выходе из школы» (Кривенко. Цит. соч., стр. 71). Но решительно никаких следов этих послелицейских отношений не сохранилось, и что имеет в виду Кривенко — неизвестно.

<sup>51</sup> См. об этом подробнее в статье Б. В. Папковского «М. Е. Салтыков-Щедрин и журналистика конца 30-х — начала 40-х годов». (К вопросу об усвоении идей Белинского), напечатанной в «Ученых записках Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена». Кафедра русской литературы, т. 87, Л. 1949, стр. 45—74.

<sup>52</sup> А. Н. Яхонтов. Цит. соч., стр. 112; ИРЛИ — Собрание Лицейского музея. «Воспоминания А. Л. Соколовского», л. 35.

<sup>53</sup> Щедрин, I, 81.

<sup>54</sup> Щедрин, I, 79.

<sup>55</sup> Белооголовый, 230: «Плетнев до того заинтересовался юным сотрудником <<Современника>>, что приехал раз на экзамен, но, как уверял Михаил Евграфович, едва ли составил себе о нем хорошее впечатление, потому что сотрудник на экзамене отвечал плоховато, по обыкновению». Однако в конце 1843 г. Салтыков еще не был сотрудником «Современника». Его первое выступление в этом журнале, в т. 35 (стихотворение «Рыбачке», из Гейне), относится к 1844 г.

<sup>56</sup> ИРЛИ — Бумаги В. Р. Зотова. Лицейский рукописный журнал «Вообще», 1840 г., стр. 36 об. Указание Б. В. Папковского.

<sup>57</sup> ЦГЛА — Ф. Гос. лит. музея: Письмо И. В. Павлова к неизвестному от 3 мая 1855 г. (неизд.); А. Н. Яхонтов. Цит. соч., стр. 356.

<sup>58</sup> Предпринятые за последние годы попытки расширить круг опубликованных стихотворений Салтыкова не могут быть сочтены убедительными. В 1934 г. М. М. Калаушиц в статье «Салтыков в лицее» писал: «Еще из работы К. К. Арсеньева «Материалы для биографии М. Е. Салтыкова» известна была принадлежность Салтыкову стихотворения «Две жизни», напечатанного в 50-м томе «Библиотеки для чтения» (1842). Стихотворение это помечено в журнале только первой буквой фамилии Салтыкова. До сих пор никто из исследователей не обращал внимания

на то, что в том же 50-м томе журнала, рядом со стихотворением «Две жизни», имеется другое, под названием «Утешение», подписанное также буквою «С». Наличие единого псевдонима, внутренних признаков, а также тот факт, что обе вещи помещены рядом (стр. 9 и 10), заставляют предполагать, что и второе стихотворение принадлежит Салтыкову» («Литературное наследство», т. 13—14, стр. 478). Далее оказывается, что «изучение «Библиотеки для чтения» за годы 1840—1845 обнаруживает еще три стихотворения, подписанных тою же буквою «С»: «Я люблю» (1841, т. 48, стр. 11—12), «Борьба» (1842, т. 51, стр. 7) и «Убогий дар» (1843, т. 56, стр. 8). Все они, утверждает М. Калаушин, «имеют много общего между собою, и все они разрабатывают те же поэтические мотивы, которые мы находим в известных поэтических опытах молодого Салтыкова». М. Калаушин оговаривается, что «установление принадлежности Салтыкову этих, как и ряда других стихотворений... еще нуждается в солидной аргументации». Однако он не учел некоторых фактов, ставящих под сомнение самую возможность такой аргументации. Прежде всего в «Библиотеке для чтения» за 1840—1845 гг. имеется не четыре, а целых пятнадцать стихотворений, под которыми стоит все та же буква «С». Исходя из уверенности, что буква эта прикрывает фамилию Салтыкова, легко сделать соответствующие выводы. Так и поступил Л. Е. Кожекин в своей работе «Ранний Салтыков» (кандидатская диссертация в ИФЛИ). Список стихотворений Салтыкова он увеличил с 10 до 25. В основе его «доказательств» лежит все та же уверенность в правильности атрибуции Арсеньева. Но в том-то и дело, что традиционная атрибуция эта вызывает по меньшей мере сомнение. Прежде всего в ней есть одна существенная неточность, не замеченная ни М. Калаушиным, ни Л. Кожекиным, ни, наконец, Н. Яковлевым, составителем наиболее полного и авторитетного «Хронологического списка произведений Салтыкова» (Щедрин, I, 473). Стихотворение «Две жизни», действительно подписанное в тексте буквою «С», помечено, однако в оглавлении криптонимом «С — ов» («Библиотека для чтения», 1842, т. 50, стр. 10).

Таким образом, «единство псевдонима» между стихотворением «Две жизни» и рядом напечатанным «Утешением», под которым и в тексте и в оглавлении стоит буква «С», — отсутствует. Различие же, несомненно, подчеркивает, что помещенные рядом стихотворения эти принадлежат двум различным авторам, чьи фамилии начинались на «С». А таких в «Библиотеке для чтения» за 1841—1844 гг. в отделе поэзии участвовало несколько, например А. Степанов, И. С — ов, С — т, В. Соколов, С. Степанов и другие. Почему же подпись «С» (или «С — ов») под «Двумя жизнями» должна обозна-



чать принадлежность стихотворения именно Салтыкову? К. К. Арсеньев никаких доказательств этому не приводит, и мы не знаем, на основании чего он счел «Две жизни» салтыковским произведением. А между тем указание это противоречит данным, исходящим непосредственно от самого сатирика. В своем автобиографическом письме к С. А. Венгерову он писал о начале своей литературной деятельности: «Кажется, в 1842 году было напечатано в «Библиотеке для чтения» мое первое стихотворение «Лира», очень глупое. Затем я печатал, будучи на скамье лицейской, стихи в «Современнике» Плетнева». Здесь есть неточность памяти: «Лира» напечатана в 1841, а не в 1842 г., в «Современнике» Салтыков печатался преимущественно уже после окончания лицея. Но память вряд ли изменила сатирику в том отношении, что в «Библиотеке для чтения» он поместил лишь одно стихотворение, название которого он и приводит, а затем, после значительного перерыва, возобновил печатание своих стихов уже в «Современнике». Что такой перерыв был, подтверждает и другой документ — автобиографическая записка 1878 г. «Первые стихи, — читаем здесь, — Салтыков напечатал в «Библиотеке для чтения», помнится, в 1840 <1841> году. Потом до 1843 <1844> года не печатал, а в 1843 и 1844 <1844 и 1845> году поместил довольно много стихотворений в «Современнике» Плетнева». Выражение «первые стихи» допустимо понимать в единственном числе, в смысле «первое стихотворение». А «довольно много стихотворений в «Современнике» — это всего лишь восемь, включая и одно «Из Байрона», «не найденное» К. К. Арсеньевым. Во всем остальном, весьма скудном, кстати, стихотворном материале журнала за 1843—1845 гг. нет ничего, что давало бы объективные данные для определения возможного скрытого авторства Салтыкова. Что же касается до «Библиотеки для чтения», то приведенные свидетельства сатирика, как видим, противоречат допущениям о том, что он печатался в этом журнале не только в 1841, но и в 1842—1844 гг., как это указывает Арсеньев и доказывают Калаушин и Кожекин. В силу всего сказанного не только нельзя согласиться с предложенными пока расширениями арсеньевского списка, но необходимо изъять из него, в качестве по меньшей мере спорного в смысле авторства Салтыкова, стихотворение «Две жизни».

Таким образом, совершенно бесспорным списком известных нам сейчас стихотворений Салтыкова должен считаться пока такой (в порядке их написания):

1—10. Десять стихотворений 1838—1840 гг. Подпись: «Лира» (первый псевдоним Салтыкова). Рукописная автобиографическая

тетрадь в бумагах Лицейского музея, хранящихся в ИРЛИ. Не опубликовано. Сообщено Б. В. Папковским.

11. «Два ангела». Подпись: «Салтыков. 23 сентября 1840 г.».— Опубликовано по списку лицеиста Н. П. Семенова в «Литературном наследстве», т. 13—14, М., 1934, стр. 470.

12. «Песня (Из Victor Hugo)». Подпись: «Салтыков. 1840 г.».— Опубликовано по списку лицеиста Н. П. Семенова в «Литературном наследстве», т. 13—14, М., 1934, стр. 470—471.

13. «Лира». Подпись: «С—в. 1841 г.».— «Библиотека для чтения», т. 45, 1841, стр. 105.

14. «Рыбачке (из Гейне)». Подпись: «1841, М. Салтыков». — «Современник», т. 35, 1844, стр. 100.

15. «Из Байрона («Разбит мой талисман, исчезло упоенье!») <«The spell is broken»>. Подпись: «М. Салтыков, 1842». — «Современник», т. 35, 1844, стр. 105.

16. «Из Байрона («Когда печаль моя, как мрачное виденье...») <«Impromptu in reply to friends»>. Подпись: «Салтыков. 1842». — «Современник», т. 39, 1845, стр. 306 (в оглавлении ошибочно указана страница 318, что, очевидно, и явилось причиной невключения этого стихотворения в перечень К. К. Арсеньева).

17. «Вечер». Подпись: «Салтыков. 1842». — «Современник», т. 37, 1845, стр. 377.

18. «Зимняя элегия». Подпись: «М. Салтыков. 1843». — «Современник», т. 37, 1845, стр. 119—120.

19. «Музыка». Подпись: «М. Салтыков. 1843 г.».— «Современник», т. 39, 1845, стр. 212.

20. «Наш век». Подпись: «М. Салтыков. Февраль 1844 г.».— «Современник», т. 34, 1844, стр. 231.

21. «Весна» (Из моих отрывков. У—ву в воспоминание прошлого). <Скорее всего кн. Петру Урусову, однокурснику Салтыкова и его тверскому земляку, исключенному из лицея в конце 1842 г., но, быть может, и Ф. С. Усову, воспитаннику X курса>. Подпись: «М. Салтыков. Март 1844 г.».— «Современник», т. 34, 1844, стр. 541.

<sup>59</sup> Об этом сообщается в письме О. М. Салтыковой Д. Е. Салтыкову от ноября 1847 г.— ИРЛИ — Ф. 366.

<sup>60</sup> Авдотья Панаева (Е. Я. Головачева). Воспоминания. 1824—1870. Под ред. К. Чуковского, изд. 3-е, «Academia», Л., 1929, стр. 494—495.

<sup>61</sup> В какой мере конкретно определяющими были критические оценки и суждения Белинского для круга чтения и литературных увлечений Салтыкова-лицеиста, показывает позднейшее признание сатирика о «сильном влиянии» на него в ту пору повестей Панаева

и Кудрявцева. Эти второстепенные беллетристы 30-х—40-х годов, отнюдь не стоявшие в центре широкого читательского внимания эпохи, оказались выделенными в позднейшей автобиографической записи Салтыкова, вероятно, именно потому, что он смотрел на них в годы лица глазами Белинского. Отзывы же последнего о названных писателях были действительно весьма высоки. Большой похвалой отметил Белинский, например, правоучительно-бытовые, отчасти сатирические; повести и рассказы И. И. Панаева «Онагр», «Барыня», «Актеон», «Литературная тля» (1841—1843). Восторженно отзывался Белинский о повестях П. Н. Кудрявцева «Катенька Пылаева», «Антонина», «Флейта» и др. Он называл их «превосходными», а в авторе их усматривал глубокую художественную натуру (Белинский, Письма, т. I, стр. 318). Повести Кудрявцева печатались в конце 30-х и начале 40-х годов в «Московском наблюдателе» и «Отечественных записках» за подписью «А. Н.» или «Нестроев».

В Кудрявцеве — своем приятеле по московскому кружку, впоследствии известном историке, ученике и друге Грановского — Белинский в начале 40-х годов находил «идеал природного эстетического вкуса и понимания» (П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Ред. Б. М. Эйхенбаума, «Academia», Л., 1928, стр. 437—438). Впоследствии, однако, Белинский изменил свои суждения. В 1847 г. он писал В. П. Боткину: «Кажется, таланту Кудрявцева — вечная память», и говорил Гончарову о Панаеве: «Творчества у него ни капли нет» («В. Г. Белинский в воспоминаниях современников». Собр. и коммент. М. Клеман, «Academia», Л., 1929, стр. 322). Но в начальную пору 40-х годов высокие оценки, дававшиеся Белинским беллетристическому творчеству Панаева и Кудрявцева, способствовали популяризации их повестей в кругу почитателей и единомышленников критика, и повести эти, таким образом, неслучайно оказались в числе источников формировавших литературный вкус и питавших первые беллетристические опыты сатирика.

<sup>62</sup> Джаншиев А. М. Унковский и освобождение крестьян, М., 1894, стр. 7—8; «Записки А. М. Унковского» («Русская мысль», 1906, кн. 6, стр. 186).

<sup>63</sup> «Русская старина», 1916, кн. 1, стр. 75.

<sup>64</sup> См. в кн. «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Под ред. А. С. Долнина, т. I, 1922, стр. 270.

<sup>65</sup> К. К. Арсеньев. Воспоминания об Училище правоведения, 1849—1855 («Русская старина», 1886, кн. 4, стр. 201).

<sup>66</sup> «Мысль моя — статья во главе разумного движения в народе русском», — писал Петрашевский во втором своем показании след-

ственной комиссии. — «Дело петрашевцев», изд-во Академии наук СССР, т. I, М.—Л., 1937, стр. 29.

<sup>67</sup> «Дело петрашевцев». Цит. соч., стр. 5—7; В. И. Семевский, М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, т. I, М., 1922, стр. 53—54; «Записки А. М. Унковского». Цит. соч., стр. 186.— Вина Унковского усугублялась тем, что при обыске у него была найдена копия написанного им сатирического либретто «Поход в Хиву», в котором «вышучивались у власти стоявшие лица».

<sup>68</sup> ЛБ — М. 8223/1: Письмо И. В. Павлова к А. И. Малышеву, датированное: «Лето 1845». В этом же письме Павлов сообщает о своей поездке вместе с Кетчером, Некрасовым, Огаревым и др. в Соколово к Герцену, о своей размолвке с Герценом и др. В другом письме к тому же адресату, относящемся к 1847 году, Павлов выражает веру в грядущее торжество идей социализма.

<sup>69</sup> ЦГИА (М) — Ф. III Отд., № 226, 1849 г.: «По отношению г. генерал-адъютанта Дубельта об отобрании ответов от титулярного советника Салтыкова по делу о титулярном советнике Буташевиче-Петрашевском», л. 12. Ср. Семевский, М. Е. Салтыков-петрашевец («Русские записки», 1917, кн. I, стр. 24—25).

<sup>70</sup> А. Н. Яхонтов. Цит. соч., стр. 360.

<sup>71</sup> В. Р. Зотов. Петербург в 40-х годах («Исторический вестник», 1890, т. 40, стр. 536—537).

<sup>72</sup> «Дело петрашевцев», т. I, стр. 148. Ср. В. В. Жданов. Поэзия в кружке петрашевцев — вступительная статья к выпуску «Поэты-петрашевцы» в серии «Библиотека поэта», Л., 1940, стр. XVIII—XXI.

<sup>73</sup> «Переписка Я. Грота с П. Плетневым», т. II, стр. 79—80; Д. Кобеко. Императорский царскосельский лицей. 1811—1911. СПб., 1911, стр. 73 (выписка из «журнала конференции лицея» от 6 апреля 1843 г.); ЛОГИА — Ф. 11, № 863, св. 145.

<sup>74</sup> ИРЛИ — Ф. 366: Письма О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от 16 апреля и 15 июня 1843 г. — Недовольство Ольги Михайловны вызвано было, вероятно, и поэтическими увлечениями сына, отчуждавшими его от занятий и державшими его на плохом счету у лицейского начальства, а также некоторыми денежными долгами, которые он сделал и об уплате которых просил.

<sup>75</sup> Д. Е. Салтыков после окончания Московского дворянского благородного пансиона служил в Канцелярии московского генерал-губернатора, а в 1839 г. переехал в Петербург и поступил на службу в 1-й департамент министерства государственных имуществ. В 1843 г. он был переведен в лесной департамент этого министерства.

<sup>76</sup> «Дело петрашевцев». Цит. соч., стр. 548.

<sup>77</sup> Это было связано с решением Николая I (дата «высочайшего повеления» — 6 ноября 1843 г.) о передаче лицей из военного в гражданское ведомство. См. об этом: ЦГВИА (М) — Ф. 1, оп. 1, д. № 1412, 1843 г.: «По высочайшему повелению о передаче императорского Царскосельского лицей из военного в гражданское ведомство с переименованием в императорский Александровский лицей, поручением Главного начальствования его светлости принцу Петру Ольденбургскому и причислением к собственной его величества канцелярии по IV отделению».

Лицей был окончательно переведен в Петербург, в здание на Каменноостровском проспекте, ранее занимавшемся Александровским сиротским домом, к 1 января 1844 г. Учебные занятия в новом помещении начались после рождественских каникул. С этого времени и следует, таким образом, вести счет годам Салтыкова, как петербургского жителя.

<sup>78</sup> ЛОГИА — Ф. Царскосельского лицей, д. № 877 (св. № 146): «О выпуске воспитанников за 1844 и 1845—1846 гг.», л. 112. Там же — см.: 1) подробное расписание выпускных экзаменов, происходивших с 9 утра до 3 дня 13, 18, 23 и 27 мая и 1, 6 и 10 июня (лл. 7 и 12) и 2) доклад конференции лицей принцу Петру Ольденбургскому от 17 июня 1844 г. о результатах испытаний, из которого, в частности, видно, что Салтыкову как казеннокоштному воспитаннику было выдано при выпуске пособие в размере 500 рублей ассигн. (лл. 19—20). По окончании лицей Салтыков, вместе с другими выпускниками, подписал индивидуальное «Клятвенное обещание», т. е. принял присягу. — ЛОГИА — Ф. 11, № 303, св. 57, л. 108.

## В ПЕТЕРБУРГЕ СОРОКОВЫХ ГОДОВ

<sup>1</sup> А. Герцен. Былое и думы: главы XXVI («Санкт-Петербург») и XXXIII («Еще раз старый Петербург»).

<sup>2</sup> Н. Русанов. Из идейной истории русского социализма («Русское богатство», 1909, кн. 2, стр. 47).

<sup>3</sup> Ап. Григорьев. Заметки петербургского зеваки («Репертуар и Пантеон», 1844, стр. 739).

<sup>4</sup> В письме к Вас. Татаринову от 29 июня 1844 г. И. В. Павлов писал: «Съехались сюда лицейские — Засядко, Салтыков да Бибиковы. Угостил их Москвою на славу... Ездили и в обитель к Кетчеру и обрели там... Бодиску». (Письмо не издано, сообщено О. С. Татариновой.)

<sup>5</sup> Дата определяется записью Е. В. Салтыкова в «Адрес-календаре» за 1844 г., из которой явствует, что 5 августа вся семья

Салтыковых приехала из Спас-Угла в Хотьковский монастырь, а 7 августа «Ольга Михайловна, Михайло, Сергей и Илья Салтыковы выехали в Москву для отправления Михайлы и Сергея Салтыковых в Петербург».

<sup>6</sup> ЦГВИА (М) — Ф. 1, оп. 1, № 65/15534—1844 г. «О распределении в государственную гражданскую службу воспитанников, выпущенных в 1844 году из императорского Александровского лицея», л. 15.

<sup>7</sup> «Столетие военного министерства», т. III, ч. 1: Данилов, Исторический очерк деятельности Канцелярии военного министерства и военного совета, СПб., 1907, стр. 436—437 и др.

<sup>8</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9, № 119: Письмо О. М. Салтыковой 1844 г., без обозначения месяца и дня.

<sup>9</sup> ИРЛИ — 366, оп. 9: Письмо О. М. Салтыковой от 25 января 1845 г.

<sup>10</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9, № 52: Письмо О. М. Салтыковой к М. Е. Салтыкову от 15 ноября 1845 г.

<sup>11</sup> Е. В. Салтыков сообщал сыну Николаю Евграфовичу в письме от 14 февраля 1842 г.: «Брат твой Дмитрий живет на новой квартире в С. Петербурге: на Большой Конюшенной улице в доме Волкова, в квартире под № 26-м». В этой квартире Салтыков бывал в свои отпускные дни в годы лицея. В 1845 г. Д. Е. Салтыков купил себе дом. Его адрес на письмах стал такой: «В С. Петербург. В Коломне. На углу Торговой и Малой Мастерской улиц, наискось Католической церкви, в собственном доме, бывшем Горшнева». — ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9, № 132: Письмо О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от 18 сентября 1846 г.

<sup>12</sup> В одном из недатированных писем 1847 г. к родным В. П. Безобразов писал: «Наш лицейский Салтыков оставил за мной квартиру у Жадимерского» <?> (Письмо не издано, сообщено О. И. Кунщиковой). Вскоре по возвращении из вятской ссылки Салтыков вновь жил в Петербурге в одном доме с В. П. Безобразовым («Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Москва сороковых годов», изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1929, стр. 221).

<sup>13</sup> А. Скабичевский. Михаил Евграфович Салтыков. Некролог и несколько воспоминаний о нем («Новости», 1889, № 116 от 29 апреля); С. Унковская. Воспоминания о М. Е. Салтыкове (неизд. рукопись, у автора). В одном из писем 1845 г. к сыну Дмитрию Евграф Васильевич с негодованием вспоминал, «как Бобринский на его счет подарками утешал, а после за них Миша же должен был платить», и далее, весьма энергичным, но неудобным

для печати сравнением резко характеризовал «таковых друзей». ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9, № 126.

<sup>14</sup> В специальном указе Правительствующего сената от 17 июля 1844 г. об окончивших курс воспитанниках лицея было сказано, после поименования их: «Его императорскому величеству благоугодно было всемилостивейше повелеть сих выпускаемых воспитанников лицея определить на службу в разные ведомства, согласно с их желанием, в приложенном списке изложенным, с тем, что если в избранных ими местах не будет пристойных вакансий, то до открытия оных, производить им, на основании ст. 1219 кн. III, ч. 1-й свода военных постановлений, жалованье из государственного казначейства по следующему назначению: удостоенным при выпуске чином IX класса по 800 руб., X по 700 руб. и XII по 600 руб. ассигнациями в год». — ЦГВИА (М) — Ф. 1, оп. 1, д. 65/15531—1844 г., лл. 1—3, ср. л. 41.

<sup>15</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 12, № 354, лл. 35—36: Письмо О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от 18 декабря 1845 года.

<sup>16</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9, № 131; оп. 12, № 354; оп. 9, № 52, и оп. 9, № 132: Письма О. М. Салтыковой к М. Е. и Д. Е. Салтыковым под указанными в тексте датами.

<sup>17</sup> Служба Салтыкова в секретном «временном» отделении не отражена в его формулярном списке (ср. ниже прим. 28). Указание на этот, ранее неизвестный, факт служебной биографии сатирика содержится в одном из документов архивного «дела» Канцелярии военного министерства 1848 г. «Об увольнении от службы помощника секретаря, титулярного советника Салтыкова и о назначении на его место состоящего при канцелярии тит. сов. Григорьева» (ЦГВИА (М) — Ф. 1, оп. 1, № 41/18176). Лист 18-й этого «дела» представляет собою проект приказа по Канцелярии об увольнении Салтыкова со службы (после его ареста и высылки в Вятку) и гласит: «Высочайшим приказом, 19-го сего мая <1848 г.> состоявшимся, помощник секретаря канцелярии военного министерства тит. сов. Салтыков переведен в Вятскую губернию для упогребления на службу по распоряжению тамошнего гражданского губернатора...» Сверху документа резолюция: «Утверждаю, мая 25» (рукою директора канцелярии ген.-ад. Анненкова), внизу пометка отделения регистратуры: «26 мая за № 17 [19?] состоялся приказ», а на левом поле полустершаяся карандашная надпись какого-то старшего чиновника, контролировавшего составление приказов по Канцелярии. Надпись представляет собою поправку и одновременно разъяснение к словам проекта приказа: «Салтыков.. помощник секретаря», подчеркнутым тою же рукой в документе. Текст надписи таков: «Салтыков служил до 31 марта 1848 г. во временном отде-

лении 2-го стола, быв<шая> секретная часть при 2-ом Отделении, с 31 марта помощник секретаря Канцелярии Военного Министерства и уволен за злоумышление». В официальный приказ об увольнении Салтыкова эти данные, однако, не вошли и поэтому не отразились, как уже сказано, и в его формулярном списке. Положение «о секретных частях государственной службы» запрещало вносить в официальные документы такие сведения.

Ничего не сказано в формулярном списке и об участии Салтыкова в кодификационных работах Канцелярии военного министерства. Между тем в «списке общего состава военного министерства на 1848 год» значится: «Титулярный советник Михаил Евграфович Салтыков, младший чиновник отделения свода военных постановлений Канцелярии военного Министерства, на должности помощника секретаря» (Ц Г В И А (Л) — Научно-справочная библиотека, кн. 2659).

Следует признать, что приведенные архивные материалы не дают еще возможности составить полное представление о характере и содержании служебных занятий Салтыкова в Канцелярии военного министерства. Остается неясным, чем собственно занимался Салтыков с момента своего определения на службу 23 августа 1844 г. до получения штатной должности во 2-м Отделении 8 августа 1846 г. Нет данных для датировки начала работы Салтыкова в секретном «временном» или «особом» отделении по 2-му «политическому» столу. Известно лишь, что при образовании этого отделения 27 февраля 1846 г. Салтыков не был определен в его штат (из близких же знакомых его был назначен В. Р. Зотов). Об этом свидетельствует архивное «дело» Ц Г В И А (М) — Ф. 1, оп. 1, № 20/16380—1846 г.: «По докладной записке флигель-адъютанта полковника барона Вревского, об учреждении Особого отделения с разделением на 2 стола, для исполнения дел по происшествию в Кракове». Наконец совсем неясно, в какой период времени Салтыков служил в отделении свода военных постановлений. Он значился чиновником этого отделения в цитированном выше «списке общего состава военного министерства на 1848 год». Но до 31 марта этого года Салтыков, как было показано, служил в «особом» или «временном» отделении. А после 31 марта в Канцелярии военного министерства он служил всего 20 дней, так как в ночь с 20 на 21 апреля был арестован. Кроме того, «список общего состава военного министерства на 1848 год» отражает, несомненно, данные за предшествующий период, то есть за 1847 г. Скорее всего в этом году, или даже в предшествующем 1846 г., Салтыков и был причислен на какой-то период времени к отделению свода



военных постановлений. Но если это так, то данное обстоятельство должно ограничивать на соответствующий период времени службу Салтыкова в «особом» отделении.

Отсутствие точных дат не позволяет нам определить с необходимой полнотой делопроизводство, проходившее через руки Салтыкова. А это, в свою очередь, не дает пока возможности разобратся в вопросах существенного исследовательского интереса; какую политическую информацию извлекал Салтыков из своих служебных занятий и каковы были возможные роль и значение этой информации в его идейном развитии этих лет.

Оставляя то или иное решение этих вопросов до специального изучения их, ограничимся здесь в порядке предварительного сообщения некоторыми общими соображениями и справками об относящейся сюда архивной документации.

Как уже было сказано выше, «особое», или «временное», отделение Канцелярии военного министерства было создано специально для «производства дел, возникших по случаю возмущения в Галиции и Кракове». Польские события весны 1846 г., в особенности же т. н. Краковская революция, вызвали серьезную тревогу в Петербурге. Опасаясь общепольского национального восстания (оно действительно проектировалось на 21 февраля 1846 г. под руководством Мерославского), правительство Николая I энергично готовилось к контрреволюционному отпору и интервенции. Приведение в мобилизационную готовность части армии, объявление военного положения в западных пограничных губерниях и т. д. — все эти мероприятия проходили через делопроизводство 1-го «военного» стола «особого» отделения. Политические же сведения, материалы и «дела» о событиях как в Польше (в русской, австрийской и прусской ее частях и в Краковской республике), так и в Галиции и в русских западных губерниях — все это сосредоточивалось во 2-м «политическом» столе «особого» отделения. Делопроизводством 2-го стола и занимался Салтыков. В качестве «младшего чиновника» он вряд ли имел доступ к наиболее ответственным секретным донесениям. Но так как в «особом отделении» все дела были секретные и все связаны с польскими революционными событиями, то, разумеется, ту или иную информацию об этих последних Салтыков получал. Общее значение такой информации определяется масштабами самих событий, имевших, по оценке Маркса и Энгельса, общеевропейское значение. «Краковская революция, — говорил Маркс в речи, посвященной второй годовщине восстания (22 февраля 1848 г.), — дала Европе славный пример, отождествив национальное дело с делом демократии и с освобождением угнетенного класса» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. V, стр. 263). В Польше, — говорил Эн-

гельс в речи, произнесенной в тот же день, — это была «первая политическая революция, провозгласившая социалистические требования» (там же, т. XV, стр. 551).

Не в меньшей, а возможно даже в большей степени следует, быть может, оценить значение для политического развития Салтыкова и тех проходивших через его руки материалов, которые относились к «делам» о крестьянских «возмущениях» против помещиков и крепостного права. Такие «дела», связанные с западными губерниями или с польскими именами участников «возмущения», также находились в производстве по 2-му отделу «особого отделения», хотя и в небольшом количестве. Укажем, например, «дело» Ц Г В И А.—Ф. 1, оп. 1, № 41/17053—1849 г.: «По рапорту ген.-лейт. Мирковича с переводом польского письма.. заключающего в себе воззвание к сморгонским крестьянам об истреблении, посредством возмущения, управителей и помещиков для получения чрез то свободы..» и др.

Сохранившаяся архивная документация по делопроизводству 2-го стола «особого», или «временного», отделения за тот период времени, когда там служил Салтыков, относительно невелика. Но все же это около 50 архивных «дел». Детальное изучение этих материалов с точки зрения их возможного значения для идейно-политической биографии молодого Салтыкова выходит, однако, за рамки задач и возможностей настоящей книги. Автор предполагает посвятить этому вопросу специальную статью.

<sup>18</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9, № 131, л. 5 об.: Письмо О. М. Салтыковой к М. Е. Салтыкову от 15 февраля 1845 г. Вот еще несколько относящихся сюда цитат из писем О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову:

«Посылаю Мише 300 р., а на именины пришлю шубу и презент еще, да насколько что успею шитья пришлю ему. Еще всем вам посылаю деревенского гостинцу...» (от 20 сентября 1844 г. — там же, № 131); «Посылаю ему денег еще четыреста рублей. Передай ему, да скажи, что я ему скоро пришлю для рождения еще гостинец — булавочку с бриллиантом» (от 3 февраля 1846 г. — там же, № 132); «Мише не успела особо написать. Скажи ему — после отвечу... Насчет же абонироваться в театр, он просит 200 р., то скажи ему, что я это исполню для него во время, когда будут представления... утешу, исполню его просьбу» (без даты, 1846 г. — там же, № 131); «Мише посылаю на часы 176 р. ассигнациями... Отдай пожалуйста ему и скажи, чтобы непременно купил часы, а то поссорюсь, если не купит» (от 30 июня 1846 г. — там же, № 132) и др.

<sup>19</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9, № 52 и № 126: Письма Е. В. Салтыкова к Д. Е. и А. Я. Салтыковым от ноября 1845 г. и О. М. Салтыковой от 15 ноября 1845 г. Ср. также письмо О. М. Салтыковой

к Д. Е. Салтыкову от 30 июня 1846 г., в котором читаем: «Еще скажешь ему <Салтыкову>, что Сергей Юрьев писал ко мне, извинялся, что не заплатил Мише по сие время, общал мне через полторы недели отдать. Вот увижу, исполнит ли. Я ему писала, чтобы мне уплатил, потому что это будет вернее и скорее. Он мне писал, якобы он Мише отвечал, да удивляется, что он его письма не получил. А я вижу, что он лжет от стыда. Самый подлый человек. Удивляюсь, что Миша не верил. Я ему всегда говорила, что это негодяй. И как он стал заливать себе за галстук, что любо-дорого. Шатается без дела и без места. Любуйся батю и мату. Это второй... Шубин» (ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9, № 132).

<sup>20</sup> См., например, о «Гугенотах» в повести «Тихое пристанище» и о «Вильгельме Телле» в «Петербургских театрах» (Щедрин, IV, 312—315, и V, 152—160). В обоих случаях рассказ отнесен к 50-м—60-м годам, но с автобиографическими реминисценциями 40-х годов: «Я вспомнил 1844, 1845 и 1846 годы, я вспомнил незабвенную Виардо, незабвенного Рубини, незабвенного Тамбурини, вспомнил горячие споры об искусстве, вспомнил теплые слезы, которые мы проливали... слушая потрясающее *maladetto*, которым в «Лючии» оглашал своды Большого театра великий Рубини...»

<sup>21</sup> ГИМ — Архив С. А. Юрьева: «О Салтыкове» (листок с записями). О том, что Салтыкову в эти годы приходилось нуждаться в деньгах, свидетельствуют также его письма к брату Д. Е. Салтыкову (XVIII, 41—42) и к матери, у которой он иногда просил денег специально на театр (ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9, № 131, л. 5 об.). Ср. еще В. Емельянов. Ссылка Салтыкова («Русская старина», 1909, кн. 10, стр. 119).

<sup>22</sup> А. Пузыревский. За что и как был выслан в Вятку М. Е. Салтыков («Литературное наследство», т. 13—14, стр. 486, 488); «Из дневника Н. В. Кукольника» (там же, стр. 490); «Дневник А. В. Дружинина». Записи от 15, 16 и 17 января 1856 г. (неизд. рукопись в ЦГЛА (М), шифр (548/1) 108, лл. 192—192 об.).

<sup>23</sup> Заметим, однако, что в очерке «В дружеском кругу», вспоминая о послелицейской службе, Щедрин противопоставляет «чиновническому кругу канцелярии» не только «рассказчика», но и двух его школьных товарищей (XI, 415). Одним из них мог быть А. П. Авенариус, приятель Р. Р. Штрандмана, находившегося в свою очередь в дружеских отношениях с Салтыковым. Биографические данные о всех упомянутых сослуживцах Салтыкова см. (по алфавиту) в издании «Столетие военного министерства». III. Отд. 5. СПб., 1909: Н. Затворницкий. Указатель биографических сведений, архивных и литературных материалов, касающихся чинов

общего состава по Канцелярии военного министерства с 1809 до 1902 г. включительно.

<sup>24</sup> Об этом свидетельствуют три сохранившиеся записки Салтыкова к В. Р. Зотову 40-х годов (Щедрин, XVIII, 40—41 и 387—388). В одной из них Салтыков, в частности, просил одолжить ему для чтения 3-ю часть известного сочинения Виктора Консидерана «Destinée sociale» — наиболее полного изложения системы Ш. Фурье. Из двух других, повидимому еще лицейского периода, видно, что Салтыков брал у Зотова «Отечественные записки» и «Маяк». К тому времени «Маяк» только начал издаваться, и характер журнала еще не успел определиться. Тот разгул реакционного юродства и мракобесия, который потом прочно связался с представлением о «Маяке», проявился позже. В. Р. Зотов окончил лицей в 1841 г., на три года раньше Салтыкова. Сближение их произошло скорее всего уже в Канцелярии военного министерства. О посещении Зотовым «пятниц» Петрашевского см. в донесении Липранди от 11 февраля 1849 г. (Ц Г И А (М) — Ф. III Отд., 1-й секр. арх., № 99). Но документальные сведения о встречах Салтыкова с Зотовым на собраниях петрашевцев отсутствуют.

<sup>25</sup> В письме к И. С. Тургеневу из Москвы от 20 января 1857 г. М. Н. Лонгинов писал: «Я виделся на-днях с Салтыковым, автором «Провинциальных <?> очерков», производящих фурор. Он приезжал сюда на два дня, посетил меня, и я долго беседовал с ним, после почти 9-летней разлуки. От него должно ждать многого». — «Сборник Пушкинского дома на 1923 год», П., 1922, стр. 180.

<sup>26</sup> В 1849 г. В. Р. Зотов привлекался по делу Петрашевского, в 1857 г. встречался с Герценом и участвовал в «Колоколе», а в конце 70-х годов согласился принять на хранение архивы «Земли и Воли», а затем и «Народной Воли».

<sup>27</sup> «Полвека русской жизни. Воспоминания А. И. Дельвига. 1820—1870». Ред. и вступ. ст. С. Я. Штрайха, «Academia», М.—Л., 1930, стр. 320.

<sup>28</sup> Вот данные о прохождении службы Салтыковым в четырехлетие 1844—1848 гг., извлеченные из «Формулярного списка о службе и достоинстве помощника секретаря Канцелярии военного министерства титулярного советника Салтыкова» за 1847 г. (Ц Г В И А (М) — Ф. 1, оп. 1, № 41/18176—1848 г., лл. 22—24):

1844 г. 23 августа. — «По окончании курса наук в Александровском лицее выпущен с чином X класса и определен по желанию на службу в Канцелярию военного министерства».

1844 г. 6 сентября. — «Переименован в коллежские секретари».

1845 г. 12 мая. — «Предоставлен трехмесячный отпуск» (до 12 августа).

1846 г. 7 апреля. — «В награду отлично-усердной службы получил единовременно 120 руб. серебром».

1846 г. 8 августа. — «Назначен на открывшуюся во 2-м отделении Канцелярии военного министерства вакансию помощника секретаря с содержанием по штату» (ср. прим. 17).

1847 г. 21 апреля. — «Высочайшим приказом за отличие по службе произведен в титулярные советники».

1848 г. 11 апреля. — «В награду отлично-усердной службы получил единовременно полугодовой оклад жалованья». (В это время уже существовал заключительный «журнал» секретного «меншиковского комитета» с характеристикой «Запутанного дела» Салтыкова, предопределивший его арест через десять дней, 21 апреля.)

1848 г. 19 мая. — «Высочайшим приказом по гражданскому ведомству за № 95-м переведен в Вятскую губернию для употребления на службу по распоряжению тамошнего губернатора».

*В графе о жалованье:* «Жалованья получает 336 р. 40 к. и столовых 140 р. 10 к.» (счет на серебро).

*В графе-аттестации:* «Аттестован способным и достойным». (Вписано позже и не той рукой, что весь формуляр. Как явствует из дневника Н. Кукольника, такая аттестация была сделана по его настоянию, чтобы не «запачкать» формуляра Салтыкова. Об этом сохранилась и переписка: Ц Г В И А (М) — Ф. 1, оп. 1, № 41/18176—1848 гг., лл. 20—20 об.)

<sup>29</sup> И Р Л И — Ф. 366, оп. 12, № 354, л. 18: Письмо О. М. Салтыковой к Д. Е. и А. Я. Салтыковым от 22 октября 1844 г.

<sup>30</sup> Ц Г В И А (Л) — Ф. 9, отд. IV, д. № 55, ч. 98—1849 г.: «Следственное дело о Ромашове, Салтыкове, Бердяеве, Яшвили, извозчиках Федоте и Михаиле Яковлевых и Блюм», л. 20; А. Скабичевский, М. Е. Салтыков-Щедрин — «Новости», 1889, № 114).

<sup>31</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. V, стр. 240 («Революционные движения 1847 года»).

<sup>32</sup> В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 1, стр. 245.

<sup>33</sup> Имеется в виду кружок петрашевцев.

<sup>34</sup> Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. II, М., 1935, стр. 471: «Сочинения В. Белинского».

<sup>35</sup> А. И. Герцен. Полное собрание сочинений, под ред. М. К. Лемке, т. X, стр. 135.

<sup>36</sup> Об участии Салтыкова в кружке Петрашевского существует всего лишь одна специальная работа: В. Семейский, М. Е. Салтыков-петрашевец («Русские записки», 1917, кн. 1, стр. 21—50).

<sup>37</sup> Ц Г В И А (Л) — Ф. 9, отд. IV, д. № 55, ч. 4—1849 г. «Журнал секретной следственной комиссии к делу о злоумышленниках Буташевиче-Петрашевском, Спешнев и других», л. 318.

<sup>38</sup> Ц Г В И А (Л) — Ф. 9, отд. IV, д. № 55, ч. 29, л. 28 об. (показания Есакова); ч. 37, лл. 7—14 об. (показания Барановского); ч. 38, л. 17 (показания Мадерского); ч. 66, л. 6 об. (показания Штрайдмана); ч. 98, л. 19 (показания Петрашевского); л. 20 (показания Баласогло); л. 21 (показания Достоевского); ч. 119, л. 218 (показания Петрашевского). Что касается до показания Ханыкова о Салтыкове, то оно отсутствует в его деле (ч. 13). Однако В. И. Семевский в свое время видел его (цит. соч., стр. 7 и 20).

<sup>39</sup> Ц Г В И А (Л) — Ф. 9, отд. IV, д. 55, ч. 120: «Дело, произведенное высочайше утвержденною смешанною военно-судною комиссиею над злоумышленниками», лл. 465—465 об. (1-е показание Салтыкова) и лл. 467—468 (2-е показание Салтыкова).

<sup>40</sup> В известной работе В. И. Семевского «М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы» (М., 1922, изд. «Задруга», стр. 168—169) приведен список книг, которые брали из библиотеки разные лица в 1845—1848 годах, среди них и Салтыков, а также его приятель В. А. Милютин (их записи стоят рядом). Список был обнаружен «в бумагах Петрашевского», — сообщает В. И. Семевский. Более конкретных указаний нет. В относящихся к истории петрашевцев архивных фондах, над которыми в период 1909—1916 годов работал В. И. Семевский, мы этого списка уже не нашли. (Мы имеем в виду: Следственно-судебное «дело» Аудиториатского департамента военного министерства, № 55, 1849 г., хранящееся ныне в Ц Г В И А, и одновременно возникшее «дело» 1-й экспедиции III Отд. № 214, 1849 г., хранящееся в Ц Г И А.) Очевидно, он утрачен вместе с рядом других документов следствия о петрашевцах. Об этом следует пожалеть также и потому, что в исследовательском отношении «список» использован, в названном труде В. И. Семевского, неудовлетворительно. Документ не опубликован, а приведен в изложении и цитатах. При этом не указано, чьей рукой сделаны записи выдаваемых книг — самого ли Петрашевского, или «абонентов» библиотеки. Сообщено лишь, что «к сожалению, список написан довольно неразборчиво и с сокращениями названий». Таким образом, возникает сомнение в правильности и полноте того, что сумел прочесть и опубликовать В. И. Семевский. Неизвестно также, из какой библиотеки регистрирует «список» выдачу книг — «складчинной» или лично принадлежавшей Петрашевскому. Хронологические даты «списка» определены В. И. Семевским 1846—1848 годами. Но даты эти ничем не аргументированы. Для Салтыкова же они находятся в противоречии с его собственными показаниями по этому поводу.

Тем не менее и в дошедшем до нас виде «список» представляет существенный интерес для изучения кружка Петрашевского и юношеской биографии сатирика.

Приведем в расшифровках В. И. Семевского (выделены курсивом) с нашими пояснениями перечень изданий, которые брал из библиотеки Салтыков.

1. *Консидеран. Destinée sociale (3 тома).*

Этот обширный труд, вышедший тремя книгами в период с 1834 по 1844 годы, явился для современников наиболее полным и связным изложением системы Фурье, выдающимся учеником и популяризатором которого был автор (1808—1893). Предприняв в «*Destinée sociale*» («Общественное назначение») опыт целостной систематизации взглядов своего учителя, Консидеран вместе с тем попытался в этом сочинении освободить фурьеризм от его фантастических элементов и устранить многочисленные внутренние противоречия системы. Эта критическая тенденция, соединенная с выдающимися литературными достоинствами изложения, обеспечила за консидерановским трудом значение основного пособия, популяризовавшего для современников учение Фурье (достаточно сложное и потому малодоступное для большинства в его авторском изложении). Среди русских социалистов 40-х годов работа Консидерана стала известной тотчас же после ее выхода в свет в Париже и сразу привлекла к себе пристальное внимание. В 1844 году в Москве ее изучали Герцен и его друзья. «Его сочинение, — записал тогда с «*Destinée sociale*» Герцен, — несравненно энергичнее, полнее, шире по концепции и по исполнению всего вышедшего из школы Фурье. Разбор современности превосходен: становится страшно стыдно. Раны общественные указаны и источники их обличены с беспощадностью» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч., под ред. М. К. Лемке, т. III, стр. 332). Как и у Герцена, интерес Салтыкова к Консидерану вызывался, в первую очередь, разоблачительно-критической тенденцией сочинения. Однако эта тенденция сочеталась у Консидерана с просветительскими надеждами на постепенное, мирное смягчение социальных противоречий. Консидеран отрицал классовую борьбу и пренебрежительно относился к политическим задачам. В работе товарища И. В. Сталина «Анархизм или социализм?» по этому поводу сказано: «В. Консидеран, умерший в 1893 году, был учеником утописта Фурье и остался неисправимым утопистом, который видел «спасение Франции» в примирении классов» (И. В. Сталин. Сочинения, т. I, стр. 352).

Салтыков брал сочинение Консидерана не только из библиотеки петрашевцев (или лично у Петрашевского), но и у В. Р. Зотова. В недатированной записке к последнему (вероятно, 1847 года) Салтыков просил: «У Вас имеется, кажется, почтеннейший Владимир Рафаилович, «*Destinée sociale*» Консидерана. Если Вы можете, то сделайте мне на неделю третью часть этого сочинения. Мне дозаярезу

н у ж н о» (I, 40—41). Конкретный повод просьбы, который разъяснял бы ее заключительные слова, не указан. Однако можно с уверенностью предположить, что он был связан с работой Салтыкова над рецензированием книг по детской литературе. В своих ранних рецензиях (см. о них в основном тексте) Салтыков уделял преимущественное внимание вопросам воспитания и изучал в этой связи соответствующую литературу, в первую очередь социалистическую. Основным же сочинением утопического социализма в этой области являлся как раз третий том «*Destinée sociale*» Консидерана — развернутое изложение «концепции гармонического воспитания» Фурье.

Следы изучения «*Destinée sociale*» обнаруживаются не только в ранних рецензиях и повестях Салтыкова, но и в более поздних его произведениях, например, в статье 1863 года «Современные призраки», посвященной вопросам философии истории (по цензурным причинам статья не могла быть напечатана в свое время и была опубликована лишь в наши дни). Сатирик предпослал этой статье в качестве эпиграфа следующие строки из второй части сочинения Консидерана (на французском языке): «Земной шар вверен человечеству как владение, к которому оно приставлено. В этом его земное назначение. Но человечество не может выполнить его во время своего детства, ибо вполне понятно, что оно, чтобы быть способным к такому делу, должно приобрести крепость и силу: ему надо создать себе орудие, средства, могущество, которые могут притти только путем развития искусств, наук и промышленности».

## 2. Ад. Смит.

В библиотеке петрашевцев имелось два издания основного труда Ад. Смита «Исследование о природе и причинах богатств народов»: оригинальное (английское) и переводное (французское). Другие его сочинения в существующих списках книг библиотеки не значатся. Из упомянутых же двух изданий Салтыков, вероятно, пользовался французским, так как английским языком владел хуже. Интерес Салтыкова к Адаму Смиту, пробужденный, возможно, еще лицейскими занятиями политической экономией у проф. И. Ивановского, объяснялся, как и у других социалистов 40-х годов у нас и на Западе, в первую очередь потребностью опереться на критическую сторону смитовской системы, вскрывавшей физиологию буржуазного общества, для обоснования социального идеала. Укажем в этой связи на попытки ближайшего приятеля Салтыкова Вл. Милютина обосновать (в статье о Бутовском) при помощи смитовской трактовки прибыли и ренты главный экономический тезис утопического социализма того времени: требование «полный продукт труда — рабочим». Укажем также на известный интерес, проявленный к Ад.



Смиту Вал. Майковым. Свой проект общественной реформы — «дольщины», предполагавшей участие рабочих в прибылях предприятия, сам Вал. Майков определял как нечто среднее «между Смитом и новейшими социалистами» (при общем отрицательном отношении к смитианству как к системе, в которой нет «и тени мысли о справедливом распределении богатства»).

### 3. Прудон.

В следственном показании по делу Петрашевского Салтыков заявил, что с конца 1845 или начала 1846 года он перестал быть вкладчиком библиотеки и книг из нее не брал. Если это верно (см. об этом ниже), то запись «Прудон» рядом с именем Салтыкова может обозначать лишь первую книгу французского социалиста, вышедшую в 1840 году, — «*Qu'est-ce que la propriété?*» («Что такое собственность?»). Эта работа, провозгласившая: «Собственность — это кража», привлекла внимание всей радикально-демократической интеллигенции 40-х годов у нас и на Западе остротой своей социальной критики. Она получила, в частности, одобрение молодых тогда Маркса и Энгельса. А позже, в 1865 году, Маркс писал об этом труде Прудона: Его первое произведение «*Что такое собственность?*» является безусловно самым лучшим его произведением. Оно составило эпоху если не новизной своего содержания, то хотя бы новой и дерзкой манерой говорить старое... Вызывающая дерзость, с которой он нападает на «святая святых» политической экономии, остроумные парадоксы, с помощью которых он высмеивает пошлый буржуазный рас судок, уничтожающая критика, едкая ирония, проглядывающие тут и там, глубокое и искреннее чувство возмущения мерзостью существующего, революционная убежденность — всеми этими качествами книга «*Что такое собственность?*» электризовала читателей и при первом своем появлении в свет произвела сильное впечатление. В строго научной истории политической экономии книга эта едва ли заслуживала бы упоминания. Но подобного рода сенсационные произведения играют свою роль в науке, так же, как и в изящной литературе» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIII, ч. I, стр. 23—24).

Свидетельство Маркса о «сильном впечатлении», произведенном первой книгой Прудона, можно отнести в полной мере и к восприятию этой книги русской радикальной интеллигенцией 40-х годов. Герцен называл это сочинение «прекрасным произведением», «великой вещью» (запись в дневнике от 3 декабря 1844 года), усердно рекомендовал ее своим друзьям; ею интересовался Белинский, ее изучали и о ней спорили в кружках петрашевцев. Был ли и Салтыков увлечен этим «сенсационным сочинением», мы не знаем. Но что он был знаком с ним, — это несомненно.

Возможно, однако, что из библиотеки петрашевцев Салтыков брал другую книгу Прудона, а именно — его главный экономический труд «*Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère*». Именно это заглавие называют соседние с Салтыковым по «списку» записи книг, бравшиеся из библиотеки другими петрашевцами: Достоевским, Кузьминым и Спешневым, причем последний брал книгу Прудона одновременно с критическим сочинением, написанным по ее адресу Марксом, — знаменитой «Нищетой философии». Но «Экономические противоречия» Прудона вышли в свет в конце 1846 года (а «Нищета философии» — в 1847 году). Книга, таким образом, могла оказаться в библиотеке петрашевцев не ранее начала 1847 года. Имея в виду отмеченную выше неточность следственных показаний Салтыкова, можно предполагать, что он пользовался библиотекой петрашевцев и после названной им даты (конец 1845 — начало 1846 года). Так или иначе, не приходится сомневаться, что Салтыков знал и вторую работу Прудона. Она также произвела сильное впечатление на всех русских социалистов того времени и породила много разговоров не только в кружках, но и в печати. Весьма пристальный интерес к «Системе экономических противоречий» проявил, в частности, приятель Салтыкова Вл. Милютин. В своей известной статье 1847 года о Мальтусе он широко, иногда текстуально использовал многие страницы этой работы. В. П. Боткин писал по этому поводу Н. А. Некрасову 22 августа 1847 г.: «Статью <В. А. Милютина> о Мальтусе я не успел прочесть, но слышал от людей знающих, что она не дурно составлена: большая часть ее переведена из книги Прудона «*Contradictions économiques ou la Philosophie de la misère*» и выписки сделаны удачно» (ИРЛИ — Ф. 202, оп. 2, № 5). Но увлечение Вл. Милютина Прудоном объясняется не общей философией последнего («смехотворной», по оценке Маркса), а теми чертами его первой работы, которые были в известной мере присущи и второй и которые Маркс охарактеризовал как «дерзость нападок», «издевательство», «едкую иронию» над «святыми святыми» частнособственнического мира. Несомненно, что именно этой социально-обличительной, критической стороной Прудона интересовался и Салтыков.

#### 4. Vidal. *De la répartition des richesses.*

Полный титул этой главной работы французского социалиста Франсуа Видаля, обратившей на себя внимание всех радикальных кругов Европы, таков: «*De la répartition des richesses, ou de la justice distributive en économie sociale. Ouvrage contenant l'examen critique des théories exposées soit par les économistes, soit par les socialistes. Par F. Vidal. Paris, chez Capelle*». Книга вышла в свет в марте 1846 года. Таким образом, очевидно, что раньше чем в апреле—

мае этого года Салтыков не мог получить ее из библиотеки петрашевцев. Это обстоятельство вновь обнаруживает, что показание Салтыкова следственным властям о прекращении его участия в библиотеке в конце 1845 — начале 1846 года не соответствовало действительности.

Об интересе Салтыкова, как и всего милутино-майковского кружка, к Фр. Видалю, чьи теоретические воззрения отличались в период до 1848 года значительным радикализмом, сказано в основном тексте. В этот период Видаль, по словам Маркса, «был известен как коммунистический писатель, как автор книги «О распределении богатств» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. VIII, стр. 83).

Революционные события 1848 года выявили присущий Видалю разрыв между его якобинством в теории и оппортунизмом на практике. В революции 1848 года он был ближайшим сотрудником и единомышленником Луи Блана (его секретарем в Люксембургской комиссии). Общая оценка, данная Марксом Видалю в «Классовой борьбе во Франции», гласит: «доктринер-социалист, представитель социалистической мелкой буржуазии» (там же).

#### *5. Другое сочинение Видаля.*

В. И. Семевский пишет: «...быть может, «Vivre en travaillant. Projets, voies et moyens de réformte sociale». Догадка, однако, неверна. Названная книга была написана Видалем после «июньских дней» 1848 года и вышла в свет в конце этого года, когда Салтыков уже давно находился в ссылке.

Запись, вероятно, имеет в виду брошюру Видаля 1844 года «Des caisses d'épargne», в которой он предлагал превратить сберегательные кассы в учреждения, кредитующие ассоциации трудящихся. Брошюра эта имелась в библиотеке петрашевцев.

#### *6. Pereire. De banques.*

Несомненно имеется в виду «сен-симонистская» брошюра «Leçon sur l'industrie et les finances, prononcées à la salle de l'Athénée, par J. Pereire, et suivies d'un projet de banques, Paris, 1832». Маркс иронически ссылается на эту quasi-социалистическую работу в «Критике политической экономии» (там же, т. XII, ч. 1, стр. 80). А в статье «Французский Crédit mobilier» Маркс пишет об ее авторе — «сен-симонисте» Исааке Перейра (1806—1880) и его брате Эмиле Перейра (1800—1875): «Существовали... два португальских еврея, практически связанные с биржевой игрой и Ротшильдом, которые в свое время сидели у ног отца Анфантена и при своем практическом опыте имели смелость разглядеть за социализмом — биржевую игру,

за Сен-Симоном — Джона Лоу. Эти люди — Эмиль и Исаак Перейра — являются основателями «Crédit mobilier» и инициаторами бонапартистского социализма» (там же, т. XI, ч. I, стр. 27).

### 7. *L'Évangile nouvelle.*

Несомненно, это сокращенное и неточное (или неверно расшифрованное В. И. Семеvским) обозначение известного издания Евангелия в переводе и с пояснениями Ф. Ламенне, в котором этот предтеча «христианского социализма» пытался демократически истолковать христианство и соединить проповедь религии с проповедью идей социализма и демократии. Точное заглавие этого труда Ламенне, вышедшего в Париже в марте 1846 года и тогда же осужденного папской энцикликой, таково: «Les Évangiles, traduction nouvelle avec des notes et les réflexions à la fin de chaque chapitre, par F. L a m e n n e p a i s. 18 feuilles. A Paris, chez Pagnerre, chez Perrotin, 1846».

### 8. *Questions des prisons.*

Эту запись раскрыть не удалось.

### 9. *Два номера Revue 1846 г.*

В. И. Семеvский так комментирует запись: «...вероятно, «Revue Indépendante». Догадка, на наш взгляд, правильная, хотя и не аргументированная ее автором. «Revue Indépendante» («Независимое обозрение») — передовой радикальный журнал 40-х годов, основанный Пьером Леру и Жорж Санд и фактически редактировавшийся ими (совместно с Луи Виардо). Журнал выписывался в нескольких экземплярах для библиотеки петрашевцев и служил для последних основным источником информации о развитии социалистических идей в Европе (во Франции в первую очередь). Самый выбор книг, намечавшихся Петрашевским и его друзьями для выписки из-за границы, производился, видимо, преимущественно при помощи «библиографического бюллетеня», печатавшегося в каждом из номеров этого двухнедельного журнала, а также на основании рецензий на издания социалистической литературы, широко и полно освещавшиеся в «Revue Indépendante». Во всяком случае сличение известного нам перечня книг из библиотеки петрашевцев с библиографическими заметками и списками в «Revue Indépendante» обнаруживает вряд ли случайную близость тех и других. Укажем здесь, кстати, что и книги, бравшиеся лично Салтыковым, почти все были прорецензированы на страницах журнала.

Комментируемая запись фиксирует лишь одно, разовое, получение журнала. Но Салтыков, вероятно, следил за ним регулярно, подобно другим участникам кружка Петрашевского. Какие именно

два номера «Revue Indépendante» за 1846 год имеет в виду запись, — неизвестно. Но можно назвать ряд номеров издания за этот год, которые могли привлечь преимущественное внимание Салтыкова. Таковы, например, номера, в которых напечатаны статьи Фр. Видаля (как сказано выше, Салтыков пристально интересовался его сочинениями) «La ligue et la loi des céréales, ou la guerre des manufacturiers et des marchands contre les landlords»... (№ 2) и «L'ogreisme aux États-Unis» (№ 7), или номера, в которых появились рецензии, например, на книгу «О распределении богатств» того же Видаля (№ 15), «Евангелие» Ламенне и на занимавшую Салтыкова в Вятке, но, несомненно, прочитанную им еще до ссылки книги Вивьена «Études administratives» (№ 5).

В десятом номере «Revue Indépendante» за тот же 1846 год была напечатана статья одного из редакторов журнала, французского знатока России, впоследствии переводчика Пушкина и Тургенева на французский язык Луи Виардо, под названием «De l'affranchissement des serfs en Russie» («Об освобождении крепостных в России»). В яркой памфлетной форме статья обличала самодержавие и крепостничество. Россия, утверждал автор, за сто лет, прошедших с реформы Петра I, «совершенно догнала» Западную Европу «в области культуры, науки и искусства». Но в отношении своих общественно-политических порядков она «продолжает стоять позади культурных наций» и «находится еще в Азии». «Самодержавие — чудовищная деспотия современности — и крепостническое рабство мрачными барьерами» стоят на пути прогресса страны. Первой и неотложной задачей России является ликвидация позорящего ее крепостного права. Если само правительство не сделает этого, то «появится новый Пугачев», и он «поднимет на борьбу миллионы крестьянства».

Статья Луи Виардо, несомненно, должна была привлечь к себе внимание Салтыкова, как и вообще любого русского читателя «Revue Indépendante». Естественное предположение, что номер с такой статьей не был допущен в Россию, не находит, однако, себе подтверждения в запретительных списках «Комитета цензуры иностранной». Однако и какими-либо свидетельствами, подтверждающими знакомство Салтыкова со статьей Луи Виардо, мы не располагаем.

Так раскрывается запись книг, которые брал Салтыков из библиотеки петрашевцев. Запись эта, конечно, не полна. В ней отсутствуют, например, указания на сочинения Фурье и Сен-Симона, которые Салтыков, несомненно, брал из библиотеки. Отсутствуют и указания на книги Ch. L u c a s «Théorie de l'emprisonnement» и G. B e a u m o n t «Du système pénitentiaire en Amérique». В своих показаниях по делу Петрашевского Салтыков сообщал, что он «не воспользо-

вался» этими книгами, выписанными в 1846 году специально для него, потому что уже «не был в этот год вкладчиком» библиотеки. Однако и этот пункт его показаний вряд ли целиком соответствовал истине. Во всяком случае, приведенные выше факты свидетельствуют, что другие книги в том же 1846 году Салтыков брал из библиотеки. Вероятно, из нее же брал Салтыков «Histoire de dix ans. 1830—1840» Луи Блана. Книга эта имелась в библиотеке в шести экземплярах. Резкая критика июльской монархии в этой работе памфлетного характера пользовалась у петрашевцев, как и вообще у всех радикально настроенных современников, большим успехом. Салтыков вспоминал потом: «Мы... с упоением зачитывались «Историей десятилетия» Луи Блана» (ХIV, 162), а Белинский писал 3 апреля 1843 года Боткину: «Сейчас кончил 1-ю часть истории Louis Blanc. Превосходное творение! Для меня оно было откровением». Изменив скоро свое восторженное отношение к Луи Блану на резко отрицательное, Белинский все же продолжал ценить это его раннее сочинение. Противопоставляя «Историю десятилетия» позднейшей «Истории французской революции» Луи Блана («прескучная и препрошлая книга»), Белинский писал тому же Боткину 6 февраля 1847 года: «В то же время я понял, отчего Histoire de dix ans хороша, несмотря на все ее нелепости, — оттого, что это памфлет, а не история. Луи Блан — историк современных событий, но за прошедшее, сделавшееся историей, ему, кажется, не следовало бы браться».

<sup>41</sup> ЦГВИА (Л) — Ф. 9, отд. IV, № 55, ч. 29: «Следственное дело о чиновнике 9-го класса Есакове», лл. 1—11.

<sup>42</sup> ЦГВИА (Л) — Ф. 9, отд. IV, № 55, ч. 37: «Следственное дело о коллежском асессоре Барановском», лл. 7—14 об.

<sup>43</sup> Белооголовый, стр. 199; «Дело петрашевцев», т. I, стр. 524.

<sup>44</sup> Записи Салтыкова из Кабаниса опубликованы Н. В. Яковлевым. См. «Известия Академии наук СССР». Отделение общественных наук. Л., 1937, № 4, стр. 865—872. Показания Ханыкова: ЦГВИА (Л) — Ф. 9, отд. IV, № 55, ч. 13, л. 126.

<sup>45</sup> ЦГВИА (Л) — Ф. 9, отд. IV, № 55, ч. 13, лл. 93—95, и ч. 37, лл. 7 — об. 14.

<sup>46</sup> ГПБ — Ф. XVIII. 46: запись Н. Я. Данилевского.

<sup>47</sup> ЦГВИА (Л) — Ф. 9, отд. IV, д. 55, ч. 37, лл. 7—14 об.; ИРЛИ — Р. 1, оп. 17, № 118.

<sup>48</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9, № 132: Письмо О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от 20 июня 1846 г.

<sup>49</sup> «Дело петрашевцев», т. I, стр. 559—577.

<sup>50</sup> Там же, стр. 547.

<sup>51</sup> Ц Г И А (М) — Ф. III Отд., 1-й секр. арх., № 99—1849 г.: Донесения Липранди, т. I, лл. 28 и 42.

<sup>52</sup> Ц Г И А (М) — Ф. III Отд., 1-й секр. арх., № 99—1849 г.: Донесения Липранди, т. I, лл. 25, 28, 28 об., 42 об., 49; «Письма Ф. Н. Львова к Д. И. Завалишину». — «Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина». 10-я часть, М., 1902, стр. 244.

<sup>53</sup> Ц Г И А (М) — Ф. III Отд., 1-й секр. арх., № 99—1849 г.: Донесения Липранди, т. I, л. 27.

<sup>54</sup> Ц Г В И А (Л) — Ф. 9, отд. IV, д. № 55, ч. 37: «Следственное дело о коллежском асессоре Барановском», лл. 7—14 об.

<sup>55</sup> П. Сакулин. Социологическая сатира («Вестник воспитания», 1914, кн. 4); В. Семевский. М. Е. Салтыков-пестрашвец («Русские записки», 1917, кн. 4, стр. 40).

<sup>56</sup> С. Н. Кривенко. Из рассказов Некрасова («Литературное наследство», т. 49—50, М., 1949, стр. 209).

<sup>57</sup> А. Пыпин. Мои заметки. Изд. Бухгейм, М., 1910, стр. 57.

<sup>58</sup> Ц Г В И А (Л) — Ф. 9, отд. IV, № 55, ч. 92: «Следственное дело об А. Н. Майкове», л. 31.

<sup>59</sup> «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Под ред. А. С. Долинина. П., 1922, т. I, стр. 267.

<sup>60</sup> Ц Г И А (М) — Ф. III Отд., 1 экзп., д. 214, ч. 1, 1849 г., л. 37 об. Приведенный нами текст из агентурного донесения Антонелли (№ 16) включен в специальную справку о братьях Майковых, вошедшую в документ 1849 г. под названием: «№ 3. Список лицам, которые более или менее подозреваются в сношении как с обществом Петрашевского, так и с другими». Существовало несколько таких списков, но не все они сохранились.

<sup>61</sup> В рецензии на первое издание настоящей книги Б. В. Папковский сделал попытку «уточнить» мою характеристику милотино-майковского кружка.

Полемизируя с моим изложением, Б. В. Папковский пишет: «Автор говорит о едином «милотино-майковском кружке». В действительности, как показывают материалы, оставшиеся вне поля зрения исследователя, было два кружка, существенно отличавшихся друг от друга. К марту 1847 года кружок В. Майкова распался... В. Майков вместе с Ф. Достоевским становится во главе кружка Бекетова и там в противоположность Белинскому всячески возвеличивает Достоевского... После распада кружка В. Майкова сложился кружок В. Милютин. О его существовании есть ряд указаний, в том числе и неопубликованные воспоминания Д. Милютина, хранящиеся в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина. В кружок входили В. Милютин, М. Салтыков, И. Панаев, В. Стасов, Р. Штрэндман. Кружок был так близок к Белинскому и «Современ-

нику», что его можно назвать филиалом «Современника». Была также некоторая близость с только что возникшим Русским географическим обществом и с Вольным экономическим обществом. Все это в новом свете рисует идейное развитие и творчество Салтыкова («Советская книга», 1950, № 3, стр. 99—100).

На чем, однако, основываются все эти «открытия» Б. В. Папковского? В ответ на мой запрос об источниках, откуда были черпнуты автором рецензии столь конкретные сведения о «милютинском кружке» 1847—1848 гг. и о близости этого кружка к «Современнику», Б. В. Папковский сообщил, что он опирался здесь на воспоминания Д. А. Милютина и следственные показания А. П. Плещеева по делу петрашевцев. Однако, обратившись к этим первоисточникам, я смог обнаружить в них лишь следующие материалы по интересующему нас вопросу:

1. Свидетельство Д. А. Милютина о том, что «когда брату Владимиру было 18 лет», он «с каждым годом все более и более отчуждался от семьи и втягивался в свой особый кружок».

Ясно, однако, что речь тут идет не о каком-то собственном кружке Вл. Милютина, а о начавшемся процессе его отхода, «отчуждения» от семьи и сближения с передовыми демократическими кружками Петербурга. Конкретно же имеется в виду вхождение Вл. Милютин в 1845 г. в кружок Петрашевского, о чем свидетельствует и указание на возраст Вл. Милютин: 18 лет ему исполнилось как раз в 1845 году.

2. Свидетельство А. Н. Плещеева в его следственных показаниях 1849 года по делу петрашевцев о том, что у Вл. Милютин «был свой кружок» и что он «посещал его в нынешнем году раза три» (ГПБ — IV, 833, л. 91 об. — выделено мною. — С. М.).

Очевидно, что и здесь речь идет не о каком-то собственном кружке Вл. Милютин, т. е. им организованном, им возглавляемом, у него собиравшемся. Не ясно ли, что по отношению к Вл. Милютину, как предполагаемому «хозяину» или «руководителю» кружка, нельзя было сказать, что он «посещал» собственный кружок, да и то лишь «раза три» в «нынешнем году». А «нынешний год» — это 1849 год, год снятия показаний. Таким образом, свидетельство Плещеева и формально не имеет никакого отношения к интересующему нас периоду 1847 — началу 1848 года.

3. Второе свидетельство из воспоминаний Д. А. Милютин о том, что «несколько позже» к кружку людей, с которыми был связан его брат, «присоединился» сначала К. Д. Кавелин, «оставивший в 1848 г. кафедру в Московском университете», а затем И. И. Панаев. Здесь речь идет опять-таки не о собственном кружке Вл. Милютин, хотя на этот раз действительно о кружке, возникшем в



недрах редакции «Современника»... но не раньше конца 1848—1849 гг. Значит, никакого отношения к этому кружку с участием Кавелина и Плещеева ни Белинский, уже умерший, ни Салтыков, уже сосланный, не имели, как не имели они отношения и к деятельности Русского географического и экономического обществ.

Таким образом, на поверку выходит, что все «открытия» и «поправки» Б. В. Папковского зиждятся исключительно на его домыслах, произвольных толкованиях одних документов, неправильном датировании других.

Б. В. Папковский считает «ошибкой», что я говорю о «едином» милотино-майковском кружке, тогда как речь должна идти о двух кружках — Вл. Майкова и Вл. Милютина — «существенно отличавшихся друг от друга». Но 1) слова «единый» у меня нет, оно принадлежит самому Б. В. Папковскому, 2) говоря о «майковско-милотинском кружке» я, разумеется, не забываю о том, что Вал. Майков в июле 1847 г. утонул, и не заставляю Салтыкова посещать кружок человека, которого уже не было в живых, и 3) некоторая неопределенность выражения «милотино-майковский кружок» — вынужденная, она определяется скудостью и неясностью документальных материалов, относящихся к кружку лиц, связанных с Вал. Майковым и Вл. Милютиным.

Полемизуя со мной и доказывая недоказуемое, Б. В. Папковский лишь подтвердил, что такие материалы действительно отсутствуют, а значит, отсутствует пока и возможность уточняющих конкретных характеристик.

<sup>62</sup> «Русская старина», 1877, кн. 6, стр. 232.

<sup>63</sup> П. В. Анненков. Литературные воспоминания, СПб., 1909, стр. 301—302.

<sup>64</sup> «Экономический указатель», 1857, № 46, стр. 1085. Цитирую по вступительной статье И. Г. Блюмина («Экономические воззрения В. А. Милютина») к изданию: В. А. Милютин. Избранные произведения, М., 1946, стр. 7.

<sup>65</sup> «Современник», 1855, кн. 9 («Современные заметки»). В некрологе есть следующая фраза: «Потеря эта, чувствительная для русской науки и для русской литературы, еще чувствительнее для нас, которые коротко знали Милютина и поэтому были искренне привязаны к нему». Это указание на близкое личное знакомство автора некролога с В. А. Милютиным скорее всего может относиться к Некрасову, который, возможно, принял участие в составлении некролога.

<sup>66</sup> Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XIII, стр. 258.

<sup>67</sup> В. А. Милютин. Избранные произведения, М., 1946, стр. 299 («Опыт о народном богатстве...»).

<sup>68</sup> В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 2, стр. 473.

<sup>69</sup> В. Г. Белинский. «Взгляд на русскую литературу 1846 года» — Полн. собр. соч., X, 405.

<sup>70</sup> В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 171—177.

<sup>71</sup> Вал. Н. Майков. Критические опыты. 1845—1847, СПб., 1891, стр. 609—610; Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XXIII, стр. 258.

<sup>72</sup> ИРЛИ—Р. 1., оп. 17, № 118, л. 8 (фрагмент статьи Вал. Н. Майкова, без заглавия). На полях рукописи много раз надписаны слова: «аномалия», «антагонизм», «анархия», «В. Майков». Один раз: «Штрандман».

<sup>73</sup> Л. Н. Толстой. Исповедь, гл. I, цит. по книге: Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, М.—Л., 1936, стр. 6.

<sup>74</sup> И. Г. Блюмин. Цит. соч., стр. 36—37.

<sup>75</sup> В. А. Милютин. Избранные произведения. М., 1946, стр. 341.

<sup>76</sup> Там же, стр. 353—354.

<sup>77</sup> Fr. Vidal, De la répartition des richesses. P. 1846, p. 173.

<sup>78</sup> И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания. Ред. А. Островского, Л., 1934, стр. 85—86.

<sup>79</sup> В. А. Милютин, Цит. изд., стр. 349.

<sup>80</sup> В. А. Милютин. Цит. изд., стр. 348.

<sup>81</sup> Вал. Н. Майков. Критические опыты, 1845—1847. СПб., 1891, стр. 325.

<sup>82</sup> Там же, стр. 300.

<sup>83</sup> В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 20, стр. 223. («Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении был еще при крепостном праве В. Г. Белинский»); В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 2, стр. 492. (Выделено мною. — С. М.).

<sup>84</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, т. X, стр. 397.

<sup>85</sup> Н. И. Мордовченко. Белинский в борьбе за натуральную школу («Литературное наследство», т. 55, стр. 226). С разрешения автора я имел возможность воспользоваться этой работой для характеристики литературных позиций Вал. Майкова в его споре с Белинским еще до появления статьи в печати.

<sup>86</sup> «Вестник Европы», 1869, кн. 4, стр. 725.

<sup>87</sup> О составе складчинной библиотеки петрашевцев см. В. Семеновский. Цит. соч., и «Дело петрашевцев», т. I, стр. 559 и сл.

<sup>88</sup> К. Федоров. Жизнь в Астрахани. Из воспоминаний бывш. личного секретаря Н. Г. Чернышевского («Правда», 27 ноября 1928 г., № 275).

<sup>89</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XV, стр. 142 (предисловие к книге «Крестьянская война в Германии»).

<sup>90</sup> Е. Кислицына. Салтыков-Шедрин и Сен-Симон («Известия Академии наук СССР». Отделение общественных наук, Л., 1937, № 4, стр. 831—864).

<sup>91</sup> Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. 1, М., 1939, стр. 297 (запись в дневнике от 11 июля 1849 года).

<sup>92</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. V, стр. 416.

<sup>93</sup> Saint Simon, Oeuvres choisies, t. III, p. 203.

<sup>94</sup> Отношение Салтыкова к Фурье было то же, что и у Герцена, который писал: «У Фурье убийственная прозаичность, жалкие мелочи и подробности, поставленные на колоссальное основание». — А. И. Герцен. Сочинения, под ред. М. К. Лемке, т. III, стр. 319.

<sup>95</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 263.

<sup>96</sup> В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 19, стр. 7 («Три источника и три составных части марксизма»).

<sup>97</sup> Г. В. Плеханов. Сочинения, т. X, стр. 344.

<sup>98</sup> В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 18, стр. 10.

<sup>99</sup> Там же.

<sup>100</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, т. X, стр. 412 («Взгляд на русскую литературу 1846 года»).

<sup>101</sup> А. И. Герцен. Полное собрание сочинений, под ред. М. К. Лемке, т. XIII, П., 1917, стр. 575.

<sup>102</sup> В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 31, стр. 9.

<sup>103</sup> Запись беседы Салтыкова с М. И. Семевским («Литературное наследство», т. 13—14, М., 1934, стр. 525).

<sup>104</sup> Авдотья Панаева (Е. Я. Головачева). Воспоминания. 1824—1870. Ред. К. Чуковского, изд. 3-е, «Academia», Л., 1929, стр. 495.

<sup>105</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9: Письмо О. М. Салтыковой к М. Е. Салтыкову от 15 февраля 1845 г.

<sup>106</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, т. XI, стр. 109—110 («Взгляд на русскую литературу 1847 года»).

<sup>107</sup> А. М. Скабичевский. Михаил Евграфович Салтыков. Некролог и несколько воспоминаний о нем («Новости», 1889, № 116 от 29 апреля).

<sup>108</sup> «Толстой в литературе и искусстве». Записки В. Г. Черткова и П. А. Сергеевко («Литературное наследство», т. 37—38, М., 1939, стр. 528).

<sup>109</sup> Л. Ф. Пантелеев. Из воспоминаний прошлого, СПб., 1908, т. II, стр. 150.

<sup>110</sup> «Современник», 1847, т. VI, кн. 11—12, стр. 2. Заметка: «Об издании «Современника» в 1848 году». Инициалы «М. С.», несомненно, означают Салтыкова. Ими подписана его повесть «Запутанное дело». С другой стороны, среди лиц, сотрудничавших в «Современнике» в 1847 году, нет другого автора, чьи имя и фамилия начинались бы также на эти буквы. Полностью имя Салтыкова не могло быть обозначено. Как чиновник, он не имел права числиться постоянным сотрудником какого-либо издания, так как на каждое выступление свое в печати должен был, по существующим правилам, пренебрегавшимся им, однако, получать разрешение служебного начальства.

<sup>111</sup> Предложенное Б. В. Папковским в его статье «Натуральная школа Белинского и Салтыков» некоторое расширение списка ранних салтыковских рецензий, осталось недостаточно аргументированным. См. назв. статью в «Ученых записках Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена», т. 81, Л., 1949, стр. 67—81.

<sup>112</sup> В. И. Ленин, изд. 4-е, т. 2, стр. 473 («От какого наследства мы отказываемся»).

<sup>113</sup> В какой мере идеи и взгляды Белинского являлись конкретно-определяющими для Салтыкова, можно было бы показать на примерах сравнения критических отзывов обоих авторов об одних и тех же рецензированных ими книгах учебной и детской литературы. Не имея возможности заняться здесь таким сравнительным анализом ввиду его специально-исследовательского интереса, ограничимся библиографической справкой об известных нам параллельных рецензиях Белинского и Салтыкова:

1. «Руководство к первоначальному изучению всеобщей истории» В. Ф. Фольк(г)ера. Два издания — 1846 и 1847 гг.

Белинский — «Отечественные записки», 1846, кн. 3., вошло в ПСС, т. X, стр. 245.

Салтыков — «Современник», 1847, кн. 10., вошло в ПСС, т. I, стр. 337—339.

2. «Григорий Александрович Потемкин. Историческая повесть для детей», П. Р. Фурмана.

Белинский — «Современник», 1848, кн. 1, перепеч. в «Литературном наследстве», т. 56, стр. 48.

Салтыков — «Отечественные записки», 1848, кн. 1, вошла в ПСС, т. I, стр. 342—344.

3. «Александр Васильевич Суворов-Рымникский. Историческая повесть для детей» П. Р. Фурмана.

«Саардамский плотник». Повесть для детей» П. Р. Фурмана.

Белинский — «Современник», 1848, кн. 3, перепеч. в «Литературном наследстве», т. 56, стр. 49.

Салтыков — «Отечественные записки», 1848, кн. 2, вошло в ПСС, т. I, стр. 347—348.

4. «Рассказы детям из древнего мира» К. Ф. Беккера.

Белинский — «Современник», 1848, кн. 4, вошло в ПСС, т. XI, стр. 177—181.

Салтыков — «Отечественные записки», — 1848, кн. 4, вошло в ПСС, т. I, стр. 352—362.

Таким образом, из девяти известных нам рецензий Салтыкова четыре написаны о книгах, прорецензированных и Белинским. Можно предполагать, что список этих параллельных отзывов значительно увеличился бы, если бы мы знали все рецензии Салтыкова. Отметим еще, что, как явствует из приведенной библиографической справки, рецензии Салтыкова появлялись в «Отечественных записках» либо одновременно с отзывами Белинского в «Современнике», либо даже раньше последних. Следовательно, совпадение оценок в рецензиях не может быть объяснено воздействием на Салтыкова конкретных суждений Белинского о той или иной книге, а является результатом общего усвоения его идей и самостоятельного приложения его взглядов.

<sup>114</sup> В рецензии на первое издание настоящей книги Б. В. Папковский, полемизируя с высказанными здесь утверждениями, писал: «На самом деле образ социальной пирамиды у Салтыкова целиком направлен против схемы Сен-Симона и дает резкую сатирическую критику (?) этого абстрактно-утопического представления... сенсимоновская пирамида у Салтыкова покоится на глиняных ногах (?) и т. п. (?)» («Советская книга», 1950, № 3, стр. 100).

Этот полемический пассаж вызывает по меньшей мере удивление. Салтыковская пирамида не «покоится на глиняных ногах». Эти «ноги» (у пирамиды?) сочинены автором рецензии. Пирамида из живых людей в «Запутанном деле» (I, 275—276) — глубоко трагический образ бесправия и нищеты трудовых масс, угнетаемых и подавляемых эксплуататорскими классами. Это смелое обличение несправедливости социального строя самодержавно-крепостнической России. Именно таково политическое содержание салтыковского образа и именно так был воспринят этот образ и революционно-настроенными читателями-современниками, и высшими цензурными властями при разборательстве «Запутанного дела» в меншиковском комитете (см. об этом в основном тексте). Никакого отношения к «сатирической критике» схемы Сен-Симона салтыковская «пирамида» не имеет.

<sup>115</sup> «Дело петрашевцев», т. I, стр. 516. В наброске к этой речи Петрашевский писал: «Не оттолкнем в сторону с улыбкой презрения окружающую нас действительность, но рассмотрим ее внимательно,

изучим ее тщательно и дадим живому и способному в ней к жизни достичь желанной полноты развития» (там же, стр. 521).

<sup>116</sup> В. Г. Белинский. Письма, т. I, стр. 231 (к В. П. Боткину от 10 сентября 1838 г.), и Полное собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, т. VII, стр. 65.

<sup>117</sup> Особенно любопытно сравнить здесь следующую запись петрашевца Момбелли: «Что видим мы в России? Десятки миллионов страдают, тяготятся жизнью, лишены прав человеческих, или ради плебейского происхождения своего, или ради ничтожности общественного положения своего, или по недостатку средств существования, зато в то же время небольшая каста привилегированных счастливых, нахально смеясь над бедствиями ближних, истощается в изобретении роскошных проявлений мелочного тщеславия и низкого разврата, прикрытого утонченной роскошью». — «Дело петрашевцев», цит. соч., т. I, стр. 290—291.

<sup>118</sup> В. Г. Белинский, Письма, т. III, стр. 316—317.

<sup>119</sup> В архивном фонде Канцелярии военного министерства имеется обширное «дело»: «По донесениям флигель-адъютанта полковника графа Бенкендорфа о происшествиях во Франции и Пруссии». Части I (289 лл.) и II (233 лл.). Нач. 22 февраля 1848 г. Конч. 11/23 апреля 1849 г. (Ц Г В И А (М) — Ф. 1, оп. 1. №№ 1/17549 и 2/17550 — в описи ошибочно: № 17548). В «деле» хранятся секретные военно-политические корреспонденции на французском языке полковника Бенкендорфа, которые он составлял и посылал из Берлина в Петербург военному министру Чернышеву в революционный 1848 год. В донесениях этих, хотя и преследовавших специальные военно-осведомительные цели (данные о мобилизационной готовности прусской армии, о военно-политических мероприятиях на границах, и т. п.), все же достаточно широко освещался общий ход событий германской революции и устанавливалась связь этих событий с происшедшими и происходившими во Франции. Некоторые из этих донесений (например, обширная корреспонденция о «революции 18 марта» в Берлине) и теперь воспринимаются как ценный и свежий исторический материал. Николай I высоко ценил корреспонденции Бенкендорфа как источник политической информации об европейской революции. Почти на каждой корреспонденции есть пометка, свидетельствующая о том, что она читалась царем или докладывалась ему Чернышевым. На корреспонденции от 12/24 марта (о «мартовской революции») Николай I написал: «весьма замечательное донесение» и приказал изготовить копию для себя.

Салтыков, разумеется, не имел и не мог иметь доступа к донесениям Бенкендорфа. Они поступали в секретную часть 1-го отделения (Салтыков же, как мы знаем, служил во «временном» отделе-

нии). Пакеты с донесениями вскрывались пачальником этой сверхсекретной части гр. Адлербергом и немедленно доставлялись министру Чернышеву. Однако после доклада доносений Николаю I с некоторых из них, и как раз с наиболее интересных, снимались в Канцелярии министерства копии для рассылки их министру иностранных дел Нессельроде, шефу жандармов Орлову и другим. Копии снимались, разумеется, не дрянными писцами, а чиновниками, образцово знавшими французский язык. Обычно такие работы поручались молодым чиновникам с лицейским образованием, которых в Канцелярии военного министерства было немало. Допустимо поэтому предположение, что среди товарищей и сослуживцев Салтыкова были люди, общение с которыми могло снабжать его политической информацией, восходящей и к секретным корреспонденциям Бенкендорфа.

<sup>120</sup> Авдотья Панаева (Е. Я. Головачева). Воспоминания. Ред. К. Чуковского, изд. 3-е, Academia, Л., 1929, стр. 496.

<sup>121</sup> ЛБ — М. 5185/27: Письмо И. И. Панаева к Н. Х. Кетчеру от 7 февраля 1847 года, л. 4 (сообщил Л. Р. Лапский).

<sup>122</sup> «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым». СПб., 1896, т. I, стр. 209 (письмо от 28 марта 1848 г.).

<sup>123</sup> «Воспоминания В. В. Берви (Н. Флеровского)» («Голос минувшего», 1915, кн. 3, стр. 137). Автор говорит здесь о том, что Николай I своими мерами возбуждал «жгучее ожесточение и привычку направлять всякую оппозицию против лица императора». «Такой закон мысли, — продолжает Берви-Флеровский, — породил, несмотря на все цензурные преграды, «Доктора Крупова» Герцена («Современник», 1847, т. V, отд. 1), где в одном месте русские изображаются сумасшедшими, отдающими все одному человеку, который раздает им полученное обратно в виде милостыни. К тому же времени относится еще более резкая пирамида из людей Салтыкова. Россия изображается в форме пирамиды, наверху которой стоит император Николай и давит одних людей другими так, что головы нижних слоев окончательно лишаются образа человеческого».

<sup>124</sup> «Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие», т. I, М. — Л., 1928, стр. 690.

<sup>125</sup> А. Н. Пыпин. Мои заметки, 1910, стр. 77.

<sup>126</sup> «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», М., 1890, стр. 316.

<sup>127</sup> «Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие», т. I, М. — Л., 1928, стр. 343.

<sup>128</sup> ЦГАОР — Ф. 5770, оп. 1, № 92: Письмо Н. А. Мельгунова к А. И. Герцену от 1 декабря 1856 г. Мельгунов ошибается, арест

и ссылка Салтыкова произошли через год с лишним после отъезда Герцена из России (в январе 1847 г.).

<sup>129</sup> «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», М., 1890, стр. 316.

<sup>130</sup> Н. Добролюбов. Сочинения, т. II, М., 1935, стр. 381 и 661.

<sup>131</sup> См. А. Скабичевский. Михаил Евграфович Салтыков. Некролог и несколько воспоминаний о нем («Новости и биржевая газета», 1889, № 116 от 29 апреля); он же — История новейшей русской литературы, изд. 3-е, СПб., стр. 275; он же — М. Лемке, обличающий М. Е. Салтыкова во лжи («Новости и биржевая газета», 1903, № от 25 марта); В. Семевский. М. Е. Салтыков-петрашевец («Русские записки», 1917, кн. 1, стр. 46); В. Кирпотин. М. Е. Салтыков-Шедрин, Литературно-критический очерк, изд. «Советский писатель», М., 1939, стр. 23—24; К. Веселовский, Отголоски старой памяти («Русская старина», 1899, кн. 10, стр. 14—17); М. Лемке. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904, стр. 200—202; А. Нифонтов. 1848 год в России. Очерки по истории 40-х годов. «Соцэкгиз», М. — Л., 1931, стр. 186—187.

<sup>132</sup> Ц Г И А (М) — Всеподданнейшие доклады III Отд. 1848 г. По I эксп., лл. 52—59. Ср. М. Лемке. Николаевские жандармы и литература. 1826—1855 гг., изд. 2-е, СПб, 1909, стр. 175—177.

<sup>133</sup> И Р Л И — Ф. 23056/CZXVI б. 1: «Тетрадь М. Н. Лонгинова», 1858 г., лл. 11 об. — 12.

<sup>134</sup> Ц Г И А (М) — I Секретный архив, № 1763, лл. 259—260.

<sup>135</sup> Ц Г И А (М) — III Отд., I эксп., № 25, ч. 2—1848 г.: «Об учреждении Комитета для суждений о «Современнике», «Отечественных записках» и прочих русских журналах», л. 78.

<sup>136</sup> А. Нифонтов. Цит. соч., стр. 1 и 186—187.

<sup>137</sup> Собrania эти привлекли внимание III Отд., и 22 марта 1848 г. Орлов приказал «выследить, что за обеды и сборища бывают у Краевского и Боткина». Производивший расследование жандармский штабс-капитан Каломийцев ничего страшного не обнаружил. В своем рапорте от 2 апреля 1848 г. он доносил начальству: «Главные собрания всех литераторов были в конторе Комиссионерства Языкова, которую заведует Тютчев, и для этого назначаемы были дни субботние. Краевский, Искандер, Панаев и Белинский здесь играли первую роль — в разных литературных и общих разговорах и ожиданиях, но, как слышно, около двух недель собрания эти прекращены». Для 1848 года сведения эти не соответствовали действительности в основном и главном. Ни Герцен, ни Белинский не могли в это время бывать на заинтересовавших III Отделение собраниях: Герцен — потому, что уже год, как находился за границей, Белинский —



вследствие своих отношений с Краевским. Очевидно рапорт Коломийцева отражал устаревшие сведения, относившиеся к периоду сотрудничества Белинского в «Отечественных записках». Делу не было дано дальнейшего хода (ЦГИА (М) — III отд., 1 эксп., № 89—1848 г.: «О собраниях у Краевского и Боткина, на которых бывают: «Заблоцкий, Карнеев, Милютин, Надсждии и Панаев»).

<sup>138</sup> К. Веселовский. Отголоски старой памяти («Русская старина», 1893, кн. 10, стр. 14—17).

<sup>139</sup> В комитете немедленно раздалось голоса даже о необходимости закрытия «Отечественных записок», но дело ограничилось строгим предписанием цензуре и внушением Краевскому, которого предупредили, что «по духу его журнала, правительство имеет за ним особенное наблюдение и если впредь будет в опом что-либо предосудительное или двусмысленное, то он лично подвергнут будет не только запрещению продолжать свой журнал, но и строгому взысканию» (ЦГИА (М) — III Отд., 1 эксп., № 25, ч. 2—1848 г.: «Об учреждении Комитета для суждений о «Современнике», «Отечественных записках» и прочих русских журналах», лл. 107—130).

<sup>140</sup> К. Веселовский. Отголоски старой памяти («Русская старина», 1889, кн. 10, стр. 14—17).

<sup>141</sup> Ц Г И А (М)—III Отд., 1 эксп. № 149—1848 г.: «О рассмотрении в особом Комитете действия цензуры периодических изданий», лл. 197—200. Записка Гедеонова следует непосредственно за «замечаниями» Дегаля, но оба эти документа, как и ряд других, неправильно «подшиты» в делопроизводство т. н. Бутурлинского комитета, или, как он именовался официально, «Комитета по делам цензуры» 2 апреля 1848 года.

<sup>142</sup> Ц Г И А (М)—III Отд. Ф. 109, оп. 10, д. 11, ч. 3—1846 г.: «Журналы и газеты». Об «Отечественных записках», л. 62 («О записке г-на Булгарина, обвиняющей журнал «Отечественные записки»; сверху карандашом помечено: «Составлено и доложено старшим чиновником Г е д е о н о в ы м»). Биографические сведения о М. А. Гедеонове, обладателе придворного чина камер-юнкера, служившем в III Отд. с 1842 по 1850 г., см. в его личном деле: Ц Г И А (М) — III Отд. Ф. 109 II — 1840 г. № 99 А, лл. 28—33.

<sup>143</sup> Первая справка раскрывала инициалы, которыми было написано сочинение, и гласила: «Напечатанную в № 3 «Отечественных записок» повесть «Запутанное дело» сочинил Михаил Евграфович Салтыков, молодой человек, воспитывавшийся в Александровском лицее. Все статьи «Отечественных записок» рассматриваются двумя цензорами: Крыловым и Мехелиным; оба они разрешили к напечатанию и повесть Салтыкова». Вторая справка сообщала адрес автора: «Михаил Евграфович Салтыков, коллежский се-

кретарь, служащий в Канцелярии военного министерства, квартирует в 1-м квартале Адмиралтейской части, в доме Жадимеровского, около Конюшенного моста, № 1-й». Внизу карандашная приписка, очевидно позднейшая: «Салтыков — сочинитель повести «Запутанное дело», помещенной в № 3 «Отечественных записок», 1848 г.» (Ц Г И А (М) — III Отд., I эксп., № 25, ч. 2—1848 г.: «Об учреждении Комитета для суждений о «Современнике», «Отечественных записках» и прочих русских журналах», лл. 80—81, справки следуют за письмом Фишера от 22 марта).

<sup>144</sup> «Из дневника Н. В. Кукольника» («Литературное наследство», т. 13—14, М., 1934, стр. 490).

<sup>145</sup> Ц Г И А (Л) — Ф. Гл. управл. цензуры (б. Архив мѣн. нар. просвещен.), 1848, № 149: «О сотрудниках редакторов всех выходящих журналов», л. 181.

<sup>146</sup> Ц Г Л А — Ф. М. И. Михайлова: Письмо В. Р. Зотова от 14 апреля 1848 г.

<sup>147</sup> «Из дневника Н. В. Кукольника». Цит. публ. стр. 490. Что касается самого доклада Кукольника князю Чернышеву о повестях Салтыкова, то разыскать его мне не удалось. Во всяком случае его нет в деле Канцелярии военного министерства: «Об увольнении от службы помощника секретаря т. с. Салтыкова и о назначении на его место состоящего при канцелярии тит. советн. Григорьева» (Ц Г В И А (М) — Ф. 1, оп. 1. № 41/18176 — 1848 г.). Скорее всего доклад Кукольника вместе со всеми остальными материалами учрежденной Чернышевым следственной комиссии по делу Салтыкова остался в секретном делопроизводстве «особой канцелярии» военного министра. Но судьба этого фонда до сих пор неизвестна. В Ц Г В И А его нет.

Содержание секретного доклада Кукольника о повестях Салтыкова не могло быть известно современникам. Но был известен самый факт его участия в созданной кн. Чернышевым следственной комиссии по делу Салтыкова. В сопоставлении с конечными результатами этого дела данный факт послужил поводом для создания легенды об инициативной и решающей роли, сыгранной Кукольником в судьбе, постигшей автора «Запутанного дела». Об этом свидетельствует, например, следующая запись М. Н. Лонгинова, относящаяся к 1858 г.:

«Кукольник много способствовал ссылке Салтыкова. Оба они служили в Канцелярии князя Чернышева. Директор Анненков поручил своему protégé Кукольнику прочесть «Запутанное дело». Отзыв его, значивший очень много, был самый неблагоприятный и похожий на донос. Я сам служил тогда при Чернышеве, но был в командировке в Новороссии и Крыму, откуда приехал в половине апреля <1848 г.> (И Р Л И—Ф. 23056 CZXVI б 1: «Тетради М. Н. Лонгинова», л. 12 об.).

В плену этой легенды находился, повидимому, и сам Салтыков,

популяризировал же ее и ввел в литературу А. М. Скабичевский: В своей статье-некрологе о Щедрине, напечатанной в № 116 газеты «Новости» от 29 апреля 1889 г., т. е. на другой день после смерти сатирика, Скабичевский, рассказывая о преддстории его ссылки, писал: «Заклятый враг натуральной школы, Кукольник представил доклад министру <о повестях Салтыкова> в таком роде, что Чернышев только ужаснулся, что такой опасный человек, как Салтыков, служит в его министерстве, и тотчас же препроводил доклад Кукольника в Бутурлинский комитет, а Салтыкова уволил из министерства. Бутурлинский комитет препроводил доклад Кукольника в III Отделение, и вот в один прекрасный день перед квартирой Салтыкова остановилась ямская тройка с жандармом и объявлено ему повеление тотчас же ехать в Вятку». Статью Скабичевского прочитал И. А. Пузыревский — племянник Кукольника и его, а также Салтыкова, сослуживец по канцелярии Военного министерства в 1848 году. В качестве очевидца событий и обладателя дневника Кукольника, рисующего его роль в деле Салтыкова совсем в ином свете, Пузыревский сделал попытку публично опровергнуть рассказ Скабичевского и восстановить истину. На основании имевшихся у него документов и личных воспоминаний Пузыревский написал статью «За что и как был выслан в Вятку М. Е. Салтыков (в ответ на статью г. Скабичевского в «Новостях)» и послал ее для напечатания в «Исторический вестник». Однако редакция журнала, уклоняясь от полемики с влиятельной газетой, статью не поместила, и она была опубликована лишь в 1934 году, в № 13—14 «Литературного наследства» (стр. 484—489).

Устанавливая несостоятельность версии Скабичевского о роли Кукольника в ссылке Салтыкова, Пузыревский писал между прочим: «Фактически и по документам этот рассказ... не верен, но тут... г. Скабичевский ни при чем. Он, по всей вероятности, слышал все это от самого Салтыкова. Я бы, кажется, мог даже безошибочно назвать того, кто бросил на Кукольника такое пятно, умышленно передав Мих. Евгр. все это дело в таком превратном виде; но, не имея в руках положительных доказательств, считаю недостаточным обвинить человека по одному только подозрению» (цит. соч. стр. 486). Предположение, высказанное Пузыревским, подтверждается заявлением самого Скабичевского, сделанным им лет на пятнадцать позже в полемике с М. К. Лемке.

В статье «Г. М. Лемке, обличающий М. Е. Салтыкова во лжи», напечатанной в номере «Новостей» от 25 марта 1903 г., Скабичевский сделал ответственное заявление: «Рассказ о ссылке Салтыкова... приведен мною с подлинных слов самого Салтыкова. Он мне рассказал слово в слово то, что было мною передано... Рассказывал Сал-

тыков о своей ссылке не в какой-либо интимной беседе с глазу на глаз, а в редакционном собрании («Отечественных записок»), при свидетелях...» Хотя Скабичевский допустил в своем заявлении ряд неточностей и ошибок, на которые ему и не преминул указать М. Лемке (см. в его «Очерках по истории русской цензуры...», СПб., 1904, примеч. на стр. 201—204), нет оснований сомневаться в правдивости его основного утверждения о том, что историю ареста и ссылки Салтыкова он воспроизвел по рассказу самого Салтыкова, который, повидимому, действительно считал Кукольника одним из виновников, постигших его в 1848 г. неприятностей. Возможно, что первоисточником этого неверного представления был как раз М. Н. Лонгинов, которого, быть может, и имел в виду Пузыревский в своей статье. В 1857 г. Салтыков, впервые после девятилетней разлуки, встретился в Москве с Лонгиновым, своим, как мы знаем, товарищем и сослуживцем по Канцелярии военного министерства, и они «долго беседовали» («Сборник Пушкинского дома на 1923 год», П., 1922, стр. 180). Не подлежит никакому сомнению, что в беседе этой речь шла и о причинах ареста и ссылки Салтыкова, разлучивших собеседников девять лет тому назад. А какую информацию мог дать по этому вопросу Салтыкову Лонгинов, показывает его опубликованная выше мемуарная запись 1858 года.

<sup>148</sup> Ц Г И А (М)—Ф. 1, оп. 1, № 41/18176—1848 г., л. 4. Текст справки гласил: «Во исполнение высочайшего вашего императорского величества повеления, имею счастье донести, что отец титулярного советника Салтыкова, помещик Тверской губернии, коллежский советник Евграф Васильевич Салтыков, служил в Московском архиве иностранных дел, но вышел оттуда с давнего времени в отставку и находится ныне не у дел». Сверху канцелярский гриф: «Доложено его величеству», в который рукою Чернышева вписано: «27 апреля 1848 г. Князь А. Чернышев».

<sup>149</sup> В дневнике Кукольника (цит. публ. стр. 490) имеется недатированная запись: «Проект приказа письма к Орлову о Салтыкове, исполнено». Запись, несомненно, относится к 26 апреля. Именно этим днем помечен следующий документ, написанный (но не подписанный) рукою Кукольника и адресованный Чернышеву:

«Имею честь представить на благоусмотрение Вашего сиятельства по делу тит. сов. Салтыкова: 1. Справочную докладную записку об отце Салтыкова; 2. Проект отношения к генерал-адъютанту графу Орлову и 3. Проект отношения к министру внутренних дел. Об увольнении Салтыкова от службы по Канцелярии военного министерства с сим вместе я уведомил генерал-адъютанта Игнатьева для внесения в высочайший приказ». Внизу пометка: «Апреля 26» (Ц Г В И А (М) — Ф. 1, оп. 1 № 41/18176 — 1848, л. 3).

<sup>150</sup> Ц Г И А (Л) — Ф. Департамент полиции исполнительной, д. № 737, 1848 г.: «По отношению г. военного министра о высылке тит. советн. Салтыкова на службу в Вятку», л. 1. На документе имеются следующие пометки, сделанные в канцелярии министра внутренних дел Перовского: (1) «Получено 27 апреля 1848 г.», (2) «Нужное»; (3) «Послать вятскому губернатору».

<sup>151</sup> Указание на Адмиралтейскую гауптвахту содержится у Белоголового, стр. 231. Такую подробность он мог слышать только от самого Салтыкова. Однако в целом рассказ Белоголового об обстоятельствах ареста и ссылки Салтыкова изобилует ошибками (Бутурлинский комитет вместо меншиковского, свидание с министром Чернышевым, которого не могло быть, и т. д.).

<sup>152</sup> В письме к брату Дмитрию Салтыков писал 6 ноября 1850 г.: «...целую ручки Алины Яковлевны, о которой я вспоминаю всегда с особенною благодарностью за участие, которое она принимала во мне во время печальной катастрофы, столь неожиданно удалившей меня из среды вашей» (Шедрин, XVIII, 65). А ей самой и ее матери Каролине Петровне он поспешил написать письма сразу же по прибытии в Вятку, отправив их с возвращавшимся в Петербург «ментором-жандармом». Письмо к Алине Яковлевне опубликовано (Шедрин, XVIII, 45—46); письмо к ее матери от 8 мая 1848 г. (ИРЛИ — Ф. 366, оп. 11, № 318) не появлялось в печати. Приводим его в переводе с французского:

#### Сударыня.

Моя несчастная судьба хотела оторвать меня от Вас и всего наиболее мне дорогого, но она была бессильна, так как дело идет о моих сердечных привязанностях. Я умоляю Вас, сударыня, верить, что лучшее место в моем сердце вечно будет принадлежать Вам и тем, кто дорог Вам, и что безграничная моя преданность будет служить лишь особой данью, которая так и не даст мне возможности расклатиться за все Ваши благодеяния, какими Вы меня осыпали. Если в горькие дни узнают тех, кто нас любит, я имел эти дни, сударыня, и я знаю долю Вашего участия, облегчившего мои невзгоды. Наконец, мне остается Вас просить еще раз, сударыня, быть уверенной в моей сыновней преданности, которая тем более искренна, что я не имею счастья именоваться Вашим сыном.

С чувством глубокого почтения

*Мих. Салтыков*

8 мая 1848 г.

<sup>153</sup> Шедрин, XVIII, 42. Дату письма — 28 апреля — нужно исправить как явную опisku. Из дневника Кукольника и ряда дру-

гих архивных документов видно, что письмо было получено в Канцелярии военного министерства 27 апреля.

<sup>154</sup> Архивная документация об аресте и ссылке Салтыкова содержится в двух «делах» 1) ЦГИА (М) — III Отд., 1 экзп., № 169—1848 г.: «Об отправлении титулярного советника Салтыкова на службу в Вятку» (на 44 лл.), и 2) ЦГВИА (М) — Ф. 1, оп. 1, № 41/18176—1848 г.: «Об увольнении от службы помощника секретаря, титулярного советника Салтыкова и о назначении на его место состоящего при канцелярии тит. сов. Григорьева» (на 59 лл.). Главные документы из этих дел опубликованы в статьях: М. Лемке. К биографии Салтыкова. По неизданным материалам («Русская мысль», М., 1906, кн. 1, стр. 30—38), и А. Александров. Материалы для биографии М. Е. Салтыкова-Шедрина, по неизданным бумагам («Русский библиофил», П., 1915, ян. VIII, стр. 73—87).

<sup>155</sup> ЦГЛА — Ф. М. И. Михайлова. Письмо В. Р. Зотова из Петербурга от 12 мая 1848 г.

<sup>155</sup> Приведем и другой документ, впервые публикуемый. В нем рассказывается о том, как встретили известие об аресте и ссылке Салтыкова его родители. Этот документ — письмо Николая Евграфовича Салтыкова из Спас-Угла, от 17 мая 1848 года, к брату Дмитрию Евграфовичу в Петербург, написанное по поручению родителей, в ответ на сообщение последнего о происшедших событиях. Николай Евграфович писал:

«Письма твои от 27-го и 29-го апреля к батюшке и матушке получены 15-го мая, и столь ужасно они оными и внезапным отъездом брата Миши поражены были и всем случившимся, тем более, что родители наши, зная о болезни Миши из его писем и других источников, хотя ты и успокаивал их насчет Миши, писав им, что он немного нездоров, но они имели верные сведения от Миши и от прочих, что он очень был болен и теперь страдает болезнью, но ты никогда им не писал, чем он болен. — Конечно, таковое предостережение сохраняло их спокойствие, теперешнее же известие, прямо адресованное на имя матушки, попавшее ей в руки, без всякого с чьей-либо стороны приготовления, так ее ужасно поразило, что она дочитать не могла, и на словах в письме от 27-го апреля, что (брат Миша в последнее время), упала без чувств. Едва ее могли через долгое время привести в чувство. Сцена была ужасная, представившая, что брат Миша по сим словам умер. Конечно, лучше бы было по короткому и дружескому знакомству Николая Петровича Стро-  
<милова> попросить приготовить их к такому известию, а то случившееся после такого известия весьма легко могло кончиться смертью маменьки, которая и также батюшка очень больны находятся и сами писать не в силах. Писать поручили мне, исполнить

сообщением тебе, что деньги 1750 р. асс. при сем посылаются для уплаты долгов брата Миши и его поездки, по извещению твоему и по исполнению просят известить их и... отписать решительно о Мише — в каком состоянии его здоровье, как доктор говорит, и в каком состоянии души оные чувства его были при отравлении его, не убит ли он, не потерял ли морально силами души своей, что говорил — одним словом, раскрыть все случившееся с ним и происшедшее до дня отъезда и при прощании, со всею откровенностью просят описать его положение. Более же они ничего теперь не могут писать, ибо ужасно как больны оба, они не могут дожидаться от Миши известия, как он доехал — опасаются очень за его жизнь и тревожатся, что если долго не будет известия, то оное их еще больше расстроит, и потому просят уведомить, как зовут губернатора, чин и фамилия его; они хотят на его имя писать к Мише, а матушка имеет намерение ехать туда при первой возможности, чтобы навестить его, в страдальческом и болезненном положении находящегося».

(ИРЛИ—Ф. 366, оп. 11, № 274: Письмо Н. Е. Салтыкова к Д. Е. Салтыкову от 17 мая 1848 г. — Письма Д. Е. Салтыкова к родителям с описанием событий ареста и отправления в ссылку Салтыкова в семейном архиве не обнаружены.)

<sup>157</sup> ИРЛИ (Л). — Ф. 366, оп. 5, № 1: «Дело о назначении на жительство в Вятку титулярного советника М. Е. Салтыкова», 1848, № 7(35), лл. 1, 5—6.

### В «ВЯТСКОМ ПЛЕНУ»

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 2, стр. 313 («Задачи русских социал-демократов»).

<sup>2</sup> Вас. Гиппиус. Рецензия на книгу Иванова-Разумника «М. Е. Салтыков-Щедрин, Жизнь и творчество» («Каторга и ссылка», 1930, кн. 7, стр. 197).

<sup>3</sup> Я. Эльсберг. Салтыков-Щедрин (в серии «Жизнь замечательных людей»). М., 1934, стр. 45. (Выделено мною. — С. М.)

<sup>4</sup> В. Кирпотин. М. Е. Салтыков-Щедрин. Литературно-критический очерк. Изд. «Советский писатель», М., 1939, стр. 27.

<sup>5</sup> Н. Мещеряков. Начало литературной деятельности Щедрина (Щедрин, I, 74: вступительная статья).

<sup>6</sup> В условиях свирепой реакции «морового семилетия» и неистовств «черного кабинета» III Отд. (перлюстрации) Салтыков в своем положении политического ссыльного, находящегося под полицейско-жандармским надзором, вряд ли рисковал вести (по крайней мере по почте) сколько-нибудь обширную и регулярную

переписку со своими уцелевшими после разгрома петрашевцев друзьями-единомышленниками. Однако в литературе и в архивных источниках есть указания, что он обменялся по крайней мере несколькими письмами с Вл. Милютиным, Н. Ханьковым, И. Павловым, Е. Есаковым (3 п.), В. Степановым и С. Юрьевым. Но ни одно письмо из этой переписки до нас не дошло. Объясняя в письме к брату Д. Е. от 3 февраля 1850 г. временную неаккуратность в переписке, Салтыков писал: «Я в настоящее время так занят... что решительно не имею никакого времени, чтобы уделить на беседу с добрыми родными и приятелями» (Щедрин, XVIII, 49). Очевидно, что переписка с «приятелями» все же имела место.

<sup>7</sup> В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 10, стр. 230 («Победа кадетов и задачи рабочей партии»).

<sup>8</sup> Архивная документация о служебной деятельности Салтыкова в Вятке сосредоточена, в основном, в многочисленных «делах» Канцелярии вятского гражданского губернатора и вятского губернского правления, хранящихся с 1911 г. в Пушкинском доме (ИРЛИ). Краткую опись этих «дел», занимающих в совокупности 2897 листов, см. в «Литературном наследстве», М., 1934, т. 13—14, стр. 597—598: «Щедринские архивные фонды в СССР», №№ 83—109 по описи. В первые годы после Октябрьской революции документация эта специально изучалась Александром Лясковским. Результаты своих изысканий он изложил в двух статьях, появившихся в зарубежных изданиях: «Новое о М. Е. Салтыкове» в журнале «Беседа» (1924, кн. 5), и «М. Е. Салтыков в ссылке» в журнале «Историк и современник» (1922, кн. 3). Мое изложение служебной деятельности Салтыкова в своей фактической части в значительной мере опирается на материалы, приведенные в названных работах, но проверенные по первоисточникам. Так как статьи А. Ляковского оказались доступны мне лишь в машинописных копиях, что не давало возможности обозначать страницы журнального текста, отдельные ссылки на эти работы, равно как и на упомянутые выше архивные источники, в дальнейшем изложении опускаются.

<sup>9</sup> «Столетие Вятской губернии. 1780—1880». Сборник материалов к истории Вятского края. Изд. вятского губ. статист. комитета, т. I, Вятка, 1880, стр. 14 (отзыв Александра I): «С.-Петербургские ведомости», 1878, № 201 (отзыв Д. Толстого); «Вятские губернские ведомости», 1848, № 36 (отзыв Алфеевского).

<sup>10</sup> Белоголовый, 282, и Пантелеев, 151.

<sup>11</sup> «Столетие Вятской губернии. 1780—1880», цит. соч., т. II, Вятка, 1881, стр. 471—472.

<sup>12</sup> См., например, в заметке А. Кузнецова в «Русской старине», 1890, кн. 6, стр. 713—714, рассказ бывшего городского го-



ловы города Орлова (Вятской губ.) А. В. Изергила о том, как Салтыков отклонил предлагавшуюся ему взятку вином.

<sup>13</sup> Ц Г И А (Л) — Ф. департамента полиции исполнительной, 1853, д. № 1496: «О злоупотреблениях некоторых должностных лиц Вятской губернии», лл. 39—43, 48—49 об.

<sup>14</sup> «Листки из записной книжки А. Н. Плещеева» («Грядущая Россия», Париж, 1921, № 7); И. Селиванов. Записки дворянина-помещика («Русская старина», 1880, кн. 6).

<sup>15</sup> Ц Г И А (М) — Ф. III Отд., 1 эксп., 1837, № 190: «О графе Потоцком»; там же, № 190, ч. 21: «О побеге графа Потоцкого из города Вятки и о заключении его в Шлиссельбургскую крепость». Цит. по изданию: М. Гернет. История царской тюрьмы, М., 1946, т. II, стр. 384—388.

<sup>16</sup> В связи с приведенными мною сведениями о работе Салтыкова над составлением отчетов по Вятской губернии за 1848—1849 гг. (хранятся в Ц Г И А Л) приходится отметить еще один пример странной «рассеянности», допущенной Б. В. Пяпковским в рецензии на первое издание настоящей книги. О работе Салтыкова над составлением отчетов говорится на стр. 268—269 первого издания. Рецензент же выражает «сожаление», что из моего поля зрения «выпала... существенная часть работы Салтыкова — составление им отчета по Вятской губернии»

<sup>17</sup> Ц Г В И А (Л) — Ф. 9, отд. IV, д. 55, ч. 4, лл. 204—205, 243, 258—259, 287 и 318; там же, ч. 98, лл. 9—10; там же, ч. 119, лл. 11 и др.

<sup>18</sup> «Дело Петрашевцев», т. I, стр. 73.

<sup>19</sup> Ц Г И А (М) — Ф. III Отд., 1 эксп., 1849, д. № 226 к д. 214: «Об отобрании ответов от Салтыкова по делу о Петрашевском», лл. 1—17. Показания Салтыкова приведены по подлинникам, находящимся в Ц Г В И А (Л) — Ф. 9, отд. IV, д. 55, ч. 120: «Дело, произведенное высочайше учрежденною смешанною военно-судною комиссиею над злоумышленниками», лл. 465—465 об. (1-е показание), лл. 467—468 (2-е показание) и л. 475.

<sup>20</sup> И Р Л И — 1) 614—VI б: Дело канцелярии вятского гражданского губернатора по прошению советника вятского губернского правления статск. сов. Кобылина об увольнении его от этой должности и по предписанию министра внутренних дел об определении на его место старшего чиновника особых поручений Салтыкова. Нач. 5 июня 1850 г. — конч. 29 сентября 1850. 2) 615—VI б: Дело вятского губернского правления по высочайшему приказу об увольнении от службы советн. губ. правления статск. сов. Кобылина и определении вместо него советником старш. чиновн. особ. поруч. г. Салтыкова. Нач.

28 августа 1850 г., лл. 6 об. — 7. Приказ о назначении Салтыкова был получен в Вятке 25 августа 1850 г.

<sup>21</sup> Во времена ссылки Салтыкова Вятская губерния заключала в себе, сверх нынешней территории Кировской области, значительную часть Марийской АССР, небольшие части Татарской АССР (бывш. Елабужский уезд Казанской губ.) и Свердловской области (среднее Прикамье с городами Сарапулом и Воткинском) и всю обширную территорию, лежавшую к северу от Татарской АССР и Марийской АССР, вплоть до границ Северного края.

<sup>22</sup> В рецензии на первое издание настоящей книги Б. В. Папковский пишет: «В разделе «Вятская сельскохозяйственная выставка» есть одна неточность. Вятскую сельскохозяйственную выставку С. Макашин датирует: первую — 1850, вторую — 1854 годом. О выставке 1854 г. мы не нашли никаких указаний в печати и в архивах. Сохранившиеся материалы о выставках показывают, что первая выставка была организована Салтыковым в 1849 г., причем лучшие экспонаты были отобраны Салтыковым для выставки «сельских произведений» в Петербурге (Центральный исторический архив. Отчет по Вятской губернии за 1849 г.), а вторая — в 1850 г. Во главе организации выставок стоял Салтыков. О выставке 1854 г. С. Макашин не приводит никаких документальных данных» («Советская книга», 1950, № 3, стр. 101).

Читателя, который бы поверил, что о выставке 1854 г. ч об участии в ней Салтыкова Б. В. Папковский не нашел «никаких указаний в печати и в архивах», отсылаем хотя бы к работе Н. В. Яковлева «Вехи жизни и деятельности М. Е. Салтыкова-Шедрина», напечатанной в первом томе Полного собрания сочинений сатирика. Под датой 1854 г. читаем здесь: «С мая по 14 сентября Салтыков — распорядитель Вятской сельскохозяйственной выставки» («Вятские губернские ведомости», 1854, № 19; 1855, № 19»)» (I, 439).

Что касается до сельскохозяйственной выставки 1849 г., то она была не в Вятке, а в Петербурге. В Вятке же, как и в других губерниях, лишь отбирались экспонаты для отправки в столицу. «Во главе организации» этой выставки Салтыков не мог стоять и не стоял, а являлся, как указано в его «Аттестате», лишь «производителем дел комитета о выставке сельских произведений в С.-Петербурге» (I, 463).

Совершенно произвольно указание Б. В. Папковского и на то, что знакомство М. Я. Киттары с Салтыковым произошло не в 1854, а «еще в 1850 году». Ни одного факта в пользу своей датировки автор рецензии не приводит.

<sup>23</sup> Н. М. Дружинин. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева, т. I, изд. АН СССР, М.—Л., 1946, стр. 245—280.

<sup>24</sup> ЦГИА Тат. АССР (Казань) — Ф. Бумаги Агафонова, п. VI, л. 46.

<sup>25</sup> <М. Салтыков>. Вятская выставка. — «Журнал министерства государственных имуществ», <СИБ., 1851>, т. XXXVIII, ч. 2, стр. 204—206.

<sup>26</sup> «С тех пор, — заявляет здесь Щедрин словами Нагибина, — как человек отделил для себя угол и сказал «это моё», он один уже пользуется своею собственностью и всею суммою наслаждений, которые из этого пользования истекают, и горе тому, у кого нет ни своего поля, ни своей хижины; право существования — священное право, дарованное ему самою природой, перестает быть для него действительным...» и т. д. («Отечественные записки», 1847, кн. 11, отд. 1, стр. 27—28).

<sup>27</sup> Автографа этого письма, частично опубликованного в упомянутой статье А. Ляковского в «Беседе» (см. выше прим. 8), я не мог найти в «вятских делах» Салтыкова, хранящихся в ИРЛИ. Однако сомневаться в подлинности документа не приходится.

<sup>28</sup> Арсеньев, 44—45.

<sup>29</sup> «Дело канцелярии вятского губернатора...», 1852 г., № 592, «по 3-му столу». Эта оценка была подтверждена отказом губернатора представить Салтыкова к награде — ордену Станислава 4-й степени, полагававшемуся по статуту за прекращение крестьянских беспорядков. На просьбу Круковского представить Салтыкова к награде губернатор наложил резолюцию: «Я согласен представить Круковского и Дувинга <жандармского офицера>, но распоряжениями Салтыкова я не доволен» (там же).

<sup>30</sup> ИРЛИ — 635 — VIII б: «Дело канцелярии вятского губернатора по рапорту сарapulьского городничего о замеченном в доме сарapulьского мещанина Смагина беглом раскольнике Ситникове и о проч.» Нач. 13 октября 1854 г., конч. 3 ноября 1877 г., на 428 лл. Это «дело», как и ряд ему сопутствующих, впервые было изучено А. Ляковским в упомянутой выше его статье в «Беседе» («Новое о Салтыкове») и более подробно — Р. Ивановым-Разумником в его книге «М. Е. Салтыков-Щедрин», М., 1930, стр. 95—110. В своем изложении фактической стороны произведенного Салтыковым следствия по расколу я опираюсь на эти работы.

<sup>31</sup> Бибиков писал губернатору: «Если Вы признаете коллежского ассессора Салтыкова заслуживающим полного доверия в таком важном деле, то поручите ему продолжение исследования». ИРЛИ, цит. дело: Предписание министра внутр. дел от 8 ноября 1854 г.

<sup>32</sup> В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 2, стр. 311—312 (выделено мною. — С. М.).

<sup>33</sup> О воздействии на себя «говора и шума толпы» Салтыков рассказал в повести «Тихое пристанище» (Щедрин, IV, 298).

<sup>34</sup> Оба эти стиха приведены Салтыковым в его статье-рецензии на «Сказание о странствии инока Парфения» с указанием, что список их был им сделан лично: «Мы имели случай видеть в Нижегородской губернии другой вариант этого замечательного стиха...» (Щедрин, V, 48, 52—53).

<sup>35</sup> Сам Салтыков очень ценил в период «Губернских очерков» эту свою «фольклорную» форму. Узнав в 1857 г., что И. С. Аксаков намеревается напечатать свои критические статьи о «Губернских очерках», Салтыков писал ему: «...Нельзя ли будет указать на мои попытки узаконить полуславянскую речь нашего народа (в Пахомовне, Аринушке и др.); многие истые знатоки русского слова совершенно удовлетворены этими попытками». ИРЛИ — Ф. 3., оп. 4, № 224 (сообщено Л. Б. Модзалевским).

<sup>36</sup> Список ближайших сослуживцев Салтыкова, составленный по «Памятной книжке Вятской губернии на 1854 год», см. в издании: «Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1908 год», Вятка, 1908, стр. 119—120.

<sup>37</sup> Сведения эти были сообщены мне в 1932 г. Д. В. Фаворским (см. о нем ниже, в прим. 42).

<sup>38</sup> Спасская, 25, 79.

<sup>39</sup> ЦГИА(Л) — Ф. Департ. полиции исполнительной, 1853, д. № 1496: «О злоупотреблениях некоторых должностных лиц Вятской губернии», лл. 39—43, лл. 48—48 об.

<sup>40</sup> Спасская, 107.

<sup>41</sup> Ср. и другую расшифровку, считающую Томилова прототипом образа Техоцкого, а не Линкина. В своих «Воспоминаниях о вятской гимназии» ее бывший воспитанник (в 1844—1849 гг.), а затем профессор Казанского университета Я. С. Степанов пишет: «Известно, что история между губернаторшей и учителем <чиновником. — С. М.>, рассказываемая в «Губернских очерках», приписывается вятчанами Томилову, и знавших его она не может удивлять; я губернаторши тогдашней не знал..., но мне кажется, что автор <Щедрин> напрасно ставит ее так высоко, а ее учителя — так низко». — В книге: «История вятской гимназии за сто лет ее существования», Вятка, 1911, Приложения, стр. 77.

<sup>42</sup> Приведенные записи были сообщены автору настоящей книги в 1932 г. вятским старожилом и краеведом Дмитрием Васильевичем Фаворским. В качестве бывшего архиварнуса Вятского губернского правления Д. В. Фаворский хорошо знал служебные бумаги Салтыкова, был первым их «исследователем», и он же отвез большую часть их («25 архивн. дел, весом около 2½ пудов») в 1911 г. в Петербург,

в Пушкинский дом Академии наук (см. «Новое время», 1911, № 12564 — информация). Д. В. Фаворский списал опубликованные маргиналии с экземпляра «Губернских очерков», принадлежавшего наследникам Тучемского. Это было в Вятке, еще в 90-е годы. Местонахождение книги в настоящее время неизвестно, как неизвестна и судьба написанной Д. В. Фаворским «по архивным материалам и воспоминаниям современников» статьи под названием «Исторический очерк о жизни в Вятке Михаила Евграфовича Салтыкова».

<sup>43</sup> А. Кони. Из заметок и воспоминаний судебного деятеля («Русская старина», СПб., 1910, кн. 11, стр. 238).

<sup>44</sup> «Волжский вестник» (Казань), 1883, № 94, стр. 678.

<sup>45</sup> Г П Б — К—1, № 16/2: А. И. Артемьев. Дневник и воспоминания, лл. 85—85 об. См. также в опубликованных Б. Я. Бухштабом воспоминаниях А. И. Артемьева о споре Чернышевского со Срезневским по вопросам эстетики, в связи с «Губернскими очерками», и суждение Чернышевского о «Живоглоте» и его реальном прототипе — «Литературное наследство», т. 25—26, М., 1936, стр. 232—233.

<sup>46</sup> А. Кузнецов. Две заметки о Салтыкове («Русская старина», 1890, кн. 6, стр. 466—468).

<sup>47</sup> Н. Озеров. М. Е. Салтыков в Вятке. Вятка, 1903, стр. 14 (первоначально напечатано в №№ 75 и 96 «Приложений к Вятским губернским ведомостям» за 1903 г.). Автор продолжает приведенную цитату следующими словами: «И, быть может, отчасти поэтому Салтыков как писатель собственно в Вятке не пользуется среди служилого и служившего люда популярностью. Не сознают его значения и горожане: именем Салтыкова не названа никакая улица, нет доски с надписью на доме, где он жил, нет бюста ему в городском Александровском саду, где он часто любил бывать» и т. д. Нанивность автора в объяснении причины забвения памяти сатирика в городе, столь связанном с его биографией, очевидна. Но самые факты верны. Официальная Вятка и через полвека не могла простить сатирику его обличений и тупо мстила ему «заговором молчания». В объемистом двухтомном издании «Столетие Вятской губернии (1780—1880), названном «Сборником материалов к истории Вятского края» и содержащем подробную «вятскую хронику», нет даже простого упоминания о Салтыкове. За исключением очерка Озерова, нет ни одной статьи о сатирике и в неофициальной части официальных «Вятских губернских ведомостей». Некрологу сатирика эта газета уделила ровно 8 строк (перепечатка извещения из «Правительственного вестника», 1889, № 69, в котором, разумеется, связь покойного писателя с Вяткой не была указана). Но и эти казенные строки газета поместила на задворках полосы, рядом с заметками: «Продуктивность кур» и «Мастика для резиновых галош» (№ 38 от 13 мая 1889 г.). Так пош-

лость и вражда «непотребной» официальной Вятки проводили великого сатирика и в могилу.

Существовала, однако, и другая, неофициальная, Вятка, в которой, как и в каждом городе России, были почитатели великого сатирика. Об этом свидетельствует сохранившееся в архиве Л. Ф. Пантелеева, адресованное ему письмо вятского врача С. Филимонова от марта 1888 года: «Милостивый государь Лонгин Федорович. Будьте любезны, передайте Михаилу Евграфовичу Салтыкову посылку, отправленную из Вятки на Ваше имя. В посылке находится альбом, сделанный по подписке небольшим кружком почитателей Михаила Евграфовича. Этим даром вятчане имели в виду почтить сорокалетнюю литературную деятельность своего любимого писателя, всегда чуткого и отзывчивого на все злобы дня. Альбом этот вятчане просят принять Михаила Евграфовича в воспоминание о Вятке и тех годах, которые ему пришлось провести в этом городе. Врач С. Филимонов» («Литературное наследство», т. 13—14, М., 1934, стр. 424). К этому «небольшому кружку» вятских почитателей сатирика принадлежала и Л. Н. Спасская. Лишь ей одной обязана история литературы рядом ценных и в общем дружеских Щедрина (хотя и далеких от понимания его) мемуарных и документальных заметок, возникших в Вятке. Подлинное же признание великого сатирика в городе, где он прожил семь с половиной лет, принесла лишь Октябрьская социалистическая революция. В юбилейные даты 1926, 1939 и 1951 гг. трудящиеся города Кирова и его горсовет провели ряд мемориальных мероприятий, увековечивших память Щедрина в этом городе.

<sup>48</sup> «Литературное наследство», т. 13—14, М., 1934, стр. 433.

<sup>49</sup> С п а с с к а я, 77, 80, 100, 112.

<sup>50</sup> Сообщенные сведения об А. П. Тиховидове заимствованы из издания: А. Спицын. Преподаватели русского языка и словесности Вятской гимназии в 1811—1865 гг. Перепечатка из «Календаря Вятской губернии на 1892 г.», изд. Губернского статистического комитета, Вятка, 1891, стр. 13—16.

<sup>51</sup> Сообщением приведенных сведений об И. В. Шишкине я обязан любезности Л. А. Динцес, излекшего эти сведения из архива в Елабуге.

<sup>52</sup> Ц Г Л А (М) — Ф. Шишкина, лл. 39—40. Письмо датировано: «19 октября», без указания года. Последний определяется на основании следующих строк письма, непосредственно примыкающих к процитированному в тексте: «Не знаю, как Вы, а я без смеха не мог смотреть на исправника и лекаря и, признаюсь, не без удивления бы на них посмотрел — таких оригинальных мошенников». Речь идет, несомненно, о впечатлениях И. И. Шишкина от инсценировки «Губернских очерков», шедшей на сцене Александринского театра в сезон 1857 г.

под произвольным заглавием «Провинциальные оригиналы» (Вольф. Хроника петербургских театров с конца 1855 года до начала 1881 г., СПб., 1884. Репертуар 1857—1858 гг., стр. 14). Таким образом, письмо Шишкина датируется 19 октября 1857 г.

<sup>53</sup> «Записки императорского Казанского экономического общества», год первый, ч. 3, кн. 11, ноябрь 1854 г. Казань, 1854, отд. 1, 15, 21 и 26—27. Протокол полностью опубликован на стр. 15—27. О том, что заседание, на котором состоялось избрание Салтыкова, происходило под председательством Н. И. Лобачевского, говорит вступительная часть протокола: «По собрании гг. наличных членов Об-ва, секретарем было доложено, что г-н президент О-ва, при искреннем сожалении невозможности участвовать в нынешнем заседании, поручает занять его место старшему члену, председателю IV отделения, д. с. с. Николаю Ивановичу Лобачевскому, под председательством которого и было слушано...» (стр. 15).

<sup>54</sup> Письмо И. В. Селиванова к А. А. Тучкову не издано. Возможностью ознакомления с ним я обязан Б. П. Козьмину.

<sup>55</sup> ИРЛИ — Ф. 366, оп. 9, № 136: Письмо О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от 10 мая 1856 г.: «...бывши при месте, получая 1500 р. серебр. жалованья и от меня 1500 р. сер., мог бы жить очень хорошо...»

<sup>56</sup> По раздельному акту 1852 г. на имя Е. В. Салтыкова (умершего 13 марта 1851 г.), завещанное им еще в 1837 г. жене, Ольге Михайловне, «старший в роде Дм. Евгр. получил село Спасское с деревнями, около 300 душ и 3400 десятин земли; младший сын, Илья Евгр., получил 4 деревни и 90 душ; Ник. Евгр. — 10 000 р. При этом Илье и Николаю была обещана награда в дальнейшем, при условии их сыновней почтительности. Сыновья же Сергей и Михаил ничего не получили, но мать обязывалась удовлетворить их из своего состояния» (Щедрин, XVIII, 392, прим. Н. В. Яковлева).

<sup>57</sup> Рукописное отд. Института мировой литературы им. М. Горького АН СССР — В. Танеев, «Детство и школа», т. I, стр. 167—168 (машинописный текст, не издано).

<sup>58</sup> В. Крапихфельд. «Рассуждающая любовь». Глава из не написанного романа Щедрина («Утро юга», 1914, № 64). Краткий пересказ раннего рассказа Салтыкова «Глава», полностью опубликованного Н. В. Яковлевым в «Звеньях», I (1932), стр. 167 сл. Ср. также «Солнце России», П., № 219 (16) от 16 апреля 1914 г.

<sup>59</sup> Вспоминая свое пребывание в Оренбурге, А. П. Плещеев в письме к Е. И. Барановскому (оренбургскому гражданскому губернатору) от 30 марта 1860 г. так передавал о ходивших там обывательских пересудах: «Ведь про Салтыкова, впрочем, весь Оренбург говорил, что он написал «Губернские очерки», чтобы отомстить Наталье Николаевне

<Середе>, которая его отвергла. И она сама это рассказывала, хотя достоверно известно, что она никогда никого не отвергала» («Новости», 1896, № 50).

Увлечение Н. Н. Середой, поддерживавшееся и после ее отъезда из Вятки при помощи не дошедшей до нас, но, видимо, довольно обширной корреспонденции, устанавливается и по письмам Салтыкова к брату. Правда, одно из этих писем специально посвящено проверке дошедших до Петербурга слухов. Закончив свои объяснения, Салтыков писал брату 25 марта 1852 г. (уже после отъезда Н. Н. Середы из Вятки): «Все это я счет нужным высказать тебе для того, чтобы объяснить причины привязанности моей к Серее, которые ты, кажется, спутываешь с совсем иными побуждениями... Уверю тебя, что и ты и многие в этом отношении совершенно ошибаются. Я любил М-ше Середу, как сын любит мать, не совсем еще устаревшую и отцветшую» (Щедрин, XVIII, 96). Но есть факты, говорящие против этих утверждений Салтыкова, а его забота о репутации женщины, которой он увлекался, достаточно разъясняет мотивы неоткровенности цитированного письма.

<sup>60</sup> Записки и наброски к автобиографии В. И. Танеева в его бумагах, хранящихся в ЦГЛА — Ф. В. И. Танеева, ед. хр. 4394/158, листы не нумерованы.

<sup>61</sup> К. Салтыков. Интимный Щедрин. М.—Л., 1923, стр. 63.

<sup>62</sup> Донесение жандармского подполковника А. Глобы напечатано в журнале «Каторга и ссылка», 1931, кн. 5, в статье Б. Бухштаба «После выстрела Каракозова», стр. 61—67.

<sup>63</sup> ЛБ — Архив Н. А. Белоголового: письма от 17 апреля 1878 г. и 12 мая 1889 г.

<sup>64</sup> А. А. Амфитеатров. Вступительная статья к «Избранным сочинениям» М. Е. Салтыкова, изд. Гржебина, Берлин — Петербург — Москва, 1923, т. I, стр. 7—8.

<sup>65</sup> ГИМ — Ф. С. А. Юрьева. Рукопись «Что сохранила память?», л. 2.

<sup>66</sup> Щедрин, XVIII, 51—52, 69, 71, 73, 80, 81, 83—84, 91, 95, 99, 121.

<sup>67</sup> Укажем, кстати, что к вятскому периоду, хотя и не к вятской действительности, относятся и некоторые из наиболее ярких впечатлений Салтыкова от реально-бытовых персонализаций типа «разочарованных». Так, прототипом для создания образа Лузгина — одной из щедринских «талантливых натур» — послужил, мне думается, старинный товарищ детства и юности Салтыкова С. А. Юрьев, действительно очень ярко воплощавший в своей биографии 40—50-х годов тип «лишнего человека». В своих цитированных выше рукописных заметках «Что сохранила память?» он следующим образом характе-



ризует сам себя в указанный период: «По выходе из университета я, подобно многим, не сумел сразу найти себя... Разочарованный, опустошенный, я затворился в деревне и уже понемногу начал превращаться в «умную ненужность», в философа-байбака, как вдруг...» (Рук. отд. ГИМ:—Ф. С. Юрьева, назв. рукопись). Ср. в «Губернских очерках» вступительные замечания о молодости Лузгина, проведенной совместно с «автором» в Москве 30—40-х годов, в атмосфере «горячих споров об искусстве, о Мочалове, о Гамлете» и т. п., и следующие затем строки: «Так думал я, подъезжая к усадьбе друга моей молодости Павла Петровича Лузгина. Прошло уже лет пятнадцать с тех пор, как мы не видались, и я совершенно нечаянно, пахотясь по службе в песчанолесье, узнал, что Лузгин живет в верстах двадцати от города...» (Шедрин, II, 283—284 сл.). В художественной топонимике Щедрина «песчанолесье» расшифровывается как наименование его родного Калязинского уезда Тверской губернии, где находилось и поместье Юрьева. В родных местах в период ссылки Салтыков был дважды: в 1853 г. в отпуске и в 1855 г. во время служебной поездки.

<sup>68</sup> Об этом свидетельствует уже внешний вид черновой и первой белой рукописи «Брусина», хранящихся в ИРЛИ, в архиве М. М. Стасюлевича (№ 366/1). Черновая рукопись заключена в обложку-документ под заглавием: «Подписной лист пожертвований на покрытие расходов по Вятскому подвижному государственному ополчению»; на обложке надпись неизвестной рукой: «Черновая переписанной повести «Брусин» 1849 г.». Беловая рукопись (первая из двух имеющихся), с которой повесть публиковалась в «Вестнике Европы» (1890, кн. 5), имеет ту примечательную особенность, что ее титульный лист исполнен типографским способом и гласит: «Брусин. Рассказ М. Е. Салтыкова. 1849 год». Шрифт печатного текста — тот же, что и «Вятских губернских ведомостей». Очевидно, Салтыков, в чьем ведении, как советника губернского правления, находилась губернская типография в Вятке, попросил там изготовить титульную страницу для своей рукописи. Вторая беловая редакция «Брусина», подписанная инициалами «М. С.», по которой повесть напечатана ныне в Полн. собр. соч. (Щедрин, I), датируется И. В. Яковлевым 1856 г., по сходству с рукописью рассказа «Прошлые времена».

<sup>69</sup> См., напр., Н. Мещеряков. Начало литературной деятельности Щедрина (Щедрин, I, 74).

<sup>70</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, т. X, стр. 411—412 («Взгляд на русскую литературу 1846 года»).

<sup>71</sup> В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 18, стр. 14. («Памяти Герцена»).

<sup>72</sup> В. Арнонсон. «Конрад Валленрод» и «Полтава». К вопросу о Пушкине и московских любомудрах 20—30-х годов («Временник Пушкинской комиссии». М.—Л., 1936, т. II, стр. 49—50).

<sup>73</sup> Марко Вовчок. Живая душа, СПб., 1868, стр. 275—276.

<sup>74</sup> Письмо Ф. Н. Львова к Д. И. Завашилину из Иркутска от 4 августа <б. г.> («Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина», Десятая часть. М., 1902, стр. 246).

<sup>75</sup> Щедрин, XVIII, 323—324, 360; Л. Пантелеев. Из воспоминаний прошлого. 1908, т. II, стр. 192 сл.

<sup>76</sup> И начало биографии Беккариа и заметки «Об идее права» были написаны, по свидетельству Арсеньева, на бланке советника вятского губернского правления, что определяет датировку этих текстов не ранее 1850 г. Арсеньев. Материалы, 48—52.

<sup>77</sup> «Литературное наследство», т. 13—14, М., 1934, стр. 526.

<sup>78</sup> Арсеньев. Материалы, 51. Цитата из Токвиля представляет несколько сокращенный перевод абзаца оригинального текста, начинающегося словами: «Un pouvoir central...» («De la Démocratie en Amérique par Alexis de Tocqueville, avocat de la cour royale de Paris, l'un des auteurs du livre intitulé «Du système pénitentiaire aux Etats-Unis», seconde édition. Tome premier. Paris, Librairie de Charles Gosselin 1835, pp. 15—151.

Цитата из Вивьена представляет собою краткое резюме (сделанное Салтыковым) обширного абзаца его книги, начинающегося словами: «La centralisation administrative a eu des consequences très dommageables pour le pays» («Études administratives» par Vivien, membre de l'Institut, 3-me édition, tome II, Paris, 1859, pp. 14—16 (первое издание книги, которой пользовался Салтыков, вышло в начале 1853 г.).

<sup>79</sup> Письма, XVIII, 392 (прим.).

<sup>80</sup> Лависс и Рамбо. История XIX века. Перевод с франц., изд. 2-е, под ред. акад. Е. В. Тарле; М., 1938, т. VI, стр. 445.

<sup>81</sup> П. Лепешинский. Письма Щедрина за период 1839—1876 гг. (Щедрин, XVIII, 5—6).

<sup>82</sup> К. М. Салтыков. Интимный Щедрин, М.—П., 1923, стр. 3. Здесь же автор указывает, что рукопись «Краткой истории России» находилась в руках его сестры, дочери сатирика, Елизаветы Михайловны. Последняя же еще до Октябрьской революции переселилась за границу. Находясь в 1945 г. с войсками Красной Армии в Австрии, я имел возможность слышать в Вене от лица, хорошо знавшего Елизавету Михайловну и часто посещавшего ее в 20-х гг. (она жила в предместье Ниццы, где содержала пансион), что она сохраняла до самой своей смерти, последовавшей в 1927

или 1928 г., «значительное количество» рукописей сатирика: Среди них находилась будто бы и рукопись «Краткой истории России».

<sup>83</sup> Кривенко, 27.

<sup>84</sup> «Запись беседы Салтыкова с М. И. Семеvским» («Литературное наследство», т. 13—14, стр. 525).

<sup>85</sup> «Солнце России», П., № 219 (16) от 16 апреля 1914 г.

<sup>86</sup> Спасская, 107—108.

<sup>87</sup> Спасская, 77. И еще: «Сам Мих. Евгр. не любил «Залутанного дела» (там же).

<sup>88</sup> Письмо М. В. Буташевича-Петрашевского к сестре Александре Васильевне от 11 мая 1856 г. («Звенья», т. II, стр. 312).

<sup>89</sup> ИРЛИ—Ф. 366, оп. 12, № 352: Письмо О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от 6 июня 1848 г.

<sup>90</sup> Там же: Письмо Е. В. Салтыкова к Д. Е. Салтыкову от 15 августа 1848 г. К письму приписка О. М. Салтыковой: «Сей же почтою посылается прошение об Мише государю. Адрес ты не прислал, как делать государю. Надо ли или нет писать в собственные руки? Мы не решились... Папенька твой этим ужасно огорчен, он уже так ветх, что совершенно отстал ото всего...» Через две недели Е. В. Салтыков напоминал Дмитрию Евграфовичу о «прошении» и посылал новые инструкции. В письме от 3 сентября 1848 г. он писал сыну: «Прощение к царю по твоему проекту послали 15 августа, о чем и тебя тогда же уведомили, теперь же ради бога прошу тебя, постарайся чрез знакомых своих найти случай к графу Орлову, коего любит царь и для него все сделает. Я думаю, почтенный генерал Дризен, знакомый и товарищ твоего покойного тестя, должен быть знаком Орлову, то нельзя ли его попросить, или кого другого чрез Ваших знакомых попросить...» (ИРЛИ—Ф. 366, оп. 12, № 352, л. 35).

<sup>91</sup> ЦГВИА (М) — Ф. 1, оп. 1, д. № 41/18176—1848 г.: «Об увольнении от службы помощника секретаря титул. сов. Салтыкова и о назначении на его место состоящего при канцелярии тит. сов. Григорьева». Ср. «Русский библиофил», 1915, кн. 8, стр. 73—79.

<sup>92</sup> Дополнительный материал к истории первого ходатайства находим еще в письме О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от 3 сентября 1848 г.: «Но если ты не можешь бьвши там <в Петербурге> никакого средства найти к спасению брата, то мы уже решительно, по отдаленности нашей и по слабости здоровья лет наших, ничего не в силах сделать. И рады бы душой, но в деревне никакого средства не имеем. Нам было советовали просить через графа Орлова, якобы это вернее и скорее, что тут <в комиссии прошений>, немудрено, не скоро долóжится, но мы на это решительно не могли <пойти>, а сделали по твоему совету все, только остановились на адресе написать в собственные руки.

Сего поопасились, а то все сделано, как должно: надпись прямо к государю. Миша пишет, что из Вятки едет один чиновник <управляющий палатой государственных имуществ> в Петербург на короткое время, который будто коротко знаком с кн. Голицыным, статс-секретарем в Комиссии прошений. И он <Салтыков> пишет, если наше прошение будет <в Комиссии> около 20 сентября, то он уверен, что г. Игнатъев возьмет на себя труд сказать за него несколько слов кн. Голицыну. Мы ему <Салтыкову> не писали, что просьба уже подана, но теперь я ему пишу о сем; он было писал, чтобы ее подать к свадьбе вел. князя Константина Николаевича, но уже как все это сделано, то теперь только предстоит нам богу молиться...» Тут же приписка Евграфа Васильевича: «Прощение к царю по твоему проекту послал 15 августа, о чем и тебя тогда же уведомили. Теперь же, ради бога, прошу тебя постараться через знакомых своих найти случай к графу Орлову, коего любит царь и все для него сделает...» (ИРЛИ—Ф. 366, оп. 12, № 352),

<sup>93</sup> ЦГВИА (Л)—Ф. Департамент полиции исполнительной, д. № 737, 1848, л. 15.

<sup>94</sup> ЦГВИА (М)—Ф. 1, оп. 1, д. № 41/18176—1848 г., «Об увольнении от службы... М. Салтыкова», лл. 29—29 об., 31 об. — 32 и 33—33 об. (ср. «Русский библиофил», 1915, кн. 8, стр. 79—80); ЦГИА (М) Ф. III Отд., I эксп., № 169, 1848 г.: «Об отправлении титул. сов. Салтыкова на службу в Вятку», лл. 16—17; ЦГИА (Л)—Ф. № 1412 («Учреждения по принятию прошений на высочайшее имя приносимых» и «всеподданнейшие доклады»), книга 760 за 1849 г. «Всеподданнейший доклад статс-секретаря кн. Александра Голицына от 14 мая 1849 г. по прошению коллежского советника Евграфа и жены его Ольги Салтыковых о всемилостивейшем прощении и разрешении их сыну Михаилу, находящемуся на службе в г. Вятке, продолжать службу в С.-Петербургской губернии, с изложением причин ссылки Салтыкова и отзыва вятского гражданского губернатора о его поведении» (здесь находятся: доклад, представленный на рассмотрение наследнику, и этот же доклад, переписанный заново, представленный 26 мая 1849 г. Николаю I).

<sup>95</sup> «Представление начальника Вятской губернии министру внутренних дел по просьбе чиновника Салтыкова об увольнении его в отпуск на 4 месяца». По канцелярии № 271 15 марта 1849 г. в г. Вятке. На подлинном пометка: «По департаменту полиции исполнительной. Отд. II, стол 2-й». Приводится по тексту копии, снятой с подлинника в 1914 г. Д. В. Фаворским.

<sup>96</sup> ИРЛИ—Ф. 366, оп. 9, № 133: Письмо О. М. Салтыковой Д. Е. Салтыкову от 14 апреля 1850 г.

<sup>97</sup> ЦГИА (Л)—Ф. 1412, д. № 762, 1850, л. 270: «Всеподданней-

ший доклад статс-секретаря князя Александра Голицына от 10 июня 1850 г. по прошению жены коллежского советника Ольги Салтыковой о всемилостивейшем прощении ее сына и разрешении ему продолжать службу в Петербурге...» Приложены: справка о всеподданнейшем докладе по прошению от марта месяца 1849 г. (о прошении, поданном в августе 1848 г., упоминаний нет) и отзыв вятского гражданского губернатора Середы, подтвердившего свою прежнюю характеристику 1849 г. с добавлением, что Салтыкову «по отличным способностям, с большой пользой для службы, постоянно поручаются занятия по делам особенной важности». Сверху залакированная резолюция Николая I «рано» и надпись рукою Голицына: «Собственноручно его императорским величеством карандашом написано «рано», 11 июня 1850 г.». Внизу: «Просительница извещена 13 июня 1850 г.». См. также «Русское слово», № 97 от 27 марта 1914 г.: Письмо А. Голицына губернатору А. Середе с просьбой сообщить «сведения о настоящем образе мыслей, службе и поведении» Салтыкова.

<sup>98</sup> Ц Г И А (М) — Ф. III Отд., 1 эксп., № 185—1850 г.: «О милостях по случаю 25-летия царствования государя императора Николая Павловича: Часть 3-я. Донесения и списки о лицах, находящихся в губерниях: Астраханской, Олонецкой, Вологодской, Пермской и Вятской», л. 193. Донесение Середы (лл. 163—214) представляет интерес и в том отношении, что позволяет установить точный список ссыльных и поднадзорных лиц в Вятке и Вятской губернии в период пребывания там Салтыкова.

<sup>99</sup> Ц Г И А (Л) — Ф. Департамента полиции исполнительной, д. № 737, 1848 г.: «По отношению г. военного министра о высылке тит. сов. Салтыкова на службу в Вятку», лл. 40—41 об. Цитированный ответ Ланскому от 8 августа 1851 г. за № 940 подписан товарищем управляющего I отд. собств. е. и. в. канцелярии А. И. Ковальковым. Очевидно, что «всеподданнейшая записка» Ланского представлялась царю не лично, а через I отделение. Ср. «Русская старина», 1909, кн. 10, стр. 113—115; Щедрин, XVIII, 85—86.

<sup>100</sup> И Р Л И — Ф. 366: Письмо О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от августа 1851 г.

<sup>101</sup> Ц Г И А (М) — Ф. III Отд., 1 эксп., д. № 169, 1848 г.: «Об отпущении тит. сов. Салтыкова на службу в Вятку», л. 25 (подлинник письма О. М. Салтыковой наследнику, попав в IЦ Отделение, так и остался в его делах).

<sup>102</sup> Ц Г И А (Л) — Ф. Департамента полиции исполнительной, д. № 737, 1848 г.: «По отношению г. военного министра о высылке т. с. Салтыкова на службу в Вятку», лл. 45—45 об. В деле имеется письмо и. д. военного министра кн. Долгорукова министру шутрен-

них дел Бибикову от 28 сентября 1851 г., в котором он сообщает, что начальник III Отделения Дубельт переслал ему просьбу О. М. Салтыковой, доставленную Дубельту гофмаршалом Олсуфьевым по приказанию наследника, и что поскольку Салтыков служит в ведомстве министерства внутренних дел, то просьбу о нем он и пересылает сюда.

<sup>103</sup> Письмо это до сих пор не было известно. Привожу его текст:

Милостивый государь Николай Алексеевич!

Я бы никогда не позволил себе утруждать вас покорнейшею моею просьбою, ежели бы снисходительность ваша не давала мне некоторой надежды, что вы и на этот раз не откажетесь принять участие в судьбе моей. По распоряжению Хозяйственного департамента возложено на меня составление инвентарных описаний городов Вятской губернии; между тем почти в то же время я назначен советником здешнего губернского правления. Это последнее назначение и сопряженные с ним занятия до сих пор лишали меня всякой возможности с успехом заняться возложенным на меня поручением.

К этому присоединились еще и неприязненные отношения к мне вновь назначенного вице-губернатора, которые делают совершенно непереносным мое и без того уже тяжелое положение и которые заставляют меня опасаться, что дальнейшая служба в Губернском правлении поведет лишь к окончательному расстройству моей служебной будущности. Все это вынуждает меня оставить занимаемую мною должность советника, но так как, по домашним моим обстоятельствам, мне было бы крайне тягостно оставаться без службы, то я принимаю смелость просить вашего обязательного содействия о причислении меня к Министерству, с откомандированием в Вятскую губернию для инвентарного описания городов и с назначением мне содержания из городских сумм или же об оставлении меня советником с увольнением от занятий по этой должности и поручением исследований по городскому хозяйству. Но не решаясь до времени дать этим предположениям официальный ход, не имея предварительно вашего одобрения, я имею честь убедительнейше просить вас, милостивый государь, ежели не лично, то, по крайней мере, через Владимира Алексеевича <Милютина> передать мне ваше мнение по этому предмету.

Я надеюсь, что Владимир Алексеевич, по старой памяти обо мне, не откажется принять участие в этом деле.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностью имею честь быть вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою

Вятка  
27 октября 1851 года.

Михаил Салтыков  
(Ц Г И А (Л)—Ф. 869, Милютина, ед. хр. 1055, лл. 1—2).

<sup>104</sup> Щедрин, XVIII, 89; ИРЛИ—Ф. 366: Письмо О. М. Салтыковой Д. Е. Салтыкову от 18 ноября 1851 г.

<sup>105</sup> ЦГИА (М) — Ф. III Отд., 1 эксп., № 169, 1848 г.: «Об отпращивании тит. сов. Салтыкова на службу в Вятку», л. 28.

<sup>106</sup> Генерал-майор барон П. А. Вревский занимал (с 3 ноября 1848 г.) пост директора Канцелярии военного министерства (а ранее, в годы службы Салтыкова в Канцелярии, был начальником I отделения); А. А. Пейкер — производитель дел Военно-походной императорской канцелярии. Оба были лично известны Николаю I и пользовались его доверием. Того и другого Салтыков относил в письме к брату от 15 июля 1850 г. к «лицам, которые меня знают» и могут иметь в его деле «влияние» (XVIII, 56). Однако, обращаясь к самому Вревскому 15 декабря 1851 г., Салтыков писал ему: «Не имея счастья быть лично известным Вашему превосходительству, но зная всегдашнее великодушие Вашего сердца...» и т. д. (Щедрин, XVIII, 92).

<sup>107</sup> КОГИА (Кир.) — Ф. Канцелярии вятского гражданского губернатора. Отношение департамента полиции исполнительной министерства внутренних дел от 15 января 1851 г. № 191: «Об объявлении на просьбу».

<sup>108</sup> Белоголовый, 233.

<sup>109</sup> КОГИА (Кир.) — Ф. Канцелярии вятского гражданского губернатора: Прошение Салтыкова об отпуске для «устройства домашних дел» от 20 декабря с резолюцией Семенова («Представить министру с прописанием сего прошения и с моим заключением, что в настоящее время к увольнению Салтыкова в отпуск я препятствий не нахожу»); ЦГИА (М) — Ф. III Отд., 1 эксп., № 169, 1848 г.: «Об отпращивании титулярного советника Салтыкова на службу в Вятку», лл. 31—34 (переписка по ходатайству губернатора Семенова об отпуске Салтыкову между министрами военным и внутренних дел и начальником III Отд.); Щедрин, XVIII, 101.

<sup>110</sup> Щедрин, XVIII, 101—106; «Русское слово», № 97, от 27 апреля 1914 г.; В. Алексеев. Салтыков в Вятке («Исторический вестник», 1907, кн. 11, стр. 607); Вл. Емельянов. Ссылка Салтыкова в Вятку и его освобождение. 1848—1856 («Русская старина», 1909, кн. 10, стр. 117).

<sup>111</sup> ЦГИА (М) Ф. III Отд., 1 эксп. № 169, 1848 г.: «Об отпращивании титулярного советника Салтыкова на службу в Вятку», л. 35; «Русское слово», № 97, от 27 апреля 1914 г.: М. Лемке. К биографии М. Е. Салтыкова («Русская мысль», 1906, кн. 1, стр. 36).

<sup>112</sup> П. Боборыкин. За полвека (Мои воспоминания). Ред., предисл. и примеч. Б. Козьмина, ЗИФ, М. — Л., 1929, стр. 76.

<sup>113</sup> Поездка для свидания с матерью и невестой, а также ее ро-

дителями была вызвана необходимостью привести в ясность материально-имущественные дела и условиться насчет предстоящей свадьбы. Салтыков выехал из Вятки 19 июля 1855 г., а вернулся около 15 августа (Щедрин, XVIII, 115—116). Увольнение в отпуск в другие губернии чиновника, находящегося под надзором полиции, санкцией одного губернатора было делом формально незаконным. Жандармские власти в Казани (здесь была резиденция начальника 7-го округа корпуса жандармов, в этот округ входила Вятка) не упустили, хотя и с опозданием, донести об этом в Петербург, управляющему III Отделением Дубельту. Но никаких видимых последствий рапорт генерал-лейтенанта Львова не имел. См. этот рапорт Ц Г В И А (М)—Ф. III Отд., 1 эксп., № 169, 1848 г.: «Об отправлении тит. сов. Салтыкова на службу в Вятку», л. 39.

<sup>114</sup> В Ярославское ополчение вступил брат Салтыкова Николай.

<sup>115</sup> И Р Л И — Ф. 366, оп. 9, № 136: Письмо О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от 3 сентября 1855 г.

<sup>116</sup> М. В. Буташевич-Петрашевский. Письма из ссылки. Вступ. статья и коммент. С. Щегловой (Письмо к сестре Александре Васильевне от 19 мая 1856 г.). — «Звенья», т. II, стр. 317.

<sup>117</sup> И Р Л И — Ф. 366, оп. 9, № 136: Письмо О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от 2 ноября 1855 г.

<sup>118</sup> Спасская. 98 и 113—118.

<sup>119</sup> И Р Л И — Ф. 366, оп. 9, 136: Письмо О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от 26 октября 1855 г. В письме от 16 ноября 1855 г. к тому же адресату Ольга Михайловна сообщала: «О Мише я тебе писала, что принимает в нем большое участие двоюродный брат министра, флигель-адъютант Ланской. И писал о нем и просил министра. Миша прислал мне копию сего письма. Я с будущею почтою пришлю тебе копию с них <?> для показания <Тизенгаузену>. Мише же напишу о чем ты мне пишешь, чтобы он имел терпение и не спешил бы» (там же).

<sup>120</sup> КО Г И А (Кир.) — Ф. Канцелярии губернатора. Ср. также «Труды Вятской ученой архивной комиссии», вып. V—VI, 1905, стр. 238—239.

<sup>121</sup> Ц Г И А (М) — Ф. III Отд., 1 эксп., № 169, 1848 г.: «Об отправлении титулярного советника Салтыкова на службу в Вятку», л. 40.

<sup>122</sup> КО Г И А (Кир.) — Ф. Губернского правления, д. № 241 за 1854—1855 гг., л. 11; И Р Л И — Ф. 366, оп. 5, № 1, «Дело о назначении на жительство в Вятку М. Е. Салтыкова», № 7 (35) 1848 г. (по 3-му столу канц. вятского гражд. губернатора), лл. 45—46.

<sup>123</sup> Само следственное дело занимало, собственно, семь томов, восьмой том содержал «приложения». Переписка вятского губернатора с петербургскими властями об этом «деле», сданном Салтыко-



вым 8 декабря 1855 г., тянулась еще три года. Оно пролежало в канцелярии губернатора до 18 декабря 1858 г., когда было отослано в министерство внутренних дел в Петербург и потом, повидимому, передано на хранение в Москву. Однако мои попытки отыскать «дело» в Ц Г И А и Ц Г А Д А (в частности, в фондах VI департамента Сената, где сосредоточивались дела по расколу) не увенчались успехом.

<sup>124</sup> И Р Л И — Ф. 366, оп. 9, № 136: Письмо О. М. Салтыковой к Д. Е. Салтыкову от 10 мая 1856 г.

<sup>125</sup> Л. Пантелеев. Из воспоминаний прошлого. СПб., 1908, т. II, стр. 151.

<sup>126</sup> Н. Белоголовый. 232.

<sup>127</sup> См. описание этого праздника в неофиц. части «Вятских губернских ведомостей», 1858, № 23; 1859, № 23 и др.

<sup>128</sup> Г П Б — К-1, № 17/1 А. И. Артемьев. Дневники и воспоминания, л. 9 об.

<sup>129</sup> Н. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. III, стр. 120.

<sup>130</sup> М. Горький. О литературе. М., 1935, стр. 236—237.

<sup>131</sup> А. Герцен. «Былое и думы». М.—Л., 1931, т. I, стр. 203.

<sup>132</sup> М. Горький. История русской литературы, М., 1939, стр. 270.

<sup>133</sup> Вас. Гиппиус. Творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина — в издании: «М. Е. Салтыков-Щедрин. К пятидесятилетию со дня смерти», изд-во «Советский писатель», Л., 1939, стр. 26—28.

<sup>134</sup> Н. Добролюбов. Сочинения, т. II, М., 1935, стр. 381 и 661 (ст. «Забитые люди» — о Достоевском).

<sup>135</sup> И. Г. Прыжов. Очерки, статьи и письма. Ред. М. Альтмана, «Academia», М. — Л., 1934, стр. 12.

<sup>136</sup> «Труды Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. III, «Academia», М.—Л., 1934, стр. 73: Письмо П. В. Анненкова к И. С. Тургеневу от 16 ноября 1857 года.



## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- А. Н., криптоним П. Н. Кудрявцева — 509.  
Абрамов М. — 19.  
Абрамова (рожд. Салтыкова) Е. В. — 19, 78.  
Авенариус А. П. — 183, 504, 517.  
Аврелий Виктор — 105.  
Агафонов Н. Я. — 549.  
Адлерберг В. Ф., гр. — 537.  
Аксаков И. С. — 550.  
Аксаков С. Т. — 78, 89.  
Александр I — 21—22, 25, 308, 488, 489, 546.  
Александр II — 445, 449, 460, 470.  
Александр III — 280.  
Александров А. — 544.  
Александровский М. — 219.  
Алексеев В. — 561.  
Алексей Михайлович, царь — 14, 487.  
Алфеевский, вятский литератор — 308, 546.  
Альминский П., псевд. А. И. Пальма — 172, 225.  
Амфитеатров А. В. — 403, 554.  
Андреев, полковн. — 324—326.  
Андреевский Н. Е. — 183, 504.  
Анна Иоанновна, имп. — 16.  
Анненков, Н. Н., ген.-ад. — 291, 295, 512, 540.  
Анненков, П. В. — 32, 141, 185, 218, 219, 230, 360, 481, 504, 509,  
531, 563.  
Антонелли П. Д. — 206, 208, 214, 320, 529.  
Анфанген 'Б.-П. — 525.  
Алухтин П. — 504.

- Аракчеев А. А., гр. — 22, 489.  
Аронсон В. — 556.  
Арсеньев Д., ген.-майор — 492.  
Арсеньев К. К. — 5, 46, 49, 136, 159, 219, 256—257, 338, 346, 401, 426, 429—431, 433, 485, 503, 505—509, 545, 556.  
Артемов А. И. — 369, 374, 474, 551, 563.  
Архидиаконский М. Е. — 108—109.  
Ахшарумов В. Д. — 184, 504.  
Ахшарумов Д. Д. — 172, 197.  
Ахшарумов Н. Д. — 184—185.
- Байер, препод. зоологии в лицее — 129.  
Байрон Джордж — 150, 152, 507, 508.  
Бакунин А. П. — 467.  
Бакунин М. А. — 103.  
Баласогло А. П. — 186—187, 195—196, 200, 208, 322, 520.  
Баранов В. Я. — 79.  
Барановский А. Н. — 195—196, 198—199, 208, 212, 322, 520, 528—529.  
Барановский Е. И. — 553.  
Барановы Я. В. и Я. В. — 79.  
Барант Э. Г. — 294.  
Баратынский Е. А. — 97.  
Баршев С. И., проф. Московского университета — 61.  
Баршев Я. И., проф. Петербургского университета и Александровского лицея — 132—134, 502.  
Бауэр Бруно — 211.  
Бегень, лицейский надзиратель — 122.  
Безобразов, В. П. — 97, 111, 140, 176, 440, 512.  
Бекетов П. П. — 529.  
Беккариа Чезаре — 337, 426—427, 429, 438, 556.  
Беккер К. Ф. — 260, 262, 535.  
Беклемишев — 460.  
Белинский В. Г. — 8—9, 54, 103, 107, 118, 131—134, 144, 153—154, 157—159, 174, 184, 187—188, 191—194, 209, 211, 215, 217, 219—222, 225, 230, 233, 235—241, 245—259, 262, 264—265, 267, 269—273, 277, 285—286, 301—302, 334, 357, 408, 411, 416, 433, 441, 477, 482, 498, 502—503, 505, 508—509, 519, 523, 528—529, 531—536, 538—539, 555.  
Беллини Винченцо — 182.  
Беллюстин И. С. — 28—29, 79, 491, 493.  
Белоголовый Н. А. — 30, 55, 68, 75, 111, 114—115, 150, 199, 297, 380, 402, 404, 461, 472, 485, 491, 493—494, 496, 505, 543, 546, 553, 561, 563.

- Бельзовский П. С. — 502.  
Бенедиктов В. Г. — 150—151.  
Бенкендорф, флигель-адъютант, полковник, гр. — 536.  
Бенкондорф А. Х., гр. — 316, 536—537.  
Берви В. В. (Флеровский Н.) — 274, 537.  
Бердяев А., петрашевец — 321—322, 519.  
Бернет, псевд. А. К. Жуковского — 146, 148.  
Бестужев (Марлинский) А. А. — 298.  
Бибииков А. В. — 174, 504, 511.  
Бибииков Д. Г. — 314, 353, 355—356, 370—371, 445, 462, 464—465, 468, 481, 560.  
Бибииков П. С. — 141, 174, 504, 511.  
Благовещенский, посетитель «пятниц» Петрашевского — 206, 325.  
Благосветлов Г. Е. — 274.  
Блан Луи — 192, 223, 239, 525, 528.  
Блюм — 519.  
Бломин И. Г. — 218, 531—532.  
Боборыкин П. Д. — 465, 561.  
Бобринский А. А. — 486.  
Бобринский А. П., гр. — 138, 175—176, 182, 504.  
Бодиско — 174, 511.  
Бодрецов, крепостной Салтыковых — 42.  
Болтин А. П. — 367, 391—392, 394, 400, 465.  
Болтина, жена А. П. Болтина — 392, 400, 465.  
Болтина А. А. — 356, 395, 401, 431.  
Болтина (в замуж. Салтыкова) Е. А. — 356, 391, 393—395, 397, 400—402, 431, 465—466, 471, 494.  
Большакины, крепостные Салтыковых — 45.  
Бомон Гюстав — 326, 329, 527.  
Боткин В. П. — 107, 222, 225, 259, 267, 269, 509, 524, 528, 536, 538—539.  
Боткин С. П. — 402.  
Браун, препод. англ. яз. в лицее — 129.  
Бродский Н. Л. — 498.  
Броневский Д. В. — 160, 169, 502.  
Брунст — 148.  
Брюн де Сент-Катрин К. П., мать А. Я. Салтыковой — 543.  
Булгарин Ф. В. — 108, 144, 157, 278, 288—289, 539.  
Бурачок С. О. — 144, 146.  
Бурнашова, помещица, родств. Салтыковых — 79.  
Буташевич-Петрашевская А. В. — 557, 562.  
Буташевич-Петрашевский М. В. — 7, 129, 141, 159—166, 169, 174, 184—185, 188, 192, 194—200, 202—209, 212—217, 221, 223—224,

239—241, 245—247, 249, 255, 270, 274, 286, 301, 305, 319, 320,  
322—326, 329—332, 420—421, 424, 442, 457, 460, 467, 478,  
509—510, 518—521, 523, 526—527, 529—530, 535, 547, 557, 562.

Буткевич А. А. — 53.

Бутков Я. П. — 231.

Бутовский А. И. — 218, 225, 289, 522.

Бутурлин Д. П. — 279.

Бухгейм Л. Э. — 529.

Бухштаб Б. Я. — 551, 553.

Бырдин Д. А. — 369.

Василевская А. П. — 73, 75—76.

Василий Иванович, учитель детей Салтыковых — 76.

Вахромеев А. — 492.

Введенский И. И. — 274.

Веймарн А. Ф., сенатор — 311.

Величко И. Н. — 504.

Вельтман А. Ф. — 110.

Венгеров С. А. — 12, 74, 217, 258, 496, 502, 507, 532, 533, 536, 555.

Веневитинов Д. Н. — 418—419.

Вершинский А. Н. — 40, 485, 487, 492.

Веселовский Алексей Н. — 106—107, 130, 495, 499.

Веселовский К. С. — 130, 134, 136, 278, 285—287, 501, 503, 538—539.

Виардо Луи — 526—527.

Виардо Полина — 181, 517.

Вивьен Этьен — 429—431, 527, 556.

Видаль Франсуа — 228—229, 239, 424, 524—525, 527, 532.

Висковатов М. А. — 213, 217.

Витберг А. Л. — 308.

Воейков Д. С. — 19.

Воейков П. А. — 458.

Войкова (рожд. Салтыкова О. В.) — 19.

Волков, петербургский домовладелец — 512.

Волков А. — 314, 370—371, 481.

Волконская Ф., кн. — 492.

Волконские, кн. — 42.

Вольф А. И. — 553.

Востоков А. X. — 503.

Вревский П. А., бар. — 453, 459, 514, 561.

Вяземский П. А. — 97, 147, 153, 273.

Гагарин А. А. — 444.

Гаевский В. П. — 140, 146.

- Ганс Эдуард. — 134.  
Гастев М. — 108.  
Гвоздев А. А. — 280, 445.  
Гедеонов М. А. — 288—289, 539.  
Гедике Г. К. и К. К., гувернантки Салтыковых — 73, 495.  
Гейден П. А., гр. — 94.  
Гейне Генрих — 112, 150, 152, 254, 505, 508.  
Георгиевский П. Е. — 131, 502, 503.  
Герард, петербургские домовладельцы — 175.  
Гернет М. Н. — 547.  
Герцен А. И. — 8, 96, 98, 119, 137, 141, 144, 146, 166, 171, 174, 188,  
191, 194, 211, 241, 245—249, 255, 265, 275, 279—280, 285, 292, 298,  
307, 310, 317, 333, 339, 357, 380, 403, 420, 460, 475, 478, 482,  
501, 504—505, 510, 518—519, 521, 523, 533—534, 537—538, 555,  
563.  
Гете Иоганн-Волфганг — 184.  
Гизо Франсуа — 192.  
Гиляровский К. — 28, 491.  
Гиппиус В. В. — 301, 415, 476, 545, 563.  
Глоба А. — 554.  
Гоголь Н. В. — 131, 144, 157, 158, 173, 187, 191, 235—236, 238, 255,  
265, 271, 273, 311, 334, 364, 378, 385, 420, 475, 479.  
Голицын А. Ф., кн. — 446, 449—450, 452, 558—559.  
Головачева А. Я. — см. Панаева-Головачева А. Я.  
Гольтгоер Ф. Г. — 116—117, 121—122, 502.  
Гольцев В. В. — 369.  
Гомер — 260—262.  
Гончаров И. А. — 255—256, 493, 509.  
Гончарова Н. Н. — см. Пушкина (рожд. Гончарова, во втором  
браке Ланская) Н. Н.  
Горишнев, петербургский домовладелец — 512.  
Горький А. М. — 3—4, 11, 386, 396, 475, 486, 553, 563.  
Грановская (рожд. Мюльгаузен) Е. Б. — 479.  
Грановский Т. Н. — 99, 119, 141—142, 250, 264, 479, 509.  
Греч Н. И. — 107, 132, 503.  
Гржебин, изд. — 554.  
Грибоедов А. С. — 97, 110, 113, 385.  
Григорович Д. В. — 225, 255, 264.  
Григорьев, тит. сов. — 513, 540, 544, 557.  
Григорьев А. А. — 172—173, 196, 324, 325, 511.  
Григорьев Л., крепостной художник — 51.  
Гринвальд А. Я. — 175, 294, 442.  
Гроздов Ф. В. — 148, 164, 502—503.

Грозевский Б. В. — 43.  
Грот Я. К. — 131, 279, 502, 510, 537.  
Губер Э. И. — 150.  
Гуго Густав — 133.  
Гуднин И. — 346—347.  
Гурьянов В. П. — 504.  
Гусев Н. Н. — 532.  
Гущин А. Д. — 183.  
Гюго Виктор — 112, 152, 508.

Даламбер Жан — 25.  
Даль В. И. — 456.  
Данилевский Г. П. — 103—106, 109—112, 498—499.  
Данилевский Н. Я. — 141, 184, 196, 200, 204, 223, 324, 325, 528.  
Данилов Н. — 512.  
Дегай П. И. — 279, 284—285, 287—289, 291, 535.  
Дельвиг А. И. — 185, 518.  
Державин Г. Р. — 110, 131.  
Джаншиев Г. А. — 509.  
Дидро Дени — 25.  
Дикарев И. А. — 492.  
Диккенс Чарльз — 78.  
Динцес Л. А. — 552.  
Дмитриев И. И. — 110, 497, 498.  
Добролюбов Н. А. — 3, 8, 193, 219—220, 251, 275—276, 442, 474,  
477, 480—481, 519, 537—538, 563.  
Долгоруков В. А., кн. — 445, 459, 462, 464, 560.  
Долинин А. С. — 509, 529.  
Домна, крепостная крестьянка, кормилица М. Е. Салтыкова — 48.  
Досси, препод. франц. яз. в лицее — 129.  
Достоевский Ф. М. — 46, 172, 195, 216—217, 221, 265, 267, 298,  
364, 425, 493, 509, 520, 524, 529, 563.  
Дрейер Г. Г., фон, городничий в Сарапуле — 353, 373.  
Дружинин А. В. — 112, 183—185, 225, 255, 440, 517.  
Дружинин Н. М. — 548.  
Дубельт Л. В. — 278—279, 283—284, 288—289, 323, 331—332, 445,  
455, 459, 463, 469, 510, 560, 562.  
Дувинг, жандарм. офицер — 347, 549.  
Дуров С. Ф., петрашевец — 200.  
Дюкло Шарль — 20.

Евгеньев-Максимов В. Е. — 493.  
Евтропий — 105.



- Екатерина П. — 18, 104.  
Елисеев Г. З. — 83, 90, 331.  
Емельянов В. — 517, 561.  
Епифанова (в замуж. Скрипицына) Е. П. — 66, 491.  
Ермолаев Ф., крепостной Салтыковых — 45.  
Ермолаевы, крепостные Салтыковых — 45.  
Есаков Е. С. — 195—196, 198, 204, 212, 214, 324—325, 504, 520,  
528, 546.  
Жадимеровский, домовладелец в Петербурге — 176, 512, 540.  
Жданов В. В. — 510.  
Жемчужников А. М. — 146, 255.  
Живицкий, исправник — 372.  
Живокини В. И. — 111.  
Жилле Р. А. — 502.  
Жонио Сильвестр — 115—117.  
Жорж Санд (Занд) — 192, 241—242, \* 300, 526.  
Жуковский А. К. — 146, 148, см. еще Бернет.  
Жуковский В. А. — 97, 110, 113, 147, 153.  
Жулева Е. Н. — 181.  
Журавлев Н. — 80, 485, 491—493, 496.  
Забелин М. П. — 26, 49, 60, 95, 489—490, 497.  
Забелин П. Ф. — 489.  
Забелин С. М. — 490.  
Забелина О. М. — см. Салтыкова (рожд. Забелина) О. М.  
Заблоцкий-Десятковский А. П. — 539.  
Завалишин Д. И. — 420, 529, 556.  
Заславский Д. О. — 6.  
Засядко Д. А. — 141—142, 162, 166, 174, 326, 504, 511.  
Затворницкий Н. — 517.  
Заурядный читатель, псевд. — см. Скабичевский А. М.  
Захарьина Н. А. (Наташа — невеста Герцена) — 403.  
Земенков Б. С. — 101.  
Зернов Н. — 499.  
Зилова Л. Е. — 462.  
Зотов В. Р. — 7, 146, 149, 163, 184—185, 290, 295, 497, 505, 510,  
514, 518, 522, 540, 544.  
Зотов Р. М. — 288.  
Зубова (рожд. Салтыкова) О. И. — 30, 32, 68, 69, 97, 491.  
Зубовский П. — 249.  
Иван Грозный — 438.  
Иван Дашлов сын, предок Салтыкова — 43.

Иван Калита — 38.  
Иванов П. А. («Живоглот») — 373—375.  
Иванова А. — 79.  
Иванова А. П. («Живоглотиha») — 373.  
Иванов-Разумник Р. И. — 545, 549.  
Ивановский И. А. — 77, 134—135, 502, 522.  
Иванский Г. — 108.  
Игнатъев П. Н., ген.-ад. — 542, 558.  
Ижболдин, купец — 380.  
Изергин А. В. — 547.  
Иоанн Алексеевич, царь — 16, 487.  
Ионин Н. В. — 372, 377—378, 387, 441, 490.  
Ионина С. К. — 372, 377—378, 387, 441.  
Искандер — см. Герцен А. И.

Кабалеров, чиновник вятского губ. правления — 324, 326.  
Кабанис Жан-Пьер — 199, 239, 528.  
Кабэ Этъен — 192, 199, 200, 239.  
Кавелин К. Д. — 530—531.  
Кайданов И. К. — 77, 132, 502—503.  
Кайданов Н. И. — 196.  
Калайдович И. Ф. — 132, 503.  
Калаушин М. М. — 149, 505—507.  
Калашников В. И. — 504.  
Калигула — 129.  
Каменский Д. И. — 183.  
Канкрин В. Е. — 185, 272.  
Кантемир А. Д., кн. — 105.  
Каракозов Д. В. — 553.  
Карамзин Н. М. — 105, 433.  
Каратыгин В. А. — 181.  
Карнеев Я. А. — 539.  
Касперский И. Ф. — 489.  
Катков М. Н. — 425, 440.  
Кашкин Н. С. — 140, 195.  
Кельсиев В. И. — 357.  
Кестнер К. И. — 502.  
Кетчер Н. Х. — 107, 174, 272, 510—511, 537.  
Кириллов Н. С. — 216, 224.  
Кирпотин В. Я. — 6, 277, 302, 485, 538, 545.  
Киселев П. Д., гр. — 285, 339—340, 376, 453, 548.  
Кислицына Е. — 533.  
Кисловский С. В. — 493.

- Китаева М. И. — 489.  
Киттары М. Я., проф. — 339—340, 382—383, 548.  
Клейст, бар. — 122.  
Клеман М. Қ. — 509.  
Кобеко Д. Ф. — 501, 510.  
Кобылин, советник вятск. губ. правления — 547.  
Ковальков А. И. — 559.  
Коведяев Е. Н. — 183.  
Кожекин Л. Е. — 506—507.  
Козьмин Б. П. — 553, 561.  
Қолабийцев, штабс-капитан — 538—539.  
Қолтовский В. Н. — 184, 504.  
Қольцов А. В. — 221.  
Комаров А. С. — 153—154.  
Кони А. Ф. — 373, 551.  
Консидеран Виктор — 239, 261, 300, 518, 521—522.  
Константин Николаевич, вел. кн. — 468, 558.  
Константинов Вл. — 160.  
Конт Огюст — 221—223.  
Корнеев А. П. — 285.  
Корф М. А., бар. — 278—279, 502.  
Костливец С. А. — 310.  
Котомин — А. А. — 183.  
Кочурин, служитель в Дворянском институте — 100, 103—104.  
Қошанский Н. Ф. — 73, 77.  
Краевский А. А. — 144, 218, 258—259, 280, 283, 285, 538—539.  
Кранихфельд В. П. — 396, 407, 415, 438, 553.  
Краузе И. Ф. — 103, 114, 116.  
Кривенко С. Н. — 6, 49, 54, 211, 431—432, 485, 493, 495, 505, 529, 557.  
Кропоткин П. А. — 182, 460.  
Круковский В. Е. — 351, 375, 549.  
Крылов, цензор — 273, 539.  
Крылов А. Д. — 286—287.  
Крылов И. А. — 85, 105, 110.  
Крылов Л. — 487.  
Крылов Н. И., проф. Московского университета — 61.  
Крюков Д. Л. — 98, 108.  
Кудрявцев П. Н. — 479, 509 (см. еще: 1. А. Н.; 2. Нестроев).  
Кузен Виктор — 223.  
Кузьмин П. А. — 524.  
Кузнецов А. Н. — 375, 546, 551.  
Кукольник Н. В. — 7, 182, 184, 290—293, 467, 517, 519, 540, 541—543.

- Кульчинский П. Н. — 381.  
Кунщикова О. И. — 512.  
Купцов, служитель в Дворянском институте — 100, 103.  
Курбатов Д. М. — 47, 69, 493.  
Курган Тимофей (прозвище Тимофея Иванова сына Сатыкова, потом Салтыкова) — 13—16, 487.  
Курнанд И. А. — 502.  
Кюхельбекер В. К. — 123, 147, 170.
- Лависс Эрнест — 556.  
Лазаревский В. М. — 384, 441, 456.  
Ламакина, родств. Салтыковых — 79.  
Ламанский Е. И. — 134, 158.  
Ламбер де, гуверн. Салтыковых — 73, 495.  
Ламеннэ Фелисите — 526—527.  
Ланская Н. Н. — см. Пушкина (рожд. Гончарова, во втором браке Ланская) Н. Н.  
Ланской П. П. — 468—471, 562.  
Ланской С. С. — 445, 457, 465, 468, 469—470, 559.  
Ланская В. И. (ур. кн. Одоевская) — 470.  
Ланский Л. Р. — 537.  
Лебедев-Полянский П. И. — 485.  
Лемке М. К. — 278, 283, 501, 504, 519, 521, 533, 538, 541—543, 561.  
Ленин В. И. — 5, 45, 94, 191, 222, 236, 246—267, 250, 263, 271, 299, 309, 350, 358, 382, 436, 497—498, 519, 529, 532—534, 545—546, 549, 555, 563.  
Лелешинский П. Н. — 305, 407, 415, 485, 556.  
Лермонтов М. Ю. — 89, 97, 110, 112—113, 144, 150—152, 164, 185, 254, 294, 298, 385.  
Леру Пьер — 200, 239, 526.  
Ливен Х. А., гр. — 22.  
Липранди И. П. — 7, 208, 216, 518, 529.  
Литке И. И. — 488.  
Лобанов-Ростовский А. В., кн. — 138, 504.  
Лобачевский Н. И., проф. — 382—383, 553.  
Ломоносов М. В. — 105, 131, 499, 504.  
Лонгинов М. Н. — 146, 184—185, 225, 279, 518, 538, 540, 542.  
Лоу Джон — 526.  
Луи-Филипп, король французский — 192.  
Львов П. Ф. — 295.  
Львов Ф. Н. — 420, 460, 529, 556, 562.  
Любимова-Дороватовская В. С. — 217.  
Любомирский В. Е., кн. — 504.

- Людевиг К. К., фон. — 377.  
Люка (Lucas) Шарль — 527.  
Лясковский А. — 346, 546, 549.
- М. С., криптоним М. Е. Салтыкова — 265, 534.  
Мадерский А. Т. — 195—196, 322—323, 325, 520.  
Майков А. Н. — 74, 159, 213—214, 217, 529.  
Майков В. Н. — 7, 196, 200, 204—205, 208, 212—224, 228, 230—237,  
253, 258, 324—325, 523, 529, 531—532.  
Майковы, семья — 214.  
Макаров Г. И. — 372.  
Мальтус Томас — 225, 524.  
Малышев А. И. — 161, 163, 510.  
Мария Николаевна, вел. кн. — 468.  
Марко Вовчок, псевд. М. А. Маркович — 418—419, 556.  
Маркович М. А. — см. Марко Вовчок.  
Маркс Карл — 133—134, 199, 219, 223, 239, 242, 244, 394, 515, 519,  
523—525, 533.  
Марлинский, псевд. А. А. Бестужева — 298.  
Матавкин Т. Д. — 490.  
Марниц К. К. — 376.  
Махтин А. А. — 108.  
Медведев, служитель в Дворянском институте — 104.  
Межевич В. С. — 107, 108, 499.  
Мей Л. А. — 97, 146, 149, 255.  
Мельгунов Н. А. — 275, 537.  
Мельников П. И. (А. Печерский) — 353, 355, 360, 363, 364.  
Менюе (Menuet), гувернер в Царокосельском лицее — 498.  
Меншиков А. Д., кн. — 279—280, 286, 287, 290.  
Мерославский Людвиг — 515.  
Мертенс М. А., гувернер Салтыковых — 73, 495.  
Мехелин, цензор — 273, 539.  
Мещеринов А. — 499.  
Мещеряков Н. Л. — 6, 302, 415, 485, 545, 555.  
Миллер, полковник, инспектор в лицее — 502.  
Милюков, помещик — 78.  
Милютин В. А. — 135, 196, 198, 205, 212—219, 224—228, 230—235,  
255, 258—259, 268, 284—285, 289, 310, 322, 333, 445, 450, 520,  
522, 524, 529—532, 546, 560.  
Милютин Д. А. — 97, 288, 497, 529, 530.  
Милютин Н. А. — 97, 217, 285, 289, 310, 445, 458, 499, 539, 560.  
Миркович, ген.-лейт. — 516.  
Миролюбов М. — 492.

- Михаил Павлович, вел. кн. — 114, 117, 119, 121, 128, 130, 164, 500, 502.
- Михаил Федорович, царь — 15—16, 487.
- Михайло, репетитор М. Е. Салтыкова — 76.
- Михайлов И. — 379.
- Михайлов М. И. — 290, 295, 540, 544.
- Михайловский Н. К. — 49, 54, 493.
- Модзалевский Л. Б. — 550.
- Молдавская М. Н. — 376.
- Мольер Жан-Батист — 385.
- Момбелли Н. А. — 536.
- Монферран Огюст — 175.
- Мордовченко Н. И. 237, 532.
- Мосолов А. Л. — 340.
- Мочалов П. С. — 111, 555.
- Муравьев, владимирский вице-губернатор — 394.
- Муравьев, вятский губернатор — 379.
- Муравьев М. Н. — 379.
- Муравьев Н. Н. — 420, 460—461.
- Набоков И. А. — 291—292, 320.
- Набоков И. И. — 504.
- Навроцкий А. А. — 383—384.
- Надеждин Н. И. — 539.
- Настасья, крепостная Салтыковых — 60—61.
- Некрасов Н. А. — 8, 53, 94, 152, 162, 172, 185, 211, 217—218, 225, 230, 254, 255—256, 258—259, 265, 272, 275, 331, 385, 480, 493, 510, 524, 529, 531.
- Нелюбин А. — 504.
- Непанов М., псевд. М. Е. Салтыкова — 264.
- Непот Корнелий — 105.
- Нессельроде К. В., гр. — 27, 488, 490, 537.
- Нестроев, псевд. П. Н. Кудрявцева — 509.
- Нечаева Н. И. — см. Салтыкова (рожд. Нечаева) Н. И.
- Нехлюдов — 460.
- Никитенко А. В. — 136, 280, 503.
- Никифоров К., крепостной художник — 23.
- Николай I — 78, 97—99, 108, 119, 137, 174, 207, 271, 274, 277—279, 280, 283, 286, 289—290, 292—294, 298—299, 301, 306—307, 316, 320—321, 332, 334, 339, 356, 363, 370, 383, 428, 445—446, 450, 452—455, 457—458, 461, 464—465, 467, 476, 479, 498, 501, 511, 515, 536, 537, 558—559, 561.
- Нистрем — 497.

- Нифонтов А. С. — 278, 285, 538.  
Новиков П. И. — 104.  
Новоселов И. Я., священник — 28, 47.  
Новогруев К. П., проф. — 381.  
Норов А. С. — 444.
- Оболенский А. Ф. — 121—122, 502.  
Оболенский В. — 493.  
Огарев Н. П. — 141, 166, 357, 383, 510.  
Одоевский В. Ф., кн. — 97.  
Одоевские князья, владельцы Заозерья — 42.  
Озеров В. А. — 97.  
Озеров Н. А. — 375, 551.  
Олсуфьев В. Д., гофмаршал — 458, 560.  
Олива де, препод. немец. яз. в лицее — 502.  
Ольдекоп К. К. — 208.  
Ольденбургский П. Г., принц — 169, 502, 504, 511.  
Ореховы, крепостные Салтыковых — 45  
Орлов А. Ф. гр. 278—290, 292—295, 297, 331, 445, 449, 453, 458, 464,  
470, 537, 538, 542, 557—558.  
Орлов П. — 45.  
Орлов-Денисов М. В. гр. — 504.  
Осипов С., крепостной Салтыковых — 46.  
Островский А. Г. — 532.  
Островский А. Н. — 238, 532.  
Оуэн, Роберт — 239—240, 242.
- Павел I — 20—21, 377, 487.  
Павлов И. В. — 108, 111—112, 115—118, 141, 145—146, 148—149,  
161—163, 166, 174, 500, 503, 505, 510—511, 546.  
Палтов Н. И. — 184, 504.  
Пальм А. И. — см. Альминский П.  
Панаев И. И. — 144, 154, 272, 283, 285, 509, 529—530, 537—539.  
Панаева-Головачева А. Я. — 153—154, 252, 508, 533, 537.  
Панова А. — 71, 76.  
Пантелеев Л. Ф. — 158, 256, 376, 384, 388, 404, 440, 472, 533, 546,  
551, 556, 563.  
Папковский Б. В. — 147, 149, 505, 508, 529, 531, 534, 535, 547—548.  
Парет Карл — 488.  
Парфений, инок — 357, 550.  
Пашенко К. Л. — 375—376, 468.  
Пашенко, жена К. Л. Пашенко — 569.  
Пейкер А. А. — 453, 459, 561.

- Перейра Исак — 525—526.  
Перейра Эмиль — 525—526.  
Перовский В. А. — 315, 455—458.  
Перовский Л. А., гр. — 293—294, 333, 449, 459, 543.  
Перфильев В. С. — 142, 504—505.  
Петр I — 15—16, 431, 527.  
Петрашевский М. В. — см. Буташевич-Петрашевский М. В.  
Пецольт, препод. лицея — 502.  
Печерин В. С. — 172, 307.  
Печерский А. — см. Мельников П. И.  
Писарев Д. И. — 418.  
Писемский А. Ф. — 238.  
Плаксин В. Т. — 132, 503.  
Платон, крепостной дядька М. Е. Салтыкова — 96, 115, 123, 175, 295, 388.  
Плеве В. К. — 280.  
Плетнев П. А. — 147, 153, 273, 507, 510, 537.  
Плеханов Г. В. — 219—223, 238, 247, 531, 533.  
Плещеев А. Н. — 172, 196, 198, 209—210, 255, 298, 315—316, 329, 530—531, 547, 553.  
Пнин И. Т. — 97.  
Погодин М. П. — 110, 418.  
Подолинский А. И. — 148.  
Полевой Н. А. — 110, 144—145.  
Полежаев А. И. — 298.  
Померанцев Ф. П. — 80—81, 496.  
Попов А. Н. — 184, 504.  
Порошин С. А. — 377.  
Потемкин Г. А. — 534.  
Потоцкий, гр. — 316—317, 547.  
Преображенский И. В. — 73, 76.  
Прудон Пьер-Жозеф — 229, 239, 523—524.  
Прушанич (Прошанич, Прушенин) М. — 13.  
Прушанич Т. — 13.  
Прыжов И. Г. — 479, 563.  
Прямков А. В. — 71, 492—494, 496.  
Пугачев Е. И. — 427, 527.  
Пузыревский И. А. — 182, 517, 541—542.  
Пушкин А. С. — 89, 108, 112, 118, 123, 128, 131, 137, 140, 144—147, 170, 176, 199, 254, 273, 298, 378, 468, 502, 527, 556.  
Пушкина (рожд. Гончарова, во втором замужестве Ланская) Н. Н. — 376, 468—470.  
Пыпин А. Н. — 49, 83, 212, 274, 496, 529, 537.



Рабле Франсуа — 385.  
Радницев А. Н. — 185, 259.  
Разин С. Т. — 427.  
Рамбо Альфред — 556.  
Ранке Леопольд — 133.  
Ратынский П. А. — 111.  
Раумер Фридрих — 133.  
Раш, домовладелец в Вятке — 309.  
Рашкевич, жандармский штабс-капитан — 295—297.  
Редкин П. П. — 98.  
Резунов, вятский чиновник — 373.  
Рейсер С. А. — 493.  
Рейтерн М. X. — 142, 331.  
Репнины, кн. — 42.  
Решетников Ф. М. — 238.  
Ржевский В. К. — 103, 498.  
Риземан Ю. X. — 504.  
Рикардо Давид — 205, 239.  
Родзевич А. А. — 373.  
Рождественский, пристав — 372.  
Рождественский С. В. — 497.  
Ромашов И. — 321, 322, 519.  
Рославлева, надв. советница — 42.  
Россини Джакомо-Антонио — 182.  
Ростовцев Я. И. — 119.  
Ротшильд. — 325.  
Рубен А. А. — 502.  
Рубини Джованни-Баттиста — 181, 517.  
Русанов Е. С. — 511.

С., криптоним, припис. М. Е. Салтыкову — 505—506.

Сабашниковы М. и С. — 512.

Савелов Л. М. — 486—487.

Савиньи Фридрих-Карл — 133.

Сакулин П. Н. — 210, 529.

Салмин М. П. — 73, 76.

Салтыков В. И. — 17.

Салтыков В. Б. — 18—20, 487.

Салтыков Д. Е. — 28, 49, 60, 65—66, 68—69, 79, 96—97, 112, 165,  
175—176, 178—181, 187, 202, 294, 299, 305, 315, 340, 387,  
389—390, 393, 443—444, 450—453, 455, 465, 469, 471, 494—497,  
508, 510, 512—513, 516—519, 528, 543—546, 553, 557, 559,  
561—563.

- Салтыков Д. С. — 15.
- Салтыков Е. В. — 12, 16, 18—23, 25—29, 35—36, 38, 42, 47—49, 56—65, 70, 72, 75, 79—80, 85, 123, 175, 181, 443—444, 446, 487—496, 501, 512, 516, 542, 553, 557—558.
- Салтыков И. Е. — 68—69, 75, 491—492, 512—553.
- Салтыков И. Б. — 19.
- Салтыков И. Т. — 14, 487.
- Салтыков К. М. — 494, 556.
- Салтыков М. И. — 17.
- Салтыков Н. Е. — 57—65, 67, 69, 76, 96, 465, 512, 544, 553, 562.
- Салтыков П. С., гр. — 13.
- Салтыков П. Т. — 14, 487.
- Салтыков С. Е. — 45, 65, 67—69, 75, 494, 512, 553.
- Салтыков С. Т. — 14, 487.
- Салтыков (ранее Сатыков) Тимофей Иваѳов сын (см. еще Курган Т.) — 13—16, 487.
- Салтыков Т. Т. — 14.
- Салтыков Ф. П. — 16.
- Салтыков Ф. С. — 16, 487.
- Салтыков Я. И. — 17.
- Салтыкова А. В. — 19, 35.
- Салтыкова А. Я. — 175, 442, 496, 516, 519, 543.
- Салтыкова В. Е. — 65, 69.
- Салтыкова Е. А. — см. Болтина (в замуж. Салтыкова) Е. А.
- Салтыкова Е. В. — см. Абрамова (в замуж. Салтыкова) Е. В.
- Салтыкова Е. М. (в первом браке Дистерло, во втором де Пас-сано) — 556.
- Салтыкова Л. Е. — 65, 69.
- Салтыкова М. В. — 19, 35, 47.
- Салтыкова Н. Е. — 64, 69—70, 72—73, 75, 494—495, 497, 545.
- Салтыкова (рожд. Нечаева) Н. И. — 18—21, 487—488.
- Салтыкова О. В. — см. Воейкова (рожд. Салтыкова) О. В.
- Салтыкова (рожд. Забелина) О. М. — 26—27, 29—33, 35—42, 47—49, 56—60, 63—72, 75—76, 79—90, 96, 122—123, 175—176, 178—181, 187, 201—202, 252, 388, 390—392, 443, 446, 451—455, 457—458, 465—471, 490—497, 501, 508, 510, 512—513, 516, 519, 528, 533, 553, 557—563.
- Салтыкова П. Ф. — 16, 487.
- Самойлов В. В. — 181.
- Сатин Н. М. — 383.
- Сатир, чиновник канцелярии военного министерства — 133.
- Свиньин П. П. — 144.
- Свифт Джонатан — 385.

- Селезнев И. — 501.
- Селиванов И. В. — 316, 383—384, 547, 553.
- Семеновский В. И. — 210, 277, 510, 519—521, 525—526, 529, 532—533, 553.
- Семеновский М. И. — 251, 385, 438, 533, 557.
- Семенов П. П. — 346, 348, 353, 372, 421, 445, 459, 462, 463, 470, 561.
- Семцов П. П. — 146, 149, 508.
- Семэн, изд. — 110.
- Семюта А. — 499.
- Сенковский О. И. — 110, 144.
- Сен-Симон Анри-Клод, гр. — 159, 192, 223, 234, 239—245, 268, 300, 312, 424, 526—527, 533, 535.
- Сергеев, письмоводитель Дворянского института — 116.
- Сергеенко П. А. — 533.
- Серебряковы, крепостные Салтыковых — 45.
- Середа А. И. — 293, 295, 296—297, 309—311, 313—318, 332—333, 342, 346, 348, 367, 421, 445, 450—451, 454—456, 458—559.
- Середа Н. Н. — 372, 396, 458, 553—554.
- Сибиряков К. М. — 496.
- Сикст V, папа римский — 418—419.
- Синцов М. М. — 378.
- Сиринов Т. (Суринов), препод. Дворянского института — 107, 499.
- Сисмонди Жан-Шарль — 227.
- Ситников, раскольник — 353, 355, 549.
- Скабичевский А. М. — 49, 176, 187, 219, 277, 385, 512, 519, 533, 538, 541—542 (см. еще Заурядный читатель).
- Скрипицын И. П. — 491.
- Смагин, раскольник — 353, 355, 549.
- Смарагдов С. Н. — 502.
- Смит Адам — 205, 239, 522—523.
- С — н Г. — 357.
- О — ов, криптоним М. Е. Салтыкова — 506.
- С — ов И. — 506.
- Соколов В. — 506.
- Соколов П. Д. (Павел), крепостной живописец, первый учитель Салтыкова — 48, 72, 74—75, 79, 495, 496.
- Соколова А. И. — 79.
- Соколовский А. Л. — 144, 505.
- Соловьев С. М. — 433.
- Соломко, лесн. ревизор — 347.
- Спасская (рожд. Иоанна) Л. П. — 313, 368, 372, 376, 377, 387—388, 439, 469, 485, 490—491, 552, 557, 562.
- Спешнев П. А. — 196—189, 210, 217, 420, 460, 519, 524.

Спиридонов В. С. — 503.  
Спицын А. — 552.  
Срезневский И. И., проф. — 551.  
С-т — 506.  
Сталин И. В. — 521.  
Станкевич Н. В. — 103.  
Стасов В. В. — 213, 529.  
Стасюлевич М. М. — 555.  
Степанов А. — 506.  
Степанов В. — 166, 326, 504, 546.  
Степанов П. — 504.  
Степанов С. — 506.  
Степанов Я. С. — 378, 550.  
Стрельский Н. — 86, 497.  
Строганов А. Г., гр. — 278—279.  
Строганов С. Г., гр. — 98—99, 114—115.  
Стромилов Н. П. — 544.  
Стромилова Н. Н. — 454.  
Стромиловы, тверские помещики — 390, 391.  
Струговщиков А. Н. — 184.  
Суворин А. С. — 377.  
Суворов А. В. — 534.  
Суковкин А. П. — 453.  
Сумароков А. П. — 131.  
Суринов — см. Сиринов Т.

Талызин И. — 492.  
Тамбурини А. — 181, 517.  
Танеев, статс-секретарь — 498.  
Танеев В. И. — 8, 394, 400—401, 443, 481, 553—554.  
Тарле Е. В., акад. — 430, 556.  
Татаринов В. — 499, 511.  
Татарина О. С. — 511.  
Тизенгаузен К. Е. — 463, 468—470, 562.  
Тимофеев А. В. — 146.  
Титов, чиновн. — 183.  
Тиховидов А. П. — 378—380, 552.  
Токвиль Алекси — 429—431, 556.  
Толстой Д. А., гр. — 141—142, 308, 505, 546.  
Толстой Л. Н., гр. — 89, 185, 224, 238, 254, 505, 532, 533.  
Толстой Ю. В. — 141, 183, 445, 468.  
Томилов Ф. С. — 372, 550.  
Трубецкой, фельдмаршал — 104.

- Тургенев А. И. — 97.  
Тургенев П. С. — 19, 31, 88—89, 94, 103, 185, 230, 238, 255, 360,  
364, 440, 481, 491, 518, 527, 532, 563.  
Тургенев П. П. — 97.  
Турунов М. П. — 181.  
Тучемский П. П. — 368, 372—373, 551.  
Тучков А. А. — 383, 553.  
Тютчев П. П. — 538.  
Тютчев Ф. П. — 89.
- Уваров С. С., гр. — 98—99, 114, 290.  
Ульяна Ивановна, бабка-повитуха — 47.  
Унковская С. А. — 176, 512.  
Унковский А. М. — 40, 47, 106, 129, 139—140, 147, 158, 160—163,  
166, 499, 501, 503, 509—510.  
Унковский С. Я. — 98—99, 103, 106, 110, 498, 500.  
Урусов П. — 504, 508.  
Усов Ф. Г. — 508.  
Ушаков Ф. — 487.
- Фаворский Д. В. — 550—551, 558.  
Фалеев, чиновник, сослуживец Салтыкова — 474.  
Федоров Б. М. — 278.  
Федоров К. — 240, 532.  
Фейербах Людвиг — 211, 239, 249.  
Фенелон Франсуа — 25.  
Фет (Шеншин) А. А. — 254.  
Филимонов С. — 552.  
Филиппов П. — 217.  
Фишер К. И. — 284, 289, 540.  
Флеровский Н. — см. Берви В. В.  
Фойгт К. К., проф. — 378.  
Фольгер В. Ф. — 534.  
Фонвизин Д. И. — 259.  
Фридрих П. — 13.  
Фурман П. Р. — 534.  
Фурье Шарль — 158—159, 166, 172, 186, 192, 198—200, 223—234,  
239—240, 242—245, 261, 270, 300, 312, 325, 396, 518, 521—522,  
527, 533.
- Ханыков П. В. — 195—197, 199, 207, 310, 322, 520, 528, 546.  
Ханыков Я. В. — 310, 445, 460.  
Хвостов Д. И. — 21, 489.

Хвостова Е. А. — 385.  
Херасков М. М. — 131.  
Холмогоров В. и Г. — 487.  
Храбрых А. Н. — 367.  
Христиани Г. Г. — 497.

Цедлер — 26.

Чарторыйский Адам, кн. — 22.

Чекуновы, крепостные Салтыковых — 45.

Чернышев А. И., кн. — 174, 289—294, 320, 331, 444, 446, 449, 452,  
454, 458—459, 462, 536, 537, 540, 541, 543.

Чернышевский Н. Г. — 3, 8, 191, 209, 218, 220—221, 225, 240, 242,  
245, 269, 274—275, 301, 411, 424, 436, 474, 477, 481—482, 532,  
533, 537, 551.

Чернявский А. — 486.

Чертков В. Г. — 533.

Чехов А. П. — 82, 386.

Чичерин Б. Н. — 512.

Чуковский К. И. — 508, 533, 537.

Шаховской А. А., кн. — 97, 110.

Швахгейм Д. К. — 504.

Шевченко Т. Г. — 298, 420.

Шеллинг Фридрих Вильгельм — 134.

Шерюель П. А. — 429, 431.

Шилинг, вятский прокурор — 372.

Ширицкий-Шихматов В. П., кн. — 504.

Шишкин, политический ссыльный в Вятке — 297.

Шишкин И. В. — 380—381, 552.

Шишкин И. И. — 381, 552—553.

Шишкин-Серебряков, купец — 381.

Шоу Ф. И. — 502.

Штевен А. Х. — 504.

Штрайх С. Я. — 518.

Штрэндман Р. Р. — 195—198, 212—213, 215—218, 322—325, 517, 520,  
529, 532.

Штруензе Карл-Август — 489.

Шубин — 517.

Шульгин И. П. — 128, 134, 136, 502.

Шапов А. П. — 357.

Щеглов Н. Т. — 502.

- Щеглова С. — 562.  
Щедрин Т. Т. — 355, 494.  
Щедрины, крепостные крестьяне Салтыковых — 71, 494.  
Щепкин И. С. — 111.  
Щиглов — 502.  
Шукин П. И. — 529, 556.
- Эйхгорн К. Ф. — 133.  
Эйхенбаум Б. М. — 509.  
Эльсберг Я. Е. — 6, 302, 545.  
Энгельгардт Е. А. — 121.  
Энгельс Фридрих — 191, 239, 240, 242, 244, 515, 519, 523, 525, 533.  
Энгельсон В. А. — 196.  
Эрдели — 504.  
Эссен М. М. — 485.
- Югорский А. — 485.  
Юрьев С. А. — 8, 55, 71, 76, 85, 87, 106—112, 114—115, 141, 175—176,  
181—182, 250, 404, 462, 493—496, 499—500, 517, 546, 554—555.  
Юрьевы, помещики — 71.
- Языков М. А. — 153—154, 252, 256, 273, 538.  
Яковлев Н. В. — 6, 467, 485, 506, 528, 548, 553, 555.  
Яковлев Ю. П. — 492.  
Яковлевы М. и Ф. — 519.  
Якушкин Е. И. — 30, 491, 504.  
Яхонтог. А. Н. — 129—131, 134, 144, 148, 163, 498, 501—503, 505, 510.  
Яшвили, петрашевец — 321, 519.
-





## СОДЕРЖАНИЕ

Введение . . . . .	3
<i>В «попехонском гнезде» (1826—1836)</i> . . . . .	11
Генеалогическая легенда и действительность. — Отец. — Мать. — Салтыковская вотчина. — Рождение Салтыкова и раннее детство. — Семейное воспитание. — Первые шаги на пути к просвещению. — Высшая обстановка детства Салтыкова. — Отъезд в Москву.	
<i>Годы учения (1836—1844)</i> . . . . .	95
В Московском дворянском институте. — В Царскосельском лицее.	
<i>В Петербурге сороковых годов (1844—1848)</i> . . . . .	171
Служба и быт. — «Школа идей»: Белинский и кружок Петрашевского. — Валерьян Майков и Владимир Милютин. — Итоги «школы идей». — Начало литературной деятельности. — Повести «Противоречия» и «Запутанное дело». — Арест и ссылка.	
<i>В вятском плену (1848—1855)</i> . . . . .	299
На арене «обязательной службы». — Чиновник особых поручений. — Допрос по делу Петрашевского. — Советник губернского правления. — Вятская сельскохозяйственная выставка. — Дело о Камской оброчной «статье». — Следствие о раскольниках. — Идеино бытовое окружение. — Факты личной биографии. — В «фазисе теоретических блужданий». — Идеинная жизнь и работа. — Борьба за освобождение. — Итоги Вятки.	
Условные сокращения, использованные в примечаниях . . . . .	484
Примечания . . . . .	486
Указатель имен . . . . .	565



Художник *М. Раевский*

Редактор *Ф. Иванова*  
Художественный редактор *К. Бузова*  
Технический редактор *Ф. Артемьева*  
Корректоры *А. Соловьева* и  
*А. Тилольт*

•

Сдано в набор 9/XII-50 г.  
Подписано к печати 22 II-51 г.  
А-00224. Бумага 84×108<sup>1/2</sup><sub>32</sub>, 9,19 бум. л.,  
20,13 печ. л. + 1 вкл. 32,53 уч.-изд. л.  
Тираж 20 000. Цена 11 р. 75 к.  
Зак. 2950.

•

3-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфиздата при Совете Министров СССР, Москва, Краснопролетарская, 16.

